

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

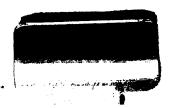
- Не удаляйте атрибуты Google.
 - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
 - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

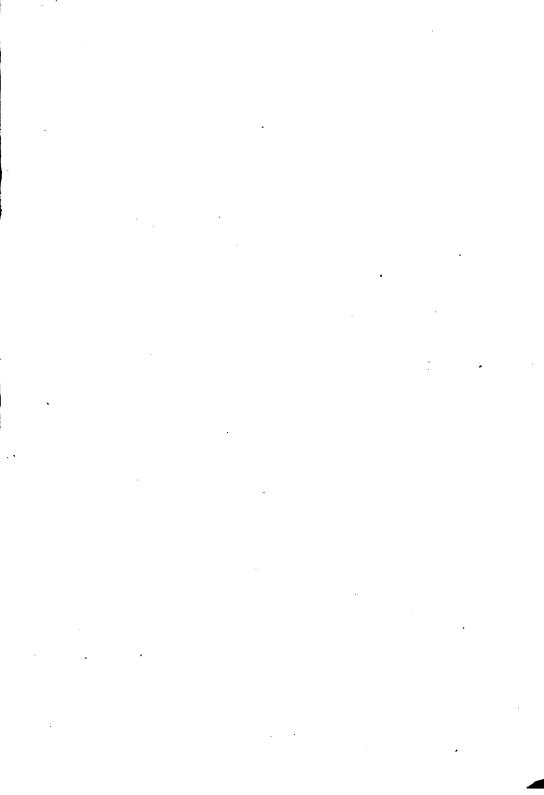
О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/











Chernyshevskie, Nikolaë Gavrilovch Estetika i polytid

OCTETUKA II 110931A

— Эстетическія отношенія искусства къ дійствительности. — «О поэвіи», Аристотеля. — «Півсни разныхъ народовъ». — Критическія статьи о русской поэвіи: Огаревъ, Бенедиктовъ, Щербина, Плещеевъ. — Лессингъ, его время, его жизнь и діятельность. —

("Современникъ" 1854—1861 гг.).

ИЗДАНІЕ

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКАГО.



Типографія и Лагографія В. А. Тиханова. Садовая № 27. 1893.

BH206 C5 1893

ЭСТЕТИЧЕСКІЯ ОТНОШЕНІЯ ИСКУССТВА КЪ ДЪЙСТВИ-ТЕЛЬНОСТИ *).

Всѣ сферы духовной дѣятельности подчинены закону восхожденія отъ непосредственности къ посредственности. Вслѣдствіе этого закона идея, вполнѣ постигаемая только мышленіемъ (познаваніе подъ формою посредственности), первоначально является духу подъ формою непосредственности или подъ формою воззрѣнія. Потому человѣческому духу кажется, что отдѣльное существо, ограниченное предѣлами пространства и времени, совершенно соотвѣтствуетъ своему понятію, кажется, что въ немъ вполнѣ осуществилась опредѣленная идея, а въ этой опредѣленной идеѣ вполнѣ осуществилась идея вообще. Такое воззрѣніе предмета есть призракъ (ist ein Schein) въ томъ отношеніи, что идея никогда не проявляется въ отдѣльномъ предметѣ в полнѣ; но подъ этимъ призракомъ скры-

^{*)} Настоящій трактать ограничивается общими выводами изъ фактовъ, подтверждая ихъ опять только общими указаніями на факты. Воть первый пункть, относительно котораго должно дать объясненіе. Нынѣ вѣкъ монографій, и сочиненіе можеть подвергнуться упреку въ несовременности. Удаленіе изъ него всѣхъ спеціальныхъ изслѣдованій можеть быть сочтено за пренебреженіе къ нимъ или за слѣдствіе мнѣнія, что общіе выводы могутъ обойдтись безъ подтвержденія фактами. Но такое заключеніе основывалось бы только на внѣшней формѣ труда, а не на внутреннемъ его характерѣ. Реальное направленіе мыслей, развиваемыхъ въ немъ, уже достаточно свидѣтельствуеть, что онѣ возникли на почвѣ реальности и что авторъ вообще придаеть очень мало значенія для нашего времени фантастическимъ полетамъ даже и въ области искусства, не только въ дѣлѣ науки. Сущность понятій, излагаемыхъ авторомъ, ручается за то, что онъ желалъ бы, еслибъ могь, привести въ своемъ сочиненіи многочисленные факты, изъ которыхъ выведены его мнѣнія. Но еслибъ онъ рѣшился слѣдовать своему желанію, объемъ труда далеко превзошелъ бы

вается истина, потому что въ въ опредъленной идев дъйствительно осуществляется до нъкоторой степени общая идея, а опредъленная идея осуществляется до нъкоторой степени въ отдъльномъ предметъ. Этотъ скрывающій подъ собою истину призракъ проявленія идеи вполнъ въ отдъльномъ существъ есть прекрасное (das Schöne).

Такъ развивается понятіе прекраснаго въ господствующей эстетической системѣ. Изъ этого основнаго воззрѣнія слѣдують дальнѣйшія опредѣленія: прекрасное есть идея въ формѣ ограниченнаго проявленія; прекрасное есть отдѣльный чувственный предметъ, который представляется чистымъ выраженіемъ идеи, такъ что въ идеѣ не остается ничего, что не проявлялось бы чувственно въ этомъ отдѣльномъ предметѣ, а въ отдѣльномъ чувственномъ предметѣ нѣтъ ничего, что не было бы чистымъ выраженіемъ идеи. Отдѣльный предметъ въ этомъ отношеніи называется образомъ (das Bild). Итакъ прекрасное есть совершенное соотвѣтствіе, совершенное тожество идеи съ образомъ.

Я не буду говорить о томъ, что основныя понятія, въ зависимости отъ которыхъ выставлено такое воззрѣніе на прекрасное, теперь уже признаны не выдерживающими критики; не буду говорить и о томъ, что прекрасное въ этой системѣ понятій является только «призракомъ», проистекающимъ отъ непроницательности

опредъленныя ему границы. Авторъ думаетъ однако, что общихъ указаній, имъ приводимыхъ, достаточно, чтобы напомнить читателю десятки и сотни фактовъ, говорящихъ въ пользу мивній, излагаемыхъ въ этомъ трактать, и потому надвется, что краткость объясненій не есть бездоказательность.

Но зачёмъ же авторъ избралъ такой общій, такой обширный вопросъ, какъ эстетическія отношенія искусства къ действительности, предметомъ своего изследованія? Почему не избралъ онъ какого-нибудь спеціальнаго вопроса, какъ это большею частью нынё делается?

По силамъ ли автора задача, которую хотьлъ онъ объяснить, рышать это, конечно, не ему самому. Но предметъ, привлекшій его вниманіе, имъетъ нынъ полное право обращать на себя вниманіе всіхъ людей, занимающихся эстетическими вопросами, то есть всіхъ, интересующихся искусствомъ, поэзіею, литературою.

Автору кажется, что безполезно толковать объ ссновных вопросахъ науки только тогда, когда нельзя сказать о нихъ ничего новаго и основательнаго, когда не приготовлена еще возможность видёть, что наука изміняеть свои прежнія воззрінія, и показать, въ какомъ смыслі, по всей віроятности, должны они изміниться. Но когда выработаны матеріалы для новаго воззрінія на

взгляда, не просвётленнаго философскимъ мышленіемъ, предъ которымъ исчезаеть кажущаяся полнота проявленія идеи въ отдёльномъ предметв, такъ что чёмъ выше развито мышленіе, тёмъ более исчезаеть предъ нимъ прекрасное, и наконецъ для вполнё развитаго мышленія есть только истинное, а прекраснаго нівть; не буду опровергать этого фактомъ, что на самомъ ділів развитіе мышленія въ человівкі нисколько не разрушаеть въ немъ эстетическаго чувства: все это уже было высказано много разъ. Какъ слідствіе и часть метафизической системы, изложенное выше понятіе о прекрасномъ падаеть вмістів съ нею. Но можеть быть ложна система, а частная мысль, въ нее вошедшая, можеть, будучи взята самостоятельно, оставаться справедливою, утверждаясь на своихъ особенныхъ основаніяхъ. Поэтому остается еще показать, что господствующее понятіе о прекрасномъ не выдерживаеть критики, будучи взято и внів связи съ упавшими ныны метафизическими системами.

«Прекрасно то существо, въ которомъ вполнѣ выражается идея этого существа» въ переводѣ на простой языкъ будетъ значить: «прекрасно то, что превосходно въ своемъ родѣ; то, лучшее чего нельзя себѣ вообразить въ этомъ родѣ». Совершенно справелливо, что предметъ долженъ быть превосходенъ въ своемъ родѣ для того, чтобы называться прекраснымъ. Такъ, напр., лѣсъ можетъ бытъ прекрасенъ, но только «хорошій» лѣсъ, высокій, прямой, густой, однимъ словомъ, превосходный лѣсъ: коряжникъ, жалкій, низенькій, рѣдкій лѣсъ, не можетъ быть прекрасенъ. Роза прекрасна; но

основные вопросы нашей спеціальной науки, и можно и должно высказать эти основныя идеи.

Уваженіе къ дъйствительной жизни, недовърчивость къ апріорическимъ хотя бы и пріятнымъ для фантазіи, гипотезамъ—воть характеръ направленія, господствующаго нынь въ наукъ. Автору кажется, что необходимо привести къ этому знаменателю и наши эстетвческія убъжденія, если еще стоить говорить объ эстетикъ.

Авторъ не менѣе, нежели кто-нибудь, признаетъ необходимость спеціальныхъ изслѣдованій; но ему кажется, что отъ времени до времени необходимо также обозрѣвать содержаніе науки съ общей точки зрѣнія; кажется, что если важно собирать и изслѣдовать факты, то не менѣе важно и стараться проникнуть въ смыслъ ихъ. Мы всѣ признаемъ высокое значеніе исторіи искусства, особенно исторіи поэзіи; итакъ не могутъ не имѣть высокаго значенія и вопросы о томъ, что такое искусство, что такое поэзія.

только «хорошая», свёжая, неощипанная роза. Однимъ словомъ, все прекрасное превосходно въ своемъ родъ. Но не все превосходное въ своемъ родъ прекрасно; кротъ можетъ быть превосходнымъ экземпляромъ породы кротовъ, но никогда не покажется онъ «прекраснымъ»; точно то же надобно сказать о большей части амфибій, многихъ породахъ рыбъ, даже многихъ птицахъ: чёмъ лучше для естествоиспытателя животное такой породы, т. е. чемъ полнее выражается въ немъ его идеи, твиъ оно некрасивве съ эстетической точки эрвнія. Чвит лучше въ своемъ роді болого, твить хуже оно въ эстетическомъ отношеніи. Не все превосходное въ своемъ родъ прекрасно; потому что не всъ роды предметовъ прекрасны. Определение прекраснаго какъ полнаго соответствия отдельнаго предмета съ его идеею слишкомъ широко. Оно высказываетъ только, что въ техъ разрядахъ предметовъ и явленій, которые могуть достигать красоты, прекрасными кажутся лучшіе предметы и явленія; но не объясняетъ, почему самые разряды предметовъ и явленій разделяются на такіе, въ которыхъ является красота, и другіе, въ которыхъ мы не замъчаемъ ничего прекраснаго.

Но съ твиъ вивств оно и слишкомъ твсно. «Прекраснымъ кажется то, что кажется полнымъ осуществленіемъ родовой идеи» значить также: «надобно, чтобы въ прекрасномъ существъ было все. что только можетъ быть хорошаго въ существахъ этого рода; надобно, чтобы нельзя было найти ничего хорошаго въ другихъ существахъ того же рода, чего не было бы въ прекрасномъ предметь». Этого мы въ самомъ дель и требуемъ отъ прекрасныхъ явленій и предметовъ въ тёхъ царствахъ природы, гдё нётъ разнообразія типовъ одного и того же рода предметовъ. Такъ, напр., у дуба можеть быть одинь только характерь красоты: онь должень быть высокъ и густь; эти качества всегда находятся въ прекрасномъ дубъ, и ничего другаго хорошаго не найдется въ другихъ дубахъ. Но уже въ животныхъ является разнообразіе типовъ одной породы, какъ скоро делаются они домашними. Еще более такого разнообразія типовъ красоты въ человікі, и мы даже никакъ не можемъ представить себъ, чтобы всь оттънки человъческой красоты совмѣщались въ одномъ человѣкѣ.

Выраженіе: «прекраснымъ называется полное проявленіе идеи въ отдёльномъ предметѣ» вовсе не опредёленіе прекраснаго. Но вънемъ есть справедливая сторона—то, что «прекрасное» есть отдёль-

ный живой предметь, а не отвлеченная мысль; есть и другой справедливый намекь на свойство истинно художественныхъ произвеній искусства; они всегда имбють содержаніемь своимь что-нибудь интересное вообще для человіка, а не для одного художника (намекь этоть заключается въ томъ, что идея—«нічто общее, дійствующее всегда и вездів»); оть чего происходить это, увидимь на своемь містів.

Совершенно другой смыслъ имбетъ другое выражение, которое выставляють за тожественное съ первымъ: «прекрасное есть единство идеи и образа, полное сліяніе идеи съ образомъ»; это выраженіе говорить дійствительно о существенномь признакі — только не идеи прекраснаго вообще, а того, что называется «мастерскимъ произведеніемъ» или художественнымъ произведеніемъ искусства: прекрасно будеть произведение искусства действительно только, когда художникъ передалъ въ произведении своемъ все то, что хотель передать. Конечно портреть хорошь только тогда, когда живописецъ съумель нарисовать совершенно того человека, котораго хотель нарисовать. Но «прекрасно нарисовать лицо» и «нарисовать прекрасное лицо» — двъ совершенно различныя вещи. Объ этомъ качествъ художественнаго произведенія прійдется говорить при опредъленіи сущности искусства. Здёсь же считаю неизлишнимъ заметить, что въ определении красоты какъ единства идеи и образа, -- въ этомъ опредъленіи, имъющемъ въ виду не прекрасное живой природы, а прекрасныя произведенія искусствъ, уже скрывается зародышь или результать того направленія, по которому эстетика обыкновенно отдаетъ предпочтение прекрасному въ искусствъ предъ прекраснымъ въ живой дъйствительности.

Что же такое въ сущности прекрасное, если нельзя опредѣлить его какъ «единство идеи и образа» или какъ «полное проявленіе идеи въ отдѣльномъ предметѣ»?

Новое строится не такъ легко, какъ разрушается старое, и защищать не такъ легко, какъ нападать; потому очень можетъ быть, что мнёніе о сущности прекраснаго, кажущееся мнё справедливымъ, не для всёхъ покажется удовлетворительнымъ; но если эстетическія понятія, выводимыя изъ господствующихъ нынё воззрёній на отношенія человеческой мысли къ живой действительности, еще остались въ моемъ изложеніи неполны, односторонни, или шатки,

то это, я надъюсь, недостатки не самыхъ понятій, а только моего изложенія.

Ощущеніе, производимое въ человѣкѣ прекраснымъ, — свѣтлая радость, похожая на ту, какою наполняетъ насъ присутствіе милаго для насъ существа *). Мы безкорыстно любимъ прекрасное, мы любуемся, радуемся на него, какъ радуемся на милаго намъ человѣка. Изъ этого слѣдуетъ, что въ прекрасномъ есть что-то милое, дорогое нашему сердцу Но это «что-то» должно быть нѣчто чрезвычайно многообъемлющее, нѣчто способное принимать самыя разнообразныя формы, нѣчто чрезвычайно общее; потому что прекрасными кажутся намъ предметы чрезвычайно разнообразные, существа совершенно непохожія другъ на друга.

Самое общее изъ того, что мило человѣку, и самое милое ему на свѣтѣ—жизнь; ближайшимъ образомъ такая жизнь, какую хотѣлось бы ему вести, какую любитъ онъ; потомъ и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить, чѣмъ не жить: все живое уже по самой природѣ своей ужасается погибели, небытія и любитъ жизнь. И кажется, что опредѣленіе:

«прекрасное есть жизнь»;

«прекрасно то существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такою, какова должна быть она по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тотъ предметъ, который выказываетъ въ себъ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни»,—

кажется, что это опредвленіе удовлетворительно объясняеть всв случаи, возбуждающіе въ насъ чувство прекраснаго. Проследимъ главныя проявленія прекраснаго въ различныхъ областяхъ действительности, чтобы проверить это.

«Хорошая жизнь», «жизнь, какъ она должна быть», у простаго народа состоить въ томъ, чтобы сытно всть, жить въ хорошей избъ, спать вдоволь; но вмъстъ съ этимъ у поселянина въ понятіи

^{*)} Я говорю о томъ, что прекрасно по своей сущности, а не по тому только, что прекрасно изображено искусствомъ; о прекрасныхъ предметахъ и явленіяхъ, а не о прекрасномъ ихъ изображеніи въ произведеніяхъ искусства: художественное произведеніе, пробуждая эстетическое наслажденіе своими художественными достоинствами, можетъ возбуждать тоску, даже отвращеніе сущностью изображаемаго.

«жизнь» всегда заключается понятіе о работь: жить безь работы нельзя; да и скучно было бы. Следствіемъ жизни въ довольстве при большой работъ, не доходящей однако до изнуренія силь, у молодаго поселянина или сельской дъвушки будетъ чрезвычайно свъжій цвъть лица и румянець во всю щеку-первое условіе красоты по простонароднымъ понятіямъ. Работая много, поэтому будучи крыпка сложеніемь, сельская дывушка при сытной пищь будеть довольно плотна — это также необходимое условіе красавицы сельской: свътская «полувоздушная» красавица кажется поселянину овшительно «невзрачною», даже производить на него непріятное впечатленіе; потому что онъ привыкъ считать «худобу» следствіемъ болъзненности или «горькой доли». Но работа не дастъ разжиръть: если сельская дівушка толста, это родь болізненности, знакъ «рыхлаго» сложенія, и народъ считаеть большую полноту недостаткомъ; у сельской красавицы не можеть быть маленькихъ ручекъ и ножекъ, потому что она много работаетъ - объ этихъ принадлежностяхъ красоты и не упоминается въ нашихъ пъсняхъ. Однимъ словомъ, въ описаніяхъ красавицы въ народныхъ песняхъ не найдется ни одного признака красоты, который не быль бы выраженіемъ цвътущаго здоровья и равновъсія силь въ организмъ, всегдашняго следствія жизни въ довольств'в при постоянной и нешуточной, но нечрезмірной работі. Совершенно другое діло світская красавица: уже нъсколько покольній предки ся жили не работая руками; при бездъйственномъ образъ жизни, крови льется въ оконечности мало; съ каждымъ новымъ поколеніемъ мускулы рукъ и ногъ слабеють, кости делаются тоньше; необходимымъ следствіемъ всего этого должны быть маленькія ручки и ножки -- он'в признакъ такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высшихъ классовъ общества жизни безъ физической работы; если у свътской женщины большія руки и ноги, это признакъ или того, что она дурно сложена, или того, что она не изъ старинной хорошей фамиліи. Поэтому же самому у свътской красавицы должны быть маленькія ушки. Мигрень, какъ извъстно, интересная бользнь — и не безъ причины: отъ бездъйствія кровь остается вся въ среднихъ органахъ, приливаетъ къ мозгу; нервная система и безъ того уже раздражительна отъ всеослабленія въ организмѣ; неизбѣжное следствіе всего этого-продолжительныя головныя боли и разнаго рода нервическія разстройства; что делать, и болезнь интересна, чуть не завидна,

когда она следствіе того образа жизни, который намъ нравится. Здоровье, правда, никогда не можеть потерять своей цены въ главахъ человека; потому что и въ довольстве, и въ роскоши плохо жить безъ здоровья-вследствие того румянецъ на щекахъ и цветущая здоровьемъ свежесть продолжають быть привлекательными и для свётскихъ людей; но болезненность, слабость, вялость, томность также имбють въ глазахъ ихъ достоинство красоты, какъ скоро кажутся следствіемъ роскошно-бездейственнаго образа жизни. Бледность, томность, болевненность имеють еще другое значение для свътскихъ людей: если поселянинъ ищетъ отдыха, спокойствія, то люди образованнаго общества, у которыхъ матеріальной нужды и физической усталости не бываеть, но которымъ зато часто бываетъ скучно отъ безделья и отсутствія матеріальныхъ заботъ, ищуть «сильных» ощущеній, волненій, страстей», которыми придается цвёть, разнообразіе, увлекательность свётской жизни, безъ того монотонной и безцвътной. А отъ сильныхъ ощущеній, отъ пылкихъ страстей человъкъ скоро изнашивается: какъ же не очароваться томностью, блёдностью красавицы, если томность и блёдность ея служать признакомъ, что она «много жила?»

> Мила живая свёжесть цвёта, Знакъ юныхъ дней; Но блёдный цвётъ, тоски примёта, Еще милёй.

Но если увлеченіе блёдною, болёзненною красотою признакъ искусственной испорченности вкуса, то всякій истинно образованный человёкъ чувствуетъ, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца. Она отпечатлёвается въ выраженіи лица, всего яснёе въ глазахъ—потому выраженіе лица, о которомъ такъ мало говорится въ народныхъ пёсняхъ, получаетъ огромное значеніе въ понятіяхъ о красотё, господствующихъ между образованными людьми; и часто бываетъ, что человёкъ кажется намъ прекрасенъ только потому, что у него прекрасные, выразительные глаза.

Я пересмотрѣлъ, сколько позволяло мѣсто, главныя принадлежности человѣческой красоты, и мнѣ кажется, что всѣ онѣ производять на насъ впечатлѣніе прекраснаго потому, что въ нихъ мы видимъ проявленіе жизни, какъ понимаемъ ее. Теперь надобно посмотрѣть противоположную сторону предмета, разсмотрѣть, отчего человѣкъ бываетъ некрасивъ.

Причину некрасивости общей фигуры человека всякій укажеть въ томъ, что человекъ, именощій дурную фигуру, — «дурно сложенъ». Мы очень хорошо знаемъ, что уродливость-следствіе болъзни или пагубныхъ случаевъ, отъ которыхъ особенно легко уродуется человъкъ въ первое время развитія. Если жизнь и ея проявленія-красота, очень естественно, что болізнь и ея слідствіябезобразіе. Но челов'ять дурно сложенный — также уродь, только въ меньшей степени, и причины «дурнаго сложенія» тв же самыя, которыя производять уродинесть, только слабее ихъ. Если человъвъ родится горбатымъ — это следствіе несчастныхъ обстоятельствъ, при которыхъ совершалось первое его развитіе; но сутуловатость та же горбатость, только въ меньшей степени, и должна происходить отъ техъ же самыхъ причинъ. Вообще худо сложенный человъкъ — до нъкоторой степени искаженный человъкъ; его фигура говоритъ намъ не о жизни, не о счастливомъ развитіи, а о тяжелыхъ сторонахъ развитія, о неблагопріятныхъ обстоятельствахъ. Отъ общаго очерка фигуры переходимъ къ лицу. Черты его бываютъ нехороши или сами по себв или по своему выраженію. Въ лиць не нравится намъ «злое», «непріятное» выраженіе, потому, что элость — ядъ, отравляющій нашу жизнь. Но гораздо чаще лицо «некрасиво» не по выраженію, а по самымъ чертамъ: черты лица некрасивы бывають въ томъ случав, когда лицевыя кости дурно организованы, когда хрящи и мускулы въ своемъ развитіи болье или менье носять отпечатокь уродливости, т. е. когда первое развитие человъка совершалось въ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ.

Совершенно излишне пускаться въ подробныя доказательства мысли, что красотою въ царствѣ животныхъ кажется человѣку то, въ чемъ выражается по человѣкообразнымъ понятіямъ жизнь свѣжая, полная здоровья и силъ. Въ млекопитающихъ животныхъ, организація которыхъ болѣе близкимъ образомъ сравнивается нашими глазами съ наружностью человѣка, прекраснымъ кажется человѣку округленность формъ, полнота и свѣжесть; кажется прекраснымъ граціозность движеній, потому что граціозными бываютъ движенія какого-нибудь существа тогда, когда оно «хорошо сложено», т. е. напоминаетъ человѣка хорошо сложеннаго, а не урода. Некрасивымъ кажется все «неуклюжее», то есть до нѣкоторой степени уродливое по нашимъ понятіямъ, вездѣ отъискивающимъ

сходство съ человъкомъ. Формы крокодила, ящерицы, черепахи напоминаютъ млекопитающихъ животныхъ, но въ уродливомъ, искаженномъ, нелъпомъ видъ; потому ящерица, черепаха отвратительны. Въ лягушкъ къ непріятности формы присоединяется еще то, что это животное покрыто холодною слизью, какою бываетъ покрытъ трупъ; отъ того лягушка дълается еще отвратительнъе.

Не нужно подробно говорить и о томъ, что въ растеніяхъ намъ нравится свъжесть цвъта и роскошность, богатство формъ, обнаруживающія богатую силами, свъжую жизнь. Увядающее растеніе нехорошо; растеніе, въ которомъ мало жизненныхъ соковъ, нехорошо.

Кром'в того шумъ и движеніе животныхъ напоминаютъ намъ шумъ и движеніе челов'вческой жизни; до н'вкоторой степени напоминаютъ о ней шелестъ растеній, качанье ихъ в'втвей, в в'чно колеблющіеся листочки ихъ — вотъ другой источникъ красоты для насъ въ растительномъ и животномъ царств'в; пейзажъ прекрасенъ тогда, когда оживленъ.

Проводить въ подробности по различнымъ царствамъ природы мысль, что прекрасное есть жизнь и, ближайшимъ образомъ, жизнь, напоминающая о человъкъ и о человъческой жизни, я считаю излишнимъ потому, что есть уже нъсколько курсовъ эстетики, нечуждыхъ мысли, что красоту въ природъ составляетъ то, что напоминаетъ человъка (или выражаясь ихъ терминологіею, предвозвъщаетъ личность), утверждающихъ, что прекрасное въ природъ имъетъ значеніе прекраснаго только какъ намекъ на человъка; потому, показавъ, что прекрасное въ человъкъ—жизнь, не нужно и доказывать, что прекрасное во всъхъ остальныхъ областяхъ дъйствительности, которое становится въ глазахъ человъка прекраснымъ только потому, что служитъ намекомъ на прекрасное въ человъкъ и его жизни, также есть жизнь.

Но нельзя не прибавить, что вообще на природу смотрить человъть глазами владъльца, и на землъ прекраснымъ кажется ему также то, съ чъмъ связано счастіе, довольство человъческой жизни. Солнце и дневной свъть очаровательно прекрасны между прочимъ потому, что въ нихъ источникъ всей жизни въ природъ, и потому, что дневной свъть благотворно дъйствуеть прямо на жизненныя отправленія человъка, возвышая въ немъ органическую дъятель-

ность, а чрезъ это благотворно дъйствуеть даже на расположение нашего духа.

Можно вообще сказать, что, читая въ новейшихъ эстетикахъ мъста, гдъ перечисляются различные виды и качества прекраснаго въ действительности, приходишь въ мысли, что, сознательно поставляя красоту въ полнотъ проявленія идеи, безсознательно принимають ихъ авторы, что полнота жизни и красота въ дъйствительности тожественны. И не только эта мысль кажется лежащею безсознательно въ основаніи взгляда ихъ на прекрасное въ природъ, но и въ самомъ развитіи общей идеи прекраснаго слово «жизнь» попадается въ новъйшихъ остетическихъ сочиненіяхъ такъ часто, что наконецъ можно спросить, есть ли существенное различіе между нашимъ опредъленіемъ: «прекрасное есть жизнь» и обыкновеннымъ определениемъ: «прекрасное есть единство иден и образа»? Такой вопросъ рождается темъ естественнее, что подъ «идеею» въ новъйшей эстетикъ понимается общее понятіе, какъ оно опредъляется всёми подробностями своего действительного существованія», и потому между понятіемъ иден и понятіемъ жизни (или, точнъе, понятіемъ жизненной силы) есть прямая связь. Не есть ли предлагаемое нами опредъленіе только переложеніе на обыкновенный языкъ того, что высказывается въ господствующемъ определени терминологіею спекулятивной философіи?

Мы увидимъ, что есть существенная разница между тъмъ и другимъ способомъ понимать прекрасное. Опредъляя прекрасное какъ полное проявление идеи въ отдъльномъ существъ, мы необходимо прійдемъ къ выводу: «прекрасное въ д'вйствительности только призракъ, влагаемый въ нее нашею фантазіею»; изъ этого будеть следовать, что «собственно говоря, прекрасное создается нашею фантазіею, а въ действительности (или говоря языкомъ спекулятивной философіи: въ природѣ) истинно прекраснаго нѣть»; изъ того, что въ природъ нътъ истинно прекраснаго, будетъ следовать, что «искусство имъетъ своимъ источникомъ стремленіе человъка восполнить недостатки прекраснаго въ объективной действительности», и что «прекрасное, создаваемое искусствомъ, выше прекраснаго въ объективной действительности» -- всё эти мысли составляють сущность господствующихъ нынъ эстетическихъ понятій и занимають столь важное мъсто въ системъ ихъ не случайно, а по строгому догическому развитію основнаго понятія о прекрасномъ.

Напротивъ того, изъ опредъленія: «прекрасное есть жизнь» будеть слідовать, что истинная, высочайшая красота есть именно красота встрівчаемая человінном въ мірів дійствительности, а не красота создаваемая искусствомъ; происхожденіе искусства должно быть при такомъ воззріній на красоту въ дійствительности объясняемо изъ совершенно другаго источника; послів того и существенное значеніе искусства явится совершенно въ другомъ світь.

Итакъ должно сказать, что новое понятіе о сущности прекраснаго, будучи выводомъ изъ такихъ общихъ воззрвній на отношенія дійствительного міра къ воображаемому, которыя совершенно различны отъ господствовавшихъ прежде въ наукъ, приводя къ эстетической системь, также существенно различающейся отъ системъ господствовавшихъ въ последнее время, и само существенно различно отъ прежнихъ понятій о сущности прекраснаго. Но съ твиъ вивств оно представляется какъ ихъ необходимое дальныйшее развитіе. Существенное различіе между господствующею и предлагаемою эстетическими системами будемъ видеть постоянно; чтобы указать на точку теснаго родства между ними, скажемъ, что новое возврвніе объясняеть важивишіе эстетическіе факты, которые выставлялись на видь въ прежней системъ. Такъ напримъръ, изъ опредъленія «прекрасное есть жизнь», становится понятно, почему въ области прекраснаго нътъ отвлеченныхъ мыслей, а есть только индивидуальныя существа — жизнь мы видимъ только въ действительныхъ живыхъ существахъ, а отвлеченныя, общія мысли не входять въ область жизни.

Что касается существеннаго различія прежняго и предлагаемаго нами понятія о прекрасномъ, оно обнаруживается, какъ мы сказали, на каждомъ шагу; первое доказательство этого представляется намъ въ понятіяхъ объ отношеніи къ прекрасному возвышеннаго и комическаго, которыя въ господствующей эстетической системъ признаются соподчиненными видоизмѣненіями прекраснаго, проистекающими отъ различнаго отношенія между двумя его факторами, идеею и образомъ. Въ господствующей системѣ эстетическихъ понятій чистое единство идеи и образа есть то, что называется собственно прекраснымъ; но не всегда бываетъ равновѣсіе между образомъ и идеею: иногда идея беретъ перевѣсъ надъ образомъ и, являясь намъ въ своей всеобщности, безконечности, переноситъ насъ въ область абсолютной идеи, въ область безконечнаго — это

называется возвышеннымъ (das Erhabene); иногда образъ подавляеть, искажаеть идею—это называется комическимъ (das Komische).

Подвергнувъ критикъ коренное понятіе, мы должны подвергнуть ей и вытекающія изъ него воззрънія, должны изслъдовать сущность возвышеннаго и комическаго и ихъ отношенія къ прекрасному.

Господствующая эстетическая система даеть намь два определенія возвышеннаго, какъ давала два определенія прекраснаго «Возвышенное есть перевёсь идеи надъ формою» и «возвышенное есть проявленіе абсолютнаго». Въ сущности эти два опредёленія совершенно различны, какъ существенно различными найдены были нами и два опредёленія прекраснаго, представляемыя господствующею системою; въ самомъ дёлё, перевёсь идеи надъ формою производить не собственно понятіе возвышеннаго, а понятіе «туманнаго, неопредёленнаго» и понятіе «безобразнаго» (das Hässliche); между тёмъ, какъ формула: «возвышенное есть то, что пробуждаеть въ насъ (или, употребляя терминологію спекулятивной философіи: что проявляеть въ себё) идею безконечнаго» остается опредёленіемъ собственно возвышеннаго. Потому каждое изъ нихъ должно разсмотрёть особенно.

Очень легко показать неприложимость къ возвышенному определенія: «возвышенное есть перевёсь идеи надъ образомь», послё того какъ самъ Фишеръ, его принимающій, сділаль это, объяснивъ, что отъ перевъса идеи надъ образомъ (выражая ту же мысль обывновеннымъ языкомъ: отъ превозможенія силы, проявляющейся въ предметъ, надъ всъми стъсняющими ее силами, или, въ природъ органической, надъ законами организма, ее проявляющаго) происходить безобразное или неопредвленное («безобразное» сказаль бы я, еслибъ не боялся впасть въ игру словъ, сопоставляя безобравное и безобрзаное). Оба эти понятія совершенно различны отъ понятія возвышеннаго. Правда, безобразное бываетъ возвышеннымъ, когда оно ужасно; правда, туманная неопределенность усиливаеть впечатавніе возвышеннаго, производимое ужаснымъ или огромнымъ; но безобразное, если оно не страшно, бываетъ просто отвратительно или некрасиво; туманное, неопределенное не производитъ никакого эстетическаго дъйствія, если не огромно или не ужасно. Безобравіемъ или туманною неопределенностью характеризуются не всё роды возвышеннаго; безобразное или неопределенное не всегда

имбетъ характеръ возвышеннаго. Очевидно, что эти понятія раздичны отъ понятія возвышеннаго. «Перевёсь идеи надъ формою», говоря строго, относится къ тому роду событій въ мірѣ нравственномъ и явленій въ міръ матеріальномъ, когда предметь разрушается отъ избытка собственныхъ силъ; неоспоримо, что эти явленія часто имъютъ характеръ чрезвычайно возвышенный; но только тогда, когда сила, разрушающая сосудъ, ее заключающій, уже имбеть характеръ возвышенности, или предметъ, ею разрушаемый, уже кажется намъ возвышеннымъ, независимо отъ своей погибели собственною силою. Иначе о возвышенномъ не будетъ и ръчи. Когда ніагарскій водопадъ, сокрушивъ скалу, его образующую, уничтожится напоромъ собственныхъ силъ; когда Александръ Македонскій погибаеть отъ избытка собственной энергіи, когда Римъ падаетъ собственной тажестью, это явленія возвышенныя; но потому, что ніагарскій водопадъ, Римская Имперія, личность Александра Македонского сами по себъ уже принадлежать области возвышеннаго; какова жизнь, такова и смерть, какова деятельность, таково и паденіе. Тайна возвышенности здісь не въ «перевіст идеи надъ явленіемъ», а въ характеръ самаго явленія; только отъ величія сокрушающагося явленія заимствуеть свою возвышенность и его сокрушеніе. Само по себъ изчезновеніе отъ перевъса внутренней силы надъ ея временнымъ проявленіемъ не есть еще критеріумъ возвышеннаго. Яснъе всего «перевъсъ идеи надъ формою» высказывается въ томъ явленіи, когда зародышъ листа, разростаясь, разрываетъ оболочку почки, его родившей: но это явленіе рішительно не относится къ разряду возвышенныхъ. «Перевъсомъ идеи надъ формою», погибелью самого предмета отъ избытка развивающихся въ немъ силъ, отличается такъ называемая отрицательная форма возвышеннаго отъ положительной. Справедливо, что возвышенное отрицательное выше возвышеннаго положительнаго; потому надобно согласиться, что «перевъсомъ идеи надъ формою» усиливается эффектъ возвышеннаго, какъ можетъ онъ усиливаться многими другими обстоятельствами, напр. уединенностью возвышенного явленія (пирамида въ открытой степи величественне, нежели была бы среди другихъ громадныхъ построекъ; среди высокихъ холмовъ ея величіе исчезло бы); но усиливающее эффекть обстоятельство не есть еще источникъ самаго эффекта; притомъ перевъса идеи надъ образомъ, силы надъ явленіемъ очень часто не бываетъ въ положительномъ возвышенномъ. Примеры этого могуть быть во множестве отъисканы въ каждомъ курсе эстетики.

Переходимъ къ другому опредъленію возвышеннаго: «возвышенное есть проявление идеи безконечнаго», или выражая эту философскую формулу обыкновеннымъ языкомъ: «возвышенное есть то. что возбуждаеть въ насъ идею безконечнаго». Самый бъглый взглядъ на трактать о возвышенномъ въ новейшихъ эстетикахъ убеждаеть насъ, что это определение возвышеннаго лежитъ въ сущности господствующихъ понятій о немъ. Мало того; мысль, что возвышенными явленіями возбуждается въ челов'вк' впредчувствіе безконечнаго, господствуеть и въ понятіяхъ людей, чуждыхъ строгой наукъ: редко можно найти сочинение, въ которомъ не высказывалось бы она, какъ скоро представляется поводъ, хотя самый отдаленный; почти въ каждомъ описаніи величественнаго пейзажа, въ каждомъ разсказъ о какомъ-нибудь ужасномъ событи найдется подобное отступленіе или приміненіе. Потому на мысль о возбужденіи величественнымъ идеи абсолютнаго должно обратить больше вниманія, нежели на предъидущее понятіе о перевъсъ въ немъ идеи надъ образомъ, критику котораго было достаточно ограничить итсколькими словами.

Къ сожальнію, здысь не мысто подвергать анализу идею «абсолюта» или безконечнаго и показывать настоящее значение абсолютнаго въ области метафизическихъ понятій; тогда только, когда мы поймемъ это значение представится намъ вся неосновательность пониманія подъ возвышеннымъ безконечнаго. Но и не пускаясь въ метафизическія пренія, мы можемъ увидеть изъ фактовъ, что идея безконечнаго, какъ бы ни понимать ее, не всегда, или лучше скавать почти никогда, не связана съ идеею возвышеннаго. Строго и безпристрастно наблюдая за тёмъ, что происходить въ насъ, когда мы созерцаемъ возвышенное, мы убъдимся, что 1) возвышеннымъ представляется намъ самый предметь, а не какія-нибудь вызываемыя этимъ предметомъ мысли; такъ, напр., величественъ самъ по себъ Казбевъ, величественно само по себъ море, величественна сама по себъ личность Цезаря или Катона. Конечно, при созерцаніи возвышеннаго предмета могуть пробуждаться въ насъ различнаго рода мысли, усиливающія впечатлівніе, имъ на насъ производимое; но возбуждаются онв или неть, дело случая, независимо отъ котораго предметъ остается возвышеннымъ: мысли и воспоминанія,

усиливающія ощущеніе, рождаются при всякомъ ощущеніи, но онв уже следствіе, а не причина первоначальнаго ощущенія; и если, задумавшись надъ подвигомъ Муція Сцеволы, я дохожу до мысли: «да, безгранична сила патріотизма», то мысль эта только следствіе впечатленія, произведеннаго на меня независимо отъ нея самымъ поступкомъ Муція Сцеволы, а не причина этого впечативнія; точно также, мыслы: «неть инчего на земле прекраснее человека». которая можетъ пробудиться во мнв, когда я задумаюсь, глядя на изображение прекраснаго лица, не причина того, что я восхищаюсь имъ, какъ прекраснымъ, а следствіе того, что оно уже прежде нея. независимо отъ нея кажется мив прекрасно. И потому еслибы даже согласиться, что созерцаніе возвышенняго всегда ведеть къ иде'в безконечнаго, то возвышенное, порождающее такую мыслы, а не порождаемое ею, должно имъть причину своего дъйствія на насъ не въ ней, а въ чемъ-нибудь другомъ. Но разсматривая свое представленіе о возвышенномъ предметь, мы открываемъ, что 2) очень часто предметь кажется намъ возвышень, не переставая въ тоже время казаться далеко не безпредёльнымъ и оставаясь въ ръшительной противоноложности съ идеею безграничности. Такъ Монбланъ или Казбекъ — возвышенный, величественный предметь; но никто изъ насъ не думаетъ, въ противоречіе собственнымъ глазамъ, видъть въ немъ безграничное или неизмъримо великое. Море кажется безпредъльнымъ, когда не видно береговъ; но всъ эстетики утверждають (и совершенно справедливо), что море кажется гораздо величествениве, когда виденъ берегъ, нежели тогда, когда береговъ не видно. Вотъ фактъ, обнаруживающій, что идея возвышеннаго не только не порождается идеею безграничнаго, но даже можеть быть (и часто бываеть) въ противоръчіи съ нею, что условіе безграничности можеть быть невыгодно для впечатленія, производимаго возвышеннымъ. Идемъ далее, пересматривая рядъ величественныхъ явленій по мірь возрастанія эффекта, ими производимаго на чувство возвышеннаго. Гроза одно изъ величественнъйшихъ явленій въ природь; но необходимо имъть слишкомъ восторженное воображеніе, чтобы видёть какую бы то ни было связь между грозою и безконечностью. Во время грозы, мы восхищаемся, думая при этомъ только о самой грозв. «Но во время грозы человъкъ чувствуетъ собственную ничтожность предъ силами природы, силы природы кажутся ему безмерно превышающими его силы».

Что силы грозы кажутся намъ чрезвычайно превышающими наши собственныя силы, это правда; но если явленіе представляется непреоборимымъ для человъка, изъ этого еще не слъдуеть, чтобы оно казалось намъ неизмёримо, безконечно могущественнымъ. Напротивъ, человъкъ, смотря на грозу, очень хорошо помнитъ, что она безсильна надъ землею, что первый ничтожный холмъ непоколебимо отразить весь напоръ урагана, всв удары молніи. Правда, ударъ молнін можеть убить человіка; но чтожь изь того? не эта мысль причиною, что гроза кажется мнв величественною. Когда я смотрю на то, какъ вертятся крылья ветряной мельницы, я также очень хорошо знаю, что, задъвъ меня, мельничное крыло переломить меня, какъ щепку, я «сознаю ничтожность своихъ силъ предъ силою» мельничнаго крыла; а между темъ едвали въ комъ-нибудь взглядъ на вертящуюся вътряную мельницу возбуждаль ощущение возвышеннаго. «Но здёсь не пробуждается во мнё опасеніе за себя; я знаю, что мельничное крыло не зацепить меня; во мне неть чувства ужаса, какое пробуждается грозою» — справедливо; но этимъ говорится уже совершенно не то, что говорилось прежде; этимъ говорится: «возвышенное есть ужасное, грозное». Посмотримъ на это опредвление «возвышеннаго силь природы», которое въ самомъ деле находимъ въ эстетивахъ. Ужасное очень часто бываеть возвышеннымъ, это правда; но не всегда оно бываетъ возвышеннымъ: гремучая вмін, скорпіонь, тарантуль ужаснію льва; но они отвратительно-ужасны, а не возвышенно-ужасны. Чувство ужаса можеть усиливать ощущение возвышеннаго, но ужась и возвышенность два совершенно различныя понятія. Идемъ однако дале по ряду величественныхъ явленій. Въ природѣ мы не видѣли ничего, прямо говорящаго о безграничности; противъ заключенія, выводимаго отсюда, можно замътить, что «истинно возвышенное не въ природъ, а въ самомъ человъкъ; согласимся, хотя и въ природъ много истиню возвышеннаго. Но почему же «возвышенна» кажется намъ «безграничная» любовь или порывъ «всесокрушающаго» гнѣва? неужели потому, что сила этихъ стремленій «неододима», пробуждаетъ идею безконечнаго своею неодолимостью»? Если такъ, то гораздо неодолимъе потребность спать: самый страстный любовнивъ едвали можетъ пробыть безъ сна четверо сутокъ; гораздо неодолимье потребности «любить» потребность всть и пить: это истинно безграничная потребность, потому что нъть человъка, не признающаго силы ея, между темъ какъ о любви очень многіе не имеють и понятія: изъ-за этой потребности совершается гораздо больше и гораздо труднейшихъ подвиговъ, нежели отъ «всесильнаго» могущества любви. Почему же мысль о еде и питье не возвышенна, а идея любви возвышенна? Непреоборимость не есть еще возвышенность; безграничность и безконечность вовсе не связаны съ идеею величественнаго.

Едвали можно послѣ этого раздѣлять мысль, что «возвышенное есть перевѣсъ идеи надъ формою», или что «сущность возвышеннаго состоить въ пробужденіи идеи безконечнаго». Въ чемъ же состоить она? Очень простое опредѣленіе возвышеннаго будеть, кажется, вполнѣ обнимать и достаточно объяснять всѣ явленія, относящіяся къ его области.

«Возвышенное есть то, что гораздо больше всего, съ чёмъ сравнивается нами».—«Возвышенный предметь—предметь, много превосходящій своимъ разміромъ предметы, съ которыми сравнивается нами; возвышенно явленіе, которое гораздо сильніе другихъ явленій, съ которыми сравнивается нами».

Монбланъ и Казбекъ величественныя горы, потому что гораздо огромнее дюжинныхъ горъ и пригорковъ, которые мы привыкли видъть; «величественный» лъсь въ двадцать разъ выше нашихъ яблонь, акапій и въ тысячу разъ огромніве нашихъ садовъ и рощъ; Волга гораздо шире Тверцы или Клязьмы; гладкая площадь моря гораздо общириве площади прудовъ и маленькихъ озеръ, которыя безпрестанно попадаются путещественнику; волны моря гораздо выше волнъ этихъ озеръ, потому буря на морв возвышенное явленіе, хотя бы никому не угрожала опасностью; свирыный вытерь во время грозы во сто разъ сильне обыкновеннаго ветра, шумъ и ревъ его гораздо сильнъе шума и свиста, производимаго обыкновеннымъ крепкимъ ветромъ; во время грозы гораздо темнее, нежели въ обывновенное время, темнота доходить до черноты; молнія ослешительные всякаго света-все это делаеть грозу возвышеннымъ явленіемъ. Любовь гораздо сильнее нашихъ ежедневныхъ мелочныхъ разсчетовъ и побужденій; гифвъ, ревность, всякая вообще страсть также гораздо сильнее ихъ-потому страсть возвышенное явленіе. Юлій Цезарь, Отелло, Дездемона, Офелія возвышенныя личности; потому что Юлій Цезарь, какъ полководець и государственный человъвъ далеко выше всъхъ полководцевъ и государственныхъ людей своего времени; Отелло любитъ и ревнуетъ гораздо сильнъе дюжинныхъ людей; Дездемона и Офелія любятъ и страдаютъ съ такою полною преданностью, способность къ которой найдется далеко не во всякой женщинъ. «Гораздо больше, гораздо сильнъе»—вотъ отличительная черта возвышеннаго.

Надобно прибавить, что вивсто термина «возвышенное» (das Erhabene) было бы гораздо проще, характеристичнее и лучше говорить «великое» (das Grosse). Юлій Цезарь, Марій не «возвышенные», а «великіе» характеры. Нравственная возвышенность только одинъ частный родъ величія вообще.

Просмотрѣвъ лучшіе курсы эстетики, легко убѣдиться, что въ нашемъ краткомъ обзорѣ подведены подъ принимаемое нами понятіе возвышеннаго или великаго всѣ его главныя видоизмѣненія. Остается показать, какъ принимаемое нами воззрѣніе на сущность возвышеннаго относится къ подобнымъ мыслямъ, высказаннымъ въ извѣстныхъ нынѣ курсахъ эстетики.

О томъ, что «возвышенность» следствіе превосходства надъ окружающимъ, говорится у Канта, и въ следъ за нимъ у позднейшихъ эстетиковъ: «мы сравниваемъ, говорять они, возвышенное въ пространствъ съ окружающими его предметами; для этого на возвышенномъ предметь должны быть легкія подраздъленія, дающія возможность, сравнивая, считать, во сколько разъ онъ больше окружающихъ его предметовъ, во сколько разъ, напр., гора больше дерева, растущаго на ней. Счеть такъ длиненъ, что не дошедши до конца, мы уже теряемся въ немъ; окончивъ его, должны опять начинать, потому что не могли сосчитать, и считаемъ опять безъуспѣшно. Такимъ образомъ намъ кажется наконецъ, что гора неизмъримо велика, безконечно велика». — «Сравненіе съ окружающими предметами необходимо для того, чтобы предметь казался возвышеннымъ», --- мысль очень близкая въ принимаемому нами воззрънію на основной признавъ возвышеннаго. Но обывновенно она прилагается только въ возвышенному въ пространстве, между темъ какъ ее должно одинаково проводить по всёмъ родамъ возвышеннаго: обыкновенно говорять: «возвышенное состоить въ превозможеніи идеи надъ формою, и это превозможеніе на низшихъ степеняхъ возвышеннаго узнается сравненіемъ предмета по величинъ съ окружающими предметами»; намъ кажется, что должно говорить: «превосходство великаго (или возвышеннаго) надъ мелкимъ и дюжиннымъ состоитъ въ гораздо большей величинъ (возвышенное въ пространствъ или во времени) или въ гораздо большей силъ (возвышенное силъ природы и возвышенное въ человъкъ)». Изъ второстепеннаго и частнаго признака возвышенности сравнение и превосходство по великости должно быть возведено въ главную и общую мысль при опредълении возвышеннаго.

Такимъ образомъ принимаемое нами понятіе возвыщеннаго точно такъ же относится къ обыкновенному опредвленію его, какъ наше понятіе о сущности прекраснаго къ прежнему взгляду-въ обоихъ случаяхъ возводится на степень общаго и существеннаго начала то, что прежде считалось частнымъ и второстепеннымъ признакомъ, было закрываемо отъ вниманія другими понятіями, которыя мы отбрасываемъ, какъ побочныя. Вследствіе измененія точки зренія и возвышенное, подобно прекрасному, представляется намъ какъ явленіе болье самостоятельное и однакоже болье близкое человьку, нежели представлялось. Съ темъ вместе наше возарение на сущность возвышенного признаеть его фактическую реальность, между темъ какъ обыкновенно полагаютъ, будто бы возвышенное въ действительности только кажется возвышеннымь отъ вмешательства. нашей фантазін, расширяющей до безграничности объемъ или силу возвышеннаго предмета или явленія. И д'явствительно, если возвышенное существенно есть безконечное, то возвышеннаго нётъ въміръ, доступномъ нашимъ чувствамъ и нашему уму.

Но если по опредвленіямъ прекраснаго и возвышеннаго, нами принимаемымъ, прекрасному и возвышенному придается независимость отъ фантазіи; то съ другой стороны этими опредвленіями выставляется на первый планъ отношеніе къ человѣку вообще и къ его понятіямъ тѣхъ предметовъ и явленій, которыя находитъчеловѣкъ прекрасными и возвышенными: прекрасное то, въ чемъмы видимъ жизнь такъ, кака мы понимаемъ и желаемъ ея, какъ она радуетъ на съ; великое то, что гораздо выше предметовъ, съ которыми сравниваемъ его мы. Изъ обыкновенныхъ опредвленій напротивъ, по странному противорѣчію, слѣдуетъ: прекрасное и великое вносятся въ дѣйствительность человѣческимъ взглядомъ на вещи, создаются человѣкомъ, но не имѣютъ никакой связи съ понятіями человѣка, съ его взглядомъ на вещи. Ясно также, что опредвленіями прекраснаго и возвышеннаго, которыя кажутся намъсправедливыми, разрушается непосредственная связь этихъ понятій,

подчиняемых одно другому опредвленіями: «прекрасное есть равновісіе идеи и образа», «возвышенное есть перевісь идеи надъ образомъ». Въ самомъ ділів, принимая опредвленіе: «прекрасное есть жизнь», «возвышенное есть то, что гораздо больше всего близкаго или подобнаго», мы должны будемъ сказать, что прекрасное и возвышенное — совершенно различныя понятія, неподчиненныя другь другу и соподчиненныя только одному общему понятій, очень далекому отъ такъ называемыхъ эстетическихъ понятій: «интересное».

Потому, если эстетика—наука о прекрасномъ по содержанію, то она не имѣетъ права говорить о возвышенномъ, какъ не имѣетъ права говорить о добромъ, истинномъ и т. д. Если же понимать подъ эстетикою науку объ искусствъ, то конечно она должна говорить о возвышенномъ; потому что возвышенное входитъ въ область искусства.

Но говоря о возвышенномъ, до сихъ поръ мы не касались трагическаго, которое обыкновенно признаютъ высшимъ глубочайшимъ родомъ возвышеннаго. Господствующія нынѣ въ наукѣ понятія о трагическомъ играютъ очень важную роль не только въ эстетикѣ, но и во многихъ другихъ наукахъ (напр., въ исторіи), даже сливаются съ обиходными понятіями о жизни. Поэтому я считаю неизлишнимъ довольно подробно изложить ихъ, чтобы дать основаніе своей критикѣ. Въ изложеніи буду я строго слѣдовать Фишеру, котораго эстетика нынѣ считается наилучшею въ Германіи.

«Субъектъ по своей природъ существо дъятельное. Дъйствуя, онъ переносить во внъшній міръ свою волю и тъмъ самымъ приходить въ столкновеніе съ закономъ необходимости, владычествующимъ во внъшнемъ міръ. Но дъйствіе субъекта необходимо запечатить и индивидуальною ограниченностью и потому нарушаетъ абсолютное единство объективной связи міра. Это оскорбленіе есть вина (die Schuld), и отзывается въ субъектъ тъмъ, что связанный узами единства внъшній міръ весь какъ одно цълое взволновывается дъйствіемъ субъекта и чрезъ это отдъльный поступокъ субъекта влечеть за собою необозримый и непредусмотримый рядъ послъдствій, въ которыхъ субъектъ уже не узнаетъ своего поступка и своей воли; тъмъ не менъе онъ долженъ признавать необходимую связь всъхъ этихъ послъдующихъ явленій со своимъ поступкомъ и чувствовать себя въ отвътственности за нихъ. Отвътственность за то, чего не хотълъ, и что однако сдълалъ субъектъ, имъетъ для него

последствиемъ страдание, -т. е. выражение противодействия отъ нарушеннаго хода вещей во вившнемъ міръ нарушившему ихъ дъйствію. Необходимость этого противодійствія и страданія усиливается темь, что угрожаемый субьекть предвидить последствія. предвидить вло себъ, но подвергается ему чрезъ тъ самыя средства. которыми хотель избежать его. Страданіе можеть усилиться до погибели субъекта и его дела. Но дело субъекта погибаетъ только повидимому, погибаеть не совершенно: объективный рядь последствій переживаеть погибель субъекта и, мало-по-малу сливаясь съ всеобщимъ единствомъ, очищается отъ своей индивидуальной ограниченности, полученной отъ субъекта. Если субъектъ, погибая. усвояетъ себъ это сознаніе правдивости своего страданія и того, что дело его не погибаеть, а очищается и торжествуеть его погибелью, то примиреніе полно, и самъ субъекть просвітленнымъ образомъ переживаетъ себя въ своемъ очищающемся и торжествующемъ дълъ. Все это движение называется судьбою или «трагическимъ». Трагическое бываеть различныхъ родовъ. Первая форма его та, когда субъектъ является не фактически, а только въ возможности виновнымъ, и когда поэтому сила, его губящая, является сленою силою природы, которая на отдельномъ субъекте, отличающемся болье внышнимь блескомь богатства и т. п., нежели внутренними достоинствами, показываеть примъръ, что индивидуальное должно погибнуть потому, что оно индивидуальное. Погибель субъекта исходить здёсь не отъ нравственнаго закона, а отъ случая, который однако находить себь объяснение и оправдание въ примиряющей мысли, что смерть — всеобщая необходимость. Въ трагическомъ простой вины (die einfache Schuld) возможность вины переходить въ дъйствительную вину. Но вина лежить не въ необходимомъ объективномъ противорѣчіи, а въ какой-нибуль запутанности, связанной съ дъйствіемъ субъекта. Вина эта нарушаетъ въ чемъ-нибудь правственную целость міра. Чрезъ нее страдають другіе субъекты, такъ какъ вина здёсь на одной стороне, то сначала кажется, что они страдають невинно. Но въ такомъ случав субъекты были бы чистымъ объектомъ для другаго субъекта, что противоръчитъ значенію субъективности. Потому они должны открыть къ себъ слабую сторону какою вибудь ошибкою, находящеюся въ связи съ ихъ сильными сторонами, и погибать чрезъ эту слабую сторону; страданіе главнаго субъекта, какъ обратная сторона его

поступка, истекаеть силою оскорбленнаго нравственнаго порядка изъ самой вины. Орудіемъ наказанія могуть быть или оскорбленные субъекты или самъ преступникъ, сознающій свою вину. Наконецъ высшая форма трагического — трагическое нравственного столкновенія. Общій нравственный законъ дробится на частныя требованія, которыя часто могуть находиться въ противоположности между собою, такъ что, удовлетворяя одному, человъкъ необходимо оскорбляеть другое. Борьба эта, истекающая изъ внутренней необходимости, а не изъ случайностей, можетъ оставаться внутреннею борьбою въ сердце одного человека. Такова борьба въ сердце Антигоны у Софокла. Но какъ искусство олицетворяетъ все въ отдъльныхъ образахъ, то обыкновенно борьба двухъ требованій правственнаго закона представляется въ искусствъ борьбою двухъ лицъ. Одно изъ двухъ противоръчащихъ стремленій справедливъе и потому сильнее другого; оно сначала побеждаеть все, ему сопротивляющееся, и темъ самымъ становится уже несправедливо, подавляя справедливое право противоположнаго стремленія. Теперь справедливость на сторонь, которая сначала была побъждена, и стремленіе, въ сущности болье справедливое, погибаеть подъ тяжестью собственной несправедливости отъ ударовъ противоположнаго стремленія, которое, будучи оскорблено въ своемъ правъ, имъетъ за собой, въ началь противодъйствія, всю силу истины и справедливости, но, побъждая впадаеть само точно такимъ же образомъ въ несправедливость, влекущую за собою погибель или страданіе. Прекрасно весь этоть родь трагическаго развивается въ «Юлів Цезарв» Шекспира: Римъ стремится къ монархической формъ правленія; представителемъ этого стремленія является Юлій Цезарь; оно справедливъе и потому сильнъе противоположнаго направленія, стремящагося сохранить издавна установившееся устрой ство Рима; Юлій Цезарь побъждаеть Помпея. Но существующее издавна также имъетъ право существовать, оно возстаетъ противъ своего побъдителя въ лицъ Брута. Цезарь погибаетъ; но ваговорщики сами мучатся сознаніемъ того, что Цезарь, погибшій отъ нихъ, выше ихъ, и сила, которой онъ былъ представителемъ, воскресаеть въ лицъ Тріумвировъ. Брутъ и Кассій погибають; но на гробь Брута Антоній и Октавій высказывають свое сожальніе о немъ. Такъ совершается наконецъ примиреніе противоположныхъ стремленій, изъ которыхъ каждое и справедливо и несправедливо

въ своей односторонности, которая постепенно сглаживается паденіемъ каждаго изъ нихъ; изъ борьбы и погибели возникаетъ единство и новая жизнь».

Изъ этого изложенія видно. что понятіе трагическаго въ німецкой эстетикъ соединяется съ понятіемъ судьбы, такъ что трагическая участь человъка представляется обывновенно какъ «столкновеніе человіка съ судьбою», какъ слідствіе «вмізшательства судьбы». Понятіе судьбы обыкновенно искажается въ новыхъ европейскихъ книгахъ, старающихся объяснить его нашими научными понятіями, даже связать съ ними; потому необходимо представить его во всей чистотв и наготв. Оно чрезъ это избавится отъ несообразнаго смъщенія съ понятіями науки, въ сущности ему противоречащими, и выкажеть всю свою неосновательность, которая прячется при новъйшихъ передълкахъ его на наши нравы. Живое и неподдельное понятие о судьов было у старинныхъ грековъ (т. е. у грековъ до появленія у нихъ философіи) и до сихъ поръ живетъ у многихъ восточныхъ народовъ; оно господствуетъ въ разсказахъ Геродота, въ греческихъ минахъ, въ индійскихъ поэмахъ, сказкахъ Тысячи и одной ночи и проч. Что касается позднейшихъ превращеній этого основнаго возарвнія подъ вліяніемъ понятій о мірв, доставленныхъ наукою, эти видоизм'яненія мы считаемъ лишнимъ исчислять, и еще менье находимъ нужды подвергать ихъ особенной критикъ, потому что всъ они, подобно понятію новъйшихъ эстетиковъ о трагическомъ, представляясь слёдствіемъ стремленія согласить непримиримое-фантастическія представленія полудикаго и научныя понятія—страждуть такою же несостоятельностью, какъ и понятіе новъйшихъ эстетиковъ о трагическомъ: различіе только то, что натянутость соединенія противоположных в началь въ предшествующихъ попыткахъ сближенія была очевиднее, нежели въ понятін о трагическомъ, которое составлено съ чрезвычайнымъ діалектическимъ глубокомысліемъ. Поэтому не считаемъ за нужное излагать всв эти искаженныя понятія о судьбв, считая достаточнымъ показать, какъ угловато видивется первоначальная основа даже изъ-подъ последней и искуснейшей діалектической одежды, которою облеклась она въ господствующемъ нынъ эстетическомъ возэрвній на трагическое.

Воть какъ понимають ходъ жизни человъческой народы, имъющіе неподдъльное понятіе о судьбъ: если я не буду принимать ни-

какихъ предосторожностей противъ несчастія, я могу уцілівть, и почти всегда управю; но если я приму предосторожности, я непременно погибну, и погибну именно отъ того, въ чемъ искалъ спасенія. Я собираюсь въ дорогу, и принимаю всв предосторожности противъ несчастій, могущихъ случиться въ дорогв; между прочимъ, зная, что не вездъ можно найти медицинскія пособія, беру съ собой нъсколько флакончиковъ съ нужнъйшими лекарствами и прячу ихъ въ боковой карманъ экипажа. Что необходимо должно выйти изъ этого по понятіямъ старинныхъ грековъ? То, что экипажь мой опрокидывается въ дорогь, флакончики летять изъ кармана; опрокидываясь самъ, я попадаю вискомъ на одинъ изъ флакончиковъ, раздавливаю его, осколокъ стекла врезывается въ мой високъ и я умираю. Еслибы не взято было мною предосторожностей, не было бы мив никакой беды; но я хотель принять меры противъ несчастія и погибъ отъ того самаго, въ чемъ искаль безопасности. Подобный взглядь на человеческую жизнь такъ мало подходить въ нашимъ понятіямъ, что имфеть для насъ интересъ только фантастическаго; трагедія, основанная на идев восточной или старинной греческой судьбы, для насъ будеть имъть значение сказки, обезображенной передълкою. А между тымъ, все представленное нами изложение понятий о трагическомъ въ нъмецкой эстетике есть только опыть привести понятіе о судьбе въ согласіе съ понятіями современной науки. Это введеніе понятія о судьб'в въ науку посредствомъ эстетическаго воззрвнія на сущность трагическаго было сделано съ чрезвычайнымъ глубокомысліемъ, свидетельствующимъ о великой силъ умовъ, трудившихся надъ примиреніемъ чуждыхъ науків возарівній на жизнь съ понятіями науки; но эта глубокомысленная попытка служить решительнымь доказательствомъ того, что подобныя стремленія никогда не могуть быть успѣшны: наука можеты только объяснить происхождение фантастическихъ мнвній полудикаго человвка, но не примирить ихъ съ истиною. Понятіе о судьбъ родилось и развилось следующимъ образомъ.

Одно изъ дъйствій образованности на человъва состоитъ въ томъ, что она, расширяя кругь его зрѣнія, даеть ему возможность понимать въ истинномъ смыслѣ явленія, несходныя съ ближайшими къ нему, которыя одни только кажутся удобопонятными для необразованнаго ума, не постигающаго явленій чуждыхъ непосредственной сферѣ его жизненныхъ отправленій. Наука даетъ чело-

въку понятіе о томъ, что жизнь природы, жизнь растеній и животныхъ совершенно отлична отъ человъческой жизни. Дикарь или полудикій человікь не представляеть себі жизни иной, какь та, которую знаеть онъ непосредственно, какъ человеческая жизнь; ему кажется, что дерево говорить, чувствуеть, наслаждается и страдаеть, подобно человеку; что животныя действують такъ же сознательно, какъ человъкъ-у нихъ свой языкъ; даже и на человъческомъ языкъ не говорять они только потому, что хитры и надъются выиграть молчаніемъ больше, нежели разговорами. Точно такъ же онъ воображаетъ себъ жизнь ръки, скалы: скала-это окаменъвшій богатырь, сохранившій чувства и мысль; ръка-ото наяда, русалка, водяной. Землетрясенія Сициліи происходять оттого, что гиганть, заваленный этимъ островомъ, старается сбросить тяжесть, которая лежить на его членахь. Во всей природь видить дикарь человъкоподобную жизнь, всъ явленія природы производить оть сознательнаго действія человекообразных существъ. Какъ онъ очеловъчиваетъ вътеръ, холодъ, жаръ (припомнимъ нашу сказку о томъ, какъ спорили мужикъ-вътеръ, мужикъ-морозъ, мужикъ-солнце, кто изъ нихъ сильнее), болезни (разсказы о холере, о двенадцати сестрахъ-лихорадкахъ, о цынгъ-послъдній между шпицбергенскими промышленниками), точно такъ же очеловъчиваеть онъ и силу случая. Приписывать его действія произволу человекообразнаго существа еще легче, нежели объяснять подобнымъ образомъ другія явленія природы и жизни; потому что именно действія случая скорее, нежели явленія другихъ силь, могуть пробудить мысль о капризъ, произволь, о всых тых качествахь, которыя составляють исключительную принадлежность человеческой личности. Посмотримъ же, какимъ образомъ изъ воззрвнія на случай, какъ на двло человекообразнаго существа, развиваются всв качества, приписываемыя судьбв дикими и полудикими народами. Чвив важиве дело, задуманное человъкомъ, тъмъ больше нужно условій, чтобы оно исполнилось именно такъ, какъ задумано; почти никогда все условія не встретятся такъ, какъ человекъ разсчитываль; и потому почти никогда важное дело не делается именно такъ, какъ предполагалъ человъкъ. Эта случайность, разстроивающая наши планы, кажется полудикому человъку, какъ мы сказали, дъломъ человъкообразнаго существа, судьбы; изъ этого основнаго характера, замізчаемаго въ случав, или судьбъ, сами собою следують все качества, прида-

ваемыя судьбъ современными дикарями, очень многими восточными народами и старинными греками. Ясно, что самыя важныя дёла именно и служать игралищемъ судьбы (потому, какъ мы сказали, что чемъ важнее дело, темъ отъ большаго числа условій оно зависить, и следовательно темъ общирне въ немъ поле для случайностей), идемъ далве. Случай уничтожаетъ наши разсчеты — значитъ судьба любитъ уничтожать наши разсчеты, любитъ посмъяться надъ человъкомъ и его разсчетами; случай невозможно предусмотреть, - невозможно сказать, почему случилось такъ, а не иначеследовательно судьба капризна, своенравна; случай часто пагубенъ для человъка — следовательно судьба любить вредить человъку, судьба зла, и въ самомъ дълъ у грековъ судьба — человъконенавистница; влой и сильный человъкъ любить вредить именно самымъ лучшимъ, самымъ умнымъ, самымъ счастливымъ людямъ ихъ преимущественно любитъ губить и судьба; злобный, капризный и очень сильный человекъ любить выказать свое могущество, говоря напередъ тому, кого хочеть уничтожить: «я хочу сдёлать съ тобою вотъ-что; попробуй бороться со мною»-такъ и судьба объявляеть впередъ свои решенія, чтобъ иметь злую радость доказать намъ наше безсиле предъ нею и посмъяться надъ нашими слабыми, безуспешными попытками бороться съ нею, избежать ея. Странными кажутся намъ теперь подобныя мивнія. Но посмотримъ, какъ они отразились въ эстетической теоріи трагическаго.

Она говоритъ: свободное дъйствіе человъка возмущаеть естественный ходъ природы; природа и ея законы возстають противъ оскорбителя своихъ правъ; слъдствіемъ этого бываеть страданіе и погибель дъйствующаго лица, если дъйствіе было такъ могущественно, что вызванное имъ противодъйствіе было серьезно: «потому все великое подлежитъ трагической участи». Природа здъсь представляется живымъ существомъ, чрезвычайно раздражительнымъ, чрезвычайно щекотливымъ насчеть своей неприкосновенности. Неужели въ самомъ дълъ природа оскорбляется? неужели въ самомъ дълъ природа мститъ? нътъ; она продолжаетъ въчно дъйствовать по своимъ законамъ, она не знаетъ о человъкъ и его дълахъ, о его счастіи и его погибели; ея законы могутъ имъть и часто имъютъ пагубное для человъка и его дълъ дъйствіе; но на нихъ же опирается всякое человъческое дъйствіе. Природа безстрастна къ человъку; она не врагъ и не другь ему: она—то удобное, то неудоб-

ное поприще для его д'ятельности. Въ томъ нътъ сомнанія, что всякое важное дело человека требуеть сильной борьбы съ природою или съ другими людьми; но почему это такъ? потому только, что какъ бы ни было само по себъ важно дъло, мы привыкли не считать его важнымъ, если оно совершается безъ сильной борьбы. Такъ дыханіе важиве всего въ жизни человека; но мы не обращаемъ и вниманія на него, потому что ему обыкновенно не противостоять никакія препятствія; для дикаря, питающагося даромъ ему достающимися плодами хлебнаго дерева, и для европейца, которому хавоъ достается только чрезъ тяжелую работу земледвлія, пища одинаково важна; но собираніе плодовъ хлібнаго дерева — «не важное» дело, потому, что оно легко; «важно» земледеліе, потому что оно тяжело. Итакъ: не всв важныя по существенному значенію своему діла требують борьбы; но мы привыкли называть важными только тв изъ важныхъ въ сущности дель, которыя трудны. Много есть драгоценныхъ вещей, которыя не имеють никакой цёны, потому что достаются даромъ, напр. вода и солнечный свёть; и много есть очень важныхъ дёлъ, которымъ не придается никакой важности, потому только, что они делаются легко. Но согласимся съ обывновенною фразеологіею; пусть важны будуть только тв двла, которыя требують тяжелой борьбы. Неужели эта борьба всегда трагична? вовсе нътъ; иногда трагична, иногда нетрагична, какъ случится. Мореходецъ борется съ моремъ, бурями, подводными скалами; тяжело его поприще; но развѣ необходимо этому поприщу быть трагичнымь? на одинъ корабль, который будетъ разбитъ бурею о подводныя скалы, приходится сотня кораблей, которые невредимы достигають гавани. Пусть всегда нужна борьба; но не всегда борьба бываеть носчастна. А счастливая борьба, какъ бы ни была она тяжела, не страданіе, а наслажденіе, не трагична, а только драматична. И не правда ли, что если приняты всв нужныя предосторожности, то почти всегда дело кончается счастливо? Где же необходимость трагического въ природъ? Трагическое въ борьбъ съ природою случайность. Этимъ однимъ разрушается теорія, видящая въ немъ «законъ вселенной». -- «Но общество? но другіе люди? развъ не долженъ выдержать съ ними тяжелую борьбу всякій великій челов'якъ»? Опять надобно сказать, что не всегда сопряжены съ тяжелою борьбою великія событія въ исторіи, но что мы, по злоупотребленію языка, привыкли называть великими собы-

тіями только тв, которыя были сопряжены съ тяжелою борьбою. Крещеніи франковъ было великимъ событіемъ; но где же при немъ тяжелая борьба? Не было тяжелой борьбы и при крещеніи русскихъ. Трагична ли судьба великихъ людей? Иногда трагична, иногда не трагична, какъ и участь мелкихъ людей; необходимости туть нёть никакой. И даже надобно вообще сказать, что участь великихъ людей обыкновенно бываетъ легче участи незамвчательныхъ людей; впрочемъ опять не отъ особеннаго расположенія судьбы въ замвчательнымъ или нерасположенія къ незамвчательнымъ дюдямъ, а просто потому, что у первыхъ больше силъ, ума, энергін, что другіе люди больше питають къ нимъ уваженія, сочувствія, скорфе готовы содъйствовать имъ. Если въ людяхъ есть наклонность завидовать чужому величію, то еще больше въ нихъ наклонности уважать величіе; общество будеть благогов'ять предъ великимъ челов'якомъ, если нътъ особенныхъ, случайныхъ причинъ обществу считать его вреднымъ для себя. Трагична или не трагична судьба великаго человъка, зависить отъ обстоятельствъ; и въ исторіи меньше можно встретить великихъ людей, участь которыхъ была трагична, нежели такихъ. въ жизни которыхъ много было драматизма, но не было трагичности. Крезъ, Помпей, Юлій Цезарь имели трагическую судьбу; но Нума Помпилій, Марій, Сулла, Августь окончили свое поприще очень счастливо. Что можно найти трагическаго въ судьбъ Карла Великаго, Петра Великаго, Фридриха II, въ жизни Лютера, Вольтера, Гёте, Вальтеръ-Скотта? Борьбы въ жизни этихъ людей было много; но, говоря вообще, надобно сознаться, что удача и счастіе были на ихъ сторонъ. А если Сервантесъ умеръ въ нищетъ, то развъ не умирають въ нищетъ тысячи незамъчательныхъ людей, которые могли бы не меньше Сервантеса разсчитывать на счастиивую развязку въ жизни и по своей незначительности вовсе не могли подлежать закону трагизма? Случайности жизни безразлично поражають замечательныхь и незамечательныхь людей, безразлично благопріятствують тімь и другимь. Но продолжаемь нашь обзорь и отъ общаго понятія о трагическомъ переходимъ къ трагическому «простой вины».

«Въ характерѣ великаго человѣка, — говорить господствующая эстетическая теорія, —всегда есть слабая сторона; въ дѣйствованіи замѣчательнаго человѣка есть всегда что-нибудь ошибочное или преступное. Эта слабость, проступокъ, преступленіе губять его. А

между темъ они необходимо лежать въ глубине его характера, такъ что великій человёкъ гибнеть отъ того же самаго, въ чемъ источникъ его величія». Не подвержено никакому сомнѣнію: что часто бываеть это на самомь дёль: безконечныя войны возвысили Наполеона; онъ же и низвергли его; почти то же было и съ Людовикомъ XIV. Но не всегда бываетъ такъ. Часто великій человъкъ погибаетъ безъ всякой вины съ своей стороны. Такъ погибъ Генрихъ IV и съ нимъ вместе палъ Сюлли. До некоторой степени это безвинное паденіе находимъ и въ трагедіяхъ, несмотря на то что авторы ихъ бывали связаны своими понятіями: неужели Дездемона была въ самомъ деле причиною своей погибели? всякій видить, что одив гнусныя хитрости Яго погубили ее. Неужели Ромео и Джульетта сами причиною своей погибели? Конечно, если мы захотимъ непременно въ каждомъ погибающемъ видеть преступника, то можемъ обвинять всёхъ: Дездемона виновата тёмъ, что была невинна душою и следовательно не могла предвидеть клеветы; Ромео и Джульетта виноваты тёмъ, что любятъ другь друга. Мысль видеть въ каждомъ погибающемъ виноватаго-мысль натянутая и жестокая. Связь ея съ идеею греческой судьбы и различными ея видоизмёненіями очень ясна. Здёсь можно указать на одну сторону этой связи: по греческимъ понятіямъ о судьбі, въ погибели своей бываеть всегда виновать самъ человъкъ; еслибы онъ поступилъ иначе, его не постигла бы погибель.

Другой родъ трагическаго, трагическое нравственнаго столкновенія, эстетика выводить изъ той же мысли, только взятой наобороть: въ трагическомъ простой вины основаніемъ трагической судьбы считають мнимую истину, что каждое бёдствіе, и особенно величайшее изъ бёдствій, погибель, есть слёдствіе преступленія; въ трагическомъ нравственнаго столкновенія новѣйшіе эстетики исходять отъ мысли, что за преступленіемъ всегда слёдуетъ наказаніе преступника или погибелью или мученіями его собственной совѣсти. И эта мысль явнымъ образомъ ведетъ свое начало отъ преданія о фуріяхъ, бичующихъ преступника. Само собою разумѣется, что въ ней подъ преступленіями разумѣются не въ частности уголовныя преступленія, которыя всегда наказываются государственными законами, а вообще нравственным преступленія, которыя могутъ быть наказаны только или стеченіемъ обстоятельствъ, или общественнымъ мнёніемъ, или совѣстью самого преступника.

Что касается до наказанія посредствомъ стеченія обстоятельствъ, то мы уже давно подсививаемся надъ старинными романами, въ которыхъ «всегда подъ конецъ торжествовала добродетель и наказывался порокъ». Правда, мы могли бы не забывать при томъ, что и въ наше время пишутся подобные романы (въ примъръ укажемъ на большую часть Диккенсовыхъ). Но мы во всякомъ случав начинаемъ понимать, что земля не мъсто суда, а мъсто жизни. Однако романистамъ и эстетикамъ все-таки непременно хочется, чтобы порокъ и преступление наказывались на землъ. И вотъ явилась теорія, утверждающая, что они всегда наказываются общественнымъ мивніемъ и угрызеніями совести. Но и это бываеть не всегда. Что касается до общественнаго мевнія, то оно преследуеть далеко не всв нравственныя преступленія. А если голось общества не пробуждаеть ежеминутно нашей совъсти, то въ самой большей части случаевъ она и не проснется въ насъ, или, проснувщись, очень скоро заснеть. Всякій образованный человікь понимаеть, какъ сившно смотръть на мірь тыми глазами, какими смотрыли греки геродотовскихъ временъ; всякій ныев очень хорошо понимаетъ, что въ страданіи и погибели великихъ людей нізть ничего необходимаго; что не всякій гибнущій человікь гибнеть за свои преступленія, что не всякій преступникъ погибаеть; что не всякое преступленіе наказывается судомъ общественнаго мивнія, и проч. Потому нельзя не сказать, что трагическое не всегда пробуждаеть въ насъ идею необходимости и что вовсе не въ идев необходимости основаніе д'яйствія его на челов'яка и сущность его. Въ чемъ же сущность трагическаго?

Трагическое есть страданіе или погибель человіва — этого совершенно достаточно, чтобы исполнить насъ ужасомъ и состраданіемь, хотя бы въ этомъ страданіи, въ этой погибели и не проявлялась никакая «безконечно могущественная и неотразимая сила». Случай или необходимость причина страданія и погибели человіва — все равно, страданіе и погибель ужасны. Намъ говорять: «чисто случайная погибель — нелічность въ трагедіяхъ, писанныхъ авторами, можеть быть; въ дійствительной жизни — ніть. Въ поэзіи авторъ считаеть необходимою обязанностью «выводить развязку изъ самой завязки»; въ жизни развязка часто совершенно случайна, и трагическая участь можеть быть совершенно случайною, не переставая быть трагическою. Мы согласны,

что трагична участь Макбета и лэди Макбеть, необходимо вытекающая изъ ихъ положенія и дёль. Но неужели не трагична участь Густава-Адольфа, который погибъ совершенно случайно въ битвъ подъ Люценомъ, на пути торжества и победъ? Опредёленіе:

трагическое есть ужасное въ человъческой жизни,

кажется, будеть совершенно-полнымь определениемь трагическаго въ жизни и въ искусстве. Правда, что большая часть произведеній искусства даеть право прибавить: «ужасное, постигающее человека боле или мене неизбежно»; но во-первыхь сомнительно, до какой степени справедливо поступаеть искусство, представляя это ужасное почти всегда неизбежнымь, когда въ самой действительности оно бываеть большею частію вовсе не неизбежно, а чисто случайно; во-вторыхь, кажется, что очень часто только по привычке доискиваться во всякомь великомь произведеніи искусства «необходимаго сцепленія обстоятельствь», «необходимаго развитія действія изъ сущности самаго действія» мы находимь, съ грехомъ пополамь, «необходимость въ ходе событій» и тамь, где ея вовсе неть, напримерь въ большей части трагедій Шекспира.

Съ господствующимъ опредвленіемъ комическаго: «комическое есть перевёсь образа надъ идеею», иначе сказать: внутренняя пустота и инчтожность, прикрывающаяся вившностью, имвющею притязаніе на содержаніе и реальное значеніе, нельзя не согласиться; но вместе съ темъ надобно сказать, что слишкомъ ограничиваютъ понятіе комическаго, противополагая его, для сохраненія діалектическаго метода развитія понятій, только понятію возвышеннаго. Комическое мелочное и комическое глупое или тупоумное, конечно, противоположно возвышенному; но комическое уродливое, комическое безобразное противоположно прекрасному, а не возвышенному. Возвышенное, по изложенію самого Фишера, можеть быть безобразнымъ: какимъ же образомъ комическое безобразное противоположно возвышенному, когда они различны между собою не сущностью, а степенью, не качествомъ, а количествомъ, когда безобразное мелочное принадлежить къ комическому, безобразное огромное или страшное принадлежить къ возвышенному?-Что безобразное противоположно прекрасному, ясно само по себъ.

Окончивъ разборъ понятій о сущности прекраснаго и возвышеннаго, должно теперь перейти къ разбору господствующихъ взглядовъ на различные способы осуществленія идеи прекраснаго.

Здёсь-то, кажется, сильнёе всего выказывается важность основныхъ понятій, анализъ которыхъ занялъ такъ много страницъ въ этомъ очеркъ: отступленіе отъ господствующаго взгляда на сущность того, что служить главнайшимъ содержаниемъ искусстна, необходимо ведетъ къ измѣненію понятій и о самой сущности искусства. Господствующая нынъ система эстетики совершенно справедливо различаетъ три формы существованія прекраснаго, подъ которымъ понимаются въ ней, какъ его видоизмененія, также возвышенное и комическое. (Мы будемъ говорить только о прекрасномъ, потому что было бы утомительно повторять три раза одно и то жевсе, что говорится въ господствующей ныев эстетикв о прекрасномъ, совершенно прилагается въ ней къ его видоизмѣненіямъ: точно также наша критика господствующихъ понятій о различныхъ формахъ прекраснаго и наши собственныя понятія объ отношеніи прекраснаго въ искусствъ къ прекрасному въ дъйствительности вполнъ прилагаются и ко всемъ остальнымъ элементамъ, вхолящимъ въ содержание искусства, а въ числъ ихъ къ возвышенному и комическому).

. Три различныя формы, въ которыхъ существуеть прекрасное, следующія: прекрасное въ действительности (или въ природе, если захотимъ удержать философскую терминологію), прекрасное въ фантазіи и прекрасное въ искусстві (въ объективномъ существованіи, придаваемомъ ему творческою фантазіею челов'яка). Первый изъ основныхъ вопросовъ, здесь встречающихся, -- вопросъ объ отношеніи прекраснаго въ дъйствительности къ прекрасному въ фантазін и въ искусствъ. Господствующая нынъ система эстетическихъ понятій рышаеть его такь: прекрасное вь объективной дыйствительности имветъ недостатки, уничтожающие красоту его, и наша фантазія поэтому принуждена прекрасное, находимое въ объективной действительности, переделывать для того, чтобы, освободивъ его отъ недостатковь, неразлучныхъ съ реальнымъ его существованіемъ, сділать его истинно прекраснымъ. Фишеръ поливе и різче другихъ эстетиковъ входить въ анализъ недостатковъ объективнаго прекраснаго. Потому его анализъ и должно подвергнуть критикъ. Для избъжанія упрека въ томъ, что преднамъренно смягчилъ я недостатки, выставляемые на видъ нъмецкими эстетиками въ объективномъ прекрасномъ, я долженъ буквально привести здесь Фишерову критику прекраснаго въ дъйствительности (Aesthetik, II. Theil, Seite 299 und folg.).

«Внутренняя несостоятельность всей объективной формы существованія прекраснаго открывается въ томъ, что красота находится въ чрезвычайно шаткомъ отношения въ цълямъ историческаго движения даже и на томъ поприщъ, гдѣ она кажется наиболѣе обезпеченною (т. е. въ человъкъ; историческія СОБЫТІЯ ЧАСТО УНИЧТОЖАЮТЬ МНОГО ПРЕКРАСНАГО; НАПРИМЪРЪ, говорить Фишерь, реформація уничтожила веселую привольность и пестрое разнообразие нъмецкой жизни XIII-XV стольтій). Но вообще очевидно, что предполагаемая въ § 234 благосклонность случая редко имееть место въ действительности (§ 234 говорить: для бытія красоты необходимо, чтобы при осуществлении прекраснаго не было вмѣшательства вредныхъ случайностей (der störende Zufall). Сущность случайности состоить въ томъ, что она можеть быть и не быть или быть иначе, следственно вредная случайность можеть иногда и не быть въ предметв. Потому кажется, что вмёстё съ безобразными индивидуумами должны быть и истиннопреврасные). Кром'в того именно по самой живости (Lebendigkeit), составляющей неотъемлемое преимущество прекраснаго въ дъйствительности, красота его мимолетна; основание этой мимолетности въ томъ, что прекрасное въ дъйствительности возникаеть не изъ стремленія къ прекрасному; оно возникаеть и существуеть по общему стремленію природы въ жизни, при осуществленіи котораго появляется только вследствіе случайных обстоятельствь, а не какъ что-нибудь преднамъренное (alles Naturschöne nicht gewollt ist). Проблески прекраснаго редки въ исторіи; редко вполет прекрасное и въ природе вообще. Въ известномъ своемъ письме Рафазль, жившій въ стране красоты, жалуется на carestia di belle donne; и не часто встрвчаются въ Римв такія модели, какова была Витторія изъ Альбано во время Румора. «Посліднее созданіе все выше и выше стремящейся природы-прекрасный человёкъ. Правда, Ръдко создаеть она его, потому что слишкомъ много условій, противодійствующихъ ея идеямъ» (Гёте). Все живущее имъетъ множество враговъ. Борьба съ ними можеть быть возвышенною или комическою; но редки случаи, когда безобразное переходить въ комическое или возвышенное. Мы стоимъ среди жизни и ея безконечно разнообразныхъ отношеній. Потому прекрасное въ природъ живо; но, находясь среди неисчислимо разнообразныхъ отношеній, оно подвергается столкновеніямъ, порчё со всёхъ сторонъ; потому что природа заботится о всей массь предметовъ, а не объ одномъ отдъльномъ предметь, ей нужно сохраненіе, а не собственно красота. Если такъ, то для природы нётъ потребности поддерживать прекраснымъ и то немногое прекрасное, которое она сдучайно производить: жизнь стремится впередь, не заботясь о погибели образа, или сохраняеть его только искаженными. «Природа борется изъ-за жизни и бытія, изъ-за сохраненія и размноженія своихъ произведеній не заботясь о ихъ красоть или безобразіи. Форма, отъ рожденія предназначенная быть прекрасною, можеть случаемъ повредиться въ какой-нибудь части; тотчасъ же страдають отъ этого и другія части; потому что природів тогда бывають нужны силы для

возстановленія поврежденной части, и она отнимаєть ихъ у другихъ частей, что необходимо вредить ихъ развитию. Существо становится уже не такимъ, какимъ должно было быть, а такимъ, какимъ можетъ быть» (Гёте, въ примъч. къ Дедро). Заметно или незаметно, повреждения повторяются и увеличиваются. пова все существо разрушится. Мимолетность, непрочность -- скороная участь всего прекраснаго въ природъ. Нетолько прекрасное освъщение пейзажа, но и петтущая пора органической жизни-одно мгновеніе. «Говоря строго, можно сказать, что только въ продолжение одного мгновения прекрасенъ прекрасный человікь».--«Чрезвычайно непрододжителень періодь времени, въ теченіе котораго человеческое тело можеть назваться прекраснымъ» (Гёте). Правда, изъ увядшей красоты юности развивается высшая красота — красота характеракоторую возэрвніе замічаеть въ чертахъ физіогноміи и въ поступкахъ. Но и эта красота мимолетна; потому что характеръ заботится о нравственныхъ цъляхъ, а не о красотъ фигуры и движеній при ихъ достиженіи... Въ одно время личность бываеть исполнена сознаніемъ своей нравственной ціли, является такъ, какъ есть, прекрасною въ глубочайшемъ смысле слова; но въ другое время человакъ занятъ бываетъ чамъ-нибудь имающимъ только посредственную связь съ целью жизни его, и при этомъ истинное содержание карактера не проявляется въ выраженіи лица; иногда человівь бываеть занять діломъ, воздагаемымъ на него только житейскою или жизненною необходимостью, и при этомъ всякое высшее выражение погребено подъ равнодушиемъ или скукою, неохотою. Такъ бываетъ и во всёхъ сферахъ природы, принадлежать ин онв или нътъ въ правственной области... Эта группа сражающихся воиновъ расподагается и движется, какъ будто бы воспламененная духомъ Марса; но чрезъ минуту она разсыпалась, движенія перестали быть прекрасны, лучшіе люди лежать ранены или убиты: эти воины не tableau vivant, они думають о битвъ, а не о томъ, чтобъ ихъ битва имъла прекрасный видъ. Непреднамъериность (das Nichtgewolltsein) сущность всего прекраснаго въ природь; она лежить въ его сущности до такой степени, что на насъ чреввычайно непріятно дъйствуеть, если мы замечаемь въ сфере реального прекрасного какой бы то ни было преднамеренный разсчеть именно на красоту. Красота, сознающая свою красоту и занимающаяся ею, учащаяся предъ зеркаломъ быть прекрасвою, суетна, т. е. ничтожна. Аффектація красоты въ дійствительно существующемъ совершенная противоположность истинной граціи... Случайность, непреднамфренность красоты, ся незнаніе о самой себі-зерно смерти, но и прелесть прекраснаго въ действительности; такъ что въ совнательной сферк прекрасное исчезаеть въ ту минуту, какъ узнаеть о своей красоть, начинаеть любоваться на нее. Наивность простаго человъка погибаеть, какъ скоро касается до него цивилизація; народныя пісни исчезають, когда обращають на нихъ вниманіе, начинають собирать ихъ; живописный костюмъ полудикихъ народовъ перестаетъ имъ нравиться, когда они видять кокетивый фракъ живописца, приподшаго изучать ихъ; если цивилизація, прельстившись живописнымъ нарядомъ, хочеть сохранить его, онъ уже обратился въ маску, и нароль покилаетъ его.

«Но благопріятность случая не только рідка и мимолетна, — она вообще

должна считаться благопріятностью только относительною: вредная, искажающая случайность всегда оказывается въ природі не вполні побіжденною, если мы отбросимъ світлую маску, накидываемую отдаленностью міста и времени на воспріятіе (Wahrnehmung) прекраснаго въ природі, и строже всмотримся въ предметъ; искажающая случайность вносить въ прекрасную, повидимому, группировку нісколькихъ предметовъ много такого, что вредить ея полной красоті; мало того, эта вредящая случайность вторгается и въ отдільный предметь, который казался намъ сначала вполні прекрасенъ, и мы видинъ, что ничто не изъято оть ея владычества. Если мы сначала не замічали недостатковъ, это проистекало изъ другой благопріятности случая — изъ счастиваго расположенія нашего духа, которое ділало субъекть способнымъ видіть предметь сь точки зрінія чистой формы. Влижайшимъ образомъ такое расположеніе духа возбуждаеть въ насъ самый предметь своею относительною чистотою оть искажающаго случая.

«Надобно только блеже посмотреть на прекрасное въ действительности, чтобы убъдиться, что оно не истинно прекрасно: тогда будеть ясно, что мы до сихъ поръ только скрывали отъ себя очевидную истину. Эта истина-необходимое и повсемъстное владычество искажающаго случая. Не мы должны доказывать, это оно простирается рашительно на все, а нуждалась бы въ доказательствахъ противоположная мысль, нуждалось бы въ доказательствахъ мићніе, что, при безконечно-разнообразномъ и тесномъ сцепленіи всего въ мірь, какой бы то ни было отдъльный предметь можеть сохраниться въ цьлости отъ всёхъ препятствій, помёхъ, искажающихъ столиновеній. Мы должны только изследовать, откуда происходить обольщение, говорящее нашимъ чувствамъ, будто бы иные предметы составляють исключение изъ общаго закона подвластности искажающему случаю; это мы сдёлаемъ впослёдствіи; а теперь покажемъ только, что видимыя исключенія изъ общаго правила действительносоставляють обольщение, призракъ (ein Schein). Нъкоторые прекрасные предметы составляють соединение многихъ предметовъ; въ этомъ случав, всматриваясь внимательнье, мы всегда найдемъ во-первыхъ, что мы видимъ эти предметы въ такой связи, въ такомъ соотношении только потому, что случайностали на известное место, случайно смотримъ на нихъ съ известной точки зрвнія. Особенно прилагается это къ ландшафтамъ: ихъ равнины, горы, деревья ничего не знають другь о другь; имъ не можеть вздуматься соединиться въ живописное цълое; въ стройныхъ очеркахъ и краскахъ мы ихъ видимътолько потому, что сами стоимъ на томъ, а не на другомъ мёсте. Но и съ этой благопріятной точки эренія мы найдемъ здёсь кустарникъ, тамъ холмъ, нарушающій гармонію; туть недостатокь возвышенія, тамъ тіни; и мы должны будемъ сознаться, что внутренній глазъ передільналь, дополняль, исправляль ландшафть. То же самое бываеть и съ движущеюся, дъйствующею группою. живыхъ существъ. Иногда сцена можетъ быть въ самомъ дъле полна значенія и выраженія, но въ ней группы, существенно связанныя, разділены пространствомъ; внутренній глазъ опять уничтожаеть его, сближаеть связанное, выбрасываеть ненужное, импнее. Другіе предметы прекрасны въ отдільности. Тогда мы отказываемся отъ красоты обстановки, выпускаемъ обстановку, изъ-

самаго воззрънія, совершаемъ акть отділенія предмета отъ обстановки, большею частію безсознательно и безнаміренно; когда красавида входить въ общество, наши глаза устремляются исключительно на нее, мы забываемъ о другихъ лицахъ. Но и въ томъ и въ другомъ случай, въ отдельномъ ле предметь мы находимъ красоту, или въ сгруппировкь предметовъ, следствіе будеть одно и то же, если мы строже разсмотримъ красоту. На поверхности прекраснаго предмета мы откроемъ то же, что въ прекрасной сгруппировкъ предметовъ: между прекрасными частями найдутся непрекрасныя, и найдутся онъ въ каждомъ предметь, какъ бы ни благопріятствовала ему счастливая случайность. Хорошо еще, что нашъ глазъ не микроскопъ, и простое зрвніе уже ндеалезируетъ предметы; иначе грязь и инфузоріи въ чиствищей водв, нечистоты на нёжнёйшей коже разрушали бы для насъ всякую красоту. Мы видимъ только при извёстной степени отдаленія. А отдаленность идеализируеть уже сама по себь. Она не только скрываеть нечистоту поверхности, но и вообще сглаживаеть подробности состава тёль, приковывающія ихъ къ землё, отнимаеть пошлую ясность, точность, считающую песчинки, ставящую «каждое лыко въ строку». Такъ уже самый процессъ зрвнія береть на себя часть труда возведенія предмета къ чистой формь. Отдаленность во времени дыйствуеть такъ же, какъ отдаленность въ пространствъ: исторія и воспоминаніе передають намь не всё медкія подробности о ведикомь человёкё или ведикомь событін; они умалчивають о мелкихь второстепенныхь мотивахь великаго явленія, о его слабыхъ сторонахъ; они умалчивають о томъ, сколько времени въ жизни великихъ людей было потрачено на одъванье и раздъванье, тду, питье, насморыть и т. п. Но мало того, что чрезт это сирывается отъ наст мелочное и мѣшающее красоть: при внимательномъ разсмотрвніи даже въ прекрасньйшемъ, повидимому, предметъ мы ясно замъчаемъ очень много важныхъ и неважныхъ недостатковъ. Если бы, напр., въ человеческой фигуре и не было отпечативно никакихъ искажающихъ случайностей на поверхности, то въ основныхъ формахъ непременно замечается нами какое-нибудь нарушение пропорціональности. Это ясно будеть, какъ только мы взглянемъ на гипсовую модель, въ точности снятую съ дъйствительнаго лица. Руморъ, въ предисловіи къ своимъ «Итальянскимъ изследованіямъ», чрезвычайно перепуталь всё относяшіяся сюда понятія: онъ хочеть обличить ложность фальшиваго идеализма въ искусствь, стремящагося улучшать природу въ ея чистыхъ и постоянныхъ формахъ; онъ справедливо говорить противъ подобнаго идеализма, что искусство не можеть передылывать неизмённыхъ формъ природы, которыя даются ему природою необходимо и неизмённо. Но вопросъ въ томъ, находятся ли въ дъйствительности въ совершенно чистомъ развитии основныя, ненарушимыя для искусства формы природы. Руморъ отвъчаеть на это, что «природа не отдільный предметь, представляющійся намь подъ владычествомь случая, а совокупность всёхъ живыхъ формъ, совокупность всего произведеннаго природою, или, лучше сказать, сама производящая сила --- ей должень предаться художникъ, не довольствуясь отдъльными моделями. Это совершенно справедливо. Но Руморъ впадаеть потомъ въ натурализмъ, который хочеть преслъдовать, какъ и ложный идеализмъ; его положение, что «природа наилучшимъ

образомъ выражаетъ все своими формами», становится опаснымъ, когда онъ прилагаеть его къ отдъльному явленію, и, противоріча тому, что самъ сказаль выще, утверждаеть, будто бы въ действительности бывають «совершенныя модели», какъ, напр., «Витторія изъ Альбано, которая была прекрасиве вськъ совданій искусства въ Римь, красота которой была недосягаема для художниковъ». Мы твердо убъждены, что ни одинъ изъ художниковъ, бравщихъ ее моделью, не могъ перенести въ свое произведение всъхъ ея формъ въ томъ видь, въ какомъ находилъ, потому что Витторія была отдъльная красавица, а индивидуумъ не можеть быть абсолютнымъ - этимъ дело решается, больше мы не хотимъ и говорить о вопросъ, который предлагаеть Руморъ-Если даже согласимся, что въ Витторіи были совершенны всё основныя формы, то кровь, теплота, процессъ жизни съ искажающими красоту подробностями, следы которыхъ остаются на коже, все эти подробности были бы достаточны, чтобы поставить живое существо, о которомъ говоритъ Руморъ, несравненно ниже тахъ высокихъ произведеній искусства, которыя имають только вображаемую кровь, теплоту, процессъ жизни на кожв и т. д....

«Итакъ предметъ, принадлежащій къ рідкимъ явленіямъ красоты, какъ показываетъ ближайшее разсмотрініе, не истинно прекрасенъ, а только ближе другихъ къ прекрасному, свободнію отъ искажающихъ случайностей».

Прежде нежели подвергнемъ критикъ отдъльные упреки, дълаемые прекрасному въ действительности, смело можно сказать, что оно истинно прекрасно и вполнъ удовлетворяетъ здороваго человъка. несмотря на вст свои недостатки, какъ бы ни были они велики-Конечно, праздная фантазія можеть о всемъ говорить: «здісь это не такъ, этого недостаетъ, это лишнее»; но такое развитіе фантазіи. недовольствующейся ничемъ, надобно признать болезненнымъ явленіемъ. Здоровый человіжь встрічаеть въ дійствительности очень много такихъ предметовъ и явленій, смотря на которые не приходить ему въ голову желать, чтобы они были не такъ, какъ есть, или были лучше. Мнвніе, будто человвку непремвню нужно «совершенство», -- мивніе фантастическое, если подъ «совершенствомъ» понимать такой видъ предмета, который бы совмъщаль всв возможныя достоинства и быль чуждь всёхь недостатковь, какіе оть нечего дълать можеть отыскать въ предметь фантазія человька съ холоднымъ или пресыщеннымъ сердцемъ. «Совершенство» для меня то, что для меня вполив удовлетворительно въ своемъ родв. А такихъ явленій видить здоровый человекь въ действительности очень много. Когда у человъка сердце пусто, онъ можеть давать волю своему воображенію; но какъ скоро есть хотя сколько-нибудь удовлетворительная дъйствительность, крыдья фантазіи связаны. Фантазія вообще овладъваетъ нами только тогда, когда мы слишкомъ скудны въ дъйствительности. Лежа на голыхъ доскахъ, человъку иногда приходить въ голову мечтать о роскошной постели, о кровати какого-нибудь неслыханнаго драгоценнаго дерева, о пуховике изъ гагачьяго пуха, о подушкахъ съ брабантскими кружевами, о пологъ изъ какой-то невообразимой ліонской матеріи; но неужели станеть мечтать обо всемъ этомъ здоровый человъкъ, когда у него есть не роскошная, но довольно мягкая и удобная постель? «Оть добра добра не ищуть». Если человъку пришлось жить среди сибирскихъ тундръ или въ заволжских солончакахъ, онъ можетъ мечтать о волшебныхъ садахъ съ невиданными на землъ деревьями, у которыхъ коралловыя вътви, изумрудные листья, рубиновые плоды; но переселившись въ какую-нибудь Курскую губернію, получивъ полную возможность гулять досыта по небогатому, но сносному саду съ яблонями, вишнями, грушами, мечтатель навърное забудеть не только о садахъ Тысячи и одной ночи, но и о лимонныхъ рощахъ Испаніи. Воображеніе строить свои воздушные замки тогда, когда нёть на дъль не только хорошаго дома, даже сносной избушки. Оно разъигрывается тогда, когда незаняты чувства; бъдность дъйствительной жизни источникъ жизни въ фантазіи. Но едва делается действительность сколько нибудь сносною, скучны и бледны кажутся намъ предъ нею всв мечты воображенія. Мивнія, будто бы «желанія человеческія безпредельны», ложно въ томъ смысле, въ какомъ понимается обыкновенно, въ смыслъ, что «никакая дъйствительность не можеть удовлетворить ихъ»; напротивъ, человъкъ удовлетворяется нетолько «наилучшимъ, что можетъ быть въ дъйствительности», но и довольно посредственною действительностью. Надобно различать то, что чувствуется на самомъ деле, отъ того, что только говорится. Желанія раздражаются мечтательнымъ образомъ до горачечнаго напряженія только при совершенномъ отсутствіи здоровой, хотя бы и довольно простой пищи. Это факть, доказываемый всей исторіей человічества и испытанный на себі всякимъ, кто жилъ и наблюдалъ себя. Онъ составляеть частный случай общаго закона человъческой жизни, что страсти достигають ненормальнаго развитія только вслёдствіе ненормальнаго положенія предающагося имъ человъка, и только въ такомъ случав, когда естественная и въ сущности довольно спокойная потребность изъ которой возникаетъ та или другая страсть, слишкомъ долго не находила себъ соответственнаго удовлетворенія, спокойнаго и далеко не титаническаго. Несомнание то, что организмы человака не требуеты и не можеты выносить титаническихы стремленій и удовлетвореній; несомнанно и то, что вы здоровомы человака стремленія соразмарны сы силами организма. Сы этой общей точки перейдемы на другую, спеціальную.

Известно, что чувства наши скоро утомяяются и пресыщаются, т. е. удовлетворяются. Это справедливо не только относительно низшихъ чувствъ (осязанія, обонянія, вкуса), но также и относительно высшихъ-зрвнія и слуха. Съ чувствами зрвнія и слуха неразрывно соединено эстетическое чувство, и не можетъ быть мыслимо безъ нихъ. Когда у человъка отъ утомленія исчезаеть охота смотръть на прекрасное, не можеть не исчезать и потребность эстетическаго наслажденія этимъ прекраснымъ. И если человъкъ не можетъ цълый мъсяцъ ежедневно смотреть не утомиясь на картину, хотя бы Рафаэлевскую, то нетъ сомнънія, что не одни глаза его, но также и чувство эстетическое пресытилось, удовлетворено на некоторое время. Что достоверно относительно продолжительности наслажденія, то же самое должно сказать и объ его интенсивности. При нормальномъ удовлетвореніи сила эстетическаго наслажденія имфеть свои пределы. Если она иногда переходить ихъ, это бываеть следствемъ не внутренняго и натурального развитія, а особенныхъ обстоятельствъ, болве или менье случайныхъ и ненормальныхъ (напр., мы особенно восторженно восхищаемся прекраснымъ, когда знаемъ, что скоро должны будемъ разстаться съ нимъ, что не будемъ иметь столько времени наслаждаться имъ, сколько намъ хотелось бы и т. п.). Однимъ словомъ, нътъ, повидимому, возможности подвергать сомнънію фактъ, что наше эстетическое чувство, подобно всвиъ другимъ, имфетъ свои нормальныя границы относительно продолжительности и интенсивности своего напряженнаго состоянія и что въ этихъ двухъ смыслахъ нельзя называть его ненасытнымъ или безконечнымъ.

Точно также оно имееть границы—и довольно тесныя—относительно своей разборчивости, тонкости, требовательности или такъназываемой жажды совершенства. Мы будемъ впоследствіи иметь случай говорить, какъ многое даже вовсе не первокласное по красоте своей удовлетворяеть эстетическому чувству въ действительности. Здёсь мы хотимъ сказать, что и въ области искусства разборчивость его въ сущности очень снисходительна. За одно какоенибудь достоинство мы прощаемъ произведенію искусства сотни

недостатковъ; даже не замъчаемъ ихъ, если только они не слишкомъ безобразны. Въ примъръ довольно указать на большую часть произведеній римской поэзіи. Не восхищаться Гораціемъ, Виргиліемъ, Овидіемъ можетъ только тоть, у кого недостаеть эстетическаго чувства. А сколько въ этихъ поэтахъ слабыхъ сторонъ! Собственно говоря, все въ нихъ слабо, кромв одного-отделки языка и развитія мыслей. Содержанія у нихъ или вовсе нѣтъ или оно самое ничтожное: самостоятельности неть; свежести неть; простоты исть; у Виргилія и Горадія почти нигде неть даже испренности и увлеченія. Но пусть критика указываеть намъ всё эти недостаткисъ темь вместе она прибавляеть, что форма у этихъ поэтовъ доведена до высокаго совершенства, и нашему эстетическому чувству довольно этой одной капли хорошаго, чтобы удовлетворяться и наслаждаться. А между темъ даже и въ отделке формы у всехъ этихъ поэтовъ есть значительные недостатки: Овидій и Виргилій почти всегда растянуты; очень часто растянуты и Гораціевы оды; монотонность во всёхъ трехъ поэтахъ чрезвычайно велика; часто непріятнымъ образомъ бросается въ глаза искусственность, натянутость. Нужды нътъ, все-таки остается въ нихъ нъчто хорошее, и мы наслаждаемся. Какъ совершенную противоположность этимъ поэтамъ вижшней отделки можно привести въ примеръ народную поэзію. Какова бы ни была первоначальная форма народныхъ пъсенъ, но до насъ доходять онв почти всегда искаженными, передвланными или растерзанными на куски; монотонность ихъ также очень велика; наконець есть во встхъ народныхъ птсняхъ механические приемы, проглядывають общія пружины, безь помощи которыхъ никогда не развивають онт своихъ темъ; но въ народной поэзіи очень много свежести, простоты, и этого довольно для нашего эстетическаго чувства, чтобы восхищаться народною поэзіею.

Однимъ словомъ, какъ и всякое здоровое чувство, какъ всякая истинная потребность, эстетическое чувство имѣетъ больше стремленія удовлетворяться, нежели требовательности въ претензіяхъ; оно по своей натурѣ радуется удовлетворяясь, недовольно отсутствіемъ пищи, потому готово удовлетворяться первымъ сноснымъ предметомъ. Малотребовательность эстетическаго чувства доказывается и тѣмъ, что, имѣя первоклассныя произведенія, оно вовсе не пренебрегаетъ второклассными. Рафаэлевы картины не заставляютъ насъ находить плохими произведеніями Греза, имѣя Шекс-

пира, мы съ наслаждениемъ перечитываемъ произведения второстепенныхъ, даже третье-степенныхъ поэтовъ. Эстетическое чувство ищетъ хорошаго, а не фантастически-совершеннаго. Потому, если бы въ дъйствительномъ прекрасномъ было очень много важныхънедостатковъ, мы все-таки удовлетворялись бы имъ. Но посмотримъближе, до какой степени справедливы упреки, дълаемые прекрасному въ дъйствительности, и до какой степени справедливы слъдствія, изъ нихъ выводимыя.

I. «Прекрасное въ природъ непреднамъренно; уже по этому одному не можеть быть оно такъ хорошо, какъ прекрасное въ искусствъ, создаваемое преднамъренно»--- Дъйствительно, неодушевленная природа не думаетъ о красотъ своихъ произведеній. какъ дерево не думаетъ о томъ, чтобы его плоды были вкусны. Но твиъ не менъе надобно признаться, что наше искусство до сихъ поръ не могло создать ничего подобнаго даже апельсину или яблоку, не говоря уже о роскошныхъ плодахъ тропическихъ земель. Конечно, преднамъренное произведение будетъ по достоинству выше непреднамфреннаго; но только тогда, когда силы производителей равны. А силы человека гораздо слабее силъ природы, работа его чрезвычайно груба, неловка, неуклюжа въ сравнении съ работою природы. И потому въ произведеніяхъ искусства превосходство со стороны преднамъренности перевъшивается, и далеко перевъшивается слабостью ихъ въ исполнении. Притомъ же непреднамфрениа красота только въ природъ безчувственной, мертвой: птица и животное уже ваботятся о своей вившности, безпрестанно охорашиваются: почти всв онв любять опрятность. Въ человеке красота редко бываеть совершенно непреднамъренною: забота о своей наружности чрезвычайно сильна у всъхъ насъ. Разумъется, мы здъсь говоримъ не объ изъисканныхъ средствахъ поддълывать красоту, а подразумъваемъ постоянныя заботы о внёшнемъ благообразіи, которыя составляютъ часть народной гигіены. Но если красота въ природѣ въ строгомъ смысль не можеть назваться преднамъренною, какъ и все дъйствованіе силь природы; то съ другой стороны нельзя сказать, чтобы вообще природа не стремилась къ произведенію прекраснаго: напротивъ, понимая прекрасное какъ полноту жизни, мы должны будемъ признать, что стремленіе къ жизни, проникающее всю природу, есть вийсти и стремление къ произведению прекраснаго. Если мы должны вообще видъть въ природъ не цъли, а только результаты, и потому не можемъ назвать красоту цвлью природы, то не можемъ не назвать ее существеннымъ результатомъ, къ произведеню котораго напряжены силы природы. Непреднамвренность (das Nichtgewolltsein), безсознательность этого направленія нисколько не мѣшаетъ его реальности, какъ безсознательность геометрическаго стремленія въ пчель, безсознательность стремленія къ симметріи въ растительной силь, нисколько не мѣшаетъ правильности шестиграннаго строенія ячеекъ сота, симметріи двухъ половинъ листа.

II. «Отъ непреднамъренности красоты въ природъ происходитъ то, что прекрасное радко встрачается въ дайствительности».--Но еслибъ и дъйствительно было такъ, его малочисленность была бы прискорбна только для нашего эстетического чувства, нисколько не уменьшая красоты этого малочисленнаго ряда явленій и предметовъ. Алмазы величиною въ голубиное яйцо попадаются очень редко; любители брильянтовъ могутъ справедливо жалеть о томъ, и все-таки они соглашаются, что эти очень редкіе алмазы прекрасны. Но жалобы на редкость прекраснаго въ действительности не совершенно справедливы; несомненно по крайней мере, что прекраснаго въ дъйствительности вовсе не такъ мало, какъ утверждають нъмецкіе эстетики. Прекрасныхь и величественныхь пейзажей очень много; есть страны, въ которыхъ они попадаются на каждомъ шагу, напр., не говоря уже о Швейцаріи, Альпахъ, Италіи, укажемъ на Финляндію, Крымъ, берега Дибпра, даже берега Волги, Величественное въ жизни человъка встръчается не безпрестанно но сомнительно, согласился ли бы самъ человъвъ, чтобы оно было чаще: великія минуты жизни слишкомъ дорого обходятся человіку, слишкомъ истощають его; а кто имбеть потребность искать и силу выносить ихъ вліяніе на душу, тоть можеть найти случаи бъ возвышеннымъ ощущеніямъ на каждомъ шагу: путь доблести, самоотверженія и высокой борьбы съ низкимъ и вреднымъ, съ бъдствіями и пороками людей не закрыть никому и никогда. И были всегда, вездв тысячи людей, вся жизнь которыхъ была непрерывнымъ рядомъ возвышенныхъ чувствъ и дёлъ. То же самое должно сказать и объ увлекательно-прекрасныхъ минутахъ въжизни человека. Вообще нельзя человъку жаловаться на ихъ ръдкость; потому что отъ самого человъка зависить, до какой степени жизнь его наполнена прекраснымъ и великимъ. Жизнь такъ широка и многостороння,

что въ ней человъкъ почти всегда найдетъ досыта всего, искать чего чувствуетъ сильную и истинную потребность. Пуста и безцетна бываеть жизнь только у безцетныхъ людей, которые толкують о чувствахъ и потребностяхъ, на самомъ деле не будучи способны имъть никакихъ особенныхъ чувствъ и потребностей, пром'в потребности рисоваться. Это потому, что духъ, направленіе, колоритъ жизни человъка придается ей характеромъ самаго человъка: отъ человъка не зависять событія жизни, но духъ этихъ событій зависить оть его характера. «На ловца звёрь бёжить». Въ заключение было бы надобно объясниться насчеть того, что спеціально называется красотою, разсмотрёть вопрось о томъ, до какой степени редкое явленіе женская красота. Но, быть можеть, это не совсёмъ уместно въ нашемъ отвлеченномъ трактате; ограничимся только замъчаніемъ, что почти всякая женщина въ цвътъ молодости кажется большинству красавицею, потому говорить здёсь было бы можно развъ о неразборчивости эстетическаго чувства большинства людей, а не о томъ, что красота ръдкое явленіе. Людей прекрасныхъ лицомъ нисколько не меньше, нежели людей добрыхъ, умныхъ и т. д. Какъ же объяснить жалобу Рафаэля на недостатовъ врасавицъ въ Италіи, влассической странъ врасоты? Очень просто; онъ искаль наилучшей красавицы, а наилучшая красавица конечно одна въ пъломъ свътъ-и гдъ же отъискать ее? первостепеннаго въ своемъ родъ всегда очень мало, по очень простой причинь: если его соберется много, то мы опять разделимъ его на классы и будемъ называть первостепеннымъ то, чего найдется всего два-три индивидуума; все остальное назовемъ второстепеннымъ. И вообще надобно сказать, что мысль, будто бы «прекрасное редко встречается въ действительности» основана на смешеніи понятій «вполев» и «первое»: вполев величественныхъ рысь очень много, первая изъ величественныхъ ръкъ конечно одна; великихъ полководцевъ много, первымъ полководцемъ въ мірѣ былъ кто-нибудь одинъ изъ нихъ. Обыкновенно думаютъ: если есть или можеть быть предметь X, выше находящагося у меня подъглазами предмета А, то предметь А низокъ; но такъ только думають, не такъ чувствують въ самомъ дёлё, и, находя Миссиссиппи величественнъе Волги, мы продолжаемъ однако считать и Волгу величественною ръкою. Обыкновенно говорится, что если одинъ предметъ больше другаго, то превосходство перваго надъ вторымъ есть недостатовъ другаго: вовсе нёть; въ действительности недостатовъ есть нъчто положительное, а не нъчто вытекающее изъ превосходства другихъ предметовъ. Ръка, имъющая одинъ футъ глубины въ нъкоторыхъ мъстахъ, не потому считается мелкою, что есть ръки гораздо глубже ея; она мелка безъ всякихъ сравненій, сама по себъ, мелка потому, что неудобна для судоходства; каналъ, имъюшій тридцать футовъ глубины, не мелокъ въ действительной жизни, потому что совершенно удобенъ для судоходства; никому не придеть и въ голову называть его мелкимъ, хотя всякому изв'естно, что Па-де-Кале далеко превосходить его своею глубиною. Отвлеченное математическое сравнение не есть взглядъ действительной жизни. Потому, находя предметъ Х прекрасиве предмета А, мы въ дъйствительной жизни нисколько не перестаемъ находить прекраснымъ предметъ А. Положимъ, что «Отелло» выше «Макбета», или «Макбеть» выше «Отелло»—несмотря на превосходство одной изъ этихъ трагедій надъ другой, оню обю остаются прекрасными. Достоинства «Отелло» не могуть быть вивняемы въ недостатки «Макбету» и наобороть. Такъ мы смотримъ на произведенія искусства. Если смотръть такъ же и на прекрасныя явленія дъйствительности, то очень часто мы должны будемъ сознаться, что красота одного явленія безукоризненна, хотя красота другаго еще выше. И въ самомъ дёлё, развё кто-нибудь называеть итальянскую природу не прекрасною, хотя природа Антильскихъ острововъ или Остъ-Индіи гораздо богаче? А только съ подобной точки зрвнія, находящей себв подтвержденія въ двиствительныхъ чувствахъ и сужденіяхъ человіна, и можеть эстетика утверждать, будто бы въ мірѣ дѣйствительности красота есть явленіе рѣдкое.

III. «Красота прекраснаго въ дъйствительности мимолетна»—согласимся; но развъ отъ этого она менъе прекрасна? И притомъ это не всегда справедливо: цвътокъ дъйствительно увядаетъ скоро; но человъкъ долго остается прекраснымъ; можно даже сказать, что человъкъ долго остается прекраснымъ; можно даже сказать, что человъческая красота продолжается именно столько, сколько надобно человъку, ею наслаждающемуся. Не совсъмъ, быть можетъ, соотвътствовало бы характеру нашего отвлеченнаго трактата вдаваться въ подробное доказательство этого положенія; потому скажемъ только, что красота каждаго покольнія существуетъ и должна существовать для этого самаго покольнія; и нисколько не нарушаетъ гармоніи, нисколько не противно эстетическимъ потребностямъ этого покольнія,

если красота его увядаетъ вивств съ нимъ-у последующихъ будетъ своя новая красота, и жаловаться туть некому и не на что. Быть можеть неумёстно было бы здёсь также вдаваться въ подробныя доказательства того, что желаніе «не старёть» — фантастическое желаніе, что на самомъ деле пожилой человекъ и хочеть быть пожилымъ человекомъ, если только его жизнь прошла нормальнымъ образомъ и если онъ не принадлежить къ числу людей поверхностныхъ. Но это ясно и безъ подробныхъ доказательствъ. Всв мы «съ сожалвніемъ» вспоминаемъ о дътствъ, говоримъ иногда, что «хотъли бы снова перенестись въ то счастливое время»; но едва ли кто-нибудь согласился бы на самомъ дёлё превратиться въ ребенка. То же самое должно сказать и относительно сожальній о томъ, что «прошла красота нашей юности» — эти слова не имъють реальнаго значенія, если юность прошла сколько-нибудь удовлетворительнымъ образомъ. Пережитое было бы скучно переживать вновь, какъ скучно слушать во второй разъ анекдотъ, хотя бы онъ казался чрезвычайно интересень въ первый разъ. Надобно различать действительныя желанія отъ фантастическихъ, мнимыхъ желаній, которыя вовсе и не хотять быть удовлетворенными; таково мнимое желаніе, чтобы красота въ дъйствительности не увядала. «Жизнь стремится впередъ и уносить красоту действительности въ своемъ теченіи» говорять эстетики; -- правда; но вмёстё съ жизнью стремятся впередъ, т. е. изивняются въ своемъ содержаніи, наши желанія, и следовательно фантастичны сожальнія о томь, что прекрасное явленіе исчезаеть-оно исчезаеть исполнивь свое дело, доставивь ныне столько эстетическаго наслажденія, сколько могь вийстить нынишній день; завтра будеть новый день, съ новыми потребностями, и только новое прекрасное можеть удовлетворить ихъ. Еслибы красота въ дъйствительности была неподвижна и неизмънна, «безсмертна», какъ того требують эстетики, она надовла бы, опротиввла бы намъ. Живой человекъ не любитъ неподвижнаго въ жизни; потому никогда не наглядится онъ на живую красоту, и очень скоро пресыщаеть ero tableau vivant, которую предпочитають живымъ сценамъ исключительные поклонники искусства. Но по ихъ мивнію красота должна быть однообразна въ своей вечности, нетолько въчна; потому противъ прекраснаго въ дъйствительности является новое обвинение.

IV. «Прекрасное въ дъйствительности непостоянно въ своей

«красоть-но на это надобно отвъчать тъмъ же самымъ вопросомъ, какъ и прежде: -- развъ это мъщаетъ ему быть прекраснымъ по временамъ? Развъ пейзажъ менъе прекрасенъ поутру оттого, что красота его померкнеть на время съ закатомъ содида? И опять надобно сказать, что большею частью этоть упрекъ несправедливъ; ноложимъ, что есть пейзажи, красота которыхъ пропадаетъ съ пурпурнымъ озареніемъ утренней зари; но большая часть прекрасныхъ пейзажей прекрасны при всякомъ освещении; и надобно прибавить, что незавидна красота того пейзажа, который хорошъ только въ данную минуту, а не все время, пока существуетъ. «Иногда фивіогномія выражаеть всю полноту жизни, иногда она не выражаеть ничего» -- нътъ; справедливо то, что иногда физіогномія бываеть чрезвычайно выразительна, иногда она гораздо менъе выразительна: но чрезвычайно редки минуты, когда физіогномія человека, светящаяся умомъ или добротою, бываеть лишена выраженія: умное лицо и во время сна сохраняеть выражение ума, доброе лицо сохраняеть и во сив выражение доброты; а бытлое разнообразие выраженія въ лиць выразительномъ придаеть ему новую красоту. Точно такъ же разнообразіе позъ придаеть новую красоту живому существу. Очень часто бываеть и то, что исчезновение прекрасной позы одно только и спасаеть ея драгоценность для насъ: «группа сражающихся воиновъ прекрасна; но чрезъ нѣсколько минутъ она уже разстроилась -- а что было бы, еслибы она не разстроилась еслибы схватка атлетовъ продолжалась цёлые сутки? намъ наскучило бы смотреть, и мы отвернулись бы, какъ это впрочемъ бываеть часто въ дъйствительности. Чъмъ обыкновенно кончается эстетическое впечатавніе, подъ вліяніемъ котораго держитъ насъ полчаса или часъ неподвижная «въчно прекрасная», «въчно неизмънная въ красотъ своей» картина-тъмъ, что мы уходимъ сами, недождавшись, пока насъ «оторветь отъ наслажденія» мракъ вечера.

V. «Прекрасное въ дъйствительности прекрасно только потому, что мы смотримъ на него съ такой точки зрънія, съ которой оно кажется прекраснымъ».—Напротивъ, гораздо чаще случается, что прекрасное прекрасно со всъхъ точекъ зрънія, такъ, напр., прекрасный пейзажъ бываетъ большею частью хорошъ, откуда бы ни смотръли мы на него,—конечно, онъ бываетъ въ высшей степени хорошъ только съ од ной точки зрънія—но что же изъ этого? и на произведенія живописи надобно смотръть съ извъстнаго мъста,

для того, чтобы они представлялись намъ во всей своей красотв. Это следствіе законовъ перспективы, которые одинаково должны быть соблюдаемы при наслажденіи прекраснымъ въ действительности и прекраснымъ въ искусствъ.

Вообще надобно, кажется, сказать, что всё разсмотрённые упреки прекрасному въ дёйствительности преувеличены, а нёкоторые совершенно несправедливы; что нётъ изъ нихъ ни одного, который прилагался бы ко всёмъ родамъ прекраснаго. Но нами не разсмотрёны еще главнёйшіе, существеннёйшіе недостатки, открываемые господствующими эстетическими воззрёніями въ прекрасномъ дёйствительнаго міра. До сихъ поръ упреки были обращены на то, что прекрасное въ дёйствительности неудовлетворительно для человёка; теперь слёдуютъ прямыя доказательства, что прекрасное въ дёйствительности, собственно говоря, не можетъ и назваться прекраснымъ. Доказательствъ этихъ три. Пересмотримъ ихъ, начиная съ менёе сильнаго и менёе общаго.

VI. «Прекрасное въ дъйствительности или группа предметовъ (пейзажъ, группа людей), или одинъ предметъ въ отдельности. Вредная случайность всегда портить въ дъйствительности группу, кажущуюся прекрасной, внося въ нее посторонніе, ненужные предметы, мѣшающіе красотѣ и единству цѣлаго; она портить и кажущійся прекраснымъ отдільный предметь, портя ніжоторыя его части: внимательное разсмотрение покажеть намъ всегда, что некоторыя части действительнаго предмета, представляющагося прекраснымъ, вовсе не прекрасны».—Здесь мы опять встречаемся съ мыслью, что красота есть совершенство. Но эта мысль только частное приложеніе общей мысли, что человікь удовлетворяется вообще только математически совершеннымъ: нътъ, практическая жизнь человека убеждаеть насъ, что онъ ищеть только приблизительнаго совершенства, которое; выражаясь строго, и не должно называться совершенствомъ. Человъкъ только ищетъ хорошаго, а не совершеннаго. Совершенства требуетъ только чистая математика; даже прикладная математика довольствуется приблизительными вычисленіями. Искать совершенства въ какой бы то ни было сферъ жизни-дъло отвлеченной, бользненной или праздной фантазіи. Мы хотимъ дышать чистымъ воздухомъ; но замвчаемъ ли мы, что абсолютао чисть воздухъ не бываеть нигде и никогда? Мы хотимъ пить чистую воду, но не абсолютно чистую воду: совершенно чи-

стая (дистиллированная) вода даже непріятна для вкуса. Эти примёры слишкомъ матеріальны? Приведемъ другіе: развё кому приходила мысль называть неученымь человъка, которому не в с е известно? Неть, мы и не ищемъ человека, которому было бы извъстно все; мы требуемъ отъ ученаго только того, чтобы ему было извъстно все существенное и чтобы ему было извъстно очень многое. Развъ мы недовольны, напр., историческою книгою, въ которой не вст ртшительно вопросы объяснены, не вст ртшительно подробности приведены, не все до одного взгляды и слова автора абсолютно справедливы? нетъ, мы довольны, и чрезвычайно довольны книгою, когда въ ней разрѣшены главные вопросы, приведены самонуживний подробности, когда г л а в н ы я мивнія автора справедливы, и въ книгъ его очень мало невърныхъ или неудачныхъ объясненій. (Ниже мы увидимъ, что въ сферв искусства мы также довольствуемся приблизительнымъ совершенствомъ). Послъ этихъ указаній можно сказать, не боясь сильнаго противорічня, что и въ области прекраснаго дъйствительной жизни мы довольствуемся темъ, когда находимъ очень хорошее, но не ищемъ совершенства математического, изъятого отъ в с в х ъ медкихъ недостатковъ. Неужели кому-нибудь вздумается говорить, что пейзажъ не прекрасенъ, если на какомъ-нибудь мъсть его ростуть три куста, а лучше было бы, еслибъ росло два или четыре? Въроятно никому еще ивъ людей, любовавшихся моремъ, не приходило въ голову, что море могло бы быть дучше, нежели оно есть; а если математически строго смотреть на море, то въ немъ действительно есть недостатки; и первый недостатокъ- оно не плоская, а выпуклая поверхность. Правда, этого недостатка не видно, его открываеть не глазъ, а вычисленіе; можно поэтому прибавить, что смішно и говорить объ этомъ недостатев, котораго невозможно заметить, о которомъ можно только з н а т ь-но таковы большею частью недостатки прекраснаго въ дъйствительности: ихъ не видно, они нечувствительны, они открываются только изследованію, а не воззренію. Не забудемъ же, что чувство прекраснаго имфетъ дело съ воззрѣніемъ, а не съ наукою: что нечувствительно, то не существуетъ для эстетическаго чувства. Но въ самомъ ли дъле недостатки прекраснаго въ действительности большею частью нечувствительны для возэрвнія? Въ этомъ убъждаеть насъ опыть. Неть человека, одареннаго эстетическимъ чувствомъ, которому бы не встречались

въ дъйствительности тысячи лицъ, явленій и предметовъ, казавшихся ему безукоризненно прекрасными. Но что же особенно важнаго, когда въ прекрасномъ предметъ и замътны для воззрънія недостатки? Върно они слишкомъ неважны, если, несмотря на нихъ, предметъ продолжаетъ казаться прекраснымъ—если они важны, предметъ будетъ уродливъ, а не прекрасенъ. А не важное не стоитътого, чтобъ и говорить о немъ. И дъйствительно, эстетически здоровый человъкъ не обращаетъ на него вниманія.—Человъку, не приготовленному спеціальнымъ изученіемъ новъйшей эстетики, странно будетъ услышать второе доказательство, приводимое въ подтвержденіе того, что такъ называемое прекрасное въ дъйствительности не можетъ быть прекрасно въ полномъ смыслъ слова.

VII. «Дъйствительный предметь не можеть быть прекрасень уже потому, что онъ живой предметь, въ которомъ совершается дъйствительный процессъ жизни со всею своею грубостью, со всеми своими антиэстетическими подробностями».--Едвали можно себъ представить высшую степень фантастического идеализма. Какъ, неужели живое лицо не прекрасно, а изображенное на портретв или снятое въ дагерротипъ прекрасно? и почему же? потому, что на живомъ лицв неизбежно бывають всегда матерыяльные следы процесса жизни; потому, что, если мы посмотримъ въ микроскопъ на живое лицо, то всегда увидимъ его покрытое испариною и т. п. Какъ, живое дерево не можетъ быть прекраснымъ, потому, что на немъ всегда гивадятся мелкія насвкомыя, питающіяся его листьями? Странное мивніе, которое даже не требуеть опроверженія: какое же дело моему эстетическому воззренію до того, чего оно не замёчаеть? можеть ли производить какое-нибудь вліяніе на мое ощущеніе тоть недостатокъ, котораго оно не чувствуеть? Въ опроверженіе этого мивнія не нужно даже приводить истину, что странно искать такихъ людей, которые бы не пили, не вли, не имвли надобности умываться и переменять былье. Распространяться о подобныхъ требованіяхъ совершенно безполезно. Лучше разсмотримъ одну изъ твхъ идей, илъ которыхъ возникъ столь странный упрекъ прекрасному въ дъйствительности, идею составляющую одно изъ основных воззрвній господствующей эстетики. Воть эта мысль: «Прекрасное есть не самый предметь, а чистая поверхность, чистая форма (die reine Oberfläche) предмета». Неосновательность этого взгляда на прекрасное обнаружится, когда мы пересмотримъ источ-

ники, изъ которыхъ оно произошло. Прекрасное чаще всего мы видимъ глазами; а глаза конечно видять только оболочку, абрисъ, наружность предмета, а не внутреннее его сложеніе. Изъ этого легко вывести заключение, что прекрасное есть поверхность предмета, а не самый предметь. Но вопервыхь, кром'в прекраснаго для зрвнія есть прекрасное для служа (пвніе и музыка), въ которомъ нельзя говорить ни о какой поверхности. Вовторыхъ, не всегда и глазами видимъ мы только оболочку предмета: въ прозрачныхъ предметахъ мы видимъ весь предметь, все его внутреннее сложеніе; водів и драгоцівными камнями именно прозрачность и сообщаеть красоту. Наконецъ человъческое тьло, лучшая красота на земль, полупрозрачно, и мы въ человъкъ видимъ не чисто одну только поверхность: сквозь кожу просвічиваеть тіло, и это просвізчиваніе тыла придаеть чрезвычайно много прелести человыческой красотв. Въ третьихъ, странно говорить, что и въ совершенно непрозрачныхъ телахъ мы видимъ только поверхность, а не самый предметь: возарвніе принадлежить не исключительно глазамь, извістно, что въ немъ всегда участвуеть припоминающій и соображающій разсудокъ; соображение всегда наполняетъ материей пустую форму, представляющуюся глазу. Человъкъ видить движущійся предметь, хотя органъ его глаза самъ по себь не видить движенія; человъкъ видитъ отдаленность предмета, хотя самъ по себъ глазъ не видить отдаленія; такъ точно человікь видить матеріальный предметь, хотя глазь его видить только пустую, нематеріальную отвлеченную поверхность предмета. Другое основание для мысли: «прекрасное есть чистая поверхность» состоить въ предположени, что эстетическое наслаждение несовитстимо съ материальнымъ интересомъ, принимаемымъ въ предметв. Не будемъ входить въ разсмотрѣніе того, какимъ образомъ надобно понимать отношеніе матеріальной интересности для насъ предмета и эстетическаго наслажденія имъ, хотя это изследованіе привело бы къ убъжденію, что эстетическое наслаждение отлично отъ матеріальнаго интереса или практическаго взгляда на предметь, но не противоположно ему. Довольно будетъ указать на свидетельство опыта, что и действительный предметь можеть казаться прекраснымь не возбуждая матеріальнаго интереса: какая же своекорыстная мысль пробуждается въ насъ, когда мы любуемся звъздами, моремъ, лъсомъ (неужели при взглядь на дыйствительный лысь я необходимо должень думать, годится ли онъ мнв на постройку или отопленіе дома?),—
какая своекорыстная мысль пробуждается въ насъ, когда мы заслушиваемся шелеста листьевъ, пъсни соловья? Что касается человъка,
мы часто любимъ его безъ всякихъ своекорыстныхъ побужденій,
нисколько не думая о себъ; тъмъ скоръе можетъ онъ эстетически
нравиться намъ, не возбуждая матеріальнаго (stoffartig) раздумья
о нашихъ отношеніяхъ къ нему. Наконецъ ближайшимъ образомъ
мысль о томъ, что прекрасное есть чистая форма, вытекаетъ изъ
понятія, что прекрасное есть чистый призракъ; а такое понятіе—
необходимое слъдствіе опредъленія прекраснаго какъ полноты осуществленія идеи въ отдъльномъ предметъ, и падаетъ вмъстъ съ
этимъ опредъленіемъ.

Послѣ длиннаго ряда упрековъ прекрасному въ дѣйствительности, становившихся все общѣе и сильнѣе, мы доходимъ теперь до послѣдней, самой сильной и самой общей причины, почему реальное прекрасное не можетъ быть считаемо дѣйствительно прекраснымъ.

VIII. «Отдъльный предметь не можеть быть прекрасень уже потому, что онъ не абсолютенъ; а прекрасное есть абсолютное .--Доказательство дъйствительно неопровержимое въ кругу понятій философскихъ школъ, породившихъ его и принимающихъ мериломъ не только теоретической истины, но и деятельных стремленій человъка абсолютное. Но эти системы уже распались, уступивъ мъсто другимъ, развившимся изъ нихъ по силъ внутренняго діалектическаго процесса, но понимающимъ жизнь совершенно иначе. Ограничиваясь этимъ указаніемъ на философскую несостоятельность возарвнія, изъ котораго произошло подведеніе всёхъ человвческихъ стремленій подъ абсолють, станемъ для нашей критики на другую точку зрвнія, болве близкую къ чисто эстетическимъ понятіямъ, и скажемъ, что вообще дъятельность человъка не стремится въ абсолютному, и ничего не знаетъ о немъ, имъя въ виду различныя чисто человъческія ціли, Въ этомъ совершенно сходны съ другими чувствами и деятельностями человека чувство и деятельность эстетическія. Въ дъйствительности мы не встръчаемъ ничего абсолютнаго; потому не можемъ сказать по опыту, какое впечатавніе произвела бы на насъ абсолютная красота; но то мы знаемъ, по крайней мъръ, изъ опыта, что similis simili gaudet, что поэтому намъ, существамъ индивидуальнымъ, не могущимъ перейти за границы нашей индивидуальности, очень правится индивидуальность, очень правится индивидуальная красота, не могущая перейти за границы своей индивидуальности. После этого дальнейшія опроверженія излишни. Надобно только прибавить, что мысль объ индивидуальности истинной красоты развита тою же системою эстетическихъ возэрёній, которая поставляеть мёриломъ прекраснаго абсолють. Изъ мысли о томъ, что индивидуальность существеннейшій признакъ прекраснаго, само собою вытекаеть положеніе, что мёрило абсолютнаго чуждо области прекраснаго—выводъ противоречащій основному возэрёнію этой системы на прекрасное. Источникъ подобныхъ противоречій, не всегда избёгаемыхъ системою, о которой мы говоримъ,—смёшеніе въ ней геніальныхъ выводовъ изъ опыта и столько же геніальныхъ, но страждующихъ внутреннею несостоятельностью попытокъ подчинить всё ихъ апріористическому взгляду, который часто противорёчить имъ.

Теперь просмотрены всё упреки, более или менее несправедииво делаемые прекрасному въ действительности, и можно приступить къ решенію вопроса о существенномъ значеніи искусства. По господствующимъ эстетическимъ понятіямъ, «искусство имъетъ своимъ источникомъ стремленіе человъка освободить прекрасное отъ недостатковъ (нами разсмотренныхъ), мешающихъ прекрасному на степени своего реальнаго существованія въ действительности быть вполне удовлетворительнымъ для человъка. Прекрасное, создаваемое искусствомъ, свободно отъ недостатковъ прекрасное, создаваемое искусствомъ, вне прекраснаго въ действительности. Посмотримъ же, до какой степени на самомъ деле прекрасное, создаваемое искусствомъ, выше прекраснаго въ действительности по свободности своей отъ упрековъ, взводимыхъ на это последнее: после того намъ легко будетъ решить, верно ли определяется господствующимъ воззренемъ происхожденіе искусства и его отношеніе къ живой действительности.

І. «Прекрасное въ природъ не преднамъренно». — Прекрасное въ искусствъ бываетъ преднамъренно, это правда; но во всъхъ ли случаяхъ и во всъхъ ли подробностяхъ? Не будемъ говорить о томъ, часто ли, и въ какой степени художникъ и поэтъ ясно понимаютъ, что именно выразится въ ихъ произведеніи — безсознательность художническаго дъйствованія давно уже стала общимъ мъстомъ, о которомъ всъ толкуютъ; быть можетъ нужнъе нынъ ръзко выставлять на видъ зависимость красоты произведенія отъ

сознательныхъ стремленій художника, нежели распространяться о томъ, что произведенія истиню творческаго таланта им'єють всегда очень много непреднамеренности, инстинктивности. Какъ бы то ни было, объ эти точки эрънія извъстны, и безполезно здъсь останавливаться на нихъ. Но можеть быть не излишне сказать, что и преднамъренныя стремленія художника (особенно поэта) не всегда дають право сказать, чтобы забота о прекрасномъ была истиннымъ источникомъ его художественныхъ произведеній; правда, поэть всегда старается «сдёлать какъ можно лучше»; но это еще не значить, чтобы вся его воля и соображенія управлялись исключительно или даже преимущественно заботою о художественности или эстетическомъ достоинстве произведенія: какъ у природы есть много стремленій, находящихся между собою въ борьбв и губящихъ или искажающихъ своею борьбою красоту; такъ и въ художникъ, въ поэть есть много стремленій, которыя своимъ вліяніемъ на его стремленіе къ прекрасному искажають красоту его произведенія. Сюда вонервыхъ принадлежатъ различныя житейскія стремленія и потребности художника, не позволяющія ему быть только художникомъ и болъе ничъмъ, вовторыхъ, его умственные и нравственные взгляды, также не позволяющіе ему думать при исполненіи исключительно только о красоть; въ третьихъ наконецъ, идея художественнаго созданія является у художника обыкновенно не вследствіе одного только стремленія создать прекрасное: поэть, достойный своего имени, обыкновенно хочеть въ своемъ произведении передать намъ свои мысли, свои взгляды, свои чувства, а не исключительно только созданную имъ красоту. Однимъ словомъ, если красота въ дъйствительности развивается въ борьбъ съ другими стремленіями природы, то и въ искусствѣ красота развивается также въ борьбъ съ другими стремленіями и потребностями человъка, ее создающаго; если въ дъйствительности эта борьба портитъ или губитъ красоту, то едвали меньше шансовъ, что она испортить или погубить ее въ произведении искусства; если въ дъйствительности прекрасное развивается подъ вліяніями, ему чуждыми, недопускающими его быть только прекраснымъ, то и созданіе художника или поэта развивается подъ множествомъ различныхъ стремленій, результать которыхъ долженъ быть таковъ же. Мы готовы однакоже согласиться, что преднамфренности больше въ прекрасныхъ произведеніяхъ искусства, нежели въ прекрасныхъ

созданіяхъ природы, и что въ этомъ отношеніи искусство стояло бы выше природы, еслибъ его преднамѣренность была свободна отъ недостатковъ, отъ которыхъ свободна природа. Но выигрывая преднамѣренностью съ одной стороны, искусство проигрываетъ тѣмъ же самымъ съ другой; дѣло въ томъ, что художникъ, задумывая прекрасное, очень часто задумываетъ вовсе не прекрасное: мало—хотѣть прекраснаго, надобно умѣть постигать его въ его истинной красотѣ—а какъ часто художники заблуждаются въ своихъ понятіяхъ о красотѣ! какъ часто обманываетъ ихъ даже художническій инстинктъ, не только рефлексивныя понятія, большею частью одностороннія! Всѣ недостатки индивидуальности неразлучны въ искусствѣ съ преднамѣренностью.

II. «Прекрасное редко встречается въ действительности»;—но развъ чаще оно встръчается въ искусствъ? Сколько ежедневно бываеть истиню трагическихъ или драматическихъ событій! А много ли насчитается истинно прекрасныхъ трагедій или драмъ? во всёхъ западныхъ литературахъ три-четыре десятка, въ русской-если не ошибаемся, кромъ Бориса Годунова и Сценъ изърыпарскихъ временъ - ни одной, которая стояла бы выше посредственности. Сколько романовъ совершается въ дъйствительности! А много ли насчитывается истинно прекрасныхъ романовъ? можетъ быть по нёскольку десятковь вь англійской и французской литературахь, и пять-шесть въ русской. Что скорве можно встретить: прекрасный пейзажъ въ природь, или въ живописи?-Почему же такъ? Потому, что великихъ поэтовъ и художниковъ очень мало, какъ и вообще мало геніальных людей во всяком роді. Если різдко бываеть въ дійствительности совершенно благопріятный случай для созданія прекраснаго или возвышеннаго, то еще реже благопріятный случай рожденія и безпрепятственнаго развитія великаго генія, потому что здісь нужно стеченіе гораздо большаго числа благопріятных условій. Этотъ упрекъ противъ дійствительности еще съ большею силою падаеть на искусство.

111. «Прекрасное въ природѣ мимолетно»; — въ искусствѣ оно часто бываетъ вѣчно, это правда; но не всегда, потому что и произведеніе искусства подвержено погибели и порчѣ отъ случая. Греческіе лирики погибли для насъ; погибли картины Апеллеса и статуи Лизиппа. Но не сстанавливаясь на этомъ, перейдемъ къ другимъ причинамъ невѣчности очень многихъ произведеній искус-

ства, отъ которыхъ свободно прекрасное въ природе-это мода и обветшаніе матеріала. Природа не старветь, вивсто увядшихъ произведеній своихъ она рождаетъ новыя; искусство лишено этой въчной способности воспроизведенія, возобновленія, а между тымъ время не безъ следа проходить и надъ его созданіями. Въ произведеніяхъ поэзім скоро старветь языкъ, и мы по этой одной причинъ не можемъ наслаждаться Шекспиромъ, Данте, Вольфрамомъ такъ свободно, какъ наслаждались ихъ современники. Еще гораздо важне то, что съ теченіемъ времени многое въ произведеніяхъ поэзіи ділается непонятнымъ для насъ (мысли и обороты, заимствованные отъ современныхъ обстоятельствъ, намеки на событія и лица); многое становится безцевтно и безвкусно; ученые комментаріи не могуть сділать для потомковь всего столь же яснымь и живымъ, какъ все было ясно для современниковъ; притомъ ученые комментаріи и эстетическое наслажденіе-противоположныя вещи; не говоримъ уже, что черезъ нихъ произведение поэзіи перестаеть быть общедоступнымъ. Еще важиве то, что развитие цивилизации, измъненіе понятій иногда совлекаеть всю красоту съ произведенія поэвіи, иногда превращаеть его даже въ нечто непріятное или отвратительное. Примеровъ не котимъ указывать, кроме эклогъ Виргилія, скромивинаго изъ римскихъ поэтовъ. Отъ поэзіи переходимъ къ другимъ искусствамъ. Произведенія музыки погибають вивств съ твии инструментами, для которыхъ были писаны. Вся древняя музыка погибла для насъ. Красота старыхъ музыкальныхъ произведеній бладнаеть съ усовершенствованіемъ оркестровки. Краски въ живописи очень скоро линяють и чернъють; картины XVI-XVII въка уже давно потеряли свою первобытную красоту. Какъ ни сильно вліяніе всёхъ этихъ обстоятельствъ, не въ нихъ однавоже главная причина мимолетности произведеній искусстваона заключается во вліянім на нихъ вкуса эпохи, почти всегда вліяніи моднаго настроенія, односторонняго и очень часто фальшиваго. Мода сдълала половину каждой драмы Шекспира негодною для эстетического наслажденія въ наше время; мода отразившаяся на трагедіяхъ Расина и Корнеля, заставляеть насъ не столько наслаждаться ими, сколько подсмънваться надъ ними. Ни въ живописи, ни въ музыкъ, ни въ архитектуръ не найдется почти ни одного произведенія, созданнаго за 100 или 150 леть, которое не казалось бы нынъ или вялымъ, или смъшнымъ, несмотря на всю

силу генія, отпечатл'єнную на немъ. И современное искусство черезъ пятьдесять л'єть будеть часто вызывать улыбку.

IV. «Прекрасное въ дъйствительности непостоянно въ своей красотъ». — Это правда; но прекрасное въ искусствъ мертвенно-неподвижно въ своей красотъ, это гораздо хуже. На живое лицо можно смотръть по нъскольку часовъ; картина надоъдаетъ чрезъ четверть часа, и ръдки примъры дилеттантовъ, которые устояли бы часъ предъ картиною. Произведенія повзіи живъе, нежели про-изведенія живописи, архитектуры и ваянія; но и они пресыщаютъ насъ довольно скоро: конечно не найдется человъка, который былъ бы въ состояніи перечитать романъ пять разъ сряду; между тъйъ жизнь, живыя лица и дъйствительныя событія увлекательны своимъ разнообразіемъ.

V. «Красота въ природу вносится только темъ, что мы смотримъ на нее съ той, а не съ другой точки зрвнія» -- мысль, почти никогда не бывающая справедливою; но къ произведеніямъ искусства она почти всегда прилагается. Всв произведенія искусства не нашей эпохи и не нашей цивилизаціи непремінно требують, чтобы мы перенеслись въ ту эпоху, въ ту цивилизацію, которая создала ихъ; иначе они покажутся намъ непонятными, странными, но не прекрасными. Если мы не перенесемся въ древнюю Грецію, пъсни Сафо и Анакреона покажутся намъ выражениемъ антиэстетическаго наслажденія, чёмъ-то похожимъ на тв произведенія нашего времени, которыхъ стыдится печать; если мы не перенесемся мыслью въ патріархальное общество, песни Гомера будуть оскорблять насъ цинизмомъ, грубымъ обжорствомъ, отсутствіемъ нравственнаго чувства. Но греческій міръ слишкомъ далекъ отъ насъ; возьмемъ ближайшую эпоху. Сколько у Шекспира, у итальянскихъ живописцевъ такого, что понимается и ценится только тогда, когда мы перенесемся въ прошедшее съ его понятіями о вещахъ! Представимъ примеръ еще ближе въ нашему времени: «Фаусть» Гёте покажется страннымъ произведеніемъ человіку, не способному перенестись въ ту эпоху стремленій и сомніній, выраженіемъ которой служить «Фаустъ».

VI. «Прекрасное въ дъйствительности заключаетъ въ себъ много непрекрасныхъ частей или подробностей».—А въ искусствъ развъ не то же самое, только въ гораздо большей степени? укажите про-изведене искусства, въ которомъ нельзя было бы найти недостат-

ковъ. Романы Вальтеръ-Скотта слишкомъ растянуты, романы Диккенса почти постоянно приторно-сантиментальны и очень часто растянуты, романы Теккерея иногда (или, лучше сказать, очень часто) надобдають своею постоянною претензіею на ироническивлое простодушіе. Но геніи новъйшіе ръдко являются путеводителями въ эстетикъ; она преимущественно любить Гомера, греческихъ трагиковъ и Шекспира. Гомеровы поэмы безсвязны: Эсхилъ и Софокаъ слишкомъ суровы и сухи, у Эсхила кромъ того недостаетъ драматизма; Эврипидъ плаксивъ; Шекспиръ реториченъ и напыщенъ; художественное построеніе драмъ его было бы вполнъ хорошо, еслибъ ихъ нёсколько передёлать, какъ и предлагаетъ Гете. Перейдемъ къ живописи, и должны будемъ признаться въ томъ же самомъ: противъ одного Рафазия ръдко возвышаютъ голосъ; во всёхъ остальныхъ живописцахъ давно открыто множество слабыхъ сторонъ. Но самого Рафазия упрекаютъ въ незнаніи анатомін. О музыкі нечего и говорить: Ветховень слишкомъ непонятенъ и часто дикъ; у Моцарта слаба оркестровка; у новыхъ композиторовъ слишкомъ много шума и трескотни. Безукоризненная опера по митию знатоковъ одна — Донъ-Жуанъ; незнатоки находять его скучнымъ. Если совершенства нъть въ природъ и въ живомъ человъкъ, то еще меньше можно. найти его въ искусствъ и въ делахъ человека: «въ следствіи не можеть быть того, чего нътъ въ причинъ, въ человъкъ». Широкое, безпредъльное поле открывается тому, кто захочеть доказывать слабость всёхъ вообще произведеній искусства. Само собою разумівется, что подобное предпріятіе могло бы свид'втельствовать о вдкости ума, но не о безпристрастіи: достоинъ сожальнія человькъ, не преклоняющійся предъ великими произведеніями искусства; но простительно, когда принуждають преувеличенныя похвалы, напоминать, что если на солнив есть пятна, то въ «земныхъ двлахъ» человека ихъ не мо- жетъ не быть.

VII. «Живой предметь не можеть быть прекрасень уже и потому что въ немъ совершается тяжелый, грубый процессъ жизни».— Произведеніе искусства—мертвый предметь; поэтому кажется, что оно должно быть изъято отъ этого упрека. И однакоже такое заключеніе поверхностно. Факты противоръчать ему. Произведеніе искусства — созданіе жизненнаго процесса, созданіе живаго человъка, который произвель дъло не безъ тяжелой борьбы, и на произведени отражается тяжелый, грубый слёдъ борьбы производства. Развё много такихъ поэтовъ и художниковъ, которые работаютъ шутя, какъ шутя, безъ поправокъ, писалъ, говорятъ, свои драмы Шекспиръ? А если произведение создано не безъ тяжелаго труда, на немъ будутъ «пятна масляной лампады», при свётё которой работалъ художникъ. Тяжеловатость можно найти во всёхъ почти произведенияхъ искусства, какъ бы легки ни казались они съ перваго взгляда. А если они въ самомъ дёлё созданы безъ большаго, тяжелаго труда, то они будутъ страдатъ грубостью отдёлки. Итакъ, одно изъ двухъ: или грубость, или тяжелая отдёлка—вотъ Сцила и Харибда для произведений искусства.

Я не хочу сказать, что всё недостатки, выставляемые этимъ анализомъ, всегда до грубости ръзко отпечатываются на произведеніяхъ искусства. Я хочу только показать, что щепетильной критики, которую направляють на прекрасное въ дъйствительности, никакъ не можетъ выдержать прекрасное, создаваемое искусствомъ-

Изъ обзора, нами сдъланнаго, видно, что еслибъ искусство вытекало отъ недовольства нашего духа недостатками прекраснаго въ живой действительности и отъ стремленія создать нечто лучщее, то вся эстетическая деятельность человека оказалась бы напрасна, безплодна, и человъкъ скоро отказался бы отъ нея, видя, что искусство не удовлетворяеть его нам'вреніямъ. Вообще говоря, произведенія искусства страдають всеми недостатками, какіе могуть быть найдены въ прекрасномъ живой дъйствительности; но если искусство вообще не имъетъ никакихъ правъ на предпочтеніе природъ и жизви, то, быть можеть, некоторыя искусства въ частности обладають какими-нибудь особенными преимуществами, ставящими ихъ произведенія выше соотвітствующих высній живой дійствительности? быть можеть даже, то или другое искусство производить нёчто не имёющее себъ соотвътствія въ реальномъ міръ? Эти вопросы еще не ръшаются нашею общею критикою, и мы должны проследить частные случаи, чтобы видъть, каково отношение прекраснаго въ опредъленныхъ искусствахъ къ прекрасному въ дъйствительности, производимой природою независимо отъ стремленія человіна къ прекрасному. Только этоть обзоръ дасть намъ положительный отвёть на то, можеть ли происхождение искусства быть объясняемо неудовлетворительностью живой действительности въ эстетическомъ отношеніи.

Ридъ искусствъ начинаютъ обыкновенно съ архитектуры, изъ всвхъ многоразличныхъ двятельностей человъка для осуществленія болье или менье практических цьлей уступая одной строительной дъятельности право возвышаться до искусства. Но не справедливо такъ ограничивать поле искусства, если подъ «произведеніями искусства» понимаются «предметы, производимые человіжомъ подъ преобладающимъ вліяніемъ его стремленія къ прекрасному >--есть такая степень развитія эстетическаго чувства въ народів, или, върнъе сказать, въ кругу высшаго общества, когда подъ преобладающимъ вліяніемъ этого стремленія замышляются и исполняются почти всв предметы человеческой производительности: вещи, нужныя для удобства домашней жизни (мебель, посуда, убранство дома), платье, сады и т. п. Этрусскія вазы и галлантерейныя вещи древнихъ всёми признаны за «произведеніе искусства»; ихъ относять къ отдълу «скульптуры», конечно не совсемъ справедливо; но неужели къ архитектуръ должны мы причислять мебельное искусство? къ какому отделу отнесены будуть нами цветники и сады, въ которыхъ первоначальное назначение — служить местомъ прогулки или отдыха — совершенно подчиняется назначению быть предметами эстетического наслажденія? въ ніжоторых эстетиках садоводство называется отраслыю архитектуры, но это явная натяжка. Называя искусствомъ всякую деятельность, производящую предметы подъ преобладающимъ вліяніемъ эстетического чувства, должно будеть значительно расширить кругь искусствъ; потому что нельзя не признать существеннаго тожества архитектуры, мебельнаго и моднаго искусства, садоводства, леннаго искусства и т. д. Намъ скажутъ: «архитектура создаетъ новое, не существовавшее въ природъ, она совершенно передълываетъ свой матеріалъ; другія отрасли человъческой производительности оставляютъ свой матеріаль въ его первобытной форм'в -- н'вть, есть много отраслей человической диятельности, не уступающихъ архитектури и въ этомъ отношеніи. Въ примъръ представимъ цвътоводство: полевые цвъты нисколько не похожи на роскошные махровые цвъты, обязанные своимъ происхожденіемъ цвітоводству. Что общаго между дикимъ лесомъ и искусственнымъ садомъ или паркомъ? Какъ архитектура обтесываеть камни, такъ садоводство очищаеть, выпрямляеть деревья, придаеть каждому дереву совершенно не тоть видь, какой имфеть оно въ девственномъ лесу; какъ архитектура соединяеть камии въ правильныя группы, такъ садоводство соединяеть въ паркъ деревья въ правильныя группы. Однимъ словомъ, цвътоводство или садоводство передълывають, обработывають «грубый матеріаль», не менве, нежели архитектура. То же самое надобно сказать и о промышленности, создающей подъ преобладающимъ вліяніемъ стремленія къ прекрасному, напримірь, ткани, которымъ природа не представляеть ничего подобнаго и въ которыхъ первоначальный матеріаль еще менье остался неизмынымь, нежели камень въ архитектуръ. «Но архитектура, какъ искусство, гораздо болбе, нежели другія отрасли практической двятельности, подчиняется исключительнымъ требованіямъ эстетическаго чувства, совершенно отказываясь отъ стремленія удовлетворять житейскимъ цълямъ»;---но какой житейской цъли удовлетворяють цвъты, искусственные парки? и развъ Пареенонъ или Альгамбра не имъли практическаго назначенія? Гораздо въ меньшей степени, нежели архитектура, подчиняются практическимъ соображеніямъ садоводство, мебельное, ювелирное и модное искусства, которымъ однако же не посвящается особенной главы въ курсахъ эстетики. Мы видимъ причину того, что изъ всёхъ практическихъ дёятельностей одна строительная обыкновенно удостоивается имени изящнаго искусства, не въ существъ ея, а въ томъ, что другія отрасли дъятельности, возвышающіяся до степени искусства, забываются по «маловажности» своихъ произведеній, между темъ, какъ произведенія архитектуры не могуть быть упущены изъ виду по своей важности, дороговизнъ и наконецъ просто по своей массивности, прежде всего и больше всего остальнаго, производимаго человъкомъ, бросаясь въ глаза. Всв отрасли промышленности, всв ремесла, имеющія целью удовлетворять «вкусу» или эстетическому чувству, мы признаемъ «искусствами» въ такой же степени, какъ архитектуру, когда ихъ произведенія замыпідяются и исполняются подъ преобладающимъ вліяніемъ стремленія къ прекрасному и когда другія ціли (которыя всегда имъетъ и архитектура) подчиняются этой главной цъли. Совершенно другой вопросъ о томъ, до какой степени достойны уваженія произведенія практической діятельности, задуманныя и исполненныя подъ преобладающимъ стремленіемъ произвести не столько что-нибудь действительно нужное или полезное, сколько произвести что-нибудь прекрасное. Какъ решить этотъ вопросъ, не входить въ сферу нашего разсужденія; но какъ решень будеть

онъ, точно такъ же долженъ быть решенъ вопросъ и о степени уваженія, которой заслуживають созданія архитектуры въ значенін чистаго искусства, а не практической деятельности. Какими глазами смотритъ мыслитель на кашмирскую шаль, стоющую 10,000 франковъ, на столовые часы, стоющіе 10,000 франковъ, такими же глазами долженъ смотреть онъ и на изящный кіоскъ, стоющій 10,000 франковъ. Быть можеть онъ скажеть, что все эти вещипроизведенія не столько искусства, сколько роскоши; быть можеть онъ скажетъ, что истиное искусство чуждается роскоши, потому что существенный шій характерь прекраснаго-простота. Каково же отношеніе этихъ произведеній фривольнаго искусства въ безъискусственной действительности? Вопросъ решается темъ, что во всехъ указанныхъ нами случаяхъ дело идеть о произведеніяхъ практической деятельности человека, которая, уклонившись въ нихъ отъ своего истиннаго назначенія-производить нужное или полезное, тыть неменье сохраняеть свой существенный характерь-производить нѣчто такое, чего не производить природа. Потому не можетъ быть и вопроса, какъ въ этихъ случаяхъ относится красота произведеній искусства къ красоть произведеній природы: въ природь нътъ предметовъ, съ которыми было бы можно сравнивать ножи, вилки, сукно, часы; точно такъ же въ ней неть предметовъ, съ которыми было бы можно сравнивать домы, мосты, колонны и т. п.

Итакъ, если даже причислять къ области изящныхъ искусствъ всв произведенія, создаваемыя подъ преобладающимъ вліяніемъ стремленія къ прекрасному, то надобно будетъ сказать, что произведенія архитектуры или сохраняютъ свой практическій характеръ, и въ такомъ случав не имѣютъ права быть разсматриваемы какъ произведенія искусства, или на самомъ дѣлѣ становятся произведеніями искусства, но искусство имѣетъ столько же права гордиться ими, какъ произведеніями ювелирнаго мастерства. По нашему понятію о сущности искусства, стремленіе къ произведенію прекраснаго въ смыслѣ граціознаго, изящнаго, красиваго не есть еще искусство; для искусства, какъ увидимъ, нужно больше; потому произведеній архитектуры ни въ какомъ случав мы не рѣшимся назвать произведеніями искусства. Архитектура—одна изъ практическихъ дѣятельностей человѣка, которыя всѣ не чужды стремленія къ красивости формы, и отличается въ этомъ отношеніи

отъ мебельнаго мастерства не существеннымъ характеромъ, а только размъромъ своихъ произведеній.

Общій недостатокъ произведеній скульптуры и живописи, по которому они стоять ниже произведеній природы и жизни—ихъ мертвенность, ихъ неподвижность; въ этомъ всё признаются, и потому было бы излишне распространяться относительно этого пункта. Посмотримъ же лучше на мнимыя преимущества этихъ искусствъ передъ природою.

Скульптура изображаетъ формы человъческаго тъла; все остальное въ ней аксессуаръ; лютому и будемъ говорить о томъ только, какъ она изображаетъ человъческую фигуру. Обратилось въ какуюто аксіому, что красота очертаній Венеры Медицейской или Милосской, Аполлона Бельведерскаго и т. д. гораздо выше, нежели красота живыхъ людей. Въ Петербургъ нътъ ни Венеры Медицейской, ни Аполлона Бельведерскаго; но есть произведенія Кановы; потому мы, жители Цетербурга, можемъ иметь смелость судить до нъкоторой степени о красотъ произведеній скульптуры. Мы должны сказать, что въ Петербурге неть ни одной статуи, которая по прасоть очертаній лица не была бы гораздо ниже безчисленнаго множества живыхъ людей и что надобно только пройти по какой-нибудь многолюдной улиць, чтобы встрытить несколько таких лиць. Въ этомъ согласятся большая часть техъ, которые привыкли судить самостоятельно. Но этого собственнаго впечатавнія не будемъ однако считать доказательствомъ. Есть другое, гораздо боле твердое. Математически строго можно доказать, что произведение искусства не можеть сравниться съ живымъ человъческимъ лицомъ по красотъ очертаній: извістно, что въ искусствів исполненіе всегда неизмівримо ниже того идеала, который существуеть въ воображении художника. А самый этотъ идеалъ никакъ не можетъ быть по красоть выше тыхь живыхь людей, которыхь имыль случай видыть художникъ. Силы «творческой фантазіи» очень ограниченны: она можеть только комбинировать впечатленія, полученныя изъ опыта: воображение только разнообразить и экстенсивно увеличиваеть предметь, но интенсивнее того, что мы наблюдали или испытали, мы ничего не можемъ вообразить. Я могу представить себъ солнце гораздо больше по величинъ, нежели баково оно въ дъйствительности; но ярче того, какъ оно являлось мнв въ действительности, я не могу его вообразить. Точно такъ же я могу представить себъ

человъка выше ростомъ, толще и т. д., нежели тълюди, которыхъ я видъль; но лица прекраснъе тъхъ лицъ, которыя случалось мнъ видеть въ действительности, я не могу себе вообразить. Это выше силь человъческой фантазіи. Одно могь бы сдълать художникь: соединить въ своемъ идеалъ лобъ одной красавицы, носъ другой, ротъ и подбородокъ третьей; не споримъ, что это иногда и дълаютъ художники; но сомнительно: вопервыхъ, нужно ли это; вовторыхъ, въ состояніи ли воображеніе соединить эти части, когда онв действительно принадлежать разнымь лицамь. Нужно это было бы только тогда, когда бы художнику попадались все такія лица, въ которыхъ одна часть была бы хороша, а другія дурны. Но обывновенно въ лицъ всъ части почти одинаково хороши или почти одинаково дурны, такъ что художникъ, будучи доволенъ, напр., лоомъ, должень почти въ такой же степени остаться доволень и очертаніемъ носа и ртомъ. Обыкновенно, если лицо не изуродовано, то всь части его бывають въ такой гармоніи между собою, что нарушать ее значило бы портить красоту лица. Этому учить насъ сравнительная анатомія. Правда, очень часто случается слышать: «какъ хорошо было бы это лицо, еслибы носъ быль несколько приподнять къ верху, губы несколько потоныше» и т. п. — нисколько не сомнъваясь въ томъ, что иногда при красотъ всъхъ остальныхъ частей лица одна часть его бываеть некрасива, мы думаемъ, что обыкновенно, или лучше сказать почти всегда, подобное недовольство проистекаетъ или отъ неспособности понимать гармонію, или отъ прихотливости, которая граничить съ отсутствіемъ истинной, сильной способности и потребности наслаждаться прекраснымъ. Части человъческаго тъла, какъ и всякаго живаго организма, постоянно возрождающагося подъ вліяніемъ своего единства, находятся между собою въ тесневищей связи, такъ что форма одного члена зависить отъ формъ всехъ остальныхъ, и въ свою очередь оне зависять отъ нея. Темъ более надобно это сказать о различныхъ частяхъ одного органа, о различныхъ частяхъ лица. Взаимная зависимость очертаній доказывается, какъ мы говорили, наукою, но и безъ помощи науки очевидна для всякаго, одареннаго чувствомъ гармоніи. Человіческое тіло-одно цілое; его недьзя разрывать на части и говорить: эта часть хороша, прекрасна, эта некрасива. И здівсь, какъ во многихъ другихъ случаяхъ, подбираніе, мозаичность, эклектизмъ ведетъ къ несообразностимъ: принимайте все, или не

принимайте ничего - только тогда вы будете правы, по крайней мъръ съ своей точки зрънія. Только въ уродахъ, въ этихъ эклектическихъ существахъ, умъстна мърка эклектизма. А оригиналами при изваяніи «великих» произведеній скульптуры» конечно служили не они. Еслибы художникъ взяль для своего изваянія лобъ съ одного лица, носъ съ другаго, ротъ съ третьяго, онъ доказалъ бы этимъ только одно: собственное безвкусіе или по крайней мъръ. неумънье отъискать действительно прекрасное лицо для своей модели. На основании всъхъ приведенныхъ соображений, мы думаемъ, что врасота статуи не можеть быть выше красоты живаго индивидуальнаго человъка; потому что снимокъ не можетъ быть прекрасеве оригинала. Правда, не всегда статуя бываеть вёрнымъ снимкомъ съ натурщика; иногда «художникъ воплощаетъ въ своей статув свой идеаль -- но какимъ образомъ составляется идеаль художника, не похожій на его модель, мы будеть имъть случай говорить впоследствии. Мы не забываемъ и того, что, кроме очертаній, въ произведеніи скульптуры есть еще группировка и выраженіе; но оба эти элемента красоты гораздо поливе, нежели въ статув, мы встрвчаемь въ картинв; потому и анализируемъ ихъ, говоря о живописи, къ которой переходимъ. Живопись съ нашей настоящей точки эрвнія мы должны раздвлить на изображеніе отдвльныхъ фигуръ и группъ, живопись изображающую вившній міръ и живопись изображающую фигуры и группы среди ландшафта или, выражаясь общее, среди обстановки.

Что касается до очертаній отдільной человіческой фигуры, надобно сказать, что живопись уступаеть въ этомъ отношеніи нетолько природів, но и скульптурів: она не можеть очерчивать такъ полно и опреділенно; за то, распоряжаясь красками, она изображаєть человіна гораздо ближе къ живой природів и можеть придавать его лицу гораздо боліве выразительности, нежели скульптура. Не знаемъ, до какой степени совершенства дойдеть со временемъ составленіе красокъ; но при настоящемъ положеніи этой стороны техники, живопись не можеть хорошо передавать цвіть человіческаго тіла вообще, и особенно цвіть лица. Краски ея въ сравненіи съ цвітомъ тіла и лица—грубое, жалкое подражаніе; вмісто ніжнаго тіла она рисуеть что-то зеленоватое или красноватое; и, говоря бевотносительно, не принимая въ соображеніе, что и для этого зеленоватаго или красноватаго изображенія нужно иміть не-

обыкновенное «умънье», мы должны будемъ признаться, что живое твло не можеть быть удовлетворительно передано мертвыми красками. Одинъ только изъ оттънковъ его передаетъ живопись довольно хорошо-потерявшій жизненность, сухой цвёть стариковскаго или загрубълаго лица. Покрытыя оспенными ямочками или бользненныя лица также выходять на картинахъ несравненно удовлетворительные, нежели свыжія, молодыя. Наилучшее выходить въ живописи наихудшимъ, наихудшее-наиболее удовлетворительнымъ. То же самое надобно сказать и о выраженіи лица. Лучше другихъ оттънковъ жизни удается живописи изображать судорожныя искаженія лица при разрушительно-сильныхъ аффектахъ, напр., выраженіе гивва, ужаса, свирвпости, буйнаго разгула, физической боли или нравственнаго страданія, переходящаго съ физическое страданіе; потому что въ этихъ случаяхъ съ чертами лица происходять ръзкія изміненія, которыя достаточно могуть быть изображены довольно грубыми взмахами кисти, и мелочная неверность или неудовлетворительность подробностей исчезаеть среди крупныхъ штриховъ: самый грубый намекъ здёсь понятенъ для зрителя. Удовлетворительнее другихъ оттенковъ выраженія передается также съумасшествіе, тупоуміе или отсутствіе мысли; потому что здісь почти нечего передавать или надобно передать дисгармонію-дисгармонія не портится, а развивается несовершенствомъ исполненія. Но всъ остальныя видоизм'вненія физіогноміи передаются живописью чрезвычайно неудовлетворительно; потому что никогда не можеть она достичь нежности штриховъ, гармоничности всехъ мельчайщихъ видоизмененій въ мускулахъ, отъ которыхъ зависить выраженіе нъжной радости, тихой задумчивости, легкой веселости и т. д. Руки человическія грубы, и въ состояніи удовлетворительно сділать только то, для чего не требуется слишкомъ удовлетворительной отдёлки; «топорная работа»—вотъ настоящее имя всёхъ пластическихъ искусствъ, какъ скоро сравнимъ ихъ съ природою. Впрочемъ живопись (и скульптура) еще больше, нежели очертаніями или выраженіемъ своихъ фигуръ, гордится предъ природой группировкою. Но эта гордость еще менте понятна. Правда, искусству иногда удается безукоризненно сгруппировать фигуры, но напрасно будеть оно превозноситься своею чрезвычайно редкою удачею; потому что въ дъйствительносси никогда не бываетъ въ этомъ отношении неудачи: въ каждой группъ живыхъ людей всъ держатъ себя совершенно сообразно 1) сущности сцены, происходящей между ними; 2) сущности собственнаго своего характера и 3) условіямъ обстановки. Все это само собою всегда соблюдается въ дъйствительной жизни и съ чрезвычайнымъ трудомъ достигаетъ этого искусство. «Всегда и само собою» въ природъ; «очень ръдко и съ величайшимъ напряженіемъ силъ» въ искусствъ — вотъ фактъ, почти во всъхъ отношеніяхъ характеризующій природу и искусство.

Переходимъ къ живописи изображающей природу. Очертанія предметовъ, опять, никакъ не могутъ быть не только нарисованы рукою, но и представлены воображениемъ лучше, нежели встръчаются въ дъйствительности; причину объясняли мы выше. Лучше дъйствительной розы воображение не можетъ ничего представить; а исполненіе всегда ниже воображаемаго идеала. Цвета некоторыхъ предметовъ удаются живописи очень хорошо; но есть много предметовъ, колоритъ которыхъ она не можетъ передать. Вообще лучше удаются темные цвъта и грубые, жесткіе отгынки; свътлые хуже; колорить предметовъ, освъщенныхъ солицемъ, хуже всего; такъ же неудачны выходять оттвики голубаго полуденнаго неба, розовые и золотистые оттънки утра и вечера. — «Но именно побъжденіемъ этихъ трудностей прославились великіе художники», — т. е. темъ, что побъждали ихъ гораздо лучше, нежели другіе живописцы. Мы не говоримъ объ относительномъ достоинствъ произведеній живописи, а сравниваемъ дучтія изъ нихъ съ природою. Насколько лучшія изъ нихъ лучше другихъ, настолько же уступають природв. -- «Но живопись лучше можетъ сгруппировать пейзажъ?» -сомнаваемся; по крайней мара въ природа на каждомъ шагу встрачаются картины, къ которымъ нечего прибавить, изъ которыхъ нечего выбросить. Не такъ говорять очень многіе люди, посвятившіе свою жизнь изученію искусства и опустившіе изъ вида природу. Но простое естественное чувство каждаго человъка, не вовлеченнаго въ пристрастіе художническою или диллетантскою односторонностью, будеть согласно съ нами, когда мы скажемъ, что въ природъ очень много такихъ мъстоположеній, такихъ зрылищь, которыми можно только восхищаться и въ которыхъ нечего осудить. Войдите въ порядочный лесь-не говоримъ о лесахъ Америки, говоримъ о твхъ лесахъ, которые уже пострадали отъ руки человъка, о нашихъ европейскихъ лъсахъ-чего недостаетъ этому лъсу? Кому изъ видъвшихъ порядочный лъсъ приходило въ голову, что въ этомъ лесу надобно что-нибудь изменить, что-нибудь дополнить для полноты эстетическаго наслажденія имъ? - Пробажайте двъсти. триста версть по дорогь-не говоримь въ Крыму или въ Швейдаріи, неть, въ Европейской Россіи, которая, говорять, бедна видами-сколько вамъ встретится на этомъ небольшомъ переезде такихъ местностей, которыя восхитять васъ, любуясь на которыя вы не подумаете о томъ, что «еслибы тутъ вотъ это прибавить, тутъ вотъ это убавить, пейзажъ быль бы лучше». Человъкъ съ неиспорченнымъ эстетическимъ чувствомъ наслаждается природою вполив, не находить недостатковъ въ ея красотв. Мивніе, будто бы рисованный пейзажъ можеть быть величественные, граціозные или въ какомъ бы то ни было отношеніи лучше действительной природы, отчасти обязано своимъ происхожденіемъ предразсудку, надъ которымъ самодовольно подсмънваются въ наше время даже тъ, которые въ сущности еще не отделались отъ него, -- предразсудку, что природа груба, низка, грязна, что надобно очищать и украшать ее для того, чтобъ она облагородилась. Это принципъ подстриженныхъ садовъ. Другой источникъ мижнія о превосходствъ рисованныхъ пейзажей надъ дъйствительными анализируемъ нижекогда будемъ разсматривать вопросъ, въ чемъ именно состоитъ наслажденіе, доставляемое намъ произведеніями искусства.

Остается взглянуть на отношение къ природъ третьяго родакартинъ-картинъ, на которыхъ изображается группа людей среди пейзажа. Мы видели, что группы и пейзажи, изображаемые живописью, по идей никакъ не могутъ быть выше того, что представляетъ намъ дъйствительность, а по исполненію всегда неизмъримониже дъйствительности. Но то справедливо, что на картинъ группаможеть быть поставлена вы обстановки болые эффектной и дажеболье приличной сущности ея, нежели обыкновенная дъйствительная обстановка (радостныя сцены часто происходять среди довольнотусклой или даже грустной обстановки; потрясающія, величественныя сцены часто, и даже большею частію-среди обстановки вовсе не величественной; и наобороть, очень часто пейзажъ не наполненъ группами, характеръ которыхъ быль бы приличенъ его характеру). Искусство очень легко исполняеть эту наполноту, и мы готовы сказать, что оно имбеть въ этомъ случав преимуществопредъ дъйствительностью. Но, признавая это преимущество, мы должны разсмотръть вопервыхъ, до какой степени оно важно, во-

вторыхъ, всегда ли оно бываетъ истиннымъ преимуществомъ. -- Картина изображаеть пейзажь и группу людей среди этого пейзажа. Обыкновенно въ такихъ случаяхъ или пейзажъ есть только рамка для группы, или группа людей только второстепенный аксессуаръ, а главное въ картинъ-пейзажъ. Въ первомъ случав преимущество искусства надъ дъйствительностью ограничивается тыкь, что оно съискало для картины золоченную рамку вмёсто простой; во второмъ искусство прибавило, можетъ быть прекрасный, но второстепенный аксессуарь-выигрышь также не слишкомъ великъ. Но дъйствительно ли внутреннее значение картины возвышается, когда живописцы стараются дать групп'в людей обстановку, соответствующую характеру группы? Это сомнительно въ большей части случаевъ. Не будетъ ли слишкомъ однообразно сцены счастливой любви всегда освъщать лучами радостнаго солнца и помъщать среди смѣющейся зелени луговъ, и притомъ еще весною, когда «вся природа дышеть любовью», а сцены преступленій освіщать молнією и помъщать среди дикихъ скалъ? И кромъ того, не будеть ли не совсемь гармонирующая съ характеромъ сцены обстановка, какова обывновенно бываетъ она въ дъйствительности, своею дисгармоніею возвышать впечатленіе, производимое самою сценою? И не имееть ли почти всегда обстановка вліянія на характеръ сцены, не придаеть ли она ей новыхъ оттенковъ, не придаеть ли она ей чрезъ то больше свъжести, и больше жизни?

Окончательный выводь изъ этихъ сужденій о скульптурь и живописи: мы видимъ, что произведенія того и другаго искусства по многимъ и существеннъйшимъ элементамъ (по красоть очертаній, по абсолютному совершенству исполненія, по выразительности и т. д.) неизмъримо ниже природы и жизни; но, кромъ одного маловажнаго преимущества живописи, о которомъ сейчасъ говорили, ръшительно не видимъ, въ чемъ произведенія скульптуры или живописи стояли бы выше природы и дъйствительной жизни. Теперь намъ остается говорить о музыкъ и поэзім — высшихъ, совершеннъйшихъ искусствахъ, предъ которыми исчезаютъ и живопись, и скульптура. Но прежде мы должны обратить вниманіе на вопросъ: въ какомъ отношеніи находится инструментальная музыка къ вокальной, и въ какихъ случаяхъ вокальная музыка можетъ назваться искусствомъ?

Искусство есть деятельность, посредствомъ которой осущест-

вляеть человекь свое стремление къ прекрасному-таково обыкновенное опредъление искусства; мы не согласны съ нимъ; но пока не высказана наша критика, еще не имфемъ права отступать отъ него, и подстановивъ впоследствіи вместо употребляемаго нами здісь опреділенія то, которое кажется намъ справедливымъ, мы не измѣнимъ чрезъ это нашихъ выводовъ относительно вопроса: всегда ди пвніе есть искусство, и въ бабихъ случанхъ становится оно искусствомъ. - Какова первая погребность, подъ вліяніемъ которой человъкъ начинаетъ пъть? участвуетъ ли въ ней насколько-нибудь стремленіе къ прекрасному? Намъ кажется, что это потребность, совершенно отличная оть заботы о прекрасномъ. Человъкъ спокойный можеть быть замкнуть въ себв, можеть молчать. Человъкъ, находящійся подъ вліяніемъ чувства радости или печали, делается сообщителенъ; этого мало: онъ не можетъ не выражать во внъшности своего чувства: «чувство просится наружу». Какимъ же образомъ выступаетъ оно во вившній міръ? Различно, смотря потому, каковъ его характеръ. Внезапныя и потрясающія ощущенія выражаются крикомъ или восклицаніями; чувства непріятныя, переходящія въ физическую боль, выражаются разными гримасами и движеніями; чувство сильнаго недовольства также-безпокойными, разрушительными движеніями; наконецъ чувства радости и грусти разсказомъ, когда есть кому разсказать, и пеніемъ, когда некому разсказывать, или когда человъкъ не хочетъ разсказывать. Эта мысль найдется въ каждомъ разсуждении о народныхъ песняхъ. Странно только, почему не обращають вниманія на то, что півніе, будучи по сущности своей выраженіемъ радости или грусти, вовсе не происходить отъ нашего стремленія къ прекрасному. Неужели подъ преобладающимъ вліяніемъ чувства челов'якъ будеть еще думать о томъ, чтобы достигать прелести, граціи, будеть заботиться о формъ? Чувство и форма противоположны между собою. Уже изъ этого одного видимъ, что пъніе, произведеніе чувства, и искусство, заботящееся о формѣ, два совершенно различные предмета. Пѣніе первоначально и существенно — подобно разговору — произведеніе практической жизни, а не произведение искусства; но какъ всякое «умвнье», пвніе требуеть привычки, занятія, практики, чтобы достичь высокой степени совершенства; какъ всв органы, органъ пвнія, голосъ, требуеть обработки, ученья, для того, чтобы сделаться покорнымъ орудіемъ воли-и естественное пітніе становится въ

этомъ отношеніи «искусствомъ», но только въ томъ смыслв, въ какомъ называется «искусствомъ» умёнье писать, считать, пахать землю, всякая практическая деятельность; а вовсе не въ томъ смыслв, какой придается слову «искусство» эстетикою.

Но въ противоположность естественному пенію существуеть искусственное паніе, старающееся подражать естественному. Чувство придаеть особенный, высокій интересъ всему, что производится подъ его вліяніемъ; оно даже придаеть всему особенную прелесть, особенную красоту. Одушевленное грустью или радостью лицо въ тысячу разъ прекраснее, нежели холодное. Естественное пѣніе, какъ изліяніе чувства, будучи произведеніемъ природы, а не искусства, заботящагося о красоть, имьеть однако высокую красоту; потому является въ человъкъ желаніе пъть нарочно, подражать естественному пвнію. Каково отношеніе этого искусственнаго пвнія въ естественному?--оно гораздо обдуманню, оно разсчитано, украшено всемъ, чемъ только можетъ украсить его геній человека: какое сравнение между арією итальянской оперы и простымъ, бѣднымъ, монотоннымъ мотивомъ народной песни! Но вся ученость гармоніи, все изящество развитія, все богатство украшеній геніальной аріи, вся гибкость, все несравненное богатство голоса, ее исполняющаго, не замёнить недостатка искренняго чувства, которымъ проникнуть бъдный мотивъ народной пъсни и неблестящій, малообработанный голосъ человъка, который поеть не изъ желанія блеснуть и выказать свой голось и искусство, а изъ потребности излить свое чувство. Различіе между естественнымъ и искусственнымъ пвніемъ-различіе между актеромъ, играющимъ роль веселаго или печальнаго и человекомъ, который въ самомъ деле обрадованъ или опечаленъ чъмъ-нибудь -- различие между оригиналомъ и копиею, между дъйствительностью и подражаниемъ. Спешимъ прибавить, что композиторъ можеть въ самомъ деле промикнуться чувствомъ, которое должно выражаться въ его произведеніи; тогда онъ можеть написать нечто гораздо высшее нетолько по внешней красивости, но и по внутреннему достоинству, нежели народная пъсня: но въ такомъ случай его произведение будетъ произведениемъ искусства или «умёнья» только съ технической стороны, только въ томъ смысль, въ которомъ и всь, человъческія произведенія, созданныя при помощи глубокаго изученія, соображеній, заботы о томъ, чтобы «вышло какъ возможно дучше», могутъ назваться произведеніями искусства; въ сущности же произведение композитора, написанное подъ преобладающимъ вліяніемъ непроизвольнаго чувства, будетъ созданіе природы (жизни) вообще, а не искусства. Точно такъ же. искусный и впечатлительный півець можеть войти въ свою роль, проникнуться тымь чувствомь, которое должна выражать его песня, и въ такомъ случав онъ пропоеть ее на театрв, предъ публикою, лучше другаго человека, поющаго не на театре, отъ избытка чувства, а не на показъ публикъ; но въ такомъ случаъ пъвецъ перестаеть быть актеромъ, и его пеніе становится песнью самой природы, а не произведеніемъ искусства. Это увлеченіе чувствомъ мы не думаемъ смъщивать съ вдохновеніемъ: вдохновеніе есть особенно благопріятное настроеніе творческой фантазін; оно и увлеченіе чувствомъ имъють общаго только то, что въ людяхъ, одаренныхъ поэтическимъ талантомъ и вивств особенною впечатлительностью, вдохновеніе можеть переходить въ увлеченіе чувствомъ, когда предметь вдохновенія располагаеть къ чувству. Между вдохновеніемъ и чувствомъ то же самое различіе, какое между фантазіею и дійствительностью, между мечтами и впечатленіями.

Первоначальное и существенное назначение инструментальной музыки-служить аккомпаниментомъ для пенія. Правда, впоследствін, когда пініе становится для высшихъ классовъ общества преимущественно искусствомъ, когда слушатели начинають быть очень требовательны въ отношеніи къ техник пвнія — за недостаткомъ удовлетворительнаго пінія инструментальная музыка старается замънить его, и является какъ нъчто самостоятельное; правда, что она имъетъ и полное право обнаруживать притязанія на самостоятельное значение при усовершенствовании музыкальныхъ инструментовъ, при чрезвычайномъ развитіи технической стороны игры и при господствъ предпочтительнаго пристрастія къ исполненію, а не къ содержанію. Но темъ немене истиное отношеніе инструментальной музыки къ пѣнію сохраняется въ оперѣ, полнѣйшей формѣ музыки какъ искусства, и въ нъкоторыхъ другихъ отрасляхъ концертной музыки. И нельзя не заметить, что несмотря на всю искусственность нашего вкуса, на изъисканное пристрастіе ко всёмъ трудностямъ и хитростямъ блестящей техники, всв продолжаютъ отдавать ивнію предпочтеніе предъ инструментальною музыкою: едва начинается пініе, мы перестаемь обращать вниманіе на оркестръ. Выше всъхъ инструментовъ ставится скрипка, потому что

она «ближе всёхъ инструментовъ подходитъ къ человъческому голосу»; высочайщая похвала артисту: въ звукахъ его инструмента слышится человъческій голосъ». Итакъ: инструментальная музыка подражаніе пінію, его аккомпанименть или суррогать; въ самомъ пініи, пініе какъ произведеніе искусства только подражаніе и суррогать пінію, какъ произведенію природы. Послів этого мы имъемъ право сказать, что въ музыкъ искусство есть только слабое воспроизведеніе явленій жизни, независимыхъ отъ стремленія нашего къ искусству.

Переходимъ къ высочайшему и полнъйшему изъ искусствъ, поэзін, вопросы о которой заключають вь себь всю теорію искусства. Неизмъримо выше другихъ искусствъ стоитъ поэзія по своему содержанію; всё другія искусства не въ состояніи сказать намъ и сотой доли того, что говорить поэзія. Но совершенно изм'вняется это отношеніе, когда мы обращаемъ вниманіе на силу и живость субъективнаго впечатавнія, производимаго поэзіею съ одной стороны и остальными искусствами съ другой. Всё другія искусства, подобно живой действительности, действують прямо на чувства; поэзія действуєть на фантазію; фантазія у однихь людей гораздо впечатлительнее и живее, нежели у другихъ, но вообще должно сказать, что у здороваго человека ен образы блёдны, слабы въ сравненіи съ возэрвніями чувствъ; потому надобно сказать, что по снав и ясности субъективнаго впечатавнія поэзія далеко ниже нетолько действительности, но и всёхъ другихъ искусствъ. Посмотримъ же, какова степень объективнаго совершенства содержанія и формы въ произведеніяхъ поэзіи, и можеть ли она хотя въ этомъ отношеніи соперничать съ природою.

Много говорять о «законченности», «индивидуальности», «живой опредёленности» лиць и характеровь, изображаемых великими поэтами. Но вмёстё съ этимъ говорять намъ, что «это однако же не отдёльныя лица, а общіе типы»—послё такой фразы было бы излишне доказывать, что самое опредёленное, наилучшимъ образомъ обрисованное лицо остается въ поэтическомъ произведеніи только общимъ, неопредёленно-очерченнымъ абрисомъ, которому живая опредёленная индивидуальность придается только воображеніемъ (собственно говоря, воспоминаніями) читателя. Образъ въ поэтическомъ произведеніи точно такъ же относится къ дёйствительному живому образу, какъ слово относится къ дёйствительному

предмету, имъ обозначаемому---это не более, какъ бледный и общій, неопределенный намекъ на действительность. Многіе въ этой «общности» поэтическаго образа видять превосходство его надъ лицами, представляющимися намъ въ действительной жизни. Такое мнівніе основывается на предполагаемой противоположности между общимъ значеніемъ существа и его живою индивидуальностью, на предположеніи, будто бы «общее, индивидуалигируясь, теряеть своюобщность» въ действительности и «возводится опять въ ней только силою искусства, совлекающаго съ индивидуума его индивидуальность». Не вдаваясь въ метафизическія сужденія о томъ, каковы на самомъ дълъ каузальныя отношенія между общимъ и частнымъ (причемъ необходимо было бы придти къ заключенію, что для человека общее только бледный и мертвый экстракть изъ индивидуальнаго, что поэтому между ними такое же отношеніе, какъ между словомъ и реальностью), скажемъ только, что на самомъ дёлё индивидуальныя подробности вовсе не мёшають общему значенію предмета, а, напротивъ, оживляютъ и дополняютъ его общее значеніе; что, во всякомъ случать, поэзія признаеть высокое превосходство индивидуальнаго ужъ твиъ самымъ, что всвии силами стремится къ живой индивидуальности своихъ образовъ; что съ темъ вместе никакъ не можеть она достичь индивидуальности, а успъваетъ только нъсколько приблизиться къ ней, и что степенью этого приближенія опредъляется достоинство поэтическаго образа. Итакъ: стремится, но не можетъ никогда достичь того, что всегда встрвчается въ типическихъ лицахъ двйствительной жизни-ясно, что образы поэзіи слабы, неполны, неопредёленны въ сравненіи съ соотвътствующими имъ образами дъйствительности. «Но встръчаются ли въ дъйствительности истинно-типическія лица? > --- достаточно предложить подобный вопросъ, и не дожидаться на него отвъта какъ на вопросы о томъ, действительно ли въ жизни встречаются добрые и дурные люди, моты, скупцы и т. д., действительно ли ледъ холоденъ, хлебъ очень питателенъ и т. п. Есть люди, которымъ все надобно указать и доказывать. Но ихъ нельзя убъдить общими доказательствами въ общемъ сочиненіи; на нихъ можно дъйствовать только порознь, для нихъ убъдительны только спеціальные примъры, заимствованные изъ кружка знакомыхъ имъ людей, въ которомъ, какъ бы ни былъ онъ тесенъ, всегда найдется несколько истинно-типическихъ личностей; указаніе на истинно-типическія личности въ исторіи едва ли поможеть: есть люди, готовые сказать: «историческія личности опоэтизированы преданіемъ, удивленіемъ современниковъ, геніемъ историковъ или своимъ исключительнымъ положеніемъ».

Отчего произошло мивніе, будто бы типическіе характеры въ поэзін выставляются гораздо чище и лучше, нежели представляются они въ дъйствительной жизни, разсмотримъ послъ; теперь обратимъ вниманіе на процессъ, посредствомъ котораго «создаются» характеры въ поэзіи-онъ обыкновенно представляется ручательствомъ за большую въ сравнении съ живыми лицами типичность этихъ образовъ. Обыкновенно говорять: «Поэть наблюдаеть множество живыхъ индивидуальныхъ личностей; ни одна изъ нихъ не можетъ служить полнымъ типомъ; но онъ замъчаетъ, что въ каждой изъ нихъ есть общаго, типическаго; отбрасывая въ сторону все частное, соединяеть въ одно художественное целое разбросанныя въ различныхъ людяхъ черты, и такимъ образомъ создаетъ характеръ, который можеть быть названь квинть-эссенцею лействительных характеровъ». Положимъ, что все это совершенно справедливо, и что всегда бываеть именно такъ; но квинть-эссенція вещи обыкновенно непохожа бываеть на самую вещь: теннъ не чай, алкоголь не вино; по правилу, приведенному выше, въ самомъ деле поступають «сочинители», дающіе намъ вмёсто людей квинть-эссенцію героизма и злобы въ видъ чудовищъ порока и каменныхъ героевъ. Всъ, или почти всв, молодые люди влюбляются — воть общая черта, въ остальныхъ они не сходны — и во всёхъ произведенияхъ поозіи мы услаждаемся девицами и юношами, которые и мечтають и толкують всегда только о любви, и во все продолжение романа только н делають, что страдають или блаженствують оть любви; всё пожилые люди любять порезонерствовать, въ остальномъ они не похожи другь на друга; всв бабушки любять внучать и т. д.,-и воть всё повёсти и романы населяются стариками, которые только и дела делають, что резонерствують, бабушками, которыя только и дъла делають, что ласкають внучать и т. п. Но большею частью рецепть не совсимъ соблюдается: у поэта, когда онъ «создаетъ» свой характерь, носится предъ воображениемь обыкновенно образъ какого-нибудь действительнаго лица; иногда сознательно, иногда безсознательно, «воспроизводить» онъ его въ своемъ типическомъ лиць. Въ доказательство напомнимъ о безчисленномъ количествъ

произведеній, въ которыхъ главное действующее лицо-болье или менье върный портреть самого автора (напр. Фаусть, Донь Карлосъ и маркизъ Поза, герои Байрона, герои и геронии Жоржъ-Занда, Ленскій, Онвгинъ, Печоринъ); напомнимъ еще объ очень частыхъ обвиненіяхъ противъ романистовъ, что они «въ своихъ романахъ выставляютъ портреты своихъ знакомыхъ>--- эти обвине-нія обыкновенно отвергаются съ насмішкою и негодованіемъ; но они больщею частью бывають только утрированы и несправедливо выражаемы, а не по сущности своей несправедливы. Съ одной стороны, приличія, съ другой обыкновенное стремленіе человіка къ самостоятельности, къ «творчеству, а не списыванию копій» заставляють поэта видоизмёнять характеры, списываемые имъ съ людей, которые встречались ету въ жизни, представлять ихъ до некоторой степени не точными; кром' того, списанному съ действительнаго человъка лицу обыкновенно приходится въ романъ дъйствовать совершенно не въ той обстановки, какой оно было окружено на самомъ дълъ, и отъ этого вившнее сходство теряется. Но всв эти перемены не мешають характеру въ сущности оставаться списаннымъ, а не созданнымъ, портретомъ, а не оригиналомъ. Противъ этого можно сказать: правда, что первообразомъ для поэтическаго лица служить очень часто д'айствительное лицо; но поэть «возводить его къ общему значенію - возводить обыкновенно не зачемъ, потому что и оригиналь уже имбеть общее значение въ своей индивидуальности; надобно только — и въ этомъ состоить одно изъ качествъ поэтическаго генія-умьть понимать сущность характера въ дъйствительномъ человъкъ, смотръть на него проницательными глазами; кромъ того надобно понимать или чувствовать, какъ сталь бы действовать и говорить этоть человекь въ техъ обстоятельствахъ, среди которыхъ онъ будетъ поставленъ поэтомъ-другая сторона поэтическаго генія; въ третьихъ надобно умёть изобразить его, умъть передать его такимъ, какимъ понимаеть его поэтъедвали не самая характеристическая черта поэтического генія. Понять, уметь сообразить или почувствовать инстинктомъ и передать понятое-вотъ задача поэта при изображении большей части изображаемыхъ имъ лицъ. Вопросъ о томъ, что называется «возведеніемъ къ идеальному значенію», «опоэтизированіемъ прозы и нескладицы жизни», представится намъ ниже. Мы нижколько не сомивваемся однако, что бываеть въ поэтическихъ произведеніяхъ очень много лицъ,

которыя не могуть быть названы портретати, которыя «созданы» поэтомъ. Но это происходитъ вовсе не отъ того, чтобы не нашлось въ дъйствительности достойныхъ натурщиковъ; а совершенно отъ другой причины, чаще всего просто отъ забывчивости или недостаточнаго знакомства: если въ памяти поэта исчезли живыя подробности, осталось только общее отвлеченное понятіе о характерѣ, или поэть знаеть о типическомъ лицъ гораздо меньше, нежели нужно для того, чтобы оно было живымъ лицомъ, то почеволъ приходится ему самому дополнять общій очеркъ, оттінять абрись. Но почти никогда эти придуманныя лица не обрисовываются предъ нами какъ живые характеры. Вообще, чемъ больще намъ известно о характеръ поэта, о его жизни, о лицахъ, съ которыми онъ сталвивался, тамъ больше видимъ у него портретовъ съ живыхъ людей. Трудно не согласиться, что «созданнаго» въ лицахъ, изображаемыхъ поэтами, бываетъ и всегда бывало гораздо меньше, а списаннаго съ дъйствительности гораздо больше, нежели обывновенно предполагають; трудно не прійти къ убъжденію, что поэть въ отношени къ своимъ лицамъ почти всегда только историкъ или авторъ мемуаровъ. Само собою разумется, что всемъ этимъ не не хотимъ мы сказать, будто бы каждое слово, произносимое Маргаритою или Мефистофелемъ, было буквально слышано Гёте отъ Гретхенъ и Мерка. Не только геніальный поэть, но и самый ненаходчивый разсказчикъ въ состояніи къ одной фразв придвлать другую въ томъ же родъ, прибавить вступленія и переходы.

Гораздо больше бываеть «самостоятельно изобретеннаго» или «придуманнаго» — решаемся заменить этими терминами обыкновенный, слишкомъ гордый терминъ: «созданнаго» — въ событіяхъ, изображаемыхъ поэтомъ, въ интриге, завязке и развязке ея и т. д., хотя очень легко доказать, что сюжетами романовъ, повестей и т. д. обыкновенно служатъ поэту действительно совершившіяся событія или анекдоты, разнаго рода разсказы и пр. (укажемъ въ примеръ на все прозаическія повести Пушкина: Капитанская дочка — анекдоть; Дубровскій — анекдоть; Пиковая дама — анекдоть; Выстрёль — анекдоть, и т. д.). Но общій очеркъ сюжета самъ по себе еще не придасть высокаго поэтическаго достоинства роману или повести — надобно уметь воспользоваться сюжетомъ; потому, оставляя безъ разсмотренія «самостоятельность» сюжета, обратимъ вниманіе на то, выше или ниже действительныхъ событій «поэтичность» поэти-

ческихъ произведеній се стороны сюжета, какъ онъ представляется въ нихъ вполнъ развитымъ. Какъ пособія для полученія окончательнаго вывода, выставимъ нёсколько вопросовъ, изъ которыхъ большая часть разрішаются сами собою: 1) Бывають ли въ дійствительности поэтическія событія, совершаются ли въ дъйствительности драмы, романы, комедін, трагедін, водевили? — ежеминутно. 2) Истинно ли поэтичны эти событія въ своемъ развитіи и развязкъ?--имъють ли въ дъйствительности художественную полноту и законченность?--Какъ случится; часто не имфють, но очень часто имъють. Есть очень много такихъ событій, въ которыхъ строгопоэтическое возэрвніе не находить никакихъ недостатковь въ художественномъ отношеніи. Этотъ пункть різшается чтеніемъ первой хорошо написанной исторической книги, первымъ вечеромъ, проведеннымъ въ беседе съ человекомъ, много на своемъ веку видавшимъ; разрешается, наконецъ, первыми взятыми въ руки нумерами какой-нибудь французской или англійской судебной газеты. 3) Есть ли между этими законченными поэтическими событіями такія, которыя могли бы безъ всякаго изміненія быть переданы подъ заглавіемъ «драма», «трагедія», «романъ» и т. п.? — очень много; правда, что многія изъ дійствительныхъ событій неправдоподобны, основаны на слишкомъ редкихъ, исключительныхъ положеніяхъ или сцепленіяхъ обстоятельствъ, и потому въ настоящемъ своемъ видё имёють видь сказки или натянутой выдумки (изъ этого можно видъть, что дъйствительная жизнь часто бываетъ слишкомъ драматична для драмы, слишкомъ поэтична для поэзіи); но очень много есть событій, въ которыхъ при всей ихъ замічательности, нътъ ничего эксцентрическаго, невъроятнаго, все сцепленіе происшествій, весь ходъ и развязка того, что въ поэзін называется интригою, просты, естественны. 4) Имфють ли действительныя событія «общую» сторону, которая необходима въ поэтическомъ произведения?-конечно ее имветь всякое событіе, достойное вниманія мыслящаго человъка; а такихъ событій очень много.

Послѣ всего этого трудно не сказать, что въ дѣйствительности есть много событій, которыя надобно только знать, понять и умѣть разсказать, чтобы они въ чистомъ прозаическомъ разсказѣ историка, писателя мемуаровъ или собирателя анекдотовъ отличались отъ настоящихъ «поэтическихъ произведеній» только меньшимъ объемомъ, меньшимъ развитіемъ сценъ, описаній и тому подобныхъ

подробностей. И въ этомъ мы находимъ существенное различіе поэтическихъ произведеній отъ точнаго, прозанческаго пересказыванія действительных происшествій. Большая полнота подробностей, или то, что въ плохихъ произведеніяхъ пріобретаетъ имя «реторическаго распространенія» -- воть къ чему въ сущности приводится все превосходство поэзін надъ точнымъ разсказомъ. Мы не меньше другихъ готовы смёнться надъ реторикою; но, признавая законными всё стремленія, всё потребности человіческаго сердца, какъ скоро замъчаемъ ихъ всеобщность, мы признаемъ важность этихъ поэтическихъ распространеній, потому что всегда и вездъ видимъ стремленіе къ нимъ въ поэзіи: въ жизни всегда есть эти подробности, ненужныя для сущности дела, но необходиныя для его действительнаго развитія; должны оне быть и въ повзін, Разница только въ томъ, что въ дъйствительности подробности никогда не могутъ быть умышленнымъ механическимъ растягиваніемъ дела, а въ поэтическихъ произведеніяхъ онв на самомъ дъл очень часто отзываются реторикою, механическимъ растягиваніемъ разсказа. За что же и превозносять Шекспира, если не за то, что въ ръшительныхъ, лучшихъ сценахъ онъ отбрасываетъ въ сторону эти распространенія? Но сколько найдется ихъ даже у него, у Гете и у Шиллера! Намъ кажется (можеть быть это-пристрастіе въ своему, родному), что русская поэзія носить въ себъ зародыши отвращенія къ растягиванію сюжета механически подбираемыми подробностями. Въ повъстяхъ и разсказахъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя общее свойство-краткость и быстрота разсказа.-Итакъ вообще, по сюжету, по типичности и полнотъ обрисовки лицъ, поэтическія произведенія далеко уступають дійствительности; но есть двв стороны, которыми они могуть стоять выше действительности; — это украшеніе и сочетаніе лицъ съ теми событіями, въ которыхъ они участвують.

Мы говорили, что живопись чаще, нежели дъйствительность, окружаеть группу обстановкою, соотвътствующею существенному характеру сцены; точно такъ же и поезія чаще, нежели дъйствительность, двигателями и участниками событій выставляеть людей, которыхъ существенный характеръ совершенно соотвътствуеть духу событій. Въ дъйствительности очень часто мелкіе по характеру люди являются двигателями трагическихъ, драматическихъ и т. д. событій; ничгожный повъса, въ сущности даже вовсе не дурной

человъкъ, можетъ надълать много ужасныхъ дълъ; человъкъ, котораго нисколько нельзя назвать дурнымъ, можетъ погубить счастіе многихъ людей, и надълать несчастій гораздо больше, нежели Яго или Мефистофель. Въ произведеніяхъ поэзін, напротивъ того, очень дурныя дёла дёлають и люди, очень дурные; хорошія дёла дёлають и люди, особенно хорошіе. Въ жизни часто не знаешь, кого винить, кого хвалить; въ поэтическихъ произведеніяхъ обыкновенно положительнымъ образомъ раздается честь и безчестье. Но преимущество это, или недостатокъ? Вываеть иногда то, иногда другое: чаще бываеть это недостаткомъ. Не говоримъ пока о томъ, что слёдствіемъ подобнаго обыкновенія бываеть идеализація въ хорошую и въ дурную сторону, или, просто говоря, преувеличение; потому что мы не говорили еще о значеніи искусства, и рано еще решать, недостатокъ или достоинство эта идеализація; скажемъ только, что вследствіе постояннаго приспособленія характера людей къ значенію событій, является въ поэзіи монотонность, однообразны двлаются лица, и даже самыя событія; потому, что отъ разности въ характерахъ дъйствующихъ лицъ и самыя происшествія, существенно сходныя, пріобретали бы различный оттенокъ, какъ это бываеть въ жизни, вѣчно разнообразной, вѣчно новой, между тѣмъ какъ въ поэтическихъ произведеніяхъ очень часто приходится читать повторенія.-Въ наше время принято смінться надъ украшеніями, не проистекающими изъ сущности предмета и не нужными для достиженія главной цели; но до сихъ поръ еще удачное выраженіе, блестящая метафора, тысячи прикрасъ, придумываемыхъ для того, чтобы сообщить внёшній блескъ сочиненію, им'яють фрезвычайно большое вліяніе на сужденіе о произведеніяхъ поэзіи. Что касается украшеній, вившняго великольція, замысловатости и т. д., мы всегда признаемъ возможность превзойти въ вымышленномъ разсказъ дъйствительность. Но стоитъ только указать это мнимое достоинство повъсти или драмы, чтобы уронить ее въ глазахъ людей со вкусомъ, и низвести изъ области «искусства» въ область «искусственности».

Нашъ разборъ показалъ, что произведение искусства можетъ имъть преимущество предъ дъйствительностью развъ только въ двухъ-трехъ ничтожныхъ отношенияхъ, и по необходимости остается далеко ниже ея въ существенныхъ своихъ качествахъ. Разборъ этотъ можно упрекнуть въ томъ, что онъ ограничивался самыми

общими точками зрѣнія, не входиль въ подробности, не ссылался на примѣры. Дѣйствительно, его краткость кажется недостаткомъ, когда вспомнимъ о томъ, до какой степени укоренилось мнѣніе, будто бы красота произведеній искусства выше красоты дѣйствительныхъ предметовъ, событій и людей; но когда посмотришь на шаткость этого мнѣнія, когда вспомнишь, какъ люди, его выставляющіе, противорѣчатъ сами себѣ на каждомъ шагу, то покажется, что было бы довольно, изложивъ мнѣніе о превосходствѣ искусства надъ дѣйствительностью, ограничиться прибавленіемъ словъ: это несправедливо, всякій чувствуетъ, что красота дѣйствительной жизни выше красоты созданій «творческой» фантавіи. Если такъ, то на чемъ же основывается или, лучше сказать, изъ какихъ субъектнвныхъ причинъ проистекаетъ преувеличенно высокое мнѣніе о достоинствѣ произведеній искусства?

Первый источникь этого мивнія-естественная наклонность человъка чрезвычайно высоко цънить трудность дела и редкость вещи. Никто не ценить чистоты выговора француза, говорящаго по-французски, нѣмца, говорящаго по-нѣмепки-«это ему не стоило никакихъ трудовъ, и это вовсе не ръдкость»; но если французъ говорить сносно по-нъмецки, или нъмецъ по-французски-это составляеть предметь нашего удивленія и даеть такому человіку право на нівкоторое уваженіе съ нашей стороны; почему? потому, вопервыхъ, что это редко; потому, вовторыхъ, что это достигнуто целыми годами усилій. Собственно говоря, почти каждый францувъ превосходно говорить по-французски-но какъ мы взыскательны въ этомъ случав!-мальйшій, почти незамьтный оттьнокъ провинціализма въ его выговоръ, одна не совствить изящная фраза-и мн объявляемъ, что «этотъ господинъ говорить очень дурно на своемъ родномъ языкъ». Русскій, говоря по-французски, въ каждомъ звукъ изобличаетъ, что для органовъ его неуловима полная чистота французскаго выговора, безпрестанно изобличаеть свое иностранное происхожденіе въ выбор'в словь, въ построеніи фразы, во всемъ склад'в рвчи---и мы прощаемъ ему всв эти недостатки, мы даже не замъчаемъ ихъ, а объявляемъ, что онъ превосходно, несравненно говорить по-французски, наконецъ мы объявляемъ, что «этотъ русскій говорить по-французски лучше самихъ французовъ», хотя въ сущности мы не думаемъ сравнивать его съ настоящими французами, сравнивая его только съ другими русскими, также усиливающимися

говорить по-французски-онъ действительно говорить несравненно лучше ихъ, но несравненно хуже французовъ-это подразумъвается каждымъ, имфющимъ понятіе о дфиф; но многихъ гиперболическая фраза можетъ вводить въ заблуждение. Точно то же и съ приговоромъ эстетики о созданіяхъ природы и искусства: мальйшій, истинный или мнимый, недостатокъ въ произведении природы-и эстетика толкуеть о этомъ недостаткъ, шокируется имъ, готова забывать о всехъ достоинствахъ, о всехъ красотахъ: стоитъ ли ценить ихъ, въ самомъ дёле, когда они явились безъ всякаго усилія! Тотъ же самый недостатокъ въ произведении искусства во сто разъ больше, грубъе и окруженъ еще сотнями другихъ недостатковъи мы не видимъ всего этого, а если видимъ, то прощаемъ и восклицаемъ: «и на солнцъ есть пятна». Собственно говоря, произведенія искусства могуть быть сравниваемы только другь съ другомъ при определени относительнаго ихъ достоинства: некоторыя изъ нихъ оказываются выше всёхъ остальныхъ; и въ восторге отъ ихъ красоты (только относительной) мы восклицаемъ: «они прекраснъе самой природы и жизни! красота действительности — ничто предъ красотою искусства!» Но восторгь пристрастень; онь даеть больше, нежели можетъ дать справедливость: мы ценимъ трудность — это прекрасно; но не должно забывать и существеннаго, внутренняго достоинства, которое независимо отъ степени трудности; мы дълаемся ръшительно несправедливыми, когда трудность исполненія предпочитаемъ достоинству исполненія. Природа и жизнь производять прекрасное не заботясь о красоть, она является въ дъйствительности безъ усилія и следовательно безъ заслуги въ нашихъ глазахъ, безъ права на сочувствіе, безъ права на снисхожденіе; да и къ чему снисхожденіе, когда прекраснаго въ действительности такъ много! «Все не въ совершенствъ прекрасное въ дъйствительностидурно; все сколько-нибудь сносное въ искусствъ - превосходно вотъ правило, на основаніи котораго мы судимъ. Чтобы доказать, какъ высоко ценится трудность исполнения и какъ много теряетъ въ глазахъ человъка то, что дълается само собою, безъ всякихъ усилій съ нашей стороны, укажемъ на дагерротипные портреты; въ числь ихъ найдется очень много не только върныхъ, но и передающихъ въ совершенствъ выражение лица-цънимъ ли мы ихъ? странно даже услышать апологію дагерротипныхъ портретовъ. Другой примъръ: какъ высоко уважалась каллиграфія! между тъмъ, до-

вольно посредственно напечатанная книга несравненно прекраснъе всякой рукописи; но кто же восхищается искусствомъ типографскаго фактора и кто не будеть въ тысячу разъ больше любоваться на прекрасную рукопись, нежели на порядочно напечатанную книгу, которая въ тысячу разъ прекраснее рукописи? Что легко, то мало интересуеть насъ, хотя бы по внутреннему достоинству было несравненно выше труднаго. Само собою разумъется, что даже и съ этой точки зрвнія мы правы только субъективно: «двиствительность производить прекрасное безъ усилій»—значить только, что усилія въ этомъ случав двлаются не волею человека; на самомъ же двлв все въ действительности-и прекрасное и непрекрасное, и великое и мелкое-результать высочайшаго возможнаго напряженія силь, не знающихъ ни отдыха, ни усталости. Но что намъ за дело до усилій и борьбы, которыя совершаются не нашими силами и въ которыхъ не участвуетъ наше сознаніе? мы не хотимъ и знать о нихъ; мы цвнимъ только человеческую силу, цвнимъ только человъка. И вотъ другой источникъ нашей пристрастной любви къ произведеніямъ искусства: они-произведенія человъка; потому мы гордимся ими, считая ихъ чёмъ-то не чуждымъ намъ; они свидётельствують объ ум'в челов'вка, о его сил'в, и потому дороги для насъ. Всв народы, кромъ французовъ, очень хорошо видять, что между Корнелемъ или Расиномъ и Шекспиромъ неизмъримое разстояніе; но французы до сихъ поръ еще сравнивають ихъ; -- трудно дойти до сознанія: «наше не совстить хорошо»; между нами найдется очень много людей, готовыхъ утверждать, что Пушкинъ-всемірный поэть; есть даже люди, думающіе, что онъ выше Байрона: такъ высоко человъкъ ставитъ свое. Какъ отдъльный народъ преувеличиваетъ достоинство своихъ поэтовъ, такъ человекъ вообще преувеличиваетъ достоинство поэзіи вообще.

Причины пристрастія къ искусству, нами приведенныя, заслуживають уваженія, потому что онъ естественны: какъ человъку не уважать человъксаго труда, какъ человъку не любить человъка, не дорожить произведеніями, свидътельствующими объ умъ и силъ человъка? Но едвали заслуживаетъ такого уваженія третья причина предпочтительной любви нашей къ искусству. Искусство льстить нашему искусственному вкусу. Мы очень хорошо понимаемъ, какъ искусственны были нравы, привычки, весь образъ мыслей временъ Людовика XIV; мы приблизились къ природъ, гораздо лучше по-

нимаемъ и ценимъ ее, нежели понимало и ценило общество ХУП въка; тъмъ не менъе мы еще очень далеки отъ природы; наши привычки, нравы, весь образъ жизни и вследствіе того весь образъ мыслей еще очень искусственны. Трудно видеть недостатки своего въка, особенно когда эти недостатки стали слабъе, нежели были въ прежнее время; витсто того, чтобы замичать, какъ много еще въ насъ изысканной искусственности, мы замечаемъ только, что XIX въкъ стоитъ въ этомъ отношения выше XVII, лучше его понимая природу, и забываемъ, что ослабъвшая бользнь не есть еще полное здоровье. Наша искусственность видна во всемъ, начиная съ одежды, надъ которою такъ много все смеются и которую все продолжаютъ носить, до нашего кушанья, приправляемаго всевозможными примъсями, совершенно измъняющими естественный вкусъ блюдъ; отъ изысканности нашего разговорнаго языка до изысканности нашего литературнаго языка, который продолжаетъ украшаться антитезами, остротами, распространеніями изъ loci topici, глубокомысленными разсужденіями на избитыя темы и глубокомысленными замъчаніями о человъческомъ сердцъ, на-манеръ Корнеля и Расина въ беллетристикъ и на-манеръ Іоанна Миллера въ историческихъ сочиненіяхъ. Произведенія искусства льстять всёмъ медочнымъ нашимъ требованіямъ, происходящимъ отъ любви къ искусственности. Не говоримъ о томъ, что мы до сихъ поръ еще любимъ «умывать» природу, какъ любили наряжать ее въ XVII въкъ--это завлекло бы насъ въдлинныя сужденія о томъ, что такое «грязное» и до какой степени оно должно являться въ произведеніяхъ искусства. Но до сихъ поръ въ произведеніяхъ искусства господствуеть мелочная отдёлка подробностей, которой цёль не приведеніе подробностей въ гармонію съ духомъ цёлаго, а только то, чтобы сдёлать каждую изъ нихъ въ-отдёльности интереснее или красивъе, почти всегда во вредъ общему впечатлънію произведенія, его правдоподобію и естественности; господствуеть мелочная погоня за эффектностью отдельныхъ словъ, отдельныхъ фразъ и целыхъ эпизодовъ, разпръчиванье не совстить натуральными, но резкими красками лицъ и событій. Произведеніе искусства мелочиве того, что мы видимъ въ жизни и въ природъ, и вмъстъ съ тъмъ эффективе-какъ же не утвердиться мивнію, что оно прекрасиве двйствительной природы и жизни, въ которыхъ такъ мало искусственности, которымъ чуждо стремленіе заинтересовать?

Природа и жизнь выше искусства; но искусство старается угодить нашимъ наклонностямъ, а дъйствительность не можетъ быть подчинена стремленію нашему видёть все въ томъ цвёте и въ томъ порядкв, какой нравится намь или соответствуеть нашимъ понятіямъ, часто одностороннимъ. Изъ многихъ случаевъ этого угожденія господствующему образу мыслей укажемъ на одинъ: многіе требують, чтобы въ сатирическихъ произведеніяхъ были лица, «на которыхъ могло бы съ любовью отдохнуть сердце читателя>---требованіе очень естественное; но д'яйствительность очень часто не удовлетворяеть ему, представляя множество событій, въ которыхъ неть ни одного отраднаго лица; искусство почти всегда угождаеть ему; и не внаемъ, найдется ли, напримъръ, въ русской литературъ, кромв Гоголя, писатель, который бы не подчинялся этому требованію; и у самого Гоголя за недостатокъ «отрадныхъ» лицъ вознатраждають «высоко-лирическія» отступленія. Другой примітрь: человъкъ наклоненъ къ сантиментальности; природа и жизнь не раздъляють этого направленія; но произведенія искусства почти всегда больше или меньше удовлетворяють ему. То и другое требованіеследствіе ограниченности человека; природа и действительная жизнь выше этой ограниченности; произведенія искусства, подчиняясь ей, становясь этимъ ниже действительности и даже очень часто подвергаясь опасности впадать въ пошлость или въ слабость, приближаются къ обыкновеннымъ потребностямъ человъка и чрезъ это выигрывають въ его глазахъ. - «Но въ такомъ случав вы сами соглашаетесь, что произведенія искусства лучше, поливе, нежели объективная действительность, удовлетворяють природе человека; следовательно для человека они лучше произведений действительности». - Заключеніе, не совсёмъ точно выраженное; дёло въ томъ, что искусственно развитой человъкъ имъетъ много искусственныхъ, исказившихся до лживости, до фантастичности требованій, которымъ нельзя вполив удовлетворить, потому что они въ сущности не требованія природы, а мечты испорченнаго воображенія; которымъ почти невозможно и угождать, не подвергаясь насмешке и презренію отъ самого того челов'яка, которому стараемся угодить, потому что онъ самъ инстинктивно чувствуеть, что его требование не стоитъ удовлетворенія. Такъ публика и въ следъ за нею эстетика требують «отрадных» лиць, сантиментальности-и та же самая публика смется надъ произведеніями искусства, удовлетворяющими

этимъ желаніямъ. Угождать прихотямъ человѣка не значитъ еще удовлетворять потребностямъ человѣка. Первѣйшая изъ этихъ потребностей—истина. — Мы говорили объ источникахъ предпочтенія произведеній искусства явленіямъ природы и жизни относительно содержанія и выполненія; но очень важно и впечатлѣніе, производимое на насъ искусствомъ или дѣйствительностью: степенью его также измѣряется достоинство вещи

Мы видели, что впечатленіе, производимое созданіями искусства, должно быть гораздо слабе впечатленія, производимаго живою действительностью, и не считаемъ нужнымъ доказывать это. Однакоже въ этомъ отношении произведение искусства находится въ гораздо благопріятнъйшихъ обстоятельствахъ, нежели явленія дъйствительности: и эти обстоятельства могутъ заставить человъка, не привыкшаго анализировать причины своихъ ощущеній, предполагать, что искусство само по себъ производить на человъка больше дъйствія, нежели живая дъйствительность. Дъйствительность представляется нашимъ глазамъ независимо отъ нашей воли, большею частью не во время, не кстати. Очень часто мы отправляемся въ общество, на гулянье, вовсе не затемъ, чтобы любоваться человеческою красотою, не затемъ, чтобы наблюдать характеры, следить за драмою жизни; отправляемся съ заботами въ головъ, съ замкнутымъ для впечатленій сердцемъ. Но кто же отправляется въ картинную галлерею не затъмъ, чтобы наслаждаться красотою картинъ? кто принимается читать романь не затымь, чтобы вникать въ характеры изображенных тамъ людей и следить за развитіемъ сюжета? На красоту, на величіе дійствительности мы обыкновенно обращаемъ вниманіе почти насильно. Пусть она сама, если можеть, привлечеть на себя наши гляза, обращенные совершенно на другіе предметы, пусть она насильно проникнеть въ наше сердце, занятое совершенно другимъ. Мы обращаемся съ дъйствительностью какъ съ докучливымъ гостемъ, напрашивающимся на наше знакомство: мы стараемся запереться отъ нея. Но есть часы, когда пусто остается въ нашемъ сердцъ отъ нашего же собственнаго невниманія къ действительности-и тогда мы обращаемся къ искусству, умоляя его наполнить эту пустоту; мы сами играемъ предъ нимъ роль заискивающаго просителя. На жизненномъ пути нашемъ разбросаны золотыя монеты; но мы не замізчаемъ ихъ, потому что думаемъ о цъли пути, не обращая вниманія на дорогу, лежащую

подъ нашими ногами; замътивъ, мы не можемъ нагнуться чтобы, собрать ихъ, потому что «телъга жизни» неудержимо уносить насъ впередъ-воть наше отношение къ действительности; но мы прівхали на станцію, и прохаживаемся въ скучномъ ожиданіи лошадей — тутъ мы со вниманіемъ разсматриваемъ каждую жестяную бляху, которая, быть можеть, не стоить и вниманія-воть наше отношение къ искусству. Не говоримъ уже о томъ, что явления жизни важдому приходится опенивать самому, потому что для важдаго отдъльнаго человъка жизнь представляетъ особенныя явленія, которыхъ не видять другіе, надъ которыми поэтому не произноситъ приговора цълое общество; а произведенія искусства оцънены общимъ судомъ. Красота и величіе действительной жизни редко являются намъ патентованными, а про что не трубитъ молва; то немногіе въ состоянім замітить и опітить; явленія дійствительности-золотой слитокъ безъ клейма: очень многіе откажутся уже поэтому одному взять его, очень многіе не отличать отъ куска мъди; произведение искусства -- банковый билеть, въ которомъ очень мало внутренней циности, но за условную циность котораго ручается все общество, которымъ поэтому дорожитъ всякій и относительно котораго немногіе даже сознають ясно, что вся его цвнность заимствована только отъ того, что онъ представитель золотаго куска. Когда мы смотримъ на дъйствительность, она сама занимаетъ насъ собою, какъ нечто совершенно самостоятельное, и редко оставляеть намъ возможность переноситься мыслями въ нашъ субъективный міръ, въ наше прошедшее. Но когда я смотрю на произведеніе искусства, туть полный просторь моимъ субъективнымъ воспоминаніямъ, и произведеніе искусства для меня обыкновенно бываеть только поводомъ къ сознательнымъ или безсознательнымъ мечтамъ и воспоминаніямъ. Трагическая сцена совершается предо мною въ дъйствительности - тогда мнв не до того, чтобы вспоминать о себф; но я читаю въ романф эпизодъ о погибели человъкаи въ моей памяти ясно или смутно воскресають всё опасности, въ которыхъ я быль самъ, всв случаи погибели близкихъ ко мнв людей. Сила искусства есть обыкновенно сила воспоминанія. Ужь и по самой своей незаксиченности, неопределенности, именно потому самому, что обыкновенно оно только «общее мъсто», а не живой индивидуальный образъ или событіе, произведеніе искусства особенно способно вызывать наши воспоминанія. Дайте мив законченный портреть человька—онъ не напомнить мев ни одного изъ моихъ знакомыхъ, и я холодно отвернусь, сказавъ «недурно»; но покажите мнв въ благопріятную минуту едва набросанный, неопредвленный абрисъ, въ которомъ ни одинъ человькъ не узнаетъ себя положительнымъ образомъ—и этотъ жалкій, слабый абрисъ напомнить мнв черты кого нибудь милаго мнв; и, холодно смотря на живое лицо, полное красоты и выразительности. я въ упоеніи буду смотрёть на ничтожный эскизъ, говорящій мнв о мнв самомъ. Сила искусства есть сила общихъ мёсть. Есть еще въ произведеніяхъ искусства сторона, по которой они въ неопытныхъ или недальновидныхъ глазахъ выше явленій жизни и действительности—въ нихъ все выставлено на показъ, объяснено самимъ авторомъ, между тёмъ какъ природу и жизнь надобно разгадывать собственными силами. Сила искусства—сила комментарія; но объ этомъ должны будемъ говорить мы ниже.

Много нашли мы причинъ предпочтенія, отдаваемаго искусству передъ действительностью; но всё оне только объясняють, а не оправдывають это предпочтение. Не соглашаясь, чтобы искусство стояло нетолько выше действительности, но и наравие съ нею по внутреннему достоинству содержанія или исполненія, мы, конечно, не можемъ согласиться съ господствующимъ нына взглядомъ на тоизъ какихъ потребностей возникаеть оно, въ чемъ цель его существованія, его назначеніе. Господствующее мивніе о происхожденіи и значении искусства выражается такъ: «имъя непреодолимое стремленіе къ прекрасному, человікъ не находить истинно-прекраснаго въ объективной действительности; этимъ онъ поставленъ въ необходимость самъ создавать предметы или произведенія, которыя соотвътствовали бы его требованію, предметы и явленія истиннопрекрасныя». Иначе сказать: «идея прекраснаго, не осуществияемая дъйствительностью, осуществляется произведеніями искусства. Мы должны анализировать это опредёленіе, чтобы открыть истинное значение неполныхъ и одностороннихъ намековъ, въ немъ заключающихся. «Человъкъ имъетъ стремленіе къ прекрасному»,--но если подъ прекраснымъ понимать то, что понимается въ этомъ опредвленіи-полное согласіе идеи и формы, то изъ стремленія въ прекрасному надобно выводить не искусство въ частности, а вообще всю деятельность человека, основное начало которой-полное осуществленіе извъстной мысли; стремленіе къ единству идеи и образа-

формальное начало всякой техники, стремленіе къ созданію и усовершенствованію всякаго произведенія или издёлія; выводя изъ стремленія къ прекрасному искусство, мы смѣшиваемъ два значенія этого слова: 1) изящное искуство (поэзія, музыка и т. д.) и 2) уменье или старанье хорошо сделать что-нибудь; только последнее выводится изъ стремленія къ единству идеи и формы. Если же подъ прекраснымъ должно понимать (какъ намъ кажется) то, въ чемъ человъкъ видитъ жизнь-очевидно, что изъ стремленія къ нему происходить радостная любовь ко всему живому и что это стремленіе въ высочайшей степени удовлетворяется живою действительностью. — «Человекъ не встречаеть въ действительности истиню и вполнъ прекраснаго»-- мы старались доказать, что это несправедливо, что д'ятельность нашей фантазіи возбуждается не недостатками прекраснаго въ дъйствительности, а его отсутствіемъ; что дъйствительное прекрасное вполне прекрасно, но, къ сожалению нашему, не всегда бываеть предъ нашими глазами. Еслибы произведенія искусства возникали вследствіе нашего стремленія къ совершенству и пренебреженія всімь несовершеннымь, человікь долженъ былъ бы давно покинуть, какъ безплодное усиліе, всякое стремленіе къ искусству, потому что въ произведеніяхъ искусства нъть совершенства; кто недоволенъ дъйствительною красотою, тотъ еще меньше можеть удовлетвориться красотою, создаваемою искусствомъ. Итакъ, невозможно согласиться съ обыкновеннымъ объясненіемъ значенія искусства; но въ этомъ объясненіи есть намеки, которые могуть быть названы справедивыми, если будуть истолкованы надлежащимъ образомъ. «Человъкъ неудовлетворяется прекрасныиъ въ дъйствительности, ему мало этого прекраснаго-вотъ въ чемъ сущность и правдивость обыкновеннаго объясненія, которая, будучи ложно понимаема, сама нуждается въ объяснении.

Море прекрасно; смотря на него, мы не думаемъ быть имъ недовольны въ эстетическомъ отношеніи; но не всё люди живутъ близь моря; многимъ не удастся ни разу въ жизни взглянуть на него; а имъ хотелось бы полюбоваться на море—и для нихъ являются картины, изображающія море. Конечно, гораздо лучше смотрёть на самое море, нежели на его изображеніе; но за недостаткомъ лучшаго, человёкъ довольствуется и худшимъ, за недостаткомъ вещи—ея суррогатомъ. И темъ людямъ, которые могуть любоваться моремъ въ действительности, не всегда, когда хочется,

можно смотръть на море-они вспоминають о немъ; но фантазія слаба, ей нужна поддержка, напоминаніе-и, чтобы оживить свои воспоминанія о моръ, чтобы яснье представлять его въ своемъ воображеніи, они смотрять на картину, изображающую море. Воть единственная цель и значение очень многихъ (большей части) произведеній искусства: дать возможность, хотя въ нёкоторой степени, познакомиться съ прекраснымъ въ действительности темъ людямъ, которые не имъли возможности наслаждаться имъ на самомъ дълъ; служить напоминаніемъ, возбуждать и оживлять воспоминаніе о прекрасномъ въ дъйствительности у тъхъ людей, которые знаютъ его изъ опыта и любять вспоминать о немъ. (Оставляемъ пока выражение «прекрасное есть существенное содержание искусства»; впоследстви мы подставимъ вместо термина «прекрасное» другой, которымъ содержаніе искусства опредъляется, по нашему мнінію, точнье и полнье). Итакъ, первое значение искусства, принадлежащее всъмъ безъ исключенія произведеніямъ его-воспроизведеніе природы и жизни. Отношеніе ихъ къ соответствующимъ сторонамъ и явленіямъ дъйствительности таково же, какъ отношеніе гравюры къ той картинъ, съ которой она снята, какъ отношение портрета къ лицу, имъ представляемому. Гравюра снимается съ картины не потому, чтобы картина была не хороша, а именно потому, что картина очень хороша; такъ дъйствительность воспроизводится искусствомъ не для сглаживанья недостасковъ ея, не потому, что сама по себъ дъйствительность не довольно хороша, а потому именно, что она хороша. Гравюра не думаеть быть лучше картины, она гораздо хуже ея въ художественномъ отношеніи; такъ и произвеведеніе искусства никогда не достигаеть красоты или величія дъйствительности; но картина одна, ею могутъ любоваться только люди, пришедшіе въ галлерею, которую она украшаеть; гравюра расходится въ сотняхъ экземпляровъ по всему свъту, каждый можетъ любоваться ею когда ему угодно, не выходя изъ своей комнаты, не вставая съ своего дивана, не скидая своего халата; такъ и предметъ прекрасный въ дъйствительности доступенъ не всякому и не всегда, воспроизведенный (слабо, грубо, блёдно, это правда, но все-таки воспроизведенный) искусствомъ, онъ доступенъ всякому и всегда. Портретъ снимается съ человека, который намъ дорогь и милъ, не для того, чтобъ сгладить недостатки его лица (что намъ за дъло до этихъ недостатковъ? они для насъ незамътны или милы),

но для того, чтобы доставить намъ возможность любоваться на это лицо даже и тогда, когда на самомъ дѣлѣ оно не предъ нашими глазами; такова же цѣль и значеніе произведеній искусства: они не поправляють дѣйствительности, не украшають ее, а воспроизводять, служать ей суррогатомъ.

Итакъ первая цель искусства-воспроизведение действительности. Нисколько не думая, чтобы этими словами было высказано нъчто совершенно новое въ исторіи эстетическихъ возаріній, мы однако же полагаемъ, что псевдоклассическая «теорія подражанія природъ», господствовавшая въ XVII--XVIII въкахъ, требовала отъ искусства не того, въ чемъ поставляется формальное начало его опредъленіемъ, заключающемся въ словахъ: «искусство есть воспроизведение дъйствительности. Чтобы за существенное различие нашего воззрвнія на искусство оть понятій, которыя имвла о немъ теорія подражанія природі, ручались не наши только собственныя слова, приведемъ здёсь критику этой теоріи, заимствованную изъ лучшаго курса господствующей нына эстетической системы. Критика эта съ одной стороны покажеть различие опровергаемыхъ ею понятій отъ нашего воззрѣнія, съ другой стороны обнаружить, чего недостаеть въ нашемъ первомъ определении искусства, какъ деятельности воспроизводящей, и такимъ образомъ послужитъ переходомъ къ точевищему развитію понятій объ искусствв.

«Въ опредъленіи искусства какъ подражанія природѣ показывается только его формальная цѣль; оно должно по такому опредѣленію стараться по возможности повторять то, что уже существуеть во внѣшнемъ мірѣ. Такое повтореніе должно быть признано излишнимъ, такъ какъ природа и жизнь уже представляють намъ то, что по этому понятію должно представить искусство. Этого мало; подражать природѣ—тщетное усиліе, далеко не достигающее своей цѣли, потому что, подражая природѣ, искусство, по ограниченности своихъ средствъ, даеть только обманъ виѣсто истины и вмѣсто дѣйствительно-живаго существа только мертвую маску».

Здѣсь прежде всего замѣтимъ, что словами: «искусство есть воспроизведеніе дѣйствительности», какъ и фразою: «искусство есть подражаніе природѣ», опредѣляется только формальное начало искусства; для опредѣленія содержанія искусства, первый выводъ, нами сдѣланный, относительно его пѣли, долженъ быть дополненъ, и мы займемся этимъ дополненіемъ впослѣдствіи. Другое возраженіе нисколько не прилагается къ воззрѣнію, нами высказанному: изъ

предъидущаго развитія видно, что воспроизведеніе или «повтореніе» предметовъ и явленій природы искусствомъ-дёло вовсе не излишнее, напротивъ, необходимое. Переходя въ замечанію, что это повтореніе -- тщетное усиліе, далекое не достигающее своей цъли, надобно сказать, что подобное возражение имъетъ силу только въ томъ случав, когда предполагается, будто бы искусство хочеть соперничать съ дъйствительностью, а не просто быть ея суррогатомъ. Но мы именно то и утверждаемъ, что искусство не можетъ выдержать сравненія съ живою действительностью и вовсе не имфеть той жизненности, какъ реальная действительность; это мы признаемъ несомивниымъ. Итакъ справедливо, что фраза: «искусство есть воспроизведение действительности» должна быть дополнена для того, чтобы быть всестороннимъ опредвлениемъ; не исчернывая въ этомъ видъ все содержание опредъляемого понятия, опредъление однако върно, и возраженія противъ него пока могуть быть основаны только на затаенномъ требованіи, чтобы искусство являлось по своему определенію выше, совершеннее действительности; объективную неосновательность этого предположенія мы старались докавать, и потомъ обнаружили его субъективныя основанія. Посмотримъ, прилагаются ли къ нашему воззрвнію дальнівншія возраженія противъ теоріи подражанія.

«При невозможности полнаго успѣха въ подражаніи природѣ, оставалось бы только самодовольное наслажденіе относительнымъ успѣхомъ этого фокусьпокуса, но и это наслажденіе становится тѣмъ холоднѣе, чѣмъ больше бываеть наружное сходство копіи съ оригиналомъ, и даже обращается въ пресыщеніе или отвращеніе. Есть портреты похожіе на оригиналь, какъ говорится, до отвратительности. Намъ тотчасъ же становится скучнымъ и отвратительнымъ превосходнѣйшее подражаніе пѣнію соловья, какъ скоро мы узнаемъ, что это не въ самомъ дѣлѣ пѣніе соловья, а подражаніе ему какого-нибудь искусника, выдѣлывающаго соловьнымя трели, потому что отъ человѣка мы въ правѣ требовать не такой музыки. Подобные фокусы искуснѣйшаго подражанія природѣ можно сравнить съ искусствомъ того фокусника, который безъ промаха бросалъ чечевичныя зерна сквозь отверстія величиною также не болѣе чечевичнаго зерна, и котораго Александръ Великій наградилъ медимномъ чечевицы».

Эти зам'вчанія совершенно справедливы; но относятся къ безполезному и безсмысленному копированію содержанія, недостойнаго вниманія, или рисованью пустой внішности, обнаженной отъ содержанія. (Сколько превозносимых произведеній искусства подпадають этой горькой, но заслуженной насм'вшк'ь)! Содержаніе, достойное

вниманія мыслящаго человіка, одно только въ состоянім избавить искусство отъ упрека, будто бы оно-пустая забава, чемъ оно и дъйствительно бываетъ чрезвычайно часто: художественная форма не спасеть оть презранія или сострадательной улыбки произведеніе искусства, если оно важностью своей идеи не въ состояніи дать отвъта на вопросъ: «да стоило-ли трудиться надъ подобными пустяками? Безполезное не имъетъ права на уважение. «Человъкъ самъ себв цвль»; но двла человька должны иметь цвль въ потребностяхъ человъка, а не въ самихъ себъ. Потому-то безполезное подражаніе и возбуждаеть темъ большее отвращение, чемъ совершение вившнее сходство: «зачамъ потрачено столько времени и труда?» думаемъ мы, глядя на него:«и какъ жаль, что такая несостоятельность относительно содержанія можеть совм'ящаться съ такимъ совершенствомъ въ техникъ!» Скука и отвращение, возбуждаемыя фокусникомъ, подражающимъ соловьиному пѣнію, объясняются самыми замівчаніями, сопровождающими въ критикі указаніе на него: жалокъ человекъ, который не понимаетъ, что долженъ петь человъческую пъснь, а не выдълывать безсмысленныя трели. Что касается портретовъ, сходныхъ до отвратительности, это надобно понимать такъ: всякая копія, для того, чтобы быть вірною, должна передавать существенныя черты подлинника; портреть не передающій главныхь, выразительный шихь черть лица невырень; а когда мелочныя подробности лица переданы при этомъ отчетливо, лицо на портреть выходить обезображеннымь, безсмысленнымь, мертвымъ-какъ же ему не быть отвратительнымъ? Часто возстають противъ такъ называемаго «дегерротипнаго копированья» действительности-не лучше ли было бы говорить только, что копировка, также какъ и всякое человъческое дъло, требуеть пониманія, способности отличать существенныя черты отъ несущественныхъ? «Мертвая конировка» — вотъ обыкновенная фраза; но человекъ не можетъ скопировать върно, если мертвенность механизма не направдяется живымъ смысломъ: нельзя сдёлать даже вернаго fac-simile, не понимая значенія копируемыхъ буквъ.

Прежде, нежели перейдемъ къ опредъленію существеннаго содержанія искусства, чёмъ дополнится принимаемое нами опредъленіе его формальнаго начала, считаемъ нужнымъ высказать нѣсколько ближайшихъ указаній объ отношеніи теоріи «воспроизведенія» къ теоріи такъ называемаго «подражанія». Воззрѣніе на искусство, нами принимаемое, проистекаетъ изъ воззрѣній, принимаемыхъ новъйшими нъмецкими эстетиками и возникаетъ изъ нихъ чрезъ діалектическій процессъ, направленіе котораго опредыляется общими идеями современной науки. Итакъ, непосредственнымъ образомъ оно связано съ двумя системами идей — начала нынёшняго въка съ одной стороны, последнихъ десятильтій съ другой. Всякое другое соотношеніе-только простое сходство, не имфющее генетическаго вліянія. Но если понятіе древнихъ и старинныхъ мыслителей не могуть при настоящемъ развитіи науки имёть вліянія на современный образъ мыслей, то нельзя не видіть, что во многихъ случаяхъ современныя понятія оказываются сходны съ понятіями предшествующихъ въковъ. Особенно часто сходятся они съ понятіями греческихъ мыслителей. Таково положеніе двла и въ настоящемъ случав. Опредвленіе формальнаго начала искусства, нами принимаемое, сходно съ воззрѣніемъ, господствовавшимъ въ греческомъ мірѣ, и находимымъ у Платона, Аристотеля, и, по всей въроятности, высказаннымъ у Демокрита. Ихъ μίμησις соотвътствуеть нашему термину «воспроизведеніе». И если поздиве понимали это слово какъ «подражаніе» (Nachahmung), то переводъ не быль удаченъ, стесняя кругъ понятія и пробуждая мысь о подделке подъ внъшнюю форму, а не о передачъ внутренняго содержанія. Исевдоклассическая теорія действительно понимала искусство какъ поддълку подъ дъйствительность съ цълью обмануть чувства; но этовлоупотребленіе, принадлежащее только эпохамъ испорченнаго вкуса.

Теперь мы должны дополнить выставленное нами выше опредъленіе искусства и отъ разсмотрівнія формальнаго начала искусства перейти къ опреділенію его содержанія.

Обыкновенно говорять, что содержаніе искусства есть прекрасное; но этимъ слишкомъ стёсняется сфера искусства. Если даже согласиться, что возвышенное и комическое—моменты прекраснаго, то множество произведеній искусства не подойдуть по содержанію подъ эти три рубрики: прекрасное, возвышенное, комическое. Въживописи не подходять подъ эти подраздёленія картины домашней жизни, въ которыхъ нёть ни одного прекраснаго или смёшнаго лица, изображеніе старика или старухи, не отличающихся особенною старческою красотою и т. д. Въ музыкъ еще труднъе провести обыкновенныя подраздъленія: если отнесемъ марши, патетическія пьесы и т. д. къ отдёлу величественнаго; если пьесы, дышащія лю-

бовью или веселостью, причислимъ въ отделу прекраснаго; если отыщемъ много комическихъ пъсенъ, то у насъ еще останется огромное количество пьесъ, которыя по своему содержанію не могуть быть безъ натяжки причислены ни къ одному изъ этихъ родовъ: куда отнести грустные мотивы? неужели къ возвышенному. какъ страданіе? или къ прекрасному, какъ нъжныя мечты? Но изъ всвхъ искусствъ наиболве противится подведению своего содержанія подъ тесныя рубрики прекраснаго и его моментовъ поэзія. Область ея-вся область жизни и природы; точки зрвнія поэта на жизнь въ разнообразныхъ ея проявленіяхъ такъ же разнообразны. какъ понятія мыслителя объ этихъ разнохарактерныхъ явленіяхъ; а мыслитель находить въ действительности очень многое, кроме прекраснаго, возвышеннаго и комическаго. Не всякое горе доходить до трагизма; не всякая радость граціозна или комична. Что содержаніе поэзім не исчерпывается тремя извістными элементами, внівшнимъ образомъ видимъ изъ того, что ея произведенія перестали вивщаться въ рамки старыхъ подраздвленій. Что драматическая поэзія изображаеть не одно трагическое или комическое, доказывается тімь, что кромі комедін и трагедін должна явиться драма. Вмъсто эпоса, по преимуществу возвышеннаго, явился романъ, съ безчисленными своими родами. Для большей части нынъшнихъ лирическихъ пьесъ не отыскивается въ старыхъ подразделеніяхъ заглавія, которое могло бы обозначить характеръ содержанія: недостаточны сотни рубрикъ, тъмъ менъе можно сомнъваться, что не могутъ всего обнять три рубрики (мы говоримъ о характерв содержанія, а не форм'в, которая всегда должна быть прекрасна).

Проще всего рашить эту запутанность, сказавъ, что сфера искусства не ограничивается однимъ прекраснымъ и его такъ называемыми моментами, а обнимаетъ собою все, что въ дъйствительности (въ природъ и въ жизни) интересуетъ человъка, не какъ ученаго, а просто какъ человъка; общенитересное въ жизни—вотъ содержаніе искусства. Прекрасное, трагическое, комическое—только три наиболье опредъленные элемента изъ тысячи элементовъ, отъ которыхъ зависитъ интересъ жизни и перечислить которые значило бы перечислить всъ чувства, всъ стремленія, отъ которыхъ можетъ волноваться сердце человъка. Едвали надобно вдаваться въ болъе подробныя доказательства принимаемаго нами понятія о содержаніи искусства; потому что, если въ эстетикъ предлагается

обывновенно другое, болье тесное определение содержания, то взглядь, нами принимаемый, господствуеть на самомъ дёлё, т. е. въ самихъ художникахъ и поэтахъ, постоянно высказывается въ литературъ и въ жизни. Если считаютъ необходимостью опредвлять прекрасное какъ преимущественное и, выражаясь точнее, какъ единственное существенное содержаніе искусства, то истинная причина этого скрывается въ неясномъ различении прекраснаго, какъ объекта искусства, отъ прекрасной формы, которая действительно составляеть необходимое качество всякаго произведенія искусства. Но эта формальная прасота или единство идеи и образа, содержанія и формы, не спеціальная особенность, которая отличала бы искусство отъ другихъ отраслей человеческой деятельности. Действование человъка всегда имъетъ цъль, которая составляеть сущность дъла: по мфрф соответствія нашего дела съ целью, которую мы хотели осуществить имъ, ценится достоинство самаго дела; по мере совершенства выполненія оптинвается всякое человіческое произведеніе. Это общій законъ и для ремесль, и для промышленности, и для научной діятельности и т. д. Онъ приміняется и къ произведеніямъ искусства: художникъ (сознательно или безсознательно, все равно) стремится воспроизвести предъ нами извъстную сторону жизни-само собою разумется, что достоинство его произведенія будеть завистть оть того, какъ онь выполниль свое дело. «Произведеніе искусства стремится къ гармоніи идеи съ образомъ» ни больше, ни меньше, какъ произведение сапожнаго мастерства, ювелирнаго ремесла, каллиграфіи, инженернаго искусства, нравственной решимости. «Всякое дело должно быть хорошо выполнено» вотъ смыслъ фразы: «гармонія иден и образа». Итакъ 1) прекрасное какъ единство идеи и образа вовсе не характеристическая особенность искусства въ томъ смыслъ, какой придается этому слову эстетикою; 2) «единство идеи и образа» опредвляеть одну формальную сторону искусства, нисколько не относясь къ его содержанію; оно говорить о томъ, какъ должно быть исполнено, а не о томъ, что исполняется. Но мы уже замітили, что въ этой фразів важно слово «образъ» -- оно говорить о томъ, что искусство выражаетъ идею не отвлеченными понятіями, а живымъ индивидуальнымъ фактомъ; говоря: «искусство есть воспроизведение природы и жизни», иы говоримъ то же самое: въ природъ и жизни нътъ ничего отвлеченно существующаго; въ нихъ все конкретно; воспроизведеніе

должно по мере возможности сохранять сущность воспроизводимаго; потому создание искусства должно стремиться къ тому, чтобы въ немъ было какъ можно меньше отвлеченняго, чтобы въ немъ все было, по мъръ возможности, выражено конкретно, въ живыхъ картинахъ, въ индивидуальныхъ образахъ. (Совершенно другой вопросъ: можетъ ли искусство достичь этого вполив? Живопись. скульптура и музыка достигають; повзія не всегда можеть и не всегда должна слишкомъ заботиться о пластичности подробностей: довольно и того, когда вообще, въ пеломъ, произведение повзіи пластично; излишнія хлопоты о пластической отделке подробностей могуть повредить единству пелаго, слишкомъ рельефно очертивъ его части, и, что еще важиве, будуть отвлекать внимание кудожника отъ существеннъйшихъ сторонъ его дъла). Красота формы, состоящая въ единствъ иден и образа, общая принадлежность не только искусства (въ эстетическомъ смысле слова), но и всякаго человическаго дила, совершенно отлична отъ идеи прекраснаго. какъ объекта искусства, какъ предмета нашей радостной любви въ дъйствительномъ міръ. Сметеніе красоты формы, какъ необходимаго качества художественнаго произведенія, и прекраснаго, какъ одного изъ многихъ объектовъ искусства, было одною изъ причинъ печальных влоупотребленій въ искусства. «Предметь искусства... прекрасное», прекрасное, во что бы то ни стало, другаго содержанія нізгь у искусства. Что же прекрасніе всего на світь? Въ человъческой жизни-красота и любовь; въ природъ-трудно и ръшить, что именно-такъ много въ ней красоты. Итакъ надобно кстати и не кстати наполнять поэтическія созданія описаніями природы: чёмъ больше ихъ, твиъ больше прекраснаго въ нашемъ произведении. Но красота и любовь еще прекраснее-и воть (большею частью совершенно не кстати) на первомъ планъ драмы, повъсти, романа и т. д является любовь. Неумъстныя распространенія о красотахъ природы еще не такъ вредны художественному произведению: ихъ можно выпускать, потому что они приклеиваются вижшнимъ образомъ; но что делать съ любовною интригою? ее невозможно опустить изъ вниманія, потому что къ этой основів все приплетено гордієвыми узлами, безъ нея все теряеть связь и смысль. Не говоримь уже о томъ, что выибленная чета, страдающая или торжествующая, придаеть цельнь тысячамь произведений ужасающую монотонность; не говоримъ и о томъ, что эти любовныя приключенія и описанія красоты

отнимають місто у существенных подробностей; этого мало: привычка изображать любовь, любовь и вечно любовь, заставляеть поэтовъ забывать, что жизнь имбеть другія стороны, гораздо болье интересующія человъка вообще; вся поэзія и вся изображаемая въ ней жизнь принимаеть какой-то сантиментальный розовый колорить; вмёсто серьезнаго изображенія человіческой жизни произведенія искусства представляють какой-то слишкомъ юный (чтобы удержаться отъ болбе точных эпитетовъ) взглядъ на жизнь, и поэтъ является обыкновенно молодымъ, очень молодымъ юношею, котораго разсказы интересны только для людей того же нравственнаго или физіологи. ческаго возраста. Это наконецъ роняеть искусство въглазахъ людей, уже вышедшихъ изъ счастливой поры ранней юности; искусство кажется имъ забавою, приторною для развитыхъ людей и не совсемъ безопасною для молодежи. Мы вовсе не думаемъ запрещать поэту описывать любовь; но эстетика должна требовать, чтобы поэть описываль любовь только тогда, когда хочеть именно ее описывать: къ чему выставлять на первомъ планъ любовь, когда дело идеть, собственно говоря, вовсе не о ней, а о другихъ сторонахъ жизни? къ чему, напримъръ, любовь на первомъ планъ въ романахъ, которые собственно изображаютъ бытъ извъстнаго народа въ данную эпоху, или быть извёстныхъ классовъ народа? Въ исторіи, въ психологіи, въ этнографическихъ сочиненіяхъ также говорится о любви — но только на своемъ мъсть, точно такъ же какъ и обо всемъ. Историческіе романы Вальтеръ-Скотта основаны на любовныхъ приключеніяхъ — къ чему это? разві любовь была главнымъ занятіемъ общества и главною двигательницею событій въ изображаемыя имъ эпохи? «Но романы Вальтеръ-Скотта устарвии»-точно такъ же кстати и не кстати наполнены любовью романы Диккенса и романы Жоржъ-Занда изъ сельскаго быта, въ которыхъ опять дело идеть вовсе не о любви. «Пишите о томъ, о чемъ вы хотите писать», -- правило, которое радко рашаются соблюдать поэты. Любовь кстати и не кстати — первый вредъ, проистекающій для искусства изъ понятія, что «содержаніе искусствапрекрасное»; второй, тесно съ нимъ соединенный-искусственность. Въ наше время подсмъиваются надъ Расиномъ и мадамъ Дезульеръ; но едвали современное искусство далеко ушло отъ нихъ въ отношеніи простоты и естественности пружинь дійствія и безьискуственной натуральности різчей; раздізленіе дійствующих лиць на

героевъ и злодбевъ до сихъ поръ можеть быть прилагаемо къ произведеніямъ искусства въ патетическомъ родів; какъ связно, плавно, краснорфчиво объясняются эти лица! монологи и разговоры въ современныхъ романахъ немногимъ ниже монологовъ классической трагедін: «въ художественномъ произведеніи все должно быть облечено красотою»—и намъ даются такіе глубоко обдуманные планы дъйствованія, какихъ почти никогда не составляють люди въ настоящей жизни; а если выводимое лицо сделаеть какъ нибудь инстинктивный, необдуманный шагь, авторъ считаеть необходимымъ оправдывать его изъ сущности характера этого лица, а критики остаются недовольны тёмъ, что «дёйствіе не мотивировано»--- какъ будто бы оно мотивируется всегда индивидуальнымъ характеромъ, а не обстоятельствами и общими качествами человаческого сердца. «Красота требуеть законченности характеровъ» — и вивсто лицъ живыхъ, разнообразныхъ при всей своей типичности, испусство даеть неподвижныя статуи. «Красота художественнаго произведенія требуеть законченности разговоровь» — и вмісто живаго разговора ведутся искусственныя бесёды, въ которыхъ разговаривающіе волею и неволею высказывають свой характерь. Следствіемь всего этого бываетъ монотонность произведеній поэзіи: люди всв на одинъ ладъ, событія развиваются по извістнымъ рецептамъ, съ первыхъ страницъ видно, что будетъ дальше, и нетолько, что будеть, но и какъ будеть. Возвратимся однако къ вопросу о существенномъ значеній искусства.

Первое и общее значение всёхъ произведений искусства, сказали мы, — воспроизведение интересныхъ для человъка явлений дъйствительной жизни. Подъ дъйствительною жизнью конечно понимаются нетолько отношения человъка къ предметамъ и существамъ объективнаго міра, но и внутренняя жизнь человъка; иногда человъкъ живетъ мечтами — тогда мечты имъютъ для него (до нъкоторой степени и на нъкоторое время) значеніе чего-то объективнаго; еще чаще человъкъ живетъ въ міръ своего чувства; эти состоянія, если достигаютъ интересности, также воспроизводятся искусствомъ. Мы упомянули объ этомъ, чтобы показать, какъ нашимъ опредъленіемъ обнимается и фантастическое содержаніе искусства.

Но мы говорили выше, что кромф воспроизведенія, искусство имфеть еще другое значеніе—объясненіе жизни; до нфкоторой степени это доступно всюмь искусствамь часто достаточно обратить

внимание на предметь (что всегда и делаеть искусство), чтобы объясцить его значение или заставить лучше понять жизиь. Въ этомъ смыслё искусство ничёмъ не отличается отъ разсказа о предмете; различіє только въ томъ, что искусство вёрнёе достигаеть своей цёли, нежели простой разсказь, темъ более ученый разсказь: подъ формою жизни мы гораздо легче знакомимся съ предметомъ, гораздо скорее начинаемъ интересоваться имъ, нежели тогда, когда находимъ сухое указаніе на предметъ. Романы Купера болье, нежели этнографическіе разскавы и разсужденія о важности изученія быта дикарей, познакомили общество съ ихъ жизнью. Но если всъ искусства могуть указывать новые интересные предметы, то поэзія всегда по необходимости указываеть разкимъ и яснымъ образомъ на существенныя черты предмета. Живопись воспроизводить предметь со всёми подробностями, скульптура также; поэзія не можеть обнять слишкомъ много подробностей и, по необходимости выпуская изъ своихъ картинъ очень многое, сосредоточиваетъ наше вниманіе на удержанныхъ чертахъ. Въ этомъ видять преимуществопоэтическихъ картинъ предъ дъйствительностью;---но то же самое дълаетъ и каждое отдъльное слово съ своимъ предметомъ: въ словъ (въ понятіи) также выпущены всв случайныя и оставлены одивсущественныя черты предмета; можеть быть, для неопытнаго соображенія, слово яснёе самаго предмета; но это уясненіе есть толькоослабленіе. Мы не отрицаемъ относительной пользы компендіумовъ; но не думаемъ, чтобы Русская исторія Таппе, очень полезная для дътей, была лучше Исторіи Карамзина, изъ которой извлечена. Предметь или событие въ поэтическомъ произведении можеть быть удобопонятиве, нежели въ самой действительности; но мы признаемъ за нимъ только достоинство живаго и яснаго указанія на. дъйствительность, а не самостоятельное значеніе, которое могло бы соперничествовать съ полнотою дъйствительной жизии. Нельзя неприбавить, что всякій прозаическій разсказь ділаеть то же самое, что поэзія. Сосредоточеніе существенных черть не есть характеристическая особенность повзін, а общее свойство разумной річи.

Существенное значение искусства — воспроизведение того, чемъинтересуется человекъ въ действительности. Но интересуясь явленіями жизни, человекъ не можетъ, сознательно или безсознательно, не произносить о нихъ своего приговора; повтъ или художникъ, не будучи въ состояни перестать быть человекомъ вообще, не мо-

жеть, еслибь и хотвяь, отказаться оть произнесемія своего приговора надъ изображаемыми явленіями; приговоръ этотъ выражается въ его произведении-вотъ новое значение произведений искусства, по которому искусство становится въ число нравственныхъ деятельностей человека. Бывають люди, у которыхъ суждение о явленіяхъ жизни состоить почти только въ томъ, они обнаруживають расположение къ известнымъ сторонамъ действительности и избегають другихъ — это люди, у которыхъ умственная деятельность слаба; когда подобный человъкъ — поэть или художникъ, его произведенія не им'єють другаго значенія, кром'є воспроизведенія любимыхъ имъ сторонъ жизни. Но если человъкъ, въ которомъ умствениая деятельность сильно возбуждена вопросами, порождаемыми наблюденіемъ жизни, одаренъ художническимъ талантомъ, то въ его произведеніяхъ, сознательно или безсознательно, выразится стремленіе произнести живой приговорь о явленіяхь, интересующихъ его (и его современниковъ, потому что мыслящій человъкъ не можеть мыслить надь ничтожными вопросами, никому кромъ его неинтересными), будуть предложены или разрышены вопросы, возникающіе изъ жизни для мыслящаго человівка; его произведенія будуть, чтобы такъ выразиться, сочиненіями на темы, предлагаемыя жизнью. Это направленіе можеть находить себѣ выраженіе во всвуъ искусствахъ (напр., въ живописи можно указать на каррикатуры Гогарта); но преимущественно развивается оно въ поэвін, которая представляеть поливишую возможность выразить опредвленную мысль. Тогда художникъ становится мыслителемъ, и произведеніе искусства, оставаясь въ области искусства, пріобретаеть звачение научное. Само собою разументся, что въ этомъ отношении произведения искусства не находять себь инчего соотвътствующаго въ действительности, -- но только по форме: что касается до содержанія, до самыхъ вопросовъ, предлагающихся или разрішаемыхъ искусствомъ, они всё найдутся въ дёйствительной жизни, только безъ преднамъренности, безъ arrière-pensée. Предположимъ, что Въ произведении искусства развивается мысль: «временное уклоненіе отъ прямаго пути не погубить сильной натуры»; или «одна крайность вызываеть другую»; или изображается распадение человъка съ самимъ собою; или, если угодно, борьба страстей съ высшими стремленіями (мы указываемъ различныя основныя идеи, которыя видели въ «Фаусте») - разве не представляются въ дей-

ствительной жизни случаи, въ которыхъ развивается то же самое положеніе? Развъ изъ наблюденія жизни не выводится высобая мудрость? Развъ наука не есть простое отвлечение жизни, подведеніе жизни подъ формулы? Все, что высказывается наукою и искусствомъ, найдется въ жизни, и найдется въ полнъйшемъ, совершенныйшемъ видь, со всыми живыми подробностями, въ которыхъ обыкновенно и лежить истинный смысль дёла, которыя часто не понимаются наукой и искусствомъ, еще чаще не могутъ быть ими обняты; въ дъйствительной жизни все върно, нътъ недосмотровъ. нъть односторонней узкости взгляда, которою страждеть всякое человъческое произведение, -- какъ поучение, какъ наука, жизнь полнье, правдивье, даже художественные вску твореній ученых и поэтовъ. Но жизнь не думаеть объяснять намъ своихъ явленій, не заботится о выводъ аксіомъ; въ произведеніяхъ науки и искусства это сдълано; правда, выводы неполны, мысли односторонни въ сравнении съ тъмъ, что представляетъ жизнь; но ихъ извлекли для насъ геніальные люди; безъ ихъ помощи наши выводы были бы еще одностороннъе, еще бъднъе. Наука и искусство (поэзія) --«Handbuch» для начинающаго изучать жизнь; ихъ значеніе-приготовить въ чтенію источниковь и потомъ отъ времени до времени служить для справокъ. Наука не думаеть скрывать этого; не думають скрывать этого и поэты въ беглыхъ замечаніяхъ о сущности своихъ произведеній; одна эстетика продолжаеть утверждать, что искусство выше жизни и действительности.

Соединяя все сказанное, получимъ следующее воззрение на искусство: существенное значение искусства-воспроизведение всего, что интересно для человъка въ жизни; очень часто, особенно въ произведеніяхъ поэзіи, выступаеть также на первый планъ объясненіе жизни, приговоръ о явленіяхъ ея. Искусство относится въ жизни совершенно такъ же, какъ исторія; различіе по содержанію только въ томъ, что исторія говорить о жизни человічества, искусство о жизни человъка, исторія о жизни общественной, искусство о жизни индивидуальной. Первая задача исторін-воспроизвести жизнь; вторая, исполняемая не всёми историками — объяснить ее; не заботясь о второй задачь, историкь остается простымь льтописцемъ, и его произведение только матеріялъ для настоящаго историка или чтеніе для удовлетворенія любопытства; думая о второй задачь, историкъ становится мыслителемъ, и его твореніе пріобретаетъ чрезъ это научное достоинство. Совершенно то же самое надобно сказать объ искусстве. Исторія не думаетъ соперничествовать съ действительною историческою жизнью, сознается, что ея картины бледны, неполны, более или мене неверны или по крайней мере односторонни. Эстетика также должна признать, что искусство точно такъ же и по темъ же самымъ причинамъ не должно и думать сравниться съ действительностью, темъ более превзойти ее красотою.

Но гдь же творческая фантазія при такомъ возврвній на искусство? какая же роль предоставляется ей? Не будемъ говорить о томъ, откуда проистекаетъ въ искусстве право фантазіи видоизмвиять видвиное и слышанное поэтомъ. Это ясно изъ цвли поэтическаго созданія, отъ котораго требуется вірное воспроизведеніе извъстной стороны жизни, а не какого-нибудь отдъльнаго случая; посмотримъ только, въ чемъ необходимость вившательства фавтазіи, какъ способности передълывать (посредствомъ комбинаціи) воспринятое чувствами и создавать нѣчто новое по формв. Предполагаемъ, что поэть беретъ изъ опыта собственной жизни событіе, вполив ему известное (это случается не часто; обыкновенно многія подробности остаются мало изв'єстны, и для связности разсказа должны быть дополняемы соображеніемь); предполагаемь также, что взятое событіе совершенно закончено въ художественномъ отношеніи, такъ что простой разсказъ о немъ быль бы вполив художественнымъ произведениемъ, т. е. беремъ случай, когда вившательство комбинирующей фантазіи кажется наименве нужнымъ.--Какъ бы сильна ни была память, она не въ состояни удержать всвиь подробностей, особенно техь, которыя неважны для сущности дёла; но многія изъ нихъ нужны для художественной полноты разсказа, и должны быть заимствованы изъ другихъ сценъ, оставшихся въ памяти поэта (напр. веденіе разговора, описанія містности и т. д.)-правда, что дополненіе событія этими подробностями еще нисколько не изменяеть его, и различие художественнаго разсказа отъ передаваемаго въ немъ событія ограничивается пока одною формою. Но этимъ не исчерпывается вившательство фантазіи. Событіе въ дъйствительности было перепутано съ другими событіями, находившимися съ нимъ только во внёшнемъ сцепленіи, безъ существенной связи; но когда мы будемъ отделять избранное нами событе отъ другихъ происшествій и отъ ненужныхъ эпизодовъ, мы увидимъ, что это отделене оставить новые пробёлы въ живненной полноте разсказа; поеть опять должень будеть восполнять ихъ. Это мало; отделение нетолько отнимаеть жизненную полноту у многихъ моментовъ событія, но часто наміняеть ихъ характеръ-и событие явится въ разсказъ уже не такимъ, каково было въ действительности, или, для сохраненія сущности его, поэть принуждень будеть измёнять многія подробности, которыя имфють истинный смысль въ событіи только при его действительной обстановкъ, отнимаемой изолирующимъ разсказомъ. Какъ видимъ, кругъ дъятельности творческихъ силъ поэта очень мало ствсияется нашими понятіями о сущности искусства. Но предметь нашего изследованія-искусство, какъ объективное произведеніе, а не субъективная деятельность поэта; потому было бы неуместно вдаваться въ исчисленіе различныхъ отношеній поэта въ матеріаламъ его произведенія: мы показали одно изъ этихъ отношеній, наименъе благопріятствующее самостоятельности поэта. и нашли, что при нашемъ воззрвніи на сущность искусства, художникь и въ этомъ положении не теряетъ существеннаго характера, принадлежащаго не поэту или художнику въ частности, а вообще человаку во всей его д'вятельности, -- того существеннъйщаго человъческаго права и качества, чтобы смотрёть на объективную действительность только какъ на матеріалъ, только какъ на поле своей дъятельности, и, пользуясь ею, подчинять ее себъ. Еще общирнъе кругъ витыпательства комбинирующей фантазіи при другихъ обстоятельствахъ: когда, напримъръ, поэту не вполнъ извъстны подробности событія. когда онъ знаеть о немъ, (и дъйствующихъ лицахъ) только по чужимъ разсказамъ, всегда одностороннимъ, невернымъ или неполнымъ въ художественномъ отношеніи, по крайней мірт съ личной точки зрвнія поэта. Но необходимость комбинировать и видоизмвнять проистекаеть не изъ того, чтобы действительная жизнь не представляла (и въ гораздо дучшемъ видъ) тъхъ явленій, которыя хочеть изобразить поэть или художникь; а изъ того, что картина дъйствительной жизни принадлежить не той сферь бытія, какъ дъйствительная жизнь; различіе рождается отъ того, что поэтъ не располагаеть теми средствами, какими располагаеть действительная жизнь. При передоженіи оперы для фортепьяно теряется большая и лучшая часть подробностей и эффектовъ; многое ръшительно не можеть быть съ человъческаго голоса или съ полнаго оркестра

передено на жалкій, бідный, мертвый инструменть, который долженъ по мірів возможности воспроизвести оперу; потому при арранжировків многое должно быть переділываемо; многое дополняемо не съ тою надеждою, что въ арранжировків опера выйдеть лучше, нежели въ первоначальномъ своемъ видів, а для того, чтобы скольконибудь вознаградить необходимую порчу оперы при арранжировків; не потому, чтобы арранжировщись исправляль ошибки композитора, а просто потому, что онъ не располагаеть тіми средствами, какими владіветь композиторь. Еще больше различія въ средствахъ дійствительной жизни и поэта. Переводчикъ поэтическаго произведенія сь одного языка на другой до нікоторой степени долженъ передільнать переводимое произведеніе; какъ же не являться необходимости переділків при переводів собитія съ языка жизни на скудный, блідный, мертвый языкъ поэзіи?

Апологія дійствительности сравнительно съ фантазіею, стремленіе доказать, что произведенія искусства рішительно не могуть выдержать сравненія съ живою дійствительностью, воть сущность этого разсужденія. -- Говорить объ искусствів такъ, какъ говорить авторъ, не значить ли унижать искусство?-Да, если показывать, что искусство и и ж е действительной жизни по художественному совершенству своихъ произведеній, значить унижать искусство; но возставать противъ панегириковъ не значить еще быть хулителемъ. Наука не думаеть быть выше действительности; это не стыдъ для нея. Искусство также не должно думать быть выше действительности; это не унизительно для него. Наука не стыдится говорить, что цёль ея-понять и объяснить действительность, потомъ примънить ко благу человъка свои объясненія; пусть и искусство не стыдится признаться, что цель ого: для вознагражденія человека въ случав отсутствія полнівнияго эстетическаго наслажденія, доставляемаго действительностью, воспроизвести, по мёрё силь, эту драгоценную действительность и ко благу человека объяснить ее.

Пусть искусство довольствуется своимъ высокимъ, прекраснымъ назначениемъ: въ случав отсутствия действительности быть некоторою заменою ея и быть для человека учебникомъ жизни.

Дъйствительность выше мечты, и существенное значение выше фантастическихъ пригизаній.

Задачею автора было изследовать вопросъ объ эстетическихъ отношеніяхь произведеній искусства въ явленіямь жизни, разсмотръть справедливость господствующаго мивнія, будто бы истиннопрекрасное, которое принимается существеннымъ содержаніемъ произведеній искусства, не существуеть въ объективной действительности и осуществляется только искусствомъ. Съ этимъ вопросомъ неразрывно связаны вопросы о сущности прекраснаго и о содержаніи искусства. Изследование вопроса о сущности преврасного привело автора въ убъждению, что преврасное есть-жизнь. Послъ такого ръшенія надобно было изследовать понятія возвышеннаго и трагическаго, которыя, по обыкновенному опредъленію прекраснаго, подходять подъ него, какъ моменты; и надобно было признать, что возвышенное и прекрасное-неподчиненные другь другу предметы искусства. Это уже было важнымъ пособіемъ для решенія вопроса о содержаніи искусства. Но если прекрасное есть жизнь, то самъ собою рашается вопрось объ эстетическомъ отношении прекраснаго въ искусствъ къ прекрасному въ дъйствительности. Пришедши къ выводу, что искусство не можеть быть обязано своимъ происхожденіемъ недовольству человіка прекраснымъ въ дійствительности, мы должны были отъискивать, вследствіе какихъ потребностей возникаеть искусство и изследовать его истинное значение. Воть главнъйшіе изъ выводовъ, къ которымъ привело это изследованіе:

- 1) Опредъление прекраснаго: «прекрасное есть полное проявленіе общей иден въ индивидуальномъ явленіи» не выдерживаетъ критики, оно слишкомъ широко, будучи определениемъ формальнаго стремленія всякой человічности.
- 2) Истинное опредвление прекраснаго таково: «прекрасное есть жизнь»; прекраснымъ существомъ кажется человеку то существо, въ которомъ онъ видить жизнь, какъ онъ ее понимаетъ; прекрасный предметь, тоть предметь, который напоминаеть ему о жизни.
- 3) Это объективное прекрасное, или прекрасное по своей сущности, должно отличать отъ совершенства формы, которое состоитъ въ единстве идеи и формы, или въ томъ, что предметъ вполне удовлетворяетъ своему назначенію.
- 4) Возвышенное дъйствуеть на человъка вовсе не тъмъ, что пробуждаетъ идею абсолютнаго; оно почти никогда не пробуждаеть ея.

- 5) Возвышеннымъ кажется человъку то, что гораздо больше предметовъ или гораздо сильнъе явленій, съ которыми сравнивается человъкомъ.
- 6) Трагическое не имъетъ существенной связи съ идеею судьбы или необходимости. Въ дъйствительной жизни трагическое большею частью случайно, не вытекаетъ изъ сущности предшествующихъ моментовъ. Форма необходимости, въ которую облекается оно искусствомъ, слъдствіе обыкновеннаго принципа произведеній искусства: «развязка должна вытекать изъ завязки», или неумъстное подчиненіе поэта понятіямъ о судьбъ.
- 7) Трагическое по понятіямъ новаго европейскаго образованія есть «ужасное въ жизни человъка».
- 8) Возвышенное (и моментъ его, трагическое) не есть видоизмънение прекраснаго; идеи возвышеннаго и прекраснаго совершенно различны между собою; между ними нътъ ни внутренней связи, ни внутренней противоположности.
- 9) Дъйствительность нетолько живъе, но и совершеннъе фантазіи. Образы фантазіи только блъдная и почти всегда неудачная передълка дъйствительности.
- 10) Прекрасное въ объективной дъйствительности вполнъ прекрасно.
- 11) Прекрасное въ объективной действительности совершенно удовлетворяетъ человека.
- 12) Искусство рождается вовсе не отъ потребности человѣка восполнить недостатки прекраснаго въ дѣйствительности.
- 13) Созданія искусства ниже прекраснаго въ дъйствительности нетолько потому, что впечатльніе, производимое дъйствительностью, живье впечатльнія, производимаго созданіями искусства: созданія искусства ниже прекраснаго (точно такъ же, какъ ниже возвышеннаго, трагическаго, комическаго) въ дъйствительности и съ эстетической точки зрынія.
- 14) Область искусства не ограничивается областью прекраснаго въ эстетическомъ смыслѣ слова, прекраснаго по живой сущности своей, а нетолько по совершенству формы: искусство воспроизводить все, что есть интереснаго для человѣка въ жизни.
- 15) Совершенство формы (единство идеи и формы) не составляетъ характеристической черты искусства въ эстетическомъ смыслъ слова (изящныхъ искусствъ); прекрасное какъ единство идеи и об-

раза, или какъ полное осуществление идеи, есть цвль стремления искусства въ общиривищемъ смысле слова или «уменья», цель всякой практической деятельности человека.

- 16) Потребность, рождающая искусство въ эстетическомъ сиыслъ слова (изящныя искусства) есть та же самая, которая очень испо выказывается въ портретной живописи. Портреть пишется не нотому, чтобы черты живаго человека не удовлетворяли насъ; а для того, чтобы помочь нашему воспоминанію о живомъ человікі, когда его нътъ передъ нашими глазами, и дать о немъ нъкоторое понятіе темъ людямъ, которые не имели случая его видеть. Искусство только напоминаеть намъ своими воспроизведеніями о томъ, что интересно для насъ въ жизни, и старается до нъкоторой степени познакомить насъ съ теми интересными сторонами жизни, которыхъ не имели мы случая испытать или наблюдать въ действительности.
- 17) Воспроизведеніе жизни-общій характеристическій признакъ искусства, составляющій сущность его; часто произведенія искусства имѣють и другое значеніе-объясненіе жизни; часто имѣють они и значеніе приговора о явленіяхъ жизни.

О ПОЭЗІМ: Сочиненіе Аристотеля. Перевель, изложиль и объясниль Б. Ордынскій. Москва. 1854.

Г. Ордынскій заслуживаеть полнаго одобренія и благодарности за то, что предметомъ своего разсужденія избраль «Пінтику» Аристотеля; это первый и капитальнейшій трактать обы эстетике, служившій основавіемъ всіхъ эстетическихъ повятій до самаго конца прошедшаго въка. Но точно ли его выборъ удаченъ? Нынъ довольно много найдется людей, несчитающихъ эстетики наукою, заслуживающею особеннаго вниманія, готовыхъ даже сказать, что эстетика ни къ чему не ведеть и ни на что ненужна, и что пустоту ея мешаеть видеть разве только темнота ея. Но, съ другой стороны, едва ли изъ этихъ многихъ найдется хоть одинъ, который бы не говориль съ улыбкою состраданія о Лагарив, что су этого действительно умнаго и ученаго историка литературы истъ никакихъ прочныхъ и опредъленныхъ основаній для опівнки писателей», и который бы не примольиль съ сожальніемъ о Мерзияковъ, что «этотъ критикъ, дъйствительно-замъчательный по тонкости вкуса, къ несчастью, быль только «русскимъ Лагарпомъ», и потому надълаль русской критикв, можеть быть, больше вреда нежели пользы». Такіе отвивы, отъ которыхъ не откажется, вёроятно, ни одинъ изъ современныхъ недоброжелателей эстетики, почти избавыкоть насъ оть надобности защищать необходимость этой науки отъ людей, столь сильно къ ней нерасположенныхъ и, однакожь, несомиввающихся въ необходимости «ясных» и твердыхъ общихъ началь», для критика или историка литературы. Чтожь такое и понимается подъ эстотикою, если не система общихъ принциповъ искусства вообще в поэвін въ особенности? Мы очень хорошо понемаемъ, что эстотика васлуживала сельнайнехъ пресладованій въ

тв времена, когда изъ-за нея позабывали объ исторіи литературы, на двадцати-пяти листахъ толкуя объ «отличныхъ», «очень хорошихъ», «посредственныхъ» и «плохихъ» строфахъ какой нибудь оды, а кончивъ эту сортировку, опять на столькихъ же листахъ разбирали «сильныя» или «неправильныя» выраженія въ этихъ «отличных», «посредственных» и т. д. строфахъ. Но когда жь было у насъ это время, еще и досель, къ несомныному удовольствію французовъ, презирающихъ всякую эстетику, продолжающееся во французской литературь? Оно у насъ прекратилось съ 1830 годовъ, съ той поры, какъ начали мы знакомиться съ эстетикою. Ей обязаны мы тёмъ, что въ самой плохой русской книге не прочитаемъ, напримъръ, слъдующаго сужденія о «великихъ заслугахъ Босскота», взятаго нами изъ очень порядочной «Исторіи Французской Литературы», г. Демажо (Paris, 1852!!): «Боссюэть одинь образуеть отдельный міръ въ великомъ литературномъ міре XVII въка. Другіе писатели-дъти Рима; онъ переносить на западъ Востокъ, невъроятно смълыми и новыми сочетаніями словь, зигантскими фигурами (par des alliances de mots d'une hardiesse et d'une nouveauté incroyables, par des figures gigantesques), которыхъ не внушиль бы ему европейскій вкусь, но которыя онь уміветь покорять законамъ пропорціи, внося міру въ самую неизміримость. Таковъ плодъ его постояннаго занятія и т. д. Это геніальное по ограниченности своей мъсто такъ понравилось г-ну Демажо, что онъ заняль его у другаго писателя, очень дельнаго историка, Анри Мартэна: въроятно г. Демажо считаеть образцовымъ сужденіемь о дъятельности великаго писателя разсужденія о тропахъ и фигурахъ, которыми украшены его сочиненія!

Будемъ же благодарны эстетикъ за то, что она избавила насъ отъ труда читать и писать подобныя сужденія о Державинъ и Карамзинъ. Повторяемъ: мы понимали бы вражду противъ эстетики, еслибъ она сама была враждебна исторіи литературы; но, напротивъ, у насъ всегда провозглашалась необходимость исторіи литературы; и люди, особенно-занимавшіеся эстетическою критикою, очень много—больше, нежели кто-нибудь изъ нашихъ нынъшнихъ писателей—сдълали и для исторіи литературы. У насъ эстетика всегда признавала, что должна ссновываться на точномъ изученіи фактовъ, и упреки въ отвлеченной неосновательности содержанія могуть идти къ ней также мало, какъ напр., къ русской грамма-

тикъ. Если же прежде она не заслуживала вражды со стороны приверженцевъ историческаго изследованія литературы, то еще менъе можетъ заслуживать ее теперь, когда всякая теоретическая наука основывается на возможно-полномъ и точномъ изследованіи фактовъ. Но мы готовы предполагать, что у насъ многіе ошибаются еще относительно современныхъ понятій о томъ, что такое теорія и что такое философія. У насъ еще многіе думають, что у современныхъ мыслителей господствують транспендентальныя идеи объ «апріорическомъ знанія», «развитін науки самой-изъ-себя», ohne Voraussetzung и т. п.: смвемъ ихъ уверить, что, по мивнію современныхъ мыслителей, эти понятія были очень хороши и, главное. необходимо нужны, какъ переходная ступень въ свое время, назадъ тому 40, 30 или, пожалуй, даже 20 леть, но не теперь: теперь они устаръли, признаны односторонними и недостаточными. Смъемъ увърить, что истинно-современные мыслители понимають «теорію» точно также, какъ понимаеть ее Бэконъ, а вследъ за нимъ астрономы, химики, физики, врачи и другіе адепты положительной науки. Правда, по этимъ новымъ понятіямъ не написано еще, сколько намъ известно, формальнаго «курса эстетики»; но понятія, которыя будутъ лежать въ его основаніи, ужь достаточно обозначились и развились въ отдёльныхъ маленькихъ статьяхъ и эпизодахъ большихъ сочиненій. Сметь даже утверждать, что и прежніе, ныне устарыне курсы такъ называемой трансцендентальной эстетики основывають свои положенія на гораздо большемъ числь фактовъ. нежели думають ихъ противники. Вспомните, что въ главнъйшемъ изъ этихъ курсовъ, составляющемъ всего три тома, историческая часть занимаеть почти ∂sa , и большая половина третьяго наполнена также историческими подробностями. Но мы не хотимъ предполагать, чтобъ противники эстетики въ частности, или теорій вообще, нуждались въ этихъ напоминаніяхъ: не желая представлять ихъ людьми, отсталыми отъ современнаго движенія мысли, мы скорфе предположимъ другую, чрезвычайно лестную причину нерасположенія въ эстетикь: непріятели ея видять въ ней теорію отвлеченную и безплодную и преследують ее изъ сильной приверженности къ знаніямъ «живымъ», имеющимъ какое нибудь серьезное значение для такъ называетъ жизненныхъ вопросовъ. Съ этой точки зрвнія, какъ увидимъ ниже. Платонъ нападаль не на эстетику (это было бы еще не такъ важно, да притомъ эстетики въ

платоново время и не существовало, кром'в той, отрывки которой: разстаны въ его же собственных сочинениях)--- итть, онъ нападалъ на самое искусство, и мы только сожалвемъ, что искусство заслуживало до некоторой степени его нападеній, но не можемъ не сочувствовать и Платону. Если же поэзія, литература, искусство признаются предметомъ такой важности, что исторія, наприміръ, литературы должна быть предметомъ всеобщаго вниманія и изученія, то и общіе вопросы о сущности, значеніи, вліяніи повзіи, литературы, искусства, должны имъть огромный интересь, потому что отъ разрѣшенія ихъ зависить взглядь нашь на предметь; а именно для того, чтобъ образовался ясный и правильный взглядь, нужны факты. Зачёмъ же и знать ихъ, если не для того, чтобъ дёлать изъ нихъ выводы? Словомъ: намъ кажется, что весь споръ противъ эстетики основывается на недоразумении, на описочности понятій о томъ, что такое эстетика и что такое всякая теоретическая наука вообще. Исторія искусства служить основанісмъ теорів искусства. потомъ теорія искусства помогаеть болье совершенной, болье полной обработив исторіи его; лучшая обработка исторіи послужить дальнъйшему усовершенствованію теоріи, и такъ далье, до безконечности будеть продолжаться это взаимодействие на обоюднуюпользу исторіи и теоріи, пока люди будуть изучать факты и дідать изъ нихъ выводы, а не обратятся въ ходячія хронологическія таблицы и библіографическіе реестры, лишенные потребности мыслить и способности соображать. Безъ исторіи предмета нёть теоріи предмета; но и безъ теоріи предмета ніть даже мысли о его исторіи, потому что неть понятія о предметь, его значеніи и границахъ. Это такъ же просто, какъ то, что дважды-два — четыре, а еденица есть единица; но мы знаемъ людей, доказывающихъ, посредствомъ ньютонова бинома, что единица равняется двумъ...

Впрочемъ, у насъ многое еще имветъ интересъ новости, многое, кромъ ивсколькихъ обыкновенно-инчтожныхъ книжечекъ на различныхъ языкахъ, а чаще всего на французскомъ, въ родътвореній какого-инбудь Мишеля Шевалье и ему подобныхъ «великихъ ученыхъ», «глубокомысленныхъ и вивств ясныхъ мыслителей» да еще послъднихъ нумеровъ Revue des deux Mondes,, съ его великими мудрецами. Эти книги не составляютъ ни тайны, ни новости ни для коге: за-то онъ служатъ кодексомъ для нъкоторыхъ мыслителей, предметомъ ихъ глубокихъ размышленій. По всей въроятности, въ нихъ-то и заключается причина отвращенія многихъ отъ эстетики: эти книги и статьи натолковали намъ, въ числё многихъ истинъ, и ту, что эстетика наука темная, мертвая, отвлеченная ни къ чему неприложимая.

Эстетика наука мертвая! Мы не говоримъ, чтобъ не было наукъ живъй ея; но хорошо было бы, еслибъ мы думали объ этихъ наукахъ. Нътъ, мы превозносимъ другія науки, представляющія гораздо менъе живаго интереса. Эстетика наука безплодная! Въ отвътъ на это спросимъ: помнимъ ли мы еще о Лессингъ, Гёте и Шиллеръ, или ужь они потеряли право на наше воспоминаніе сътъхъ поръ, какъ мы познакомились съ Теккереемъ? Признаемъ ли мы достоинство нъмецкой поэзіи второй половины прошедшаго въка?...

Но, можеть быть, некоторые возстають не противъ самой пользы и необходимости теоретическихъ выводовъ, а противъ стесненія ихъ въ узкія рамки системы? Прекрасное побужденіе къ враждъ, еслибъ только оно имъло какое нибудь основаніе, еслибъ кто нибудь изъ современныхъ людей смотрълъ на чью бы то ни было систему какой бы то ни было науки, какъ на вёчное вмёстилище всей истины. Но теперь почти всь (и составители системъ обывновенно искреинъе всъхъ) говорятъ, что всякая система порождаетсв и разрушается, или, лучше сказать, изменяется вместе съ понятіями времени, ее произведшаго; теперь никто не принуждаеть васъ «jurare in verba magistri»: система — только временной переплеть для науки; и если вы дъйствительно выросли выше понятій системы, не отвергать науку будете вы, а создадите новую систему еяи всв будуть вамъ благодарны. Систематичность науки не представляеть препятствій въ ея развитію. Учите насъ, и чёмъ больше новаго будеть въ вашей новой системь, тымь больше будеть вамъ славы. А неприведенными въ одно стройное целое истинами неудобно пользоваться: кто составиль систему науки, тоть одинь сдвлаль науку общедоступною, и его понятія разольются въ массв котя бы у другихъ были понятія гораздо глубже, нежели у него что не формулировано, то остается бездёйственнымъ.

И лучшій прим'връ того, какое важное условіе для плодотворности мыслей система, представляєть намъ «Пінтика», или, какъ называеть ее г. Ордынскій, «Сочиненіе Аристотеля о поэзіи». Аристотель первый изложиль въ самостоятельной систем'в эстетическія нонятія, и его понятія господствовали слишкомъ 2,000 лѣтъ; а у Платона больше, нежели у него, найдется истинно великихъ мыслей объ искусствѣ: можетъ быть, даже его теорія не только глубже, ио и полнѣе аристотелевой, но она не облечена въ систему и до новѣйшаго времени не обращала на себя почти никакого вниманія.

Чтобъ показать, какой интересъ и въ наши времена еще имъють эстетическія понятія этихъ людей, жившихъ до насъ за 2,200 льть, попробуемь изложить въ краткомъ очеркъ самые общіе, самые отвлеченные вопросы ихъ эстетики: «объ источникъ и значеніи искусства». Конечно, въ современной теоріи рішеніе этихъ вопросовъ представляетъ гораздо боле живаго и интереснаго; но... кто, по вашему мивнію, выше: Пушкинъ или Гоголь? Я вчера слышаль спорь объ этомъ, и на него готовы отвичать Платонъ и Аристотель. Въ самомъ деле, решение зависить отъ понятий о сущности и значеніи искусства. Послушаемъ же мивнія объ этомъ предметь нашихъ великихъ учителей въ дъль эстетическаго суда. Если сущность искусства действительно состоить, какъ нынче говорять, въ идеализаціи; если цель его-«доставлять сладостное и возвышенное ощущение прекраснаго», то въ русской литературъ ньть поэта равнаго автору «Полтавы», «Бориса Годунова», «Мъднаго Всадника», «Каменнаго Гостя» и всёхъ этихъ безчисленныхъ, благоуханныхъ стихотвореній; если же отъ искусства требуется еще нъчто другое, тогда... но въ чемъ же, кромъ этого, можетъ состоять сущность и значеніе искусства?

Итакъ, въ чемъ состоитъ сущность искусства? Что именно дѣлаетъ живописецъ, изображая пэйзажъ, или группу людей; поэтъ, изображая въ лирическомъ стихотвореніи восторги или страданія любви, въ романѣ или драмѣ—людей съ ихъ страстями и характерами? «Онъ идеализируетъ природу и людей. Сущность искусства состоитъ въ созданіи идеаловъ», отвѣчаетъ господствующая нынѣ эстетическая теорія «въ человѣкѣ есть предчувствіе и потребность чего-то лучшаго и полнѣйшаго, нежели блѣдная и скудная дѣйствительность («проза жизни», по выраженію дюжинныхъ романистовъ), которой не удовлетворяется его безсмертный духъ. Это лучшее и полнѣйшее (идеалъ) живо постигается художникомъ и передается жаждущему человѣчеству въ созданіяхъ искусства». Прежняя тео-

рія искусства говорила не такъ *): «искусство — больше ничего, какъ подражаніе тому, что мы видимъ въ действительности: картины, статуи, романы, драмы-больше ничего, какъ копіи съ поллинниковъ, представляемыхъ художнику действительностью». Эта теорія, надъ которою нынѣ смѣются, потому что знають ее только въ искаженной передълкъ Буало и Батте, дъйствительно достойной осмітнія, извітна подъ названіемъ аристотелевой. Въ самомъ діль. Аристотель признаваль ее справедливою: въ твхъ отделеніяхъ его трактата «О поэтическомъ искусствъ», въ которыхъ находятся обшія соображенія о происхожденіи и сущности искусства вообще и поэзім въ частности, основная мысль действительно та, что «искусство есть подражание». Но совершенно несправедливо было бы считать Аристотеля творцомъ «теоріи подражанія»: она, по всей візроятности, господствовала еще задолго до Сократа и Платона, а развита у Платона гораздо глубже и многосторониве, нежели у Аристотеля. Полагая основаніемъ своихъ понятій объ искусствъ мысль, что она «состоить въ подражания». Платонъ не ограничивается тыми довольно недалекими приложеніями кореннаго принципа, какими довольствуется Аристотель. Поэзія есть подраженіе, говорить Аристотель; следовательно, трагедія есть подражаніе действіямъ великихъ людей, комедія—подражаніе действіямъ низкихъ людей; другихъ выводовъ не найдемъ у него. Платонъ, напротивъ, извлекаетъ изъ своего понятія объ искусствъ живыя, блестящія, гдубокомысленныя заключенія; опираясь на свою аксіому, онъ опредъляетъ значеніе искусства въ жизни человъческой, его отношенія къ другимъ направленіямъ деятельности; вооружась ею, Платонъ уличаеть искусство въ бъдности, слабости, безполезности, ничтожествъ. Его сарказмы жестоки и мътки, можетъ быть, односторонни, особенно для нашего времени, но во многомъ справедливы и благородны, при всей своей односторонности. Но, чтобъ объяснить презрвніе Платона къ искусству, надобно сказать несколько словъ о существенномъ направленім его ученія.

^{*)} Считаемъ почти за излишнее замѣчать, какъ очевидное для каждаго знакомаго съ предметомъ, что почти исключительно мы пользовались при этомъ изложении греческихъ эстетическихъ понятій прекраснымъ сочиненіемъ Э. Мюллера «Geschichte der Theorie der Kunst bei den Alten. 2 Bde. Breslau. 1884—1837.

Платона многіе считають какимъ-то греческимъ романтикомъ, вядыхающимъ о неведомомъ и туманномъ, чудномъ и прекрасномъ краћ, стремящимся «туда, туда» (dahin, dahin), неизвъстно куда, только далеко, далеко отъ людей и земли... Платонъ быль вовсе не таковъ. Действительно, онъ былъ одаренъ возвышенною душою, и все благородное и великое увлекало его до энтузіазма: но онъ не быль празднымъ мечтателемъ, думаль не о звъздныхъ мірахъ, а о земль, не о призракахъ, а о человъкъ. И прежде всего Платонъ думалъ о томъ, что человекъ долженъ быть гражданиномъ государства, не мечтать о ненужныхъ для государства вещахъ, а жить благородно и двятельно, содвиствуя матеріальному и нравственному благосостоянію своихъ согражданъ. Благородная, но не мечтательная, не умозрительная (какъ для Аристотеля), а діятельная, практическая жизнь была для него идеаломъ человъческой жизни. Не съ ученой или артистической, а съ общественной и нравственной точки смотрель онъ на науку и искусство, какъ и на все. Не человъкъ живетъ для того, чтобъ быть артистомъ или **чченымъ** (какъ думали многіе великіе философы, между прочимъ, Аристотель), а наука и искусство должны служить для блага человъка. Послъ этого понятно, какъ Платонъ долженъ былъ смотръть на искусство, которое, большею частью, служить (должно ли служить, это другой вопросъ), а во время Платона почти исключительно служило прекрасною, съ темъ вместе, чрезвычайно дорогою и, можеть быть, очень благородною забавою, но все-таки забавою для людей, которымъ нечего дёлать, кромё того, какъ любоваться на болве или менве сладострастныя картины и статуи, да упиваться мелодією болье или менье сладострастных стиховъ. «Искусство — забава»: этимъ решено для Платона все. А что онъ не клеветалъ на искусство, признавая его забавою, лучше всего свидетельствуеть намъ одинъ изъ серьезнейшихъ поэтовъ, Шиллеръ, конечно, не враждебными глазами смотревшій на свое искусство: Кантъ, по его мевнію, совершенно справедливо называеть искусство шрою (или забавою, das Spiel), потому что «только играя, человъкъ вполнъ человъкъ» *). Представимъ же теперь мнънія Платона о значенім искусства, выпуская, однако, слишкомъ жесткія изъ его нападеній.

Искусства, говоритъ Платонъ, бываютъ двухъ родовъ: произ-

^{*) «}Объ эстетич. воспит. человёка», письмо 13 и слёд.

водительныя и подражательныя (по нашей терминологіи: практическія или техническія и изящныя). Первыя производять что нибудь нужное для жизни, годное для употребленія. Сюда принадлежать, напримъръ, земледвліе, ремесла, гимнастика, дающая человъку силы, и медицина, дающая ему здоровье. Имъ полное уваженіе. Но какое сравненіе могуть выдержать съ ними подражательныя искусства (впредь мы, сообразно нынфшней терминологіи, будемъ называть ихъ изящными), которыя не дають человъку ничего, кромъ обманчивыхъ, ни въ какое употребление не годныхъ копій съ действительныхъ предметовъ? Ихъ значеніе ничтожно. Къ чему они служатъ? Къ пріятному, но безполезному препровожденію времени. Это игра, пустая въ глазахъ серьезнаго челов'вка. Но иныя игры (напр. гимнастическія) имбють серьёзную цель; изящныя искусства ея не имфють. Нфть, они стараются только забавлять; они только хотять угодить толпъ; они принадлежать къ одному разряду занятій съ реторикою (искусствомъ подбирать красныя слова) и софистикою (искусствомъ говорить не полезное, а пріятное слушателямъ), съ парикмахерскимъ и поварскимъ искусствами. И живопись, и музыка, и поэзія, даже возвышенная и превозносимая трагедія — искусства угодничества, лести, потому что стараются только объ удовольствіи), а не о пользів толпы (замівтимъ, что подобнымъ же образомъ смотритъ на изящныя искусства авторъ «Эмиля» и «Новой Элоизы»; Кампе, знаменитый немецкій педагогъ, также говорить: «выпрясть фунть шерсти полезнее, нежели написать томъ стиховъ.). А между твмъ, какъ высоко ставять себя эти ничтожныя искусства! Живописець, напримерь, говоритъ, что создаетъ и деревья, и людей, и землю, и море! да еще какъ скоро-въ одну минуту! и потомъ продаетъ вамъ и землю и море за золотую монету. Правда, его созданія не стоять и мідной, потому что они пустые призраки, годные лишь на то, чтобъ обманывать ребятишекъ. И эти фокусники еще не хотять признавать себя подражателями-нёть, они говорять вамь о творчестве! (Изъ этого видимъ, что идея, служащая основаніемъ господствующей нынъ эстетической теоріи, существовала уже и при Платонъ: «искусство и творчество»). И могуть ли они дать что нибудь, кромв плохой, невврной копіи? Ввдь художнику неть дела до внутренняго содержанія: ему нужна только оболочка; онъ довольствуется поверхностнымъ знаніемъ поверхности предмета: ее ко-

пируетъ онъ; дальше ея ничего не знаетъ (новъйшая эстетика, согласно съ этими художниками, или, скорве, съ вдкими сарказмами Платона, говорящаго за нихъ, признаетъ, что «прекрасное, существенное содержание искусства-призракъ, пустой призракъ. ein Schein, ein reiner Schein, и что искусство имветь двло только съ поверхностью, оболочкою предмета, die Oberfläche). Устройство человъческаго тъла извъстно врачу --- живописецъ его не знастъ. Такъ и поэтъ не знаеть основательно жизни и сердца человъческаго: это знаніе достигается только глубокимъ изученіемъ философіи (по нынашней терминологіи «только путемъ науки»), а не отрывочными наблюденіями собственной опытности, слишкомъ неполной и поверхностной. И заслуживають ли даже имени искусства эти гордыя изящныя искусства? Неть! Чтобъ моя деятельность достойна была имени искусства, мнв необходимо иметь ясное сознаніе о томъ, что я ділаю-художникъ не имітеть его. Столяръ, делая столъ, знаетъ, что, зачемъ и какъ онъ делаетъ: живописецъ и поэть сами не знають истинной природы предметовъ, которымъ подражаютъ. Ихъ искусство не искусство, а слепая работа по темному инстинкту, наудачу; они называють это «вдохновеніемъ»; на самомъ деле съ вдохновеніемъ соединяется у нихъ невъжество самоучки *). Изящныя искусства-пустая игра, незаслуживающая имени искусства..

^{*)} Для объясненія посліднихъ словъ надобно замітить, что Платонъ нападаеть не на «вдохновеніе», а на то, что очень многіе поэты (не говоримъ ужь о другихъ художникахъ) къ величайшему вреду искусства, полагаясь на едні силы «творческаго генія, инстинктомъ прозирающаго въ тайны природы и жизни», пренебрегаютъ наукою, которая избавляетъ отъ пустоты и ребяческой отсталости содержанія:

[«]Ich singe, wie der Vogel singt».

говорять они; за то ихъ пѣніе, подобно соловьиной пѣснѣ, остается годнымъ только для забавы отъ нечего дѣлать, очень скоро надоѣдающей, какъ и слушанье соловьиной пѣсни. Прекрасное ученіе, что поэтъ пишеть по вдохновенію, чуждому всякой разсчитанности, и что произведенія придумывающаго, разсчитывающаго поэта холодны, непоэтичны — господствовало въ Греціи со временъ геніальнаго Демокрита. У Аристотеля вдохновеніе стоить ужь на второмъ планѣ: онъ учить писать трагедіи, подбирать эффектныя завязки и развязки по рецепту. Изъ этого даже видно, что Аристотель, какъ эстетикъ, принадлежить временамъ паденія искусства: вмѣсто живаго духа, у него ученыя правила, холодный формализмъ. Отъ Горація и Буало, отъ всѣхъ послѣдующихъ составителей «реторикъ» и «пінтикъ», отличается онъ только, какъ ге-

Полемика Платона противъ искусства чрезвычайно сурова — правда, но порождена высокимъ и благороднымъ взглядомъ на человъческую дъятельность. И легко было бы показать, что многіе изъ строгихъ обличеній платоновыхъ продолжаютъ быть справедливыми и въ отношеніи къ современному искусству. Но гораздо пріятнъе говорить за искусство, нежели противъ искусства, и потому, отказываясь отъ тяжелой обязанности указывать и въ новъйшемъ искусствъ тъ слабыя стороны, которыя общи ему съ греческимъ, мы постараемся только показать, какими соображеніями могутъ быть въ наше время смягчены нъкоторые изъ безусловныхъ приговоровъ Платона о ничтожности значенія изящныхъ искусствъ.

Платонъ возстаетъ противъ искусства за то, что оно безполезно для человъка. Не будемъ опровергать этого страшнаго упрека устарёлою мыслыю, что «искусство должно существовать для искусства», что «ділать искусство служителемь человівческих нуждь, значить унижать его» и т. п. Мысль эта имёла смысль тогда, когда надобно было доказывать, что поэть не должень писать великольпныхъ одъ, не долженъ искажать действительности въ угоду различнымъ произвольнымъ и приторнымъ сентенціямъ. Къ сожальнію, для этого она появилась ужь слишкомъ поздно, когда борьба была кончена; а теперь и подавно она ни къ чему ненужна: искусство усивло ужь отстоять свою самостоятельность и должно думать о томъ, какъ ею пользоваться. «Искусство для искусства» — мысль такая же странная въ наше время, какъ «богатство для богатства», «наука для науки» и т. д. Всв человвческія двла должны служить на пользу человеку, если хотять быть непустымъ и празднымъ занятіемъ: богатство существуетъ для того, чтобъ имъ польвовался человъкъ, наука для того, чтобъ быть руководительницею человъка; искусство также должно служить на какую-нибудь существенную пользу, а не на безплодное удовольствіе. «Но именно эстетическое наслаждение само по себе приносить существенное благо человеку, смягчая его сердце, возвышая его душу»... Мы не хотимъ выводить серьезное значеніе искусства и изъ этой мысли-справедливой, но еще мало говорящей въ пользу искусства. Конечно, наслаждение произведеніями искусства, какъ и всякое (непреступное) удоволь-

ніальный учитель отъ ограниченных учениковъ: различіе здёсь не въ сущности понятій, а въ степени ума, ихъ развивающаго.

ствіе производить въ человікі світлое, радостное расположеніе духа; а радостный и довольный человъкъ, конечно, добръе и лучше, нежели недовольный и мрачный. И мы согласны, что, выходя изъ картинной галереи или изъ театра, человъкъ чувствуеть себя и добръе, и дучше (по крайней мъръ на полчаса, пока не разлетьлось эстетическое довольство); но точно также и изъ за сытнаго обеда человекъ встаеть снисходительнее, добрее того, каковъ быль съ отощавшимъ желудкомъ. Благодътельное вліяніе искусства, какъ искусства (независимо отъ такого или иного содержанія его произведеній), состоить почти исключительно въ томъ, что искусствовещь пріятная; подобное же благодітельное качество принадлежить всвиъ другимъ пріятнымъ занятіямъ, отношеніямъ, предметамъ, отъ которыхъ зависить «хорошее расположение духа». Здоровый человъкъ гораздо менъе эгоистъ, гораздо добръе, нежели больной, всегда болье или менье раздражительный и недовольный, хорошая квартира также больше располагаеть человака къ добротв, нежели сырая, мрачная, холодная; спокойный человекь (т. е. находящійся не въ непріятномъ положеніи) добрве, нежели раздосадованный и т. д. И надобно сказать, что практическія, житейскія, серьезныя условія довольства своимъ положеніемъ дійствують на человіжа сильнъе и постояннъе, нежели пріятныя впечатльнія, доставляемыя искусствомъ. Для большинства людей, оно-только развлечение, то есть довольно ничтожная вещь, немогущая принести серьезнаго довольства. И, взвёсивъ хорошенько факты, мы убёдимся, что многія самыя неблестящія, обыденныя развлеченія больше вносять довольства и благорасположенія въ человіческое сердце, нежели искусство: еслибъ явился между нами Платонъ, въроятно, сказалъ бы онъ, что, напримъръ, сидънье на завалинъ (у поселянъ), или вокругъ самовара (у горожанъ) больше развило въ нашемъ народъ хорошаго расположенія духа и добраго расположенія къ людямъ, нежели всв произведенія живописи, начиная съ лубочныхъ картинъ до «Последняго дня Помпеи». Польза, приносимая искусствомъ, какъ однимъ изъ источниковъ довольства, развитію всего хорошаго въ человъкъ, несомивина, но ничтожна въ сравнении съ пользою, приносимою другими благопріятными отношеніями и условіями жизни; потому и не хотимъ мы указывать на нее для того, чтобъ показать высокое значеніе искусства въ жизни. Правда, обыкновенно вліяніе искусства на нравственное развитіе понимають не

такъ, какъ мы его представили, и говорятъ будто бы эстетическое наслаждение не просто, какъ источникъ хорошаго расположения духа, смягчаетъ сердце, а непосредственно возвышаетъ и облагороживаеть душу, по возвышенности и благородству предметовъ и чувствъ, которыми прельщаемся мы въ произведенияхъ искусства; обыкновенно говорять, что представляющееся намъ «прекраснымъ» въ искусствъ есть ужь по этому самому благородное и возвышенное. Но мы, решительно не желая касаться щекотливаго вопроса о серьезномъ значеніи существеннаго содержанія въ большей части произведеній искусства, не хотвли даже выписывать грозныхъ нанаденій Платона на искусство за его содержаніе; тімь не менье сами будемъ вдаваться въ эти нападенія. Напомнимъ только, что искусство должно угождать требованіямъ публики, а большинство, смотрящее на него какъ на развлечение, конечно, требуетъ отъ развлеченія не возвышенности или благородства содержанія, а граціозности, интересности, забавности, даже легкости. Одинъ изъ серьезнайшихъ и биагороднайшихъ поэтовъ нашего времени говорить въ предисловіи къ своимъ піснямъ: «Я хотіль бы воспівать вовсе не любовь, но ето сталь бы читать мои пъсни, еслибъ ихъ содержание было серьезно? Поэтому, написавъ нъсколько серьезныхъ песенъ, которыя одне хотель бы я писать, я долженъ быль потопить ихъ во множествъ любовныхъ песеновъ для того, чтобъ вивств съ этими приманками публика поглотила и здоровую пищу». Таково почти всегда положение художника, имъющаго серьезное и благородное направление (не хотимъ прибавлять, что не всв изъ художниковъ имъють его). Кому эти краткіе намеки покажутся недостаточными, тотъ пусть потрудится припомнить, что главнъйшее содержаніе поэзін (самаго серьезнаго изъ искусствъ) -- «любовь», т. е. влюбленность, очень далекая отъ истинной любви и очень мало имъющая серьезнаго значенія. Обыкновенная забота искусства-заинтересовать, завлечь, чвмъ и какъ-все равно.

Но если, стремясь къ этой цёли, искусство почти всегда позабываетъ о другихъ, важнёйшихъ цёляхъ, то надобно признаться, что завлекаетъ огромную массу оно очень удачно, и этимъ самымъ, вовсе о томъ не думан, содёйствуетъ распространенію образованности, ясныхъ понятій о вещахъ— всего, что приносить умственную, а потомъ принесетъ и матеріальную пользу людямъ. Искусство или, лучше сказать, поэзія (одна только поэзія, потому что другія искусства очень мало дёлають въ этомъ отношеніи) распространяеть въ массё читателей огромное количество свёдёній и, что еще важнёе, знакомство съ понятіями, выработываемыми наукою вотъ въ чемъ заключается великое значеніе поэзіи для жизни.

Въ наше время странно уже-хотя, быть можеть, и вовсе еще неизлишне -- пускаться въ подробныя объясненія того, что такое наука, въ чемъ состоитъ и какъ велико ея значеніе для жизни. Въ наукъ хранятся плоды опытности и размышленій человъческаго рода, и главевишимъ образомъ на основаніи науки улучшаются понятія, а потомъ нравы и жизнь людей. Но открытія и соображенія науки приносять действительную пользу только тогда, когда разливаются въ массъ публики. Наука сурова и незаманчива въ своемъ настоящемъ видь; она не привлечетъ толпы. Наука требуеть отъ своихъ адептовъ очень много приготовительныхъ познаній и, что еще ріже, встрічается въ большинствів-привычки къ серьезному мышленію. Поэтому, чтобъ проникнуть въ массу, наука должна сложить съ себя форму науки. Ея крепкое зерно должно быть перемолото въ муку и разведено водою для того, чтобъ стать пищею, вкусною и удобоваримою. Это достигается «популярнымъ» изложеніемъ науки. Но и популярныя книги еще не исполняють всего, что нужно для распространенія понятій о наукѣ въ большинствъ публики: онъ предлагаютъ чтеніе легкое, но не заманчивое-а большинство читателей хочеть, чтобъ книга была сладкимъ дессертомъ. Это обольстительное чтеніе представляють ему романы, повъсти и т. д. Безъ всякаго сомевнія, очень немногіе беллетристы думають, подобно Вальтеръ-Скотту, употреблять свой талантъ именно для распространенія образованности между читателями. Но какъ изъ разговора съ образованнымъ человъкомъ малообразованный всегда вынесеть какія-нибудь новыя свёдёнія, хотя бы разговоръ и не касался повидимому ничего серьезнаго, такъ и изъ чтенія романовъ, повъстей, по крайней мірів историческихъ, даже стихотвореній, которыя пишутся людьми, во всякомъ случав стоящими по образованности выше, нежели большинство ихъ читателей, масса публики, нечитающая ничего, кромъ этихъ романовъ и повъстей, узнаетъ многое. И нътъ никакого сомнънія, что не только «Юрій Милославскій», но даже и «Леонидъ, или нвкоторыя черты и т. д.» значительно распространили кругъ свёдёній своихъ читателей. Если популярныя книги перечеканивають

въ ходячую монету, тяжелый слитокъ золота, выплавленный наукою, то поэзія пускаеть въ ходъ мелкія серебряныя деньги, которыя обращаются и тамъ, куда ръдко заходитъ золотая монета, и которыя все-таки имъютъ свою неотъемлемую цѣнность. Поэзія, какъ распространительница знаній и образованности, имъетъ чрезвычайно важное значеніе для жизни. «Забава» ею приносить пользу умственному развитію забавляющагося; потому, оставаясь забавою для массы читателей, поэзія получаетъ серьезное значеніе въ глазахъ мыслителя.

Итакъ, принуждены будучи признать справедливость очень миогихъ нападеній Платона на искусство, мы, однако, въ прав'є сказать, что поэзія имбеть высокое значеніе для образованности и идущаго всявдъ за нею улучшенія нравовъ и матеріальнаго благосостоянія; она имфеть это значеніе даже и тогда, когда не заботится о немъ. Но много было поэтовъ, которые сознательно и серьезно хотели быть служителями нравственности и образованности, понимали, что вместе съ талантомъ получили они обязанность быть наставниками своихъ согражданъ. Были такіе поэты и во время Платона; достовърно мы знаемъ съ этой стороны Аристофана. «Поэть-учитель взрослыхь», говорить онъ-и всв его комедін проникнуты самымъ серьезнымъ направленіемъ. Излишне и говорить о томъ, какое важное практическое значение получаетъ поэзія въ ихъ рукахъ. Но если Платонъ впадаеть въ односторонность, считая поэзію только пустою забавою, то за нимъ остается заслуга, что онъ смотрелъ на искусство въ связи съ жизнью; а оправдание его порицаниямъ находится въ понятияхъ объ искусствъ большей части художниковь и даже философовь, которые полагають, что значеніе искусства не зависить оть его житейской пользы, что «служить какимъ бы то ни было интересамъ, кромъ собственныхъ, унизительно и пагубно для искусства», что «оно само себъ цъль», что «доставлять эстетическое наслажденіе—единственное назначеніе искусства». Эти господствующія воззрёнія действительно стнимають у искусства всякое дёльное значеніе, превращають его въ пустую игру и вполив заслуживають грозныхъ изобличеній Платона, доказывающаго, что, отказываясь оть практическаго значенія для жизни, искусство, какъ и всякое дело, неименощее такого значенія, становится пустою забавою въ глазахъ мыслителя.

Аристотель, уступая Платону въ возвышенности требованій, го-

раздо снисходительные, даже съ любовью смотрить на искусство, особенно на поэзію и музыку; его понятія о значеніи музыки и поэзіи не такъ поучительны, какъ платоновы, но гораздо многосторонные—правда, съ тымъ вмысты иногда и мелочны.

Первую пользу искусства для человъка (потому что и Аристотель требуеть отъ искусства пользы) онъ видить именно въ томъ, въ чемъ Платонъ находить причину блёдности и ничтожности произведеній искусства сравнительно съ живою действительностьювъ томъ, что искусство есть подражаніе. «Стремленіе къ подражанію, которое служить источникомь искусствь, находится въ непосредственной связи съ любознательностью. Любознательность, заставляющая сравнивать копію съ подлинникомъ-причина и того удовольствія, которое доставляють намь произведенія искусства: подражая предмету, а потомъ сравнивая подражание съ оригиналомъ мы изучаемъ предметъ, изучаемъ его легко и скоро; въ этомъ тайна. наслажденія, приносимаго искусствомъ. «Итакъ, искусство находится въ ближайшемъ родстви съ важнийшимъ и высочайшимъ стремлевіемъ человіческаго духа; потому что Аристотель ставить науку выше жизни, умственную деятельность выше практической: образъ мыслей, очень легко рождающійся у людей, для которыхъ наукаглавнъйшая цъль жизни. Искусству, этимъ объясненіемъ его происхожденія, назначается очень почетное м'єсто среди возвышеннъйшихъ направленій человіческого духа; но объясненіе страсти къ подражанію изъ любознательности не выдерживаетъ критики. Подражаемъ вообще мы изъ желанія сдёлать, а не узнать что-нибудь; подражаніе-не теоретическое, а практическое стремленіе. Справедливо только то, что инога (довольно редко) мы читаемо произведенія поэзій изъ желанія познакомиться съ нравами людей, съ обычаями народовъ далекихъ отъ насъ, и т. п.; но и читаемъ мы произведенія поэзіи обыкновенно вовсе не по этому побужденію, а возникають они решительно не изъ желанія поэта уяснить себе какойнибудь вопросъ (какъ пишутся ученые трактаты): стремленіе создавать (черезъ подражание или «воспроизведение», какъ выражаются нынь), производить-источникъ поэтической деятельности; восхищеніе творческимъ талантомъ, удовольствіе, происходящей отъ сознанія геніальности человіческой писточникъ наслажденія, доставляемаго намъ произведеніями искусства. Не указываемъ другихъ источниковъ искусства и наслажденія искусствомъ, потому что это отвлекло бы насъ далеко отъ Аристотеля (точно также и выше, пополняя мивнія Платона, мы ограничились указаніемъ одной только стороны высокаго значенія искусства, чтобы не вдаваться въ излишнія подробности).

Но если Аристотель одностороннимъ образомъ объясняетъ стремленіе человъка къ подражанію и происхожденіе искусства, то нельзя не отдать ему полной справедливости за то, что онъ старается отыскать для искусства высокое значение въ области умственной дъятельности; ѝ если нельзя согласиться съ его мивніемъ объ источникъ искусства вообще, то нельзя безъ удивленія видъть, какъ върно опредъляеть онъ отношение поэзи къ философии: поэзия, изображающая человъческую жизнь съ общей точки зрънія, представляющая не случайныя и ничтожныя мелочи ея, а то, что есть въ жизни существеннаго и характеристическаго, чрезвычайно много имфеть, какъ думаетъ Аристотель, философскаго достоинства. Она въ этомъ отношеніи даже гораздо выше, по его мивнію, нежели исторія, которая безъ разбора должна описывать и важное и неважное, и существенное, характеристическое, и случайные, неим вощіе викакого внутренняго значенія факты; поэзія гораздо выше исторіи также и потому, что представляеть все во внутренней связи, между темъ, какъ исторія безъ всякой внутренней связи, по хронологическому порядку разсказываетъ разнородные факты, неимъющіе между собою ничего общаго. Въ поэтической картинъ смыслъ и связь; въ исторіи множество неговорящихъ ничего нужнаго подробностей, и нътъ связи; она даеть не картины, а только отрывки картинъ. Вотъ это глубокомысленное и знаменитое мъсто, въ переводъ г. Ординскаго, выписку изъ котораго делаемъ для того, чтобы познакомить читателей съ его языкомъ:

«Діло поэта—излагать не столько случающееся, сколько то, что могло бы случиться, т. е. возможное по въроятію или по необходимости. (Мысль, досель служащая основаніем нашим понятіям о том, как должен поэть пользоваться матеріалами, доставляемыми ему дъйствительностью, что изъ них должен от брать для своих картин, и что должен отбрасывать). Историкь и поэть не тімь различаются, что говорять одинь мірною річью, другой немірною: відь сочиненіе Геродота можно было бы переложить въ метры, и все-таки въ метрахь, как и безъ всяких метровь, была бы это исторія. Различаются они тімь, что одинь излагаеть случившееся, а другой, что можеть случиться. Поэтому поввія глубже и значительніе исторіи. Поэзія излагаеть боліве общее, исторія—частное. Общее есть: такому то лицу, что при-

пично говорить, либо ділать по віроягію, либо необходимости? Этого достигаеть поэзія, изобрітая имена? Частное есть: что сділаль Алкивіадь, или что съ нимъ случилось? На комедіи это очевидно: комики, составляя вымысель изъ віроятныхъ событій, дають имена произвольныя, а не занимаются... частностями. Что касается трагедіи... въ нікоторыхъ одно или два имени извістныхъ, прочія вымышлены; въ иныхъ ни одного извістнаго, какъ въ «Цвіткі» Агафона: въ немъ и дійствія, и имена равно вымышлены, и тімъ не менію онь нравится».

Ученый отдаетъ искусству справедливость до такой степени, что ставить его выше науки (правда, не своей спеціальной науки). Явленіе замічательное... Но мнініе Аристотеля объ исторіи требуетъ объясненія: оно приложимо только къ тому виду исторіи, который быль изв'ястень въ его время-то была не собственно исторія, а летопись. У Геродота действительно неть никакой внутренней связи: всъ девять книгъ его «Исторій» наполнены эпизодами; онъ хочетъ собственно писать исторію «войны персовъ съ греками>--и успаваеть начать разсказъ о ней толькой въ шестой книгь. Ему хочется поговорить обо всемь, что только ему извъстно изъ исторіи и нравовъ знакомыхъ ему народовъ. Его методъ таковъ: персы воевали съ египтянами: поговоримъ о египтянахъ-и следуеть целая книга о Египте же; воевали они также со скивами: поговоримъ о скиоахъ-и следуетъ целая книга о скиоахъ и Скиоіи. Въ каждомъ эпизодъ у него опять новые эпизоды, вплетенные почти такъ: у египтянъ главный городъ Мемфисъ-описаніе Мемфиса; я также быль въ Мемфись-описание того, что онъ видель въ Мемфисъ; между прочимъ, былъ я тамъ въ одномъ храмъ - описаніе храма; въ этомъ храмф видель я жреца — описание жреца и его одежды; жрецъ этотъ говорилъ со мною о томъ то-разсказывается, что говориль ему жрець; но другіе говорять объ этомъ не такъразсказывается, какъ говорять объ этомъ другіе, и т. д. и т. д. Геродотъ разскащикъ, бывалый человъкъ, и его исторія похожа на простодушные, интересные, но безсвязные разсказы всёхъ бывалыхъ людей. Оукидидъ — чисто-лътописецъ, правда ученый и глубокомысленный, но располагающій свою «Исторію Пелопоннесской войны» такимъ образомъ: въ шестую зиму войны произошло въ Аттикъ вотъ что; въ эту же зиму въ Пелопоннесъ произопло вотъ что; въ то же время на Корциръ произошло вотъ что; во Оракіи произошло тогда же воть что; на Лесбось-воть что и т. д. Въ следующее за темъ лето произошло въ Аттике то-то и то-то, въ Пелопоннесе

то-то и то-то и т. д. У Оукидида еще меньше внутренней связи между разсказами, нежели у Геродота; даже ни одно событіе не разсказано за одинъ разъ: начало, середина и конецъ его разбросаны въ разныхъ книгахъ по «зимамъ» и «лѣтамъ». Очень понятно, какъ много мелочнаго и рѣшительно ненужнаго для характеристики главнаго событія и главныхъ дѣятелей находится въ подобныхъ «исторіяхъ». Форму науки исторія приняла только въ наше время; у новѣйшихъ великихъ историковъ всегда господствуетъ строгое единство; у нихъ не найдется ненужныхъ мелочей, приводятся факты и черты, только «имѣющія общее значеніе», котораго требуетъ Аристотель, то-есть только необходимыя для характеристики вѣка и людей.

Эти выписки достаточно показывають проницательность и многосторонность аристотелева ума: но, при всей своей геніальности. часто онъ впадаетъ въ мелочность отъ всегдашняго своего стремленія найдти глубокое философское объясненіе не только главнымъ явленіямъ, но и всёмъ ихъ подробностямъ. Это стремленіе, выразившееся въ аксіомъ одного новъйшаго философа, соперника аристотелева: «все действительное разумно и все разумное действительно», часто заставляло обоихъ мыслителей придавать важное значеніе мелочнымъ фактамъ только потому, что эти факты хорошо подходили подъ ихъ систему. Превосходный примъръ этого представляетъ выписанное нами мъсто изъ Аристотеля. Совершенно справедливо опредъляя, что поэзія изображаеть не мелочи, а общее, характеристическое, въ чемъ находитъ Аристотель подтверждение своего понятія?-- въ томъ, что комики всегда, а трагики иногда, дають характеристическія имена дійствующимь лицамь, т. е. и въ оставленномъ нынъ обыкновении выводить на сцену Вороватиныхъ, Правдиныхъ, Прямосудовыхъ, Коршуновыхъ, Разлюдиевыхъ (весельчаки), Бородкиныхъ (живущіе по старымъ обычаямъ), Стародумовъ и т. л.

На нѣсколькихъ страницахъ излагаемъ мы миѣнія Платона и Аристотеля о «подражательныхъ искусствахъ», нѣсколько десятковъ разъ пришлось намъ употребить слово «подражаніе» и однако до сихъ поръ еще ни разу не встрѣтили читатели обычнаго выраженія «подражаніе природѣ»—отчего это? Неужели Платонъ и, особенно, Аристотель, учитель всѣхъ Баттё, Буало и Гораціевъ, поставляютъ сущность искусства не въ подражаніи природю, какъ

привыкли всв мы дополнять фразу, говоря о теоріи подражанія? Действительно, и Платонъ и Аристотель, считаютъ истиннымъ содержаніемъ искусства, и въ особенности поэзіи, вовсе не природу. а человъческую жизнь. Имъ принадлежить великая честь думать о главномъ содержании искусства именно то самое, что после нихъ высказаль уже только Лессингь, и чего не могли понять всв ихъ последователи. У Аристотеля въ «Пінтике» нёть ни слова о природь; онъ говорить о людяхъ, ихъ действіяхъ, событіяхъ съ людьми, какъ о предметахъ, которымъ подражаетъ поэзія. Дополненіе: «природъ» могло быть принято въ піитивахъ только тогда, когда процвътала вялая и фальшивая описательная поэзія (которая едва ли не грозить снова войдти въ моду) и неразлучная съ нею дидактическая поэзія-роды, которые изгоняются Аристотелемъ изъ поэзіи. Подражаніе природи чуждо истинному поэту, главный предметь котораго-человъкъ. «Природа» выступаетъ на первый планъ только въ пейзажной живописи, и фраза «подражаніе природъ» послышалась въ первый разъ изъ устъ живописца; но и живописецъ произнесъ ее не въ томъ смыслъ, какой получила она у современниковъ Дезульеръ и Делила: когда Лизиппъ (разсказываетъ Плиній), еще будучи юношею, спросиль у знаменитого въ то время живописца Эвпомпа: кому изъ прежнихъ великихъ художниковъ надобно подражать? Эвпомпъ отвъчаль, указывая на толпу людей, среди которой они стояли: «не художникамъ надобно подражать, а самой природъ». Ясно, онъ говорилъ о томъ, что живая действительность должна служить матеріаломъ и образцомъ для художника, а не о «садахъ», которые воспъваль Делиль, и не объ «озерахъ», которыя описывались Уордсвортомъ и Уильсономъ съ братіею.

Изъ этого можно убъдиться, что многія возраженія, дълаемым противъ теоріи подражанія, относятся собственно не къ ней, а къ той искаженной формъ, къ какой представляли ее теоретики псевдоклассической школы. Здъсь не мъсто высказывать личныя убъжденія, и потому не будемъ доказывать, что по нашему мнѣнію, называть искусство воспроизведеніемъ дъйствительности (замѣняя современнымъ терминомъ неудачно-передающее смыслъ греческаго mimēsis слово «подражаніе») было бы върнъе, нежели думать, что искусство осуществляетъ въ своихъ произведеніяхъ нашу идею совершенной красоты, которой будто бы нътъ въ дъйствительности. Но нельзя не выставить на видъ, что напрасно думаютъ, будто бы,

поставляя верховнымъ началомъ искусства воспроизведеніе дѣйствительности, мы заставимъ его «дѣлать грубыя и пошлыя копіи и изгоняемъ изъ искусства идеализацію». Чтобъ не вдаваться въ изложеніе миѣній необщепринятыхъ въ нынѣшней теоріи, не будемъ говорить о томъ, что единственная необходимая идеализація должна состоять въ исключеніи изъ поэтическаго произведенія ненужныхъ для полноты картины подробностей, каковы бы ни были эти подробности; что если понимать подъ идеализацією безусловное «облагороженіе» изображаемыхъ предметовъ и характеровъ, то она будетъ равняться чопорности, надутости, фальшивому драматизированью. Но вотъвыписка изъ аристотелевой «Пінтики», доказывающая, что идеализація, даже въ послѣднемъ смыслѣ, очень хорошо можетъ входить въ систему эстетики, признающую основнымъ началомъ поэзіи подражаніе или воспроизведеніе:

«Такъ какъ трагедія есть подражаніе лучшимъ (воспроизводить дийствія и приключенія людей съ великими, а не мелочными характерами, сказали бы мы теперь; но Аристотель говорить, увлекаясь Эсхиломъ и Софокломъ: людей, лучшихъ, нежели обыкновенные люди), то должны (трагики) подражать хорошимъ портретистамъ: они, передавая кого нибудь въ настоящемъ видѣ, дѣлаютъ портретъ похожимъ и вмѣстѣ красивѣе. Такъ и поэту, когда онъ подражаетъ сердитымъ, лѣнивымъ и другіе недостатки въ характерѣ имѣющимъ (т. е. воспроизводить ихъ характеры), слѣдуетъ таковыхъ облагораживать».

«Распалась поэзія на два рода (говорить далье Аристотель), по характеру поэтовь: люди солидные описывали высокія діла возвышенных по характеру людей, и сначала писали гимны, потомъ трагедіи; люди легкомысленные описывали людей «низкихъ: они сочиняли сначала ямбы (сатиры), потомъ комедіи». Опять какая односторонность! Платону было простительно, говоря объ отсутствіи серьезнаго нравственнаго значенія въ произведеніяхъ искусства, не упомянуть намъ о прекрасномъ исключеніи, о комедіяхъ Аристофана—вражда Аристофана противъ Сократа извиняла молчаніе преданнаго ученика сократова. Но Аристотель, немогшій иміть никакого горькаго воспоминанія противъ Аристофана, также не хочеть замічать высокаго значенія комедіи.

Мысль, что «искусство состоить въ подражании» живой действительности, и преимущественно воспроизводить человеческую жизнь, безпрекословно считалась справедливою въ древней Грепіи. Платонъ и Аристотель одинаково полагали ее въ основаніе своихъ эстетическихъ понятій; они до того были увѣрены, какъ и всѣ ихъ современники, въ неоспоримой истинѣ этого начала, что вездѣ высказывають его, какъ аксіому, не думая доказывать его. На чемъ же основано, что именемъ «платоновой» называють совершенно другую теорію искусства, рѣшительно противоположную излагаемой Платономъ—теорію, объясняющую начало искусства такъ: «идея прекраснаго, присущая духу человѣческому, не находя себѣ соотвѣтствія и удовлетворенія въ дѣйствительномъ мірѣ, заставляеть человѣка создавать искусство, въ которомъ находить она себѣ полное осуществленіе»? И кто изъ мыслителей, въ самомъ дѣлѣ, первый высказалъ начала такой теоріи?

Въ первый разъ «идеальное начало» искусства было высказано Плотиномъ, однимъ изъ тъхъ туманныхъ мыслителей, которые называются неоплатониками. У нихъ нътъ ничего простаго, яснаговсе таинственно, невыразимо; у нихъ нетъ ничего положительнаго, дъйствительнаго — все заоблачно и мечтательно; всь ихъ понятія... но мы ошибаемся: у нихъ нётъ понятій, потому что понятіе есть нъчто опредълительное, доступное простому уму; у нихъ какія то грезы, которымъ нфтъ нигдф соотвфтствующихъ предметовъ, которыя постигаются только въ состояніи экстаза, когда, посредствомъ искусственнаго образа жизни, неестественнаго напряженія ума, чедовъкъ погружается въ таинственный міръ, недоступный никакимъ чувствамъ. Грезы эти величественны, но величественны только для освободившейся отъ власти разсудка фантазіи; малійшее прикосновеніе положительной, ясной мысли уничтожаеть ихъ. Неоплатонники-люди, хотвыше соединить древнюю греческую философію съ таинственными азіатскими философемами, придать мечтамъ распаленной египетской и индійской фантазіи форму науки; изъ этого соединенія образовалось у нихъ нечто еще боле странное и фантастическое, нежели самыя индійскія и египетскія мудрованія. Мысль, возникшая на такой заоблачной почеть, едва ли можеть надолго овладёть положительными и свётлыми понятіями народовъ, у которыхъ есть опытная наука, все подвергающая анализу. Но вдёсь не мёсто излагать наши понятія объ «идеальномъ началё» искусства: довольно и того, что мы сказали, какъ страненъ источникъ, изъ котораго взято оно. Излагать идеи Плотина о сущности

прекраснаго мы также не будемъ, отчасти ужь и потому что издагать ихъ вначило бы почти то же самое, что издагать господствующія нынѣ эстетическія начала. Впрочемъ, едва ли справедливо называемъ мы «современными» мнѣніе объ идеальномъ началѣ искусства: та система понятій, которой онѣ принадлежали, уже оставлена всѣми; она имѣла только переходное значеніе и нынѣ забыта вмѣстѣ съ романтизмомъ, своимъ порожденіемъ. И если эстетическія понятія, разнесенныя по свѣту Шлегелями и ихъ сподвижниками, принятыя потомъ и ихъ противниками, еще не замѣнились въ новѣйшихъ эстетикахъ другими понятіями, то это единственно потому, что нынѣшняя наука, обращенная на другіе вопросы, едва касалась эстетическихъ.

Неоплатоники передвлали платонову философію на египетскій ладъ; но, будучи совершенно различно отъ платоновой философіи по своей сущности, ученіе ихъ сохранило черты наружнаго сходства съ нею. Вотъ причина, по которой Платону было приписано многое, вовсе ему непринадлежащее, въ томъ числъ и ученіе объ идеальномъ началв искусства. Его понятія о красотв, подъ вліяніемъ системы неоплатониковъ, были смінаны съ понятіями его объ искусствъ, между тъмъ, какъ красоту видить онъ въ живой дъйствительности, еще высшую красоту находить въ идеяхъ и поступкахъ мудреца; изъ последняго очевидно, что его «прекрасное» вообще то, что мы въ обыкновенномъ разговорномъ языкв называемъ «прекраснымъ» (добродътель прекрасна; патріотизмъ-прекрасное чувство; прекрасно имъть благородный образъ мыслей: цвътущій садъ прекрасенъ и т. д.), а не то «прекрасное», о которомъ говорить эстетика и которое состоить въ совершенствъ матеріальной формы, вполев проявляющей свое внутреннее содержаніе.

Но возвратимся къ Аристотелю и его «Пінтикі». Въ ней, кромі изложеннаго нами ученія о происхожденіи искусства вообще, отъ котораго поспішно переходить онъ къ спеціальному вопросу о трагедіи, мы находимъ еще довольно много мніній, имінощихъ интересъ и для нашего времени. Скажемъ нісколько словъ о нихъ. Мніній же прилагающихся только къ греческой поззіи, имінощихъ теперь только историческое значеніе, мы не должны касаться по нашему плану; точно также должны мы пройдти молчаніемъ множество прекрасныхъ мыслей о сущности драматической поэзіи по-

тому что нынѣ ихъ справедливость извѣстна всѣмъ; и если нынѣшніе драматурги не всегда съ ними соображаются въ своихъ произведеніяхъ, то единственно по недостатку силъ, или искусства: такова, напримѣръ, мысль о томъ, что въ драмѣ (Аристотель говорить это о трагедіи) самое существенное—дѣйствіе, при недостаткъ котораго пьеса непремѣнно будетъ слаба, какъ бы ни велики были другія ея достоинства; требованіе, чтобъ въ пьесѣ господствовало строжайшее единство дѣйствія (считаемъ излишнимъ повторять давно всѣми высказываемую мысль, что, кромѣ единства дѣйствія, Аристотель не требуетъ никакихъ другихъ единствъ), и т. д.

Очень часто случается слышать мивніе, что событія изъ двйствительной жизни именно такъ, какъ случились, не должны быть изображаемы въ поэзіи; что, наприміть, историческій романь долженъ непременно переделывать историческія событія по требованіямъ искусства, «потому что историческій факть, въ своей наготь, не имъетъ никогда достаточнаго внутренняго единства и сцепленія между частями» — Аристотель приходить къ этому вопросу по поводу историческихъ трагедій, и рішаетъ его такъ: для поэзіи необходимо, чтобъ подробности дъйствія вытекали необходимо одна изъ другой, и чтобъ ихъ сцепление было правдоподобно; некоторымъ изъ дъйствительно случившихся событій ничто не препятствуеть удовлетворять этому требованію: все въ нихъ развилось но необходимости, и все правдоподобно - почему же не брать ихъ поэту въ ихъ истинномъ видъ? Къ чему же, послъ этого, служатъ всв эти вымышленные герои, заслоняющіе настоящихъ героевъ и введенные только затвиъ, чтобъ своими выдуманными приключеніями «придать поэтическое единство» изображенію эпохи, какъ будто нельзя было найдти истинно поэтическихъ событій въ жизни настоящихъ героевъ романа? Но мода на историческіе романы прошла, и потому обратимъ наше замъчаніе на разсказы и драмы изъ современнаго быта: къ чему это бездеремонное драматизированье дъйствительныхъ событій, которое такъ часто встрівчается въ романахъ и повъстяхъ? Выберите связное и правдоподобное событіе и раскажите его такъ, какъ оно было на самомъ ділів: если вашъ выборъ будетъ не дуренъ (а это такъ легко!), то ваша непередължиная изъ дъйствительности повъсть будетъ лучше всякой передъланной «по требованіямъ искусства», т. е., обыкновенно по требованіямъ литературной эффектности. Но въ чемъ же тогда

выкажется ваше «творчество»?—въ томъ, что вы съумъете отдълить нужное отъ ненужнаго, принадлежащее къ сущности событія огъ посторонняго.

Фальшивое понятіе о необходимой связи между развязкою и завязкою, было источникомъ ложнаго понятія о сущности трагическаго въ нынъшней эстетикъ. Трагическое событіе обыкновенно представляють происходящимь подъ вліяніемь какой то особенной «трагической судьбы», по которой сокрушается все великое и прекрасное. Аристотель, которому понятіе «рока» было гораздо ближе, нежели намъ, ничего не говорить о вмешательстве судьбы въ участь героевъ трагедіи. Но герои трагическіе обыкновенно погибають? Это очень просто объясняется у него тёмъ, что трагедія имфеть цёлью возбудить чувства ужаса и состраданія; а если развязка будеть счастива, то это впечативніе будеть сглажено ею, хотя бы и было пробуждено предъидущими сценами. Вы возразите, что лица, погибающія въ конців, представляются въ началів трагедіи мощными, счастливыми и т. д.? Это также просто объясняется у Аристотеля твиъ, что контрастъ поражаетъ сильнее однообразности: увидевъ здороваго-мертвымъ, счастливаго-погибающимъ, зрители сильне проникаются ужасомъ и состраданіемъ, нежели тогда, когда этого контраста недостаетъ. И Аристотель совершенно справедливъ, не вводя «судьбы» въ понятіе трагическаго: эта внёшняя, посторонняя сила только ослабляеть внутраннюю связь событій, придавая имъ направленіе, не вытекающее изъ сущности действія-воть эстетическій вредъ «судьбы» въ трагедіи. Поэзія должна изображать человъческую жизнь-пусть же она не искажаеть ея картинъ посторонними примъсями.

Наконецъ, последнее замечаніе: главнейшую разницу между гомеровыми эпопеями и позднейшими трагедіями Аристотель поставляетъ только въ томъ, что «Иліада» и «Одиссея» гораздо длинней трагедій и не имеютъ такого строгаго единства действія, какое необходимо для трагедій: эпизоды въ трагедіяхъ неуместны, въ эпопев не вредятъ красоте пелаго. Но различія по направленію, по духу, по характеру содержанія, между трагедіями и гомеровыми поэмами, Аристотель не замечаетъ никакого (различіе въ способе изложенія, конечно, онъ видитъ очень хорошо). Напротивъ, онъ очевидно предполагаетъ существенную тождественность эпическаго и трагическаго содержанія, говоря, что изъ «Иліады« или «Одиссеи» можно сделать по нескольку трагедій. Надобно ли считать недосмотромъ Аристотеля несогласіе его въ этомъ случав съ новъйшими эстетиками, полагающими существенное различіе между содержаніемъ эпическимъ и драматическимъ? Можетъ быть; но скорве можно думать, что наши эстетики полагають слишкомъ глубокое различіе, по содержанію, между эпическою и драматическою поэзіею, которыя у грековъ, очевидно, различались одна отъ другой более формою, нежели содержаніемъ. Въ самомъ деле, безпристрастно подумавъ объ этомъ вопросв (а наши эстетики явно пристрастны къ драматической формв, «высочайшей формв повзіи»), едва ли не должно будеть заключить, что если многіе сюжеты повъстей и романовъ негодятся для драмы, то едва ли есть драматическое произведение, сюжетъ котораго не могъ бы такъ же хорошо (или еще лучше) быть разсказань въ эпической формъ. Да и то, что н'вкоторыя пов'єсти и романы (очень хорошія, но мало заключающія въ себ'в дівствія и много лишних эпизодовь и разглагольствованій, чего, конечно, нельзя считать достоинствомъ и въ эпическомъ произведеніи) не могли быть обращены въ сносныя пьесы, не происходить ли главнымъ образомъ оттого, что скукаочень сносная, и отчасти даже пріятная наедина, въ удобные для этого часы, становится несносною, когда усиливается скукою тысячи скучающихъ, подобно вамъ, въ душной атмосферв театра? Если присоединить къ этому десятки другихъ обстоятельствъ того же рода-напримъръ, неудачность всъхъ арранжировокъ вообще, упущеніе изъ виду, со стороны пов'єствователя, вс'єхъ сценическихъ условій, стеснительность самой драматической формы-то увидимъ, что негодность для сцены многихъ пьесъ, передвланныхъ изъ повъстей, достаточно объясняется и безъ предположенія существеннаго различія между эпическимъ и драматическимъ сюжетомъ.

Къ «послъднему» замъчанію позволяемъ себъ прибавить еще одно, уже ръшительно послъднее. Аристотель ставить трагиковъвыше Гомера и, признавая при всякомъ случав всевозможныя достоинства въ его поэмахъ, находить, однако, что трагедіи Софокла и Эврипида несравненно художественные ихъ по формы (и глубже по содержанію, могъ бы онъ прибавить). Не слъдуеть ли и намъ, по его прекрасному примъру, безъ ложнаго подобострастія смотрыть на Шекспира? Лессингу было натурально ставить его выше всъхъ поэтовъ, существовавшихъ на земль, и признавать его трагедіи

геркулесовыми столбами искусства. Но теперь, когда мы имѣемъ самого Лессинга, Гете, Шиллера, Байрона, когда прошли причины возставать противъ слишкомъ усердныхъ подражателей французскимъ писателямъ, стало, можетъ быть, уже не столь естественно отдавать Шекспиру безконтрольную власть надъ нашими эстетическими убъжденіями, и, кстати и некстати, приводить въ примъръ всего прекраснаго его трагедіи, находя въ нихъ все прекраснымъ. Въдь Гете признаетъ же «Гамлета» нуждающимся въ передълкъ? И, можетъ быть, Шиллеръ не выказалъ неразборчивости вкуса, передълавъ, наравнъ съ шекспировымъ «Макбетомъ», и расинову «Федру». Мы безпристрастны къ давно прошедшему: зачъмъ же такъ долго медлить признавать и недавно прошедшее въкомъ высшаго, нежели прежнее, развитія поэзіи? Развъ ея развитіе не идетъ рядомъ съ развитіемъ образованности и жизни?

Мы старались показать, что, не смотря на односторонность нъкоторыхъ положеній, мелочность многихъ фактовъ и выводовъ, и главнъйшій недостатокъ — преобладаніе формализма надъ живымъ ученіемъ о прекрасномъ въ поэзіи, какъ следствіи развитаго наукою таланта и благороднаго образа мыслей (требованія, гораздо сильне высказанныя у Платона, нежели у Аристотеля)---что не смотря на всв эти недостатки, сочинение Аристотеля «О поэтическомъ искусствъ *) имъетъ еще много живаго значенія и для современной теоріи, и достойно было служить основаніемъ для всёхъ последующихъ эстетическихъ понятій до Вольфа и Баумгартена, или даже до Лессинга и Канта (теоріи Гогарта, Борка и Дидро не имели большаго значенія, встретивъ мало сочувствія). Изъ этого очевидно, какъ прекрасно сдёлаль г. Ордынскій, рёшившись усвоить русской литературъ столь важное для науки сочинение. Дъйствительно, едва ли можно было сделать выборь, более счастливый. Точно такъ же веренъ быль тактъ, руководившій г. Ордынскаго и при выбор' предметовъ для прежнихъ сочиненій: о «Характерахъ Өеофраста», «О комедіяхъ Аристофана»; точно такъ же прекрасно было и намереніе его перевести Гомера прозою-мысль чрезвычайно вірная въ своемъ основаніи, потому что самые дучшіе русскіе гекзаметры —

^{*)} Переводъ заглавія аристотелевой вниги περί ποιητικής «О поэтическомъ искусствѣ» подразумѣвая τέχνης (сравн. заглавіе τέχνη ἡητορική) мы считаемъ болѣе вѣрнымъ, нежели предлагаемый г. Ордынскимъ: «О поэзін».

одежда все еще слишкомъ тяжелая и запутанная для Гомера, дътски простаго душою. Надобно отдать полную справедливость и добросовъстности, съ которою занимался онъ каждымъ своимъ трудомъ. Такъ и въ новомъ его разсуждении нельзя не видъть труда, чрезвычайно добросовъстно исполненнаго. Г. Ордынскій изследоваль тексть аристотелевой «Пінтики» съ примірною аккуратностью; воспользовался трудами всёхъ лучшихъ издателей и комментаторовъ, съ истинною ученою скромностью указывая всегда, откуда что почерпнуль; переводъ текста сдвланъ не на-скоро, не кое-какъ: г. Ордынскій вавішиваль каждое слово, обсуживаль каждое выраженіе. Однимъ словомъ: переводъ и комментарій г. Ордынскаго удовлетворяють большей части условій, оть которыхь зависить достоинство труда. А между тъмъ нельзя не предвидъть, что его переводъ «Пінтики» найдеть себ'в довольно мало сочувствія даже въ той немногочисленной части публики, которая спеціально интересуется классическою литературою; другихъ читателей онъ рашительно оттолкнетъ. Да и комментарій г. Ордынскаго, составленный съ большимъ знаніемъ дёла и вниманіемъ, едва ли принесеть много пользы русскимъ читателямъ. Переводъ г. Ордынскаго очень тяжелъ и теменъ, а комментарій написанъ почти только въ доказательство личныхъ мизній переводчика, утверждающаго, что аристогелева книга «О поэтическомъ искусствъ» дошла до насъ вполип, а не въ отрывочномъ извлеченіи, какъ думають обыкновенно, и что текстъ этого сочиненія, или извлеченія, не испорченъ и не нуждается въ исправленіи. Къ изложенію этого вопроса мы теперь и должны приступить.

Нуждается ли въ исправленіи текстъ аристотелевой «Пінтики?» Въ какой степени испорченъ текстъ аристотелевыхъ сочиненій—очень хорошо показываетъ даже не филологу судьба ихъ до того времени, когда они стали общеизвъстными, что случилось ужь черезъ два съ половиною въка послъ смерти Аристотеля. Эта исторія довольно занимательна, и потому перескажемъ ее въ нъсколькихъ словахъ. Аристотель самъ при жизни не обнародовалъ своихъ сочиненій; по смерти его они перешли въ руки его ученика Өеофраста, который также не обнародовалъ ихъ, можетъ быть, потому, что Аристотель, подобно Анаксагору, подвергся подъ конецъ жизни сильнымъ гоненіямъ за то, что отвергалъ многобожіе; думаютъ даже, что онъ этими преслъдованіями принужденъ былъ отравить себя.

Умирая, Ософрастъ передалъ ихъ Нелею Скепсійскому вмёсть съ книгами аристотелевой библіотеки. Нелей продаль аристотелеву библіотеку египетскому царю Птоломею Филадельфу, но съ самыми сочиненіями Аристотеля не рішился разстаться: они остались у Нелея. Наслёдники Нелея были невёжды, вовсе недумавшіе пользоваться Аристотелемъ; но они слышали отъ Нелея, что книги эти чрезвычайно драгоцены; живя въ пергамскихъ владеніяхъ, они опасались, чтобъ цари пергамскіе, соперничествовавшіе съ Птоломеями въ заведеніи у себя такой же огромной и полной библіотеки, какъ александрійская, и повсюду отъискивавшіе книгь, не взяли у нихъ даромъ, или за ничтожное вознагражденіе, этой драгоцівнюсти; надобно было утанть ее-и они спрятали аристотелевы сочиненія въ погребъ. Долго скрывались они тамъ. Наконецъ одинъ богатый авинскій библіофиль, Апелликонь Теосскій, узналь случайнымъ образомъ, глъ аристотелевы сочиненія, и за большую цъну купилъ ихъ. Это было уже во времена Митридата Великаго: слъдовательно, въ сыромъ погребв онв должны были пролежать леть сто или полтораста, если даже не болве. Аппеликонъ нашелъ ихъ испортившимися отъ сырости погреба; кромъ того, они были источены червями. Какъ велика должна была быть порча, можно вообразить, припомнивъ, сколько времени они подвергались ей. Привезши ихъ въ Аеины, онъ велелъ ихъ переписать, дополняя по догадкамъ мъста, испортившіяся отъ сырости и червей. По завоевиніи Анинъ Силлою апелликонова библіотека была взята поб'вдителемъ и перевезена въ Римъ. Жившій въ Римъ ученый грекъ Тиранніонъ получиль оть Силлы позволеніе пользоваться его библіотекою, и, нашедши тамъ аристотелевы сочиненія, сділяль съ нихъ нъсколько списковъ, которые доставилъ, между прочимъ, Цицерону, Лукуллу и Андронику Теосскому. Андроникъ употребилъ все стараніе, чтобъ привести въ порядокъ доставшійся ему списокъ: разобралъ книги по содержанію, снова исправиль тексть, и въ его редакции аристотелевы сочиненія распространились между учеными. Надобно думать, что Апелликону достались вмёстё съ оконченными сочиненіями и неоконченныя; по всей віроятности, было у Аристотеля и по нёскольку различныхъ списковъ одного сочиненія въ различныхъ передёлкахъ; вёроятно, были въ томъ числё извлеченія, черновыя бумаги и т. д. Одно изъ такихъ извлеченій, или черновыхь эскизовъ, по всей въроятности-и «Пінтика», дошедшая

до насъ. Этотъ разсказъ нѣкоторые ученые старались опровергнуть; но ихъ возраженія слабы, и онъ остается достовѣрнымъ. Итакъ, въ безпорядкѣ оставшіяся сочиненія Аристотеля, полусгнившія и источенныя червями, были два раза дополняемы и исправляемы. Можетъ ли послѣ этого подлежать сомнѣнію, что текстъ ихъ очень нуждается въ очищеніи и критическомъ исправленіи?

Действительно, аристотелевы сочинения дошли до насъ въ чрезвычайно безпорядочномъ видъ. Множество изъ нихъ погибло; другія неудачно составлены изъ безпорядочно собранныхъ частей, съ примёсью писанных на-черно эскизовъ, неоконченныхъ отрывковъ, извлеченій, подложныхъ отрывковъ. Чтобъ указать на разительный примъръ, напомнимъ о характеръ сборника, называющагося «Аристотелевой Метафизикой» и состоящаго изъ 14 книгъ. 2-я и 3-я изъ нихъ, по всей въроятности, не принадлежатъ Аристотелю; 1-я, если и принадлежить ему, то не имъетъ ничего общаго съ остальными. «Метафизика» начинается собственно только съ 4-й книги. 5-я также должна была составлять особенное сочинение и ошибочно введена въ составъ «Метафизики». За 4-ю по внутренней связи непосредственно должна следовать 6-я. 10-я — повтореніе 4-ой и 5-ой; это или извлеченіе, сділанное какимъ-нибудь читателемъ, или черновая рукопись, изъ которой произошли потомъ 4-ая и 5-ая книги; 11-ая и 12-ая заключають въ себъ много извлеченій изъ Аристотеля, съ прибавленіемъ чуждыхъ ему мыслей - он'в также сборникъ, сделанный однимъ изъ читателей. Итакъ, изъ 14 книгъ «Метафизики», собственно принадлежать Аристотелю и составляють связное сочинение только 4, 6, 7, 8, 9, 13 и 14 книги; остальныя--или составлены изъ черновыхъ бумагъ, или извлеченія и компиляціи, составленныя изъ аристотелевыхъ сочиненій другими учеными, и не должны входить въ составъ аристотелевой «Метафизики». Многія изъ такъ называемыхъ «аристотелевыхъ сочиненій» рішительно во всемъ своемъ составів только извлеченія, сдівланныя другими философами изъ его сочиненій; такъ, напримъръ, «Большая Этика» — извлеченіе изъ его «Этики для Никомаха»; «О мивніяхъ Ксенофана, Зенона и Горгія» — собраніе отрывковъ, въ которыхъ именно о Ксенофанъ и не говорится; «О направленіяхъ и именахъ в'втровъ»---отрывовъ изъ его сочиненія «О признакахъ бурь»; «Проблемы» — поздивищее извлечение изъ различныхъ его сочиненій; «Исторія животныхъ» въ 9 или 10 книгахъ

(подлинность одной подлежить сомнению) — отрывовъ изъ сочиненія, имевшаго по врайней мере 50 книгъ; однимъ словомъ, половина, если не больше, аристотелевыхъ сочиненій, уцелевшихъ отъ погибели, дошла до насъ не въ полномъ и не въ настоящемъ своемъ виде.

Поэтому нисколько не удивительно, если мы должны будемъ и «Пінтику» Аристотеля признать отрывочнымъ совращеніемъ, или черновымъ эскизомъ, въ которомъ текстъ довольно сильно искаженъ. Не будемъ пускаться въ мелкія доказательства испорченности и неполноты текста; они встречаются на каждомъ шагу: грамматическія ошибки, недомольки, безсвязность въ сочетаніи предложеній попадаются на каждой почти строкь; безпрестанно встрівчаются такія міста: «мы здісь должны разсмотрівть четыре случая», и разсматриваются только два или три изъ объщанныхъ четырехъ; такая критика, очень убъдительная для филолога, была бы непонятна безъ длинныхъ грамматическихъ объясненій. Взглянемъ только на начало и конецъ дошедшей до насъ «Пінтики»--и они ужь дають возможность судить о ея полнотв. Въ самомъ началь своего сочиненія Аристотель говорить, что содержаніемъ ея будуть: «эпопея, трагедія, комедія, диопрамбическая поэзія, авлетика и кинаристика» (различные роды лирической поэзіи съ музыкальнымъ аккомпаниментомъ), а въ дошедшемъ до насъ текств говорится только о трагедів, и очень мало объ эпопев. Ясно, что до насъ дошла только часть сочиненія. И действительно, по цитатамъ изъ «Пінтики» у другихъ писателей, мы знаемъ, что она состояла изъ двукъ (или даже трехъ) внигъ. Ясно, что до насъ дошла только часть первой книги, въ извлечении ли, сдёланномъ другими, или въ набросанномъ на-черно эскизъ. Оканчивается дошедшій до насъ тексть предложеніемь, въ которомь стоить соповъ необходимо требующій соотвітствующаго посліндующаго предложенія съ союзомъ де. Чтобъ дать понятіе о необходимости этого дополненія въ греческомъ языкі и незнающимъ греческаго явыка читателямъ, скажемъ, что соответствіе союзовъ ней и бе можно уподобить соответствию словь «сь одной стороны», «съ другой стороны», или «хотя—однако». Вообразимъ себъ, что текстъ русской книги оканчивается такими словами: «вотъ что съ одной стороны надобно сказать о трагедіи»... не ясно ли, что тексть этой книги остался безъ конца, и ближайшимъ продолжениемъ должны

были быть слова: «а съ другой стороны»... Подобнымъ образомъ оканчивается дошедшій до насъ греческій текстъ аристотелевой «Пінтики» *): ясно, что здёсь оканчивается только одно отдёленіе книги, и дальше слёдовало другое отдёленіе о другомъ родё по-эзіи—вёроятно, о комедіи.

Итакъ, основная мысль разсужденія г. Ордынскаго: «Пінтика Аристотеля дошла до насъ вполнів и тексть ея не нуждается въ исправленіи» едва ли можеть быть признана правдоподобною, а въ доказательство ея написанъ весь комментарій. Поэтому пользоваться имъ будеть неудобно.

Точно также и его переводъ аристотелева текста, вероятно, принесъ бы гораздо больше пользы, еслибъ не отличался столь же сильнымъ стремленіемъ къ оригинальности въ языкѣ, какъ отличается его комментарій стремленіемь къ оригинальности въ мивніяхъ. Изъ небольшихъ выписокъ, нами приведенныхъ, читатели, конечно, заметили, что г. Ордынскій перевель Аристотеля языкомь очень тяжелымъ и темнымъ. Мы не говоримъ чтобъ аристотелеву «Пінтику» прочла вся русская публика, какъ бы ни быль изященъ и легокъ языкъ перевода; но все-таки она въ изящномъ переводъ нашла бы довольно много читателей; а переводъ г. Ордынскаго едва-ли привлечеть многихъ; онъ испытаетъ участь очень дёльныхъ переводовъ Мартынова, которые остались ни квиъ не читаны — именно по темноть и тяжеловатости языка. Зачемъ же г. Ордынскій даль намъ такой неудобочитаемый переводъ, когда въ томъ же самомъ разсужденіи слогомъ своего комментарія показываеть онъ, что умбеть писать языкомъ очень понятнымъ и довольно легкимъ? Онъ говорить въ предисловіи, что старался перевести какъ можно ближе къ подлиннику-прекрасно! но, во-первыхъ, всему есть предёлы, и заботиться о буквальности перевода съ ущербомъ ясности и правильности языка, значить вредить самой точности перевода, потому что ясное въ подлинникъ должно быть ясно и въ переводъ; иначе къ чему же и переводъ? Во-вторыхъ, переводъ г. Ордынскаго, правда, очень близкій, вовсе, однакожь, не можеть назваться подстрочнымь: въ немъ очень часто два слова подлинника переводятся однимъ, одно-двумя словами, даже и тамъ, гдв можно было перевести слово въ слово. Не отступая отъ подлинника далее, нежели отступаетъ

^{*)} Περὶ μέν οὖν τῆς τραγφδίας εἰρήσθω τοσαῦτα.

г. Ордынскій, можно было дать переводь ясный и удобочитаемый Не слишкомъ стеснительная близость къ подлиннику, а оригинальныя понятія г. Ордынскаго о русскомъ слогі причиною недостатковъ его перевода. Онъ стремится къ какой то изысканной простонародности языка, умышленно не соблюдаеть правиль языка литературнаго, старается не употреблять словъ его, любить слова устарълыя или мало употребительныя. Къ чему это? Пишите, какъ всеми принято писать; и если у васъ есть живая сила простоты и народности въ слогъ, то она сама-собою, безъ всякой преднамъренной погони, придасть вашему слогу простоту и народность. Всякое преднамъренное стремленіе къ оригинальности имъетъ следствіемъ вычурность; и намъ кажется, что труды г. Ордынскаго сохраняя все свое неотъемлемое достоинство, будуть гораздо более читаемы и, следовательно принесуть гораздо более пользы, если онъ откажется отъ притязаній на оригинальность языка, різшительно ненужныхъ для ученаго.

Конечно, мы высказываемъ эти замъчанія только потому, что, уважая полезную дъятельность г. Ордынскаго, желаемъ его трудамъ пріобрътать больше и больше сочувствія въ русской публикъ. Простимся же съ нашимъ молодымъ ученымъ—конечно не надолго—съ желаніемъ, чтобъ русская литература навсегда сохранила въ немъ дъятеля по части греческой филологіи столь же добросовъстнаго и трудолюбиваго, какимъ былъ онъ до сихъ поръ.

ПЪОНИ РАЗНЫХЪ НАРОДОВЪ. Перевелъ Н. Бергъ. Москва. 1854.

Говорять, будто бы человекь не бываеть ничемь доволень. Действительно, такъ иногда случается, и нельзя не сказать, что въ избитой фразв о ненасытности человека, о безграничности его требованій есть своя доля правды, какъ есть своя доля правды во всемъ, что когда нибудь было или будеть сказано. Но гораздо более справедливости въ противоположной мысли, которая слышится не столь часто: человъкъ вообще чрезвычайно склоненъ къ самодовольству и, вследствіе того, къ довольству всемъ, что считаеть своимъ. Посмотрите, какъ неумфренно каждый народъ превозносить свое участіе въ исторіи, какъ ставить онъ себя первымь въ міръ народомъ! Для насъ, напримъръ, постороннихъ, и потому до высокой степени безпристрастныхъ врителей, забавно видеть, какъ французы почитаютъ первою въ мірѣ литературою свою литературу, англичане свою, нѣмпы свою; мало этого, даже итальянцы до сихъ поръ продолжають считать себя стоящими въ челв всемірнаго движенія, воображають, будто бы ихъ поэты и ученые-не Данте или Аріосто, не Джордано Бруно или Галилей, нътъ, современные, неважные ни для кого, кромъ самихъ итальянцевъ, поэты и ученыепервые двигатели умственнаго и нравственнаго міра. Посл'в этого дегко будеть опенить и степень основательности притязаній каждаго новаго поколенія на безусловную справедливость стремленій своего въка. Безпрестанно повторяется старая исторія присужденія греками награды тому человъку, который наиболье содыйствоваль побъдъ надъ Ксерксомъ: когда началась балотировка, каждый изъ присутствовавшихъ клалъ въ урну свое собственное имя. Мы не говоримъ, чтобы всв притязанія настоящаго покольнія на славу были несправедливы; мы даже не хотимъ решать и того, справедливы ли притязанія нашего времени на первенство надъ всёми предъидущими историческими эпохами, на безусловную справедливость того «духа вёка», который вёсть нынё. Мы только хотимъ сказать, что похвала изъ собственныкъ усть ненадежна, что самодовольство не ручается еще за справедливость и превосходство, что надобно ждать похвалы отъ другихъ, не опираясь на собственную, что истина не есть исключительная привиллегія одного какого нибудь поколёнія, и что полезнёе подвергать строгому по возможности анализу свои понятія о «собственныхъ достоинствахъ, нежели успокоивать свое самолюбіе фразами: «мы обладатели полной, всесторонней истины; всё наши предшественники ошибались; мы выше и лучше всёхъ; наши стремленія безусловно безошибочны». Любовь къ себё такъ сильна, что можеть нуждаться только въ разумномъ обузданіи, а не въ безотчетныхъ подстреканіяхъ.

Одно изъ любимыхъ обвиненій со стороны нашего въка противъ предъидущаго — «наши отцы и дѣды мало заботились о народности». Какъ полно прилагается теперь эта мѣрка самовосхваленія, напримѣръ, къ русской литературф! «Элементъ народности слабъ у Карамзина и Жуковскаго; потому содержаніе ихъ произведеній безконечно ниже того содержанія, какое находимъ въ современной литературф». Быть можеть и справедливо, что въ наше время литература развила въ себъ содержаніе болье высокое и живое, нежели какое влагалось въ нее нашими отцами; не хотимъ рышать этого вопроса, онъ можеть быть рышенъ только последующими покольніями, и для насъ было бы горько рышить его отрицательно. У кого поднимается рука на то, что кажется ему свонить? Но если трудно для насъ признаться, что мы ниже нашихъ отцовъ, что

«Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда, Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой, Ни геніемъ начатаго труда, И прахъ нашъ съ строгостью судьи и гражданина Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ»,

если намъ трудно отказаться отъ претензій на превосходство, то, быть можеть, не такъ тяжело для насъ взглянуть, дъйствительно ли наше превосходство основывается на тъхъ стремленіяхъ, которыя считаются отличительными чертами нашего въка и которыми такъ гордится нашъ въкъ.

Исключительное развитие племенныхъ особенностей и общечеловъчность-противуположные элементы; стремление къ одному изъ нихъ необходимо обращается въ ущербъ пристрастію къ другому. Въ окончательномъ результатъ, правда, народность развивается соразмірно развитію общечеловічности: только образованіе дасть индивидуальности содержаніе и просторъ; варвары всв сходны между собою; каждая изъ высоко-образованныхъ націй отличается отъ другихъ резко обрисованною индивидуальностью. Потому, заботясь о развитіи общечеловіческих вначаль, мы въ то же время содъйствуемъ развитію своихъ особенныхъ качествъ, хотя бы вовсе о томъ не заботились. Исторія всёхъ націй свидётельствуеть объ этомъ. Французскій характерь выработался чолько тогда, когда подъ древне-классическимъ, итальянскимъ и испанскимъ вліяніемъ развилось во Франціи общее образованіе: Рабле, Корнель и Мольеръчистые французы; между твмъ французскіе трубадуры и труверы чрезвычайно мало отличаются отъ среднев вковых в пвидовъ остальныхъ земель западной Европы. То же самое надобно сказать объ англичанахъ и нъмцахъ: Шекспиръ явился, когда все въ Англіи заботилось о древне-классической и итальянской литературахъ; Лессингъ, Гете и Шиллеръ были воспитаны не изучениемъ средневъковой поэзіи, а вліяніемъ древне-классической и англійской образованности и литературы. Развитіе самостоятельности идегь вследь за образованностью. Истина, по видимому, очень простая. О ней и не говорили сто или даже шестьдесять леть тому назадь. И мы не знаемъ, до какой степени следуетъ нашему времени гордиться тыть, что стало необходимо напоминать о ней.

Совершенно къ другому результату приводитъ то, когда преимущественное вниманіе обращается на развитіе содержанія спеціально принадлежащаго тому или другому народу. Эта племенная особенность не можетъ быть понимаема иначе, какъ сумма тъхъ особенностей, которыми извъстная нація на извъстной степени развитія отличается отъ остальныхъ народовъ, и преимущественно отъ образованныхъ народовъ, потому что, какъ мы говорили, необразованные народы существенно не отличаются другъ отъ друга. Заботясь о развитіи столь исключительнаго содержанія, необходимо становишься въ отталкивающее положеніе противъ общечеловъчныхъ элементовъ; временное и случайное проявленіе становится въ этомъ случав выше общаго начала, форма выше содержанія. Вмъсто

движенія превозносится застой, вмісто живаго духа начинаеть господствовать мертвая буква. Если мы захотыли найдти поразительный примерь всего этого въ ближайшихъ временахъ и земляхъ, мы должны были бы припомнить грустную исторію тевтономаніи, которая нанесла такъ много вреда блистательно начавшемуся возрожденію Германіи, которая заглушила благородныя стмена жизни, посъянныя императоромъ Іосифомъ II, Фридрихомъ Великимъ, Лессингомъ, Кантомъ, Шиллеромъ. Здёсь было бы неумёстно повторять исторію жалкаго нёмецкаго романтизма въ наукі и литературъ и выказывать его внутреннюю слабость и несообразность. Все это уже было красноръчиво высказываемо на русскомъ языкъ, и желающіе припомнить давно читанное, но въ последнее время позабытое многими, лучше всего сделають, если обратятся къ изученію тёхъ понятій, которыя были высказываемы въ эпоху Лермонтова и Гоголя. Возвращаясь къ примъру, нами представленному, укажемъ только на состояние нѣмецкой литературы въ настоящее время. Она наводнена переводами дюмасовскихъ романовъ. Вотъ къ чему привела тевтономанія: она, думая возвысить спеціальную самостоятельность въ литературъ, убила ее; трудами Шлегелей, Тика и т. д. нъмецкая литература приведена совершенно въ то же состояніе, отъ котораго избавили ее гуманическія усилія Лессинга; разница разв'в только въ томъ, что въ нынашній разъ упала она гораздо ниже того уровня, на которомъ стояла до Лессинга, въ эпоху Виланда, Такое печальное следствие необходимо, и объясняется очень просто. Забота объ оригинальности губитъ оригинальность; истинно самостоятелень только тоть, кто и не думаеть о возможности быть не самостоятельнымъ. Толкуетъ объ энергіи своего характера только слабохарактерный, боится подчиняться чужому вліянію только тоть, кто чувствуєть, что его легко подчинить. Прочно мы владеемъ только темъ, чего не боимся потерять. Итакъ хлопоты о самостоятельности служать уже признакомъ отсутствія самостоятельности. Сознательная забота объ оригинальности есть забота о формъ. У кого есть содержаніе, тотъ не будеть хлопотать, чтобь отличиться оригинальностью. Онъ не можеть не быть оригиналенъ, потому и не думаетъ объ этомъ. А забота о формъ приводить къ пустоть и ничтожности. За ничтожностью следуеть подчиненіе.

Поклоненіе народной поэзіи болье всего основывается на по-

добныхъ заботахъ о томъ, чтобы «литература прониклась своеобразнымъ содержаніемъ». Высказанныя нами убіжденія достаточно свидътельствують, что мы не увлекаемся безпредъльнымъ пристрастіемъ къ народнымъ пізснямъ. Мы не думаемъ ставить, какъ это дълаютъ многіе, цыганскаго хора выше оперы или концерта. «Ай, вдоль по улицъ молодчикъ идетъ» выше моцартовской или россиніевской аріи, не считаемъ «Древнихъ Русскихъ Стихотвореній» Кирши Данилова выше «Стихотвореній Пушкина». Намъ кажется, что послѣ всего сказаннаго, исключительные почитатели народной поэзіи, въ томъ числе и г. Бергъ, могутъ упрекнуть насъ въ холодности къ ней, и никто не причислить насъ къ ихъ разряду. Итакъ, если въ продолжении нашей статьи мы должны будемъ высказать о достоинствахъ народной поэзіи сужденія, которыя для незнакомыхъ съ нею близко могутъ показаться слишкомъ высокими, то читатели могуть быть увърены, что высокое уважение къ народной поэзіи вызывается въ насъ только требованіями справедливости, а не безотчетнымъ пристрастіемъ и никакими нибудь посторонними соображеніями, какъ это часто бываеть.

Отношеніе народныхъ пісенъ къ произведеніямъ письменной литературы почти совершенно соответствуеть отношенію періода, въ которомъ онв развиваются, къ характеру последующаго развитія народа. «Крайне трудно опредълить - говорить г. Бергь-при «какихъ именно условіяхъ является хорошая пъсня у народа. Если скажуть: у народа, способнаго къ литературъ - можно указать случаи, гдъ хорошая пъсня является вовсе не у литературнаго народа. Если скажуть: у благоденствующаго-и туть можно найти опровержение, и выставить случаи, гдъ неблагоденствие какъ будто помогаетъ явленію лучшей пісни. Новая Греція тогда запівла свои прекрасныя клефтическія песни, когда нагрянули турки, и внесли въ Морею смерть и опустошение. Можетъ быть, нътъ ничего столь прихотливаго какъ пъсня». Совершенно справедливо, что степень развитія народной поэзіи у изв'єстнаго народа не опред'єляется ни последующимъ богатствомъ его литературы, ни его благоденствіемъ. Но самъ г. Бергъ опредвляетъ время процевтанія народной поэзіи. говоря: «всегда движеніе цивилизаціи уничтожало п'єсню. Являясь у народа младенчествующаго, но чуткаго къ своему слову (?), пъсня впоследствии заменялась произведениями отдельных в лиць. Простой человъкъ терялъ къ ней привязанность и забывалъ ее для новыхъ

романсовъ». Итакъ, народная поэзія принадлежить спеціально младенческому періоду народной жизни. Этого общепринятаго опрелъленія однако недостаточно. Не у всёхъ младенчествующихъ народовъ есть прекрасная и богатая народная поэзія. Чёмъ же обусловливается ея разцевтъ? Энергіею народной жизни. Только тамъ являлась богатая народная поэзія, гдё масса народа (нёть надобности прибавлять, что слово народа мы здесь принимаемъ въ смысле націи, племени, говорящей однимъ языкомъ) волновалась сильными и благородными чувствами, гдъ совершались силою народа всякія событія. Такими періодами жизни были у испанцевъ войны съ маврами, у сербовъ и грековъ войны съ турками, у малоруссовъ войны съ поляками. Проследимъ ближе характеръ младенчествующаго народа, чтобы справедливымъ образомъ оценить достоинство произведеній, выражающихъ понятія и высказывающихъ жизнь того времени; потомъ взгланемъ на причины паденія народной поэзіи, чтобы видъть, почему не удовлетворяется ею народъ, какъ скоро начинають пивилизоваться.

Одинъ изъ величайшихъ мыслителей нашего въка высказалъ идею о томъ, что высшая степень развитія по формъ совпадаеть съ совершенною неразвитостью; существенно отличаясь отъ нея содержаніемъ. Въ приложеніи къ исторіи такая идея оказывается совершенно справедливою. Мы видимъ теперь, что конечный результать исторического развитія состоить въ теснейшемь сближеніи всёхъ членовъ націи въ одно плотное духовное цёлое. Таково же положеніе людей до начала цивилизаціи. Все младенчествующее племя проникается совершенно одинаково духовною жизнью. Въ народъ необразованномъ масса понятій такъ незначительна, что семейныя преданія, патріархальныя наставленія старшихъ въ семействъ совершенно достаточны для того, чтобы познакомить каждаго изъ членовъ патріархальнаго общества со всею массою идей и познаній, вращающихся въ обществъ. Нъсколько наблюденій надъ свойствами травъ, нёсколько правилъ относительно обращенія съ больнымъ или раненымъ, --- и патріархальный человікъ постигь всю премудрость отечественной медицины; несколько имень самыхъ яркихъ звездъ и созвездій, —и патріархальный человекь знаеть все, что извъстно его соплеменникамъ объ астрономіи. То же самое должно сказать относительно удобствъ и образа жизни. Ихъ такъ мало, что самые могущественные, самые богатые члены патріархаль-

наго общества живуть почти совершенно также, какъ и вся масса народа. Вспомнимъ о гомеровыхъ герояхъ, которые сами готовятъ кушанье, которыхъ жены и дочери сами ткуть и шьють платье, сами его моють. Неразделенные отъ остальной массы населенія ни привычками къ особенному образу жизни, ни степенью образованности, высшіе классы общество сливаются съ другими въ одно цвлое, неразрывное по своимъ чувствамъ и стремленіямъ. Не отталкиваемая различіемъ понятій и образа жизни изъ постоянныхъ и домашнихъ соотношеній съ могущественнівшими членами общества, остальная масса не принуждена сознавать своего ничтожества. Напротивъ, каждый членъ племени проникнутъ чувствомъ собственнаго достоинства. Оно всегда сильно развито въ младенчествующемъ обществъ. Удобствъ жизни почти совершенно не существуетъ; вев привыкли довольствоваться самымъ простымъ удовлетвореніемъ первъйшихъ жизненныхъ потребностей. Потому нищета и соединенныя съ нею чувства замічаются різдко. Въ сущности всі біздны, но этого никто не сознаеть, никто этимъ не тяготится. Общественныя отношенія таковы, что масса населенія принимаеть непосредственное участіе въ ділахъ (вспомнимъ о характерів общественнаго устройства у германцевъ и славянъ при ихъ появленіи въ исторіи); національные вопросы такъ просты и близки къ выгодамъ каждаго, что каждый членъ племени вполнъ понимаеть ихъ и принимаеть въ нихъ самое живое участіе. Въ самомъ діль, вопросы эти ограничиваются нападеніями на соседей для грабежа или защитою собственнаго имущества отъ раззореній. Однимъ словомъ, вся масса народа составляеть однообразное целое, въ которомъ каждый отдъльный членъ совершенно подобенъ другимъ. При всеобщности чувства собственнаго достоинства, патріархальное общество вообще проникнуто какою-то нравственною возвышенностью; при всеобщей самостоятельности и участіи въ національныхъ делахъ, каждый членъ его представляется мыслителемъ, мудрецомъ; вообще, каждый привыкъ жить умственно и нравственно, привыкъ имъть какую-то возвышенную, благородную настроенность духа. Кромф того, помалочисленности развитыхъ потребностей, по самой малочисленности способовъ пріискивать имъ удовлетвореніе, по многимъ другимъ обстоятельствамъ, у каждаго остается очень много времени, свободнаго отъ физическихъ работъ. Такимъ образомъ у народа, находящагося на степени патріархальности, существують всв условія

поэтическаго настроенія духа, и нужно только, чтобы какія нибудь событія возбудили энергію въ народь, дали пищу въ его нравственной жизни, тогда необходимо возникаеть могущественная народная поэзія. Мы говорили, что умственная и нравственная жизнь для всъхъ членовъ такого народа одинакова, потому и произведенія поэзіи, порожденной возбужденіемъ такой жизни, одинаково близки и понятны, одинаково милы и родственны всёмъ членамъ народа.

Итакъ народная поэзія возникаеть при отсутствіи рѣзкихъ различій въ умственной жизни народа, и теснейшимъ образомъ связана съ патріархальнымъ бытомъ. При выході изъ этого быта, при самомъ началъ цивилизаціи, народъ распадается на различныя подраздёленія, изъ которыхъ каждое отличается оть остальныхъ степенью образованности, образомъ жизни и т. д. Это-первое явленіе въ исторіи народнаго развитія. Имъ разрушаются всв условія существованія общенародной поэзіи. Здравый смысль едва ли допускаеть идею о томъ, что необходимость цивилизаціи нуждается въ доказательствахъ, что неизмфримое превосходство цивилизованнаго быта надъ варварскимъ или полуварварскимъ можетъ подлежать сомивніямъ. Но какъ и все на землю, развитіе цивилизаціи сопровождается не одними выгодами. Какъ первые лучи солнца озаряють только вершины горь, и проходить долгое время, пока они достигнутъ низменныхъ долинъ, такъ и цивилизаціею сначала проникаются одни только могущественнъйшіе, высшіе члены общества. Большинство остается въ прежнемъ быть. Мало того; время и силы его все более и боле поглощаются чисто физическимъ трудомъ. Всв условія поэтической настроенности исчезають; нать и содержанія для народной поэзіи съ твхъ поръ, какъ масса народа перестала быть живою и сознательною участницею національныхъ предпріятій. Народная поэзія увядаеть и гибнеть.

Нътъ сомивнія, что съ этой чисто литературной точки зрънія цивилизація можетъ представляться въ невыгодномъ свътъ. Потомуто приверженцы поэзіи, принадлежащей патріархальному быту, могуть быть и часто бывають возбуждаемы къ непріязни противъ цивилизаціи соображеніями, вытекающими изъ благороднаго образа мыслей. Тъмъ не менъе ихъ понятія никогда не могуть заслужить одобренія. Они существенно ошибочны.

Люди, познакомившіеся съ выгодами и прелестью цивилизаціи, никакимъ образомъ не могуть быть приведены къ тому, чтобы от-

казаться отъ нея. Ихъ отвётъ всегда будетъ одинъ и тотъ же: «вкусивъ сладкаго, мы отвратились отъ горькаго»; и потому всё сожаленія о паденіи патріархальнаго быта и, чтобы спеціальне говорить о нашемъ предмете, объ увяданіи народной поэзіи, совершенно безполезны.

Существенныя качества народной поэзіи, достойной своего имени, очевидны изъ качествъ народа, которому она принадлежитъ, изъ обстоятельствъ ея происхожденія и роди, какую играеть она въ народной жизни. Народная поэзія развивается только у народовъ энергическихъ, свъжихъ, полныхъ кипучей жизни, искренности, достоинства и благородства. Потому она всегда полна свъжаго, энергическаго, истинно поэтическаго содержанія. Она всегда возвышенна, цвломудренна, если можно такъ выразиться, чиста, проникнута всеми началами прекраснаго, которые вполне развиваются въ чедовъкъ, правда, только цивилизаціею, но которые, однако же, лежать въ сущности нашей нравственной организаціи, потому инстинктивно владычествуеть человекомъ, если онъ не испорченъ неблагопріятными обстоятельствами. Она принадлежить цівлому народу, потому чужда всякой мелочности и пустоты, которой въ неиспорченномъ народъ можеть поддаваться только отдъльный человъкъ, а не цълая масса; она вообще полна жизни, энергіи, простоты, искренности, дышеть нравственнымь здоровьемь. Каково ея содержаніе, такова и форма ея: проста, безъискуственна, благородна, энергична. Г. Бергъ говоритъ: «Первое, почему народная прсня заслуживаеть вниманія образованнаго человека, есть достоинство ея языка, свежаго, яркаго, неискаженнаго чуждымъ вліяніемъ». Мы совершенно согласны, что она обладаеть этимъ достоинствомъ, но думаемъ, что оно въ ней уже второстепенное, какъ всв достоинства формы въ произведеніяхъ поэзіи вообще, и само есть следствіе свежести, яркости и самостоятельности ея содержанія. Такимъ образомъ въ народной поэзіи мы находимъ несравненно высшее достоинство, нежели какое указываеть даже г. Бергъ, ея страстный поклонникъ.

Чрезвычайно высокое поэтическое достоинство народной поэзіи обнаружилось для всёхъ знающихъ людей съ тёхъ поръ, какъ до-казано было, что гомеровы поэмы не болёе, какъ сборники народныхъ греческихъ пёсенъ; точно также прекрасное твореніе Фирдуси, иранская «Книга царей», только сборникъ и передёлка на-

родныхъ песенъ. Въ ней много есть эпизодовъ, подобныхъ которымъ по красотв не найдется даже въ «Иліадв» и «Одиссев». Прекрасные романсы о Сидъ также показываютъ, что не однимъ грекамъ досталось на долю развить чудную народную поэзію. Но мы можемъ указать примеры еще более близкіе къ намъ. Сербскія эпическія п'ясни прекрасны не мен'я греческихъ. Жалбемъ, что не можемъ на этотъ разъ воспользоваться книгою г. Берга, у котораго не находимъ достойныхъ эпическихъ пъсенъ, и потому принуждены для доказательства нашихъ словъ представить въ жалкомъ прозаическомъ переводъ одинъ изъ отрывковъ несравненно прекрасной сербской эпопеи. Для примъра мы выбираемъ пъсни о косовской битв (1389 г.), въ которой погибло сербское войско, погибъ князь сербскій Лазарь, которая на четыре въка предала-Сербію во власть турокъ. Для объясненія собственныхъ именъ довольно будеть сказать, что князь Лазарь быль женать на Милицъ. дочери Юга-Богдана, у котораго было девять сыновей (девять Юговичей), что Вукъ Бранковичъ, первый сербскій вельможа, передался на сторону турокъ, и что въ одной изъ песенъ представляется, будто бы онъ передъ битвою старался оклеветать лучшаго воина сербскаго, Милоша Обилича, который действительно потомъ пожертвоваль собою въ битвъ для того, чтобы убить Мурата, успъль заколоть его и быль туть же изрублень его телохранителями. Наконець заметимь, что у сербовъ есть обычай побратимства (братства по оружію). Побратимство такая же кринкая и тисная связь, какъ родство по крови. Побратимы неразлучны на жизнь и смерть. Три главные богатыря или юнака-Милошъ Обиличъ, Иванъ Косанчичъ и Топлица Миланъ-побратимы.

«Султанъ Муратъ идетъ на Косово поле: пришедши, пишетъ онъ письмо и посылаетъ его въ городъ Крушевецъ, къ сербскому князю Лазарю: «Лазарь, сербскій князь! Никогда не бывало и не можетъ быть, чтобъ въ одной землъ были два господина, чтобы одинъ подданный давалъ двъ дани. Мы не можемъ оба царствовать. Пришли же мнъ ключи и дань, золотые ключи отъ всъхъ городовъ, и дань за семь лъта впередъ. А если не пришлешь, выходи на Косово поле, и подълимъ саблями землю». Получилъ Лазарь письмо, читаетъ его, а самъ крупными слезами плачетъ.

«Вотъ какое заклятье наложиль князь Лазарь: «кто не пойдетъ на бой на Косово, пусть не родится ничто отъ рукъ его, ни на полъ бълая пшеница, ни въ виноградникъ лоза»!

«Пиръ пируетъ сербскій князь Лазарь, въ Крушевць, крыпкомъ городь, Всехъ господъ и детей господскихъ посадиль онъ за столь: по правую руку стараго Юга Богдана (своего тестя), и подле него девятерыхъ Юговичей (его сыновей, своихъ шурьевъ); а по левую руку Вука Бранковича (знатнъйшаго изъ вельможъ) и всъхъ остальныхъ господъ по порядку; а на конецъ стола воеводу Милоша (славивишаго богатыря) и подле него двухъ другихъ воеводъ, Ивана Косанчича и Топлицу Милана. Береть царь золотой кубокъ вина и говорить сербскимъ господамъ: «За чье здоровье пить мив этотъ кубокъ? Если по старшинству, то за стараго Юга Богдана; если по вельможеству, за Вука Бранковича; если по родству, за моихъ девятерыхъ шурьевъ, Юговичей; если по красотъ, за Ивана Косанчича; если по росту, за Топлицу Милана; если по богатырству за воеводу Милоша. Ни за кого другого не стану же я пить, выпью за здоровье Милоша Обилича: Твое здоровье, Милошъ, върный и изменникъ! Прежде верный, а потомъ изменникъ! Завтра выдащь ты меня на Косовомъ пол'в, и переб'вжищь къ турецкому царю Мурату, Твое здоровье! Пей же вино! отдаю теб'я кубокъ> Вскавиваетъ Милошъ на легкія ноги и кланяется до черной земли. «Благодарю тебя, славный князь Лазарь, благодарю тебя за твой тость, за твой тость и подарокь, только не благодарю тебя за такую речь. Клянусь жизнью, никогда не бываль я изменникомъ, не бываль и никогда не буду. Нёгь, завтра на Косовомъ полё хочу я умереть за христіанскую веру. Изменникь сидить подле тебя; это проклятый Вукъ Бранковичъ. Завтра мы увидимъ на Косовомъ поль, кто въренъ, а кто измънникъ. Клянусь я Богомъ великимъ, заръжу я завтра на Косовомъ полъ турецкаго царя Мурата, стану на горло ему ногою. А если дасть мив Богь и счастье мое воротиться живымъ въ Крушеведъ, схвачу я Вука Бранковича, привяжу его въ боевому копью, какъ баба кудель на пряслицу, и отнесу его на Косово поле».

Какая чудная сцена! Изм'внникъ Вукъ старается поколебать ув'вренность князя въ преданности лучшаго богатыря; князь в'вритъ клевет ви говоритъ богатырю:

- Теперь ты сталь изменникомъ, но, все-таки, пью за твое здоровье!
- Завтра мы увидимъ, измѣнникъ ли я, отвѣчаетъ богатырь. Послѣ этого Милошъ посылаетъ своего побратима, Ивана Косанчича, осмотрѣть турецкій лагерь, высмотрѣть, гдѣ шатеръ Мурата.
- Ну что, много ли войска у турокъ, можемъ ли мы съ ними биться? Можемъ ли побъдить турокъ? спрашиваетъ Милошъ его по возвращении.
- Сильное войско у турокъ, братъ мой Милошъ Обиличъ! Если бы мы всё обратились въ соль, не осолили-бъ о насъ рукъ турки. Иятнадцать дней ходилъ я по турецкому стану, не нашелъ ему края. Отъ мрамора до сухого явора, отъ явора до Сазліи, отъ Сазліи до желёзнаго моста, отъ желёзнаго моста до Звечана, отъ Звечана до чечана, отъ Чечана до горнаго хребта все покрыто турецкимъ войскомъ: конь стоитъ плотно къ коню, человёкъ къ человёку. Если бы съ неба упала крупа, не упала бы она нигдѣ на землю, а вездѣ на добрыхъ коней и людей.
- Гдъ же шатеръ царя Мурата. Я поклялся князю заколоть турецкаго царя Мурата, стать ему ногой на горло.
- Безумство это, милый побратимъ! Если-бъ у тебя были соколиныя крылья, и упалъ бы ты съ неба на Мурата среди его сильной стражи, не унесли бы и крылья твоего тёла.
- Ну, Иванъ, милый братъ, не говори же ты этого князю, чтобъ не испугать князя и войска. А скажи ты князю: довольно войска у турокъ, но можно съ ними намъ сразиться, и легко ихъ побъдить; не боевое у нихъ войско, а все старики и малолътки, не видавшіе боя; а какое войско у нихъ и было, то богатыри перемерли отъ тяжкихъ бользней, а добрые кони отъ мора.

«Сидитъ Лазарь за ужиномъ, подлв него царица Милица. И говоритъ ему царица: «Царь Лазарь! завтра ты идешь на Косово поле, ведешь съ собою слугъ и воеводъ, а дома не оставляещь ни одного мужчины, который бы могъ отнести письмо къ тебв на Косово поле и воротиться назадъ (ко мнв съ вестью о тебв). Уводишь ты девятерыхъ моихъ братьевъ, девятерыхъ Юговичей: оставь внв хоть одного брата, заклинаю тебя». Говоритъ ей сербскій князь

Лазарь: «Госпожа моя, царица Милица! котораго же изъ братьевъ угодно тебъ выбрать, чтобъ я останиль его дома?»---«Оставь мнъ Бошко Юговича». Тогда сказалъ сербскій князь Лазарь: «Госпожа моя, царица Милица! Когда завтра настанеть белый день и взойдеть солнце, и когда отворятся городскія ворота, выходи ты къ воротамъ. Черезъ нихъ строемъ пойдутъ войска. Побдутъ всадники съ боевыми копьями, а впереди ихъ Бошко Юговичъ, онъ несеть крестоносное знамя. Скажи ему оть меня разрёшенье и просьбу, чтобъ онъ отдалъ кому нибудь знамя, а самъ остался дома съ тобою». Когда назавтра разсвело утро и отворились городскія ворота, вышла царица Милица, стала она у воротъ, и пошли строемъ войска. Повхали всадники съ боевыми копьями, впереди ихъ Бошко Юговичъ; на конт онъ, весь въ чистомъ золотв; освнило его крестоносное знамя, свесилось оно до коня; на знамени золотыя яблоки, на яблокахъ золотые кресты, отъ крестовъ висять кисти, разстилаются по плечамъ Бошко. Бросилась къ нему царица Милица, схватила за узду коня, обвилась руками около шеи брата и стала ему тихо говорить: «Брать мой, Бошко Юговичъ! Царь тебя отдалъ мив, чтобъ не ходилъ ты на бой на Косово поле; сказалъ тебъ разръшенье и просьбу, чтобъ отдалъ ты кому-нибудь знамя, остался со мной въ Крушевцъ, вымолила я себъ брата». Но говоритъ Бошко Юговичъ: «Ступай сестра на облую башию, а я съ тобой не ворочусь, и не отдамъ изъ рукъ крестоноснаго знамени, хоть бы царь дарилъ мив Крушевецъ. Нетъ; тогда скажеть остальная дружина: «Смотрите, какой трусь Бошко Юговичъ! Онъ не смъетъ идти на Косово поле пролить кровь за крестъ честный и умереть за свою въру!» И погналъ онъ коня въ ворота. Вотъ едетъ старый Югь-Боганъ и за нимъ семь Юговичей. Всехъ семерыхъ останавливала она одного за другимъ: ни одинъ и слушать не хочетъ. И вотъ следомъ едетъ Воинъ-Юговичь (т. е. послюдній брать). Схватила она за поводь его коня, обвилась руками около его шеи и сталя ему говорить: «Братъ мой Воинъ-Юговичъ! Царь отдалъ тебя мет, и сказалъ, чтобъ ты остался со мною въ Крушевцъ». Говорить ей Воинъ-Юговичь: «Ступай, сестра, на бълую башню: не ворочусь я съ тобою, хотя бы зналъ, что погибну. Иду я, сестра, на Косово поле пролить кровь за крестъ честный и умереть за свою веру съ братьями». И погналь онъ коня въ ворота. Когда то увидела царица Милица, упала она на холодный камень, упала и лишилась чувствъ. Тутъ ъдеть князь Лазарь. Полились у него слезы по лицу; озирается онъ направо и налъво и кличеть слугу Голубана. «Голубанъ, върный мой слуга! Сойди ты съ коня, возьми госпожу на бълыя руки, отнеси ее на высокую башню. И приказываю тебъ именемъ Божінмъ: не ходи ты на бой на Косово поле, а останься дома съ нею». Когда то услышаль слуга Голубань, полились у него слезы по былому лицу (оттого что не можеть онь идти на бой); сошель онь съ коня, взяль госпожу на бълыя руки, отнесь ее на высокую башню. Но не можеть онъ одольть своего сердца, чтобъ не идти на бой на Косово поле. Воротился онъ къ своему коню, съть на него, повхаль на Косово. Когда назавтра разсвъло утро, прилетъли два ворона съ Косова поля широкаго и съли на бълую башию, на башию князя Лазаря; одинъ каркаетъ, другой говорить: «Это ли башня славнаго князя Лазаря? Или ужь нътъ въ ней никого?> Никто въ баший того не слышалъ, слышала только царица Милица; она вышла изъ бѣлой башии, спрашиваетъ двухъ вороновъ: «Ради Бога, скажите, два ворона, откуда вы полетели ныне? Не съ Косова ли поля? Не видалиль два сильные войска? Сразились ли войска? и чье войско победило?» Говорять ей два ворона: «Богь свидътель, царица Милица, нынъ утромъ полетъли мы съ Косова поля. Видъли мы два сильныя войска; сразились войска; оба царя погибли; изъ туровъ кое-кто и остался; а изъ сербовъ кто и остался, всв переранены, перекровавлены». Они это еще говорили, какъ вдеть слуга Милутинъ, держить онъ правую руку въ лъвой, на немъ семнадцать ранъ, весь конь подъ нимъ въ крови. Говорить ему госпожа Милица: «Что, неверный слуга Милутинъ? Или выдаль ты царя на Косовомъ полъ?» Но говоритъ слуга Милутинъ: «Сними меня, госпожа, съ богатырскаго коня, умой меня холодной водою, примочи мои раны краснымъ виномъ; изнемогъ я отъ тяжкихъ ранъ». Сняла его царица Милица, умыла его студенною водою, примочила его раны краснымъ виномъ. Когда онъ сталъ приходить въ память, спрашиваеть его госпожа Милица: «Что было, слуга мой, на Косовомъ поль? Гдь погибь славный князь Лазарь? Гдь погибь старый Югь-Богданъ? Гдв погибли девять Юговичей? Гдв погибъ Милошъ воевода? Гдв погибъ Вукъ Бранковичъ? Гдв погибъ Бановичъ-Страхиня?» И началъ слуга сказывать: «Всѣ легли, госпожа, на Косовомъ поль. Гдь погибъ славный князь Лазарь, тамъ много наломано копій, много копій и турецкихъ и сербскихъ, но больше сербскихъ, нежели турецкихъ, защищая, госпожа, своего князя. А Югь, госпожа, погибъ въ началѣ, въ первомъ бою. Погибли восемь Юговичей, не выдавая братъ брата. Остался лишь Бошко-Юговичъ; развѣвается его крестоносное знамя по Косовому полю, еще разгоняетъ онъ турецкія толпы, какъ соколъ стадо голубей. Гдѣ стоитъ кровь по колѣно, тамъ погибъ Бановичъ-Страхиня. Милошъ, госпожа моя, погибъ у Ситницы, у воды студенной, гдѣ погибло много турокъ. Милошъ убилъ турецкаго царя Мурата и двѣнадцать тысячъ турокъ. Богъ да спасетъ его мать и отца! Онъ оставилъ по себѣ память сербскому народу, такъ что будутъ о немъ говорить, пока будутъ на свѣтѣ люди и Косово поле. А что спрашиваешь ты о проклятомъ Вукѣ, прокляты да будутъ и мать и отецъ его! Онъ измѣнилъ царю на Косовомъ полѣ, и отвелъ къ туркамъ, госпожа моя, двѣнадцать тысячъ латниковъ».

«Рано вышла въ поле косовская девушка, вышла рано, до восхода солнца. Засучила бълые рукава до бълыхъ локтей; на плечахъ несеть былый хльбъ, въ рукахъ двъ золотыя чаши; въ одной чашв холодная вода, въ другой красное вино. Идеть она, молодая, на косовскую равнину, ходить по месту битвы и переворачиваеть юнаковъ, лежащихъ въ крови; котораго юнака найдетъ живымъ, умываеть его холодною водою, поить его враснымъ виномъ, кормить хивбомъ. И дошла она до юнака Павла Орловича, до молодого княжескаго знаменоносца, и нашла его живымъ. Отсъчена у него правая рука, и лѣвая нога до колѣна, и переломлены у него ребра, видны у него легкія. Поднимаеть она его изъ глубокой крови, умываеть его холодною водою, поить его краснымъ виномъ, кормить его бёлымъ хлебомъ. Когда въ юнаке забилось сердце, говорить Павелъ Орловичъ: «Милая моя сестра, косовская дівушка! Что у тебя за великая нужда, что осматриваешь ты въ крови юнаковъ? Кого ты ищешь на мъсть битвы? брата или племянника или родного отца?» Говорить косовская дівушка: «Милый брать мой, незнакомый воинъ! Не ищу я никого изъ родныхъ, ни брата, ни племянника, ни стараго отца. А знаешь ли ты, незнакомый воинъ, когда у князя Лазаря причащали войска около прекрасной Самодержской церкви три недвли, тридцать калугеровъ (старыхъ мона-

ховъ)? Причастились всв сербскія войска, а послі всяхъ три боевые воеводы, одинъ Милошъ воевода, другой Иванъ Косанчичъ. третій Топлица Миланъ. Я въ то время стояла въ воротахъ, когда шелъ воевода Милошъ. Красавецъ юнакъ! Волочится у него сабля по земль, шелковая на немъ шапка, кованое перо (т. е. серебряное, на шапкъ), пестрый на немъ плащъ, около шеи шелковый воротникъ. Озирается онъ и глядить на меня, снимаеть съ себя пестрый плащъ, снимаеть съ себя и даеть мев. «Возьми, дввушка, пестрый плащъ; по немъ и по имени моемъ вспомни ты меня. Я иду, моя душа, на смертный бой. Молись Богу, моя душа, чтобъ воротился я здоровъ съ боя: тогда и тебъ будетъ доброе счастье: возьму тебя въ жены своему побратиму Милану, а самъ буду у тебя свадебнымъ провожатымъ». За нимъ идетъ Иванъ Косанчичъ; прекрасный юнакъ! Волочится у него сабля по землъ (слъдуетъ прежнее описаніе), на рукъ у него позолоченый перстень. Озирается онъ и глядить на меня, снимаеть съ руки золоченый перстень, скидаетъ съ руки и отдаетъ мив: «Возьми, дввушка, золоченый перстень! По немъ и по имени моемъ найдешь ты меня (следуеть повторение прежнихъ словъ). Возьму тебя въ жены своему побратиму Милану, а самъ буду у тебя дружкою». За нимъ идеть Топлица Миланъ. Красавецъ юнакъ! Волочится у него сабля по земль, шелковая на немъ шапка, кованое перо, пестрый на немъ плащъ, около шеи шелковый воротникъ, на рукъ у него золотое кольцо. Озирается онъ и глядить на меня, съ руки снимаеть золотое кольцо, снимаеть съ руки и даеть мив: «Возьми, дввушка, золотое кольцо, по кольцу и по имени моемъ вспомни меня: я иду на смертный бой, душа моя; молись Богу, милая душа моя, чтобы воротился я здоровь съ боя. Тогда тебь, душа, бъдеть доброе счастье: возьму я тебя себв вврною подругою». И «ушли три боевые воеводы. Ихъ я теперь ищу по мъсту битвы». И говорить Павелъ Орловичъ: «Дорогая сестра, косовская девушка! Видишь ли душа моя, гдь лежать боевыя копья наломаны густо и высоко? Тамъ текла юнацкая кровь доброму коню до стремени и до повода, юнаку до шелковаго пояса. Тамъ погибли всъ трое они. Иди ты домой, не кровавь рукавовъ и платья». Когда девушка выслушала эту речь. полились у нея слезы по бълому лицу; пошла она домой, рыдая бълою грудью: «бъдная я! несчастная я! Если до зеленой сосны дотронусь я, несчастная, и зеленая сосна посохнеть!>

Предесть содержанія и художественная полнота формы одинаково совершенны въ этихъ превосходныхъ пъсняхъ. Читатели позволятъ намъ привести еще одинъ примъръ изъ цикла нашихъ эпическихъ сказаній о Владиміръ. Былина, извлеченіе изъ которой мы хотимъ представить здъсь, записана г. Фаворскимъ и напечатана въ «Прибавленіяхъ къ І тому Извъстій II Отдъленія Академіи Наукъ». Мы позволяемъ себъ держаться обыкновеннаго правописанія, чтобы не шокировать глаза читателей непривычными формами.

У князя Володимера пиръ; навышись въ полсыта, напившись въ полпьяна, бояре начинаютъ хвастаться другъ передъ другомъ:

въ полсыта бояре навдалися, въ полпьяна бояре напивалися, промежь себя бояре похвалялися: сильн-отъ хвалится силою, богатый хвалится богатествомъ. купцы-то хвалятся товарами, товарами хвалятся заморскими; бояре-то хвалятся поместьями, они хвалятся вотчинами. Одинъ только не хвалится Данило Денисьевичь. Туть возговорить самь Володимірь внязь: Охъ ты гой еси, Данилушко Денисьевичь, еще что ты у меня ничёмъ не хвалишься? Али нечемъ те похвалитися? али нёть у тебя золотой казны, али нътъ у тебя молодой жены, али нътъ у тебя платья цвътного? Отвътъ держитъ Данило Денисьевичь: Ужъ ты батюшка нашъ, Володиміръ князь! есть у меня золота казна, еще есть у меня и молода жена, еще есть у меня и платье пвътное. Нечто такъ я это призадумался. Тутъ пошолъ Данило съ широка двора.

Интродукція прекрасна. Тотчась по уході Данила Денисьевича, князь Володиміръ совітуется съ боярами о выборів жены. Мишаточка Путятинъ сынъ говорить, что нигдів не находить онъ невісты, достойной князя; одна только Василиса Никулишна, жена Данила Денисьевича, достойна быть супругою князя.

— Гдѣ же это видано, гдѣ слыхано, отъ живого мужа жену отнять? грозно говорить Владиміръ.

И велить казнить коварнаго советника.

Но Мишаточка Путятинъ сынъ объясняетъ князю свой планъ отдълаться отъ Данила Денисьевича:

Мы Данилушку пошлемъ во чисто поле, во тѣ ли луга леванидовы, мы ко влючику пошлемъ ко гремячему, велимъ поймать птичку бѣлогорлицу, принести ее къ обѣду княжнецкому, что еще убить ему льва лютаго, принести его къ обѣду княженецкому.

Данило погибнетъ при исполненіи такого порученія. Владиміру понравилось это предложеніе. Всё модчатъ, но старый козакъ Илья Муромецъ не скрываетъ своего неодобренія на этотъ замыселъ:

— Ужъ ты батюшка, Володиміръ князь! говорить онъ:—изведешь ты ясного сокола, не поймать тебѣ бѣлой лебеди.

Князь велить бросить его въ темницу, а самъ пишеть письмо (ярлыки) кь Данилу Денисьевичу. Данило Денисьевичь быль въ это время на охотъ, и письмо получила Василиса Никулишна: прочитавъ его, тотчасъ догадалась она о грозящей опасности:

Стала Василиса ярлыки пересматривать, залилася она горючьми слезми; скидовала съ себя платье цвътное, надъваеть на себя платье молоденкое, съла на добра коня, поъхала во чисто поле, искать мила дружка своего, Данилушка.

Нашедщи его, она говорить:

— Посл'єднее у насъ съ тобой свиданье, мой сердечный другъ! Поёдемъ домой!

Приготовляя мужа къ отъёзду для исполненія княжескаго порученія, она подаеть ему вмісто малаго колчана большой.

- Зачамъ это? я велать теба подать малый?
- Ты надеженька, мой сердечный другь, лишняя стрізочка тебі пригодится: пойдеть она по своемь браті богатырів.

Она предугадываетъ планъ враговъ. Данило вдетъ во чисто поле, въ поля леванидовы, ко ключику ко гремячему, къ колодезю къ студеному. Глядитъ онъ—съ кіевской стороны:

Не былы сныти забывлися, не черныя грязи зачернымся, забывлася, зачернымся сила (войско) руское, на того ли на Данилу на Денисьича. Туть заплакаль Данила горючьми слезми, возговорить онь таково слово: Знать, гораздо я князю сталь ненадобень, знать Володиміру не слуга я быль.

Береть онъ саблю боёвую, изрубиль онъ высланное противъ него войско. Но черезъ нѣсколько времени глядитъ онъ опять на кіевскую сторону и вилитъ, что на него высланы новые противники:

> Не два слона въ чистомъ полѣ слонятся, не два сыры дуба шатаются: слонятся, шатаются два богатыря, на того ли на Данилу на Денисьича: его родный брать Никита Денисьевичь, и названный брать Добрыня Никитовичъ. Тутъ заплакалъ Данило горючьми слезми: Ужь и въ правду, знать, на меня Господь прогиввался. Володиміръ князь на удалаго осердился: еще гдѣ это слыхано, гдѣ видано, брать на брата со боёмъ (бъ боемъ, на бой) идеть. Береть Данило свое востро копье, Тупымъ концомъ втыкаетъ во сыру землю, А на вострый конецъ самъ упалъ. Споролъ (вспоролъ) себь Данило груди былыя, покрыль себь Денисьевииь очи ясныя.

Извъщенный о его смерти. Володиміръ собираетъ свадебный поъздъ и ъдетъ въ Черниговъ, входитъ въ теремъ вдовы:

Прівхали ко двору ко Данилину, восходять во теремъ Василисин-отъ. Приоваль ее Володимірь во сахарныя уста. Возговорить Василиса Никулишна: Ужь ты батюшка, Володимірь князь Не приуй меня въ уста во кровавы, безъ моего друга Данилы Денисьича. Туть возговорилъ Володимірь князь! ой ты гой еси Василиса Никулишна! наряжайся ты въ платье цвътное, въ платье цвътное, въ платье цвътное подвънечное. Наряжалась она въ платье цвътное, взяла съ собой булатный ножъ. Повхали ко городу ко Кіеву.

Когда поравнялся поёздъ съ лугами леванидовыми, Василиса Никулишна проситъ князя, чтобъ онъ отпустилъ ее проститься съ тёломъ мужа. Володиміръ отпускаеть ее подъ стражею двухъ богатырей.

Подходила Василиса ко милу дружку, поклонилась она Данил Дениськчу, поклонилась она, да восклонилася; возговорить она двумъ богатырямъ:
Охъ вы гой есте, мои вы два богатыря, вы подите, скажите внязю Володиміру, чтобы не далъ намъ валяться по чисту полю, по чисту полю со милымъ дружкомъ, со тъмъ ли Даниломъ Денисьевичемъ. Веретъ Василиса свой булатный ножъ, Спорола себъ Василисушка груди бълыя, Покрыла себъ Василисушка очи ясныя.

Ея послёднюю волю передають Володиміру, и по пріёздё въ Кієвъ онъ выпускаеть изъ погреба Илью Муромца, который предвёщаль ему гибельный конець замысла, и наказываеть злого совётника Мищатку Путятина:

> Выпущаль Илью Муромца изъ погреба, цёловаль его въ голову, во темичко: Правду сказаль ты, старой казакъ, старой казакъ, Илья Муромець! Жаловаль его шубой соболиною; а Мишаткъ пожаловаль смолы котель.

Русская былина уступаеть въ поэтическомъ достоинстве сербскимъ песнямъ; но и она прекрасна. Что же касается до сербскихъ песенъ, нами переведенныхъ здёсь, должно рёшительно сказать, что только у первоклассныхъ поэтовъ могутъ быть найдены произведенія, равныя имъ по красоте. Почему же эта народная поэзія у всёхъ народовъ уступала мёсто письменной литературе, какъ скоро народъ начиналъ цивилизоваться? Почему повсюду вмёсто песенъ, созданныхъ всёмъ народомъ, какъ однимъ нравственнымъ лицомъ, появлялись произведенія, писанныя отдёльными лицами? Общій отвётъ мы уже видёли выше: одинаковость умственной и нравственной жизни во всёхъ членахъ племени уничтожается цивилизацією, съ тёмъ вмёсте должна упасть и поэзія, принадлежавшая нераздёльно цёлому народу. Но если ясно изъ этого, почему въ

наше время у нѣмцевъ или русскихъ не можетъ вновь являться пѣсенъ, подобныхъ сербскимъ, то еще остается неразрѣшеннымъ важнѣйшій вопросъ: почему образованные слои народа не удовлетворяются прекрасными пѣснями, которыми довольствовались ихъ предки? Почему нѣмцы читаютъ Гете и Шиллера, а не Нибелунговъ, русскіе Пушкина, а не Киршу Данилова? Не есть ли пренебреженіе народныхъ пѣсенъ для произведеній отдѣльныхъ поэтовъ несправедливость? Подобные вопросы были подняты въ германской литературѣ тевнономанами и романтиками. У насъ они слышатся еще довольно рѣдко, тѣмъ не менѣе могутъ имѣть свой интересъ-

Цивилизуясь, народъ перестаеть вообще удовлетворяться патріархальнымъ бытомъ и его произведеніями; почему, здёсь не место говорить; мы должны смотрёть только на нашу спеціальную сторону общаго вопроса, на причины того, что, цивилизуясь, народъ перестаетъ удовлетворяться народной поэзіей. Умственная и нравственная жизнь патріархальнаго общества слишкомъ б'ядна для цивилизованнаго народа. Потому и содержание народной поэзін слишкомъ бёдно для него. Въ самомъ дёлё, если народная поизія превосходно развиваеть свои темы, то темъ у нея очень мало, и онъ слишкомъ просты; то же самое надобно сказать и о чувствахъ, проникающихъ народныя песни. Воинскія воспоминанія-воть вся исторія патріархальнаго народа; любовь добраго молодца (безъ всякой опредъленнъйшей характеристики) къ красной дъвиць (безъ всякой опредъленный шей характеристики) и два-три другіе, столь же общіе мотива — воть все содержаніе лирики. Народная песня должна прилагаться къ чувствамъ решительно каждаго человъка; иначе она не нужна цълому народу, а годится только для несколькихъ отдельныхъ лицъ — вотъ первая причина этой скудости; вторая причина-въ патріархальномъ обществъ дъйствительно нътъ ни духовнаго разнообразія, ни мыслей и чувствъ, сколько нибудь разнообразныхъ или многосложныхъ. Цивилизованный молодой человъкъ, не просто «добрый молодецъ», любитъ «красную девицу» не потому только, что она «красная девица»онъ, смотря по различію своего нравственнаго направленія, ищеть въ ней особенныхъ качествъ характера, ума и т. л.; ни о чемъ подобномъ не знаетъ народная пъсня. Потому ея портреты, ея чувства недовольно близко подходять къ лицамъ и чувствамъ образованнаго общества; въ ней мало индивидуальных особенностей, которыхъ мы более всего ищемъ, чтобы сказать: «это говорится обо мив, это подходить къ моему положению и чувствамъ». Что мы сказали объ эротической песне, прилагается и ко всякой другой. народной песне. Монмъ потребностямъ соответствують только песни отдъльныхъ поэтовъ, выражающихъ не чувство вообще, а именю такое чувство, какимъ проникнутъ именно я, и которое остается чуждо въ этомъ особенномъ развитіи для многихъ другихъ людей. Вотъ почему даже тв понятія и чувства, которыя общи образованному человеку съ патріархальнымъ (наприм. любовь), выражаются въ народной поэзіи неудовлетворительнымъ для насъ образомъ. Не говоримъ уже о томъ, что цивилизація развиваеть въ насъ множество чувствъ и особенно понятій, о которыхъ вовсе не знаетъ патріархальный человъкъ. О многомъ, чего мы ищемъ въ поэзін, народная поэзія вовсе не говорить; о чемь говорить, говорить не такъ. какъ должна говорить поэзія по нашимъ требованіямъ. Содержаніе народной поэзіи слишкомъ бідно для насъ.

Столь же неудовлетворительна для насъ ея форма. Иногда случается слышать, что народную поэзію обвиняють въ недостаткъ художественной формы. Это совершенно несправедливо. О чемъ говорить народная поэзія, говорить она чрезвычайно художественно. Ея недостатокъ совершенно другого рода; это — однообразіе, доходящее до чрезвычайной монотонности. Сущность патріархальной жизни неподвижность; формы этой жизни неподвижныя, оцѣпенѣвшія формы. Точно таковы же онѣ и въ народной поэзіи. Объ этомъ достаточно говорить ужь внѣшній составъ стиха до чрезвычайности однообразный. Такъ всѣ греческія эпическія пѣсни сложены гекзаметромъ; во всѣхъ сербскихъ одинъ и тотъ же стихъ десятисложный, раздѣляющійся на двѣ половины, изъ которыхъ въ первой четыре, а во второй шесть слоговъ, напримѣръ:

Цар Мурате | у Косово паде; Како паде | ситну книгу пише; Те је шале | ка Крушевцу граду и т. д.

(Начало первой изъ переведенныхъ нами пѣсенъ: царь Муратъ на Косово пришелъ; какъ пришелъ, мелкое письмо пишетъ и его посылаетъ въ городъ Крушевецъ). Точно также неизмѣнны обычныя, такъ называемыя «эпическія» выраженія, которыми наполнены всѣ пѣсни. У насъ, напримѣръ, всегда добрый молодецъ, никогда просто молодецъ, и никогда съ какимъ нибудь другимъ эпитетомъ; красна

дъвица, лютая свекровь матушка, сыра земля, и т. д.; у сербовъ всегда легкія ноги, гибкія ребра, былый дворъ, холодная вода, боевое конье, и т. д. Какъ бы ни была велика мёткость и красота подобныхъ эпитетовъ, безъ которыхъ не обходится ни одно часто употребляемое слово въ народной поэвіи, нельзя, однако же, не признаться, что ихъ безпрестанное повтореніе чрезвычайно монотонно. Этимъ не ограничивается монотонность, неподвижность формы; она идеть гораздо далее: все фразы, все мысли, все картины имеють одинь и тоть же, разь навсегда установившійся, неизбёжный видь. Постоянно повторяются одни и тв же стихи, цваме отрывки изъ нъсколькихъ стиховъ. Это каждый можетъ заметить, сличивъ несколько півсенъ. Потому півсни такъ легко и перемівшиваются одна съ другою, сливаются, раздробляются; каждая изъ нихъ-мозаика, составленная изъ кусковъ, безпрестанно повторяющихся въ другихъ песняхъ. Каждый изъ нихъ прекрасенъ, въ этомъ нетъ спора; но что сказали бы мы, еслибъ, напримъръ, у Пушкина повторялись двадцать разъ въ разныхъ поэмахъ прекрасные стихи:

> Буря мглою небо кроеть, Вихри снёжные крутя; То какъ звёрь она завоеть, То заплачеть, какъ дитя...

и если бъ онъ, говоря о Кавказѣ сто или болѣе разъ, каждый разъ описывалъ его такъ:

Кавказъ надо мною; одинъ въ вышинѣ Стою надъ снъгами у края стремнины; Орелъ съ отдаленной поднявшись вершины, и проч.

Мы нисколько не оскорбляемся подобными повтореніями въ народныхъ пѣсняхъ. Изъ этого слѣдуетъ, что мы не прилагаемъ къ нимъ тѣхъ требованій, соблюденіе которыхъ ставимъ въ непремѣнную обязанность поэзіи, насъ удовлетворяющей.

Вообще намъ кажется фактомъ, неподлежащимъ сомивнію, что народная поэзія не можеть удовлетворять цивилизованнаго человіка. Ея содержаніе слишкомъ бідно и однообразно; форма столь же однообразна. Она отголосокъ прошедшаго младенчества, вспомнить о которомъ пріятно и прекрасно, но возвратиться къ которому для насъ невозможно, а еслибъ и было возможно, то нисколько не было бы пріятно. Но, не удовлетворяясь ею, мы не можемъ не

сочувствовать ей всегда, не заслушиваться часто до увлеченія прекрасныхь, свёжихь, энергическихь мотивовь ея.

Не говоримъ уже о двухъ другихъ ея драгоцѣныхъ качествахъ. Она до сихъ поръ остается единственною поэзіею массы народонаселенія; поэтому она интересна и мила для всякаго, кто любитъ свой народъ. А не любитъ своего родного невозможно. Другое достоинство ея чисто ученое: въ народной поэзіи сохраняются преданія старины. Потому важность ея неизмѣримо велика и посвящать свою жизнь собиранію народныхъ пѣсенъ прекрасный подвитъ.

Народная поэзія прекрасна. Этого, кажется, было бы довольно для успокоснія нашей любви къ ней. Но есть люди, которымъ непремѣнно хочется, чтобы народная поэзія ихъ племени была признана превосходнѣйшею въ мірѣ. Не знаемъ, зачѣмъ общій вопросъ необходимо низводитъ въ область споровъ. Но вотъ что говоритъ г. Бергъ въ своемъ «Предисловіи»:

«Въ главъ прическихъ песенъ я ставлю русскую, песню всехъ песенъ. Нетъ песни песенъе ея, оригинальней и народней. Въ этомъ отношени она стоитъ решительно отдельно ото всехъ и никакая другая далеко къ ней не подходить. Ни одна не представляетъ такой свободы размеровъ въ одной и той же песенъ при общей гармоніи (неодинаковое число слоговъ въ разныхъ стихахъ одного размера—качество, о которомъ здесь говоритъ г. Бергъ, находится нетолько въ народныхъ песняхъ многихъ народовъ, но даже во многихъ письменныхъ версификаціяхъ, напр. въ греческой, латинской, отчасти даже немецкой; удивительнаго и особеннаго здесь ничего нетъ). Съ другой стороны, ни одна не имеетъ такого яркаго, играющаго языка. Ни въ одной нетъ такого розмаха, такого собранія звуковъ, какъ бы вытекающихъ одинъ изъ другого (?) и неудержиме несущихся одинъ за другимъ. Откуда же явилось такое преимущество русской песни? Прежде всего отъ ея языка, какого нигдъ нётъ. Ни одинъ не устоить въ борьбъ съ этимъ богатыремъ, съ этимъ Ильею Муромцемъ, у котораго еще не убавлено силы перехожими каликами.

Кабы на семую часть?)»-

Наука разрѣшаетъ вопросъ этотъ гораздо поливе и шире, нежели г. Бергъ. Превосходная народная поэзія была у многихъ народовъ. Теперь она почти у всѣхъ европейскихъ народовъ или совершенно, или очень низко упала. Исключеніе остается едва ли не за одними сербами, у которыхъ народная поэзія еще въ полной силь свѣжести. Также свѣжа и цвѣтуща была она у малороссовъ лѣтъ шестьдесятъ или восемьдесятъ назадъ; лѣтъ около ста или полутораста назадъ (а можетъ быть и болѣе) она была также свѣжа

и цвътуща у великоруссовъ. Различіе только въ томъ, раньше или поэже коснулась народа цивилизація, успёли записать народныя принялись ва это дело тогда, когда уже начался упадокъ. Сербы были такъ счастливы въ этомъ случав, что лучшій изъ всёхъ собирателей песень, Вукъ Стефановичь Караджичъ, записывалъ и записываетъ сербскія пісни еще нимало не утратившія первоначальной своей красоты. Неть сомненія, что и для сербской народной поэзіи скоро начнется (и отчасти уже начался) періодъ паденія. Разсматривать здёсь, у котораго изъ остальныхъ славянскихъ племенъ народныя пъсни успъли до сихъ поръ сохраниться лучше, значило бы вдаваться въ споры. По мевнію однихъ носль сербской поэзіи второе мьсто занимаеть великорусская, по мивнію другихъ малорусская, по мивнію третьихъ словацкая. Мы положительно увърены только въ томъ, что и великорусскія, и малорусскія, и словацкія песни прекрасны. Изъ другихъ европейскихъ народовъ многіе также сохранили еще прекрасную народную поэзію, напримъръ греки, испанцы, хотя, повторяемъ, у всъхъ, кромъ сербовъ, и, быть можетъ, грековъ, она ужь давно находится въ період' упадка.

Основаніемъ для всего этого длиннаго объясненія понятій, кавихъ достигла наука относительно существеннаго достоинства народной поэзіи, послужило намъ «Предисловіе» г. Берга, написанное слишкомъ съ большимъ увлеченіемъ. Мы нисколько не ставимъ этого увлеченія въ вину г. Бергу; оно очень естественно въ поэтъ, столь преданномъ народной поэзіи, какъ почтенный переводчикъ «Пъсенъ разныхъ народовъ». Намъ только хотелось показать безпристрастную точку зрвнія на явленія очень интересныя и въ самомъ дълъ увлекательныя. Но уже давно пора намъ перейдти отъ предисловія къ самой книгь. Г. Бергь въ конць предисловія говоритъ: «Въ заключение прошу покорнейше всякаго, кому случится прочесть эти строки, во первыхъ, указать мив замвченные недостатки въ моемъ изданіи, относительно перевода, взгляда на тотъ или другой отдель, и даже, если можно, опечатки въ текств. Во вторыхъ, сообщить мив все, что есть у него любопытнаго въ пвсенномъ родъ»: Если бы не были мы увърены въ испренности желанія, высказываемаго на первомъ м'вств, мы не стали бы вовсе говорить о томъ, что, по нашему мивнію, должно было бы въ изданіи г. Берга быть иначе: мы ограничились бы однёми похвалами прекрасному и добросовъстному труду; онъ вполив заслуживаеть ихъ, и недостатки его далеко уступають достоинствамъ. Но очевидно, что г. Бергъ страстно преданъ своему прекрасному дёлу, и потому въ самомъ дълв будеть доволенъ, если замъчанія рецензентовъ дадутъ ему случай обратить вниманіе на тв или другія стороны его труда. Только это побужденіе и заставляеть насъ высказать наши митнія объ основаніяхъ которыми руководился г. Бергъ при выборть и переводт пісенъ.

Сборникъ г. Берга раздъляется на двъ половины -- лирическія пъсни и эпическія пъсни. Въ лирическомъ отдъль онъ помъстиль пъсни восемнадцати народовъ. Но изъ этихъ подраздъленій четыре представляють только по одной пъснъ, и притомъ незначительной: именно г. Бергь перевель одну санкритскую песню, одну баскскую, одну армянскую, одну калмыцкую. Эти песни ничего не показывають. Или надобно было представить более песень, чтобы ихъ собраніемъ сколько нибудь характеризовать поэзію народа, или не помъщать въ сборникъ одинокой, ничего не говорящей пъсни. Точно также недостаточны отдёлы финскихъ, албанскихъ, арабскихъ, персидскихъ, татарскихъ пъсенъ. Намъ кажется, что г. Бергъ слишкомъ увлекся желаніемъ представить редкія песни, и что это желаніе иногда имъло несовствить благопріятное вліяніе и на выборъ пъсенъ въ другихъ отдълахъ. Г. Бергъ жалуется на скудость матеріаловъ. Но мы увірены, что въ московскихъ библіотекахъ онъ находилъ богатыя коллекціи изданій народныхъ песенъ. Что могло тамъ не быть армянскихъ или баскскихъ сборниковъ, мы готовы предположить; скудости пъсенъ на другихъ языкахъ, особенно на славянскихъ наръчіяхъ, предполагать нельзя. На этомъ. излишнемъ, по нашему мивнію, желаніи сообщать рыдкія песни основана и просьба «сообщить ему все, что каждый имветь любопытнаго въ песенномъ роде». Подобныхъ присылокъ вовсе не нужно ожидать г. Бергу, чтобы дополнить свой сборникь; мы требуемъ отъ него не баскскихъ или калмыцкихъ песенъ, а просто хорошаго и полнаго выбора песень техъ народовь, которые имеють хорошія изданія п'всенъ. Выбирать и переводить— эта задача уже довольно велика и трудна, и напрасно г. Бергъ будетъ развлекать свои силы, заботясь также о собираніи піссень неизвістныхь еще въ ученомъ міръ. Раздъленіе труда—первое условіе его услъшности. Въроятно также, что г. Бергу стоило чрезвычайно многихъ усилій достать исправные списки армянской, калмыцкой, и такъ далее, песенъ, и еще большихъ трудовъ исправно напечатать ихъ тексть. Санскритскій тексть онъ рішился даже литографировать, конечно по недостатку шрифта: сколько напрасныхъ трудовъ, траты времени и расходовъ! Нътъ сомивнія, что прекрасно делаеть г. Бергь, печатая вмёстё съ переводомъ тексты пёсенъ разныхъ славянскихъ нарѣчій и общензвѣстныхъ языковъ. Многимъ будетъ пріятно прочитать въ подлинникъ словацкую, сербскую, французскую пъсню; сличение текста съ переводомъ въ этихъ случаяхъ дастъ многимъ возможность върнъе судить о достоинствъ перевода. Но кому изъ читателей принесеть хотя малейшую пользу или удовольствие тексть санскритской, литовскихъ, мадыярскихъ, финскихъ, албанскихъ, арабскихъ, персидскихъ, татарскихъ, баскской, армянской, калмыцкой песень? Едва ли многимъ будетъ полезенъ также испанскій, норвежскій, шведскій, датскій, бретонскій тексты. Печатать ихъ совершенно излишняя ученая (или, лучше сказать, мими ученая роскошь. Забота о ней была, вероятно, причиною того, что г. Бергъ мало заботился о пъсняхъ менъе ръдкихъ. Такъ, напримъръ, у него помъщены только эпическія сербскія, испанскія и французскія пъсни; лирическихъ нътъ; нъмецкихъ пъсенъ нътъ у него совершенно; англійскихъ, шотланскихъ, ирландскихъ также совершенно нотъ.

Выборъ пъсенъ также неудовлетворителенъ. Укажемъ одинъ примъръ. Изъ множества превосходныхъ эпическихъ сербскихъ пъсенъ у него выбрана только одна незамъчательная ни въ какомъ отношеніи пъсня о Бановичъ Страхинъ.

Наконецъ, важивйшая часть труда,—переводъ—бываетъ очень часто удаченъ, читатели убъдятся въ этомъ изъ примъровъ, которые мы приведемъ ниже; но часто г. Бергъ нарушаетъ простоту подлинника прибавленіемъ эпитетовъ; иногда переводъ бываетъ и просто несовсъмъ удаченъ. Приводимъ нъсколько примъровъ. Вотъ пъсня чешскихъ реформатовъ (по недостатку шрифта пишемъ текстъ русскими буквами):

Кра́сна е та рже́ка, Рже́ка Волта́ва, Кде су наше до́мы И власть ла́скава;

Свытлая ты рёчка
Рёчка ты Влетава!
Наше ты веселье,
Красота и слава!

Гезке е то место То место Прага, В ктерем быдли наше Родина драга... и т. д.

Красное ты мисто, Прага дорогая, Нашь престольный городь Родина святая!

Вотъ буквальный переводъ:

Прекрасна та ръка, ръка Влетава, гдъ наши домы и милая родина.

Прекрасенъ тотъ городъ, городъ Прага, гдв наши жилища, родина дорогая, и т. д.

Воть начало сербскихъ пъсенъ:

Бога моли момче неженено Да се створи край мора бисеромъ (Бога просить неженатый молодець, Жемчугомъ зервистымъ, перекатнымъ чтобы сділаться жемчугомь на берегу И разсыпаться край синя моря. Mops).

Бога модить молодець удалый Чтобы даль ему оборотиться

Лепо пева славуяв У зеленой шумици (Хорошо поетъ соловущевъ въ зе- Въ темной роще распевала... леной рощв)

Распевала пташка мала Пташка мала соловейка,

Г. Бергъ говоритъ: «Обыкновенно думаютъ, что надо переводить слово въ слово. Не важенъ стихъ, а важенъ духъ, важенъ результать впечативнія. Въ народномъ языкв всего нужнее свобода слова» и т. д. Но приведенные нами примъры показывають, что отступленія отъ смысла и духа подлинника простираются у г. Берга иногда слишкомъ далеко. Напрасно ссылается онъ на прижёръ Пушкина. Пушкинъ переводилъ сербскія песни гораздо точнве. Но послв этихъ замвчаній, вызванныхъ желаніемъ самого г. Берга, мы должны показать читателямъ и примъры удачныхъ переводовъ. Это гораздо пріятиве. Мы сказали, что выборъ песенъ у г. Берга не можеть достаточно знакомить съ духомъ поэзіи того или другого народа; потому беремъ пъсни, лучшія въ эстетическомъ отношеніи, не заботясь о томъ, характеризують ли онв народъ которому принадлежать, или только народную поэзію вообще. Во всякомъ случав онв дадутъ читателю средство судить о достоинствахъ перевода г. Берга.

. (Литовская.)

Какъ у батюшки сгороженъ огородъ, Въ огородъ иника-липочка ростетъ.

Дочка батюшки по темнымъ по ночамъ Съ дворяниномъ разговариваетъ тамъ.

Съ дворяниномъ, съ добрымъ парнемъ, съ молоддомъ, Съ нимъ техонько обручается кольцомъ.

«Не ходи, сестра, ты ночью къ молодцу, А не то скажу я батюшкв-отцу!»

« Братецъ, братецъ, братецъ милой-дорогой, Что ты скажешь объ сестръ своей родной?

Что два слова-то сказала съ ислодцомъ? Или то, что обручалась съ нимъ кольцомъ?»

«Не про тъ твои два слова съ молодцомъ, А про то, что обручалась съ нимъ кольцомъ.»

Въ понедъльникъ вышла дъвица гулять — Не видать ее во вторникъ, не видать!

Вывзжали братья въ среду поутру, Стали спрашивать про милую сестру.

Въ барабаны барабанили три дни И трубили въ трубы мъдныя они.

Навонецъ къ рѣкѣ широкой подошли И утопленницу бѣдную нашли:

Тъло бълое лежало на пескъ, И купались косы черныя въ ръкъ.

(Литовская.)

Ведите коня вороного, Ведите коня молодцу. Повду я къ старому тестю. Я къ старому тестю, къ отцу. Здорово! день добрый и вечеръ! Какъ можешь-живешь, старина? Что двлаеть наша невъста? И все ли здорова она?

Больнешенька наша невѣста, Больнешенька, въ новой кцѣти Лежить горемыка въ постели, Поди ты ее навѣсти.

Пошель черезь дворь я широкій, А слезы-то, слезы ручьемь! Откинуль я дверку у кліти, И слезы обтерь рукавомь.

Взяль за руки былы невысту, Прижаль ихъ, цалуя, къ себы: Скажи мое красное солице, Не легче ли стало тебы?

Не легче; не будеть мив легче, Не быть мив невыстой твоей: Другую ты любишь-голубишь — Ступай и присватайся къ ней!

А я собираюся въ гости, Мив пиръ пировать на погоств... Прощай... а скажи, хороша Твоя чародвика-душа?

(Лужицкая.)

Красная дівица жала траву, Травку-муравку зелененькую; Много нажала зеленой травы, Цвлу вязанку нарвзала. Красна двица лесомъ пошла, Хлысть ее вътка по бълой шекъ. «Что ты, зеленая вётка моя, Что ты дерешься, похлестываешь? Есть у меня братья вёрные, Имъ я велю вётку срёзати. Имъ я велю ветку срезати, Срёзать, подъ самый срубить корешокъ.» «На виму вѣтку вы срежете, На весну снова я выбѣгу, Свёжими выйду побёгами, Новымъ кудрявыимъ деревцомъ.

Если жъ погубниь ты, двина, честь — Честь къ тебе вижь не воротится.»

(Лужицкая.)

Хочешь знать, кто я таковь?
Изъ простыхъ я мужековъ,
И хочу жениться!
Припасите для меня
Дѣвку, саблю и коня —
На войнъ годится!

На войну, въ кровавый бой. Захвачу я ихъ съ собой....

(Чешская.)

Говорить мив снова
Нынче мать милова,
Что бы я забыла,
Про ея про сына.

На такія річи Я ей отвічала, Чтобъ она покрішче Сына привязала,

Привязала-бъ сына: Не ходи, молъ, мимо, Къ дъвкину порогу Не топчи дорогу.

(Словацкая).

Конь подъ Бѣлградомъ стоитъ вороной; На немъ сидитъ Кровью покрытъ Миленькій мой.

Знаешь ин, мила, какъ битва живетъ? Видишь: съ меня, Видишь: съ коня, Кровь такъ и льетъ. Знаешь ле, мила, какой нашъ объдъ?

Наша ъда —

Хлъбъ да вода,

Вотъ нашъ объдъ.

Знаешь, ли, мила, гдв я буду спать? Тамъ, гдв убъють, Тамъ погребуть, Тамъ мив лежать.

Знаешь ли, кто у меня звонаремь? Раненыхъ стонъ, Сабельный звонъ, Пушечный громъ.

(Словацкая.)

Люди мий сказали, будто въ полё тучи — А то зачерийли миленькаго очи.

Люди мий сказали, поле загорйлось — А то у милова личико зардёлось;

Люди мий сказали, что гогочуть гуси — А то заиграли миленькаго гусли.

Люди мий сказали, пролетёла пташка — А то забёлёла милаго рубашка.

Люди мий сказали, поле гулко стало — Поле гулко стало — милой гонить стадо.

(Моравская.)

Ужъ не быть тому во вѣки, что прошло, что было, Не свѣтить знать красну солнцу, какъ оно свѣтило! Не знавать мнѣ прежней доле съ прежней мочью-силой, На конѣ своемъ удаломъ знать не ѣздить къ милой! Мнѣ свѣтило красно солнце въ малое оконце, А теперь свѣтить не хочетъ, частый дождикъ мочитъ; Частый дождикъ, непогода, бъетъ, стучитъ въ оношко... Заросла къ моей любезной торная дорожка. Заросла она кустами, заросла травою, Съ той поры, какъ я спознался съ милою другою.

(Польская.)

Дождивъ, дождивъ мороситъ, взмовла вся поляна Ахъ, люби меня, Ванюша, върно, безъ обмана! Я люблю тебя, люблю, много, какъ умъю; Коли стану измънять, чтобъ слемать мит шею! Только сталъ онъ выъжать на большу дорогу, Онъ головушку сломилъ, а конь върный ногу. Знать тебъ не въренъ былъ милый твой Ванюша: Такъ вдругорядь никого, дочка, ты не слушай.

(Польская, краковякь.)

Свищуть, свищуть соловьи, пѣсенки заводять; Нынче молодцамъ не вѣрь: васъ они проводять; Нынче молодцамъ не вѣрь; да и дѣвкамъ тоже: Знать такая вышла мода, ни на что негожа!

(Польская, краковякь.)

Сказывають июде — и что имъ за дёло? — Что дёвица съ молодцомъ вечеромъ сидёла.

(Мадьярская.)

Два милыхъ было у меня Дороже всей родни, Да бъдность одолъла ихъ, — И умерли они.

Что одного-то милаго Въ саду я положу, Другого я сердечнаго Подъ сердцемъ схороню.

Полью въ саду я милаго Съ Дунай-рёки водой, Полью дружка сердечнаго Горючихъ слезъ рёкой.

(Греческая.)

Скорве бросайся ты съ берега вплавь, Руками своими, что веслами, правь, А грудь молодецкую выгни рулемъ, — И легкимъ и быстрымъ плыви кораблемъ! Богь дастъ и поможеть Пречистая намъ. Ты будещь, товарищъ, сегодня же тамъ, Гдв, помнишь, мы жарили вмёств козлятъ.... Про то, что погибъ я, не сказывай, брать! А если разспрашивать станетъ родня, — Скажи, что въ чужбинв женили меня, Что былъ мив булатъ посаженымъ отцомъ, Что насъ угощали на свадъбв свинцомъ, Что мив за женою моей отвели Въ приданое сажень косую земли.

(Греческая).

Садилося солнце и день уходиль, А. Димъ поликарамъ своимъ говорилъ: Неможется, дети! пора на повой!... Сходите на ужинъ себѣ за водой; А ты, мой Лабравись, одинь мив родия, — Ты будь капитаномъ за место меня; Покуда же, дёти, вы саблей моей Зеленыхъ въ лёсу нарубите вётвей: Я лягу на тёхъ на зеленыхъ вётвяхъ, И каяться стану попу во грѣхахъ. Арматоломъ долго въ горахъ я служилъ, Албанцевъ и турокъ безъ счету побиль; Но, видно, чередъ наступаетъ и мой.... Вы гробъ сколотите мив, дети, большой. Чтобъ былъ онъ просторенъ, широкъ и высокъ, Чтобъ саблей въ гробу я размахивать могъ, Чтобъ могь и винтовку я тамъ заряжать, И въ туровъ неверныхъ оттуда стрелять; Чтобъ было съ объихъ сторонъ по окну: Въ одно пусть мив носять косатки весну, Къ другому летаютъ пускай соловьи, Пускай распъвають мнъ пъсни свои.

(Баскская).

За пѣсни я снова — И пѣсня готова!
Веселья такова
Не зналъ никогда я,
Лишь прибылъ сюда я
Изъ вольнаго края,
Играя

Кипить моя кровь молодая!

Однажды въ апреле,
Когда насъ хотели
Опять въ цитадели
Вести на работы —
Мы шмыгь подъ вороты,
Не зная заботы,
И съ моста

Проворно спустились въ болота

Когда жъ тамъ узнали, Что мы убъжали, Ну, было печали! Пошли разговоры, И брань и укоры, И крики и споры, Гдв воры?

А мы пробирались ужъ въ горы.

Нѣкоторыя изъ выписанныхъ нами пѣсенъ переведены прекрасно, большая часть находящихся въ сборникѣ не дурно. Болѣе разборчивости при выборѣ—вотъ необходимѣйшее условіе для того, чтобы дополненный сборникъ (г. Бергъ очевидно не хочетъ останавливаться на первомъ опытѣ) получилъ еще большее достоинство. Впрочемъ и въ настоящемъ своемъ видѣ онъ свидѣтельствуетъ о добросовѣстной любви составителя къ своему дѣлу; многія пѣсни показываютъ въ переводчикѣ способность переводить хорошо. Русская литература должна быть благодарна г. Бергу за его прекрасное изланіе.

CTUXOTBOPEHIA H. OFAPEBA. MOCKBA. 1856.

Господинъ Огаревъ никогда не пользовался шумною популярностью. Правда, критика всегда съ почетомъ говорила о немъ, когда ей, приводилось перечислять «лучшихъ нашихъ поэтовъ въ настоящее время»; правда, публика всегда уважала талантъ господина Огарева, и ей даже полюбились некоторыя изъ стихотвореній, подписанныхъ его именемъ, - кто не помнитъ прекрасныхъ пьесъ: «Старый Домъ», «Кабакъ», «Nocturno», «Младенецъ» (Сидпла мать у колыбели), «Обыкновенная Повъсть» (Была чудесная весна), «Еще любви безумно сердце просить», «Старикь, какь прежде, въ чась привычный», «Проклясть бы могь свою судьбу», и многихъ другихъ? Такъ; но, темъ не мене, публика наша, еще въ такой свъжести сохранившая наивную готовность увлекаться, не увлекалась поэзіей г. Огарева, и наша критика, въ последніе годы творившая себъ столькихъ кумировъ, не разсыпалась передъ г. Огаревымъ въ твхъ непомерныхъ панегирикахъ, на которые бывала она такъ щедра въ последние годы. Произведения г. Огарева не дълали шуму. Ему всегда принадлежало только тихое сочувствіе, да и то не слишкомъ многочисленной части публики.

Нѣтъ вѣроятности, чтобы даже и теперь, когда стихотворенія его, до сихъ поръ остававшіяся разсѣянными по журналамъ, собраны въ одну книгу, положеніе его въ современной литературѣ измѣнилось. Безъ сомнѣнія, всѣ журналы похвалять его,—но умѣренно; публика будеть читать его книгу — также умѣренно. Всѣ скажутъ: «хорошо»; никто не выразитъ восторга. Поэтъ не будетъ ни огорченъ, ни удивленъ. Онъ и не требуетъ себѣ шумной славы: онъ писалъ не для нея, не разсчитывалъ на нее, быть можетъ, и не думалъ, что имѣетъ права на нее.

Поэтъ можетъ быть доволенъ. Но мы,-мы не хотимъ быть довольны за него этою полуизвъстностью, этимъ одобреніемъ безъ горячаго чувства, этимъ почетомъ безъ лавроваго вънка. Мы не возстаемъ ни противъ нынёшней публики, ни даже противъ нынъшней критики: быть можеть, та и другая правы съ своей точки врвнія. Но мы должны сказать, что черезъ тридцать, черезъ двадцать леть, -- быть можеть, и ближе, -- это изменится. Холодно будуть тогда вспоминать или вовсе не будуть вспоминать о многихъ изъ поэтовъ, кажущихся намъ теперь достойными панегириковъ, но съ любовью будетъ произноситься и часто будетъ произноситься имя г. Огарева, и позабыто оно будеть развъ тогда, когда забудется нашъ языкъ. Г. Огареву суждено занимать страницу въ исторіи русской литературы, чего нельзя сказать о большей части изъ писателей, нынъ дълающихъ болъе шума, нежели онъ. И когда, быть можеть, забудутся всё тё стихотворенія, которымъ пишемъ и читаемъ мы похвалы, будетъ повторяться его «Старый Домъ»:

> Старый домъ, старый другъ, посётилъ я Наконецъ въ запустеньи тебя, И былое опять воскресилъ я, И печально смотрелъ на тебя.

> Дворъ лежалъ предо мной неметеный, Да колодезь валился гнилой, И въ саду не шумёлъ листь зеленый— Желтый тлёлъ онъ на почвё сырой.

Домъ стоямъ обветшалый уныло, Штукатурка обилась кругомъ, Туча сърая сверху ходила И все плакала, глядя на домъ.

Я вошель. Тѣ же комнаты были— Здѣсь ворчаль недовольный старикь; Мы бесѣды его не любили— Насъ страшиль его черствый языкь.

Воть и комнатка: съ другомъ, бывало, Здёсь мы жили умомъ и душой; Много думъ золотыхъ возникало Въ этой комнаткъ прежней порой. Въ нее звёздочка тихо свётила, Въ ней остались слова на стёнахъ: Ихъ въ то время рука начертила, Когда юность кипёла въ душахъ.

Въ этой комнаткъ счастье былое, Дружба свътлая выросла тамъ. . А теперь запустънье глухое, Паутины висять по угламъ.

И мнъ страшно вдругъ стало. Дрожалъ я,— На кладбищъ я будто стоялъ,— И родныхъ мертвецовъ вызывалъ я, Но изъ мертвыхъ никто не возсталъ...

«Конечно, «Старый Домъ» прекрасенъ; но въ наше время было написано довольно много другихъ пьесъ, которыя надобно поставить выше его, или по мысли, или по отделке. За что же ему суждено прожить дольше, нежели всёмъ имъ?» Не знаеть, есть ли въ нынъшней русской литературъ произведенія болье прекрасныя; но дъло въ томъ, что «Старый Домъ» принадлежить исторіи, какъ принадлежать ей вообще жизнь и произведенія г. Огарева: счастье, или, върнъе сказать, достоинство, которое достается на долю немногимъ избранникамъ. Да, г. Огаревъ имветъ право занимать одну изъ самыхъ блестящихъ и чистыхъ страницъ въ исторіи нашей литературы. Мы отчасти излагаемъ эти права, говоря въ «Очеркахъ гогодевскаго періода» о развитіи русской литературы въ сороковыхъ годахъ и о соединеніи въ «Отечественныхъ Запискахъ» (1840—1846) замічательній шихь людей тогдашняго молодаго поколвнія. Но тамъ, конечно, мы говоримъ не въ частности о г. Огаревъ, а вообще о школъ, къ которой принадлежаль онъ. Здъсь мы пользуемся случаемъ, чтобы въ поэзім его показать отпечатокъ школы, въ которой воспитался его таланть.

Знали ли вы когда нибудь восторженную дружбу? Если не владъло вами это чувство хотя въ поръ молодости, вы, быть можетъ, улыбнетесь. Но нътъ, не спъшите смъяться: смъяться и мы любимъ, но не надъ тъмъ, что было необходимо и оказалось благотворно въ историческомъ развитии. Патроклъ не Дафнисъ, созданный праздностью: онъ необходимое лицо въ «Иліадъ» Сколько извъстно, никто не доказывалъ противнаго. Да и Троя, если не имъ

взята, то безъ него не была бы взята. Быть можеть, теперь наше развитіе имъеть довольно твердыя опоры и безъ восторженныхъ чувствъ (а быть можеть, по недостатку ихъ и замедлилось оно). Но то несомивнию, что двадцать леть тому назадь энтузіазмь этоть быль очень сильнымь деятелемь въ нравственномь развитии нашего общества, или чтобы выразиться точнее, лучшихъ его представителей; и преимущественно его энергическому стремленію обязана своею силою діятельность людей, которымь, въ свою очередь, мы обязаны тъмъ, что въ настоящее время имъемъ хотя какую нибудь литературу, хотя какія нибудь убъжденія, хотя какую нибудь потребность мыслить. Но мы, кажется, отклонились отъ предмета: въдь мы хотъли говорить объ одной изъ сторонъ поэзіи г. Огарева. Чтобы найти переходъ къ ней оть этого эпизода, скажемъ, что этимъ энтузіазмомъ проникнуть быль и г. Огаревъ. Честь ему за то, что онъ остался въренъ своему чувству: доказательство върности-стихотвореніе, которое поставлено первымъ въ его книгъ, какъ бы замёняя посвященіе:

друзьямъ.

Мы въ жизнь вошли съ прекраснымъ упованьемъ, Мы въ жизнь вошли съ неробкою душой, Съ желаньемъ истины, добра желаньемъ, Съ любовью, съ поэтической мечтой; И съ жизнью рано мы въ борьбу вступили, И юныхъ силъ мы въ битвѣ не щадили. Но мы вокругъ не встрѣтили участья, И лучшія надежды и мечты, Какъ листья средь осенняго ненастья, Попадали и сухи и желты,—
И грустно мы остались, между нами Сплетяся дружно голыми вѣтвями...

Въ лирической поэзіи личностью автора затміваются обыкновенно всі другія личности, о которыхъ говорить онъ. У г. Огарева напротивъ: когда онъ говорить о себів, вы видите, что изъ-за его личности выступають личности тіхъ, которыхъ любилъ или любить онъ; вы чувствуете, что и собою дорожить онъ только ради чувствъ, которыя питаль онъ къ другимъ. Даже любовь, подъкоторою чаще всего скрывается себялюбіе, у него чиста отъ эгои-

стическаго оттенка. Тёмъ болёе у него преданности въ дружбе, которая и вообще часто отличается отъ другихъ чувствъ человека сильнейшимъ участіемъ этого качества. Когда г. Огаревъ говоритъ о своихъ друзьяхъ, онъ говоритъ, действительно, о нихъ, а не о себе; да когда говоритъ и о себе, то всегда чувствуется отсутстве всякаго себялюбія, чувствуется, что наслажденіе жизни для такой личности заключается въ томъ, чтобы житъ для другихъ, быть счастливымъ отъ счастья близкихъ и скорбеть ихъ горемъ, какъ своимъ личнымъ горемъ.

Дъйствительно, таковы были люди, типъ которыхъ отразился въ поэзіи г. Огарева, одного изъ нихъ.

И воть, между прочимь, одно изъ качествъ, по которымъ она останется достояніемъ исторіи: въ ней нашель себѣ выраженіе важный моменть въ развитіи нашего общества. Лицо, чувства и мысли котораго вы узнаете изъ поэзіи г. Огарева, лицо типическое. Воть какъ оно обрисовано передъ вами сполна въ прекрасной пьесѣ «Монологи»:

T.

И ночь и мракъ! Какъ все томительно-пустынно! Безсонный дождь стучить въ мое окно, Блуждаеть лучь свечи, меняясь съ тенью длинной, И на сердив печально и темно. Былые сны! душв разстаться съ вами больно, Еще ловию я призраки вдали, Еще желаніе кипить въ груди невольно; Но жизнь и мысль убила сны мон. Мысль, мысль! какъ страшно мий теперь твое движенье, Страшна твоя тяжелая борьба! Грознай небесных бурь несешь ты разрушенье, Неуловима, какъ сама судьба. Ты миръ невинности давно во мив сломила, Меня на въкъ въ броженье вовлекла, За върой въру ты въ душъ моей стубила, Вчерашній свёть мив тьмою назвала. Отъ прежнихъ истинъ я отрекся правды ради, Для светлыхъ сновъ на влючъ я заперъ дверь, Листь за листомъ я рваль завітныя тетради, И все, и все изорвано теперь. Я долженъ надъ своимъ безсиліемъ сміяться И видеть вкругь безсиліе людей,

И трудно въ правдъ май внутри себя признаться, А правду высказать еще трудний. Предъ истиной покой исчезъ, И гордость личная, и сны любви, И впереди лежить пустынная дорога, Да тщетный жаръ еще горить въ крови.

II.

Скорый, скорый тоши средь дикихъ волнъ разврата И мысль и сердце, ношу чувствъ и думъ! Насмейся надо всемь, что такъ казалось свято, И сибло жизнь растрать на пиръ и шумъ! Сюда, сюда, бокаль съ играющею влагой! Сюда, вакханка! слухъ мнв очаруй Ты пъсней полною разгульною отвагой! На золото продай мив поцалуй... Вино кипить, и жжеть меня лобзанье... Ты хороша, о, слишкомъ хороша!... Зачёмъ опять въ душе проснулося страданье И будто вздрогнула душа? Зачёмъ ты хороша? забытое мной чувство, Красавица, зачемъ волнуешь вновь? Твоихъ томящихъ ласкъ постыдное искусство Ужель во мнѣ встревожило любовь? Любовь, любовь!.. о, нёть, я только сожалёнье, Погибшій ангель, чувствую къ тебі... Поди: ты мив гадка! я чувствую презрвные Къ тебъ, продажной, куплениой рабь! Ты плачешь? Нетъ, не плачь. Какъ, я тебя обидель? Прости, прости мев-это паръ вина; Когда бъ я не любилъ, вёдь я бъ не ненавидёлъ. Постой, душа къ тебѣ привлечена. Ты боль съ устъ моихъ не будешь знать укора. Забудь всю жизнь прожитую тобой, Забудь весь грязный путь порока и позора, Склонись ко мнв прекрасной головой, Страдалица любви, страдалица желанья! Я на душу тебь навъю сны, Ее вновь оживить любви моей дыханье, Какъ бабочку дыханіе весны. Что жь ты молчишь, дитя, и смотришь въ удивленьи, А я не пью мой налитый бокаль? Проклятіе! опять ненужное мученье Внутри души я гдь-то отъискаль!

Но на плечо ко мий она, склоняся, дремлеть, И что во мий—ей непонятно то. Недвижно я гляжу, какъ сонъ ей грудь подъемлеть, И глупо трачу сердце за ничто!

III.

Чего хочу?... Чего?.. О, такъ желаній много, Такъ къ выходу ихъ силь нуженъ путь, Что, кажется порой, ихъ внутренней тревогой Сожжется мозгъ и разорвется грудь. Чего хочу?—всего, со всею поднотою! Я жажду знать, я подвиговъ хочу! Еще хочу любить съ безумною тоскою, Весь трепетъ жизни чувствовать хочу! А втайнё чувствую, что всё желанья тщетны, И жизнь скупа и внутренно я хиль; Мои стремленія замолкнуть безотв'ятны, Въ попыткахъ я запасъ растрачу силъ. Я самъ себъ кажусь подавленный страданьемъ, Какимь-то жалкимъ, маленькимъ глупцомъ, Среди безбрежности, затеряннымъ созданьемъ, Томящимся въ броженіи пустомъ... Духъ въчности обнять заразъ не въ нашей доль, А чашу жизни пьемъ мы по глоткамъ: О томъ, что выпито, мы все жальемъ боль, Пустое дно все больше видно намъ; И съ каждымъ днемъ душе тяжеле устарелость, Больнее помнить, и страшней желать, И, важется, что жезнь-отчаянная смелость. Но биться пульсъ не можеть перестать, И дальше я живу въ стремленьи безотрадномъ, И жизни крестъ беру я на себя-И весь душевный жаръ несу въ движеньи жадномъ, За мигомъ мигъ хватая и губя. И все хочу!.. Чего?.. О, такъ желаній много, Такъ къ выходу ихъ силь нуженъ путь, Что, кажется порой, ихъ внутренней тревогой Сожжется мозгъ и разорвется грудь.

IV.

Какъ школьникъ на скамъй, опять сижу я въ школй И съ жадностью внимаю и молчу;
Пусть длиненъ знанья путь, но духъ мой крипокъ волей,
Не страшенъ трудъ—я вйрю и хочу.

Вокругъ все юноши: учительское слово, Какъ я, они всё слушають въ тиши; Для нихъ все истина, имъ все еще такъ ново. Въ нихъ судить пыль неопытной души. Но я уже сюда явился съ мыслыю зрёлой, Сомнениемъ испытанной боецъ, Но не убитый имъ... Я съ призраками смъдо И искренно расчелся наконецъ; Я отстоявь себя оть внутренней тревоги, Съ терпеніемъ пустился въ повый путь И не собыссь теперь съ разсчитанной дороги-Свободна мысль, и силой дышить грудь. Что Мефистофель мой, завистникъ закоснёлый? Отныне власть твою разрушиль я, Бользненную власть насмышки устарылой; Я скорбью многой выкупиль себя. Теперь товарищь мив иной духъ отриданья: Не тоть насмёшникь черствый и больной, Но тотъ всесильный духъ движенья и созданья, Тоть вічно юный, новый и живой. Въ борьбъ безстрашенъ онъ, ему губить - отрада, Изъ праха онъ все строить вновь и вновь, И ненависть его къ тому, что рушить надо. Душа свята, такъ какъ свята любовь.

Быть можеть, многіе изъ насъ приготовлены теперь къ тому чтобы слышать другія річи, въ которых слабіве отзывалось бы мученье внутренней борьбы, въ которыхъ раньше и всевластиће являлся бы новый духъ, изгоняющій Мефистофеля, -- річи человіка, который становится во главъ историческаго движенія съ свъжими силами; но когда-то мы услышимъ такія різчи?--- да и въ самомъ ли дълъ многіе изъ насъ приготовлены къ тому, чтобы слышать и понять ихъ? И тъ, которые дъйствительно, готовы, знають, что если они могутъ теперь сдёлать шагъ впередъ, то благодаря тому только, что дорога проложена и очищена для нихъ борьбою ихъ предшественниковъ, и больше, нежели кто нибудь, почтутъ двятельность своихъ учителей. Онвгинъ смвнился Печоринымъ, Печоринъ-Бельтовымъ и Рудинымъ. Мы слышали отъ самого Рудина, что время его прошло; но онъ не указаль намъ еще никого, кто бы замѣнилъ его, и мы еще не знаемъ, скоро ли мы дождемся ему преемника. Мы ждемъ еще этого преемника, который привыкнувъ къ истинъ съ детства, не съ трепетнымъ экстазомъ, а съ радостною любовью

смотрить на нее; мы ждемь такого человѣка и его рѣчи, бодрѣйшей, вмѣстѣ спокойнѣйшей и рѣшительнѣйшей рѣчи, въ которой слышалась бы не робость теоріи передъ жизнью, а доказательство, что разумъ можетъ владычествовать надъ жизнью и человѣкъ можетъ свою жизнь согласить съ своими убѣжденіями.

И воть потому то, между прочимъ, что онъ одинъ изъ представителей своей эпохи, г. Огареву принадлежить почетное мъсто въ исторіи русской литературы—слава, которая суждена очень не многимъ изъ нынъшнихъ дъятелей. Есть у него и другія права—о нихъ мы отчасти говоримъ въ нашихъ «Очеркахъ», и подробнъе будемъ говорить когда нибудь, при первой возможности.

Но мы все говоримъ объ историческомъ значени дъятельности г. Огарева, а еще не сказали своего мнънія о чисто поэтическомъ достоинствъ его стихотвореній. Правда, кто знаетъ, что такое истинная слава, тотъ право на доброе слово исторіи поставитъ выше всякаго блеска. Но въдь историческое значеніе поэта должно же отчасти основываться на чисто поэтическомъ достоинствъ его произведеній. Мы не касались этой стороны произведеній г. Огарева, потому что надъемся черезъ нъсколько времени помъстить статью, въ которой будетъ разобранъ поэтическій талантъ г. Огарева.

совраніе стихотвореній в. венедиктова.

Три тома. Спб. 1856.

Литературная карьера была несчастна для г. Бенедивтова. Главною бёдою его, изъ которой произошли всё последующія непріятности, надобно считать то, что первая книжка стихотвореній, изданная имъ въ 1835 году, доставила автору многочисленныхъ почитателей и почитательницъ. Какимъ образомъ могла она произвесть такое впечатленіе, мы никогда не понимали и до сихъ поръ не понимаемъ, потому что даже тв качества, которыми восхищались поклонники г. Бенедиктова, вовсе не имбють чрезвычайнаго блеска, которымъ извинялось бы обольщение: великольція въ стихъ нътъ, сладострастіе въ картинахъ женской красоты и чувственной любви очень холодно и вяло. Одного только нельзя отрицать: языкъ. дъйствительно, испещренъ и кудревать до неимовърности, а метафоры неправдоподобно смёлы и безчисленны. Только на этомъ и могъ основываться успёхъ. Но, какъ бы то ни было, успёхъ этотъ былъ пагубенъ г. Бенедиктову, обративъ на него вниманіе читателей съ развитымъ вкусомъ и критики. Счастливы г. Тимоееевъ, г. Бернетъ, фонъ-Лизандеръ, Якубовичъ и другіе: они прошли незамівченными, за то и мало терпівли отъ насмівшекъ, — а г. Бенедиктову, по какому то губительному счастію, суждено было надівлать шуму,-и шумъ этотъ вызваль голосъ критики и образованной части публики... Завидна участь скромныхъ лилій, поблекнувшихъ въ безвестности, т. е. Якубовича, Стромилова, Гогніева и другихъ.

Подвергся г. Бенедиктовъ и другому несчастію въ самомъ началѣ своего поэтическаго поприща. Одному ученому цѣнителю изящнаго, знаменитому своими многочисленными промахами, почему то вздумалось краснорвчиво объявить, что г. Бенедиктовъ есть по преимуществу поэтъ мысли. Это быль самый странный изъ всвхъ возможныхъ промаховъ. Статья была такъ поразительна своею несообразностью съ разсудкомъ, что до сихъ поръ никто изъ читавшихъ ее не можетъ забыть о ней, хотя прошло съ того времени уже двадцать одинъ годъ.

Эти два пагубныя обстоятельства, въ которыхъ г. Бенедиктовъ быль нимало не виновать, нанесли ему безчисленный и безконечный вредь. Являлся ли нумеръ журнала, являлся ли какой нибудь сборникъ съ сгихотвореніями разныхъ служителей Феба и, между прочимъ, стихотвореніями г. Бенедиктова,— о стихахъ Коптева, Кропоткина, Крешева и т. д. или великодушно умалчивалось, или слегка упоминалось, что они плохи,—Коптевъ, Кропоткинъ, Крешевъ писатели темные: съ нихъ взыскивать нечего; но о стихахъ г. Бенедиктова нельзя было не говорить: въдь онъ писатель, имъющій толпу поклонниковъ и поклонницъ, раскупившихъ три изданія первой части его стихотвореній... И начинала критика разбирать новое стихотвореніе г. Бенедиктова... И каковы были эти разборы! Вотъ, напримъръ, отрывокъ изъ статьи «Отечественныхъ Записокъ», написанной о третьемъ томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ»:

«Г. Бенедиктовъ снабдилъ свой портреть пятью стихотвореніями. Посмотримъ на нихъ и начнемъ съ перваго.

«Лебедь плаваеть на водь «въ державной красоть», и у него завязывается съ поэтомъ преинтересный разговоръ; г. Бенедиктовъ спрашиваеть его:

Что такъ гордо, лебедь бёлый, Ты гуляешь по струямъ? Иль свершилъ ты подвигъ смёлый? Иль принесъ ты пользу намъ?

Лебедь отвічаеть г. Бенедиктову, что онь «праздно ніжится въ водномъ хрусталі», но что онь не даромъ «упитанъ гордымъ духомъ на землі», и именно воть почему:

Жизнь мою переплывая, (?)
Я въ водахъ омытъ отъ зла, (?)
И не давитъ грязь земная
Мив свободнаго крыла.
Отряхнусь—и сухъ я стану;
Встрепенусь—и серебристъ; (?)
Запылюсь—я въ волны пряну;
Окунусь и снова чистъ.

«Читатель, можеть быть, спросить, что значить «переплывать свою жизнь» и, пожалуй, не найдеть смысла въ этой фразѣ; можеть быть, также не пойметь, какъ можно омываться водою отъ зла кому нябудь, а тѣмъ болѣе лебедю, который, какъ животное, злу не причастень, а развѣ грязи, которую вода, дѣйствительно, имѣетъ способность смывать; еще, можетъ быть, читателю покажутся смѣшными послѣдніе четыре стиха, какъ реторическая стукотня пошлаго тона, а второй стихъ не понятенъ. Но мы совѣтуемъ вамъ не быть слишкомъ строгими и придирчивыми и не забывать, что вѣдь все это говорить птица, животное, которому простительнье, нежели людямъ, говорить вздоръ.

«Далве, лебедь, видя, что г. Бенедиктовъ благосклонно слушаетъ его болтовню и не останавливаетъ его, утверждаетъ решительную нелепость, будто человекъ никогда не слыхивалъ лебединаго крика (который поэты величаютъ пенемъ) на томъ основани, что

> Лебединыхъ сладкихъ пъсенъ Недостоинъ человъкъ.

Вслідствіе сего обстоятельства, онъ, реченный лебедь, и поетъ только для неба, да и то лишь въ предсмертный часъ свой. Но пініе не мініветь лебедю заблаговременно распорядиться своєю духовною. Во первыхъ, онъ даетъ поэту «чудотворное» перо изъ своихъ «крылій»,

И надъ міромъ, какъ изъ тучи. Брызнутъ модній созвучій Съ бдохновеннаго пера.

Теперь ясно, отчего одни поэты поють сладко, а другіе такъ отвратительно: первые пишуть лебединымъ перомъ, а вторые—гусинымъ. Кэнечно, если хотите, хорошій поэть и гусинымъ перомъ будеть писать недурно, но все не такъ, какъ лебединымъ, потому что, владъя этимъ «чудотворнымъ» орудіемъ, онъ дълается «пъвучимъ наслъдникомъ» лебедя. Аvis aux роётея! Потомъ лебедь завъщаетъ для изголовья милой дъвы мягкій пухъ съ мертвенно-остылой груди, въ которой виталъ летучій духъ!!.. И этому пуху дъва, въ нъмую ночь, ввъритъ, изъ-подъ внутренней грозы, роковую тайну пламенной слезы,

И, согръть ея дыханіемъ, Этотъ пухъ начнетъ дышать И упругимъ колыханьемъ Бурнымъ перьямъ отвъчать.

Подумаещь, сколько хорошаго можеть надълать одинь лебедь! А все отчего? оттого, что онъ отряхнется—и станеть сухъ, встрепенется—станеть серебристь, запылится—и поскорье въ волны, окунется—и какъ ни въ чемъ не бываль! Оттого онъ и пъсни поеть небу и перо дарить поэту, а пухъ—красавиць! А затъмъ... но пусть онъ вамъ самъ скажеть, что будеть съ нимъ затъмъ: онъ такъ хорошо говорить, что хочется и еще послушать его:

Я исчезну,—и средь влаги, Гдё скольвиль я, полнъ отваги, Не увидить міръ слёда; А на мёстё, гдё плескаться Такъ любилъ я иногда, Будетъ тихо отражаться Неба мирная звёзда.

«Но что же изъ всего этого? какой результать, какой смысль, какая мысль, какое, наконецъ, впечатление въ уме читателя? Ничего, ровно ничего, больше, чемъ ничего—стихи, и только... Чего жь вамъ больше? Не все же гоняться за смысломъ—не мешаетъ иногда удовольствоваться и одними стихами.

«Однажды, въ поэтическую минуту, вниманіе г. Бенедиктова привлекла-

Отъ женской головы отъятая коса, Достойная любви, восторговъ и стенаній, Густая, черная, сплетенная въ три грани, Изъ страшной тьмы могиль исшедшая на свётъ, Не измёненная подъ тысячами лётъ, Межь тёмъ, какъ столько косъ, съ ихъ царственной красою, Изсёклось времени нещадною косю.

«Надо согласиться, что было надъ чёмъ попризадуматься, особенно поэту Не диво миё—говоритъ г. Бенедиктовъ—что діадемы не гніютъ въ землё:

Въ нихъ рдѣло волото—прельстительный металлъ! Онъ время соблазнитъ и вѣчность онъ подкупитъ,— И та ему удѣлъ нетлѣнія уступитъ.

«Эта удивительная фраза о соблазнѣ времени и подкупѣ вѣчности золотомъ, какъ будто бы время—женщина, а вѣчность —подъячій, —эта несравненная фраза даетъ надежду, что г. Бенедиктовъ скажетъ когда-нибудь, что гранитъ и желѣзо запугиваютъ или застращиваютъ время и вѣчность, и эта будущая фраза, подобно нынѣшней, будетъ тѣмъ громче и блестящѣе, чѣмъ безсмысденнѣе. Итакъ, неудивительно, что золото не гніетъ въ землѣ: но какже коса-то уцѣлѣла?

Ужели ли она Всевластной предестью надъ временемъ сильна? И въчность жадная на этотъ даръ прекрасный, Глядъла издали съ улыбкой сладострастной?

«Часъ отъ часу не легче! Ввчность доступна обольщению, подкупу! ввчность сладострастна! Какая негодница!.. Но что жь дальше? Дальше общія міста по реторикі г. Кошанскаго: гдв глаза этой косы, которые сводили съ

ума диктаторовъ, царей, консуловъ, мутили весь міръ, въ которыхъ были свётъ, жизнь, любовь, душа, въ которыхъ «пировало безсмертіе» (??!!!...) и т. п. Гдё жь они?

И тихо выказаль осклабленный скадеть На желтомъ черепъ пва страшные провала.

Откуда же взялся черепъ? Въдь дёло о косъ, «отъятой отъ женской головы»? Подите съ поэтами! спрашивайте у нихъ толку!..

«Въ третьемъ стихотвореніи г. Бенедиктовъ бранить толиу, и, надо сказать, довольно недурно, еслибъ только онъ поостерется отъ персидскихъ метафоръ, въ родъ следующихъ: «полотно широкой думы пламенветь подъ краской чувства», «громъ искрометной риемы» и т. п. вычурностей пошлаго тона. Въчетвертомъ стихотвореніи г. Бенедиктовъ разсказываетъ намъ, какъ невинно и духовно взиралъ онъ на грудь «девы стройной»:

Любунсь красотой сей выси благодатной, Прозрачной, трепетной, двухолиной, двураскатной,

.

Онъ чувство новое въ груди своей питалъ; Повлоннивъ чистыхъ музъ—желаньемъ не сгоралъ Удава вольцами вкругъ милой обвиваться, Когтями ястреба въ пухъ лебедя впиваться.

«Какіе сильные, и главное, какіе изящные и благородные образы!.,.

«Нельзя не согласится, что г. Бенедиктовъ-поэть столько же смёлый, сколько и оригинальный. У него есть свои поклонники, и медкіе рифмачи даже пишуть къ нему посланія стихами, въ которыхъ не знають, какъ и изъявить ему свое удивление. Нашелся даже критикъ, который поставиль его выше вскуъ поэтовъ русскихъ, не исключая и Пушкина. Само собою разумъется, что предметь поклоненія всегда бываеть выше своихъ поклонниковъ; а такъ какъ почитателей таланта г. Бенедиктова даже и теперь тьма-тьмущая, то и нельзя не согласится, что г. Бенедиктовъ есть въ своемъ роде замечательное явленіе въ русской литературъ, какъ были въ ней замъчательны, напримъръ, Мардинскій и г. Языковъ. Конечно, подобная «замічательность» ненадежна и недолговременна, но все же она имъетъ свое значение, потому чго основана не на одномъ только дурномъ вкуст эпохи или значительной, по большинству, части публики но также и на талантъ своего рода. Но мы уже не разъ говорили, что есть таланты, которые служать искусству положительно, и есть другіе которые ему служать отрицательно: произведенія первыхъ приводятся эстетиками, какъ примеры истиннаго и правильнаго хода искусства; произведенія вторыхъ служать для примъровъ ложнаго и фальшиваго направленія искусства. Это бываетъ не съ одними лицами, но и съ народами: для образцовъ изящнаго вкуса смело пользуйтесь греками, для образцовъ дурнаго вкуса смело обращайтесь къ витайцамъ и у послёднихъ берите только лучшихъ художниковъ и лучшія произведенія. Муза г. Бенедиктова-женщина средней руки если хотите не дурная собою, даже хорошенькая, но съ пошлымъ выраженіемъ лица, бойкая, вертиявая и болтанвая, но безъ граціи и достоинства, стращная щеголиха, но безъ вкуса; она любить бёлила и румяна, хотя бы могла обходиться и безъ нихъ, любить пестроту и яркость въ нарядё и, за неимъніемъ брильянтовъ, охотно бременить себя стразами; ей мало серегь: подобно индъйской баядеръ, она готова носить золотыя кольца даже въ ноздряхъ. Все это относится только къ выраженію въ поэзіи г. Бенедиктова. Разложить стихотвореніе г. Бенедиктова на составные эдементы, пересказать его содержаніе изъ него же взятыми и нисколько не измѣненными фразами, всегда значить обратить его въ пустоту и ничтожество». («Отечественныя записки» 1845 г., № 9, Критива, стр. 13—15).

А воть другой отрывокъ изъ разбора Альманаха «Метеоръ»; онъ взять также изъ «Отечественныхъ Записокъ» за тоть же годъ.

«Въ «Метеорѣ» доставило намъ истинное удовольствіе, до слезъ развеселило насъ стихотвореніе г. Бенедиктова: «Тость». Не можемъ отказать себѣ въ наслажденіи подѣлиться съ читателями нашимъ весельемъ.

Часто рдёють, словно розы,
И въ разваль ихъ вновь и вновь
Винограда брывнуть слевы,
Нервный сокъ (?) его и кровь.
Эти чаши днесь воздымемъ.
И, склонивъ къ устамъ края,
Влагу свётлую пріимемъ
Въ честь и славу бытія,
Общей живни въ честь и славу,
За ея всесвётный тронъ,
И всемірную державу
Поглотить струю кроваву
До осушки ствляныхъ донъ!

«Стихотвореніе это столько же огромно, сколько и прекрасно: всего нельзя выписать; ограничимся лучшимъ:

Жизнь сіяй! Твой свёточь—разумь. Да не мервнеть подъ тобой Свёть сей, вставленный алмазомъ Въ перстень вёчности самой;

•Удивительно! Разумъ сперва является свёточемъ жизни, потомъ уходитъ подъ жизнь и наконецъ дёлается алмазомъ и попадаеть въ перстень вёчности! Какая глубокая мысль—ничего не поймешь въ ней! Господа современные русскіе стихотворцы, объясните намъ смысль этой глубокой мысли: тысячи пудовъ россійскихъ стихотвореній въ награду.

Вънчанъ лавромъ или миртомъ — На подобіе сихъ чашъ, Буди налитъ черепъ нашъ Сокомъ думъ и мысли спиртомъ! Браво! брависсимо! Наподобіе чашъ, налить черепа живыхъ (физически) людей сокомъ думъ и спиртомъ мысли: какая счастливая, оригинальная мыслы! Жаль только, что она будеть въ подрывъ откупамъ и погребамъ.

Пьемъ за милыхъ — въстницъ рая — За красы ихъ, начиная Съ полныхъ мрака и лучей Зажигательныхъ очей. Томныхъ, нъжныхъ и упорныхъ, Пвётомъ всяческихъ-цвётныхъ, Сърыхъ, карихъ, адски-черныхъ И небесно-голубыхъ! За вдоровье устъ румяныхъ Бивдныхъ, алыхъ и багряныхъ --Этихъ движущихся струй, Гдв дыханье пламенветь, Рвчь дрожить, улыбка, млветь Пышеть ввиный поцвиуй! Въ честь кудрей благоуханныхъ; Леганхъ, дымчатыхъ, туманныхъ, Свътно-русыхъ, золотыхъ, Темныхъ, черныхъ, разсыпныхъ, Съ ихъ неистовымъ извивомъ, Съ искрой, съ отблескомъ, съ отливомъ. И закрученыхъ, какъ сталь. Въ безконечную спираль!

«Далье поэть настанваеть въ своемъ намерени восчествовать юныхъ девъ и добрыхъ женъ.

Сихъ богинь огне-сердечныхъ, Къмъ міръ цълый проведенъ Чревъ святыню персей млечныхъ, Колыбели и пеленъ.

Этихъ гордицъ, этихъ львицъ, Расточительницъ блаженства И страданія царицъ!

«Молніеносными чертами рисуеть потомъ поэть географію и анатомію Россіи:

Чудный край! черезъ Алтай Бросивъ локоть на Китай, Темя вспрыснувъ Оксаномъ, Въ Балтъ ребромъ, плечемъ въ Атлантъ (!). Въ полюсъ лбомъ, пятой къ Балканамъ Мощный тявется (?!) гигантъ. «Потомъ поэтъ, прійдя въ вящшій восторгъ, предлагаетъ выпить сока думъ и спирта мысли—

> Въ славу солнечной системы, Въ честь и солнца и планеть, И дружинъ огве-крыдатыхъ Длинно-хвостыхъ, бородатыхъ Выстрыхъ, бъщеныхъ кометъ.

Наконецъ ему показалось, что земля

Мчится въ пляскё круговой Въ паръ съ върною луной,—

что «всв міры танцують»...

«Жальемъ, что не могли выписать этого дивнаго двенрамба вполны: въ немъ еще осталось столько соку думъ и спирта мысли!... Правъ, тысячу разъ правъ г. Шевыревъ, доказавшій, что до г. Бенедиктова въ русской поэзіи не было мысли, и что Державивъ, Крыловъ, Жуковскій, Батюшковъ, Пушкинъ— поэты безъ мысли. Да, только съ появленіемъ книжки стихотвореній г. Бенедиктова русская поэзія преисполнилась не только мыслію, но и сокомъ думъ и спиртомъ мысли...» («Отечественныя Записки» 1845 г., № 5. Библіогр., стр. 18—15).

Не ужасны ли эти насмѣшки? Положимъ, что онѣ справедливы; но чѣмъ же виноватъ г. Бенедиктовъ въ томъ, что его стихотворенія заслуживаютъ такихъ насмѣшекъ?

Еще прискорбиве читать пародіи на стихотворенія г. Бенедиктова, потому что рёшительно не видишь, чёмъ стихотворенія его отличаются отъ пародій, на нихъ написанныхъ. Воть, напримёръ, пусть человѣкъ, которому бы не было памятно, какія изъ шести приведенныхъ нами стихотвореній — подлинныя стихотворенія, а какія — пародіи на нихъ, — пусть такой человѣкъ различитъ пародіи отъ стихотвореній:

I.

Есть міновенья думъ упорныхъ
Разрушительно-тлетворныхъ,
Мрачныхъ, буйныхъ, адски-черныхъ,
Сихъ—опасныхъ, какъ чума—
Расточительницъ несчастья,
Въстницъ зла, воровокъ счастья
И гасительницъ ума!

Вотъ въ неистовствъ разбоя Въ грудь вломились, яро воя—

Все вверхъ дномъ! И цёлый адъ Тамъ, гдв часъ тому назадъ Яркимъ, радужнымъ алмазомъ Пламенвлъ твой светочъ, разумъ! Гдв любовь, добро и миръ Пировали честный пиръ! Адъ сей-въ комъ изъ земнородныхъ Отъ степей и нивъ безплодныхъ Сихъ отчаянныхъ краевъ, Полномъ хлада и сибговъ-Отъ Камчатки льдяно-реброй До бреговъ отчизны доброй, — Въ комъ онъ бурно не кипълъ? Кто его-страстей изъятый, Безсердечіемъ богатый — Не восчествовать посмыть? Адъ сей – ревностью онъ кинутъ Въ душу смертнаго. Раздвинутъ Для него широкій путь Въ человъческую грудь.... Онъ грядетъ съ огнемъ и трескомъ, Онъ ласкательно язвить, Все инымъ кровавымъ блескомъ Обольеть и превратить Міръ въ темницу, радость-въ муку, Счастье-въ скорбь, веселье-въ скуку, Жизнь-- въ кладбище, слезы-- въ кровь, Въ ядъ и ненависть-любовь! Полонъ чувствъ огнепалящихъ, Вопіющихъ и томящихъ, Проживаеть человыкь Въ страшный мигь тоть целый векъ!

II.

Нѣтъ, красавица, напрасно,
Твой языкъ лепечетъ мнѣ,
Что родилась ты въ ненастной,
Нашей хладной сторонѣ.
Нѣтъ, не вѣрю: издалека
Вѣтеръ къ намъ тебя завлекъ;
Ты жемчужина Востока,
Поля жаркаго цвѣтокъ!
Черный глазъ и черный волосъ —
Все не нашихъ русыхъ дѣвъ,

И въ ръчи кипить твой голосъ, А не тянется въ распъвъ: Вольной зыбью океана Грудь волнуется твоя, И извивъ живаго стана — Азіатская змёя.

Ты глядишь очей не жмуря, И въ очахъ горитъ смола. И тропическая буря Дышеть пламенемъ съ чела, Фосфоръ-въ бъщеномъ сверкань в — Взгляды быстрые твои, И сладчайшее дыханье Вветъ мускусомъ любви, -И какой-то силой скрытной Ты, волшебница, полна, Притягательно-магнитной Сферой вся обведена. Сынъ жельза-сьверянинъ Этой силой отуманенъ, На тебя наводить взоръ — И предъ этимъ обаяньемъ, Ограждаясь разстояньемъ, Еле держится въ упоръ. Лишь нарушься только мара, Полъ-шага ступи впередъ, Обаятельная сфера Такъ и тянетъ, такъ и жжетъ! Нѣтъ, не вѣрю; ты не близко Рождена: твои черты Говорять: султанша ты, Ты Зюлейка, одалиска. Верхъ восточной красоты!

III.

Съ эффектомъ громовымъ, побёдно и мятежно Ты въ мірё пронеслась кометой неизбёжной И бёдныхъ юношей толпами наповалъ, Какъ молнія, твой взоръ и жегъ и убивалъ! Я помню этотъ взглядъ фосфорно-ядовитый И локонъ смоляной, твоимъ искусствомъ взбитый, Небрежно падавшій до раскаленныхъ плечъ, И пламенемъ страстей клокочущую рёчь,

Двухолиной груди блескъ и узкой ножки стройность. Во всъхъ движеніяхъ разгаръ и безпокойность И принекавшія лобзаньями уста — Вѣнецъ красы твоей, о дѣва-красота! Я помню этотъ мигъ, когда царица бала. По льду паркетному сильфидой ты летала И какъ, дыханіе въ груди моей тая, Взирая на тебя, страдалъ и рвался я, Какъ нынѣ рвуся я, безумецъ одинокій, Надъ сей могилою, заглохшей и далекой.

IV.

Есть чувство адское: оно вскинить въ крови И, вызвавъ демоновъ, вселить ихъ въ рай любви, Лобзанья отравить, оледенить объятья, Вздохъ нъги превратить въ хрипящій вопль проклятья, Отниметь все—и свътъ, и слезы у очей, Въ прельстительныхъ кудряхъ укажетъ свитыхъ змъй, Въ улыбкъ алыхъ устъ—геены осклабленье, И въ легкомъ шопотъ—ехиднино шипънье.

Вотъ, вотъ предестница! Усмѣшка по устамъ Ползеть, какъ свётный червь по розовымъ листамъ. Она-съ другимъ-нъжна! Увлажена ресница; И наглый взоръ его сверкаетъ, какъ зарница По предестямъ ея, какъ моднія скользить По персямъ трепетнымъ, впивается, язвитъ, По складкамъ бархата стремительно струится И въ брызги адскія у ногъ ея дробится; То брызжеть ей въ лицо, то лижеть милый следъ. Вотъ руку подала! Изманницы браслеть Не стиснуль ей руки.... Ужь воть ея мизинца Коснулся этоть левь изъ моднаго зверинца, Съ восматой гривою! — Зачёмъ на ней надётъ Сей свётно-розовый мив ненавистный цвёть? Условья нъть ли здесь? Въ васъ тайныхъ знаковъ неть ли, Извинченныхъ кудрей предательскія петли? Въ васъ, пряди черныхъ косъ, подернутыя мглой? Въ васъ, верви адскія, залитыя смолой, Щипцами демоновъ закрученные свитки, Снаряды колдовства, орудья вёчной пытки?

٧.

О, какъ быстра твоихъ очей Огнемъ напитанная влага! Отъ нихъ — и тысячи смертей И море жизненнаго блага! Онь, одытыя черно, Горять во мракв сей одежды; Сей трауръ имъ носить дано По тёхъ, которымъ суждено Отъ нихъ погибнуть безъ надежды. Быть можеть, въ сумрака земномъ Ихъ пламя для того явилось, Чтобъ небо звъздъ своихъ огнемъ Передъ землею не гордилось, -Или оттоль, гдё звёздъ ряды Крестять эсирь дучей браздами, Упали былыхъ два звазды И стали черными звіздами. Порой въ нихъ страсть: ограждены Двойными иглами респицы, Они на міръ наведены И смотрять ужасомъ темпецы, Гдв черезъ эти два окна Черићетъ страшно глубина, --И поглотить мірь цілый кочеть Та всеобъемиющая мгла. И тамъ кипящая клокочетъ Густая черная смола; Тамъ адъ; но муки роковыя Радъ каждый взять себв на часть, Чтобъ только въ этотъ адъ попасть, Пронивнуть въ бездны огневыя, Отдаться демонамъ во власть, Истратить разомъ жизни силы, Перекипать, перегорать, Кончаясь, трепетать и млеть И, какъ въ бездонныхъ две могилы, Все въ тѣ глаза смотрѣть, смотрѣть.

VI.

Воть она, звёзда Востока, Неба жаркаго цвётокъ! Въ сердце дёвы страстно-окой Льется пламени потокъ!

Груди быются, будто волны, Пухъ на дівственныхъ щекахъ И, роскошной нізги полны, Рдіютъ розы на устахъ; Брови черныя дугою И зубовъ жемчужный рядъ, Очи — звёзды подо мглою --- Провозвёстники отрадъ!

Все любовію огнистой, Сумасбродствомъ дышеть въ ней, И вурчаво-смолянистый На плечъ побъть вудрей....

Дѣва юга! Предъ тобою Бездыханенъ я стою: Взоромъ адскихъ, какъ стрѣлою, Ты произила грудь мою!

Этимъ взоромъ, этимъ взглядомъ — Чаровница! — ты миѣ вновь Азіятскимъ злѣйщимъ ядомъ Отравила въ сердцѣ кровь!

Изъ этихъ шести стихотвореній, три принадлежатъ г. Бенедиктову, другія три написаны какъ пародіи на его манеру. Но читатель, не знавшій предварительно, которыя именно стихотворенія относятся къ первому, которыя къ последнему классу, наверное, не будеть въ состояніи избежать ошибокъ при различеніи подлинныхъ стихотвореній отъ пародій. Это очень огорчительно.

Двадцать л'этъ постоянно быть предметомъ безчисленныхъ разборовъ, подобныхъ т'эмъ, какіе приведены выше—судьба, которая можетъ поселить состраданіе въ душ' самаго суроваго судьи.

Намъ очень тяжела была необходимость говорить о стихотвореніяхъ г. Бенедиктова, потому что мы не видёли возможности измёнить сужденіе, которое безчисленное количество разъ было произносимо различными журналами о достоинстве его произведенія. Но мы надёялись, что найдемъ, по крайней мёрё, какую нибудь возможность смягчить это сужденіе. Изъ сожалёнія о грустной судьбё этихъ стихотвореній, мы перечитывали изданные теперь три тома, расположивъ себя къ величайшей снисходительности, проникнувшись желаніемъ найти въ нихъ что нибудь, кромё недостатковъ, которые столько разъ уже были замёчаемы другими рецензентами.

Наши поиски не были совершенно напрасны: мы нашли три или четыре стихогворенія, въ которыхъ г. Бенедиктовъ, оставляя обык-

новенныя свои темы, обращается мыслью къ событіямъ, совершающимся вокругь насъ,—изъ міра «извинченныхъ кудрей», «фосфорныхъ очей» и адскихъ страстей, выражаемыхъ натянутыми метафорическими гиперболами, переходить въ міръ чувствъ, знакомыхъ обыкновеннымъ людямъ. Намъ пріятно было убѣдиться, что г. Бенедиктовъ иногда выказываетъ въ этихъ случаяхъ чувства и желанія, достойныя уваженія. Особенно примирительно можетъ дъйствовать на читателей та пьеса, которою заключаются въ третьей части оригинальныя произведенія г. Бенедиктова.

СТАНСЫ ПО СЛУЧАЮ МИРА.

Вражды народной конченъ пиръ. Пора на отдыхъ ратоборцамъ! Насталъ давно желанный миръ,— Насталъ, — и слава миротворцамъ!

Довольно кровь людей лилась.... О, люди, люди! вспомнить больно! Отъ адскихъ жерлъ земля тряслась И бёсы тёшились.... довольно!

Довольно черепы ломать. Въ собрать видьть душегубца, И знамя брани подымать Во имя Еога-Миролюбца!

За миръ помолимся Тому, Изъ Чьей десницы все пріемлемъ, И вкуп'ю взмолимся Ему Да въ лон'ю мира не воздремлемъ!

Не время спать, о братья, — нѣтъ! Не обольщайтесь настоящимъ! Женихъ въ полунощи грядетъ: Блаженъ, кого найдетъ не спящимъ.

Царь, призывая васъ из мольбъ-За этоть миръ, любви словами Зоветь васъ из внутренней борьбъ Со зломъ, съ домашними врагами.

Въ словахъ тёхъ шлетъ онъ Вожью вёсть — Не пророните въ нихъ ни звука! Слова тъ: въра, доблесть, честь, Законы, милость и наука. Всімъ будеть діло. Превозмочь Должны мы лінь, средь діль бумажныхъ Возростую, Хищенье— прочь! Исчезни племя душъ продажныхъ!

Ты, малый тружениеъ земли, Сознай, что въ дёлё нёть бездёлки! Не мысли, что грёхи твои За тёмъ простительны, что мелки!

И ты, сановникъ, не гордись! Не мни, что злу ты недоступенъ, И неподвупнымъ не зовись, Коль только златомъ неподвупенъ!

Не лихонмець ли и ты, Когда своей чиновной силой Кривишь судебныя черты За взглядъ просительницы милой?

Коль гнешь рычагь своихъ вѣсовъ Изъ старой дружбы, изъ участья, Иль по ходатайству большихъ Или за взятку сладострастья?

Всявъ трудъ свой въ благо обращай! Имущій силу ділать — ділай! Имущій словеса—візщай, Греми глаголомъ правды смілой!

Найдется діло и тебі, О, чувствъ и думъ зерно-метатель! Возстань и ты къ святой борьбі, Витія мощный и писатель!

Возстань,—не духа злобы полнъ, Возстань не буйнымъ демагогомъ, Не лютымъ двигателемъ волнъ, Влекущимъ къ гибельнымъ тревогамъ:

Нётъ! гласомъ добрымъ воззови, И зовъ твой, гдё бы ни прошелъ онъ, Пусть духомъ мира и любви И въ самомъ громё будетъ полонъ!

Огнемъ свой ополчи глаголъ
Лишь на несчастіе земное,
И—съ Богомъ—ратуй противъ золъ!
Взгляни на общество людское:

Увидишь язвы въ немъ; имъ данъ Лукавый ходъ по жиламъ царства, И противъ этихъ тайныхъ ранъ Нѣтъ у врачей земныхъ декарства.

Пороковъ мало дь есть такихъ, Которыхъ ядъ полъ-міра губить, Но судъ властей не судить ихъ И мечъ закона ихъ не рубить!

Ты ведишь: бъднаго лиша Последнихъ благъ въ последнемъ деле, Ликуя, низкая душа Широко дремлеть въ тучномъ теле.

Пышнъй, вельможнъй всъхъ владыкъ, Добывъ чертогъ аристократа, Иной бездушный откупщикъ По горло тонетъ въ грудахъ злата.

Мы видимъ роскошь безъ границъ И океанъ долговъ бездонныхъ, Мужей, дошедшихъ до темницъ, Отъ раззорительницъ законныхъ.

Нерідво видимъ мы окресть И брачный торгь—укоръ семействамъ, И юныхъ жертвенныхъ невість, Закланныхъ дряхлымъ любодійствомъ.

Зримъ въ вертоградахъ золотыхъ, Среди цвътовъ, въ тъни смоковницъ, Любимцевъ счастія пустыхъ И вкъ блистательныхъ любовницъ.

Толна спѣшить не въ храмъ Творца: Она спѣшить, воздѣвъ десницу, Златаго чествовать тельца Иль позлащенную телицу.

Но есть для васъ, сыны грѣха, Но есть для васъ, земли кумиры, И громъ и молнія стиха И бичъ карающей сатиры,—

И есть комедіи арканъ, — И, какъ боецъ, открывъ арену, Новъйшихъ дней Аристофанъ Клеона вытащитъ на сцену. Гласъ Божій, мнится, къ намъ воззвалъ И указуетъ перстъ судьбины, Да встанетъ новый Ювеналъ И сдернетъ гнусныя личины!

Правда, художественнаго достоинства въ этой пьесв довольно мало: она растянута, некоторые удары автора не попадають въ цёль, и вообще пьеса кажется прозою, переложенною въ стихотворный размёръ; но первыя и нёкоторыя изъ среднихъ строфъ заслуживають похвалы по мысли, а въ последнихъ трехъ даже выражение замъчательно сильно. Изъ другой пьесы подобнаго содержанія — «къ Россіи», написанной г. Бенедиктовымъ также въ последнее время, недавно были приведены въ «Современнике» лучшія строфы («Соврем.» 1855 г., № 12, Замітки о журналахъ). Въ третьемъ томъ есть пять-шесть стихотвореній, которыя хотя не имъють особенных достоинствъ, но лучше другихъ твиъ, что написаны языкомъ не слишкомъ напыщеннымъ. Эти немногія стихотворенія и особенно пьеса «Къ Россіи» и «Стансы по случаю мира», в вроятно, оправдають насъ передъ читателями въ томъ, что мы хотимъ высказать свое мивніе о степени таланта г. Бенедиктова безъ насмъщекъ надъ напыщенностью его языка, который уже слишкомъ достаточное число разъ бывалъ въ нашихъ журналахъ предметомъ шутки.

Несмотря на все наше желаніе смотръть на произведенія г. Бенедиктова самыми благорасположенными глазами, мы никакъ не можемъ видеть въ нихъ хотя бы слабыхъ следовъ поэзіи. Чувства въ нихъ нътъ; они носятъ на себъ слишкомъ очевидные признаки, что все въ нихъ — придуманное, сочиненное; отъ самыхъ сладострастныхъ картинъ въетъ холодомъ; на самыхъ гиперболическихъ выраженіяхъ лежить тяжелый отпечатокъ недостатка фантазіи. Поэтическая фантазія состоить не въ томъ, чтобы придумывать небывалыя метафоры и гиперболы, — иначе, въ извъстной книгъ «Не любо не слушай» было бы гораздо больше поэзіи, нежели въ Шекспиръ и Гомеръ. Она не состоитъ и въ томъ, чтобы описывать подробно всв принадлежности женскаго организма: иначе, въ «Руководствъ къ повивальному искусству» опять-таки было бы гораздо больше поэзіи, нежели въ Шекспирѣ и Гомерѣ. Поэтическая фантавія состоить въ томъ, чтобы предметь немногими чертами изображался живо и точно; а этого качества решительно неть въ стихотвореніяхъ г. Бенедиктова. Хотя бы даже оставить безъ вниманія всё натянутыя и неловкія выраженія, все-таки стихотворенія г. Бенедиктова остаются холодны, картины его сбивчивы и безжизненны. Потому надобно, къ сожаленію, решительно сказать, что поэгическаго таланта у г. Бенедиктова мало.

Такое заключеніе, по видимому, не утёшительно, — но только по видимому; на самомъ же дёлё, оно очень успоконтельно и совершенно примиряеть насъ съ стихотвореніями г. Бенедиктова. По нашему убёжденію, нельзя упрекать его ни въ чемъ, напрасно преслёдовать его насмёшками и т. д. — все это совершенно безполезно. Напрасно говорить, что онъ злоупотребляль своимъ талантомъ или шелъ по ложному пути — для него не было никакой дороги въ царстве поэзіи. Прежде, когда у него были почитатели изъ числа людей съ неразвитымъ вкусомъ, конечно, нужно было разоблачать недостатки его произведеній, чтобы вывести этихъ заблуждавшихся людей изъ ошибки, вредной для ихъ развитія. Но теперь эта надобность, кажется, уже миновалась. Время успъха давно прошло для г. Бенедиктова.

Но, однако же, некогда успекть его быль громадень въ известной части публики, — должень же быль на чемъ нибудь основываться этотъ успекть? Мы уже сказали, на чемъ онъ основывался: на неразвитости вкуса. Прибавимъ и другую причину — стихотворенія г. Бенедиктова привлекали своими физіологическими подробностями. Оне возбуждали интересъ точно такого же рода, какъ та картинка, на которую засмотрелся Акакій Акакіевичъ, идя по Невскому проспекту: дама надеваеть на ногу чулокъ—предметь интересный, хотя бы рисунокъ и быль довольно плохъ.

Статья наша окончена. Остается только сказать, что изъ шести стихотвореній, приведенныхъ нами, г. Бенедиктовымъ написаны второе, четвертое и пятое, а стихотворенія, поставленныя на первомъ, третьемъ и шестомъ мѣстѣ—пародіи.

СТИХОТВОРЕНІЯ Н. ЩЕРБИНЫ. Два тома. Спб. 1857 г.

Первый, очень небольшой по объему сборникъ стихотореній, изданный г. Щербиною, показаль въ немъ поэта съ замвчательнымъ талантомъ. Съ того времени прошло семь лътъ. Г. Щербина въ продолжение этихъ летъ постоянно печаталъ свои произведения въ разныхъ журналахъ. Многія изъ новыхъ пьесъ были преврасны, -- но извъстность г. Щербины мало возвышалась до послъдняго времени, когда начали появляться его «Ямбы». Благородная мысль, одушевлявшая эти пьесы, живо вызывала сочувствіе каждаго порядочнаго человъка. Но если мы подумаемъ о томъ, какое громкое одобрение заслужили пьесы съ современнымъ содержаниемъ г. Бенедиктова, то не можемъ скрыть отъ себя, что поэтъ съ такимъ талантомъ, какъ г. Щербина, касаясь живыхъ идей, долженъ быль бы возбудить гораздо большій восторгь, — не можемь защититься оть мысли, что «Ямбы» г. Щербины, хотя и не были безсильны, но не производили того действія, какого должно было бы ожидать отъ пьесъ подобнаго содержанія, писанныхъ челов'якомъ истинно даровитымъ, какимъ не возможно не признавать г. Щербину.

Г. Щербина видить, и, мы увърены, оцънить прямоту, съ которою мы говоримъ о его стихотвореніяхъ. Еслибъ мы не были убъждены въ силахъ его таланта, не были увърены, что при болье върномъ употребленіи своихъ силъ, талантъ его можетъ явиться публикъ въ блескъ, несравненно болье высокомъ, — еслибъ мы не были увърены въ этомъ, мы не коснулись бы щекотливаго вопроса, нами поставленнаго на видъ. Мы просто сказали бы, что г. Щербина— «одинъ изъ лучшихъ нашихъ поэтовъ въ настоящее время», что «его прекрасный талантъ отличается такими-то и такими-то превосходными достоинствами», что «хотя, конечно, и у него, какъ

у всякаго другаго, есть произведенія слабыя» (о чемъ упомянули бы только слегка, для формы), но что «такія-то и такія-то пьесы у него истинно очаровательны своею прелестью, а такія-то и такія-то очень замізчательны своєю благородною энергією», -- наговорили бы множество похваль этимъ прекраснымъ пьесамъ, -- и темъ. кончили бы нашъ отзывъ. О недостаткахъ пьесъ ничего, или почти ничего; о достоинствахъ-много, очень много. Такъ мы поступили бы, еслибъ дело шло о таланте обыкновенномъ, который пусть себъ развивается, какъ случилось, отъ котораго нельзя ожидать ничего лучшаго, нежели тв прекрасныя пьесы, которыя онъ уже даль намъ. Но талантъ г. Щербины-это дёло совершенно другое. Вопросъ о немъ довольно важенъ для того, чтобы отбросить въ сторону всякую щекотливость, и высказать не только то, чтопріятно, но и все, что нужно высказать. Такіе таланты являются не каждый день. Если такой таланть не сделаеть всего, что можеть сдълать, это будеть уже потерею для литературы. Туть дъло важнъе всякихъ дичныхъ отношеній.

Мы прямо поставили вопросъ о несоотвътствии извъстности, которую доставили г. Щербинъ напечатанныя имъ до сихъ поръпроизведенія, съ силами его таланта. И также прямо отвъчаемъ: это несоотвътствіе происходить оттого, что г. Щербина до сихъ поръ еще не нашелъ върнаго употребленія для силъ своего таланта; онъ все еще стъсняеть себя или принужденностью формъ или принужденностью тона, боясь отдаться естественному влеченію своего таланта.

Онъ началъ стихотвореніями, которыя самъ назваль «греческими», и которыя всего лучше можно охарактеризовать, сказавъ, что они очень близки по духу, а часто и по достоинству формы, къ стихотвореніямъ Шенье. Мы не знаемъ, на сколько участвовало въ ихъ происхожденіи вліяніе Шенье, на сколько личная симпатія автора къ античному міру, на сколько разныя другія вліянія или сочувствія. Если бы талантъ г. Щербины по натурѣ своей могъ удовлетвориться этимъ родомъ повзіи, мы ничего не сказали бы противъ того, — но увидѣли бы только, что въ этомъ случаѣ капризъ природы произвелъ среди насъ человѣка, который говоритъ прекрасно, но говоритъ не нашимъ языкомъ, котораго мы можемъ понимать, но не иначе, какъ при помощи ученыхъ соображеній и искусственно возбужденнаго настроенія мыслей. Но не всѣ такъ

думають. Для многихъ именно то и кажется поэзіею, что удалено отъ нашей обыкновенной жизни, что понимается только посредствомъ особеннаго напряженія мысли. Люди, увлеченные этимъ предразсудкомъ, сдёлали два предложенія: во-первыхъ, что такъ называемая античная форма есть высочайшее совершенство искусства; во-вторыхъ, что г. Щербина по натурѣ своего таланта не можетъ быть ни чѣмъ инымъ, какъ поэтомъ античной формы.

Не знаемъ, самъ ли г. Щербина проникся такимъ понятіемъ о сущности своего таланта и о достоинствахъ античной формы, или это предубъжденіе было навъяно на него толками, которые поднялись въ этомъ смыслъ послъ появленія его «Греческихъ стихотвореній», но только послъ изданія своихъ «Греческихъ стихотвореній» онъ долго поступалъ такъ, какъ будто убъжденъ былъ, что вообще поэтъ будетъ дълать прекрасно, если станетъ держаться античной формы, а ему, г. Щербинъ, ръшительно необходимо держаться этой формы. Онъ все писалъ въ томъ же духъ, въ той же манеръ, какъ были написаны его «Греческія стихотворенія».

Мы не знаемъ, собственною ошибкою или чужою виною вовлеченъ быль онъ въ эту односторонность, но дёло въ томъ, что эта односторонняя манера скоро оказалась искусственною и натянутою. Мы видимъ, что, по собственному ли влеченію или подъ вліяніемъ Шенье, но во всякомъ случать первыя греческія стихотворенія г. Щербины были написаны безъ натяжки, безъ насилованія таланта, — въ такой формъ сами собою рождались поэтическія иден фантазіею поэта, — а у поэта этого есть сильный таланть, —потому эти пьесы и вышли хороши, какъ выходить хорошо все, что пишеть человъкъ съ талантомъ, не насилуя свой талантъ. Форма была тъсна, но чтожь за бъда, если поэть еще не чувствоваль себя стъсненнымъ въ ней?

Если бы г. Щербина могь остаться на всегда, по свободному влеченію, візрнымъ античной формів, его стихотворенія никогда не пріобрівли бы большаго значенія въ литературів, — хотя сами по себів могли быть прекрасны.

Это однако продолжалось очень не много времени. Скоро г. Щербина исчерпалъ содержаніе, какое естественно представляется соединеннымъ съ античною манерою, — и все-таки продолжалъ, по теоріи, писать въ античной формѣ, — стихотворенія его стали казаться уже повтореніями прежнихъ; идеи и образы сами собою

являвшіеся его воображенію въ этой форм'в, были истощены,—онъ началь придумывать ихъ — пьесы стали им'вть характерь искусственности, таланть являлся стісненнымъ, произведенія — натянутыми.

Еслибъ онъ остановился на этомъ, мы сказали бы, что его таланть бользненно остановился на первой ступени развитія, и потеряль способность идти впередь. Но черезь нъсколько времени, г. Щербина перенесъ любовь свою отъ стихотвореній античнаго содержанія къ пьесамъ, въ которыхъ идея принадлежить или вообще новому міру, каковы «Пісни о природів», или даже именно нашему обществу, каковы «Ямбы». Но долгая привычка писать въ античной манеръ не могла быть покинута сразу, - и форма очень многихъ изъ этихъ пьесъ не соответствовала идей. Въ другихъ, покинувъ, новидимому, античную форму, онъ еще не оторвался отъ привычки, пріобратенной всладствіе искусственныхъ пріемовъ, посредствомъ которыхъ писались его позднайшія античныя пьесы,и въ формъ замътна придуманность, ухищренность; а часто его мысль остается отвлеченною мыслью, потому что фантазія автора, отъ долгой привычки иметь дело только съ античными образами, не находить еще образовь, которые были бы живымь поглощениемь новыхъ идей, вошедшихъ въ его умъ, или потому что авторъ все еще не решается сойти съ треножника Писіи и заговорить простымъ языкомъ, свойственнымъ поэзім нашего времени. Онъ, по старой привычкі, все еще стісняется мыслыю о живописности и величественности позъ; онъ еще не привыкъ чувствовать себя вавъ дома въ нашемъ міръ, котя античный міръ уже наскучиль ему. Держитесь непринужденные, говорите проще, забудьте о стысиительныхъ претензіяхъ на величіе, не стыдитесь являться просто человъкомъ, а не одимпійцемъ, скажемъ мы ему.

До сихъ поръ, г. Щербина не ръшился еще предаться безвозвратно, безъ оглядовъ на древній міръ, влеченію жизни и таланта. Онъ давно почувствоваль, что въ Петербургъ или Москвъ неудобно и холодно носить хитонъ асинянина, и нельзя довольствоваться созерцаніемъ звъздъ, лежа на роскошной зелени,—во-первыхъ роскошной зелени у насъ нътъ, во-вторыхъ, если остаться на цълую ночь на открытомъ воздухъ, да еще лежа на травъ, то поутру непремънно почувствуешь ревматизмъ въ боку. Г. Щербина замътилъ это и вошелъ въ наши съверныя комнаты съ двойными рамами,—

но онъ все еще не привыкъ непринужденно говорить о сапогахъ и двойныхъ рамахъ,—его все еще смущаетъ мысль, что это предметы не совсёмъ благородные сравнительно съ сандаліями и перистилемъ,—объ исключительно изящныхъ предметахъ онъ наконецъ пересталъ говорить, но еще не заговорилъ о неизящныхъ, потомуто мысль въ его «Ямбахъ» остается отвлеченною мыслью.

Не для того, чтобы въ самомъ дѣлѣ нужны были доказательства (вѣроятно, каждый читатель, думавшій о стихотвореніяхъ г. Щербины, давно уже самъ замѣчалъ то же самое, что говорили мы)— но чтобы насъ нельзя было упрекнуть въ бездоказательности, мы представимъ хотя по одному примѣру тѣхъ ошибокъ, въ которыя вовлекала г. Щербину ошибочная теорія, заставлявшая его держаться античной формы послѣ того, какъ образы, ею непринужденно рождаемые, были истощены, и талантъ началъ увлекатъ поэта къдругимъ сферамъ поэтическихъ идей.

Мы говорили объ искусственности, изысканности, которая явилась въ его античныхъ стихотвореніяхъ, когда истощились античныя идеи и образы, непринужденно возникавшіе въ фантазіи автора, примъромъ этого пусть служить пьеса «Волосы Береники».--«Береника, жена Птоломея-Эвергета, отправлявшагося въ Азію для завоеваній (объясняеть авторь въ примечаніи), дала обёть богамъ отръзать свои волосы имъ въ жертву, если мужъ ея возвратится побъдителемъ,-что и исполнилось. Волосы были положены въ храмъ Венеры-Зефириты; но жрецы сказали, что они исчезли ночью изъ храма, и Кононъ, знаменитый александрійскій астрономъ, віроятно по наущению жрецовъ, объявилъ, что открытое имъ въ это время новое созв'вздіе-волосы Береники, превращенные богами въ зв'взды, подобно вънку Аріадны». -- Въ этомъ разсказъ есть поэтическіе моменты: грусть любящей жены, отпускающей мужа на войну,--тоска разлуки, мучительность опасеній за его жизнь,-готовность жертвовать всемъ, даже лучшимъ блескомъ своей красоты, для счастья и безопасности любимаго человъка, -- наконецъ апотеоза этой любви, дающей человъческому существу высочайшую красоту. Но въ этихъ чувствахъ и ситуаціяхъ ніть ничего, спеціально античнаго, -- они общи всёмъ народамъ и вёкамъ, въ томъ числе и европейцамъ и нашему въку, -- а г. Щербинъ нужны спеціально античные образы и мотивы, — и воть онъ придумываеть следующее мотивы:

«Рѣчь веду я со звѣздами, Говорю свои имъ сны И любуюсь волосами Эвергетовой жены.

> И они съ небесъ запѣли Пѣсню жалобы своей; Ихъ мелодін летѣли Съ неба золотомъ лучей:

«Возліянья и обёты
Оть земли несутся въ намъ,
Мы величіемъ одёты,
УКевы, дёвы и поэты
Причисляють насъ въ бо гамъ.
«Намъ въ эфирё неотрадно
Семизвёздіемъ сіять,
Гдё сіяетъ Аріадна,
Упиваться славой жадно
Өнміамы обонять.
«Съ головы холодной сталью
Мы вакъ жертва снесены.
Беренивиной печалью
И такой безмёрной далью
Оть нея отдалены.» и т. д.

Какъ могла прійти поэту мысль заставить насъ слушать жалобы посредствомъ «золота лучей», воспіваемыя отрізанными волосами? Не гораздо ли проще было заставить женщину плакать о своихъ утраченныхъ волосахъ? Но это была бы такая ситуація, которая можеть случиться вездів и всегда, не въ одномъ античномъ мірів, а г. Щербинів нужно было взглянуть на предметь не такъ, какъ смотрять на него въ новомъ мірів, и, вмісто плача женщины о волесахъ, онъ придумаль плачъ волось о женщинів. И такъ, волоса Береники плачуть о ней, жалуются на нее; положимъ, пусть они нлачуть, хотя это и неправдоподобно; послушаемъ однако, въ чемъ они винять ее? візроятно, просто въ томъ, что она не пожалівла свои прекрасныя кудри,—винять въ безжалостности къ самой себі?— Нітъ, въ преступленіи передъ искусствомъ: «прежде, говорять кудри,—

Наполнялась вся палата Благовоніемъ отъ насъ, Оттъняли мы когда то, Лоснясь масломъ аромата, Снътъ чела и краски (?) глазъ. Но преступною женою Предъ Искусствомъ стала ты, Разлучая насъ съ собою, И разбивъ своей рукою Стройность женской красоты,—

ради античнаго воззрвнія, вмісто живой женщины, которая дівлаєть огорченіе себі, являєтся уже статуя, которую разбить значить сдівлать преступленіе не предъ идеею человівка, даже не предъ богинею красоты, а просто передъ отвлеченными понятіемъ искусства. Преклони боговъ мольбами, говорять Береникі волоса, чтобы они возвратили насъ на твою голову,—зачімы же это нужно? за тімь ли, чтобы ей была возвращена прежняя красота, или чтобы волоса перестали грустить? Ніть, опять выдумка: волоса Береники должны быть взяты съ неба, чтобы не разлучать на небів два созвівздія, которыя питають любовь другь къ другу:

«Преклони жь боговъ слезами, Даромъ жертвы дорогой, Чтобъ съ падучими звёздами Мы скатились волосами Надъ твоею головой; Чтобы мы не раздёляли Въ небё любящихъ друзей; Чтобъ какъ прежде заблистали И свётить бы рядомъ стали Оріонъ и Водолей.

— Да почему жь мы знаемъ, что Оріонъ и Водолей—любящіе друзья? О ихъ дружбів даже и минологія ничего не говорить.

На такую тему, на такіе мотивы написано стихотвореніе въ 102 стиха.

Мы привели примъръ натянутости, въ которую впадалъ господинъ Щербина, отъискивая античныя темы и придумывая античные мотивы, когда уже истощился запасъ, естественно представлявшійся его фантазіи сферою идей античной манеры. Теперь приведемъ примъръ того, какъ вложенная античною теоріею привычка уничтожала соотвътствіе между идеею и формою, когда онъ, утомившись античными темами, началъ изображать явленія болье близкой къ намъ льйствительности.

Вотъ его «Нимфа вьюги»—какимъ же образомъ Нимфа вьюги? были Нимфы цвътущихъ, благоухающихъ полей, сладко шепчу-

щихъ ручейковъ, свётлыхъ рёчекъ, текущихъ среди бархатныхъ луговъ, испещренныхъ яркими цвётами, подъ задумчиво пріютною, сладострастно густою тёнью розовыхъ и миртовыхъ кустарниковъ;— но какъ можно вообразить себё это нёжное, живущее солнцемъ и цвётами существо среди громадныхъ сугробовъ снёжной степи, во время вьюги?—бёдная Нимфа, она такъ легко одёта, что смертельно простудится, если вздумаетъ явиться среди такой обстановки, когда и у старой вёдьмы въ овчинномъ тулупъ стучать зубы во время сатанинской пляски!—Но,—говоритъ г. Щербина,—

«Но классическія грёзы, Грёзы вѣчныя людей! Вась питають и морозы Бѣдной родины моей; Вамъ такая же подруга Какъ аттическая ночь, Наша сѣверная вьюга Дочь Гекаты, мрака дочь.

- Ѣду я... передо мною Нимфа Вьюги возстаеть, И надъ снѣжной пеленою Все кружится, да поетъ

(Нётъ, во время выюги даже переносливая къ холоду вѣдыма можетъ только завывать,—голосъ дрожитъ отъ мороза).

«А когда сквозь прахъ сыпучій, Сквозь лохмотья бёлыхъ тучъ, На покровъ полей зыбучій Броситъ мёсяцъ блёдный лучъ,— Бёломраморной рукою

(Нѣтъ, у ней ручка ужь давно посинѣла отъ холода,—мы боимся даже, не отмерзла ли).

Нимфа вдаль меня манить

(Ну, это ужь напрасный трудь; не только Нимфа какая нибудь,—сама Венера Анадіомена не выманить меня изъ плотно застегнутой фартукомъ кибитки во время вьюги).

«И хохочеть надо мною И рыдаеть, и грозить.... То меня охватить страстно, Токомъ бури обовьёть,— И безчуственно—прекрасна,

Въ пляске съ вихремъ отойдетъ.... Но разветъ шаловливо
Ветеръ тунику у ней, —
Нимфа спрячется стыдливо
Въ волны снежныя полей....
Но глядишь, на волке смело
Нимфа скачетъ предо мной
И его по шерсти белой
Гладитъ ласковой рукой.

(Левъ, благородный, великодушный властитель лѣсовъ смирялся передъ красотою; но злобный волкъ только и смотритъ, какъ бы схватить за горло; при томъ же, онъ безобразенъ, отвратителенъ; Нимфѣ должно быть и непріятно и опасно даже издалека вилѣтъ волка,—сѣсть на него она не рѣшится, это вѣрно).

«И улыбкой открываетъ Рядъ роскошныхъ жемчуговъ, Волшебствомъ ея сзываетъ Хоръ полуночныхъ духовъ» и т. д.

Античный образъ Нимфы, олицетворяющій вьюгу существомъ граціознымъ, нѣжнымъ, прелестнымъ, — совершенно разрушаетъ всякое соотвѣтствіе между сущностью изображаемаго явленія и его изображеніемъ.

Вотъ другой примъръ раздора, вносимаго античнымъ представленіемъ въ созданіе, по идеъ принадлежащее нашему міру, — эта пьеса не велика и потому выписываемъ ее вполнъ:

поэтъ.

«На служеніе мысли высокой, На служеніе правді я взросъ; Но кинжаль ся спряталь глубоко Между віткою миртовь и розь....

И, въ рукв съ этой въткой душистой, Какъ Гармодій я въ міръ выхожу,— Красотой ея мирной и чистой Я неправду и зво поражу.

Эта битва безъ крови и гивва,— Наслажденіемъ дышить она: Ей причастны и старецъ, и діва, И младенецъ, и мужъ, и жена. Тъмъ велико твое назначенье Между братій, поэть гражданинъ, Что безъ терній свое поученье Насадить ты способень одинъ.

И ты важдое діло и чувство Обреки на добро и осмысль... Твоя вітка— совданье искусства, А кинжаль твой—правдивая мысль.

Обратите вниманіе на двё первыя строфы,—какой стройный и точный образь! — Но античная манера требуеть невозмутимости духа, олимпійскаго спокойствія въ самой борьбів (то есть, по нашему обычному понятію объ античности; по греческой миеологіи не такъ,—тамъ и самые олимпійцы страдають, вопіють отъ ранъ и боятся Стикса; но відь мы имівемъ діло не съ истиннымъ греческимъ міромъ, а съ обыкновенными современными понятіями объ античности), — античность требуеть невозмутимости, отвращается отъ наносимыхъ и претерпіваемыхъ страданій,—и вотъ въ
угоду этой теоріи, г. Щербина прибавляеть, что битва поэта съ
неправдою должна быть «безъ крови и гніва», и поученіе его
«безъ терній»,—забывая, что даже на віткі розъ, которую онъ
держитъ въ рукі, есть шипы, иначе сказать тернія, которыя всетаки оцарапають до крови и разсердять, если онъ станеть «поражать» этою віткою.

Поэть по античной теоріи должень быть невозмутимо спокоень въ своемь служеніи искусству,—онь смотрить на землю съ высоты Олимпа,—по этому-то, въ пьесь о волосахъ Береники, г. Щербина и говорить, что поэть должень, лежа на травь у потока, созерпать небо, не касаясь вемныхъ треволненій;

«Я лежу ночной порою У потова на травѣ, Весь очами и душою Въ лучезарной синевѣ. Я на лонѣ мирной страсти, Мысли сердца полонъ я: Красотѣ въ объятья власти Отдана душа моя:

Вижу яркій образь всюду И прекрасныя черты... И всегда поэтомъ буду Я любви и красоты!

Вамъ художники другіе, Горе дня и ложь людей, Вамъ, мечтанія больныя, Стонъ и жалобы страстей! То моя отвергла лира, Что проходить съ каждымъ днемъ. Что изгонится изъ міра Вычной правды торжествомъ.... Върьте, молча я страдаю И больнёй страдаю васъ, Сокрушаюсь, наблюдаю Каждый жизни вашей часъ; Но того, что недостойно, Я искусству не даю. И въ душе горячкой знойной Зло безъ образовъ таю. Рѣчь веду я съ небесами, Говорю свои имъ сны, И любуюсь волосами Эвергетовой жены....» и т. д.

Мы ужь заметили, что выборъ предмета, которымъ любовался г. Щербина, неудаченъ. Но теперь не о томъ дъло, — мы уже объяснили, какъ умъли, неудачность результатовь, до которыхъ доводила г. Щербину теорія античности. Надобно теперь замітить, что если онъ очень долго держался ея, то наперекоръ влеченію своего таланта, насилуя свои мысли, - античность давно ужь неудовлетворяла его, и напрасно усиливался онъ въ 1853 году (годъ, которымъ отмъчена пьеса «Волосы Береники») запрещать своей лирь «песни о томъ, что проходить съ каждымъ днемъ, что изгонится изъ міра торжествомъ правды», — онъ давно ужь не могь удержать себя отъ того, чтобы говорить о «страданіяхъ и горѣ», которыя по теоріи гордо признаваль «предметами, недостойными искусства», — большая часть «ямбовъ», карающихъ вло, написана имъ до 1853 года, иные и въ 1853 году, - следовательно, давно ужь онь отступиль и въ то самое время отступаль на деле отъ своей антично-безстрастной теоріи, когда такъ гордо и упорно провозглашалъ ее.

Но теоретическія ошибки, когда теорія такъ упорна и горда, какъ была античная теорія у г. Щербины, не проходили даромъ. Пусть практика тайкомъ измѣняетъ теоріи,—теорія все-таки наложитъ на нее свою печать. Печать эта видна на «Ямбахъ» г. Щербины.

Его фантазія по требованію теоріи отвергала всякіе образы, кром'в невозмутимо прекрасныхъ, античныхъ картинъ,—онъ, какъ челов'єкъ, «страдалъ и сокрушался, наблюдая жизнь»,—мы в'вримъ ему, что онъ страдалъ о скорбяхъ людей «больн'ве» многихъ другихъ поэтовъ, — но какъ поэтъ, онъ насильно изгонялъ образы, которые могли бы быть поэтическимъ воллощеніемъ этой челов'ъческой скорби, — онъ, не будучи въ состояніи изгнать изъ сердца скорбной мысли, въ угоду теоріи старался по крайней м'тр отнимать у нея поэтическое воплощеніе; «я въ душт зло безъ образовъ таю», говорилъ онъ,—это и отравилось на его «Ямбахъ».

Мысль каждаго ямба — благородна, жива, современна; но она остается отвлеченною мыслью, не воплощаясь въ поэтическомъ образѣ,—она остается холодною сентенціею (это не противно античной теоріи,—нѣтъ: античная теорія любить сентенціи,—свидѣтельствомъ тому безсчисленное множество изреченій и отвлеченныхъ размышленій, написанныхъ новѣйшими поэтами въ древнемъ элегическомъ размѣрѣ, и похвалы, которыми осыпались эти перемѣшанные съ пентаметрами гекзаметры), она остается внѣ области поэвіи, какъ то и усиливался сдѣлать поэтъ, по его собственному признанію.

Мы приведемъ примъръ этой отвлеченности, этого чуждаго поэзіи отсутствія живыхъ образовъ, которыми бы воплощалась мысль:

ЖЕЛАНІЕ.

«Чуждо совершенства Нашей жизни зданье; Ціль ея — блаженство, А она — страданье.

Все въ ней пропадаеть, Все, что такъ прекрасно; Только зло всплываетъ Въ наготъ ужасной.

Въ этомъ звучномъ морѣ Сроднаго нѣтъ звука; Въ совъ исходитъ горе, Страсти вторитъ мука. Счастьемъ не согрѣта
Ни одна мннута,
Мысли нѣтъ привѣта.
Чуству нѣтъ пріюта....
Пусть же крупкой чашей
Эта ложь прольется:
Хаосъ жизни нашей
Въ вѣчность разовьется.»

Поезія требуеть воплощенія идеи въ событіи, картинѣ, нравственной ситуаціи, какомъ бы то ни было фактѣ психической или общественной, матеріальной или нравственной жизни. Въ пьесахъ, нами выписанныхъ, этого нѣтъ: идея остается отвлеченною мыслью, потому остается холодною, неопредѣленною, чуждою поэтическаго паеоса....

Мы такъ много и такъ прямо говорили о недостаткахъ, которыми вообще страдала поэзія г. Щербины, отчасти уже и въ «Греческихъ стихотвореніяхъ», но гораздо больше въ последующіе годы, что-чего добраго-иному можетъ показаться, будто мы находимъ особенное удовольствіе въ анализированіи этихъ слабыхъ сторонъ. Что сказать на такое предположение? — Да, пожалуй, мы нашли бы не только удовольствіе, но и положительную заслугу въ этой строгости, если бы г. Щербина согласился въ справедливости нашихъ замѣчаній, --- тогда, рѣшительно отбросивъ теорію, его запутывавшую, и предавшись естественному влеченію своего таланта, онъ далъ бы русской литературъ произведенія, которыя поставили бы его на ряду съ первыми нашими поэтами. Если жь онъ не оправдаеть нашей требовательности полнъйшимъ и върнъйшимъ употребленіемъ силъ своего таланта (требовательность умѣстна только относительно человъка сильнаго), — мы, конечно, будемъ раскаяваться въ нашей строгости, какъ въ дёлё, которое не достигло своей цъли, осталось безполезно. Во всякомъ случать, мы обязаны представить доказательства тому, что имфемъ право многаго ожидать отъ замъчательныхъ силъ его таланта, если онъ ръшится совершенно отбросить ошибочную теорію, до сихъ поръ сковывавшую силы его. Намъ случалось слышать сомнёніе въ томъ, сохранилась ли сила и свежесть этого таланта после «Греческихъ стихотвореній». Чтобы уничтожить всякое колебаніе въ отвѣтѣ на это, мы въ доказательство силы таланта г. Щербины приводимъ только такія пьесы, которыя писаны послів 1850 года.

ДЪВУШКА У ХАРОНА.

новогреческая пъснь.

— «Хорошо вамъ, горы, счастье вамъ, долины: Вы себѣ живете безъ тоски-кручины! Вѣчно вы цвѣтете, нѣтъ для васъ Харона? Какъ и вы, цвѣла я, роза Кнеерона, Любовалась также утренней зарею, И меня скосила смерть своей косою... Везъ меня на свѣтѣ все живетъ и дышитъ, И меня не знаетъ, и меня не слышитъ! Тамъ зазеленѣло Божіей весною, И луга запахли молодой травою; Ярко запестрѣли всѣ поля цвѣтами, И холмы покрылись бѣлыми стадами;

«Въ густотъ дубравы, солицемъ не палимой, Паликаръ гуляетъ съ дъвушкой любимой, И, цалуя жадно ей уста и плечи, Говоритъ онъ милой золотыя ръче; Мать красивой дочкъ расточаетъ ласки, Бабушка-старушка сказываетъ сказке...
О, когда бы можно, въчно бы жила я, Какъ ребенокъ съ куклой, съ жизнію играя. Еслибъ наши клефты въ адъ сюда попали, Върно бъ и съ Харономъ въ битвъ совладали; Жалобною ръчью я бъ ихъ ублажила, И, ласкаясь къ храбрымъ, такъ бы говорила:

- « Я въ жилище смерти выплакала очи, Въ холоде могильномъ, средь подземной ночи. Здёсь темно и тёсно... Зрёнье проситъ свёта. Сердце проситъ ласки, а душа привёта... Клефты-паликары! убёгу я съ вами. Въ край, гдё льется воздухъ свётлыми струями, Гдё раздолье жизни, гдё толпятся люди, Гдё любить приволье лебединой груди; Я хочу утёшить мать мою въ печали, Я хочу, чтобъ сестры слезъ не проливали, Чтобъ не горевали неутёшно братья, И свою Зоипу приняли бъ въ объятья...»
- Не крушись, Зоица, по роднымъ напрасно: Имъ живется сладко, весело и ясно!... На землѣ, подруга, все тебя забыло! (Такъ, вошедши, Деспа къ ней заговорила).

Отъ мюдей къ Харону нынче отошла я, И тебя лишь годомъ дольше прожила я... Видълась недавно я съ твоей роднею: Вст они довольны, счастливы судьбою... Братья,—да и сестры, позабывъ печали, У состда Ламбро на пиру плясали, Бабушка болтала подъ окномъ съ кумою, И своей хвалилась давней стариною; Мать все хлопотала о невтстт сыну: О тебт жь, бъдняжка, не было помину!»

просьба весны.

«На-прощаньи пѣвцу говорила, Отлетая надолго, весна: «О, поэтъ мой, тебя я любила, Я была и тепла и ясна.

Разстаюся я съ милой землею, Мий такъ долго ея не лобзать, Не лелиять своей теплотою, И цвитущихъ красотъ полнотою Мий ея головы не вичать!

> Повидаю я женщинъ преврасныхъ И ласкаемыхъ мною дётей, Для ночей безразсвётно-ненастныхъ, Для холодныхъ, безсолнечныхъ дней...

И не будуть, роскошными снами Упиваясь блаженно, они Пробуждаться и спать съ соловьями.... Повидаю я ихъ сиротами.... Замёни имъ меня, замёни!

> Разлучаться мий горько съ землею.... Но, поэтъ мой, я въ сердци твоемъ Неразлучной живу красотою, И твоимъ пламению стихомъ;

Я оставлю въ немъ звуки и краски, И мой свътъ, и мою теплоту, Вътерка перелётныя ласки И потоковъ журчащія сказки, И луной разлитую мечту.

> Какъ померкнетъ сіянье лазури, Какъ поблекнутъ безъ жизни поля, Да завоютъ холодныя бури, Да одёнется въ саванъ земля

Мой избранникъ, людей утиная, Возроди меня въ пісняхъ своихъ, Чтобъ предъ ними опять разцийна я, Благовонна, свіжа, молодая, Въ трепетаньи стиховъ золотыхъ...

Но, весеннее счастье зимою Разливая межъ братьевъ людей, Надъли имъ возлюбленныхъ мною, Всъхъ обильнъе, женъ и дътей,

Чтобъ я въ пѣснѣ твоей зеленѣла, Согрѣвая озябнувшій лѣсъ, На снѣгахъ бы цвѣтами пестрѣла, Наливалась въ колосья и зрѣла И сіяла бы съ зимнихъ небесъ,

> Чтобы все, забывая морозы, Погрузилось въ знакомые сны, Въ ароматныя майскія грёзы, Въ обаянье волшебной весны....

И подъ власть твоего вдохновенья Все отдастся, поэтъ-чародъй, И, внимая словамъ пъснопънья, Отъ земли моего удаленья Не замътить никто изъ людей.

Имъ прольюся я полною чашей Изъ искусныхъ художника рукъ, Имъ я буду и лучше и краше, Облеченная въ образъ и звукъ».

земля.

«Ты помнишь ин случай, родная? Когда я ребенкомъ была, Въ саду, межь цвътами летая, Меня укусила пчела.

Какъ палецъ мнѣ жало палело, И слезы ручьями текли, — На палецъ ты мнѣ положила Щепотку колодной земли....

> И боль оттого унялася, И радостно виділа ты, Какъ я побіжала різвяся, За бабочкой пестрой въ кусты....

Пора наступниа вная, И боль загорилася вновь.... Боюсь и признаться родная, Что сердце мий жалить любовь!

> Но тыть же и этой порою Ты можещь меня исциить:— Холодной могильной землею На выки мий сердце покрыть....»

NOTTURNO.

«На меня изъ цвътущаго сада Освежительно весть прохиада; Ароматы несутся въ окно Въ небесахъ и светло и темно. Многозвъздная ночь окаймила Отливнымъ серебромъ дерева, На озерахъ горитъ синева, И такъ страстно ночныя светила На красавицу землю глядять, Будто пасть ей въ объятья хотять. Опускаясь, вздымаются воды: Онв кажутся грудью природы И біеніе сердца ея Будто слушаеть ухо мое. Ко всему во мив дышить сострастье, И похожее что-то на счастье И на жизнь пронеслось надо мной... Я расцвыть первобытной весной.

О, давно позабытая мною, Ты меня позабыла давно! --Но нежданно мив этой порою Твое имя призвать суждено, И спросить тебя съ прежнею страстью: -Что въ душв у тебя въ этотъ часъ? Хоть мгновенному въришь ли счастью, Что на въки умчалось отъ насъ? И полна дь твоя жизнь благодатью, Иль хоть тихимъ забвеньемъ полна, Или все предала ты проклятью, Чамъ тебя чаровала она? Пламенветь ли взоръ твой порою, И цвететь ли румянець былой?... О, скажи мнѣ, мой другъ, что съ тобою, И дущой угадай, что со мной!...

Но отъ милой не слышно отвёта,— . Все вокругъ равнодушно молчитъ; На привётъ не даютъ мнё привёта: Голосъ милой моей не звучитъ.

Объ участы молящія очи
Я къ свётиламъ торжественной ночи
Простодушнымъ младенцемъ вознесъ;
Но, въ потокѣ моленій и слезъ,
Я участья къ себѣ не замѣтилъ:
Былъ прекрасно, но холодно свѣтелъ
Обаятельный воздухъ ночной,
Безъ созвучья съ моею душой....
Я хотѣлъ, чтобъ суровыя бури
Помрачили сіянье лазури,
И въ гармонію, тьмой и борьбой,
Чтобъ природа слилася со мною».

Такія вещи можеть писать только человікь съ истиннымь и сильнымь талантомь, — и въ томь, что г. Щербина обладаеть талантомь, никогда не сомнівался никто изъ людей, внимательно изучавшихь его произведенія. Во многихь изъ его пьесъ были замітны ошибки, внушаемыя ошибочною теорією; часто было видно, что его фантазія увлечена къ ложнымь, натянутымь цілямь; но сильный таланть быль видень всегда.

Мы возвращаемся къ тому, съ чего начали. Г. Щербина. занимающій и нынв почетное місто между поэтами, должень стать гораздо выше, когда решится дать просторъ своимъ живымъ влеченіямъ, совершенно отбросивъ насилованіе таланта ради теоретическихъ предубъжденій. Онъ началь стихотвореніями въ античномъ родъ, — этотъ родъ наименъе способенъ возбуждать живую симпатію современнаго міра, но, къ несчастію, многіе такъ называемые цвители искусства, -- понимающие подъ искусствомъ искусственность, -- очень дорожать античною манерою отчасти за то, что она трудна, отчасти зато, что она чаще всего бываеть искусственна. Несмотря на несимпатичность манеры, господствовавшей въ первыхъ стихотвореніяхъ г. Щербины, они были приняты съ громкимъ одобреніемъ, потому что непринужденно возникли изъ фантазін поэта; -- вследствіе субъективных условій развитія, она была переполнена античными образами. — «отъ избытка сердца должны говорить уста» и г. Щербина быль правъ передъ своимъ талантомъ.

Дюбители и цёнители искусственности истолковали успёхъ г. Щербины такимъ образомъ: не потому онъ имёетъ успёхъ, что онъ человёкъ съ талантомъ, не насилующій своего таланта, а потому, что онъ пишетъ въ античной манерѣ, которая восхитительнее всёхъ другихъ манеръ; и такъ, пусть онъ, во что бы то ни стало, вёчно продолжаетъ писать въ античной манерѣ. Самъ г. Щербина увлекся этимъ ошибочнымъ соображеніемъ.

Мы видъли слъдствія этой теоріи, заставлявшей г. Щербину, наперекоръ новымъ влеченіямъ своего таланта, все облекать одеждою античности, — это значило «вливать новое вино въ старый мъхъ», и новое вино разрывало старый мъхъ, и то и другое, — вино и мъхъ, —погибало. Онъ насиловалъ свой талантъ.

Но «вольному воля», а поэть по преимуществу должень быть волень. Уста его должны говорить о томъ, чёмъ переполнено его сердце. Мы видёли, куда влечется г. Щербина новою наклонностью своего таланта, — къ современной жизни. Пусть же безбоязненно онъ погрузится въ нее. Пусть онъ пишеть античныя стихотворенія только тогда, когда именно къ античному міру обращается его таланть, — въ другое время, въ минуты другихъ настроеній, пусть его перо забываеть объ античности, какъ забываеть сердце, пусть онъ даеть своей мысли свободно облекаться въ образы, рождаемые ея сущностью, не втискивая ее насильно въ чуждыя ей рамки.

Автономія - верховный законъ искусства. Если онъ будеть соблюдать этотъ верховный законъ поэзін, — «храни свободу своего таланта, поэтъ», - что тогда будеть онъ писать? Пока не изм'внится господствующее теперь стремление его таланта, онъ будетъ писать проникнутые жгучимъ сарказмомъ укоры людямъ. Но если бы расположение духа, которое, кажется намъ, должно вести къ подобнымъ произведеніямъ, миновалось въ г. Щербинъ, — что тогда? тогда, все-таки пусть пишеть онъ въ такомъ родъ, къ какому влечеть его таланть въ данное время, - хотя бы то была поэзія радости, примиренія, кто имъеть право требовать оть поэта, чтобы онъ насиловаль свой таланть? Можно требовать только того, чтобъ онъ старался развить себя, какъ человека. Это развитіе человека въ поэтв составляетъ великое преимущество г. Щербины передъ многими; онъ не можеть не быть гуманенъ, не можетъ не сочувствовать живымъ вопросамъ современности, въ какой формф, въ какомъ направленіи найдеть удовлетвореніе себ'в таланть поэта, который сталь человѣкомъ, — должно быть рѣшаемо жизнью самого поэта. Пусть только онъ блюдеть свободу своего таланта отъ всякихъ насилованій; пусть всею фантазіею своею предается тому, чѣмъ переполняетъ жизнь душу его: отъ избытка сердца должны говорить уста поэта, особенно поэта, одареннаго столь прекраснымъ талантомъ и столь живою натурою, какъ г. Щербина.

СТИХОТВОРЕНІЯ А. Н. ПІЛЕЩЕЕВА. Новое изданіе, значительно дополненное. Москва. 1861.

Стихи г. Плещеева стали впервые появляться въ печати летъ пятнадцать или шестнадцать тому назадъ. Какъ известно, тогда вдругъ, ни съ того, ни съ сего, редакторы большихъ и толстыхъ журналовъ вообразили, что всякая строчка, съ кадансомъ и риомой въ концъ, должна компрометировать ихъ серьезность, -и стихамъ, каковы бы они ни были, совершенно быль заграждень входь въ важныя ежемъсячныя изданія. Начинающимъ поэтамъ приходилось печатать свои опыты въ жалкихъ газетахъ, въ родв «Литературной» или «Иллюстраціи». Конечно, послѣ того, какъ смолкли голоса Лермонтова и Кольцова, трудно было находить отраду въ виршахъ Грекова, Красова, Бернета и тому подобныхъ стихотворцевъ. Впрочемъ — виноваты — это были ужь не начинающіе поэты; для нихъ былъ пріють въ находившейся при последнемъ издыханіи, (которое, продолжается—увы! и до днесь) «Библіотек' для чтенія». Для поэтовъ получше поименованныхъ открыты были, пожалуй, еще страницы «Москвитянина»; но здёсь не особенно лестно было затесаться въ сосъдство съ гг. Михаиломъ Дмитріевымъ, Өедоромъ Глинкой, а иногда и съ посмертными твореніями какого нибудь древняго Шатрова. Какъ бы то ни было, но въ последнемъ журналь быль единственный пріють для даровитыхь молодыхь поэтовь, за которыми признавались достоинства и теми журналами, которые отказывались печатать ихъ стихи. Фета, Полонскаго, только и можно было встретить, что въ «Москвитянине». Г. Майковъ, которому, при его первомъ появленіи, пророчили, что онъ чуть ли не будеть замёной Пушкина, совсемь прічныть на это время и смолкъ. Сколько помнимъ, ни объ одной книжкъ стихотвореній, напечатанныхъ отдёльно, важные петербургскіе журналы не отзывались иначе, какъ тономъ пренебреженія, временемъ смёшаннаго даже съ полнымъ презрёніемъ. Иногда въ темномъ закоулкё смёси можно было встрётить два, три стихотворенія, съ очень извёстными именами, какъ напримёръ даже гг. Тургенева, Огарева... Но это была уступка, или, какъ любитъ выражаться столь ослёпительно ученый, и столь помрачительно скучный г. Безобразовъ, компромисса, которая, пожалуй, и могла дёлаться для людей съ нёкоторой репутаціей, но которая была не мыслима для поэтовъ начинающихъ.

Начинающіе смотрять обыкновенно на свои первыя стихотворенія, какъ на нёчто очень важное, возлагають на нихъ всё свои надежды, видять въ нихъчуть не міровое значеніе, и конечно почли бы жесточайшей обидой-явиться со своими завётными думами, грезами и пъснями въ отдъль разныхъ извъстій, внутреннихъ и иностранныхъ обозрвній и тому подобнаго, скоро гибнущаго журнальнаго баласта. Они обыкновенно, не смотря на великія надежды свои не обольщають себя ожиданіемь, что и съ такимь баластомъ можно выплыть на поверхность. -- И действительно! Какъ поразобрать хорошенько - обидно. Ну, неужто мои поэтическія изліянія, слезы и песнопенія не стоють того, чтобы мне уделить всего-то одну жалкую страничку въ книжев журнала, когда въ немъ находять чуть не сотню страницъ врасноречивыя известія о блистательныхъ дебютахъ какого-нибудь итальянскаго пъвца Мордини въ Миланъ, или о томъ, что гдъ нибудь въ окрестностяхъ Болоньи найденъ глиняный горшокъ, повидимому очень древній и съ древней повидимому надписью, которан такъ стерлась, что и разобрать ничего нельзя, да и самый древній горшокъ похожь больше на новый, или наконецъ о томъ, что въ германскомъ городъ Швейнфуртъ, колбасники или сапожники устроили великолъпное празднество въ средневъковомъ вкусъ, ходили по улицамъ со знаменами, въ видъ амуровъ съ крылышками, зажигали плошки и факелы, произносили речи съ демосееновскимъ паеосомъ и распевали разные гимны и песни. Иной разъ и такой гимнъ, или такая песня представлялись въ извёстіи съ подстрочнымъ переводомъ, для утёшенія читателей, интересующихся успёхами повзіи. Ну, какъ же не обидно! Гимны швейнфуртскихъ сапожниковъ предпочитаются стихотвореніямъ Майкова, Фета, Полонскаго. Какъ не обидно! Чемъ же руководились въ этомъ случав издатели-загадка, разрвшение которой ставить совершенно втупикь наши умственныя способности. Разумфется, мелодіи г. Фета, воспфвающія тихія звъздныя ночи съ трепетнымъ свътомъ луны, или утра, полныя стыда и огня, «какъ сонъ новобрачной» или «бурю на небъ вечернемъ, моря сердитаго шумъ; бурю на моръ и думы, много мучительныхъ думъ; бурю на моръ и думы, хоръ возрастающихъ думъ; черную тучу за тучей, моря сердитаго шумъ», —конечно эти мелодіи не представляли ни-какихъ указаній, никакихъ практическихъ примъненій въ сферъ интересовъ русскаго общества. Ну а пъвецъ Мордини представляль? Конечно александрійскіе стихи г. Майкова о томъ; какъ—

Во дни минувшіе, дни радости блаженной, Лились млеко и медъ съ божественныхъ холмовъ Къ долинамъ бархатнымъ Аоніи священной,

или о томъ, какъ ложится тень прозрачными клубами,-

На невы желтыя, поврытыя скирдами, На синія ліса, на влажный злакь луговь,

или гекзаметры о томъ, какъ онъ (г. Майковъ) срезалъ себе тростникъ у прибрежья шумнаго моря, или-о томъ, какъ онъ, разбилъ садъ подъ стиью развилистыхъ буковъ, и во мракт прохладномъ статую воздвигъ тамъ Пріаму, -- конечно эти александринскіе стихи и гекзаметры не имъли практическаго значенія для русской жизни; ну, а этотъ древній глиняной горшокъ, найденный въ окрестностяхъ Болоньи, вероятно имель! Конечно, баллады г. Полонскаго объ индъйскомъ факиръ, или о взятіи Мемфиса, не могли подвинуть насъ ни на шагъ по пути, такъ сказать, прогресса. Но въдь и самое слово «прогрессъ» не употреблялось тогда въ печати, даже въ прозаическихъ статьяхъ и разсужденіяхъ такихъ практическихъ ученыхъ, (нынъ, увы! забытыхъ), какъ гг. Егуновъ, Небольсинъ и другіе, это слово, столь прославившее, по случаю появленія своего въ стихахъ, драгоценные истинно гражданскому русскому сердцу, имена: гг. Бенедиктова, Конрада Лиліеншвагера и Розенгейма, тогда было не на особенно многихъ устахъ. Но, опять-таки, отчего хоть бы напримъръ пьеса Полонскаго «Зимній путь», или его же «Затворница», менъе для насъ русскихъ интересны, если не полезны, чъмъ швейнфуртскія поминанія переодітых амурами колбасниковь? Между твиъ русская журналистика этого времени, которое мы невольно вспомнили, вовсе не была проникнута, да и не могла по

известнымь более или менее всемь обстоятельствамь, пронижнуться особенно положительнымъ, практическимъ, немедленно примънимымъ характеромъ. Напротивъ, она ударялась съ заметнымъ пристрастіемъ въ туманныя области эстетическихъ мудрованій, широко и пространно толковала и о такихъ далекихъ предметахъ, какъ греки и римляне, и насущные вопросы изъ русской жизни сводились болье или менье на какую-нибудь написанную цифирными знаками дисертацію о колебаніяхь цёнь на хлёбь, или на такь навываемую современную хронику Россіи, представлявшую, для сотрудниковъ журнала, пріятный и полезный трудъ списыванія сенатскихъ и другихъ въдомостей. Само собой разумъется, теперь стихи никакъ не могутъ, какъ тогда, быть изгнаны изъ журналовъ. Прогрессъ, о которомъ мы такъ гордо восклицаемъ, въ настоящее время очень пріятно звучить и въ нихъ то въ серединъ, то въ концъ строчки, то въ началъ, то въ заключени пьесы. Но тогда! удивительно, странно, непостижимо! Повторяемъ, поэты, успъвшіе пріобресть себе некоторую известность, поэты, о которыхъ говориль съ сочувствіемъ и похвалой Белинскій, могли выдержать это гоненіе, притаиться на время совсёмъ, или играть въ прятки въ «Москвитянинв»; но каково же было беднымъ начинающимъ! Имъ оставалась, въ качествъ пристанища, одна «Иллюстрація», печатавшая безъ разбору все, что только попадалось къ ней въ руки: стихи, или проза, дичь, или дъйствительно что нибудь порядочное (последнее очень редко). Время было унылое для всехъ этихъ юношей, у которыхъ, говоря поэтическимъ слогомъ, пламенвютъ на устахъ страстные поцалуи музы. Жертвою этого времени, пали многіе пріятные півцы, въ родів гг. Вердеревскаго, фонъ Лизандера и другихъ. Сердце обливается у насъ кровью, когда мы подумаемъ, какая судьба ждала бы гг. Платона Кускова, Случевскаго, Захарію Тура и всю эту плеяду, сіяющую такимъ яркимъ свётомъ на небъ новъйшаго періода русской поэзіи, если бы они имъли несчастіе явиться въ то время. Не сдобровать бы имъ тогда. Едва ли загорёлся бы тогда такимъ чуднымъ метеоромъ и г. Розенгеймъ. Въдь онъ не писалъ бы тогда звучными ямбами, дактилями и амфибрахіями-объ общественных вопросахъ, о старообрядствъ, объ управленіи главнаго общества желізныхъ дорогь и проч., а воспізваль бы, въ невинности души своей, луну и девы, въ роде той, о которой говорится въ его стихахъ (очень чувствительно), какъ у ней билась —

«Подъ капотикомъ груди волна».

Въ это-то время появилась небольшая книжка стихотвореній г. Плещеева.

Ее постигла та же участь; съ такимъ же пренебрежениемъ отозвались объ ней лучшіе журналы. Зачемъ г. Плещеевъ говоритъ въ ней о любви къ человъчеству, о его страданіяхъ и будущихъ идеалахъ, о севтлыхъ надеждахъ? Зачвиъ переводитъ стихи Гейне? Это почему-то не понравилось серьезнымъ рецензентамъ, и они говорили о г. Плещеевъ чуть ли не съ такой же строгой важностью, какъ о человъкъ, принесшемъ ръшительный вредъ литературъ. Дико вспомнить теперь объ этомъ. Неужто благородныя чувства, благородныя мысли, которыми візло отъ каждой страницы небольшой книжки г. Плещеева, были такимъ ежедневнымъ явленіемъ въ тогдашней русской поэзіи, чтобы можно было съ пренебреженіемъ отвернуться отъ нихъ? Да и когда же бываеть это можно и позволительно? Если у г. Плещеева не было той поэтической силы, которая невольно покоряеть себѣ чужую мысль и чувства, то нельзя же было видеть въ стихахъ его фразы, справедливости которыхъ не верить онъ самъ. Что все въ этихъ стихотвореніяхъ было вполев искренно и сказалось оть души, -- едва ли кто нибудь могъ усумниться въ этомъ и тогда. Или не понравилось юношеское увлечение поэта, неопределенность его стремлений и надеждъ? Но была ли возможность выражать эти надежды, эти стремленія точне и определенне, — объ этомъ никто не хотель вспомнить. Кажется, особенной точности и ясности въ выраженіи желаній не было въ то время и нигдъ въ литературъ. Разумъется, говорить прямо, высказывать все ясно-не только проще, но и полезиве; но дъйствительно ли всв мы такъ высоко и безукоризненно развиты, что намъ не нужно слышать искренняго голоса, заступающагося, хотя бы и въ общихъ чертахъ, за лучшую сторону нашей природы, до сихъ поръ мало торжествовавшую. «Земля изсушена и уныла», говорится въ эпиграфъ къ первому стихотворенію первой книжки г. Плещеева: «но она вновь позеленьеть. Дыханіе вла не въчно будеть проходить по ней, какъ духъ попаляющій». Конечно, и мысль и выраженіе этихъ словъ слишкомъ общи, и написать на эту тему нѣсколько стихотвореній—не значить сказать что нибудь новое; но все ли успѣло не только тогда, но и теперь такъ устарѣть для нашего общества, и не нужно ли, и не будеть ли долго нужно повторять и толковать простѣйшія и неоспоримѣйшія истины и доказывать, что бѣлое бѣло, а не черно, а черное черно, а не бѣло. Есть много самыхъ обыкновенныхъ понятій, врожденныхъ человѣку чувствъ, о которыхъ тѣмъ не менѣе надо безпрестанно напоминать, чтобы они не забывались. Это и вездѣ нужно, не говоря уже о нашемъ не сформировавшемся обществѣ. Поэты, съ такимъ благородцымъ и чистымъ направленіемъ, какъ направленіе г. Плещеева, всегда будутъ полезными для общественнаго воспитанія, и найдутъ путь къ молодымъ сердцамъ. Трудно употребить лучше его въ дѣло тѣ поэтическія способности, которыми онъ обладаетъ.

Мы очень рады, что въ последнемъ изданіи стихотвореній г. Плещеева встретились съ лучшими пьесами изъ его первой книжки, которыхъ онъ не поместиль въ предпоследнемъ изданіи, вероятно вследствіе техъ неблагопріятныхъ отзывовъ, какими приветствовали ее при первомъ появленіи тогдашніе журналы. Мы жалеемъ только, что онъ не дополнилъ ихъ некоторыми стихами, которые, сколько намъ помнится, были уже разъ въ печати.

Съ особеннымъ удовольствіемъ перечитали мы прекрасный гимнъ, изв'єстный намъ наизусть,—гимнъ, который всегда останется прекрасной памятью скромной, но благородной литературной д'ятельности г. Плещеева:

Впередъ! безъ страха и сомнънья, На подвигъ доблестный, друзья! Зарю святаго искупленья Ужь въ небесахъ завидълъ я!

Смілій! дадвить другь другу руки, И вмісті двинемся впередъ. И пусть, подъ знаменемъ науки, Союзъ нашъ кріпнеть и ростеть.

Жрецовъ грѣха и лжи мы будемъ Глаголомъ истины карать; И спящихъ мы отъ сна разбудимъ, И поведемъ на битву рать!

Не сотворимъ себѣ куміра Ни на землѣ, ни въ небесахъ; За всѣ дары и блага міра Мы не падёмъ предъ нимъ во прахъ!... Провозглашать любви ученье Мы будемъ нащимъ, богачамъ, И за него снесемъ гоненье— Простивъ озлобленнымъ врагамъ!

Блаженъ, кто жизнь въ борьбе кровавой, Въ заботахъ тяжкихъ истощилъ; Какъ рабъ ленивый и лукавый, Талантъ свой въ землю не зарылъ!

Пусть намъ звёздою путеводной Святая истина горить; И вёрьте, голосъ благородной Не даромъ въ мірё прозвучить!

Внемлите-жь, братья, слову брата, Пока мы полны юныкъ силъ: Впередъ, впередъ и безъ возврата,— Что бъ рокъ вдали намъ ни сулилъ!

Сколько помнимъ, прежніе рецензенты г. Плещеева были особенно недовольны стихотвореніемъ или отрывкомъ изъ поэмы «Сонъ», къ которому были взяты эпиграфомъ слова Ламене, приведенныя нами выше. Въ этомъ отрывкѣ, вѣроятно отъ лица героя, который напоминаетъ лермонтовскаго «Пророка», —разсказывается, какъ онъ, усталый и истерзанный тоской, прилегь отдохнуть подъ дерево, и ему предстала въ видѣніи богиня, избравшая его пророкомъ. И вотъ что услыхалъ онъ отъ нея:

> «Страданьемъ и тоской твоя томится грудь, А предъ тобой лежить еще далекій путь.

Скажу-ль я, что тебя въ твоей отчизнъ ждетъ? Подыметъ на тебя каменья твой народъ,

За то, что обвинишь могучимъ словомъ ты Рабовъ граха, рабовъ постыдной суеты!

За то, что возвъстишь ты мщенья грозный часъ Тому, кто въ тинъ зла и праздности погрязъ,

Чье сердце не смущалъ гонимыхъ братьевъ стонъ, Кому закономъ былъ — отцовъ его законъ!

Но не стращися ихъ! и знай, что я съ тобой, И камни пролетятъ надъ гордой головой.

Въ цъпяхъ ли будещь ты — не унывай, и върь, Я отопру сама темницы смрадной дверь. И снова ты пойдешь, избранный мной Левить, И въ мірь голось твой не даромъ прозвучить.

Зерно любви въ сердца глубоко западетъ; Придетъ пора и дастъ оно роскопный плодъ.

И человъку той поры не долго ждать, Не долго будеть онъ томиться и страдать.

Во скреснетъ къ жизни міръ.... Смотри, ужь правды лучъ
 Прозрѣвнимъ племенамъ сверкаетъ изъ-за тучъ!

Иди же, въры полнъ... И на груди моей Ты скоро отдохнешь отъ муки и скорбей».

Стихотвореніе заключается следующими стихами пророка:

«Мой падшій духъ возсталь, и утісненнымь вновь, Я возвіщать пошель свободу и любовь».

Мотивъ этой пьесы, точно такъ же, какъ и мотивъ стихотворенія «Впередъ», проходить болье или менье внятно по всьмъ собственно оригинальнымъ стихотвореніямъ г. Плещеева, которыя вирочемъ составляють не болье одной трети изданнаго имъ теперь собранія. Паеосъ, которымъ одушевленъ выписанный нами юношескій гимнъ, большею частію переходить въ элегическое настроеніе. Г. Плещеевъ съ сочувственною грустью останавливается передъ темными явленіями жизни, и, чувствуя прочность зла и свое безсиліе бороться съ нимъ, часто молитъ Вога объ одномъ-чтобы жаръ его сердца «не засыпало пепломъ мертвящее сомнение». Глубокая искренность этихъ теплыхъ словъ, любовь къ истинъ и къ благу ближнихъ, вызывавшія эти элегическіе стихи, не можетъ быть подвергнута ни малъйшему сомнънію теперь, когда г. Плещеевъ, послѣ длиннаго, чуть не десятилътняго перерыва своей дѣятельности, явился въ литературъ съ тъмъ же настроениемъ, съ какимъ мы видъли его на первыхъ порахъ его поэтической дъятельности. Тъ же стремленія, ту же грусть безсилія, столь понятную въ устахъ людей поколенія, къ которому принадлежить г. Плешеевъ, увидали мы опять въ его стихахъ:

Дни скорби и тревогъ, дни горькаго сомивнья, Тоска болезненныхъ и безотрадныхъ думъ, Когда жь минуете? Иль тщетно возрожденья Такъ страстно сердце ждетъ, такъ сильно жаждетъ умъ?

Не вижу я вокругь отраднаго разсвѣта! Повсюду ночь да ночь, куда ни бросишь взоръ. Исчезин безъ синда мон миадыя літа — Какъ въ зимнихъ небесахъ сверкнувшій метеоръ.

Какъ мако радостей они мий подарили, Какъ скоро свитими разсиялись мечты, Морозы ранніе безжалостно побили— Безпечной юности любимые цвиты.

И чистыхъ помысловъ и жаркихъ упованій, На жизненномъ пути разстратиль много я; Но средь не ровныхъ битвъ, средь тяжкихъ испытаній, Что жь обрёла въ замёнъ всёхъ грезъ душа моя?

Увы! иншь жалкое въ себя разувъренье, Да убъждение въ безплодности борьбы, Да мысль, что ни одно правдивое стремление Ждать не должно себъ пощады отъ судьбы.

И даже ты моимъ призывамъ измѣнила, Друзей свободная и шумная семья! Привъта братскаго живительная сила, Мив не врачуетъ духъ въ тревогахъ бытія.

Но пусть ничемъ душа больная не согрета, А съ жизнью все-таки разстаться было-бъ жаль, И хоть не вижу я отраднаго разсвета, Еще невольно взоръ съ надеждой смотрить въ даль.

Эта надежда слышится подъ-часъ довольно внятно въ нѣкоторыхъ послѣднихъ произведеніяхъ г. Плещеева. Справедлива ли такая надежда—Богъ знаетъ. По временамъ онъ обличаетъ сознаніе, что тѣ слишкомъ обобщенныя мысли и чувства, которыя онъ проводитъ въ своихъ стихахъ, требують при новыхъ условіяхъ времени болѣе опредѣленнаго и прямаго смысла для жизни.

За г. Плещеевымъ осталась одна сила, сила призыва въ честному служенію обществу и ближнимъ. Смыслъ дучшей стороны дѣятельности г. Плещеева яснѣе всего выражается стихотвореніемъ его, напечатаннымъ на 148 стр. новаго изданія; отъ большей части его оригинальныхъ пьесъ вѣеть на читателя тѣмъ добрымъ чувствомъ, тѣмъ здравымъ пониманіемъ обязанностей и цѣли жизни, которыя высказаны въ этихъ стихахъ:

Передъ тобой лежить широкій, новый путь. Прими-же мой привёть, не громкій, но сердечный; Да будеть, какь была, твоя согрёта грудь Любовью къ ближнему, любовью къ правдё вёчной. Да не утратишь ты въ борьбъ со зломъ упорной, Всего, чъмъ нынъ такъ душа твоя полна, И въры и любви свътильникъ животворный Да не зальеть въ тебъ житейская волна.

Подъявъ чело, иди безтрепетной стопою;
Иди, храня въ душь свой чистый идеаль,
На слезы страждущихъ отвътствуя слезою,
И ободряя тъхъ, въ борьбь кто духомъ палъ.
И если въ старости, въ раздумье часъ печальный,
Ты скажещь: въ мірі я оставилъ добрый слідъ,
И встрітить я могу спокойно мигъ прощальный...
Ты будешь счастливъ, другь; инаго счастья нітъ!

Въ несколькихъ стихотвореніяхъ г. Плещеева, въ которыхъ онъ обращается къ реализму, отъ стремленія и надеждъ, выражаемыхъ въ общихъ чертахъ, переходитъ къ изображеніямъ действительности, съ ея прозаическими и мелкими подробностями,—въ этихъ пьесахъ нетъ ни той силы, ни той глубины чувства, которыя мы замечаемъ въ его произведеніяхъ. Элегическіе стихи его не перестраиваются на сатирическій ладъ, у него нетъ ни негодованія, безъ котораго сатира невозможна, ни того наблюдательнаго взгляда, который уметъ подмечать смешныя и вредныя стороны действительности, ни того изобразительнаго таланта, который уметъ резко и рельефно выставлять такія черты.

Мы уже сказали, что переводы занимають двъ трети мъста въ его книгь, и одна изъ этихъ третей посвящена переводамъ изъ Гейне. И эти переводы, какъ упомянуто выше, не были, при первомъ появленіи, пощажены критикой. Кажется, и этотъ трудъ быль причисленъ къ занятіямъ, представляющимъ безполезную трату времени. Положимъ, г. Плещеевъ передавалъ въ своихъ стихахъ лишь одну сторону нёмецкаго поэта, именно тё его произведенія, которыя не касаются прямо общественныхъ интересовъ, но мы уже видвли, что талантъ г. Плещеева не представляетъ некоторыхъ сторонъ, существенно необходимыхъ, для передачи соціальныхъ стихотвореній Гейне, которыя всё почти полны чрезвычайнаго юмора, и въ выраженіи, и въ самыхъ образахъ. Понятно, что г. Плещеевъ брался именно за то, что болъе всего поддавалось его таланту. Намъ кажется, что и собственныя его стихотворенія, въ юмористическомъ тонъ, о которыхъ мы упомянули безъ особенной похвалы, вызваны не столько собственно внутреннимъ чувствомъ

поэта, сколько общимъ направленіемъ всей современной русской литературы къ реализму.

Самая большая пьеса, переведенная г. Плещеевымъ изъ Гейне, это-«Виллымы Ратклиффъ», одно изъ первыхъ, почти детскихъ произведеній автора «Книга півсень». Сама по себів-эта трагедія, или драматическая баллада, какъ называеть ее самъ авторъ, не замъчательна; въ ней мы видимъ Гейне еще чистымъ романтикомъ со всёми романтическими дикостями. Но въ деятельности немецкаго поэта, на нее нельзя не обратить вниманіе. На ней замітно сильное вліяніе «Разбойниковъ» Шиллера, и уже переходъ къ новой реальной поэзіи чувствуется довольно ясно. Гейне говорить, что первый полу-романтическій періодъ его поэзіи завершается этою драмой, что она служить, такъ сказать, последнимъ словомъ этого періода; «это слово», говорить онъ: «сдёлалось впоследствіи лозунгомъ, отъ котораго прояснялись черты бедняка и вытягивались жирныя физіономіи сыновь счастія. У очага почтеннаго Тома, идеальнаго разбойника изъ класса partageux, уже слышится запахъ этого великаго вопроса о супъ, за который принялись теперь такое множество дрянныхъ поваровъ, и который со дня на день все больше и больше перекипаетъ. Счастливецъ поэтъ! онъ видитъ дубовыя рощи, таящіяся въ оболочкі жолудя; онъ ведеть разговоръ съ поколеніями, которыя еще не зарождались въ утробе матерей. Эти покольнія нашептывають ему свои тайны, и онъ передаеть ихъ потомъ громко среди народной площади. Но голосъ его глохнетъ въ нуждахъ дня и немногіе слушають его, и никто не понимаетъ. Фридрихъ Шлегель назвалъ историка пророкомъ прошедшаго. Едва ли не еще справедливъе назвать поэта историкомъ будущаго».

Гейне совершенно правъ, говоря это о своей драмѣ, почти въсамомъ концѣ своей дѣятельности, которая дѣйствительно развилась въ свою очередь, какъ дубовая роща изъ жолудя, изъ этой драмы. Но «Вилльямъ Ратклиффъ», взятый отдѣльно, безъ связи съ остальными произведеніями поэта, лишается большей части своего интереса, и становится очень понятно, почему онъ обратилъна себя при первомъ появленіи, вмѣстѣ съ другою юношеской драмой Гейне «Альманзоромъ», такъ мало вниманія.

Переводъ г. Плещеева въренъ и хорошъ, и для русскихъ любителей Гейне будетъ любопытенъ, какъ черта изъ біографіи ав-

тора «Путевыхъ Картинъ»; онъ можетъ пожалуй быть прочитанъ и какъ образецъ болезненнаго романтизма, охватывавшаго всю немецкую поэзію въ то время, когда выступаль на литературное поприще Гейне. Но достоинства положительнаго у этой драмы решительно нетъ, и—признаемся—мы думаемъ, что у того же Гейне г. Плещеевъ могъ бы взять что либо более интересное для перевода.

Изъ остальныхъ стихотвореній переведенныхъ изъ этого поэта г. Плещеевымъ, большая часть взята изъ «Buch der Lieder» и «Neue Gedichte». Переводъ этотъ принадлежитъ къ лучшимъ на русскомъ языкъ переводамъ этихъ прелестныхъ пъсенъ. Нъкоторые изъ нихъ стали всъмъ извъстны съ перваго появленія въ печать. И дъйствительно, едва ли можно передать лучше, чъмъ передалъ г. Плещеевъ стихотвореніе: «Возьми барабанъ и не бойся», «Ръчная лилія», «Вътеръ осенній колышетъ», и др.

Кром'в Гейне, г. Плещеевъ переводилъ и переводитъ и другихъ нъмецкихъ поэтовъ. Въ его книжкъ есть стихотворенія и даровитейшаго изъ немецкихъ романтическихъ лириковъ Эйхендорфа и изъ бездарнъйшаго католическаго романтика Оскара Редвица, отличивнагося въ последнее время стихотвореніемъ на геройство неаполитанской королевы въ Гартв, за что и получилъ, какъ писали въ газетахъ, какое-то подаяніе не то отъ баварскаго, не то отъ вънскаго двора. Г. Плещеевъ переводитъ и такихъ дъйствительно замічательных поэтовь, какь Фрейлиграть и Мориць Гартманъ, и такихъ слабыхъ, хотя известныхъ въ Германіи стихотворцевъ, какъ Робертъ Пруцъ и Карлъ Бекъ. Надо правду сказать, теперь не трудно добиться въ немецкой поэзім некоторой известности и даже получить авторитеть. Кажется, никогда еще немецкая литература не была такъ бъдна поэзіей, какъ въ последнее время. Тотъ самый Робертъ Пруцъ, изъ котораго г. Плещеевъ перевель несколько пьесь, издаль недавно историческій очеркь изящной немецкой литературы съ 1848 года. Поэзія за это время представляеть въ Германіи самое плачевное зр'влище. Все, что сколько нибудь превышаетъ уровень посредственности, принадлежитъ поэтамъ уже не новаго поколенія, поэтамъ не молодымъ и оканчивающимъ свое литературное поприще. Хотя въ книгъ Пруца и есть цълая глава, посвященная, какъ онъ называетъ ихъ, поэтическимъ полросткамъ, но на эти подростки плохая надежда. Единственным

исключеніемъ изъ нынів пишущихъ нівмецкихъ поэтовъ можно назвать Морица Гартиана, и почти все, что перевель изъ этого поэта г. Плещеевъ, стоитъ вниманія. Не таковы его переводы изъ Бека, Пруца и Анастазія Грюна. Переводы изъ этихъ поэтовъ занимають, правда, самое незначительное м'єсто въ книжкі г. Плещеева, по было бы пріятиве, еслибъ и этого м'єста не было имъ удівлено, и г. Плещеевъ обратилъ свое вниманіе на что нибудь иное, если не въ новой, то въ прежней нівмецкой литературів.

Изъ прежнихъ поэтовъ мы находимъ въ его книжке прекрасный переводъ одного очень хорошаго, хотя и мало известнаго стихотворенія Гете: «Молитва», и несколько романтическую песню Рюкерта: «Странникъ». Г. Плещеевъ самъ немножко романтикъ и вероятно потому взялъ у Рюкерта только одну эту пьесу. Вообще мы редко можемъ упрекнутъ г. Плещеева въ томъ, чтобы онъ брался за что либо несродное его таланту.

Фрейлигратъ представляеть по таланту и по самому роду своихъ произведеній совершенную противоположность г. Плещееву. Это поэтъ образовъ яркихъ и блестящихъ; но у Фрейлиграта есть двъ-три пьесы въ томъ элегическомъ рефлективномъ томъ, который такъ удается нашему поэту, и г. Плещеевъ взялъ лучшую изъ этихъ пьесъ и перевелъ, не увлекаясь роскошью другихъ.

> Люби, пока июбить ты можешь, Иль часъ ударить роковой, И станешь съ позднимъ сожалёньемъ, Ты надъ могилой дорогой!

И сторожи, чтобъ сердце свято Любовь хранило, берегло, — Пока его другое любитъ И неизмънно и тепло.

Тъмъ, чья душа тебъ открыта, О дай имъ больше, больше дай! Чтобъ каждый мигъ дарилъ имъ счастье— Ни одного ни отравляй!

И сторожи, чтобъ словъ обидныхъ— Норой языкъ не произнесъ; О Боже! онъ сказалъ безъ злобы— А друга взоръ ужь полонъ сдезъ!

Люби, пока любить ты можешь, Иль часъ ударить роковой, И станещь съ позднимъ сожаленьемъ Ты надъ могилой дорогой!

Вотъ ты стоишь надъ ней уныло, На грудь поникла голова. Все что любилъ—навъкъ сокрыла Густая, влажная трава,

Ты говоришь: «хоть на мгновенье Взгляни, изныла грудь моя! Прости язвительное слово, Его сказаль безъ злобы я!»

Но другъ не видить и не слышить, Въ твои объятья не спёшить, Съ улыбкой кроткою, какъ прежде, «Прощаю все» не говорить!

Да! ты прощенъ... но много, много Твоя язвительная рѣчь— Мгновеній другу отравила, Пока успѣлъ онъ въ землю лечь.

Люби, пока любить ты можешь, Иль часъ ударить роковой, И станешъ съ позднимъ сожалѣньемъ Ты надъ могилой дорогой!

Для чего перевель г. Плещеевь пьесу Анастасія Грюнь «Старый комедіанть», понять довольно трудно. Это все равно, какъ если бы Фрейлигратъ вздумалъ переводить съ русскаго Tendenz Gedichte г. Розенгейма. Грюнъ ни на волосъ не лучше. Это холодный, изысканный риторъ безъ всякаго поэтическаго чутья; его стихотворенія похожи на риемованныя журнальныя статейки и фельетоны, и если онъ прославился, то только потому, что принадлежаль нь австрійскимъ поэтамъ; въ родв известнаго Якова Хама, съ такимъ же милимъ и богобоязненнымъ направленіемъ. Написать, что не только на всей землв, но даже и въ самой Австріи не наступали еще торжества правды и свободы, какъ это сделаль Грюнь, въ своихъ знаменитыхъ «Прогулкахъ Венскаго поэта», было уже страшевищимъ героизмомъ, неслыханнымъ либерализмомъ, котораго темъ-паче нельзя было ожидать отъ титулованнаго потомка древней имперской фамиліи: Грюнъ, какъ извізстно, только псевдонимъ, а настоящая фамилія поэта-графъ фонъАуэрсбергъ. Смёлость его нисколько не превосходить новейшихъ либеральныхъ тенденцій гг. Бенедиктова, Розенгейма и друг. Если же либеральный нёмецкій поэтъ сталь извёстенъ и внё своего отечества, то этому онъ обязанъ только тому, что нёмецкій языкъ боле распространенъ, чёмъ тотъ, на которомъ призываетъ человечество къ прогрессу г. Розенгеймъ.

Совсемъ иное дело Морицъ Гартманъ, хотя и онъ родился австрійскимъ подданнымъ. Не говоря уже о таланть, которымъ едва ли равняется съ нимъ кто нибудь изъ нѣмецкихъ поэтовъ новаго покольнія, самое направленіе его не можеть быть и сравниваемо съ графскими тенденціями вінскаго поэта. То, что перевель изъ него г. Плещеевъ, какъ мы уже сказали, очень удалось, но только за исключениемъ нъсколько темной и странной датской баллады про короля Альфреда. У Гартмана вы редко встретите что нибудь сочиненное, насильно придуманное, какъ это часто случается даже у дучшихъ поэтовъ этого направленія; напротивъ, все у него прочувствовано, всюду слышенъ голосъ человека, глубоко проникнутаго убъжденіемъ. Его произведенія явились потому, что онъ не могъ не высказаться, тогда какъ у многихъ другихъ нѣмецкихъ поэтовъ политической школы вы постоянно замъчаете, что имъ хочется сказать то, что не вошло еще въ нихъ органически. Чтобы привести примъръ, вспомнимъ Пруца. Онъ считается однимъ изъ радикальнъйшихъ нъмецкихъ поэтовъ послъдняго времени. Обскуранты грембли и отчасти гремять и теперь противъ него жестокими проклятіями. Но какъ вамъ нравится, напримеръ, следующая черта его радикализма! Въ своемъ историческомъ обозрѣніи «Нѣмецкая литература съ 1848 г., онъ обращается съ упрекомъ къ Морицу Гартману и къ Альфреду Мейснеру, за то, что они говорять съ сочувствіемъ о чехахъ, и выражають свое уваженіе къ этой угнетенной національности. Такіе радикалы только и могуть быть, что у немцевъ.

Г. Плещеевъ переводитъ не однихъ немецкихъ поэтовъ. Въ его книгъ есть нъсколько очень хорошихъ переводовъ съ польскаго и малороссійскаго. Особенно нравятся намъ три такъ-называемыя «Сельскія пъсни» (съ польскаго).

ЛЕССИНГЪ.

ЕГО ВРЕМЯ, ЕГО ЖИЗНЬ И ДЪЯТЕЛЬНОСТЬ.

предисловіе.

Историческое значеніе німецкой литературы въ послідней половині прощедшаго віжа. — Місто, которое принадлежить Лессингу въ исторіи развитія нізмецкаго народа.

Объясняя жизнь, служа посредницею между чистою отвлеченною наукою и массою публики, доставляя человъку облагораживающее эстетическое наслажденіе, пробуждая умъ къ дъятельности, литература всегда имъетъ большее или меньшее вліяніе на развитіе народовъ, всегда играетъ болье или менье важную роль въ историческомъ движеніи.

Но какъ ни очевидно ея участіе въ исторіи, надобно согласиться, что очень рёдки въ жизни человічества ті случаи, когда литература, въ строгомъ смыслі слова, какъ мы здісь его употребляемъ— то есть повзія и ученыя сочиненія, писанныя такъ, что читаются всею массою публики, а не одними спеціалистами—рідки ті случаи, когда литература бывала въ историческомъ движеніи главною, преобладающею силою. Почти всегда литературныя вліянія оттіснялись, въ развитіи народной жизни, на второй планъ другими, болів пылкими чувствами или матеріальными, практическими побужденіями: соперничествомъ племенъ и державъ, религією, политическими, юридическими и экономическими отношеніями и т. д. Точно такова же была почти всегда и судьба науки. Но чрезвычайная важность науки въ жизни и исторіи нимало не теряется черезь это скромное положеніє: творя тихо и медленю, она творить

все; создаваемое ею знаніе ложится въ основаніе всёхъ понятій и потомъ всей дъятельности человъчества, даетъ направление всемъ его стремленіямъ, силу всёмъ его способностямъ. Наука-чернорабочій, не играющій блистательной роли въ обществъ; но трудами этого чернорабочаго живетъ все: и государство и семейство, и политика и промышленность; только оплодотворенныя знаніемъ стремленія человіка получають характерь, совмістный съ общимь и частнымъ благомъ, силы человъка производять полезное дъйствіе. Литература не имъетъ этого права считаться первою виновницею всякаго прогресса. Она не общая мать всёхъ другихъ дёятельностей человъка: она сама такая же спеціальная, частная діятельность, какъ и все остальное въ человеческой жизни, кроме знанія. Когда преобладаніе литературы въ историческомъ движеніи не очевидно, то и на самомъ деле она не играетъ въ немъ главной роли. Въдь она не создаетъ машинъ и инструментовъ, юридическихъ понятій и нравственныхъ отношеній, государственной власти и промышленной деятельности, какъ создаетъ ихъ знаніе. Пусть политика и промышленность шумно движутся на первомъ планъ въ исторіи, исторія все-таки свид'ятельствуеть, что знаніе-основная сила, которой подчинены и политика, и промышленность, и все остальное въ человъческой жизни. А до литературы нътъ историку дъла, если она насильно не вынуждаетъ у него признанія своего исторического могущества: чемъ не обладенть она сама, въ томъ никто не уступить ей доли.

И, надобно признаться, доля литературы, въ историческомъ пропессѣ, никогда не бывая совершенно маловажна, обыкновенно бывала и вовсе не такъ значительна, чтобы заслуживать особеннаго вниманія. Дѣйствительно, литература почти всегда имѣла для развитія человѣческой жизни только второстепенное значеніе. Такъ напримѣръ, въ древнемъ мірѣ мы не замѣчаемъ ни одной эпохи, въ которой историческое движеніе совершалось бы подъ преобладающимъ вліяніемъ литературы. Несмотря на все пристрастіе грековъ къ поэзіи, ходъ ихъ жизни обусловливался не литературными вліяніями, а религіозными, племенными и военными стремленіями, впослѣдствіи, кромѣ того, политическими и экономическими вопросами. Литература была, подобно искусству, лучшимъ украшеніемъ, но только украшеніемъ, а не основною пружиною, не главною двигательницею ихъ жизни. Римская жизнь развивалась военною и политическою борьбою и опредъленіемъ юридическихъ отношеній; литература была для римлянъ только благороднымъ отдыхомъ отъ политической деятельности. Въ блестящій векъ Италіи, когда она имъла Данте, Аріосто и Тассо, также не литература была основнымъ началомъ жизни, а борьба политическихъ партій и экономическія отношенія: эти интересы, а не вліяніе Данте, ръщали судьбу его родины и при немъ и послъ него. Въ Англіи, гордящейся величайшимъ поэтомъ христіанскаго міра и такимъ числомъ первостепенныхъ писателей, какого не найдется, быть можетъ, въ литературахъ всей остальной Европы, вивств взятыхъ, — въ Англіи отъ литературы никогда не зависвла судьба націи, опредвлявшаяся религіозными, политическими и экономическими отношеніями, парламентскими преніями и газетною полемикою: собственно такъ называемая литература всегда имъла только второстепенное вліяніе на историческое развитіе этой страны. Таково же было положеніе литературы почти всегда, почти у всёхъ историческихъ народовъ.

Исключеній изъ этого обыкновеннаго порядка, случаевъ, когда литература являлась действительно главною двигательницею историческаго развитія, очень немного. Немецкая литература последней половины прошедшаго и первыхъ годовъ нынёшняго века есть одно изъ самыхъ важныхъ между этими редкими явленіями. Отъ начала деятельности Лессинга до смерти Шиллера (до завоеванія западной Германіи Наполеономъ, законодательства Штейна въ Пруссіи и до распространенія философіи-явленій, которыя овладавають последующимъ развитіемъ немецкаго народа), втеченіе пятидесяти л'ять, развитіе одной изъ величайшихъ между европейскими націями, будущность странъ отъ Балтійскаго до Средиземнаго моря, оть Рейна до Одера опредълялась литературнымъ движеніемъ. Участіе всёхъ остальныхъ общественныхъ силъ и событій въ національномъ развитіи должно назвать незначительнымъ сравнительно съ вліяніемъ литературы. Ничто не помогало въ то время ея благотворному действію на судьбу німецкой націи; напротивъ, почти всё другія отношенія и условія, отъ которыхъ зависить жизнь, не благопріятствовали развитію народа. Литература одна вела его впередъ, борясь съ безчисленными препятствіями.

Каковы же были результаты этого пятидесятильтія?

Въ пятьдесять летъ литература совершила для прочнаго блага нежели каго народа более, нежели когда нибудь было совершено всеми

другими общественными силами для какого нибудь народа во сто, въ двъсти лътъ. Нъмецкая литература застала свой народъ ничтожнымъ, презръннымъ отъ всъхъ и презирающимъ себя, не имъющимъ даже никакого сознанія о своемъ существованіи, грубымъ до средневъсоваго варварства въ однихъ слояхъ, развращеннымъ до правовъ временъ Регентства въ другихъ слояхъ, ничего не желающимъ, ничего не надъющимся, безжизненнымъ. Она дала ему сознаніе о національномъ единствъ, пробудила въ немъ чувство законности и честности, вложила въ него энергическія стремленія, благородную увъренность въ своихъ силахъ. Въ половинъ XVIII въка нъмцы, во всъхъ отношеніяхъ, были двумя въками позади англичанъ и французовъ. Въ началъ XIX въка они во многихъ отношеніяхъ стояли уже выше всёхъ народовъ. Въ половине XVIII века немецкій народъ казался дряхлымъ, отжившимъ свой въкъ, не имъющимъ будущности. Въ началъ XIX въка нъмцы явились народомъ, полныхъ могучихъ силъ, -- народомъ, которому предстоитъ великая и счастливая будущность, -- народомъ, готовымъ дать начала обновленія для всёхъ другихъ европейскихъ народовъ, если бы тотъ или другой изъ нихъ нуждался въ посторонней помощи для своего обновленія. Все это совершила литература, наперекоръ безчисленнымъ препятствіямъ, безъ всякой посторонней помощи, и Шиллеръ имълъ полное право прославить нъмецкую поэзію за то, что ею возвеличенъ намецкій народъ, и никто не далить славы этой съ нъменкими писателями.

«Не было у нашей литературы ни Августовъ, ни Медичи, не ободрялъ и не поддерживалъ ея никто. Съ отрадною гордостью можетъ сказать нѣмецъ, что самому себѣ обязанъ онъ всѣмъ, въ чемъ нынѣ честь его».

Kein Augustisch' Alter blühte, Keines Mediceers Güte Lächelte der deutschen Kunst;

Rühmend darf's der Deutsche sagen, Höher darf das Herz ihm schlagen: Selbst erschuf er sich den Werth!

Потому то нѣмецкая литература въ періодъ времени отъ половины прошлаго до начала нынѣшняго вѣка есть явленіе величай-

шей исторической важности, какой не имѣють многія другія эпохи литературной дѣятельности у другихъ народовъ, блиставшія писателями, которые по поэтическому генію были не ниже или даже и выше корифеевъ нѣмецкой литературы. Суворовъ, конечно, былъ геніальнѣе Кутузова и Барклая-де-Толли; но дѣло, совершенное Барклаемъ и Кутузовымъ, безконечно превышаетъ своимъ историческимъ значеніемъ всѣ дивные подвиги Суворова. Такъ, Мильтонъ и Данте, по поэтическому генію, быть можетъ, выше Гёте и Шиллера; но въ исторіи человѣчества Гёте и Шиллеръ занимаютъ гораздо болѣе значительное мѣсто. То—люди, высокіе въ своей спеціальности; это — двигатели историческаго развитія, имѣвшіе прямое вліяніе на судьбу человѣчества, стоящіе въ ряду великихъ правителей націй, въ одномъ ряду съ Ришльё, Штейномъ, Робертомъ Пилемъ *).

Если бы не вышель изъ моды старый и въ сущности вовсе не безполезный обычай объяснять въ предисловіяхъ къ сочиненіямъ, трактующимъ объ ученыхъ предметахъ, какую пользу приноситъ вообще знаніе, какую пользу въ частности приноситъ знаніе того предмета, о которомъ трактуется въ этомъ сочиненіи, и какую пользу въ особенности принесетъ знаніе этого предмета тѣмъ читателямъ, для которыхъ назначается это сочиненіе,—если бы не вышелъ изъ моды этотъ старый добрый обычай, мы должны были бы сказать что нибудь о той особенной пользѣ, какую можемъ извлечь мы, русскіе, изъ знакомства съ судьбами нѣмецкой литературы временъ Лессинга, Шиллера и Гёте.

Если бы не вышель также изъ моды другой старый добрый обычай—проводить параллели между сходными явленіями въ исторіи различныхъ народовъ, мы могли бы также отыскать нѣкоторыя занимательныя аналогіи между положеніемъ нѣмецкой литературы того времени и положеніемъ нѣкоторыхъ другихъ литературъ въ другія времена.

Наконецъ, если бы не вышли изъ моды «Разговоры въ царствъ мертвыхъ», мы могли бы выставить Лессинга, разговаривающаго, напримъръ, съ Пушкинымъ и Гоголемъ въ Елисейскихъ поляхъ:

^{*)} Гервинусъ, см. особенно предисловіе къ 1-му и 4-му томамъ изданія 1858 года.

Лессингъ распрашивалъ бы Пушкина и Гоголя о русской литературъ и, въ свою очередь, сообщалъ бы имъ различныя замъчанія о литературъ вообще.

Но «Разговоры въ царствъ мертвыхъ», историческія параллели въ родъ Плутарха, предисловія о пользъ наукъ,—все это ръшительно вышло изъ моды, и мы, не желая прослыть людьми, отставшими отъ въка, отказываемся и отъ разсужденій о пользъ изученія судьбы нъмецкой литературы для русской литературы, и отъ идеи вывести Лессинга, разговаривающаго съ Пушкинымъ и Гоголемъ, и повторимъ только, что важнъйшею стороною нъмецкой литературы отъ Лессинга до Шиллера надобно считать вліяніе ея на историческую жизнь нъмецкаго народа. Потому особенно интересно разсматривать ее не въ отдъльности отъ другихъ сторонъ жизни, какъ чисто художественную дъятельность, а въ связи съ общею исторіею народа, какъ силу, властвовавшую надъ умами, нравами и жизненными стремленіями и приготовлявшую событія,—словомъ, смотръть на нее не какъ на исключительное достояніе искусства, а какъ на одинъ изъ великихъ фазисовъ общей исторіи народа.

Лессингъ былъ главнымъ въ первомъ поколвніи техъ деятелей, которыхъ историческая необходимость вызвала для оживленія его родины. Онъ быль отцомъ новой немецкой литературы. Онъ владычествоваль надъ нею съ диктаторскимъ могуществомъ. Всв значительнъйшие изъ последующихъ немецкихъ писателей, даже Шиллерь, даже самь Гёте въ лучшую эпоху своей діятельности, были учениками его; оставались учениками его даже тогда, когда возставали противъ него или по одностороннему увлеченію, какъ писатели «періода бурныхъ стремленій» (Sturm-und Drang Periode). или по тайной зависти, какъ Гердеръ и Гёте. Нынъ, когда литература въ Германіи утратила свою преобладающую силу надъ развитіемъ общественной жизни, и безусловное восхищеніе литературными знаменитостями прежняго времени уступило мъсто другимъ симпатіямъ, величіе Лессинга возрастаеть по мѣрѣ того, какъ уменьшается авторитеть писателей, сменивщихь его, и по мере того, какъ очевиднъе убъждаются наши современники въ односторонности понятій, которыми еще недавно были удовлетворяемы, все болье и более научаются они ценить Лессинга. Онъ ближе къ нашему веку, нежели самъ Гете, взглядъ его проницательнее и глубже, понятія его шире и гуманиве. Только еще недавно стали постигать почти

безпримърную геніальность его ума, удивительную върность его идей обо всемъ, чего ни касался онъ. Слава Лессинга все возрастаетъ и, въроятно, долго еще будетъ возростать. Но и теперь стало уже ясно для всъхъ, что только очень немногіе изъ людей XVIII въка, столь богатаго геніальными людьми и сильными историческими дъятелями, могутъ быть поставлены на ряду съ нимъ по геніальности и огромному историческому значенію. Между свомии соотечественниками онъ ръшительно не находитъ соперниковъ въ своемъ въкъ; самъ Фридрихъ II не имълъ такого сильнаго вліянія на развитіе нъмецкаго народа, какъ Лессингъ *).

Мы уже сказали, что немецкую литературу последней половины прошедшаго и начала нынешняго века надобно разсматривать преимущественно со стороны ея вліянія на жизнь німецкаго народа. Дъятельность Лессинга, которая будеть предметомъ нашихъ статей, заключаетъ въ себъ начала всего того, чемъ сильна и благотворна для своего народа была эта литература; всему основаніе было положено Лессингомъ: подвигъ его преемниковъ былъ только осуществленіемъ его мысли, и наибольшую часть того, что считаль онъ нужнымъ совершить, успъль совершить онъ самъ, оставивъ своимъ преемникамъ только меньшую и легчайшую половину труда; въ великой борьбъ, цълью которой было возрождение и вмецкаго народа, не только планъ битвы принадлежить ему, но и побъда была одержана имъ, — Гете и Шиллеръ только довершали то, что уже было сдёлано Лессингомъ, ---ихъ слушали, потому что Лессингъ заставиль слушать; имъ сочувствовали, потому что Лессингь заставиль сочувствовать идеямь, которыя выражали они,-и все, что было здороваго въ ихъ идеяхъ, было имъ внушено Лессингомъ. Въ немъ или черезъ него и отъ него вся новая нъмецкая литература до смерти Шиллера и до конца плодотворной эпохи въ дъятельности Гете.

Мы хотимъ разсказать, что и какъ сдѣлалъ Лессингъ для историческаго развитія Германіи,—и намъ надобно начать съ того, чтобы взглянуть, въ какомъ положеніи засталь онъ Германію.

Читатель не найдеть страннымъ, что изложение дъятельности писателя начинается обозръниемъ состояния его родины не въ од-

^{*)} Шлоссеръ, Гервинусъ, Гиллебрандъ и проч.

номъ литературномъ или умственномъ отношеніи, но и въ государственномъ: писатель этотъ имѣлъ могущественнѣйшее вліяніе не на одну литературу, а на всю общественную жизнь Германіи; результатомъ его дѣятельности было не возрожденіе одной литературы, а возрожденіе націи. Посмотримъ же, въ какомъ положеніи засталъ онъ свой народъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Причины, замедлившія соединеніе нёмецкихъ племенъ въ одну національную державу и содъйствовавшія распаденію Германіи на множество самостоятельныхъ государствъ.—Слёдствія этого распаденія.—Положеніе нёмецкаго народа въ половинё XVIII вёка по отношенію въ общимъ національнымъ интересамъ.—Характеристика государственной и частной жизни въ различныхъ нёмецкихъ владеніяхъ.

Русскіе, англичане, французы часто осуждають німцевь за то, что они до сихъ поръ не составили изъ себя одной великой державы, каковы Россія, Англія, Франція. Многіе заходять въ этомъ осуждении такъ далеко, что объявляють немцевъ народомъ неспособнымъ къ высшей государственной жизни. Эти люди забывають, что судьба народа зависить не отъ однехъ его способностей, но также и отъ обстоятельствъ. Здёсь не место разсматривать, до какой степени извиняются обстоятельствами предки нынешнихъ немцевъ, за то, что въ XV--XVII въкахъ не успъли образовать одной державы, какъ успъли достичь государственнаго единства французы и англичане. Но при внимательномъ разборъ оказывается, что препятствія, съ которыми нёмцы должны были бороться въ этомъ дълъ, были гораздо значительнъе, нежели тъ затрудненія, которыми задерживались другіе народы. Въ Англіи, напримерь, вся страна была занята однимъ и тъмъ же племенемъ, во Франціи были только два племени, изъ которыхъ съверное съ самаго начала было гораздо могущественные южнаго, такъ что безъ особеннаго труда получило решительный перевесь надъ нимъ, --- въ Германіи было несколько племенъ, одинаково сильныхъ или защищенныхъ географическими условіями отъ преобладанія другь надъ другомъ, фризы, саксы, тюрингцы, аллеманы, баварцы не такъ скоро могли слиться между собою въ одно целое, какъ франки Шампани съ франками

Анжу и Берри. По своему географическому положенію, нъмцы имъли сосъдями иноплеменниковъ и на западъ, и на югъ, и на востокъ, между тъмъ, какъ французы имъли чужихъ сосъдовъ только съ одной восточной стороны (на югв горы отдъляли ихъ отъ другихъ народовъ твердою границею), англичане только на северной границъ встръчались съ малочисленными щотландцами, - и если Англія окончательно слилась съ Шотландіей только въ началъ XVIII въка, то можно ли дивиться, что сліяніе пяти или шести равносильныхъ немецкихъ племенъ замедлилось? Во Франціи стремленіе народа къ единству не было развлекаемо деломъ покоренія сосъднихъ племенъ характеру французской національности, въ Англіи борьба за обладаніе Франціею началась уже по соединеніи всехъ англійскихъ областей въ одно государство. Въ той и другой странь, до утвержденія государственнаго единства, всь усилія и народа и верховной власти были устремлены къ созданію и упроченію этого единства. Въ Германіи, напротивъ того, на югѣ и востокъ намецкое племя было занято упорною борьбою съ иноплеменниками и расширеніемъ границъ своей національности. Представитель верховной власти, императорь, въ качествъ главы всего католическаго міра, занять быль не столько утвержденіемъ строгаго государственнаго единства въ Германіи, сколько завоеваніемъ Италіи и борьбой съ папою, а народъ — расширеніемъ предёловъ своихъ на востокъ. Такимъ образомъ, при значительнъйшихъ внутреннихъ препятствіяхъ къ основанію государственнаго единства, существовали въ Германіи историческія отношенія, не позволявшія силамъ народа и усиліямъ правительства сосредоточиваться на одномъ стремлении къ созданию одного національнаго государства, между темъ, какъ въ Англіи и Франціи не существовало этихъ отношеній, неблагопріятных стремленію къ государственному единству.

Этими особенными обстоятельствами и отношеніями уже достаточно объясняется, почему исторія Германіи, по вопросу о государственномъ единствѣ одноплеменнаго народа, представляетъ противоположность, напримѣръ, французской исторіи; и нѣтъ надобности предполагать въ нѣмцахъ менѣе способности къ составленію одного національнаго государства, нежели въ какомъ нибудь другомъ изъ европейскихъ народовъ, ранѣе нѣмецкаго народа достигшихъ этой цѣли потому только, что имъ на пути встрѣчалось мевѣе препятствій нежели нѣмцамъ.

Нельзя осуждать намцевъ за то, что они еще не слились въ одну державу: не народъ ибмецкій виновать въ томъ, а географическія и историческія отношенія. Но, действительно, подъ вліяніемъ этихъ неблагопріятных обстоятельствь, исторія Германіи, по отношенію къ государственному единству, представляеть, съ XIII или XIV въка, совершенную противоположность тому, что мы видимъ во Франціи. Начало развитія въ объихъ странахъ было одно: имперія Карла Великаго постепенно распалась на мелкія государства, которыя, и по объему, и даже по характеру управленія, скоръе можно сравнить съ частными владеніями, нежели съ національными державами. Королевская власть во Франціи, императорская въ Германіи была очень слабою связью между раздробленными частями одного народа. Но во Франціи эта центральная власть постепенно усиливается и наконецъ даетъ народу политическое единство; въ Германіи она все больше и больше ослаб'яваеть, такъ что въ XVIII въкъ существуетъ только по имени, а отдъльные князья, сначала бывшіе подданными императора, становятся независимыми государями, которые только на бумагв называются членами одной конфедераціи, на самомъ же д'яль не хотять ни думать о національныхъ интересахъ, ни подчиняться имперскому сейму. Каждое великое событіе, театромъ котораго была Германія, подвигало судьбу націи въ этому результату. Чтобы не заходить въ слишкомъ отдаленныя времена, припомнимъ ходъ событій съ Реформаціи. Она раздълила Германію на двъ враждебныя половины, и раздъленіе это не было следствіемъ какого нибудь разноречія между стремленіями народа въ южной и съверной Германіи, а только следствіемъ того, что католикъ-императоръ, напа и баварскіе іезуиты успыли удержать въ религіозномъ повиновеніи области, ближайщія къ пентру ихъ могущества, и насильственно подавить реформацію въ южной Германіи, чего не успали сдалать въ земляхъ, болае отдаленныхъ отъ Рима, Въны и Мюнхена. Изъ двухъ враждебныхъ партій, протестантская напрягала всё силы для ослабленія непріязненной центральной власти, католическая находила себъ главную опору не въ императоръ, а въ герцогахъ баварскихъ. Власть императора упала, власть отдёльныхъ князей возвысилась. Имперскій сеймъ сталь уже не органомь союза, хотя и слабаго, но все-таки общаго національнаго союза, какъ то было прежде, а конгрессомъ двухъ враждебныхъ коалицій, последнее слово которыхъ всегда -- угроза

войною. Католики и самъ императоръ ищуть покровительства Испаніи, протестанты — Англіи. Даніи, Швепіи; поочередно тв и другіе покровительства Франціи; тѣ и другіе одинаково находятся подъ вліяніемъ иноземцевъ, которые становятся покровителями нізмецкимъ державамъ противъ немецкихъ же державъ. Мало по малу, съ ослаблениемъ религіознаго энтузіазма, ослабъла и та связь, которая соединяла протестантовъ съ протестантами, католиковъ съ католиками: прежнія крѣпкія коалиціи исчезають; посл'в Тридцати-л'втней войны н'вть прочнаго союза ни между протестантами, ни между католиками; вмёсто духа партій водворяєтся духъ полнаго эгонзма. Благодаря чужеземному вившательству, отдёльные князья становятся, по вестфальскому миру, совершенно самостоятельными, изъ непокорныхъ вассаловъ дёлаются независимыми отъ императора государями. На сеймъ каждый руководится только своими частными выгодами; сеймъ безсиленъ, а если имъетъ еще нъкоторую тънь вліянія, то вліяніе это уже открытымъ и законнымъ образомъ находится въ рукахъ чужеземцевъ: Франція, Швеція, Данія им'єють голось въ сов'єщаніяхъ Самъ германскій императоръ заботился исключительно о выгодахъ своихъ наследственныхъ владеній, чуждыхъ общимъ интересамъ нъмецкаго народа: онъ дъйствоваль, какъ государь Венгріи, разныхъ славянскихъ и итальянскихъ земель, лежавшихъ внё границъ Германіи. Таково же было положеніе сильнъйшихъ князей, курфирстовъ саксонскихъ, бывшихъ королями польскими; духовные князья-архіепископы майнцкій, кёльнскій и трирскій не имѣли даже и династическаго интереса: они руководились исключительно личными выгодами. Не будемъ уже говорить о разделенности интересовъ по вопросамъ внутренней политики: какъ бы ни была безпощадна борьба партій, разділяющих в народт во времена мира, но при внішней опасности со стороны чужеземцевъ всів области страны, всё партіи народа им'єють одинь общій интересь и соединяются для защиты. Послъ вестфальского мира не было и этого въ Германіи: съ половины XVII века, не было ни одной войны, въ которой Германская имперія являлась бы какъ одно целое: каждый разъ, какъ только вспыхивала въ Западной Европ'в война, одни изъ германскихъ владетелей сражались за одну, другіе за другую изъ враждующихъ сторонъ, хотя обыкновенно Германіи не было собственно никакой нужды вившиваться въ войну. Да и могло ли быть иначе? кром'в вліянія инозем-

цевъ, нёмецкія области вовлекались въ чуждыя имъ распри и потому, что сильнейшіе изъ немецкихъ князей владели государствами или провинціями вив Германіи: саксонскіе курфирсты были также польскими королями, курфирсты бранденбургские владели Пруссіею; такимъ образомъ, Бранденбургъ запутывался во всв распри, касавшіяся Прусской области, и въ XVII въкь быль государствомъ наполовину чуждымъ Германіи, а Саксонія еще больше страдала отъ соединенія съ Польшею. Помераніею владела Швеція, Ганноверомъ-Англія, и объ эти державы пользовались силами Ганновера и Помераніи, конечно, не для выгоды этихъ областей, а только по своимъ собственнымъ разсчетамъ. Баварія после вестфальскаго мира постоянно искала у Франціи помощи противъ Австріи. Въ эти чуждыя національнымъ интересамъ, чуждыя всякому помышленію объ общемъ отечествъ интриги и отношенія сильнъйшихъ германскихъ державъ вовлекались, какъ ихъ кліенты, десятки второстепенныхъ и сотни третьестепенныхъ князей и князьковъ, пользовавшихся правами политической независимости графовъ, бароновъ и рыдарей, архіепископовъ, епископовъ и аббатовъ и имперскихъ городовъ.

Таково было положение Германіи въ началѣ XVIII вѣка, таково же оставалось оно и черезъ пятьдесять или шестьдесять лѣтъ,— даже сдѣлалось еще безнадежнѣе и позорнѣе.

Общія выраженія слишкомъ слабы и блідны, — надобно припомнить событія німецкой исторіи въ первой половині XVIII віка, чтобы иміть точное представленіе о томъ, какъ далекъ быль німецкій народъ отъ всякой идеи о единстві, когда вліяніе литературы начало противодійствовать совершенному расторженію членовъ одной націи.

Ограничиваясь событіями XVIII вѣка, мы не будемъ говорить ни о томъ, какія постыдныя измѣны общему дѣлу со стороны многихъ нѣмецкихъ владѣтелей Германіи были причиною успѣховъ Людовика XIV въ первыхъ его войнахъ; не будемъ говорить о томъ, съ какимъ позорнымъ равнодушіемъ, съ какою жалкою трусостью сеймъ позволялъ ему захватывать во время мира нѣмецкіе области и города. Мы начинаемъ свой обзоръ прямо съ войны за наслѣдство испанскаго престола *).

^{*)} Обворъ состоянія Германів и событій ея исторіи составленъ почти всилючительно по Шлоссеру.

Въ войнъ за наслъдство испанскаго престола Англія и Голландія начали борьбу съ Франціею за свои жизненные интересы. Не говоря ужь о соперничествъ въ морской торговлъ и другихъ важныхъ делахъ, вспомнимъ только, что Людовикъ XIV хотелъ завоевать Голландію и вооруженною рукою возвратить въ Англію Стюартовъ, которые были его вассалами и правленіе которыхъ грозило погибелью всему, что было священно для англичанина, отъ протестантской религіи до гражданскихъ законовъ. Австрія имела въ войнъ съ Франціею очень важный интересъ, если не народный, то, по крайней мірь, государственный: діло шло о томъ, австрійскому или французскому вліянію первенствовать въ Западной Европъ, господствовать въ Испаніи, Италіи, испанскихъ Нидерландахъ. Эти вопросы были совершенно чужды интересамъ Германіи; она не могла ничего выиграть въ этой распрѣ, каковъ бы ни быль конець, и не имела причинь вмешиваться въ войну. Германскій сеймъ сначала объявиль, что будеть соблюдать нейтралитеть. Но съ одной стороны подкупалъ германскихъ князей Людовикъ XIV субсидіями, съ другой-императоръ, объщаніями повышеній въ титулахъ. Потому въ Готв и Вольфенбюттелв начали вербовать войска для французскаго короля, что было запрещено решениемъ сейма относительно нейтралитета. Ганноверскія войска заняли непокорныя области. При посредничествъ бранденбургского курфирста, войска, навербованныя для французовъ, отданы были въ распоряжение императора. Сеймъ мало по малу склонился на австрійскую сторону. Но курфирсты баварскій и кельнскій остались союзниками французовъ и на деньги, данныя Людовикомъ, вербовали войска, чтобы вмёстё съ французами двинуться на Вѣну. Сеймъ опредѣдилъ выставить армію для защиты границъ имперіи, — онъ рёшился наконецъ вести войну, но только оборонительную, а не наступательную. Между тымь, курфирсть баварскій собраль на французскія деньги 20,000 войска, пошелъ противъ имперской арміи, которая отступила, и двинулся на Рейнъ; курфирстъ кельнскій, съ французскими и собственными войсками, также вступиль въ германскія области, жегь, грабиль и хвалился, что на двадцать миль отъ тёхъ мёсть, гдё стояла его главная квартира, не осталось ни одного поселянина, - и, однако же, четыре года провель сеймь въ совъщаніяхъ, должно ли этихъ двухъ князей признать врагами германскаго союза. Имперское войско терпъло во всемъ совершенный недостатокъ; князья выставили едва пятую

часть контингента, который объщались дать. При такихъ условіяхъ имперская армія, конечно, терпізла повсюду неудачи и во все прододженіе войны играла самую жалкую роль, между томь, какъ австрійцы и англичане покрывались славою. Людвигь Баденскій, назначенный предводителемъ имперской арміи, не могъ сдёлать ничего, потому что генералами ему даны были люди неспособные, безпечные, которые изъ мелкой зависти старались нарочно мізшать усивху его плановъ. Имперскій сеймъ не обращаль вниманія на его требованія, занимаясь только разборомъ нескончаемыхъ жалобъ различныхъ князей и городовъ на то, что контингенты, на нихъ возложенные, слишкомъ велики. Пренія о каждомъ пустійшемъ дълв тянулись мъсяцы и годы. Каковы были жалобы, можно судить по следующему примеру. Одинъ изъ значительнейшихъ городовъ, Франкфуртъ, въ 1706 году утверждалъ, что наложенный на него денежный контингентъ не можетъ быть уплаченъ безъ раззоренія города. Какъ же великъ былъ контингентъ? -- 800 гульденовъ (500 руб. сер.). Франкфурть просиль, чтобы «эта сумма была уменьшена до 300 гульденовъ, сложениемъ 500 гульденовъ, хотя, по мивнію города, справедливо было бы уменьшить ее до 266 гульденовъ и 40 крейцеровъ, сложеніемъ двухъ-третей, именно 533 гульденовъ и 20 крейцеровъ». Король прусскій предложиль свое заступничество столь жестоко угнетеннымъ франкфуртцамъ подъ условіемъ, что въ ихъ лютеранскомъ городъ будетъ дано реформатамъ позволеніе отправлять богослуженіе по обряду своей церкви. Можно судить, съ какою поспъшностью, въ какой полноть и въ какомъ видъ столь ревностные патріоты выставляли свои войска, и какъ аккуратно уплачивали они наложенныя сеймомъ военныя подати. Когда въ 1706 году коллегія курфирстовъ, послів четырехлівтнихъ требованій со стороны императора, объявила наконецъ врагами союза курфирстовъ баварскаго и кельнскаго, съ 1702 года опустошавшихъ, въ союзъ съ французами, юго-западную Германію, коллегія князей начала изъявлять претензіи за то, что это сділано безь ея согласія. А, между темь, на словахь, члены союза кипели ненавистью къ французамъ. Графъ фонъ-Тюнгенъ, при крещении своихъ детей, формулу «отреченія отъ сатаны и всёхъ дель его» измвняль даже следующимь прибавленіемь: «отрекаеться ли сатаны и французовъ и всёхъ дёлъ ихъ».

Когда умеръ Людвигъ Баденскій, начались споры о томъ, ка-

толикъ или протестантъ долженъ начальствовать имперскимъ войскомъ; наконецъ, противъ воли императора, сеймъ навначилъ главнокомандующимъ маркграфа Эриста Аншпахъ-Байрейтскаго, и тутъ оказалось, что Людвить Баденскій быль великимь полководцемь, если могъ еще хотя какъ нибудь держаться съ своимъ войскомъ, никуда негоднымъ. Новый полководецъ былъ тотчасъ же разбитъ французами на голову, такъ что потерялъ всю артиллерію и весь обозъ. Французы хлынули на юго-западную Германію и опустошили всю страну на огромное пространство. Кое-какъ убъдили маркграфа сложить съ себя команду, и новый предводитель имперской арміи, курфирсть ганноверскій, рішился обороняться отъ французовь, по системъ Людвига Баденскаго, въ укръпленныхъ позиціяхъ. Онъ постоянно долженъ былъ жаловаться сейму на дурное состояніе войска, недостатокъ провіанта и аммуниціи и на то, что въ солдатахъ нътъ никакого патріотизма; князья, по прежнему, не исполняли обязанностей, возложенныхъ на нихъ сеймомъ. Англійскія и голландскія газеты наполнены были насмішками надъ медленностью сейма, неисправностью немецкихъ князей; голландскіе уполномоченные упрекали въ своихъ нотахъ сеймъ самымъ жосткимъ языкомъ за то, что «нъмецкимъ князьямъ деньги дороже собственной чести». Во все продолжение войны сеймъ и его армія были посмівшищемъ Европы. Самъ Евгеній Савойскій, такъ блистательно поражавшій французовь съ австрійскими войсками, не могь ничего сделать съ имперскою арміею, когда она поступала въ его распоряженіе, долженъ быль отступать и смотреть, какъ французы въ въ его глазахъ брали одну кръпость за другою. Сеймъ разсуждалъ, велъ жаркія пренія, писалъ длинныя инструкціи и дедукціи, но никто не платилъ денегъ по его назначенію, армія не имъда ни хлібба, ни аммуниціи. Зато и при заключеніи мира съ Франціею въ Раштадтв никто не спрашиваль согласія у сейма: Австрія подписала трактать безь его уполномоченныхъ, и уже потомъ, въ Баденъ, начались новые переговоры между французскими и имперскими посланниками. Разумъется, это была чистая комедія; но имперскіе педанты важно и долго трактовали о томъ, что уже давно было решено въ Раштадте безъ ихъ согласія, и чему они принуждены были безусловно покориться. Само собою разумъется также, что Баварія и Кёльнъ, союзники французовъ, получили полное извиненіе въ томъ, что воевали противъ имперіи, членами которой считались.

Въ то время, какъ юго-западная Германія страдала отъ войны, участвовать въ которой не имъла никакой нужды, свверо-восточная Германія еще больше страдала отъ другой войны, еще болье чуждой ея интересамъ. Честолюбивые замыслы короля польскаго навлекли на Польшу страшное мщеніе Карла XII; но король польскій быль вмёстё курфирстомъ саксонскимъ, и Саксонія подверглась той же участи, какъ Польша. Бъдствія начались съ того, что саксонскія войска были истреблены шведами въ остзейскихъ провинціяхъ и Польшь, куда безъ всякаго вниманія къ пользамъ Саксоніи, завель ихъ Августь II. Потомъ Карль, преследуя Августа, пощель въ Саксонію черезъ Силезію, которая тогда принадлежала императору, --- императоръ не дерзнулъ выразить неудовольствіе за то, что иноземцы самовольно проходять по его областямъ, напротивъ, даровалъ различныя льготы силезскимъ протестантамъ, чтобы только пріобресть благосклонность шведскаго короля. Саксонія не могла и не думала защищаться: Карлъ заняль ее безъ битвы и, однако же, систематически раззоряль эту страну, чтобы лишить своего врага средствъ къ продолженію войны. Потери, которыя понесла Саксонія только въ первыя пять літь Сіверной войны отъ наборовъ и поборовъ Августа, еще до занятія шведами Саксоніи, оцениваются въ 88,000,000 талеровъ-сумма, равняющаяся, при тогдашней ръдкости денегъ въ Германіи, по крайней мъръ, двумстамъ милліонамъ по нынтшней цтности денегь; изъ саксонскихъ войскъ погибло до 36,648 человъкъ-потери страшныя для страны, которая имела всего какихъ нибудь два милліона жителей. Всю эту погибель навлекъ Августъ на свою родину только для того, чтобы получать субсидіи оть Петра Великаго и тотчась же растрачивать эти субсидін на свои роскошныя увеселенія. Русскимъ хорошо извъстна жалкая роль двоедушнаго измънника, которую принялъ на себя Августъ, выдавъ Карлу русскаго посланника Паткуля на колесованіе, въ то самое время, какъ увѣрялъ Петра Великаго въ своей дружбъ; извъстно и то, какъ горько отомстилъ ему за измъну Меньшиковъ, заставивъ его, уже заключившаго миръ съ Карломъ, - сражаться подле русскихъ въ битве при Калише, где были поражены шведы. Августь, униженно прося за то прощенія у Карда, хвалился передъ нимъ, что тайкомъ отъ Меньшикова извъщалъ шведскихъ

генераловъ о движеніяхъ Меньшикова, а сражался только изъ страха и какъ нельзя хуже. Съ темъ вместе Августъ отдалъ подъ судъ, наказалъ денежными штрафами и заключениемъ въ крепости тъхъ сановниковъ, которые по его приказанію заключали миръ съ Карломъ: «они должны были догадаться — говорилъ онъ — что я только хочу обмануть шведовъ». Между темъ шведы хозяйничали въ Саксоніи такъ своевольно, что изніжились отъ роскошной жизни и отвыкли отъ прежней строгой дисциплины. Кром'в квартиры и пищи, они получали отъ жителей добавочныя деньги къ жалованью, Саксонцамъ пришлось такъ тяжело, что, по выраженію, употребленному въ оффиціальномъ представленіи саксонскаго Ландтага, «различные обыватели отъ слишкомъ большаго утвененія и недостатка пропитанія впали въ меланхолію, отчаяніе и даже самоубійство, потому что немилосердно отнимали у нихъ скотину и домашній скарбъ и продавали набравшимся въ Саксонію жидамъ, а солдату въ день должны они были давать два фунта мяса съ овощами и двъ кружки пива». Пышность саксонскаго двора не уменьшалась въ это объдственное время, и сборщики контрибуціи, простиравшейся до 500,000 талеровъ въ мъсяцъ, пользовались случаемъ, чтобы еще почти столько же отнимать у народа въ собственную пользу. Такое несносное состояніе продолжалось цілый годь, пока Карль вышель изъ разворенной земли. Между темъ онъ вербоваль въ свои войска не только въ Саксоніи, но во всёхъ имперскихъ городахъ, въ Бранденбургв, Пруссіи, даже въ Силезіи, несмотря на запрещеніе императора. Когда, посят пораженія Карла подъ Полтавою, Данія и Польша возобновили непріязненныя действія противъ шведовъ, вся тяжесть войны обрушилась на немецкія провинціи; русскіе опустошили шведскую Померанію, въ отмщеніе за то Стенбовъ раззоряль Гольстинію, съ такою свирепостью, какой мало бывало примъровъ: цълью его, по собственному его объявленію, было «выжечь въ Гольстиніи столько же городовъ и селъ, сколько выжгли русскіе въ Помераніи». Между прочимъ, онъ велёль сжечь городъ Альтону; Гамбургъ, лежащій по сосёдству, не пустиль несчастныхъ изгнанниковъ переночевать, и они должны были, среди жестокой зимы, ночевать въ полъ, передъ запертыми для нихъ воротами Гамбурга; многіе замерзли въ эту ужасную ночь. Переходя изъ рукъ въ руки, Мекленбургъ, Померанія и Гольстинія были совершенно опустошены шведами, саксонцами, датчанами и русскими;

Данцигъ, Гамбургъ. Любекъ и другіе города платили страшныя контрибуціи, села были разрущены.

Черезъ нісколько літь, когда Испанія, въ союзі съ Францією, вздумала отнять у Австріи итальянскія провинціи, а въ Польш'в произошли смуты по случаю избранія короля, Германія въ 1733-1734 годахъ опять съ двухъ сторонъ была наводнена врагами. опять подверглась разворенію изъ-за споровъ, которые были совершенно чужды ея прямымъ интересамъ, и опять многіе германскіе князья явились союзниками иноземцевъ противъ своей родины, и опять имперское войско покрыто было позоромъ. Французы вступили въ юго-западную Германію, прогнали имперскія войска, ограбили прирейнскія области. Потомъ вступили во Франконію пруссаки, посланные на помощь императору, и также грабили эту страну, между прочимъ, за то, что франконцы не позволяли курфирсту, страшно любившему высокихъ солдатъ, насильно брать въ свою службу чужихъ подданныхъ, имфвшихъ несчастіе родиться высокорослыми. Баварскій курфирсть продаль себя французамь и сталъ на французскія деньги собирать войско противъ имперіи, но, къ счастію, набраль его немного, потому что большую часть полученныхъ субсидій истратиль на своихъ фаворитовъ. Пфальцъ и Майнцъ также были въ союзъ съ французами; кельнскій курфирстъ также продаль себя французамь. Курфирсты гановерскій и бранденбургскій перессорились такъ, что грозили другь другу войною, и первый вызываль втораго на дуэль. Три французскія арміи уже давно раззоряли Швабію, Франконію и Лотарингію, а сеймъ все еще не объявляль войны; наконець объявиль, -и начался спорь о томъ, кому предводительствовать имперскою арміею, существовавшею, впрочемъ, только еще на бумагъ. Единственнымъ средствомъ покончить этотъ споръ было то, что команду принялъ Евгеній Савойскій, хотя быль уже дряхль. При всей своей геніальности, онь могъ только отступать передъ французами; да и то было верхомъ искусства, что онъ успълъ отступить съ такою жалкою арміею, не потерявъ ея. На защиту нъмцевъ должны были явиться русскія войска. Война кончилась темь, что имперія потеряла Лотарингію.

На другомъ концѣ Германіи, въ войнѣ за польскій престолъ, всего болѣе пострадали опять-таки нѣмецкія провинціи, и, напримѣръ, Данцигъ долженъ былъ заплатить 2,000,000 талеровъ кон-

трибуціи, изъ которыхъ, впрочемъ, половина была потомъ прощена ему, по невозможности уплаты.

Со времени вступленія Фридриха II на прусскій престоль, сила и достоинство Пруссіи въ кругу европейскихъ державъ быстро увеличиваются. Но это возвышение немецкой державы было едва ли не самымъ пагубнымъ ударомъ упадавшему, уже почти павшему единству Немецкой имперіи. Пруссія стала такъ сильна, что решительно не захотела ни въ чемъ подчинятьси даже формальной вависимости отъ сейма; но, съ другой стороны, она вовсе не была ни такъ могущественна, ни такъ общительна въ отношеніяхъ своихъ къ другимъ нъмецкимъ государствамъ, чтобы сдълаться центромъ новаго единства для Германіи. Она только оторвалась отъ союза, не представляя новыхъ залоговъ единства въ замёнъ окончательно разорванныхъ прежнихъ узъ. И не только государственныя связи различныхъ частей Германіи потерпёли отъ ея возвышенія: оно въ самомъ народъ поселило непріязненныя чувства, основанныя, съ одной стороны, на зависти, съ другой-на гордости. До Фридриха II ни одно изъ нъмецкихъ племенъ не могло хвалиться особенно славными подвигами, не имело знамени, которое могло бы съ честью быть выставлено противъ общаго національнаго знамени. После блистательных в победь Фридриха жители прусской державы стали гордиться и хвалиться тёмъ, что они пруссаки, и стали съ презрвніемъ смотрёть на жителей другихъ немецкихъ областей, уже не хотъли даже считать себя нъмцами. До того времени они мало думали объ отечествъ, но когда думали, то все-таки отечествомъ представлялась имъ Германія; теперь отечествомъ они стали считать Пруссію, равнодушно и нагло отзываясь о Германіи, до которой не хотели иметь никакого дела. Вместо прежняго, хотя слабаго, чувства національнаго единства, въ значительной и сильнейшей части немецкаго народа явилось положительное отчуждение отъ общаго отечества, въ другихъ- племенахъвражда къ этому отчуждающемуся, соединенная съ унизительнымъ сознаніемъ собственнаго безсилія.

Фридрихъ II съ самаго начала сталъ дъйствовать, какъ глава государства, совершенно независимаго отъ союза. Онъ, оставивъ юридическій путь, которому всегда слъдовали нъмецкіе князья, и въ томъ числъ его предки, при столкновеніяхъ своихъ съ другими нъмецкими князьями, ръшилъ споръ свой съ епископомъ Люттих-

скимъ, занявъ войсками округи, о правахъ на которые шло дѣло. Точно также принудилъ онъ курфирста майнскаго уступить Румпенгеймъ ландграфу гессенскому, объявивъ безъ всякой церемоніи, что вышлетъ войско противъ Майнца, если курфирстъ не покорится волѣ прусскаго короля. Послѣ этого очевидно было, къ какимъ средствамъ прибѣгнетъ онъ для завладѣнія нѣсколькими округами Силезіи и Юлихъ-Клеве-Бергомъ, на обладаніе которыми Пруссія имѣла притязанія. Важность дѣла состоитъ не столько въ справедливости или несправедливости притязаній, сколько въ томъ, что Фридрихъ рѣшалъ несогласіе единственно военною силою, какъ бы споръ веденъ былъ съ державами, совершенно чуждыми, и какъ бы германскаго вовсе не существовало, даже и на бумагъ.

Около того самаго времени, какъ явился на прусскомъ престолъ Фридрихъ II, умеръ императоръ Карлъ VI, оставивъ императорскую корону своей дочери, Маріи-Терезіи. Завъщаніе это оспаривали многіе государи, въ томъ числів одинь изъ нізмецкихъ князей, курфирсть баварскій, Карль-Альберть, рішившійся войною отнять у Маріи-Терезіи императорскій титуль и ея германскія владенія (Австрію, Богемію и Тироль); но у самого Карла-Альберта не было ни денегъ, ни арміи. Отецъ оставилъ ему 30,000,000 долгу и безчисленную толпу голодной придворной челяди, для содержанія которой число войска было уменьшено до 10,000; францувскія субсидін, выдававшіяся на усиленіе армін, поглощались придворными праздниками, фаворитками и језунтами. Вся надежда Карла-Альберта была на новую помощь отъ Франціи, и онъ, государь, принявшій титуль германскаго императора, высщій титуль во всемь европейскомъ міръ, -- обращался съ самыми униженными просьбами не только къ французскому королю, но и къ кардиналу Флёри. управлявшему дълами: онъ писалъ къ Флёри въ такомъ тонъ, какого постыдился бы даже вельможа французскаго двора, просящій какой нибудь должности. Вотъ отрывокъ одного изъ этихъ писемъ, съ негодованіемъ приводимый Шлоссеромъ:

«Увъренный въ милостяхъ его величества (короля французскаго), исполненный надежды на дружбу вашего высокопреосвященства (кардинала Флёри), я питаю убъжденіе, что первымъ дъломъ моимъ должно быть—броситься въ объятія его величества, въ которомъ я въчно буду видъть единственную мою опору и единственную мою помощь, и высказать вашему высокопреосвященству мысль

мою, что настоящія обстоятельства могуть быть источникомъ величайшей славы для вашего министерства, такъ какъ вы можете и увеличить могущество короля, уменьшивъ могущество династін, издавна съ нимъ соперничествующей, и съ тъмъ вмѣстѣ вознаградить вѣрность союзника, котораго постоянная преданность французскому дому извѣстна вамъ. На замѣчаніе вашего высокопреосвященства я признаюсь, что вѣра моя въ короля не была ошибочна, потому что первыя мысли его величества обратились на меня, съ выраженіемъ желанія его величества возвести меня, если то возможно, на императорскій престоль...»

И такъ далве, въ томъ же униженномъ тонв. Флери, какъ и следовало, отвечалъ на эти презренныя мольбы сухо и сомнительно, читалъ назиданія претенденту, безъ церемоніи говорилъ ему, что если французскій король помогаетъ ему, то онъ долженъ считать это за величайщую милость, не обещаль ему ничего вернаго, заставляя его снова умолять и унижаться, наконецъ послалъ къ нему своего агента, который распоряжался въ Мюнхене такъ, какъ римскіе проконсулы распоряжались во владеніяхъ союзныхъ Риму царей пергамскихъ или египетскихъ. Карлъ-Альбертъ продолжалъ умолять Флери и делать на депешахъ, къ нему отправляемыхъ, собственноручныя приписки такого рода:

«Приблизилась минута, которая должна рёшить судьбу вёрнёйшаго изъ союзниковъ короля и увёковёчить славу его царствованія, давъ ему случай доставить императорскую корону князю, который, по признательности и преданности, поставить всегдашнею своею обязанностью соединять интересы Имперіи съ интересами Франціи; и такъ какъ это будетъ вашимъ дёломъ, то я возлагаю всю мою надежду на васъ, котораго я всегда любилъ и почиталъ, какъ истиннаго своего отца...»

Пока тянулись эти просьбы, Фридрихъ II безъ всякой церемоніи объявиль войну австрійской императриці, какъ независимый отъ нея государь, точно такъ, какъ Англія объявляла войну Франціи или Австрія Турціи.

Ободренный усивхами Фридриха, кардиналь Флери рышился также начать войну съ Австріею, склонился на мольбы Карла-Альберта и попытался сдёлать его императоромъ. Заключенъ былъ трактатъ, по которому Карлъ-Альбертъ ставилъ себя въ полную вависимость отъ Франціи и об'ящался, когда будетъ возведенъ на

императорскій престоль, безпрекословно предоставить Франціи всѣ тѣ германскія области, которыя успѣеть она занять своими войсками, помогая ему. Онъ обязывался никогда не требовать возвращенія Германскому союзу этихъ областей и городовъ.

При избраніи императора, на императорскомъ сеймѣ всѣмъ управлялъ французскій посланникъ, будто въ странѣ уже завоеванной. Ему было уступлено первое мѣсто во всѣхъ церемоніяхъ; нѣмецкіе князья уже составляли только его свиту. Всѣ курфирсты, повинуясь его приказаніямъ, объявили императоромъ Карла-Альберта.

Но Марія-Терезія выслала противъ кліента французовъ свои славянскія и венгерскія войска: они опустощили всю Баварію, которую, впрочемъ, не щадили и союзники Карла-Альберта; остальныя части юго-западной Германіи были раззоряемы французами; самая Богемія, переходившая изъ рукъ въ руки, много потерпѣла. Когда Фридрихъ, овладѣвъ Силезіею, помирился съ Австріею и англичане выслали противъ французовъ на Рейнъ сильное войско, состоявшее большею частью изъ наемныхъ солдатъ тѣхъ самыхъ германскихъ князей, которые признавали Карла-Альберта императоромъ, когда умеръ Карлъ-Альбертъ, сынъ его, взявъ 8,000,000 на свои придворные расходы, призналъ императоромъ мужа Маріи-Терезіи.

Результатомъ войны было усиденіе Пруссіи и пріобрѣтеніе Фридрихомъ славы великаго полководца; но слава эта была пріобрѣтена междоусобною войною, пораженіемъ нѣмецкихъ войскъ нѣмецкими же войсками. Пріобрѣли славу также славянскія и венгерскія войска, защищая германскую императрицу противъ германскихъ государей. Саксонія, Силезія, Богемія, Баварія и вся западная Германія были опустошены, потому что одному изъ нѣмецкихъ князей хотѣлось быть вассаломъ французскаго короля и предать Франціи Германію; а другому члену Германской имперіи угодно было не признавать за собою никакихъ обязанностей относительно Германіи. О безпощадности, съ какою нѣмецкія области раззорялись нѣмецкими же государями, можно судить уже изъ того, что Лейпцигъ, кромѣ всѣхъ контрибуцій, взятыхъ съ него пруссаками во время Второй Силезской войны, долженъ былъ, по мирному трактату, заплатить Фридриху еще милліонъ талеровъ.

Семилътняя война, начатая Фридрихомъ черезъ нъсколько времени, была славна для Фридриха и для пруссаковъ; быть можетъ,

она принесла пользу всей Европъ, доказавъ силу новыхъ началъ государственнаго управленія, представителемъ которыхъ являлся Фридрихъ. Строгая экономія, веденная королемъ прусскимъ въ расходахъ, дала ему возможность чрезвычайно хорошо приготовиться къ войнъ и съ честью выдержать ее; нелицепріятное правосудіе, неусыпная заботливость о благосостояніи народа, отміненіе отяготительной формалистики въ судопроизводств'я и администраціи, -- все это пріобрізло ему неизмізнную любовь подданных и возбудило въ нихъ энергическое желаніе защищать государя и государство. Всв эти качества порядка дёль, введеннаго въ Пруссіи Фридрихомъ, не только были чужды администраціи другихъ державъ въ то время, но и служили главнымъ основаніемъ ненависти, какую питали къ Фридриху фавориты, фаворитки и ханжи, владычествовавшіе почти повсюду. Фридрихъ, могущественный своею экономією и патріотизмомъ подданныхъ, устоялъ противъ соединенных усилій почти всей Европы, хотя владіль только небольшимь государствомъ, имфвинмъ менфе семи милліоновъ жителей. Расточительность и дурная администрація, которою страдали Франція и германскія державы, кром'в Пруссіи, была наказана постыдными пораженіями. Общественное мивніе было возбуждено противъ казнокрадства и беззаботности въ администраціи. Для Европы вообще Семильтняя война была полезнымъ урокомъ. Но для единства нъмецкаго народа она была гибельнъйшимъ событіемъ. Страшное раззореніе, которому подверглись отъ пруссаковъ Саксонія и многія другія нёмецкія владёнія, а прусскія области — отъ австрійскихъ армій, поселило глубокую ненависть между подданными Пруссіи и другихъ нёмецкихъ государствъ. Надменность пруссаковъ, гордыхъ своими побъдами, дошла до крайняго презрънія ко всъмъ остальнымъ нѣмепкимъ племенамъ.

До Семильтней войны многіе члены Германскаго союза вступали въ сообщество съ иноземцами противъ Германіи; но то были второстепенныя государства, ихъ поступки имъми характеръ измъны, беззаконнаго возстанія противъ имперскаго сейма. Сеймъ и глава его, императоръ, всегда объявляли себя противъ иноземцевъ. Теперь Австрія и германскій сеймъ просили помощи иноземцевъ противъ германскаго государя, призывали ихъ на Германію и хотъли дълить съ иноземцами нъмецкія области. Это было вдвойнъ ужасно для патріота: законная власть, союзъ, чтобы смирить одного изъ своихъ членовъ, отдавалъ Германію подъ чужое иго и тѣмъ публично выказывалъ не только недостатокъ патріотизма, но и безсиліе свое.

Сеймъ объявилъ войну Пруссіи. Но сѣверные князья, которымъ выгоднъе было продавать свои войска Англіи, нежели даромъ отдавать ихъ въ распоряженіе союзной власти, протестовали противъ ръшенія сейма: Липпе, Вальдекъ, Гессенъ, Брауншвейгъ, Ганноверъ, Гота вступили въ союзъ съ англичанами, защитниками Пруссіи.

Было бы напрасно въ подробности говорить о страшномъ раззореніи, которому подверглись всё германскія области во время Семильтней войны. Французскія армін, вторгавшіяся съ запада, болье походили, по сознанію самихъ французскихъ генераловъ, на огромныя шайки мародёровъ, нежели на регулярныя войска. Такъ, за несколько времени до Росбахской битвы, начальникъ штаба въ армін Ришльё, генераль Мальбуа, доносиль военному министру: «войска наши совершають всевозможныя неистовства и больше любять грабить, нежели сражаться». Опустошение восточныхъ прусскихъ провинцій русскими долго было памятно Европѣ; Австрійскіе кроаты не уступали свирвпостью башкирамъ и татарамъ; имперскія войска грабили не хуже французовъ, съ которыми разділили и безпримърный позоръ росбахскаго пораженія. Шведское правительство, посыдая войско въ Германію, не давало ему ни жалованья, ни провіанта, прямо объявляя командующему генералу. что онъ долженъ содержать свой отрядъ грабежемъ и контрибуціями. Фридрихъ дъйствовалъ такимъ же образомъ. Не говоря уже о Саксонін, контрибуцій съ которой составляли главный источникъ доходовъ Фридрика во всю войну *), и страшное раззорение которой лежить самымъ чернымъ иятномъ на славъ Фридриха, довольно сказать, что съ бъднаго и пустыннаго Мекленбурга успъль онъ вынудить болье 17,000,000 талеровъ контрибуціи. Но когда французы

^{*)} Приведемъ одинъ примъръ. Въ 1760 году, послѣ четырехлѣтняго раззоренія, были наложены на истощенную область слѣдующія огромныя контрибуціи: Эрфурть долженъ быль дать пруссавамъ 100,000 талеровъ, 500 лошадей, 400 рекрутовъ, Наумбургъ 200,000 талеровъ, Тюрингенскій округъ 1,375,000 талеровъ, Мерзебургъ 120,000 талеровъ, 377 рекрутовъ, 254 служителей и 420 лошадей, Цвикау 8,000 талеровъ, Хемницъ 215,000 талеровъ, Маріенбургъ 9,000 талеровъ, Аннабергъ 15,000 талеровъ, Лейпцигскій округъ 2,000,000 талеровъ, городъ Лейпцигъ 1,100,000 талеровъ.

и австрійцы отнимали Саксонію у пруссаковъ, саксонцамъ приходилось еще тяжеле, такъ что они молились о возвращеніи пруссаковъ. Франкопія, Вестфалія, Гессенъ, Бранденбургъ, Силезія, Богемія, Ганноверъ, вообще вся сѣверная половина и, кромѣ того, всѣ западныя области Германіи были опустошены. Отъ пагубныхъ нашествій уцѣлѣли только южныя части австрійско-германскихъ владѣніи и Баварія. Все народонаселеніе—земледѣльцы и землевладѣльцы, работники и промышленники — всѣ классы народа были раззорены, кромѣ одного класса: чиновниковъ, которые разбогатѣли во время неурядицы, во время усиленныхъ наборовъ и поборовъ, поставокъ и контрибуцій. Разбогатѣли и придворные, потому что вездѣ, кромѣ Пруссіи, большая часть собранныхъ для войны денегъ переходила въ ихъ карманы или растрачивалась для ихъ увеселенія.

На Семильтней войнь остановимся, потому что следующіе годы принадлежать другому періоду—періоду оживленія Германіи. Много принесли тяжкихъ испытаній немецкому народу и эти последующіе годы, особенно эпоха наполеоновскаго владычества; но эти испытанія были уже плодотворны, потому что пробуждена была мысль народа.

Мы видели, какой рядь событій, пагубныхъ для немецкаго народа, быль следствіемь политического раздробленія Германіи. Каждый разъ, какъ только вспыхивала война въ Европъ, враждебныя арміи устремлялись на німецкую землю, опустощали ся поля, сожигали ея села, раззоряли контрибуціями ея города. Чаще, нежели какая нибудь другая страна Западной Европы, несчастная, беззащитная Германская имперія подвергалась ужасамъ военнаго грабежа, и подвергалась имъ единственно вследствіе своей раздробленности и беззащитности, потому что причины всёхъ войнъ были, собственно говоря, чужды ея интересамъ,-и, однако же, она въ каждой войнъ принимала участіе, чтобы быть добычею объихъ враждующихъ партій. Франція, Англія, Австрія вели войны за свои государственные интересы. Положимъ, что часто и правительствамъ и народамъ этихъ державъ казалось деломъ государственной потребности и чести то, что въ сущности было безполезно или даже вредно для народнаго благосостоянія; положимъ, что они ослѣплялись ложными понятіями о славъ расширять границы своихъ владъній, суетными желаніями выказать свою силу, достичь ненужнаго пре- обладанія надъ другими державами; пусть отъ войны за испанское наследство до Семилетней войны все кровавыя распри въ Западной Европъ возниками только по ошибочнымъ понятіямъ о высшихъ пъляхъ государственной жизни: но все-таки австрійское, англійское, французское правительство всегда знали, за что и зачёмъ ведуть они войну, стремились къ достиженію цёлей, сообразныхъ съ понятіями и желаніями подвластныхъ имъ народовъ (исключеніе одно: участіе Франціи въ Семильтней войнь), все-таки для француза, англичанина, даже для подданнаго Австріи каждая изъ большихъ войнъ, начинаемыхъ его правительствомъ, была деломъ патріотическимъ. Одна Германія, постоянно страдая отъ всёхъ этихъ войнъ, и страдая каждый разъ больше, нежели какая нибудь другая страна, никогда не имела, даже въ предразсудкахъ, никакихъ основаній сочувствовать той или другой изъ враждующихъ партій или надіяться какой нибудь, хотя бы даже мнимой выгоды. на чью бы сторону ни склонилась побъда.

Войска всёхъ державъ выигрывали славныя побёды, —австрійскія—при Евгенів Савойскомъ, Даунв и Лаудонв, англійскія—при Мальборо, французскія—при знаменитыхъ полководцахъ Людовика XIV и Маршалв Саксонскомъ; однв только имперскія арміи постоянно покрывались самымъ жалкимъ позоромъ: кто бы ни былъ непріятель, онв всегда бъгали передъ нимъ, или были разбиваемы на голову, когда не успввали убъжать.

Какъ ни велики бъдствія, какія терпъла Германія отъ войнъ, эти временныя бъдствія незначительны въ сравненіи съ постояннымъ внутреннимъ зломъ, тяготъвшимъ надъ нъмецкимъ народомъ. Дурное управленіе, беззаконность, расточительность и насиліе вотъ слова, которыми еще слишкомъ слабо характеризуется германскій государственный бытъ въ первой половинъ XVIII въка.

Посл'в Тридцатильтней войны, которая нанесла страшные удары и благосостоянію и образованности Германіи, нравы огрубъли, Германія стала полуварварскою землею. Когда въ конц'в XVIII въка, поб'вды Людовика XIV, его могущество, его блескъ ослівпили Европу и подражаніе французамъ стало общею модою, роскошь и утонченченный разврать, заимствованные изъ Франціи, самымъ дикимъ образомъ соединились при німецкихъ дворахъ съ прирожденною грубостью. Изъ этого сочетанія произошелъ порядокъ вещей, бо-

лѣе нелѣпый и пагубный, нежели все то, что угнетало Германію до XVIII вѣка.

При грубости нравовъ до французскаго вліянія въ привычкахъ высшихъ классовъ существовала простота, и потребности вельможъ были ограничены. Теперь каждый баронъ маленькаго нёмецкаго двора хотыль блистать подобно французскимь аристократамь; каждый князь, имъвшій подъ своею властью кусокъ земли, едва равнявшійся одной французской провинціи, хотёль соперничать великолеціемъ съ французскимъ королемъ, хотель иметь свой Версаль, свой Parc aux cerfs, и его фаворитки хотели не уступать роскошью фавориткамъ французскаго двора. Если прихоти Людовика XIV раззорили Францію, большое и богатое государство, легко вообразить, каковы были слёдствія подобныхъ претензій для маленькаго Касселя или Вольфенбюттеля, для Саксоніи или Баваріи. Предавшись встии мыслями желанію блистать, находя единственное наслажденіе въ чувственныхъ удовольствіяхъ и пышныхъ праздникахъ, нъмецкіе владітели перестали обращать всякое вниманіе на порядокъ управленія и рішительно не занимались ділами. При каждомъ быль фаворить, обязанность котораго состояла въ томъ, чтобы развлекать князя и всеми правдами и неправдами добывать деньги для придворныхъ расходовъ. Онъ безотчетно распоряжался всёмъ, и не было границъ его самовластію, лишь бы только доставляль онъ двору средства для роскошныхъ развлеченій. Только немногіе князья, оставшіеся чужды новому французскому образованію, сами занимались государственными делами. Они подвергались всеобщимъ насмъшкамъ со стороны придворныхъ и князей, увлеченныхъ версальскою модою. Къ чести этихъ немногихъ государей, сохранившихъ старо-нъмецкіе нравы, надобно сказать, что они были единственными германскими владельцами, заботившимися о собственной чести и благв подданныхъ. Но хотя они были лучшими изъ германскихъ государей своего времени, въ ихъ личныхъ привычкахъ и въ системѣ ихъ управленія было чрезвычайно много грубаго, тяжелаго, жестокаго. Мы приведемъ нѣсколько примѣровъ того, какъ шли дъла въ государствахъ, гдъ дворъ слъдовалъ французской модъ, и въ государствахъ, гдв князья остались верны старымъ немецкимъ обычаямъ. Лучшимъ образцомъ государей грубыхъ, но честныхъ и дъятельныхъ, быль въ первой половинъ XVIII въка отецъ Фридриха Великаго, король прусскій Фридрихъ-Вильгельмъ. Самыми блистательными представителями господствующаго направленія, состоявшаго въ подражаніи версальскому двору, были саксонскіе курфирсты.

Начнемъ нашъ обзоръ положеніемъ дёлъ въ Саксоніи, при Августв II и Августв III и любимцахъ ихъ Флемингв и Брюлв.

Мы говорили о страшныхъ бъдствіяхъ, которымъ подверглась Саксонія, будучи запутана Августомъ II въ войну Россіи и Польши съ Карломъ XII. Эти бъдствія нимало не мъщали придворнымъ забавамъ; напротивъ, по мъръ того, какъ увеличивалась нищета въ Саксоніи, возвышался блескъ двора Августа II, увеличивались его расходы на праздники, на фаворитовъ, фаворитовъ и побочныхъ дътей. Когда шведы отняли у него польскій престоль, всю тяжесть этихъ расходовъ на поддержание королевского великоления и гвардін, составленной изъ дворянъ, должны были нести одни саксонцы. Были придуманы и истощены всевозможныя позволительныя и непозволительныя средства; государственные долги быстро возростали, хотя ландтагь налагаль на бедныхь саксонцевь все новыя подати, пошлины и акцизы, хотя въ мирное время продолжалось взиманіе военныхъ обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ податей. Король заложиль Борнскій округь Саксень-Готі, Грефенгайнь княгині Дессауской, свой участокъ Мансфельда Ганноверу, Фортскій округъ Саксенъ-Веймару. Полученныхъ за то денегь едва достало на одинъ карнаваль; однако же, съ каждымъ годомъ праздники становились великольные. Такъ, напримъръ, при бракосочетани наслъднаго принца съ австрійскою принцессою нісколько неділь сряду давались во дворцъ балы, оперы, маскарады. На одномъ маскарадъ король явился въ такомъ костюмь, который стоилъ несколькихъ милліоновъ талеровъ. Вследъ затемъ начались торжества по случаю встрвчи турецкаго посла. Король, принимая его, быль одеть въ бархатный фіолетовый костюмъ съ брильянтовыми пуговицами, которыя однъ стоили милліонъ талеровъ, не считая столь же богатой шпаги и другихъ не менъе драгопънныхъ принадлежностей. Въ біографіи Августа, написанной Фассманомъ, описаніе торжества по случаю бракосочетанія насліднаго принца наполняеть не меніве семидесяти-восьми страницъ. «Мы упоминаемъ о всёхъ этихъ вещахъ-говоритъ Шлоссеръ-желая показать, какими разсказами во время нашихъ отцовъ занималась немецкая публика, и каковы были историческія книги, которыми назидался народъ». Фассманъ приводить и причину, по которой описываеть пиры Августа II такъ подробно: «Надобно въ точности знать всв эти перемоніи и пиршества, потому что ими обнаруживается высокій умъ и превосходный вкусъ короля Августа, который самъ занимался устройствомъ праздниковъ». Они продолжались несколько недель: итальянскія и французскія оперы и комедіи смінялись охотами и фейерверками, конные и пізшіе турниры каруселями и маскарадами, маскированные базары всвхъ націй балами и танцами. Надобно заметить, что въ то самое время свирепствоваль въ Саксоніи голодъ. Вследь затемь, въ 1725 году, отъ 7 января до 13 февраля, праздновались карнавальныя торжества, которыя, по словамъ Фассмана, помрачили своимъ блескомъ всв прежніе праздники. Въ іюнв того же года начался новый рядъ праздниковъ, опять тянувшійся нісколько неділь: поводомъ было то, что одна изъ побочныхъ дочерей короля выходила за графа Фризена. Каждый годъ подобныя исторіи повторялись по нъскольку разъ. О расходахъ можно судить изъ того, что въ 1719 году одна лоттерея для дамъ стоила 60,000 талеровъ, а лоттерея эта была только второстепенною принадлежностью одного изъ многихъ баловъ. Для покрытія расходовъ, города и округи отдавались въ залогъ, и не только сосёднимъ владетельнымъ князьямъ, но и жидамъ-ростовщикамъ; и такъ какъ суммы, взятыя дворомъ не упла чивались, то ростовщики делались настоящими владельцами частей государства, — напримеръ, жидъ Леманнъ владелъ городами Лиссою и Рейссеномъ.

Нравы Августа II были достойны временъ регентства. Фаворитки его оффиціально занимали на придворныхъ праздникахъ болье почетныя мъста, нежели его супруга; такъ, напримъръ, когда, по удаленіи шведовъ, посътилъ Августа датскій король и раззоренная страна должна была давать подати на дивныя торжества въчесть высокаго гостя, высокій гость былъ на балахъ и каруселяхъ кавалеромъ не супруги хозяина, королевы, а графини Козель. Этого примъра довольно, чтобы судить о нравахъ двора Августа II. Нъмецкіе подражатели французской распущенности нравовъ пошли въ цинизмъ далъе своихъ учителей: не только Людовикъ XIV, но и регентъ принцъ Орлеанскій не позволили бы себъ такого нарушенія всъхъ приличій, какое было обнаружено въ случаъ, который мы указали. Не останавливаясь на множествъ другихъ примъровъ разврата, представляемыхъ саксонскимъ дворомъ въ XVIII въкъ, скажемъ нъсколько словъ о тъхъ поступкахъ Августа II и его

придворныхъ, которые относятся къ государственной жизни. Пиры и любовницы до такой степени заставляли Августа пренебрегать всемь остальнымь, что въ то самое время, какъ шведы вторгались въ его владенія, онъ продаваль свои войска Нидерландамъ, которые вели тогда войну съ Людовикомъ XIV: ему важне было давать балы и награждать фаворитокъ, нежели защищаться отъ врага. Безцеремонность курфирста саксонскаго была такъ велика, что даже у простыхъ солдать онъ удерживаль подъ разными предлогами половину жалованья, которое должны были они получать отъ голландцевъ. По удаленіи шведовъ, онъ опять, собравъ новое войско, продалъ его голландцамъ и англичанамъ. Исполнять свои объщанія онъ вообще не им'йль привычки и даже самъ открыто признавался въ томъ: такъ, напримъръ, онъ формально говорилъ, что заключаеть мирь съ Карломъ XII только для того, чтобы обмануть его, и наказалъ своихъ уполномоченныхъ за то, что они исполнили его инструкцію, которою онъ велёль имъ руководиться при переговорахъ: они должны были знать, по его выраженію, что эта инструкція дается только для обмана. Русскіе читатели знають безпримърное въроломство, съ какимъ выдалъ онъ на мучительную казнь Карлу XII Паткуля, бывшаго русскимъ посланникомъ при немъ, между темъ, какъ уверяль Петра Великаго въ неизменной своей дружбъ.

Фломингь, управлявшій делами при :Августе II, будучи дурнымъ правителемъ, имълъ, по крайней мъръ, репутацію хорошаго генерала. Брюль, который правиль Саксоніею при Августь III, быль лишень, всякихь достоинствь, кром'в техь качествь, которыя нужны временщику расточительнаго князя. Онъ устроиваль пиры и праздники, доставалъ деньги на придворные балы-этого было довольно для Августа III, и Брюль совершенно безотчетно самовластвоваль въ Саксоніи. Король не зналь и не хотіль знать, что такое дълалось въ его государствъ. Эта небрежность доходила до такой степени, что когда однажды какому то полковнику удалось, имъя случай говорить съ королемъ наединь, открыть ему, что саксонская армія уже двадцать-шестой м'всяць не получаеть жалованья, Августъ необыкновенно изумился и душевно огорчился отъ такого неожиданнаго обстоятельства. Но Брюль успокоиль его, объяснивь, что полковникъ личный врагь его, Брюля, и оклеветаль его, и полковникъ былъ предоставленъ мщенію оскорбленнаго министра,

какъ низкій клеветникъ, хотя каждый житель Саксоніи зналь, что слова этого несчастного были совершенно справедливы. Подобные случаи могли у каждаго отнять охоту мешаться не въ свое дело, то есть говорить громко противъ грабежей и расточительности Брюля. И не только подданные, сама наследная принцесса, сама королева не смели сказать королю слова противъ Брюля, какъ ни возмущало ихъ безуміе этого временщика. Въ похвалу Брюля надобно сказать, что онъ быль человекь мягкаго характера, не любившій кровавыхъ наказаній: смертью не казниль онъ недовольныхъ; только Зонненштейнъ, Кенигштейнъ и Плейсенбургъ были втеченіе двадцати-четырехъ лёть его самовластія постоянно наполнены людьми, имъвшими непріятность возбуждать въ немъ опасенія. И если саксонская армія голодала, люди, преданные Брюлю, не им'вли причинъ на него жаловаться: адъютанты и чиновники, состоявшіе при временщикъ, всегда исправно получали жалованье чистыми деньгами, между тъмъ, какъ офицеры королевской арміи, если не хотым умереть съ голоду, должны были брать вмысто денежнаго жалованья пошлинныя квитанціи (Steuerscheine), которыя при размънъ на звонкую монету отдавались только за четвертую или даже ва восьмую часть своей номинальной цёны, по какой получались изъ казначейства офицерами.

Когда, по прекращеніи одной изъ боковыхъ линій саксонскаго дома, княжество Кверфуртское перешло во владение старшей, курфиршеской линіи, Брюль тотчасъ же, при помощи услужливыхъ юристовъ, объявилъ недъйствительными продажи и контракты, совершенные прежними князьями: всв помъстья, всв регаліи, законнымъ образомъ перешедшія изъ удільнаго имущества въ частныя руки, были конфискованы, и множество семействъ, изстари пользовавшихся этими имуществами безспорнымъ и законнымъ образомъ, совершенно разворились. Вотъ одинъ случай, показывающій, какъ все дълалось тогда въ Саксоніи. Между прочимъ, Брюль отнялъ у города Вейсензе изстари отмежеванныя ему казною земли, безъ которыхъ целый городъ умерь бы съ голоду. Несчастные горожане обратились къ королю, -- это не помогло; тогда они заключили съ Брюлемъ сдёлку, по которой въ замёнъ отнимаемыхъ земель обязались уплатить 20,000 талеровъ и, действительно, уплатили, но сдёлались совершенными нищими, потому что сумма платежа далеко превышала ихъ средства. Они снова обратились съ просьбами къ королю: онъ сжалился и велёлъ изъ 20,000 выдать имъ обратно восемь тысячъ. Брюль поставилъ въ отчете, что онъ выдалъ раззореннымъ эту сумму звонкою монетою, а горожанамъ далъ пошлинныя квитанціи, которыя не стоили и тысячи талеровъ.

Подачи были возвышены до такого страшнаго размѣра, что въ многихъ имѣніяхъ моргенъ земли, котораго нельзя было отдать въ наемъ дороже полутора талера, платилъ два талера подати. При такомъ порядкѣ дѣлъ, недоимки, конечно, возрастали съ каждымъ годомъ и простирались наконецъ до громадной суммы тридцати милліоновъ талеровъ. Безпечность Брюля простиралась до того, что, когда Саксонія должна была готовиться къ войнѣ съ Пруссіею, составъ арміи былъ уменьшенъ, для увеличенія придворныхъ расходовъ.

Саксонскіе правители формально не заботились ни о чемъ, кромѣ увеличенія налоговъ, кром'є придворныхъ интригъ и удовольствій. Въ Баваріи при вступленіи на престолъ Максимиліана-Іосифа явилась было у министровъ мысль позаботиться нъсколько и о народномъ благосостоянін; но туть выказалось только безсиліе подражателей французамъ сделать что нибудь действительно полезное, и результатомъ слабыхъ попытокъ было только новое угнетеніе. Кромъ вськъ бъдствій, тяготъвшихъ надъ Саксонією, Баварія страдала еще отъ зла, не касавшагося протестантскихъ земель: въ Баваріи, какъ во всёхъ почти тогдашнихъ католическихъ государствахъ, господствовали іезуиты. Они, въ союзъ съ вельможами, старавшимися о сохраненіи своихъ феодальныхъ правъ, упорно поддерживали-и успъли поддержать - злоупотребленія, беззаконность, апатію и невъжество. Да и самыя преобразованія дълались въ такомъ духв, что могли только еще больше испортить двло, а не помочь ему. Напримітръ, чтобы уменьшить число преступленій и смягчить нравы, преобразователи усилили жестокость уголовныхъ законовъ, которые и прежде были безчеловъчны. Смертная казнь, пытка, колесованіе явились на каждой страниць уголовнаго кодекса. Нравы стали еще грубъе прежняго, и число преступленій возрасло. Курфирсть хотель улучшить земледеліе; но онь страстно любиль охоту и потому усилиль законы, воспрещавшіе простолюдинамь бить дикихъ животныхъ-хищные звери размножились и опустошали поля. Множество денегь и заботь было употреблено, чтобы развесть шелковичныя плантаціи въ холодномъ горномъ климать, гдь шелко-

водство невозможно; между темь, о действительно важныхь отрасляхъ сельской промышленности не заботились. То же было съ ремеслами и фабриками. Напримеръ, въ Баваріи не было порядочныхъ слесарей-преобразователи не думали о томъ, а старались распространить ювелирное искусство. Точно также заволили фабрики, не имъвшія возможности существовать, и для того раззоряли поселянъ различными стёсненіями въ покупкъ товаровъ. Хотвли уничтожить нищенство, а, между твмъ, размножали нищенствующіе монашескіе ордена и раздачею имъ щедрыхъ подаяній создали целыя арміи бродягь, Іезуиты продолжали господствовать и распоряжаться всёми делами. Само собою разумеется, что всь попытки улучшеній, совершаемыя въ странь, управляемой іезуитами, должны были остаться безплодны; но и безь содъйствія іезуитовь онв, конечно, не принесли бы ничего, кромв вреда, потому что преобразователи не имъли понятія ни о потребностяхъ страны, ни о средствахъ привести въ исполнение свои планы. Но даже и такія нелібомя и неудачныя попытки улучшеній были різдки въ Германіи; почти постоянно и почти во всехъ владеніяхъ дела шли такъ, какъ шли они въ Саксоніи при Флемингв и Брюль. Изъ безчисленнаго множества примеровъ, укажемъ только одинъвиртембергское управление при герцогахъ Эбергардъ-Людвигъ и Карлъ-Александръ, и, въ заключение этой части очерка, приведемъ изъ «Записовъ» Фридриха II о бранденбургскомъ домъ тъ страницы, въ которыхъ этотъ великій монархъ делаетъ общія замечанія о дичныхъ качествахъ и характеръ правленія своего предка, Фридриха I, перваго короля прусскаго.

Эбергардъ-Людвигъ, герцогъ виртембергскій, въ 1708 году сблизился съ дѣвицею Гревеницъ и женился на ней, хотя его законная супруга была еще жива. Черезъ нѣсколько времени, вслѣдствіе угрозъ императора, онъ развелся съ своею фавориткою и отдалъ ее за графа Вюрбена, чтобы тѣмъ безопаснѣе продолжать свою связь. Графиня Вюрбенъ самовластно управляла дѣлами: она сдѣлала министрами своего брата и племянника и оффиціально предсѣдательствовала въ совѣтѣ министровъ. Всѣ должности продавались фавориткою; дворъ наполнился ея креатурами; она великолѣпно украшала свой любимый Людвигсбургъ, хотя государство не имѣло ни денегъ, ни кредита. Графиня страстно любила игру и проигрывала огромныя суммы; жадность къ деньгамъ и жажда удо-

вольствій равно владычествовали надъ нею. Имя ея было бы внесено въ молитвы общественнаго богослуженія, если бы тому не воспротивился предать Озіандерь, отвергнувшій это предложеніе ответомъ, что и безъ того уже каждый разъ, когда читаютъ «Отче нашъ», упоминають о графинъ Вюрбенъ словами: «избави насъ отъ лукаваго». Наследникъ Эбергарда, Карлъ, также думалъ только объ удовольствіяхъ и великольціи: деньги на то, при истощеніи всъхъ источниковъ, доставлялъ жидъ Іозефъ Зюссъ, которому была дана власть распоряжаться по усмотренію всею администраціею, лишь бы только добывать побольше денегь, и который раздаваль мѣста посредствомъ аукціоннаго торга. Гревеницы, фавориты прежняго герцога, были арестованы. Графиня Вюрбенъ должна была удалиться въ Маннгеймъ, а ея помъстья были конфискованы. Но у ней было много денегь: она скоро пріобрала могущественныхъ друзей въ Вънъ и въ Берлинъ, подкупила и жида; такимъ образомъ, дело наконецъ уладилось безъ большихъ потерь для графини и родственниковъ ея. Но множество другихъ виновныхъ и невинныхъ лицъ были замещаны въ процессъ и должны были откупаться, торгуясь съ жидомъ, который быль председателемъ судной коммиссіи. Этимъ и тому подобными средствами получиль онъ въ два года болье 450,000 гульденовъ. Продажа должностей въ три года доставила ему болье милліона гульденовъ. Суммы эти употреблялись на содержание великоленной охоты, на дивныя празднества, на пъницъ и танцовщицъ. Для княжескихъ охотъ, дикимъ животнымь предоставили полную свободу размножаться, и, действительно, они расплодились подъ защитою администраціи до такой степени, что въ 1737 году было затравлено герцогомъ Карломъ 3,500 оденей, до 5,000 кабановъ и проч. убыль, впрочемъ, нечувствительная для покровительствуемаго населенія л'есовъ, потому что въ следующемъ году вредъ, нанесенный хищными върьми и дикими животными скоту и поствамъ, быль оптнень не менте, какъ въ 500,000 гульденовъ. Воинственныя увеселенія охоты нимало не мешали карнаваламъ, маскарадамъ и т. д. Какъ щедро награждались артистки, достаточно покажеть следующій примерь: когда по смерти герцога Карла начались преследованія его кліентовъ и кліентовъ, у одной изъ певицъ нашлось до полутораста карманныхъ часовъ. Чувствуя упадокъ силъ, герцогъ хотелъ ехать лечиться въ Данцигь, но не могь оторваться отъ блестящихъ удовольствій приближающагося карнавала — и умеръ, посвщая балы, спектакли и маскарады. По вскрытіи его тёла, оказалось — какъ сказано въ оффиціальномъ протоколё — слёдующее: «сердце, голова и всё другіе органы найдены совершенно здоровыми, но легкія такъ наполнены пылью и душными испареніями карнавала и оперы, что необходимо воспослёдовало «suffocatio sanguinis».

Вотъ отрывокъ изъ «Записокъ» Фридриха Великаго:

«Мы обозрёли событія жизни Фридриха 1; остается бросить общій взглядь на его личность и характерь. Онь быль маль ростомь и дурно сложень; физіономія его иміла выраженіе надменное и вмістів пошлое. Душа его была похожа на зеркало, отражающее каждый предметь, безь всякаго разбора. Онь подчинялся каждому впечатлівнію, какое хотіли на него произвести. Люди, успівншіе пріобрість нады нимы нікоторое вліяніе, могли по произволу раздражать или успокоивать его умь, по тупости мягкій, но безхарактерный, по капризу вспыльчивый. Онь не зналь различія между пустяками и истиннымы величіемь; быль боліве привязань къ блеску, нежели къ пользів. Вы войнахы императора (германскаго) и его союзниковь онь пожертвоваль тридцатью тысячами своихь подданныхь, чтобы добиться королевскаго титула, котораго желаль только для удовлетворенія своей любви къ церемоніямь и для оправданія благовидными предлогами своего пристрастія къ пышности.

«Онъ быль роскошень и расточителень; но какой ціною покупаль онь удовольствіе удовлетворять свою страсть! Онъ продаваль англичанамь и голландцамь кровь своихъ подданныхъ, какъ продають кочевые татары свои стада на убой подольскимъ мясникамъ. Прійхавъ въ Голландію для полученія наслідства послі короля Вильгельма, онъ хотіль вывесть свои войска изъ Фландріи; но ему дали большой брильянть, и пятнадцать тысячъ человікъ были убиты на службі союзникамъ *).

«Предразсудки толпы благопріятны роскоши государей; но расточительность государя не то, что расточительность частнаго че-

^{*)} По смерти Вильгельма III, владъвшаго, между прочимъ, княжествомъ Оранскимъ, Фридрихъ изъявилъ притяваніе на эту землю, какъ дальній родственникъ Вильгельма по женѣ; но Вильгельмъ, завъщая княжество герцогу Нассаускому, назначилъ душеприкащиками голландскіе чины, которые хотым передать наслъдство лицу, означенному въ завъщаніи. Фридрихъ разсердился и грозилъ вывести свои войска изъ Фландріи, гдѣ они сражались за голланд-

ловъка. Государь — первый слуга и первый чиновникъ государства. Онъ обязанъ государству отчетомъ въ употребленіи налоговъ; онъ собираетъ ихъ для содержанія войскъ на защиту государства, для поддержанія чести своего сана, для вознагражденія службы и заслугь, для возстановленія нѣкотораго равновѣсія между богатыми бѣдными, для помощи несчастнымъ всякаго рода, наконецъ для поддержанія величія во всемъ, что касается государства вообще. Государь, одаренный просвѣщеннымъ умомъ и честнымъ сердцемъ, будетъ направлять всѣ свои расходы къ пользѣ общей и благу своихъ народовъ.

«Великольпіе, которое любиль Фридрихь, было не такого рода: это скорье была расточительность суетнаго и расточительнаго государя. Дворь его быль одниць изъ великольпныйшихъ въ Европь. Онь отнималь последній грошь у бедныхь, чтобы пресыщать богатыхь; фавориты его получали богатыя пенсіи, между темь, какъ народь его погрязаль въ нищеть: его постройки были роскошны, его праздники пышны; его конюшни и кухня поражали болье азіятскою пышностью, нежели европейскимъ вкусомъ.

«Его щедрыя награды кажутся скорве двломь случая, нежели разсудительнаго выбора. Прислужники и придворные его обогащались, вытерпливая первые взрывы его горячности. Онъ даль помістье въ 40,000 талеровъ псарю, съ которымъ затравилъ большерогаго оленя. Онъ хотіль заложить голландцамъ свои владінія въ Гальберштадтскомъ княжестві, чтобы купить знаменитый брильянть Питть, пріобрітенный послі во время Регентства Людовикомъ XV; продаваль 20,000 человівкъ солдать союзникамъ, чтобы хвастаться тімъ, что содержить 30,000 солдать.

«Дворъ его былъ большая рѣка, поглощающая всѣ ручейки. Любимцы его обогатились, разжирѣли отъ его щедрыхъ наградъ, роскошь его стоила ежедневно огромныхъ суммъ, а Пруссія была отдана въ жертву голоду и заразительнымъ болѣзнямъ, безъ помощи отъ щедраго монарха».

Къ этой характеристикъ можно прибавить следующій анек-

цевъ, противъ французовъ. Тогда голландцы послали ему большой брильянтъ изъ наслъдства Вильгельма. Фридрихъ сиягчился, согласился удовольствоваться частью земель, на которыя изъявлялъ требованія, и остался върнымъ союзни-комъ голландцевъ.

дотъ, который также разсказанъ въ «Запискахъ» Фридриха Великаго. Софія-Шарлота, супруга Фридриха I, лежала при смерти-Одна изъ ея статсъ-дамъ плакала о своей доброй и умной государынъ.

«Не плачьте—сказала ей умирающая,— я иду узнать то, что не могь объяснить мив Лейбниць *); а для короля, моего супруга, я приготовляю церемонію похоронь, которая доставить ему новый случай выказать свое великольпіе». И, двиствительно—прибавляеть Фридрихъ Великій—мужъ ея утвшился великольпіемь похоронь.

О расточительности Фридриха I можно судить изъ того, что когда онъ, вскоръ послъ своего восшествія на престоль, поъхаль въ герцогство Пруссію, то по всей дорогь отъ Берлина до Кенигсберга на каждыхъ десяти миляхъ были выставлены для перевозки его свиты по 1,000 лошадей, и на каждой изъ такихъ станцій былъ построенъ, для его отдыха, особенный домъ, расположенный и украшенный совершенно такъ, какъ занимаемый Фридрихомъ аппартаментъ берлинскаго дворца. Выдавая дочь за наслъднаго принца гессенъ-кассельскаго, Фридрихъ купилъ ей въ приданое брильянтовъ и другихъ нарядовъ на 4,000,000 таллеровъ (весь годичный доходъ Прусскаго королевства простирался едва до трехъ милліоновъ талеровъ; брильянты его супруги стоили до 3,000,000 талеровъ. Страна была совершенно изнурена податями и поборами.

Совершенный контрасть Фридриху I составляеть его преемникъ, Фридрихъ-Вильгельмъ I, котораго надобно считать лучшимъ представителемъ немногихъ нёмецкихъ государей, не подчинившихся французскому вліянію. Это былъ характеръ твердый и честный, но суровый; нравы Фридриха были чисты, но грубы. Дізятельность его неутомима и проникнута стремленіемъ къ народному благу; но средства, какія онъ, при своемъ невіжестві, выбиралъ для достиженія этой пізли, часто бывали произвольны, жестоки и вели къ-невыгоднымъ для государственнаго благосостоянія результатамъ. Дізти, которыхъ онъ угнеталъ, и люди, жившіе по французской модів, которыхъ онъ не терпізлъ, осмівли его память, выставили его тираномъ и чудовищемъ. Онъ не былъ таковъ, онъ былъ лучнимъ изъ нізмецкихъ государей своего времени; но, дійстви-

^{*)} Софія-Шарлотта была ученица Лейбинца.

тельно, и въ личныхъ его привычкахъ и въ способе его управленія было много варварскаго.

Фридрихъ-Вильгельмъ I манерами и всеми привычками походиль на зажиточнаго простолюдина, у котораго главная заботакопить деньги. Экономія его доходила до скряжничества; но скряжничество было похвально въ сравнении съ безумною расточительностью другихъ немецкихъ дворовъ. Онъ презираль науку, потому что она являлась ему или въ виде немецкаго гелертера, безжизненнаго педанта, или въ видъ развратнаго и легкомысленнаго французскаго болтуна. Онъ былъ искренно преданъ религіи; но піэтизмъ его доходиль до нетерпимости, и фанатики заставляли его преследовать всёхъ, вто имель несчастіе заслужить ихъ нерасположеніе. Бол'ве всего изв'ястенъ Фридрихъ-Вильгельмъ своею страстью иметь высокорослыхъ солдать. Вербовщики его были разсылаемы по всей Германіи, и ни одинъ нѣмецъ высокаго роста. хотя бы жиль въ Баваріи или Виртембергі, не могь считать себя безопаснымь отъ ихъ преследованій: даже изъ иностранныхъ государствъ силою похищали они великановъ на службу прусскому королю. А когда можно было купить высокорослаго солдата, онъ не жальть никакихъ денегь: у него были гренадеры, купленные за пять, за шесть, за восемь тысячь талеровь. Эта прихоть стоила ему страшныхъ суммъ: разсчитываютъ, что втечение двадцати-двухъ лъть для своего войска на покупку иностранцевъ-великановъ истратиль онь до 12,000,000 талеровь. Это въ несколько разъ превыщаеть весь тогдашній годичный доходь Прусскаго королевства. Управленіе Фридриха-Вильгельма имѣло характеръ величайщаго произвола.

Сначала онъ хотвлъ, чтобы въ Пруссіи не существовало ни одной газеты. Когда началась война со шведами, было разрвшено издавать газеты, чтобы внакомить публику съ подвигами его воиновъ. Онъ презиралъ многоученыхъ законовъдовъ своего времени, которые безконечно растягивали процессы формальностями и тонкостями римскаго права. Онъ справедливозамъчалъ, что смъшно, при тяжбъ между двумя померанскими поселянами изъ-за клочка земли, справляться, какъ думали о подобныхъ случаяхъ различные законовъды временъ Юстиніана. Когда спрошенный педантъ начиналь ему исчислять мнѣнія прежнихъ ученыхъ, онъ грубо прерываль его словами: «я хочу знать не то, что думали когда-то другіе, а что думаешь ты.» Часто онъ нарушалъ своимъ вмѣшатель-

ствомъ правильный ходъ судопроизводства. Въ случай преступленій противъ нравственности, которую онъ старался всячески поддерживать, онъ определяль самыя тяжелый наказанія, произвольно преступая и гражданскіе и уголовные законы. Пытки и казни при немъ были неимоверно жестоки. Людей, которые чемъ нибудь ему не понравились, онъ безъ церемоніи колотиль своею палкою или, просто, кулакомъ, такъ что каждый дрожалъ, когда долженъ былъ представляться королю. Праздность и роскошь были ненавистны ему. Прогуливаясь по улиць, пышкомь или въ экипажь, онъ часто останавливаль прохожихъ, разспрашиваль, какого они званія, чёмъ занимаются, и, если отвъты казались ему подозрительны, туть же колотиль палкою празднолюбцевь и вертопраховь. Если наказываемый пускался бъжать отъ справедливой палки, Фридрихъ-Вильгельмъ посылалъ въ догонку своего адъютанта или слугу бить по спинъ бъглеца. Дамы особенно боялись встръчъ съ нимъ, потому что строгость Фридриха-Вильгельма не разбирала ни пола, ни возраста. Полиція при Фридрих в-Вильгельм в была невыносима: она вившивалась во все. Заботясь о равномърномъ распредъленіи налоговъ, онъ не щадилъ вредныхъ для государства, обременительныхъ для горожанъ и простонародья привидегій, которыми повсюду пользовались юнкеры -- владельцы такъ называемыхъ «рыцарскихъ (дворянскихъ) поместій», многочисленное сословіе, присвоившее себъ множество правъ и льготъ. Повсюду въ Германіи эта юнкеры жили на счеть другихъ сословій, не принося государству никакой пользы и надменно обращаясь со всёми не принадлежавшими въ ихъ классу. Фридрихъ-Вильгельмъ хотвлъ обуздать ихъ заносчивость въ частной жизни, а въ государственномъ отношеніи заставить раздёлять съ горожанами и поселянами тягость налоговъ. Юнкеры негодовали; но Фридриха-Вильгельма нельзя было бы остановить и основательнымъ ропотомъ. Когда, однажды, по случаю переложенія части поземельнаго налога съ имуществъ простолюдиновъ на помъстья юнкеровъ, графъ Дона, председатель чиновъ Восточно-Прусской провинціи, представиль ему оть имени чиновъ, т. е. юнкеровъ, протестацію противъ этой міры, написанную, по свътскому обычаю, на французскомъ языкъ и оканчивавшуюся словами: «tout le pays sera ruiné», король даль чинамъ следующій лаконическій отвёть, въ насмешку надъ французскимъ красноречіемъ юнкеровъ, составленный изъ тарабарской смъси нъмецкихъ

словъ съ латинскими и французскими: «Tout le pays sera ruiné?— Nihil credo; aber das credo, dass die Junkers ihre Auttorität wird ruinirt werden. Ich stabilire die souverainetät wie einen Rocher von Bronce». — «Все государство погибнеть? Не верю; а то верно, что вліяніе юнкеровъ погибнеть. Какъ мізный утесь стоить надъними моя верховная власть». Юнкеры должны были повиноваться, и многія феодальныя права, отяготительныя для народа, были у нихъ отняты. Строгое правосудіе короля не щадило преступника за знатность рода. Онъ доказаль это, когда фонъ-Шлюбхутъ, потомокъ одной изъ древнъйшихъ и знатнъйшихъ фамилій, былъ уличенъ въ утайкъ 14,000 талеровъ изъ суимы, которая была дана ему, какъ члену одного изъ правительственныхъ мъстъ, для раздачи переселенцамъ. Судъ приговорилъ фонъ-Шлюбхута къ заключению въ крвпость. Осужденный обратился къ королю съ жалобою на чрезмърную строгость приговора и предлагаль возвратить казив украденныя деньги. «Не хочу я твоихъ мошенническихъ денегь!» (dein schelmisches Geld) грозно сказалъ король и велълъ его повъсить нависвлиць, поставленной у крыльца того присутственнаго мъста, гдъ служилъ преступникъ, чтобы товарищи его тверже помнили законъ. Не только подданныхъ, какъ бы знатны они не были, но и сына своего не хотель онъ щадить въ случае вины: известно, что наследный принцъ Фридрихъ, впоследствии названный Великимъ, не избъжаль строгаго наказанія и едва избъжаль смертной казни, прогивавъ родителя и государя своимъ непослушаніемъ. Но правосудіе и произволь им'єли равное вліяніе на его д'єйствія. До какой мелочной придирчивости и грубости доходило самовластіе Фридриха-Вильгельма, видно изъ одного уже того, что онъ колотилъ и бранилъ дамъ, которыхъ встрвчалъ одетыми не по его вкусу. Онъ издавалъ декреты, которыми опредъялъ моды для своихъ подданныхъ: такъ, напримъръ, никто въ Берлинъ не смълъ носить матерій съ пестрыми узорами. Онъ не терпізль хлопчатобумажных тканей и вздумаль запретить ихъ: повсюду начались домовые обыски, чтобы конфисковать ситецъ и каленкоръ. Вдругь Фридриху-Вильгельму показалось, что полиція действуеть въ этихъ обыскахъ безь надлежащей строгости, --- и онъ назначиль генераль-фискаломъ одного изъ своихъ гренадеровъ. Сделавшись начальникомъ полиціи, гренадеръ эготъ сталъ дъйствовать совершенно по солдатски, и Фридрихъ-Вильгельмъ былъ совершенно доволенъ ревностью, съ какою производились по всему королевству домовые обыски, съ цёлію открыть и уничтожить всякій клочекъ хлопчатобумажной ткани.

Впрочемъ, совершенно такой же грубый произволъ полицейскофискальнаго управленія существовалъ и въ тёхъ нёмецкихъ государствахъ, въ которыхъ придворные подражали французскимъ модамъ.

Глубоко презирая титулы, Фридрихъ-Вильгельмъ отврыто продаваль ихъ: нужно было только внести определенную сумму въ казну, и желающему выдавался патентъ. Это, конечно, не могло никому дёлать вреда. Но точно такимъ же образомъ Фридрихъ-Вильгельмъ продавалъ и административныя должности. Впрочемъ, опять надобно прибавить, что обычай этотъ существовалъ тогда во многихъ нёмецкихъ государствахъ. Въ нёкоторыхъ система продажи развита была до такого совершенства, что продавалось не только должность, но и право быть кандидатомъ на эту должность, въ ожиданіи смерти или перемёщенія чиновника, которымъ занято мёсто.

Фридрихъ Великій, какъ человекъ геніальный, действоваль блистательнее своего отца; но система управленія при немъ оставалась та же самая, и только немного смягчалась тамъ, гдв онъ являлся самъ, съ его французскими манерами. Эта система, знавшая только фискальныя и полицейскія средства, сама по себ'в была крайне недостаточна для упроченія народнаго благосостоянія. Ея полезныя дъйствія при Фридрихъ-Вильгельмъ и Фридрихъ II зависьли единственно отъ тъхъ ръдкихъ достоинствъ, какими были одарены эти люди: честная и неутомимая діятельность отдільнаго человіка можеть, до нъкоторой степени, давать хорошее направление самому дурному механизму; но какъ скоро отнимается отъ этого механизма твердая рука, его двигавшая, онъ перестаеть действовать или дейвуеть дурно. Прочно только то благо, которое не зависить отъ случайно являющихся личностей, а основывается на самостоятельныхъ учрежденіяхъ и на самостоятельной діятельности націи. Объ этомъ не думали ни Фридрихъ-Вильгельмъ, ни его сынъ. Они не заботились пробудить духъ своего народа или дать государству прочныя учрежденія, потому съ ними исчезли и тв блага, которыми давали они пользоваться прусскому народу: исчезли порядокъ и быстрота въ администраціи, справедливость въ судів. Учрежденій, которыми обезпечивались бы эти качества. Пруссія не имела, какъ не имели ихъ и другія нѣмецкія государства. Все зависьло отъ произвола. Каковъ быль этоть произволь въ большей части случаевъ, мы видьли. Фридрихъ-Вильгельмъ и Фридрихъ II являются рѣдкими, почти единственными исключеніями изъ общаго правила.

Но и при нихъ въ Пруссіи, какъ постоянно во всёхъ нёмецкихъ государствахъ единственнымъ участвовавшимъ въ государственной жизни классомъ были чиновники; за то этотъ классъ былъ совершенно полновластенъ.

Правда, въ нѣкоторыхъ владѣніяхъ существовали ландтаги; но они были совершенно безсильны, и совѣщанія ихъ нельзя назвать иначе, какъ жалкою комедією. Послѣ Тридцатилѣтней войны они нотеряли всякую важность, во многихъ государствахъ совершенно были уничтожены, въ другихъ—только записывали въ свои протоколы приказанія, отдаваемыя княжескими коммиссарами. Мозеръ, нисавшій около половины XVIII вѣка, описываетъ ландтаги съ иронією совершенно безнадежною:

«Въ различныхъ немецкихъ провинціяхъ-говорить онъ-имель я случай вблизи насмотреться на деятельность нашихъ сеймовъ. По словамъ княжескихъ коммиссаровъ, у князя разрывается сердце отъ горести, что онъ долженъ требовать новыхъ налоговъ, -- онъ, который быль бы счастливь только тогда, когда бы могь обогатить и осчастливить своихъ подданныхъ. Одно утвшаетъ его, что къ отягощеню страны новыми налогами вынуждають его неотвратимыя и ниспосываемыя Провиденіемь обстоятельства. После этой шарлатанской речи начинаются переговоры. Наследный маршаль, комитеты предатовъ, рыцарей и горожанъ и проч. начинаютъ кушать на пирахъ, слушать ласки и угрозы, потомъ выражають свое согласіе, и рішается необходимость новаго кровопусканія для любезной родины. Тогда сеймъ закрывается ръчью, столь же ученою, какъ надгробное слово, и министръ съ своими маклерами, поварами и погребщиками возвращается въ тріумфі ко двору; жизнь и блаженство вливаются снова въ сердца фаворитовъ и фаворитокъ; лсари, при радостной въсти о благополучномъ результать сейма, весело трубять въ роги: примадонна, уже тринадцать мъсяцевъ не получавшая жалованья, снова возлетаеть въ руладахъ къ небу, подобно жаворонку; конюшня и псарня, которымъ уже грозили погибелью кредиторы, оглашаются бодрымъ лаемъ и ржаньемъ, и всъ титулованные и нетитулованные тунеядцы уже пробираются къ

новооткрытой золотой розсыпи. Изъ денегъ, вытребованныхъ у сейма, предполагалось заплатить просроченное жалованье войскамъ, уплатить просроченные государственные займы,—все это письменно, съ приложеніемъ печатей, клятвенно и присяжно было объщано при требованіи налоговъ. Боже сохрани, чтобъ на дѣлѣ хотя одна буква изъ этихъ объщаній была исполнена»!

Всёмъ управляль въ Германіи совершенный произволь. Приведя нёсколько примёровъ, мы можемъ теперь сдёлать общую характеристику нёмецкаго быта въ первой половине XVII вёка, не опасаясь того, что она покажется утрированной.

Французское вліяніе на Германію ограничивалось темъ, что при дворахъ и въ аристократическомъ кругу развилась непомерная страсть къ блеску. При безвкусіи, блескъ этоть изм'врялся толькогрубою нышностью, которая достигала нелёпыхъ размёровъ и требовала темъ большихъ расходовъ. Такъ, напримеръ, число служителей было неправдоподобно велико. При значительныхъ дворахъ они считались не тысячами, а десятками тысячъ. Чтобы не утомлять читателей, приведемъ только два или три случая. Когда, въ 1702 году, во время войны за испанское наследство, Іосифъ I, бывшій еще наследникомъ австрійскаго престола и королемъ римскимъ, повхалъ изъ Ввны предводительствовать арміею, свита его состояла изъ 232 лицъ придворнаго въдомства. Тутъ были, между прочимъ, начальникъ рыболовства короля римскаго, три садовника, начальникъ птичьей охоты, три погребщика и вице-лейбповаръ съ двадцатью помощниками, не считая капеллановъ съ вице-капелланами, духовника съ вице-духовникомъ и двенадцати камергеровъ. Впрочемъ, на русскомъ языкъ нътъ возможности точно передатъ титулы этихъ господъ, и потому не лишимъ читателя пріятности знать ихъ въ подлинномъ видв *). Въ обозъ были фуры для птицы, для походныхъ печей, для различныхъ сортовъ поварскихъ при-

^{*) 1} Fischmeister, 3 Ziergärtner, 1 Geflügelmaier, 3 Kellerdiener, 2 Kellerbinder, 1 Mundbäcker, 1 Vicemundkoch, 20 Meisterköche und Unterköche, 1 Oberst-Kuchelmeister, 12 Kämmerer, 1 Unter-Silberkämmerer, 1 Mundschenk, 1 Vorschneider, 1 Truchsess, 1 Beichtvater nnd 1 socius, 1 Hofprediger, 2 Hofcapellane, 4 Zusätzer, 4 Träger, 3 Kesselreiber и т. д. У каждаго изъ этихъчиновъ и служителей были свои помощники: Gehülfen, ordinarii und extraordinarii Jungen и пр.

надлежностей, для садовничества и т. д. *) Королева, сопровождавшая своего супруга, имъла въ своей свить 170 персонъ, съ 63 каретами (Chaise) и 14 колисками (Kalesche), для которыхъ требовалось 192 упряжныхъ лошадей (Wagenpferd), не считая 14 верховыхъ лошадей. Жалкій комизмъ этихъ громадныхъ свитъ, требовавшихъ страшнаго расхода, довершается тъмъ, что венгерскіе государственные чины назначили на весь походъ только 100,000, а чины эрцгерцогства Австрійскаго—40,000 гульд. (60,000 и 25,000 руб. сер.).

Если походная свита наследника престола состояла изъ такого страшнаго числа людей, легко повърить, что число всъхъ придворныхъ служителей въ постоянныхъ резиденціяхъ австрійскаго дома равнялось целой армін: въ самомъ деле, иногда оно достигало до 40,000 человъкъ. Но и владътели, гораздо менъе значительные, мало уступали австрійскому дому обширностью придворнаго штата. Такъ, напримеръ, кельнскій епископъ въ начале XVIII века имель 150 камергеровъ. Часто свиты владетельныхъ особъ бывали даже многочисленные той, какая сопровождала римскаго короля. Напримыры, когда Фридрихъ-Вальгельмъ Прусскій женился на дочери Георга Ганноверскаго, свита, сопровождавшая невъсту, была такъ велика, что повздъ состояль изъ 520 лошадей. Навстрвчу невеств изъ Бранденбурга вывхала свита жениха на 350 лошадихъ. Отецъ жениха, Фридрихъ, первый король прусскій, въ своихъ путешествіяхъ имълъ свиту, требовавшую до 1,000 лошадей. Въ конюшив курфирста баварскаго находилось до 1,400 лошадей.

Каждый вельможа следуя примеру князя, также окружаль себя придворнымъ штатомъ и, наполняя свой домъ безчисленною прислугою, недостатокъ вкуса заменяль страшною расточительностью и нелепою пышностью. Такъ, напримеръ, за столомъ у саксонскаго министра Брюля никогда не подавалось мене 30 блюдъ; на малыхъ парадныхъ обедахъ число блюдъ доходило до 50, а на большихъ до 120. Прислуга Брюля состояла изъ несколькихъ сотъ человекъ, въ томъ числе 12 камердинеровъ, 12 пажей, 4 метрдоте-

^{*) 2} Geffügelwagen, 1 Kammerheizerzeltwagen, 1 Tafeldeckerzeltwagen, 3 Mundkuchelwagen, 2 grosse Bagage-Kuchelwagen, 1 Speisefeldtafelwagen, 2 Ziergartenbagagewagen, 1 Tafeldeckerbagagewagen, 1 Kammerfourierbagagewagen, 6 Kellerwagen, 21 Rüstwagen (каждая на 6 волахъ) и пр.

лей, 12 поваровъ и 12 ихъ помощниковъ и проч., такъ что вообще въ кухонномъ его штатв находилось болве 30 человвкъ. Ливрейныхъ лакеевъ было у него сто человвкъ. Не только башмаки сотнями и парики дюжинами выписывалъ онъ для себя изъ Парижа, но даже настеты присылались ему также изъ Парижа съ нарочными курьерами. Вообще въ домв его решительно все было выписное изъ-за границы. Даже во время войны, когда Саксонія была истощена и раззорена, онъ продолжалъжить съ королевскимъ великолепіемъ,—и, несмотря на свою чрезвычайную расточительность, онъ оставиль после себя огромное состояніе-

Безумная пышность была для тогдашнихъ вельможъ единственнымъ средствомъ отличиться отъ простонародья, потому что нравы ихъ были чрезвычайно грубы. Чтобы судить объ этомъ достаточно одного примъра.

Несмотря на то, что у Георга II Ганноверскаго было множество фаворитовъ, супруга его, королева Каролина, пользовалась большимъ вліяніемъ на діла. Одинъ изъ придворныхъ, фонъ-демъ-Бушъ, подаривъ ей десять акцій горнозаводскаго общества, приносившихъ 20,000 талеровъ ежегоднаго дохода, пріобрель право самовластвовать въ Ганноверв, какъ ему хотелось. Чтобы иметь понятіе о томъ, какъ онъ держаль себя даже съ людьми, которыхъ удостоиваль приглашенія къ своему столу, довольно знать, что онъ самъ сиделъ на своихъ парадныхъ обедахъ со шляпою на голове, заставляль гостей переодіваться, когда быль недоволень ихь костюмомъ (между прочимъ, онъ не терпълъ голубаго цвъта и маншетокъ), несколько разъ впродолжение обеда приказываль тому или другому пересъсть съ одного стула на другой, и т. д. Разскажемъ два, три анекдота о подобныхъ случаяхъ. Однажды пришелъ объдать въ нему советнивъ горнаго управленія Бютемейстеръ. Лишь только вошель гость въ столовую, какъ министръ бросился вонъ изъ комнаты, съ крикомъ: «камердинеръ! камердинеръ!» Явился въ столовую камердинеръ и объяснилъ гостю, что г. министру не понравился костюмъ г. горнаго советника, и потому не угодно ли будеть г. Бютемейстеру выбрать себъ въ гардеробной другое платье. Гость послушался, хотя предвидель, что одежда высокаго и худощаваго фонъ-демъ-Буша будеть не совсемъ хорошо сидеть на немъ. толстомъ человъкъ, маленькаго роста, и черезъ нъсколько минутъ возвратился въ столовую совершеннымъ шутомъ. За то хозяинъ быль съ нимъ очень любевенъ во все продолжение объда. Съ непокорными гостями бывало не такъ: фонъ-демъ-Бушъ безъ церемомін ругалъ ихъ. Однажды, напримъръ, телятина въ окрошкъ показалась ему ягнятиною, одинъ изъ гостей, нъкто Гейлигеръ, замътилъ, что г. министръ, въроятно, ошибся, потому что окрошка сдълана изъ телятины; фонъ-демъ-Бушъ закричалъ, чтобы привели повара. Предупрежденный о положеніи вопроса, поваръ подтвердилъ мнъніе своего господина.

- Ну, что, г. Гейлигеръ! такъ вы ѣдите телятину? а, братецъ Гейлигеръ, что скажешь?
- Ваше превосходительство, это телятина; поваръ называетъ ее ягнятиною только изъ угожденія вамъ, отвічаль непреклонный гость.

Министръ разгивался и сказалъ: «ты, любезный, видно, никогда у себя дома не вдалъ такой окрошки, ты толкуешь о вещахъ, которыхъ не смыслишь. Замолчи, пожалуйста, не говори глупостей».

Гейлигеръ, однако, защищалъ свое мивніе; но другіе гости прекратили споръ, всв согласившись, что окрошка, двиствительно, сділана изъ ягнятины и упросивъ Гейлигера замолчать. Однако, фонъ-демъ-Бушъ все продолжалъ кричать: ну, такъ что же, г. Гейлигеръ, по вашему, это телятина? — Наконецъ Гейлигеръ наділь шляпу и ушелъ изъ-за стола.

Еще случай въ томъ же родв. Фонъ-демъ-Бушу въ серединъ объда вздумалось, чтобъ одинъ изъ гостей, графъ фонъ-Ойнгаузенъ, пересъть съ одного мъста на другое. Ойнгаузенъ послушался. Но черезъ нъсколько минутъ хозяннъ опять велълъ ему перемънить мъсто.

Тогда графъ отввчалъ:

— Разъ я послушался каприза вашего превосходительства, а въ другой разъ—слуга покорный. Еслибъ не скверная ваша привычка объдать такъ поздно, я ушелъ бы въ гостинницу Лондонъ; но тамъ ужь я не найду объда, потому нечего дълать, поъмъ здъсъ. Но впередъ говорю, что съ этихъ поръ вы не приглашайте меня къ себъ объдать—не поъду.

Министръ замодчалъ; графъ, по окончаніи стола, ушелъ не простись съ хозянномъ.

При иногихъ дворахъ въ первой четверти XVIII въка держали еще шутовъ. Последній муть при сакоонскомъ дворе, Клу (Kiau),

умеръ въ 1733 году. У Фридриха-Вильгельма Прусскаго также былъ шутъ; при Маннгеймскомъ дворъ существовали шуты еще въ 1744 году, хотя этотъ дворъ, подобно саксонскому, хотълъ со-перничать съ версальскимъ.

Неимовърная грубость нравовъ Саксонскаго двора соединялась съ утонченнъйшимъ развратомъ. Регентъ французскій, принцъ Орлеанскій, прославился буйнымъ и безграничнымъ цинизмомъ въ развратъ; но нравы версальскаго двора при немъ должны быть названы скромными сравнительно съ тъмъ, что позволяли себъ дълать въ Саксоніи его подражатели. Туть было уже полное безчинство развращенныхъ дикарей, не имъющихъ понятія даже о внъшнемъ приличіи.

Можно легко повърить, что подобные люди не знали никакой разборчивости въ средствахъ для добыванія денегъ: они прибъгали къ мърамъ, которыхъ устыдился бы не только регентъ, но даже итальянскіе тираны XV въка, устыдились бы Александръ VI и Цезарь Борджія. Не будемъ говорить ни о податяхъ, ни о взяткахъ, ни о нарушеніи частныхъ контрактовъ и государственныхъ договоровъ: всему втому можно найти примъры и въ исторіи другихъ народовъ Западной Европы, хотя нигдъ и никогда грабительство не достигало, кажется, такого полнаго и безсовъстнаго развитія. Укажемъ только двъ привычки, встръчаемыя постоянно въ Германіи XVIII въка и не казавшіяся никому дъломъ безчестнымъ: продажность правительствъ иноземцамъ и обычай продавать войска.

Во время смуть, иногда бывали и въ другихъ странахъ, кромѣ Германіи, примѣры того, что партіи искали помощи у иноземцевъ: такъ, французскіе гугеноты обращались за помощію къ нѣмецкимъ и англійскимъ протестантамъ, французскіе католики—къ Филиппу II Испанскому; но все-таки эти партіи призывали иноземцевъ и брали отъ нихъ деньги за тѣмъ, что сами хотѣли господствовать въ своемъ отечествѣ: онѣ хотѣли, чтобы иноземцы имъ помогали, а не владычествовали надъ ними; онѣ были увлекаемы фанатизмомъ, властолюбіемъ, ненавистью, но не безсовѣстною подлостью,—онѣ искали союзниковъ, а не покупщиковъ. Германскіе князья XVIII вѣка хладнокровно, безъ всякихъ увлеченій продавали себя всякому, кто только платилъ имъ деньги. Мы уже видѣли тому нѣсколько примѣровъ,—приведемъ еще общее обозрѣніе продажности Германіи французамъ въ половинѣ XVIII вѣка, во время отъ Второй Силезской до конца

Семильтней войны. Маркграфу аншпахскому французы давали пособіе только до 1757 года, всего около 100,000 ливровъ; маркграфу байретскому давались субсидін постоянно; сумма пособій составляеть 1,100,000 ливровъ. Герцогъ вюртембергскій получиль до войны полтора милліона, во время войны семь съ половиною милліоновъ; курфирстъ пфальцскій -- до войны пять съ половиною, во время войны -около одиннадцати съ половиною милліоновъ; курфирстъ кельнскій въ 1751-1761-около семи съ половиною милліоновъ; Баварія до 1768 г. — болъе восьми съ половиною; герцогъ цвейбрюкенскій до 1772 г. -- около четырехъ съ половиною милліоновъ; маркграфъ гессенъ-дармитадтскій въ 1750 г.—100,000; курфирсту майнцскому дано въ разные годы до 500,000, нёсколькимъ другимъ князьямъвсего до 3,000,000; Саксонія въ 1750-1761 получила восемь съ половиною милліоновъ. Австрія также получала пособія во время войны; но то были, дъйствительно, военныя субсидін, полученныя отъ союзника. Деньги, получаемыя другими нёмецкими государствами отъ французовъ, были, просто, ценою продажи этихъ государствъ французамъ. Плата имъ была, какъ видимъ, не высока: отъ слишкомъ сильнаго желанія продавать себя, продавцы уровили цвну, и французы безъ церемоніи то давали, то отнимали свои субсидін-всякая подачка всегда принималась съ нижайшею благодарностью.

Мы видели и примеры того, какъ продавались иноземцамъ войска на время войны, —прибавимъ еще несколько такихъ случаевъ къ темъ, которые встречались въ прежнемъ разсказе. Въ войну за австрійское наследство, 6,000 гессенцевъ были проданы одной изъ воюющихъ сторонъ, англичанамъ и голландцамъ, другіе 6,000 другой сторонъ, баварскому претенденту и французамъ. Во Вторую Силезскую войну саксонскія войска были проданы австрійцамъ, а когда по заключеніи мира стали не нужны Маріи-Терезіи, были перепроданы голландцамъ. Фридрихъ Гессенскій торговалъ своими солдатами съ такимъ успехомъ, что только до 1750 года отъ однихъ англичанъ получилъ боле 15,000,000 гульденовъ; а онъ продавалъ солдатъ не однимъ англичанамъ, а всякому желающему. Проданные солдаты обыкновенно ставились на самыя убійственныя места. Нанимающимъ было оттого мало потери: выбывшіе изъ строя замёнялись, по контракту, свёжими людьми; а про-

давцы имъли даже въ томъ прямую выгоду, получан особенную условленную плату за каждаго убитаго и раненаго.

Таковъ былъ порядокъ дълъ въ Германіи въ половинъ XVIII въка. Зная его, не нужно много говорить о томъ, каково было состояніе среднихъ классовъ и простаго народа: оно угадывается само собою. Довольно будетъ сдълать два-три краткія замъчанія.

Различные классы населенія были до того разділены предразсудками, гордостью сверху и раболівствомъ снизу, что представлялись какими то египетскими кастами. Въ каждомъ классі существовало множество подразділеній, изъ которыхъ каждое презирало всів низшія, будучи, въ свою очередь, презираемо высшими. Такъ, напримірть, въ дворянстві, за членами владітельныхъ фамилій слівдовалъ Grafenstand, потомъ Reichsritterschaft, потомъ различные сорты жалованныхъ дворянъ, между которыми опять было различіе, смотря по тому, отъ самого ли императора, или отъ другаго владітеля даны имъ были титулы.

Чиновники раздълялись другь отъ друга такими же китайскими стънами. Любовь къ чинамъ и титуламъ была безмърна и послъ привычки къ грабительству составляла сильнъйшую пружину всей жизни.

Даже торговый классь не быль свободень оть этой заразы: гильдіи и цехи считались старшинствомъ между собою и были раздівлены взаимнымъ презрівнемъ и надменностью.

Дворянинъ презиралъ чиновника, и былъ презираемъ придворными; чиновникъ, раболъпно преклоняясь передъ родовымъ дворянствомъ, презиралъ купца; купецъ презиралъ ремесленника; наконецъ народъ, презираемый всъми, презиралъ самого себя.

Для курьеза можно заметить еще, что профессоръ рангомъ своимъ равнялся лейбъ-кучеру, и что ученое сословіе вообще стояло такъ низко, что никогда не считалось достойнымъ награды ни однимъ изъ безчисленныхъ орденовъ. Когда знаменитый Михаэлисъ получилъ орденъ, всё тому дивились, какъ неслыханной рёдкости; даи ему орденъ былъ данъ не нёмецкимъ, а иноземнымъ государемъ.

Офицерское званіе даже при Фридрим' II, этомъ друг' французскихъ философовъ, было доступно исключительно только однимъ родовымъ дворянамъ.

Торговля и промышленность вообще упадали, города постоянно обдибли. Телько одинъ Гамбургъ составлялъ исключение изъ общаго правила: онъ богатель отъ заграничной торговли. Други города, даже служившіе центрами торговой діятельности, напримірь, Бремень, Франкфурть-на-Майні, Аугсбургь, счастливы были уже тімь, что сохраняли остатки прежняго благосостоянія, постепенно, впрочемь, уменьшавшагося. Всй другіе города падали.

Участью поселянъ была нищета. Домикъ со свётлыми окнами составлялъ рёдкость, которую далеко не во всякомъ селё можно было найти; верхнее платье изъ грубаго сукна имели только немногіе поселяне; огромное большинство жило въ низенькихъ, мрачныхъ избушкахъ, довольствуясь холщевою одеждою и скудною пищею.

Остается сказать еще одно только, чтобы завершить картину состоянія Германіи въ половинъ XVIII въка. Невъжественный фанатизмъ быль такъ силенъ, что не только католики чуждались протестантовъ и протестанты католиковъ, но и между протестантами лютеране и реформаты преследовали другь друга. Въ лютеранскихъ городахъ не было терпимо реформатское богослужение, и наоборотъ. Религіозныя преследованія вообще были господствующею чертою того въка. Ръдкая область была свободна отъ гоненій за въру. Такъ, даже Марія-Терезія преследовала въ своихъ владеніяхъ протестантовъ. Когда въ началъ XVIII въка усилились гоненія на протестантовъ въ Палатинать, то въ Бранденбургь и Ганноверь, въ отмщение за то, начались гоненія противъ католиковъ. Архіепископъ зальцоургскій, около 1730 года, решился очистить свою область отъ еретиковъ. Протестанты, доведенные до крайности жестокими притесненіями. стали жаловаться — ихъ объявили возмутителями, и Карлъ VI Австрійскій выслаль армію для примърнаго ихъ наказанія. Болье 30,000 человъкъ были изгнаны изъ зальцбургскихъ владеній. Вълютеранскихъ земляхъ поперемвнио то подвергались преследованіямъ піэтисты, то сами преследовали своихъ прежнихъ гонителей. Реформаты и лютеране смертельно ненавидели другь друга. Въ Гамбурге, где господствовало лютеранское исповеданіе, лютеранскіе пасторы писали сочиненія, въ которыхъ приписывали реформатамъ гнуснівішіе пороки. Франкфуртъ-на-Майнъ, также лютеранскій городъ, несмотря на всв просьбы прусскаго короля, не позволяль въ своей области отправлять реформатское богослужение. Лютеранскій Виттенбергскій Университеть не даваль ученых в степеней реформатамъ.

Невъжество было такъ велико, что въ концъ XVII въка Томазіусъ едва не быль объявленъ еретикомъ за то, что возсталъ противъ обычая сожигать колдуновъ и волшебницъ; еще въ 1749 году сожжена была въ Вюрцбургъ за колдовство монахиня, а въ 1750 году, въ Ландсгутъ, тринадцатилътняя дъвочка.

Таково было состояніе Германіи въ половинѣ XVIII вѣка. Посмотримъ теперь, въ какомъ положеніи находились тогда тѣ силы, отъ которыхъ нація могла ожидать себъ избавленія: взглянемъ на состояніе нѣмецкой науки и литературы и на расположеніе умовъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Нѣмецкая литература до Лессинга.—Готтшедъ и саксонская школа.—Бодмеръ и швейцарская школа.—Клопштокъ.—Галлеръ.—Гагедорнъ.—Рабенеръ.—Геллертъ.—Университеты и школы.—Публика.—Начала новой жизни.—Томазіусъ.—Мозеръ.

Трудно представить себв что нибудь печальные и безнадежные того порядка вещей, жертвою котораго была Германія въ первой половинъ XVIII въка. Французскіе историки не находять довольно сильныхъ выраженій, чтобы характеризовать состояніе Франціи въ последніе годы правленія Людовика XIV, во времена Регента и и Людовика XV. Но всё тё бёдствія, которыя терпёль французскій народъ въ эту эпоху, правда, очень тяжелыя, незначительны, можно сказать, въ сравнении съ тъми ужасными страданіями, какія теривлъ немецкій народъ, шменно, теривлъ, потому что не было въ немъ даже ропота, недовольства своимъ положеніемъ, не было мысли о чемъ нибудь лучшемъ. Тяжесть, угнетавшая людей, была такъ велика, что даже надежды и стремленія были въ нихъ подавлены. Они отупьли ко всему, стали равнодушны даже къ своей судьбъ. Германія была чъмъ-то подобнымъ чудовищному шильйонскому подземелью; нізмецкій народъ, томившійся въ этомъ удушливомъ мракв втеченіе цвлаго стольтія, походиль, наконець, на Боннивара, который свыкся съ своимъ подземельемъ такъ, что потеряль даже скорбь о себв и впаль въ холодную, безсмысленную апатію. Подобно ему, немецкій народь могь бы сказать, вспоминая свое состояніе посл'в Тридцатильтней войны:

>Что потомъ сбылось со мной, Не помню: свътъ казался тьмой, Тъма свътомъ: воздухъ исчезалъ; Въ опъпенвніи стоялъ

Безъ намяти, безъ бытія,
Межь камней хладнымъ камнемъ я,
И виділось, какъ въ тяжкомъ сні,
Все бліднымъ, темнымъ, тусклымъ мий;
Все въ смутную слилося тінь.
То не было ни ночь, ни день....
То страшный міръ какой-то былъ,
Безъ неба, солнца и світилъ,
Безъ Промысла, безъ благъ и бідъ,
Ни жизнь, ни смерть,—какъ сонъ гробовъ,
Какъ океанъ безъ береговъ,
Подавленный тяжелой мглой,
Недвижный, хладный и німой....

Последніе отголоски умирающей народной жизни слышатся въ литературъ, первыя надежды, первыя требованія народа обыкновенно высказываются устами его поэтовъ и литераторовъ. Народъ, потерявшій или еще не получившій силы дівйствовать, по крайней мъръ, говоритъ, ищетъ свъта въ словъ, если не находитъ его въ жизни, жадно слушаетъ воодушевленныхъ негодованіемъ и надеждами своихъ поэтовъ. Даже и этого не было въ Германіи. Писали чрезвычайно много, читали не такъ много, но все-таки очень много. Стихотворцевъ, литераторовъ и ученыхъ Германія въ первой половинъ прошлаго въка имъла тысячи, читателей-десятки тысячъ; но изъ этихъ тысячъ писателей едва пять-шесть человъкъ говорили о чемъ нибудь заслуживающемъ вниманія, да и тёхъ никому не было охоты слушать. Вст остальные сочиняли торжественныя оды, идилліи, безсмысленныя басни и безсмысленные панегирики, безжизненныя эпопеи, писали мертвыя диссертаціи о мертвыхъ предметахъ, --и ихъ читали, ими восхищались, и они сами собою восхищались. Перья скрипели, литературныя самолюбія надувались, часто бранились, но чаще взаимно воспъвали свое величіе, Во всемъ этомъ не было ни смысла, ни жизни; но публика была совершенно довольна и счастлива: она воображала, что имфеть литературу, не предчувствуя даже, что языкъ данъ человъку не для стихотворнаго или педантическаго пустословія.

Все это мы говоримъ къ тому, чтобы показать причину краткости обзора нъмецкой литературы до Лессинга, который должны !

представить въ этой главъ. Нъкоторые изъ читателей, знающихъ огромное вліяніе ся на русскую литературу, могли бы полагать, что интересно знать подробно дъятельность писателей, которыхъ у насъ переводили и которымъ подражали съ такою любовью, достойною лучшаго предмета. Нетъ, это навело бы только безполезную скуку. Людямъ, которые разработывають исторію нашей словесности прошедшаго въка, необходимо основательно изучать всъхъ этихъ Крамеровъ, Бодмеровъ, Гесперовъ съ братіею, потому что многія русскія сочиненія прошлаго въка, притворяющіяся оригинальными произведеніями русскаго ума, въ сущности не болье, какъ передълки сочиненій того или другаго изъ забытыхъ ныні німецкихъ писателей. Какъ все касающееся родной исторіи интересно для насъ, то и изследование немецьой до-лессинговской литературы съ целью объяснить развитие русской литературы имфеть свою важность. Но сами по себъ писатели, славившіеся тогда въ Германіи, не заслуживаютъ особеннаго вниманія. Если тотъ или другой изъ нихъ и памятенъ еще самимъ немцамъ, то почти всегда потому только, что Лессингъ обезсмертилъ его имя, такъ или иначе упомянувъ о немъ. Сами по себъ сохранились въ благодарной памяти своихъ соотечественниковъ очень немногіе, да и то почти исключительно изъ тъхъ, которые не пользовались громкою извъстностью въ свое время. У немцевъ, Лискова, какъ у насъ Кантемира, оценили только уже много леть спустя после его смерти: они въ свое время не имъли вліянія. Подробно говорить о другихъ значило бы понапрасну терять время, и мы ограничимся только немногими указаніями на значительнъйшія имена до Лессинга. Нъсколькихъ страницъ слишкомъ достаточно будеть для характеристики того состоянія, въ какомъ нашель німецкую литературу ея великій преобразователь.

Каково было состояніе німецкой литературы въ началі XVIII візка, можно судить по одному тому, что Шлоссерь, въ предисловій къ своей «Исторіи XVIII візка», обозрізвая, вмізсті съ политическою, и литературную жизнь европейскихъ народовъ въ это время, и говоря о французской, англійской, итальянской литературів, ни однимъ словомъ не упоминаетъ о нізмецкой, какъ будто бы она вовсе и не существовала.

Въ самомъ дълъ, она существовала на столько же, на сколько существовала русская литература въ ту эпоху, когда вся состояла

изъ напыщенныхъ одъ и эпопей да изъ дубоватыхъ анакреонтическихъ стихотвореній. Немногимъ лучше она была и черезъ сорокъ льть. Правда, на мъсто прежнихъ знаменитостей явились новыя громкія имена; правда, оптимисть можеть заметить, что новыя внаменитости были нъсколько лучше прежнихъ, что Готтшедъ, при всей своей бездарности и недобросовъстности, лучше какого нибудь напыщеннаго Лоэнштейна или Гюнтера, потому что писаль, по крайней мёрё, вразумительнымъ языкомъ; оптимисть, видящій повсюду прогрессъ, можетъ видъть его и въ періодъ нъмецкой литературы отъ 1700 до 1750 года. Но прогрессъ этотъ совершался до излишества сообразно правилу Октавіана: «співши медлительно», и въ половинъ XVIII въка положение нъмецкой литературы было до крайности жалко или презрительно. Она еще оставалась рабскимъ подражаніемъ всему, что было мертваго и пустаго вълитературахъ французской и англійской, она оставалась совершенно чужда народной жизни, въ ней владычествовали такіе люди, какъ Готтшедъ и Бодмеръ, въ ней прославлялись, какъ величайшие поэты вселенной, какъ нъмецкіе Гомеры, Мильтоны и Гораціи, такіе поэты, какъ Рабенеръ, Геллертъ и имъ подобные.

Французская исевдо-классическая литература достаточно ославлена у насъ; довольно сказать: «нѣмцы благоговѣли передъ Буало», и всякія объясненія о степени плодотворности французскаго вліянія на нѣмецкую литературу становятся излишними. Но надобно сказать нѣсколько словъ о томъ, каковы были англійскіе писатели, раздѣлявшіе съ Буало владычество надъ умами германскихъ писателей. Эти писатели были Аддисонъ, Стиль, Попъ и Томсонъ. Всѣ они стоили другъ друга по безжизненности и фальшивости направленія, хотя и отличались одинъ отъ другаго большею или мень шею степенью таланта, и, говоря безпристрастно, надобно признаться, что Буало былъ ничѣмъ не хуже ихъ. Чтобы это сужденіе не показалось излишне суровымъ, приведемъ слова Шлоссера о Попѣ и Аддисонѣ: читатели повѣрятъ намъ на слово, что мнѣніе наше о достоинствахъ Стиля и Томсона могло бы быть подтверждено такими же питатами.

«Поэзія Попа болье всего щеголяєть пріятностью и гладкою формою. Его стихь превосходень, слогь прекрасень, языкь правилень; но у него ныть ни поэтическаго творчества, ни оригинальности, ни силы. Человыкь съ такою холодною, слабою и тщеслав-

ною натурою, какъ Попъ, который съ необыкновеннымъ усердіемъ старался льнуть къ каждому лорду и суетливо хлопоталъ о томъ, чтобы образовать вокругь себя нічто въ роді двора и нічто въ родь аристократической комфортабельности, этотъ человькъ, жадный къ славъ и деньгамъ, былъ какъ бы созданъ природою за темъ, чтобы быть проповедникомъ фальшиваго и софистическаго направленія въ образованіи. Онъ быль католикь, а съ тімь вмісті ученикъ и другъ кощуна Болингброка, утверждалъ, что всегда оставался въренъ догматамъ своей церкви, и съ тъмъ витств провозглашаль эгоизмь. Онь умель изворачиваться такь ловко, что обе враждовавшія тогда партіи, приверженцы старины и друзья прогресса, считали его своимъ союзникомъ. Тотъ самый трудъ, который доставиль Попу славу и независимое состояніе, знаменитый переводъ «Иліады», служить свидетельствомъ искусственности его направленія. Поэть, который понималь бы духь Гомера, почель бы недостойнымъ дъломъ переводить «Иліаду», не зная по гречески, и прикрашивать ее мишурными блестками. Сравнивая переводъ съ подлинникомъ, мы можемъ только изумляться изнеженности и испорченности вкуса, реторичности и ненатуральности переводчика, прославленнаго Джонсономъ, оракуломъ свътскихъ салоновъ. Три другія произведенія Попа, на которыхъ вивств съ переводомъ «Иліады» основалась его слава, еще яснье показывають и содержаніемъ и формою, до мельчайшихъ подробностей жизненныхъ и литературныхъ, что поэзія Попа была только порожденіемъ духа господствовавшаго при Версальскомъ дворъ, и служила только проповедницею искусственной, сладострастной, пустой салонной жизни. Это обнаруживаетъ относительно литературы «Опыть о критикъ», относительно жизни-поэма «Похищенный Локонъ», относительно религіозныхъ и нравственныхъ правилъ-«Опытъ о челов'єк'в». «Опыть о критикь» излагаеть теорію той поэтическей школы, къ которой принадлежали Драйденъ и Попъ. Подобно Буало, Попъ не имъетъ ни малъйшаго понятія о творческомъ вдохновеніи, которое создаеть художественную форму вмѣстѣ съ идеею: за то у него излагаются очень хитрыя правила для сочиненія стихотворныхъ произведеній въ любомъ родів. Чтобы показать характеръ этихъ наставленій, припомнимъ только знаменитое правило о необходимости украшать природу, чтобы придать ей модный покрой, какъ придается онъ фраку или жилету. Потому то Вида, авторъ извъстной реторики, безъ церемоніи ставится Попомъ на ряду съ Гомеромъ и Виргиліемъ. «Похищеніе Локона»—шутливая поэма въ духѣ совершенной распущенности нравовъ, бывшей тогда модною, написана въ подражаніе одной изъ поэмъ Буало. Содержаніе поэмы составляютъ модные обычаи свѣтскаго круга, уваженіемъ къ которому проникнутъ авторъ. «Опытъ о человѣкѣ», по сознанію самого Попа, есть переложеніе въ стихи философіи Болингброка, ставившей цѣлью человѣческой—удовольствіе. Собственнаго образа мыслей Попъ не имѣлъ, какъ доказываютъ его письма.

«Аддисонъ и его друвья хотвли подчинить англійскую литературу колодной правильности, господствовавшей у французовъ, которымъ форма казалась важиве содержанія. По ихъ мивнію, не вдохновеніе дівляєть великимь писателя, а разсчитанность, остроумничанье и искусственность. Превозносимыя достоинства этихъ стилистовъ основываются на томъ, что они хотели только занимать, а не вести впередъ публику, хотели слегка щекотать, а не глубоко потрясать умы, --- основаны на пошлости и реторикъ. Реторика и софизмы были главными качествами нравственныхъ лицемфровъ, въ главф которыхъ стоялъ Аддисонъ. Онъ, по злому капризу судьбы, быль государственнымь секретаремь, хотя не быль въ состояни ни говорить въ Парламентв, ни писать деловыхъ бумагъ, потому что отъ чрезвычайной заботливости о красотв слога и реторическихъ фигурахъ не могъ справиться съ депешею, если принимался сочинять ее-фактъ, какъ нельзя лучше характеризующій подобныхъ ему писателей: реторы отъ созданія міра всегда были тщеславны и никуда не годны для практической жизни. Зато сочиняль онъ множество назидательныхъ трактатовъ. На вопросъ: какимъ образомъ эти сухіе прозаики, въ которыхъ не было не искры повзіи, могли предписывать своему и последующему времени законы вкуса и достичь славы, которою еще продолжають пользоваться, котя едва ли кто нынь читаеть или въ состояніи прочесть ихъ выглаженныя и прикрашенныя, вялыя и сухія работы?--на этотъ вопросъ отвъчать легко. Дворъ и знать ввели моду считать реторику за поэзію, а морализованье — за литературу. Вильгельмъ III, Анна и ихъ министры прославили и возвысили Аддисона. У этихъ людей не было ни вкуса, ни понятія о чемъ либо кром'в деловыхъ занятій или интригъ; потому плоская и многоглаголивая прикрашенность необходимо должна была нравиться

имъ лучше истинной поэзін или сильной прозы. Попъ содъйствовалъ прославлению Аддисона, потому что съ проницательностью, свойственною людямъ его разбора, предчувствовалъ, что Аддисонъ никогда не помрачить его самого. Каковъ быль модный вкусь, которому Аддисонъ обязанъ былъ своимъ возвышениемъ и распростра-. ненію котораго потомъ содъйствоваль онь, ясно видно изъ исторіи этого писателя. Онъ началь съ латинскихъ стихотвореній, которыя поднесь Буало. Буало вообще находиль, что нельно писать стихи на мертвомъ языкъ, но отвъчалъ комплиментами на почтительное приношеніе англичанина. Похвала эта составила славу Аддисона. После того воспеваль онь Рисвикскій мирь и Гохштедтскую битву и описываль Италію въ поэмѣ, которую можно было написать не выбажая изъ Англіи. Потомъ трагедія его «Катонъ» произвела такой шумъ, заслужила такое всеобщее одобреніе, что можно было спросить себя: не измѣняла ли себѣ въ этомъ случаѣ нація, им'ввшая Шекспира и столькихъ другихъ вдохновенныхъ драматурговъ, а теперь восхищавшаяся сухою правильностью и пустою реторикою? но тугъ все зависило не отъ характера націи, а отъ моды аристократическихъ салоновъ. «Катонъ» сочиненъ по правиламъ Буало, съ соблюдениемъ трехъ единствъ, съ примъсью любовныхъ сценъ, и герой пьесы въ шлафрокъ читаетъ Федона. Въ знаменитомъ журнале Аддисона «Зритель» господствують реторическая проза, выглаженное, искусственное стихотворство; все было написано по правиламъ реторики и пінтики, но ни въ чемъ не было ни искры генія, ни следа одушевленія, ни нравственнаго здоровья, ни силы. Въ «Зрителъ« проповъдуется прикрашенность соблюдающей внёшнія приличія испорченности нравовь, которая владычествовала тогда въ высшемъ англійскомъ обществъ, проповъдуется система жизни, подобная развратному лицемърію французскаго двора при Людовикъ XIV и кардиналъ Флёри. Аддисонъ съ педантическою точностью рисоваль нравы и характеры; но о немъ можно сказать то же самое, что говорили объ учитель его, Буало: отъ его сочиненій пахнеть масломь ночной лампады, при св'єть которой неутомимо обделываль онь свой слогь. Онь восхищаль высшее общество тъмъ, что давалъ ему въ украшенномъ видъ изображение его собственныхъ нравовъ, представляемыхъ, какъ образецъ для подражанія другимъ влассамъ. Мораль Аддисона основана на ханжествъ, а истина передълывается такъ, что никого не можетъ оскорбить или испугать. Мораль у Аддисона главное дёло во всёхъ разсказахъ и аллегоріяхъ; но, чтобы никого не оттолкнула она, нравственныя требованія смягчаются до того, что все льстящее моднымъ обычаямъ представляется добродётелью».

Трудно не соглашаться съ этими сужденіями, какъ и вообще рѣдки тѣ случаи, въ которыхъ здравомыслящій человѣкъ не найдетъ справедливымъ понятія Шлоссера, котораго по внутреннему достоинству его твореній надобно признать первымъ историкомъ нашего вѣка.

Если таковы были писатели, служивше оракулами для нѣмецкихъ литераторовъ первой половины XVIII вѣка, легко себѣ вообразить, много ли жизни, много ли поэтическаго достоинства, много ли справедливыхъ литературныхъ понятій можно найти у знаменитостей нѣмецкой литературы того времени. Для нашей цѣли—объясненія, въ какомъ состояніи нашель ее Лессингъ—довольно будетъ сказать по нѣскольку словъ о людяхъ, пользовавшихся особенною славою или вліяніемъ во второй четверти XVIII вѣка.

Около 1730-хъ годовъ сильнъйшимъ лицомъ въ нъмецкой литературъ былъ Готтшедъ; черезъ нъсколько лътъ выступили противъ него и его послъдователей (саксонской школы) Бодмеръ и его друзья (швейцарская школа). Борьба этихъ двухъ школъ ведена была объими враждующими партіями съ величайшимъ ожесточеніемъ и страшнымъ шумомъ, безъ малъйшаго соблюденія какихъ бы то ни было приличій. Споръ этотъ составляетъ важнъйшій фактъ въ нъмецкой литературъ 1740-хъ годовъ. Посмотримъ же, каковы были противники и о какихъ предметахъ шелъ споръ. *)

Готтшедъ былъ последователь Буало и поклонникъ французскаго псевдо-классическаго направленія.

Значительнаго положенія въ німецкой литературів достигь онъ ловкою разсчитанностью своего образа дійствій. Поселясь въ Лейпцигі, онъ сначала льстиль людямъ, которые иміли въ рукахъ средства помочь ему, потомъ, когда, благодаря имъ, пріобріль громкій

^{*)} Мићнія, которыя кажутся автору справедливыми, почти всё высказаны у Шлоссера. Факты, здёсь приводимые, такъ общензвёстны, что не нуждаются въ подтвержденіи цитатами, которыя, впрочемь, желающій найдеть у Гервинуса, Гиллебранда, Шефера, и другихъ историковъ німецкой литературы XVIII віка. Во многихъ містахъ мы, конечно, просто переводимъ того или другаго изъ этихъ писателей.

голосъ въ литературныхъ делахъ, сталъ превозносить каждаго, кто, въ свою очередь, соглашался быть его льстецомъ. Этимъ путемъ ему удалось получить владычество въ учено-литературномъ обществъ, которое существовало въ Лейпцигъ. Единственною цълью его дъятельности быль личный интересь, и только для увеличенія своей славы и власти онъ старался пробудить участіе къ нёмецкой литературь въ публикь. Вкусь публики быль такъ грубъ, невыжество ея такъ велико, что сочиненія Готтшеда, человъка хитраго, но лишеннаго литературных в талантовь, и кліентовь его, людей большею частію совершенно бездарныхъ, удовлетворяли общему требованію: Готтшедъ безсовъстно прославлялъ своихъ послъдователей, они, въ свою очередь, прославляли его, и публика, оглушенная этимъ крикомъ, еще не способная имъть самостоятельнаго мнънія, върила встиь этимь своекорыстнымь похваламь и считала наглаго шарлатана съ его креатурами за великихъ писателей. Готтшедъ написаль грамматику, пінтику, реторику, издаваль критическій журналь и считался законодателемъ языка и вкуса. Правда, сужденія его о писателяхъ были пристрастны и недобросовъстны, понятія его о литературъ мелочны и пошлы, но они приходились по вкусу тогдащней публики. Посредствомъ лейпцигскаго «Нъмецкаго Общества» Готтшедъ вошелъ въ сношенія съ безчисленными другими литературными обществами, которыя существовали въ каждомъ городъ и городкв. Онъ льстиль тщеславію, которое обыкновенно бываеть главнымъ качествомъ литературныхъ корпорацій; онъ льстилъ всімъ лицамъ, занимавшимъ важныя оффиціальныя положенія въ университетахъ, еще болве льстиль твмъ придворнымъ и аристократамъ, которые имъли претензію быть меценатами. Титулованнымъ поэтамъ, какъ бы ни были они бездарны, Готтшедъ подобострастнъйшимъ образомъ курилъ еиміамъ: такъ, напримѣръ, онъ превозносилъ до небесь жалкій переводь Горація, изданный безь имени переводчика, узнавъ, что переводчикъ-графъ фонъ-Зольмсъ; а барона Шёнайха, сочинителя нелъпъйшей поэмы «Терезіада», ставиль онъ выше Клопштока, называль величайшимъ изъ эпическихъ поэтовъ вселенной и торжественно вънчалъ лавровымъ вънкомъ. Личность Готтшеда вполнъ обрисовывается передъ нами однимъ анекдотомъ, который разсказанъ въ автобіографіи Гёте (Wahrheit und Dichtung). Пріъхавъ въ Лейпцигъ, молодой человъкъ съ нъкоторыми другими юношами отправился на поклоненіе світилу нізмецкой словесности:

«Слуга ввелъ насъ въ большую комнату и сказалъ, что г. Готтшедъ сейчасъ выйдетъ. При этомъ показалось намъ, что онъ жестомъ показалъ на сосъднюю комнату, въ знакъ того, что мы должны итти туда. Не знаю, ошиблись ли мы, понявъ его движеніе въ этомъ смысль, но, отворивъ дверь, мы очутились зрителями странной сцены: въ тотъ самый мигъ, изъ противоположной двери явился Готтшедъ, плечистый мужчина гигантскаго роста, въ зеленомъ дамасовомъ шлафрокъ, подбитомъ красною тафтою, и съ безпредъльною лисиною на громадной головъ. Послъдней бъдъ готовилась быстрая помощь: изъ третьей двери выскочиль слуга, держа въ рукъ парикъ, и, съ испугомъ на лицъ, кинулся къ барину. Готтшедъ, совершенно хладнокровно, не обнаруживая ни малъйшей дасады, левою рукою взяль у лакея парикъ и, очень искусно сажал его на голову, правою рукою даль лакею такую пощечину, что бъдняга, будто играя роль въ водевиль, кубаремъ вылетьль за дверь, посл'в чего достопочтенный хозяинъ очень важно попросилъ насъ садиться и, не переводя духа, проговориль довольно длинное и очень милое прив'єтствіе».

Восхитительно это невозмутимое спокойствіе, съ которымъ знаменитый хозяинъ, одною рукою поправляя парикъ, другой даетъ кръпкую пощечину слугъ и вслъдъ затъмъ съ совершеннымъ апломбомъ начинаетъ говорить заранве обдуманныя любезности гостямъ. Очевидно, что почтенный Готтшедъ быль недоступенъ волненіямъ сердца-онъ неизменно действоваль по правилу, которое разъ навсегда поставилъ себъ: «проступки должны быть наказываемы, а всимъ, кого итътъ надобности наказывать, должно говорить любезности». Точно также разсчитанно и холодно действоваль онь и въ литературъ: безпощадно бранилъ всякаго, кто сдълалъ ему какую нибудь непріятность, безстыдно превозносиль каждаго, оть кого слышаль лесть себв или могь ожидать какихъ нибудь услугь. Литературныя достоинства или недостатки произведенія тутъ нимало не принимались въ соображение, — притомъ же, Готтшедъ и не имъть способности замъчать ихъ; весь вопросъ состояль исключительно въ личныхъ отношеніяхъ автора въ Готтшеду. Безсовъстность такого самовластителя въ литературт вызвала наконецъ нткоторыхъ изъ обиженныхъ имъ писателей на борьбу противъ него. Предводителемъ этой партія, враждебной лейпцигскому диктатору,

явился швейцарецъ Бодмеръ, уже имъвшій въ Цюрихъ и окрестныхъ городахъ толиу кліентовъ.

Въ противоположность Готтшеду, Бодмеръ былъ человъкъ честный, но, подобно Готтшеду, онъ былъ лишенъ и вкуса и таланта, а, между тъмъ, хотълъ быть судьею въ поэзіи и считалъ себя великимъ поэтомъ. Поклонниковъ у него находилось очень много, даже между людьми, имъвшими образованіе или поэтическую славу. Они говорили, что эпическая поэма Бодмера «Ной» выше мильтонова «Потеряннаго Рая» и самой «Иліады». До старости Бодмеръ сохранилъ ребяческую впечатлительность и опрометчивость, вмъстъ, съ безмърнымъ и чрезвычайно раздражительнымъ самолюбіемъ. Оракуломъ въ литературныхъ мнъніяхъ служилъ ему Аддисонъ, «Зрителю» котораго самодовольно подражалъ журналъ Бодмера «Бесъды Живописцевъ», далеко уступавшія «Зрителю», хотя и англійскій журналъ, какъ мы видъли, имълъ не слишкомъ много положительнаго достоинства.

Готтшедъ и Бодмеръ сначала были въ хорошихъ отношеніяхъ между собою: одинъ пом'ящаль свои стихотворенія въ журналь другаго, тотъ хвалилъ его произведенія и т. д. Въ самомъ дълъ, въ образъ понятій не было между этими людьми значительной разницы: одинъ вероваль въ Буало, другой въ Аддисона, ученика Буало. Но оба были люди тщеславные, оба проникнуты суетнымъ желаніемъ не встрічать противорічія. Скоро Готтшедъ сталь считать партію Бодмера вредною для себя: она мізшала его единовластію въ литературъ. Швейцарцы осмълились даже издавать руководства къ пінтикъ, какъ будто бы не издано было такое руководство Готтшедомъ! Значить, они посягали на его права: кто смъль предписывать законы поэзіи, когда они даны уже имъ, великимъ Готтшедомъ? Онъ началъ бранить Бодмера и его друга Брейтингера, эти, разумъется, отвъчали ему въ такомъ же тонъ, пасквили посыпались градомъ съ объихъ сторонъ, и загорълась непримиримая война.

Споръ шелъ о предметахъ мелочныхъ и ничтожныхъ, лишенъ былъ всякаго живаго содержанія, какъ и должно было ожидать: какіе важные недостатки могъ открыть въ понятіяхъ или произведеніяхъ послѣдователей Аддисона ученикъ Буало, или въ понятіяхъ и произведеніяхъ приверженцевъ Буало ученикъ Аддисона? Спорили о словахъ, о достоинствъ того или другаго выраженія и т. д.; но

втотъ пустой споръ быль крикливъ и задоренъ, потому что дѣло велось собственно изъ-за оскорбленій личнаго самолюбія; считаться ли Бодмеру нѣмецкимъ Гомеромъ и Виргиліемъ, или бездарнымъ писакою? считаться ли Готтшеду нѣмецкимъ Корнелемъ и Расиномъ, или его драмы достойны осмѣянія? Кому изъ двухъ противниковъ быть нѣмецкимъ Гораціемъ, законодателемъ въ области позія? Кто изъ нихъ Аристархъ и кто Зоилъ? Точно таковы же были отношенія и всѣхъ другихъ саксонцевъ, стоявшихъ подъ знаменами Готтшеда, и швейцарцевъ, стоявшихъ подъ знаменами Бодмера: каждый изъ нихъ кричалъ, защищая славу, которою пользовался въ своей партіи, и браня противниковъ за то, что они не признавали его великимъ писателемъ.

Полемика была пуста, но не была безплодна; громкій шумъ привлекъ вниманіе общества: оно стало поневоль думать о литературь, когда изъ литературныхъ лагерей стали неумолкаемо раздаваться неистовые крики. Научить эти крики не могли пока еще ровно ничему; но хорошо было уже и то, что прежняя усыпительная монотонность нел'впыхъ панегириковъ зам'внилась бойкимъ, задирающимъ споромъ, пробуждающимъ любопытство. Не безполезна была эта неистовая полемика и потому, что заставила публику несколько недовърчивъе прежняго смотръть на авторитеты, нъсколько самостоятельнее прежняго судить о достоинстве писателей и сочиненій: до того времени публика тупо върила всему, что ей говорили; теперь по необходимости надобно было каждому решать, кто изъ спорившихъ справедливъе. Борьба была упорна; но черезъ нъсколько лътъ побъда стала склоняться на сторону швейцарцевъ. Въ самомъ дълъ, хотя они вообще не отличались ни вкусомъ, ни дарованіями, но въ партіи Готтшеда было еще больше безвкусія и бездарности; хотя швейцарцы держались понятій педантическихъ и безжизненныхъ, но въ школъ Готтшеда педантизмъ былъ еще безжизненнъе; хотя они были чистые формалисты, но у готтшедіанцевь формализмъ былъ еще болве сухъ и мелоченъ. Такъ, напримъръ, въ спорахъ о языкъ швейцарцы защищали употребление оригинальныхъ выраженій, Готтшедъ быль пуристомъ и осуждаль каждый новый терминъ, каждое выражение, не освященное долговременнымъ употребленіемъ, и доходилъ въ этомъ случав до очевиднвищей тупости; онъ нападаль на такія слова, какъ меланхолія, симпатія, сцена, фантазія; нельпыми нововведеніями казались ему и такія слова,

какъ, напримъръ, das Entlocken, das Grosse, unbewusst, unentwickelt, die Mitternacht, das Lächeln,-слова, столь же невинныя и понятныя на немецкомъ языке, какъ на русскомъ понятны и невинны соответствующія имъ слова: похищеніе, величіе, безсознательно, неразвитый, полночь, улыбка. Въ споръ о теоріи словесности швейцарцы защищали права если не творческой фантазіи (о которой ни та, ни другая партія не иміза понятія, подобно своимъ иноземнымъ оракуламъ), то, по крайней меръ, права лирическаго чувства, а Готтшедъ училъ писать стихотворенія при помощи однихъ только разсчитанныхъ по пальцамъ правилъ и осуждалъ пінтику Брейтингера за то, что по ней не научишься писать эпопей, драмъ, одъ, -- между темъ (говорилъ овъ), моя піитика учить «безошибочным» образомы изготовлять стихотворныя произведенія во всевозможныхъ родахъ». Изъ этихъ словъ можно уже съ достовърностью заключать, что пінтика Брейтингера была нісколько лучше готтшедовой, хотя она написана также въ духв сухаго формализма.

Когда люди, подобные Готтшеду и Бодмеру, спорили о владычестве надъ литературою, конечно, не могло быть истинно замечательных дарованій между знаменитостями этой литературы, и сама литература не могла иметь живаго содержанія; иначе, хитрая или тупоумная посредственность и не имела бы средствь овладевать до такой степени законодательствомь въ области изящнаго. Мы уже сказали, что неть надобности перечислять всёхъ писателей, которые считались тогда славными, и которые были забыты, какъ только оживилась литература. Довольно будеть назвать три четыре имени, пользовавшіяся или особеннымь уваженіемь, или особенною любовью публики. Къ такимъ писателямъ принадлежать Галлеръ, Рабенеръ и Геллертъ.

Дидактическія поэмы Буало и особенно Попа имѣли рѣшительное вліяніе на Галлера, который былъ великимъ ученымъ, но самъ сознавался, что лишенъ поэтическаго таланта, — и не только таланта не было у него, но и вкуса, потому что Вейсе, очень посредственнаго драматурга, который подражалъ то французамъ, то англичанамъ, ставилъ онъ выше Шекспира, а приторный Геснеръ нравился ему больше Өеокрита. Собственныя произведенія Галлера, особенно знаменитыя его поэмы «Альпы» и «О происхожденіи зла», могутъ имѣть ученое достоинство, но чужды поэтическаго одушев-

ленія. Стремясь къ возвышенности, онъ достигаетъ только суровой сухости; стремясь къ теплоте и трогательности картинъ даеть онъ только холодныя и скучныя описанія. Въ «Альпахъ» описываются красоты горной природы и изображаются въ идиллическомъ видъ нравы горныхъ жителей, которые, не зная о жадности и любостяжаніи, сохранили у себя блаженство золотаго в'вка. Поэма «О происхожденіи зла» объясняеть, что человіку дана свободная воля, что Богу угодно было предоставить людямъ выборъ между добромъ и зломъ; потомъ изображается состояніе первыхъ людей до грѣхопаденія, паденіе діаволовъ и прегрішеніе первыхъ людей -- это подробный разсказь библейскаго преданія, съ примісью различныхъ философскихъ замъчаній. Поэма «О происхожденіи зла» имъла большой успахъ и породила сотни поражаній. Многочисленные последователи Галлера безъ всякой заботы о требованіяхъ поэзіи цвликомъ перелагали на стихотворный языкъ философскіе трактаты, сохраняя даже ученую систематическую форму въ своихъ виршахъ, — они просто перефразировали Лейбница и Вольфа, прикракрашивая ихъ заимствованіями изъ Попа и Томсона, --- сочиняли стихотворныя разсужденія о намереніяхъ Божінхъ при созданіи вселененой, о законахъ разума, о прививаніи коровьей оспы, объ искусственномъ орошенім полей, о пользів математическихъ наукъ для поэта, о томъ, что произрастеніемъ травы доказывается существованіе Божіе, и т. д.

Кромѣ дидактическихъ и описательныхъ поэмъ, Галлеръ писалъ сатиры; но эти сатиры лучше всего остальнаго показывають, какъ чужда была всякаго живаго содержанія нѣмецкая литература того времени. Онѣ направлены не противъ пороковъ или смѣшныхъ слабостей нѣмецкаго общества, а противъ парижскихъ философовъ. Самъ Галлеръ объявляетъ, что не имѣетъ охоты заниматься современными нравами своей родины, потому что это безполезно да и не нужно.

Несмотря на чрезвычайное уважение къ эпической поэзіи, которая считалась верховнымъ родомъ искусства, Галлера читали довольно мало, а его посл'ёдователей еще меньше,—но каждый чувствовалъ на себ'є обязанность превозносить эти поэмы. Галлера навывали н'ємецкимъ Виргиліемъ. Титулы, которыми украшались Рабенеръ и Геллертъ, были скромн'єе: Рабенеръ считался не бол'єе, какъ н'ємецкимъ Ювеналомъ, а Геллертъ—н'ємецкимъ Лафонте-

номъ, но за скромность этихъ титуловъ Геллертъ и Рабенеръ вознаграждались темъ, что ихъ сочиненія были любимейшимъ чтеніемъ нёмецкой публики. Для насъ, которые часто слышимъ преувеличенныя сужденія о глубинь и серьезности содержанія тыхь писателей, которые считаются представителями сатирического направленія въ русской литературь, не безполезно будеть знать, какъ нъмпы нынъ судять о Рабенеръ, котораго можно сравнить съ нашими писателями по обширности круга, которымъ занята его иронія, и по смелости, съ какою обличаетъ онъ недостатки своей народной жизни. Это сравнение можетъ привести насъ къ сомивнию въ томъ, дъйствительно ли есть серьезное содержание даже въ тъхъ произведеніяхъ нашей литературы, которыя особенно изв'єстны безпощаднымъ (будто бы) сарказмомъ, съ которымъ разоблачаютъ передъ нами важнъйшіе (будто бы) наши недостатки. Безъ сомнънія, у насъ есть писатели гораздо боле даровитые, нежели Рабенеръ, и произведенія иміющія гораздо боліве художественнаго достоинства, нежели его сатиры. Но мы здёсь говоримъ о границахъ содержанія, доступнаго проніи. Мы находимь, что у нась есть произведенія, безпощадно карающія важнівішіе общественные пороки,--такъ говорили и нъмцы добраго стараго времени о сатирахъ Рабенера. Интересно знать, какъ думають нынв о Рабенерв въ Германіи, уже имъя понятіе о томъ, какова бываетъ истинная сатира. Потому приведемъ суждение Гервинуса объ этомъ писателъ.

«Рамлеръ, въ предисловіи къ переводу Батё (говоритъ Гервинусъ), хвалитъ Рабенера, называя его улыбающимся сатирикомъ, писателемъ мужественно прекраснымъ, упреки котораго поучительны, воображеніе котораго неистощимо, въ сочиненіяхъ котораго представленъ цёлый рядъ картинъ и характеровъ. У кого достало бы охоты перечитать сатиры Рабенера, тотъ увидёлъ бы, что надобно сказать о немъ совершенно противное. Что касается неистощимости воображенія, надобно признаться, что эти сатиры совершенно чужды всякой поэзіи: творческой фантазіи нётъ въ нихъ ни капли. Его произведенія—чистая проза. Смёлости и рёзкости онъ совершенно лишенъ; онъ робокъ и скученъ. Для нынёшнихъ читателей довольно взглянуть на заглавія его сатиръ, чтобы убёдиться въ томъ: «О поздравленіяхъ съ праздникомъ», «Похвала постельнымъ собачкамъ», «О несчастныхъ мужьяхъ»—вотъ каковы поучительныя задачи рабенеровой сатиры. Сатирическія посланія его превозносились

какъ нечто удивительное-въ какомъ же кругу вращается туть остроуміе сатирика?—Невъжда-помъщикъ ищетъ себъ дешеваго учителя, -- горничная рекомендуеть на это место человека, который ей нравится; вдова пастора прінскиваеть себ'в жениха; проситель подкупаеть судью, и т. д. Правда, эти недостатки существовали въ обществъ; правда, сатира, карая пороки, можетъ для разнообразія касаться и мелочныхъ слабостей. Но сатирикъ обнаруживаетъ незнакомство свое съ жизнью, когда, думая объ исправлении великаго общественнаго зданія, занимается подчисткою подобныхъ незначительныхъ шероховатостей въ мелкихъ уголкахъ. Рабенеръ, Цахаріз и Геллертъ не истребили мелочныхъ недостатковъ, надъ которыми изощряли свое остроуміе: но всё эти мелочи упали сами собою, когда молодое покольніе въ 1770-тыхъ годахъ потрясло своими ударами все зданіе, къ которому принадлежали эти ничтожныя подробности. Рабенеръ могъ бы оставить безъ вниманія пустяки, которыми занимался, еслибъ обратилъ свою сатиру противъ великихъ недостатковъ, порожденныхъ жизнью его народа въ его время и препятствовавшихъ прогрессу; а онъ бился противъ маловажныхъ и существующихъ вездё и повсюду привычекъ. Предметы, которыми занимается его насмёшка, слишкомъ мелки. Онъ самъ признается, что въ Германіи объ учитель деревенской школы нельзя говорить той правды, которую въ Англіи говорять о первыхъ сановникахъ королевства. Самъ Геллертъ-человъкъ не слишкомъ смёлый-понимаеть, что сатира слишкомъ стеснена, если говорить только о порокахъ частной жизни: описывая вельможъ, она, по его словамъ, бываетъ красноръчивъе, нежели издъваясь надъ мелкими людьми. Рабенеръ не дерзаетъ приближаться съ своею насмъшкою къ великолъпнымъ палатамъ: онъ прямо отказывается говорить о предметахъ, въ которыхъ замъщаны «превосходительные люди». Разумбется, можно находить и оправданія для Рабенера: въдь и его сатиры возбуждали неудовольствіе».

Сужденіе Гервинуса не должно считать слишкомъ суровымъ,— подобно ему, думають о робкой сатиръ Рабенера всъ. Въ подтвержденіе этихъ словъ приведемъ сужденія Шлоссера:

«Можно ли отъ Рабенера, человѣка, занимавшаго должность сборщика податей при саксонскомъ министрѣ Брюлѣ, стало быть, составившаго себѣ карьеру самымъ печальнымъ образомъ въ самыя печальныя времена, —можно ли ожидать отъ такого человѣка смѣ-

лыхъ мыслей? А безъ смѣлости возможна ли сатира? Сатирѣ не должно быть дѣла до тѣхъ пороковъ, которые гнѣздятся въ ничтожныхъ людяхъ—нравы толпы исправляются не поэзіею, а другими путями—она должна разоблачать пышныя личины, ослѣпляющія простаковъ, она должна рѣзко изобличать пустоту и лицемѣріе, соединенное съ ложнымъ блескомъ. Сатира Рабенера щадитъ (очень благоразумно) истинныхъ враговъ человѣчества и родины, щадитъ людей, которые безстыдно презирають общественное мнѣніе, она занимается только бабыми сплетнями. Она не понимаетъ, что мелкихъ купцовъ и мелкихъ чиновниковъ не исправишь насмѣшками; они бьются изъ-за куска насущнаго хлѣба, ихъ недостатки происходять не отъ злой воли, а отъ нужды».

Еще слабъе и ничтожнъе Рабенера былъ по своему направленію Геллертъ, пользовавшійся, однакожь, огромною популярностью. Онъ отъ природы быль трусливъ и суетенъ, -- обстоятельства развили въ немъ эти качества. Какъ жалка и безцвътна была его натура, можно судить по следующему разсказу, который помещень въ англійскомъ «Годичномъ указатель» событій и новостей (The Annual Register) за 1762 годъ. Разсказъ этотъ слишкомъ хорошо характеризуеть вообще всёхъ знаменитыхъ нёмецкихъ писателей той эпохи, которой принадлежить Геллерть, потому помещаемь его вполнъ. Онъ лицомъ къ лицу ставитъ передъ нами этихъ жалкихъ педантовъ, въчно занятыхъ только одною мыслью о томъ, хороши ли ихъ собственныя сочиненія, -- заботою о томъ, чтобы стихи были гладки, языкъ чистъ и правиленъ и всё правила пінтики и реторики были строго соблюдены, - этихъ жалкихъ людей, ждавшихъ себъ чести, а литературь пользы отъ милости меценатовъ, людей, не знавшихъ живни, не имвиших понятія о томъ, что писатель долженъ быть брганомъ желаній своего народа, его руководителемъ и защитникомъ.

«Подлинный разговоръ между королемъ прусскимъ и талантливымъ Геллертомъ, профессоромъ изящной словесности при Лейпцигскомъ университетъ, заимствованный изъ письма изъ города Лейпцига, отъ 27 января 1761 года.

18 минувшаго октября, въ третьемъ часу вечера, когда профессоръ Геллертъ, чувствуя себя нѣсколько нездоровымъ, сидѣлъ въ шлафрокѣ, за своимъ писъменнымъ столомъ, кто-то постучался въдверь его квартиры.

[—] Милости просимъ, войдите, сударь! сказалъ Геллертъ.

— Честь имъю рекомендоваться, сказалъ вошедшій: — имя мое Квинтусъ Ициліусъ; мнѣ очень пріятно познакомиться съ человѣкомъ, столь славнымъ въ литературномъ мірѣ. Впрочемъ, я пришелъ къ вамъ не отъ себя, а по приказанію его величества, короля прусскаго, который желаетъ васъ видѣть и приказалъ мнѣ проводить васъ къ нему.

Геллертъ извинялся своимъ нездоровьемъ, но согласился слъдовать за майоромъ Квинтусомъ, который ввелъ его въ кабинетъ его величества, гдъ и произощелъ между королемъ и этими двумя писателями слъдующій разговоръ:

Король. Вы профессоръ Геллертъ?

Геллертъ. Точно такъ, ваше величество!

Король. Англійскій посланникъ говориль мнё о васъ, какъ о человёкё высокихъ достоинствъ. Откуда вы родомъ?

Геллертъ. Изъ Ганихена, что близъ Фрейберга.

Король. Какая причина, что у насъ нътъ хорошихъ нъмецкихъ писателей?

Майоръ Квинтусъ. Предъ лицомъ вашего величества стоитъ превосходный нѣмецкій писатель, сочиненія котораго французы почли достойными перевода и котораго называютъ они германскимъ Лафонтеномъ.

Король. Это, г. Геллертъ, конечно, служитъ сильнымъ докавательствомъ вашихъ достоинствъ. Скажите, читали вы Лафонтена?

Геллертъ. Читалъ, государь, но не подражалъ ему. Я стараюсь быть оригинальнымъ въ своемъ родѣ.

Король. И прекрасно дълаете. Но скажите, какая причина тому, что у насъ въ Германіи не много писателей такихъ хорощихъ, какъ вы?

Геллертъ. Ваше величество, кажется, предубъждены противънъщевъ.

Король. Нимало.

Геллертъ. Или, по крайней мѣрѣ, противъ нѣмецкихъ писателей.

Король. Это быть можеть; въ самомъ дёлё, я не высокаго мнёнія о нихъ. Отчего происходить, что у насъ нёть хорошихъ историковъ?

Геллертъ. У насъ есть, государь, нъсколько хорошихъ исто-

риковъ, — между прочимъ, Крамеръ, продолжатель Босскоэта, и ученый Масковъ.

Король. Нёмецъ продолжалъ «Всемірную Исторію» Боссюэта! возможно ли?

Гелдертъ. Не только продолжалъ, но и совершилъ это трудное дѣло съ величайшимъ успѣхомъ. Одинъ изъ знаменитѣйшихъ профессоровъ въ областяхъ вашего величества провозгласилъ это продолженіе равняющимся боссюэтовой исторіи по краснорѣчію и превосходящимъ ее по точности.

Король. Отчего же происходить, что у насъ нѣть хорощаго перевода Тацита на нѣмецкій языкъ?

Геллертъ. Этотъ авторъ чрезвычайно труденъ для перевода, и французскіе переводы, какіе нынѣ существуютъ, совершенно лишены всякаго достоинства.

Король. Съ этимъ я согласенъ.

Геллертъ. Много есть различныхъ причинъ, препятствовавшихъ доселъ нъмцамъ сдълаться знаменитыми въ различныхъ отрасляхъ литературы. Когда науки и искусства процвътали между греками, римляне занимались только губительнымъ искусствомъ войны. Не можемъ ли мы считать настоящаго времени воинскимъ въкомъ Германіи? Не могу ли также я прибавить, что наши соотечественники не были одушевляемы такими покровителями наукъ, какъ Августъ и Людовикъ XIV?

Король. Да вёдь у васъ въ Саксоніи было цёлыхъ два Августа *).

Геллертъ. Правда, государь, и потому въ нашей странв явились хорошіе начатки.

Король. Какимъ образомъ можете вы ожидать Августа въ Германіи, столь раздробленной?

Геллертъ. Я сказалъ не въ томъ смыслъ, государь: я желаю только, чтобы каждый государь ободрялъ въ своихъ областяхъ людей съ истиннымъ талантомъ.

Король. Вы никогда не выважали изъ Саксоніи?

Геллертъ. Однажды я былъ въ Берлинъ.

Король. Вамъ нужно бы путешествовать.

^{*)} То есть Августъ III, тогда царствовавшій, и Августь II, бывшій его предшественникомъ.

Геллертъ. Государь, я не имъю никакой наклонности къ путешествіямъ; а если бы и имълъ, мои обстоятельства не позволили бы мнъ путешествовать.

Король. Скажите, какой болезнью вы страдаете? я предполагаю, болезные ученыхъ?

Геллертъ. Назову ее такъ, когда вашему величеству угодно почтить меня этимъ именемъ, котораго, безъ величайшаго тщеславія, не могъ бы я дать самъ себъ.

Король. Я, подобно вамъ, страдалъ этою болѣзнью и, кажется, могу излечить васъ: дѣлайте только моціонъ, ѣздите гулять верхомъ каждый день и разъ въ недѣлю принимайте ревеню.

Геллертъ. Это лекарство, государь, могло бы для меня быть хуже самой бользни: если моя лошадь была бы здоровье и бодрые меня, я не смыль бы сысть на нее; а если она хуже меня, немного пользы было бы мны оть прогулки верхомъ на ней.

Король. Ну, такъ вздите гулять въ экипажв.

Геллертъ. Я не такъ богатъ; чтобъ имъть на то средства.

Король. А, воть этимъ-то обстоятельствомъ обыкновенно и больны нёмецкіе литераторы. Правда, худыя нынё времена.

Геллертъ. Худыя, ваше величество! Но если бы благость вашего величества дала миръ Германіи....

Король. Да развъ отъ меня это зависить? Развъ вы не слышали, что противъ меня соединились три державы?

Геллертъ. Знанія мои, государь, преимущественно заключаются въ древней исторіи; новую изучаль я гораздо менъе.

Король. Изъ эпическихъ поэтовъ кого вы предпочитаете — Гомера или Виргилія?

Геллертъ. Безъ сомнънія, Гомеръ, какъ оригинальный геній, заслуживаетъ предпочтенія.

Король. Но Виргилій, однако же, писатель болье изящный.

Геллертъ. Мы живемъ во времена, слишкомъ отдаленныя отъ гомеровыхъ, и не можемъ составить себѣ опредѣлительнаго сужденія о языкѣ и нравахъ того древняго періода: потому я полагаюсь на сужденіе Квинтиліана, который отдаетъ преимущество Гомеру.

Король. Но мы, однако же, не должны съ рабскимъ подобострастиемъ подчиняться суждениямъ древнихъ.

Геллертъ. Я и не подчиняюсь имъ слепо. Я только принимаю ихъ мненія, когда древность облекаеть предметь такимъ ту-

маномъ, который не даетъ мнѣ различить его черты и, слѣдовательно, отнимаетъ возможность собственнаго сужденія.

Король. Вы, какъ я слышаль, написали басни, замѣчательныя по изяществу и остроумію. Можете вы прочитать мнъ одну изъ нихъ?

Геллертъ. Не умъю вамъ сказать, государь, могу ли: память моя далеко не хороша.

Король. Постарайтесь; я пока пройдусь по комнать и дамъ вамъ время собраться съ мыслями.... (Черезъ инсколько минутъ). Можете теперь исполнить мое желаніе?

Геллертъ. Могу, государы!

«Аеинскій живописець, занимавшійся своимъ искусствомъ болье изъ желанія славы, нежели изъ любви къ прибытку, спросиль у знатока живописи мнвнія о своей картинв, представлявшей бога Марса. Знатокъ не скрыль отъ него, что находить картину неудовлетворительною. Живописець защищаль свое произведеніе. Критикъ отвівчаль на его возраженія, но не могь убідить его. Въ это время подходить невёжда, бросаеть взглядь на картину и, не подумавь ни минуты, съ восторгомъ восклицаеть: «Боже! какое мастерское произведеніе! Марсъ живой дышеть на этомъ полотнів! Какія прекрасныя ноги! Какой вкусь, какое величіе въ этомъ шлемь, въ этомъ щить, во всемъ вооруженіи ужаснаго бога»! Живописець покрасніль, взглянуль на знатока съ видомъ смущенія, признанія въ своихъ ошибкахъ и сказаль: «Теперь я убідился, что ваше сужденіе основательно». Невіжда удалился, и живописець истребиль свою картину».

Король. Какой же смысль въ этой басив?

Геллертъ. Нравоучение таково: «когда сочинения писателя не удовлетворяютъ вкусу хорошаго судьи, это даетъ сильное основание думать о нихъ неблагоприятно; но когда они бываютъ превозносимы глупцомъ, не колеблясь должно бросить ихъ въ огонь».

Король. Прекрасно, г. Геллертъ! Стихотвореніе ваше превосходно, и въ изобрѣтеніи басни есть какое-то изящество. Я понимаю красоту и достоинство этого произведенія. Но когда Готтшедъ читалъ мнѣ переводъ «Ифигеніи», у меня передъ глазами былъ французскій оригиналъ, и я не понялъ ни слова изъ того, что онъ читалъ. Если я останусь здѣсь дольше, вы почаще приходите комнѣ и читайте мнѣ ваши басни. Геллертъ. Не знаю, государь, долженъ ли я отваживаться на чтеніе: я привыкъ говорить нараспівъ, какъ говорять у насъ въ горахъ.

Король. Ну да, по силезскому акценту. Нъть, все-таки вы должны читать ваши басни: иначе, онъ много потеряють. Навъстите же меня еще, и поскоръе.

Когда г. Геллертъ ушелъ, король сказалъ:

— Это совершенно не такой человъкъ, какъ Готтшедъ. А на слъдующій день, за столомъ, онъ сказаль, что «изъ всъхъ ученыхъ нъмцевъ Геллертъ самый умный и разсудительный».

Весь тонъ разсказа свидетельствуеть, что онъ написанъ безъ всякой иронической пъли. Хроника, въ которой онъ помъщенъ, хочетъ показать, что король Фридрихъ II умель ценить таланты; а, между темъ, какою горькою насмешкою надъ Геллертомъ кажется этотъ анекдотъ! Какъ пошло и глупо каждое его слово, какъ тупы его понятія о литературъ!-Отчего она въ незавидномъ положенія? спрашиваеть Фридрихъ, -- «оттого, что у насъ нътъ Августовъ и меценатовъ», очень добродушно отвъчаеть Геллерть, не зная, что именно меценатство съ одной стороны, подобострастіе съ другой губять литературу. Отчего вы блёдны? спрашиваеть король.— Оттого, что все сижу въ своемъ кабинетъ за книгою, отвъчаеть Геллерть, какъ истинный Вагнерь, не имъя даже предчувствія о томъ, что поэту быть въ кругу людей полезиве, нежели читать Буало, Готтшеда и Бодмера. И какъ робетъ этотъ беднякъ! Онъ запинается, онъ теряется; ему нужно дать время образумиться, чтобы онъ могъ припомнить какую нибудь изъ своихъ басенъ. И какую же басню выбираеть онъ для чтенія передъ Фридрихомъ — полководцемъ, законодателемъ, человъкомъ жизни и дъятельности? басню, заключающую наставленіе для жалкихъ Вагнеровъ, подобныхъ самому баснописцу! Видно, что никакъ не можетъ онъ выйти изъ узкаго круга пустыхъ вопросовъ о гладкости слога и литературныхъ красотахъ, о критикъ и антикритикъ, видно, что жизнь и міръ для него ограничиваются сочиненіемъ стипковъ и полученіемъ заслуженныхъ похвалъ отъ Готтшеда или Бодмера, да милостиваго покровительства отъ Брюля за благонамфренность стремленій и красоту слога!

Въ такомъ жалкомъ состоянін находилась німецкая литература около половины XVIII віка. Она совершенно оправдывала собою

извъстную аксіому, что литература есть выраженіе общества. Германія находилась въ нравственной зависимости отъ чужеземцевъ, литература ея была рабскимъ подражаніемъ англійской и французской литературамъ; нравственное единство народа, вследствіе продолжительнаго политическаго раздробленія, было утрачено-німецкая литература также утратила свое единство: Лейпцигъ былъ центромъ саксонской школы, Цюрихъ-швейцарской, въ Берлинь была своя школа, въ Гамбургв своя, въ Кёнигсбергв своя; направленіе, которому будеть следовать писатель, определялось не столько влеченіемъ его таланта, сколько принадлежностью его къ той или другой области: саксонець делался последователемь Готтшеда, южный германецъ ученикомъ Бодмера, съверный германецъ подражателемъ Галлера. Въ жизни нъмецкаго народа господствовали апатія, пустота,-та же самая пустота господствовала и въ литературъ; подобострастный формализмъ сковывалъ жизнь общества, -- онъ же сковываль и литературные таланты; общество было робко, безпрекословно отдавалось въ добычу каждому, кто хотелъ грабить его,такъ и литература подчинялась каждому шарлатану съ громкимъ. голосомъ, который хотель господствоваль въ ней.

Неудивительно посл'в этого, что высшіе классы общества пренебрегали родною литературою и читали исключительно французскія книги: въ н'вмецкихъ нашли бы они только повтореніе того, что гораздо лучше было высказано французскими писателями временъ Людовика XIV.

Виновницею жалкаго состоянія литературы всегда бываеть публика: если публика многочисленна и проникнута живыми стремленіями, нёть въ мірё силы, которая могла бы остановить развитіе литературы, нёть затрудненій, которыя не были бы поб'яждены требованіями общества. Степень умственнаго развитія въ масс'в нёмецкой публики совершенно соотв'ятствовала общему состоянію литературы. Педантизмъ, робость, подобострастіе и предразсудки всякаго рода вланычествовали въ обществ'я. Мы говорили, что оно разд'ялялось на касты, чуждавшіяся одна другой; главною двигательницею жизни въ каждой каст'я было мелочное тщеславіе, преклоненіе передъ высшими, презр'яніе къ низшимъ. Религіозное одушевленіе исчезло посл'я Тридцатил'ятней войны, но осталась вражда различныхъ христіанскихъ в'яроиспов'яданій: католики, лютеране, кальвинисты ненавид'яли другь друга; религіозныя и нравственныя

понятія были суровы и грубы; вообще, умственная жизнь была стеснена предразсудками и предуб'яжденіями.

Наука, которая должна была бы противодъйствовать этимъ неблагопріятнымъ для народнаго развитія отношеніямъ и вести націю впередъ, при распространившейся привычкі къ педантству и формализму, получила такой видъ, что сама служила однимъ изъ главивишихъ препятствій прогрессу умственной и общественной жизни. Университеты и школы, вообще говоря, не просвёщали, а только еще болье ватуманивали умы. Всь науки преподавались съ канедръ и разработывались въ кабинетахъ, въ самой сухой и мертвой формъ. Ученый обыкновенно быль педантомъ и формалистомъ, слепо верившимъ тому, чему научился отъ своего бывшаго наставника; онъ безъ всякой критики компилироваль факты, не отъискивая въ нихъ смысла, заботясь только о систематичности и вившней ученой формъ. Мертвый догматизмъ владычествовалъ во всёхъ отрасляхъ науки, отъ философіи до изученія древнихъ языковъ, отъ законов'вдения до теоріи словесности. Параграфы, аксіомы, теоремы, леммы, королларіи, подраздёленія заставляли забывать о живомъ содержаніи въ нравственныхъ и юридическихъ наукахъ, которыя излагались съ такою же сухостью, какъ алгебра или геометрія. Въ исторіи больше всего занимались хронологическими и генеалогическими таблицами и мелочными подробностями, не обращая вниманія на смыслъ фактовъ и связь событій; въ законов'ядініи господствоваль взглядь совершенно отвлеченный и односторонній, такъ что приміненіе его къ жизни было страшнымъ біздствіемъ для всего народонаселенія: юристы были истинными мучителями для Германіи; въ богословіи сохранялись понятія, свойственныя среднимъ въкамъ, и самый протестантизмъ сталъ неподвиженъ и безжизненъ если не больше, то не меньше католицизма. Книги вообще писались такъ сухо и тяжело, что только записные ученые решались читать ихъ. Еще въ 1765 году Зульцеръ говорилъ:

«Книги остаются исключительно въ рукахъ однихъ профессоровъ, студентовъ и журналистовъ, и мив кажется, что писать для настоящаго поколвнія—двло, едва ли стоющее труда. Если въ Германіи существуетъ читающая публика вив круга людей, по ремеслу своему обязанныхъ обращаться съ книгами, то я долженъ признаться въ своемъ невѣжествѣ—я не знаю о существованіи такой публики. Я вижу за книгами только студентовъ, кандидатовъ, тамъ и сямъ

одинокаго профессора, изрѣдка проповѣдника. Общество, въ которомъ эти читатели составляютъ незамѣтную—дѣйствительно, совершенно незамѣтную—частицу, не имѣетъ и понятія, что такое литература, философія, что такое разумно нравственныя убѣжденія и вкусъ».

• Картина, составляющаяся изъ фактовъ, нами исчисленныхъ, очень мрачна; но никто изъ знакомыхъ съ политическимъ и умственнымъ состояніемъ Германіи въ половинѣ прошлаго вѣка не скажетъ, чтобы можно было представлять себѣ это состояніе въ иномъ свѣтѣ. «Гнуснѣйшее варварство» (die hässlichste Barbarei) — вотъ выраженіе, которымъ характеризуетъ положеніе своего отечества около 1750 года Гервинусъ; а Гервинусъ принадлежитъ къ числу людей очень умѣренныхъ, даже слишкомъ умѣренныхъ въ своемъ образѣ мыслей: онъ патріотъ, иногда даже слишкомъ пристрастный къ родной старинѣ.

Но пришло время, когда ни одинъ изъ европейскихъ народовъ не могъ оставаться въ закоснълости своихъ недостатковъ и предубъжденій, когда каждая нація почувствовала потребность новой, лучшей жизни,—и Германія пробудилась изъ своей нельной и тяжелой летаргіи.

Свѣжимъ воздухомъ вѣяло на нее изъ Франціи, изъ Англіи,—
лучи новаго свѣта стремились на нее изъ этихъ странъ, опередившихъ ее въ XVII вѣкѣ. Крѣпокъ былъ сонъ, долго медлила Гермаманія пробудиться отъ него; густъ былъ мракъ, тяготѣвшій надъ
нею, но свѣтъ таки восторжествовалъ надъ мракомъ, и открылись
наконецъ глаза, отягощенные мертвою дремотою.

Мы видёли, что подражаніе французамъ жизни, подражаніе французамъ и англичанамъ въ литературё не имёло для Германіи никакихъ слёдствій, кром'в дурныхъ,—это потому, что подражаніе всегда бываетъ внёшнимъ формализмомъ, убивающимъ духъ, а подражателями бываютъ только люди ограниченные, лишенные мысли, лишенные собственнаго содержанія. Но кром'в внёшняго формалистическаго вліянія одного народа на другой есть другое вліяніе, живое и плодотворное, состоящее въ томъ, что усп'єхи народа, стоящаго на высшей степени развитія, служатъ предметомъ размышленія для живыхъ людей другаго народа, отставшаго на пути развитія. Эти люди, занятые мыслью о средствахъ помочь своему народу, находятъ въ жизни другихъ націй прим'єры, которыми

облегчаются ихъ собственныя соображенія, находять факты, которыми пользуются они, какъ доказательствами для убъжденія массы въ необходимости и возможности улучшеній, требуемыхъ положеніемъ націи. Всё народы, двигаясь впередъ при помощи успёховъ, совершенных болбе счастливыми ихъ собратами, всегда сначала подчинялись формалистическому вліянію, потому что форма понятнъе содержанія для неразвитаго человъка; но потомъ, когда умственныя сношенія становились теснее, благодаря формалистическому сближенію, начиналась возможность вдумываться и въ содержаніе цивилизованной жизни, формы которой были уже изв'ястны. Тогда иноземное вліяніе переставало быть противоположно народной жизни, — напротивъ, при помощи уроковъ и истинъ, выработанныхъ жизнью собратій, народная жизнь быстро развивалась, - развивалась сообразно собственнымъ потребностямъ и условіямъ, то есть вполнъ самостоятельно, такъ что исчезалъ всякій слъдъ умственной вависимости отъ другихъ народовъ именно въ то время, когда сближеніе съ ними начинало приносить обильнівішіе плоды

Такъ было и съ немецкимъ народомъ. Англія и Франція во всёхъ отношеніяхъ стояли выше Германіи въ концъ XVII въка. Вліяніе ихъ на Германію было неизбіжно. Оно отразилось во всіхъ сферахъ жизни, сначала чисто формалистическимъ образомъ, —и на первый разъ следствія сближенія казались неблагопріятными для Германіи: ны видели, какъ сначала были развращены французскимъ вліяніемъ высшіе классы, какъ обезмысленна была литература подражаніемъ французской и англійской. Но это было только неизб'яжное временное вло, предшествующее прочному благу и несущее въ себъ съмена его. Да и само по себъ это зло было зломъ только по сравненію съ идеаломъ народной жизни въ будущемъ, а вовсе не по сравненію съ предшествующимъ ея состояніемъ. Какова бы ни была подражательная немецкая литература, все жь эта была литература, принадлежащая періоду цивилизаціи, какой прежде не имъла Германія. Каковы бы ни были пороки и злоупотребленія, введенные въ государственную жизнь подражаніемъ французскому двору, б'ядствія, отъ нихъ происходившія, были ничтожны въ сравненіи съ тъмъ зломъ, которое происходило отъ учрежденій и обычаевъ, развитыхъ самою германскою жизнью: корнемъ зла былъ произволъ съ одной стороны, подобострастие и апатія съ другой; а эти отношенія не были занесены изъ Франціи: они выросли на німецкой почві.

Рано появились въ Германіи мыслящіе люди, которые, не останавливаясь на временномъ злъ, какое можетъ приносить сближение, малообразованнаго народа съ боле образованнымъ, всеми силами старались о сближеніи німцевь сь французами, -не для одного заимствованія вившнихъ формъ, но для развитія ивмецкой образованности. Замъчательнъйшимъ изъ такихъ людей былъ истинно великій діятель німецкаго просвіщенія, Христіанъ Томазіусь (въ концѣ XVII и началѣ XVIII вѣка), -- Томазіусь, о которомъ Шлёцеръ говорилъ, что онъ принесъ человъчеству болъе пользы, нежели всъ греческие философы и поэты. Здъсь не мъсто подробно говорить о всей неутомимой діятельности этого благодітеля своей родины, не мъсто излагать исторію его борьбы противъ юридиче. скихъ предразсудковъ и беззаконій (Христіанъ Томазіусь быль профессоромъ законовъдънія сначала въ Лейпцигскомъ университетъ, потомъ, когда защитники грубаго невѣжества и педантства заставили его удалиться изъ Лейпцига, онъ получилъ каоедру въ Галле, гдъ уже пользовался сильнымъ вліяніемъ), не мъсто здъсь говорить о борьбъ его противъ варварскаго законодательства, противъ пытокъ и жестокихъ наказаній, не мъсто разсказывать, какъ онъ успъль доказать, что нельно върить въ въдьмъ и жечь бъдныхъ старухъ: мы здёсь должны обратить вниманіе только на одну сторону его дъятельности, касавшуюся общаго образованія нъмецкаго народа.

Въ то время, какъ Томазіусь получиль канедру въ Лейпцигь, всь начки преподавались на латинскомъ языкь; немецкій языкъ быль презираемъ учеными. Томазіусь жестоко нападаль на жалкую школьную латынь и совътоваль нёмцамь то время, которое пропадаеть у нихъ въ сочинении датинскихъ гекзаметровъ, употребить на изучение французского языка и литературы и по примъру французовъ полюбить свой родной языкъ. Онъ доказываль, что отъ привычки писать всв учебныя и ученыя книги, не только по спеціальнымъ наукамъ или богословію, но даже по физикі естественной исторіи, географіи, и отъ обыкновенія, по которому во всёхъ школахъ всв предметы преподавались на латинскомъ языкв, масса публики лишается всякихъ средствъ къ образованію. Да и самыя науки, уединясь отъ жизни, сдёлавшись исключительнымъ достояніемъ записныхъ ученыхъ, приняли совершенно педантическую форму, забыли о всякомъ соотношения съ жизнью и требованиями здраваго разсудка. Въ 1683 году смелый противникъ школьной ла-

тыни изумиль всёхъ, объявивъ, что будеть на нёмецкомъ языкё читать лекціи о томъ, какъ по приміру французовь можно сблизить науку съ жизнью. Это привело въ ужасъ всю тьмочисленную толпу почтенныхъ педантовъ: тысячи голосовъ поднялись противъ дерзкаго латынеотступника; но Томазіусь одержаль побёду, котя не скоро: лътъ черезъ двадцать или двадцать-пять въ Лейппитскомъ университеть уже многіе профессоры читали лекціи по нъмецки. Крики противниковъ не устращили Томазіуса; онъ только увидёль необходимость сдёлать судьею въ вопросё о доступности науки для публики всю публику, а не однихъ педантовъ, которые единодушно возстали на него: въ томъ же году (1688) Томазіусь началь издавать учено-критическій журналь на німецкомь языків-дізло неслыханное до того времени. Изъ самаго заглавія, хитросилетеннаго на латинскій ладъ, мы можемъ судить о достоинств'є нізмецкаго слога въ этомъ журналъ: онъ назывался сначала «Забавныя и серьезныя, разумныя и простодушныя мысли о всяваго рода полезныхъ книтахъ и вопросахъ», а потомъ: «Вольныя, веселыя и серьезныя, но разсудительныя и законосообразныя мысли, или ежемъсячные разговоры обо всемъ, преимущественно же о новыхъ книгахъ» *). Но дело не въ томъ, каковы показались бы наивныя статейки этого журнала нынашнему читателю: дало въ томъ, что это быль первый журналь, издававшійся на родномь языкі, доступный каждому нъмцу, а не однимъ школьнымъ латинистамъ. Надобно прибавить, что по характеру своему онъ разнился отъ безчисленныхъ тогдашнихъ латинскихъ журналовъ, какъ небо отъ земли: въ латинскихъ журналахъ господствовалъ мракъ педантизма, проповъдывались всъ дубовые предразсудки, укоренившіеся въ одичавшихъ за пустыми преніями головахъ, -- въ журнал'в Томазіуса слышался голосъ здравомыслящаго человъка, думающаго не о томъ, чтобы затуманить читателямъ глаза мелочнымъ гелертерствомъ, а о томъ, чтобы прояснить ихъ понятія, сдёлать ихъ также людьми здравомыслящими.

Философія и тогда, какъ въ средніе въка, продолжала въ Германіи быть основною наукою всъхъ наукъ. Томазіусь хотълъ излагать ее на нъмецкомъ языкъ; но это намъреніе показалось ученому

^{*)} Scherz-und ernsthafte, vernünftige und einfältige Gedanken über alerhand nützliche Bücher und Fragen. Hoszuse: Freimüthige, lustige und ernsthafte, jedoch Vernunft-und Gesetzmässige Gedanken oder Monatsgespräche über allerhand, vornehmlich aber neue Bücher.

люду столь дерзкимъ и опаснымъ, что нѣмецкое руководство Томавіуса къ философіи не было разрѣшено къ печатанію, какъ оскорбительное для достоинства науки. Только черезъ много лѣтъ, въ Галле, гдѣ Томазіусъ успѣлъ пріобрѣсть себѣ нѣсколькихъ приверженцевъ, удалось ему издать эту книгу.

Каковы были въ то время люди, которыхъ Томазіусъ хотѣлъ изъ латинскихъ схоластиковъ сдѣлать нѣмецкими писателями, по-казываетъ ужь то одно обстоятельство, что этотъ знаменитый юристъ долженъ былъ читать лекціи о нѣмецкомъ слогѣ, заставлять своихъ слушателей подавать ему маленькія упражненія въ нѣмецкомъ языкѣ, поправлять слогъ этихъ упражненій, даже заставлять молодыхъ людей читать передъ собою въ слухъ по нѣмецки,—словомъ, дѣлать то самое, что дѣлаютъ нынѣ учители грамматики въ приходскихъ училищахъ.

Онъ постоянно указывалъ своимъ слушателямъ и читателямъ на французовъ, объясняя, до какой степени этотъ народъ выше французовъ по своему умственному развитію и гуманности своихъ обычаевъ. Самая мысль о необходимости писать для нѣмцевъ по нѣмецки, а не по латынѣ, была утверждена въ Томазіусѣ примѣромъ французовъ. Онъ настоятельно требовалъ, чтобы его слушатели учились французскому языку, читали французскія книги: вы тогда научитесь презирать мертвое педантство—говорилъ онъ— нравы ваши смягчатся, сближеніе съ французской образованностью разовьеть вашъ умъ.

Нѣмцы не были еще въ то время приготовлены вполнѣ воспользоваться этою частью его наставленій: французское вліяніе на массу долго еще ограничивалось чистоформальнымъ подражаніемъ. Но и тогда уже являлись отдѣльныя личности, развитію которыхъ французская литература приносила существенную пользу; число такихъ личностей съ теченіемъ времени увеличивалось, они оказывали полезное вліяніе на окружающую ихъ среду. Наконецъ на прусскомъ престолѣ явился ученикъ новой французской литературы и справедливо былъ названъ великимъ, не за одну свою геніальность, но и за тѣ блага, которыми наслаждались подъ его правленіемъ его подданные, за свою заботливость о народномъ благѣ, за свои возвышенныя понятія объ обязанностяхъ правителя.

Но другая цёль, къ которой стремится Томазіусь, была имъ достигнута вполнё: онъ успёль убёдить своихъ современниковъ въ необходимости замѣнить педантскую латынь понятнымъ для народа роднымъ языкомъ. По примѣру его «Ежемѣсячныхъ Разговоровъ» возникло множество нѣмецкихъ журналовъ; скоро историки, юристы, потомъ и философы, стали предпочитать нѣмецкій языкъ латинскому въ своихъ сочиненіяхъ; число профессоровъ, читавшихъ лекціи по нѣмецки, быстро увеличивалось; въ гимназіяхъ преподаваніе на нѣмецкомъ языкѣ распространилось еще быстрѣе.

Сближеніе съ образованнъйшими странами, Францією, Англією, Германіею не было еще такъ тісно, чтобы оказывать прямое благодътельное вліяніе на всю массу общества. Но являлись уже между спеціальными учеными люди, стоявшіе въ уровень съ требованіями въка. Правда, число ихъ было очень незначительно, они оставались еще ръдкими исключеніями изъ общаго правила, -- но все-таки явленіе ихъ доказывало возможность німцу быть человізкомъ, стоящимъ наравит съ образованными людьми народовъ, опередившихъ въ развитіи его націю. Являлись даже великіе ученые, двигавшіе науку впередъ, между тімь, какь прежде педанты тратили свое время на безплодныя сходастическія пренія. Первынь изъ этихъ людей былъ Лейбницъ. Современникомъ Лессинга быль Винкельманъ, нъсколько старше его былъ Гейне, обновившій изученіе древнихъ языковъ, сділавшій классическую филологію наукою о древнемъ міръ, изъ науки, руководившей единственно къ педантической болговив на искаженномъ датинскомъ языкв. Шпальдингъ, Землеръ, Михаэлисъ, трудами которыхъ началась новая эпоха въ протестантской теологіи, были современники Лессинга. Реймарусь быль несколько старше его. Шлецерь, знаменитый въ исторіи немецкаго просвъщенія не менъе, нежели въ русской исторіографіи, быль нъсколько моложе Лессинга. Его имя у насъ достаточно знакомо, и мы скажемъ только, что журналъ, который этотъ благородный и безстрашный человыкъ сталъ, по возвращении изъ Россіи, издавать вѣ Германіи, быль грозою всёхь беззаконниковь, терзавшихъ Германію. Но мы должны остановиться на другомъ писатель, современномъ Лессингу, Мозерь, имя котораго у насъ мало извъстно, хотя въ старину было у насъ переведено его знамените сочиненіе «Владыка и Служитель». Подобно Шлёцеру, онъ имѣлъ сильное вліяніе на пробужденіе німецкой публики изъ ся віжовой апатіи, и его имя не должно быть опускаемо, когда говорится о возрожденіи Германіи.

По своему слогу и вообще по всему характеру изложенія, Мозеръ принадлежить къ писателямъ прежней эпохи: онъ оставался чуждъ близкихъ литературныхъ сношеній съ Лессингомъ и его сподвижниками, и, говоря о деятельности Лессинга, мы не будемъ иметь случая упоминать о немъ. Потому скажемъ о немъ нѣсколько словъ здівсь. Мозерь писаль устарізнив и дурнымь слогомь, потому указываемъ на старинный русскій переводъ знаменитвищей изъ его книгь «Владыка и служитель», чтобы познакомить съ характеромъ его сочиненій читателей, не имъвшихъ случая познакомиться съ ними въ подлинникъ. Переводъ этотъ, изданный въ 1766 году, посвящень Императрицѣ Екатеринѣ II. Русскій слогь почтеннаго переводчика до нъкоторой степени соотвътствуетъ нъмецкому слогу автора. Содержание сочинения писатели новой школы уже и въ то время находили не совершенно удовлетворительнымъ: средства, которыми Мозеръ хочетъ помочь описываемымъ злоупотребленіямъсовъты и нравственныя сентенціи-считали они недостаточными, или, лучше сказать, совершенно безсильными; немецкіе историки литературы находять, что и критическая часть книги написана очень робко, намеки на порядокъ дълъ въ томъ или другомъ нъмецкомъ владеніи слишкомъ общи и темны. Но въ свое время она, подобно другимъ сочиненіямъ Мозера, принесла польку развитію той части публики, для которой слишкомъ высоки были сочиненія, написанныя лучшимъ языкомъ. Мозеръ не удовлетворялъ людей образованныхъ, но для людей не болье какъ только знавшихъ грамотъ онъ быль хорошимъ писателемъ.

Въ собственно такъ называемой литературъ около половины XVIII въка также начали являться писатели—поэты и критики—новаго направленія, съ дѣльными понятіями о литературъ, съ живымъ содержаніемъ, — сюда относятся особенно Вейсе, Рамлеръ, Николаи, Клейстъ. Всъ они были или сподвижниками, или учениками Лессинга, и мы часто будемъ встръчать ихъ имена въ его біографіи, и тогда ближе познакомимся съ ихъ направленіемъ и силами.

Всё эти явленія показывають, что преобразованіе и оживленіе нёмецкой литературы было неизбёжно. Сближеніе нёмцевь съ образованнёйшими націями было уже такъ тёсно, что слёдствія знакомства не могли ограничиваться однимъ пустымъ формальнымъ подражаніемъ: умственная жизнь должна была подвергнуться рё-

шительнымъ перемвнамъ; но — какъ и когда произойдетъ эта реформа, въ какихъ границахъ и съ какою силою совершится она? Это было рвшено появлениемъ Лессинга.

Не отъ появленія Лессинга, какъ мы видѣли, зависѣло то, оживится ли, или будетъ погрязать въ прежней мертвой апатіи нѣмецкій народъ. Великое событіе приближалось неотвратимо и неизбѣжно. Но безъ него медленно, безпорядочно совершилось бы то, что при его помощи совершилось быстро, рѣшительно и гармонически. Не было силы въ мірѣ, которая могла бы ослѣпить и оглушить нѣмцевъ такъ, чтобы они не видѣли того, что дѣлается, не слышали того, что говорится въ Англіи, Франціи, Голландіи. Не было силы въ мірѣ, которая могла бы удержать ихъ отъ сближенія съ болѣе образованными и болѣе счастливыми націями; не было силы въ мірѣ, которая могла бы уничтожить необходимость рѣшительнаго измѣненія въ жизни нѣмецкаго народа, когда онъ довольно познакомился съ новымъ и лучшимъ порядкомъ жизни у другихъ націй. Роковое событіе не зависѣло отъ присутствія или отсутствія личности Лессинга.

Но какимъ путемъ, какою силою совершится оно? Силою ли военных событій, законодательных и административных мірь, силою ли чистой науки или вліяніемъ литературы? Фридрихъ Великій, мудрый правитель геніальный полководець, сиділь на престоль одного изъ сильныйшихъ нымецкихъ государствъ; черезъ нысколько времени, главою имперіи явился одинъ изъ благороднъйшихъ и благонамъреннъйшихъ людей въ исторіи, человъкъ, единственною мыслыю котораго было благо подвластныхъ ему народовъ, государь, какого не видъла земля, быть можеть, со временъ Марка Аврелія. Казалось, возрожденіе націи должно совершиться чрезь этихъ государей, путемъ завоеванія и административныхъ реформъ при Фридрихъ, путемъ законодательныхъ реформъ при Іосифъ II и, однако же, оно не совершилось этими путями, -- почему не совершилось ими, не мъсто здъсь говорить о томъ, — быть можеть, потому, что въ новой исторіи вообще оказываются безсильными тв личности, которыя, слишкомъ полагаясь на свою силу, не ищуть помощи своему начинанію въ самостоятельной деятельности всей

массы народа. Оставалось для возрожденія два пути: путь науки и путь литературы. Наука начала совершать свое дёло, но она дёйствуеть медленно; нёсколько поколёній должны были бы смёниться, пока чистое знаніе проникло бы въ жизнь.

Ускорится ли совершеніе этого діла вмітательствомъ литературы, этой быстрой посредницы между знаніемъ и жизнью? Тутъ уже все зависіло оттого, явятся ли въ литературі геніальные діятели, которые вірною и сильною рукою поведуть и направять литературу къ исполненію великаго діла, совершеніе котораго предоставлялось ей безсиліемъ военныхъ, законодательныхъ и административныхъ попытокъ возрожденія.

Явился въ Германіи поэтъ съ великимъ талантомъ-Клопштокъ. Всему благородному, повидимому, сочувствоваль онъ, всего великаго и прекраснаго хотълъ онъ; но-вина ли то воспитанія, вина ли суетныхъ заботъ о собственномъ безсмертіи, вина ли его бол'взненной организаціи, вина ли его разсудка, не довольно проницательнаго и светлаго-онъ, снискавъ чистую и громкую славу своему имени, не могь ничего сделать для своего народа. Передъ нимъ все преклонились; но только немногіе читатели его, и изъ читавшихъ никто ничему не научился отъ него, или, върне сказать, кто читаль его, тотъ или осуждалъ его направленіе, или увлекался на ложный путь, впадаль въ безплодную сантиментальность, въ туманныя грезы и дълался человъкомъ, чуждымъ жизни, вреднымъ въ жизни. Мы встрътимся въ біографіи Лессинга съ Клопштокомъ и его последователями или союзниками и тамъ найдемъ доказательства этому печальному сужденію. Итакъ, отъ Клопштока немецкій народъ не могъ ожидать ничего, кромъ суетнаго удовольствія считать у себя одною знаменитостью больше.

Оставались люди, бывшіе впослідствій очень полезными, какъ сотрудники Лессинга; но мы увидимъ, что это были люди второстепенныхъ дарованій, съ хорошими стремленіями, но безъ яснаго сознанія, какъ и что нужно ділать, — люди съ хорошими убіжденіями, но безъ вібрнаго такта, безъ твердаго и послідовательнаго образа мыслей, — люди, которыхъ дізтельность, во всякомъ случаї, была бы не безполезна, но которые не иміли силы совершить ничего великаго и содійствовать совершенію чего нибудь важнаго могли только подъ руководствомъ геніальнаго человіка, который указываль бы имъ дорогу, соединяль бы и направляль ихъ усилія.

Кром'в Лессинга не было въ нѣмецкой литературъ человѣка, который могъ бы дать ей рѣшительное и плодотворное вліяніе на судьбу нѣмецкаго народа. Будеть или не будеть нѣмецкая литература сильнѣйшею двигательницею народной жизни, ускорится ли ея вмѣшательствомъ развитіе народа, или предоставлено будетъ только медленному дѣйствію чистой науки—разрѣшеніе этого вопроса совершенно зависѣло оттого, будеть ли между нѣмецкими литераторами Лессингь, т, е. будеть ли геніальный человѣкъ, который вѣрно пойметь положеніе и потребности своего народа, постигнеть всю важность, которая должна имѣть литература для его жизни, твердо и рѣшительно укажеть литературъ, что и какъ должна она дѣлать, который, руководя дѣятельностью другихъ, самъ геніальными произведеніями доставить литературъ преобладающую важность между предметами, возбуждающими интересъ въ своемъ народъ, сдѣлаеть литературу средоточіемъ національной жизни.

Въ совершении этого дъла величіе Лессинга.

Онъ доставилъ нѣмецкой литературѣ силу быть средоточіемъ народной жизни и указалъ ей прямой путь, онъ ускорилъ тѣмъ развитіе своего народа.

Это опредвленіе границь историческаго значенія Лессинга необходимо для того, чтобы предохранить себя отъ безграничнаго превознесенія его: въ самомъ дёлё, личность этого человёка такъ благородна, величественна и вмёстё такъ симпатична и прекрасна, дёятельность его такъ чиста и сильна, вліяніе его такъ громадно, что чёмъ болёе всматриваешься въ черты этого человёка, тёмъ сильнёе и сильнёе проникаешься безусловнымъ уваженіемъ и любовью къ нему. Геніальный умъ, благороднейшій характерь, твердость воли, пылкость и нёжность души, сердце, открытое сочувствію ко всему, что прекрасно въ мірё, сильныя, но чистыя страсти, жизнь безъ тёни порока или упрека, полная борьбы и дёятельности, — все, чёмъ можеть быть прекрасенъ и великъ человёкъ, соединялось въ немъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Семейство Лессинга.—Происхождение его рода.—Дітство Лессинга.—Мейссенская школа.—Поздравительная річь отпу.—Лейпцигскій Университеть.—Неаккуратность Лессинга въ посіщения пекцій.—Дружба съ Миліусомъ.—Первыя литературныя произведенія.—Страсть къ театру.—Лессингъ пишеть для сцены.—Неудовольствіе родныхъ.—Возвращеніе въ Каменецъ.—Переселеніе въ Бердинъ *).

1729-1752.

Въ Верхне-Лужицкомъ округѣ Саксонскаго курфиршества, въ небольшомъ городкѣ Каменцѣ, должность первенствующаго пастора (разtог primarius) занималъ во второй четверти прошедшаго столѣтія Іоганнъ-Готтфридъ Лессингъ, человѣкъ, пользовавшійся пріязнью многихъ знаменитыхъ богослововъ того времени за свои теологическіе труды, общимъ уваженіемъ за непоколебимую честность своихъ правилъ, любовью каменецкихъ бѣдняковъ за свою благотворительность. Мѣсто первенствующаго пастора получилъ онъ, какъ бы по наслѣдству, послѣ тестя своего Феллера, съ дочерью котораго, Юстиною-Саломіею, жилъ онъ долго, тихо и счастливо. Богъ благословилъ этотъ бракъ: у Готтфрида и Юстины Лессингъ было двѣ дочери и десятеро сыновей. Изъ сыновей, старпій, Готтгольдъ-Эфраимъ, родившійся 22 января 1729 года, про-

^{*)} Віографія Готтгольда-Эфраима Лессинга написана его братомъ Карломъ Лессингомъ. Вездѣ, гдѣ то возможно, мы слѣдуемъ этому безъискусственному разсказу и очень часто переводимъ его буквально.—Новѣйшая и очень полная біографія Лессинга начата Данцелемъ и, по смерти его, докончена Гурауэромъ (G. E. Lessing, von Th. W. Danzel. I Band. 1850.—II ter Bd. von G. E. Guhrauer. 1854). Относительно вягляда на карактеръ и произведенія Лессинга мы почти постоянно слѣдуемъ сужденіямъ Шлощера.

славилъ имя Лессинговъ, много и честно послуживъ своими великими талантами на благо своего народа.

Фамилія «Лессингъ» имъетъ нъмецкое окончаніе, но не объясняется нёмецкимъ языкомъ; напротивъ, каждому славянину легко увидъть корень ея въ общеславянскомъ словъ «льсъ». Городъ Каменецъ, родина Лессинга, хотя имелъ уже тогда немецкую физіономію, носить чисто славянское имя и лежить нынь на границь земли, населяемой остатками многочисленнаго въ древности племени лужицкихъ славянъ. Число ихъ и объемъ земли лужицкаго нарвчія постепенно уменьшались до последняго времени, и сто леть тому назадъ Каменецъ, въроятно, со всъхъ сторонъ былъ еще окруженъ населеніемъ, говорившимъ по славянски: всё эти данныя возбудили въ западныхъ славянскихъ ученыхъ рёшимость назвать Лессинга нашимъ соплеменникомъ. Не мъщаетъ въроятности этого притязанія ни німецкое окончаніе фамиліи—«Лессингь» легко можеть быть сочтено только изменениемъ слова «лесникъ» по обычаю немецкаго выговора-ни тотъ фактъ, что въ лужицкомъ Каменцъ поселился только дъдъ Эфраима, Теофилъ, а предки его жили въ другихъ сторонахъ Саксоніи, --именно первый изъ Лессинговъ, имя котораго сохранилось въ актахъ, Клеменсъ (Клименть) Лессингь, быль пасторомь въ одномъ изъ приходовъ Хемницкаго округа въ Саксонскомъ курфиршеств, -- это не мвшаетъ въроятности славянскаго происхожденія фамиліи Лессинговъ: всь саксонскія земли были первоначально населены славянами. Но съ того времени, какъ извъстна эта фамилія по актамъ, съ 1580 года, когда Клеменсъ Лессингъ подписалъ, въ числе другихъ пасторовъ, дютеранскій символь, Лессинги являются уже чистыми немцами, и нъмцу Готтгольду-Эфраиму славянская національность была столько же чужда, какъ француженкъ Авроръ Дюдеванъ чужда нъмецкая національность, хотя предкомъ этой писательницы и быль Августъ курфирстъ Саксонскій.

Изъ потомковъ Клеменса Лессинга одни были пасторами, другіе купцами въ разныхъ маленькихъ городахъ или арендаторами. Родъ великаго писателя, какъ видимъ, не отличался ни знатностью, ни богатствомъ. Отецъ Готтгольда-Эфраима былъ даже человѣкомъ положительно бѣднымъ. Мѣсто первенствующаго пастора считалось довольно почетнымъ уѣздному масштабу, Іоганнъ-Готтфридъ былъ первымъ лицомъ въ каменецкомъ обществѣ (если можно говорить

о каменецкомъ обществъ, но доходы съ этого почетнаго мъста оказывались, при всей бережливости родителей, недостаточными для поддержанія ихъ многочисленнаго семейства въ благосостоянім. Однакожь, несмотря на скудость средствъ, каменецкій пасторъ, бывшій самь челов комь ученымь, вы молодости даже разсчитывавшій сділаться профессоромь въ Виттенбергскомь Университеть, непременно хотель, чтобь и дети его были учеными людьми: «онъ совершенно пожертвовалъ собою для того, «чтобы дать хорошее ученое образование сыновыямъ (говоритъ Карлъ Лессингъ) и, чтобы содержать ихъ въ училищахъ и университетахъ, отказывалъ себъ въ удобствахъ жизни, которыми пользуется бъднъйшій ремесленникъ. Денегъ недоставало, и онъ ограничивалъ себя во всемъ, и хотя быль темперамента довольно вспыльчиваго, но никогда не скучаль этими лишеніями, развъразвъ когда скажеть: нашему брату, пастору, нынъ трудно жить, особенно тому, у котораго много дътей. Онъ отдаваль детямъ, можно сказать, последній свой грошъ, и отдаваль съ готовностію, какой мало найдется примъровь на на свътъ». Эту готовность жертвовать всъмъ для дътей раздъляла и жена его, женщина, не отличавшаяся блестящими качествами, но добрая. Когда Готтгольдъ-Эфраимъ передъ свадьбою описываль сестръ свою невъсту, онъ не нашель ничего лучшаго сказать въ похвалу ея характеру, какъ то, что она будетъ, конечно, жить съ нимъ такъ, какъ мать его жила съ его отцомъ. Нравы въ семействъ были чисто патріархальные; одинъ день шель за другимъ тихо и монотонно.

Воспитаніе Готтгольда-Эфраима въ родительскомъ домѣ также было патріархальное, въ духѣ строгаго лютеранства. Какъ только ребенокъ началъ лепетать, его ужь учили повторять молитвы вслѣдъ за старшими. На четвертомъ году онъ уже хорошо зналъ основные догматы лютеранскаго исповѣданія, читалъ библію и лютеровъ катехизисъ. Семья каждое утро и каждый вечеръ собиралась на общую молитву, и мальчикъ рано выучилъ на память множество духовныхъ гимновъ, входящихъ въ составъ лютеранскаго молитвенника.

По семейнымъ преданіямъ, въ немъ рано раскрылась страсть къ книгамъ и ученью. Говорятъ, что когда одному знакомому живописцу вздумалось снять портретъ съ пятилътняго ребенка и написать его съ клъткою въ рукъ, малютка съ досадою сказалъ: «на-

рисуйте меня съ большою, большою кучею книгь, или вовсе не рисуйте». Живописецъ согласился, и анекдоть о необыкновенной просьов маленькаго Эфранма долго быль разсказываемъ его отцомъ и матерью каждому новому гостю и остался навсегда однимъ изъ семейныхъ воспоминаній. Родители также часто разсказывали младшимъ своимъ дётямъ, что Готтгольдъ-Эфраимъ учился съ большою охотою и очень легко все понималъ, и что самою любимою его забавою было возиться съ книгами.

Отецъ самъ училъ его; но нѣкоторое время давалъ ему, кромѣ того, уроки нѣкто Миліусъ, съ братомъ котораго Лессингъ внослѣдствіи очень подружился. Чѣмъ больше росъ мальчикъ, тѣмъ сильнѣе обнаруживались въ немъ дарованія и любознательность. Это много-много утѣшало родителей, говорить его братъ: на двѣнадцатомъ году они рѣшились отдать его въ Мейссенскую княжескую школу, нѣчто соотвѣтствующее тѣмъ изъ нашихъ гимназій, въ которыхъ всѣ ученики должны жить въ пансіонѣ. Въ выборѣ Мейссенской школы отецъ и мать руководились какъ хорошею славою этого заведенія въ ученомъ отношеніи, такъ и необходимостью воспитывать сына на казенномъ содержаніи, при недостаточности собственныхъ средствъ. Но въ школу не принимали дѣтей ранѣе тринадцатилѣтняго возраста, и потому Лессингъ былъ показанъ годомъ старше, нежели сколько было ему на самомъ дѣлѣ.

Интересно познакомиться съ устройствомъ этой школы, считавшейся образцовою, чтобы видъть, въ какомъ состояни находилось школьное образование въ Германии лътъ сто-двадцать тому назадъ. Это описание какъ бы переносить насъ изъ XVIII столътия въ XVI. Братъ Лессинга съ обычнымъ своимъ добродушиемъ смотритъ на школу съ наивыгоднъйшей точки зръния и старается убъдить насъ, что дъло образования велось въ ней очень недурно.

«Княжеская школа (говорить онъ) не была свободна отъ недостатковъ, общихъ училищамъ того времени. Но гдѣ вы найдете училище, въ которомъ не было бы замѣтно недостатковъ? Важнѣе и лучше всего было въ ней то, что воспитанники не развлекались заботами о своемъ содержаніи; дѣти знатныхъ и простолюдиновъ, богатыхъ и бѣдныхъ пользовались въ Мейссенской школѣ одинаково пищею, одинаковыми удобствами помѣщенія, уроками однихъ и тѣхъ же воспитателей; сто двадцать юношей беззаботно жили вмѣстѣ, и скоро между учениками водворялась короткость. Въ школѣ

ни слуху, ни помину не было о техъ разселніяхъ, которыя такъ много вреда наносять пылкой и неопытной молодежи въ большихъ городахъ; въ нее не проникали мелочныя дрязги высшаго или низшаго общества. Въ школъ занимались Элладою и Лаціумомъ болье, нежели Саксонією; по латыни говорили лучше, нежели по французски; молились очень много, но ханжили очень мало. Прилежный, даровитый, добрый ученикъ быль почти всегда цёнимъ своими товарищами, — не всегда учителями, которыхъ, впрочемъ, никто не обвиняль за то въ пристрастіи. Воспитанники только гордились про себя, что превзошли учителей проницательностью. На первый взглядъ казалось, что въ Мейссенской школе нельзя было выучиться ничему, кромъ латинскаго и греческаго языковъ; но кто ближе знакомъ съ устройствомъ ся, найдеть упрекъ этотъ несправедливымъ. Если латинскимъ и греческимъ языками занимались слишкомъ много и при объясненіи греческихъ и римскихъ писателей обращали болѣе вниманія на слова, чемъ на мысли, то это была случайность зависвышая не отъ правиль школы, но отъ незнанія или предубъжденія того или другаго учителя, который не хотыль соединять съ словами смысла. Даже философскими и математическими науками занимались въ школъ серьезно; учили французскому и итальянскому язывамъ, рисованью, музыкъ и танцованью. Если и было закономъ, или, скорве, обычаемъ, уроки изъ последнихъ предметовъ давать только въ рекреаціонные часы, то развѣ только очень немногіе изъ учителей считали эти предметы пустыми; другіе хотели только, чтобы древніе языки сохраняли, такъ сказать, преимущество надъ французскимъ и надъ изящными искусствами. Въ этой монастырской школь Лессингъ провель цылыя пять льть и, какъ часто говариваль, ей одной быль обязань темь, если пріобрель какую нибудь ученость и основательность».

Посмотримъ же ближе на эту школу, которая въ то время считалась одною изъ лучшихъ.

Ученики были подчинены другъ другу строгимъ чиноначальствомъ *). Въ каждомъ нумеръ жило четыре воспитанника: одинъ изъ старшаго класса (primanus) былъ комнатнымъ надзирателемъ за своими товарищами; помощникомъ его въ этомъ дълъ былъ другой, изъ втораго класса (secundanus); два остальные изъ младшихъ

^{*)} Данцель.

классовъ, третьяго и четвертаго, ни за чёмъ уже не надзирали, а были только предметами надзора. Когда ученики переходили изъ своихъ комнатъ въ классныя залы, они подчинялись новому чиноначалію: на каждой скамьё былъ декуріонъ, наблюдавшій за остальными товарищами, сидёвшими на этой скамьё. Двёнадцать первыхъ учениковъ старшаго класса наблюдали за товарищами во время стола и на прогулкахъ, нося титулы столовыхъ и дворовыхъ наблюдателей. Этого не довольно: каждый изъ учителей поочередно жилъ недёлю въ школе, исправляя должность гебдомадарія,—недёльнаго надзирателя за всею ученическою іерархією,—и въ свой чередъ доносиль обо всемъ конференціи преподавателей, собиравшейся разъ въ недёлю.

Строгое благочестіе блюлось порядкомъ школы. На молитву было назначено болье трехъ часовъ въ день,—всего втеченіе недвли 25 часовъ. Во время объда одинъ изъ учениковъ читалъ отрывки изъ Ветхаго Завъта.

Школа имъла два отдъленія: старшее и младшее; каждое отдъленіе ділилось на два класса, которые слушали уроки вмістів. кром'в только «эмендаціи» — классовъ посвященныхъ на исправленіе латинских и греческих сочиненій учениковь: туть у каждаго класса были свои особенныя задачи и лекціи. Въ младшемъ отдівленіи уроки распределялись такимъ образомъ: законъ Божій 5 часовъ; латинскій 15 часовъ; греческій-4; французскій языкъ, математика, исторія и географія по часу или по два, всего 7 часовъ. Въ старшемъ отделени также 5 часовъ были заняты закономъ Вожімиъ, 15 латинскимъ и 4 часа греческимъ языкомъ; съ латинскими уроками соединялись уроки (датинской) реторики и просодів. Три часа занималь еврейскій языкь, по два часа математика и исторія, одинъ часъ географія. Такимъ образомъ, большая половина времени употреблялась на латинскій языкъ; всв остальные предметы, кромъ закона Божія и греческаго языка, считались ничтожными сравнительно съ этимъ главнымъ. Въ преподаваніи же латинскаго языка важнъйшимъ дъломъ считалось не чтеніе древнихъ писателей, а упражнение въ сочиненияхъ на заданныя темы, исправлению которыхъ учитель и посвящалъ большую часть уроковъ. Только за успъхи въ латинскихъ сочиненіяхъ ученикъ цънился школьнымъ начальствомъ, -- и оно гордилось темъ, что изъ школы выходило много людей, умъвшихъ писать латинскіе стихи. Родной языкъ

быль въ совершенномъ пренебрежені и: ему, какъ видимъ, не было дано ни одного часа ни въ одномъ классѣ школы; чтеніе нѣмецкихъ книгъ считалось предосудительнымъ для воспитанниковъ, потому что могло повредить исключительному занятію ихъ латынью.

Полный курсь школы обнималь шесть лёть, такь что въ каждомъ отдёленіи ученики обыкновенно проводили по три года, и если кто изъ нихъ успѣваль, переходя каждый семестръ изъ одной декуріи въ другую, старшую, изъ одного класса въ другой, достичь высшаго класса и прослушать весь курсъ ранѣе опредѣленныхъ шести лѣть, то все-таки оставался въ школѣ и продолжаль слушать уроки до истеченія шестилѣтняго срока. О томъ, что эта задержка нимало не нужна ему, никто не заботился: пусть утвердится въ хорошемъ латинскомъ слогѣ, говорили начальники школы, и родители совершенно соглашались съ такимъ полезнымъ правиломъ.

Словомъ сказать, Мейссенская княжеская школа, подобно всёмъ другимъ нёмецкимъ школамъ того времени, была исключительно школою средневековаго латинскаго педантства. Образъ жизни, порядокъ и духъ преподаванія, распредёленіе классныхъ занятій,—все въ ней сохранилось по образу и подобію среднихъ вёковъ.

Не въ натуръ Лессинга было удовлетвориться и проникнуться этимъ направленіемъ: двінадцатильтній мальчикъ сначала поддался было ему и пріобръль любовь учителей, быстро переходиль изъ класса въ классъ, считался превосходнейшимъ ученикомъ, -- но светлый умъ рано развился въ немъ, онъ увидёлъ пустоту латинской стилистики, тъмъ болъе, что скоро постигъ всъ ея мудрости, сталъ заниматься самостоятельно, пренебрегая латинскими темами, писать которыя было ему уже легко, — и тогда начальство стало жальть о томъ, что юноща съ такими быстрыми способностями тубить свое время и погубить себя. «Этому коню нужно задавать двойную порцію корма», говорили начальники: «онъ ужь научился у насъ всему, чему можетъ научить наша школа», прибавляли они-и все-таки жалбли о томъ, что онъ занимается другими предметами, кромъ латинскаго языка, и все-таки настанвали на томъ, чтобъ онъ досидълъ на школьной скамъв опредвленный шестилетній терминь, хотя всв курсы были уже давно пройдены имъ.

Лессингъ поступилъ въ Мейссенскую школу 21 іюня 1741 года, и черезъ сто лѣтъ, въ 1841 году, школа торжествовала юбилей дня, когда вступилъ въ нее ученикъ, прославившій мѣсто своего воспитанія, но не успъвщій, по мивнію тогдашнихъ своихъ наставниковъ кончить курсь какъ следуеть хорошему ученику.

Сначала, однако же, какъ мы говорили, дъло шло хорошо. Во второмъ классъ Лессингъ былъ первымъ ученикомъ и черезъ полгода, на семнадцатомъ году, переведенъ былъ въ слъдующій, послъдній классъ; но тутъ—увы! онъ ръшительно началъ губить себя во мнѣніи мудрыхъ преподавателей. «Пока Лессингъ все свободное время употреблялъ исключительно на чтеніе классиковъ и на сочиненіе латинскихъ разсужденій и стиховъ (говорить его братъ), онъ оставался любимцемъ конректора Гёре, который уважалъ только филологію и теологію. Но какъ скоро этотъ ученый мужъ узналъ, что Лессингъ началъ заниматься также новыми языками и математикою, онъ сталъ считать его разсъяннымъ юношей, изъ котораго не выйдетъ проку».

Ученикъ, переросшій головою своихъ учителей, чувствовалъ, что ему нечего дѣлать въ школѣ, и настоятельно упрашивалъ отца позволить ему выйти изъ школы, говоря, что давно уже онъ достаточно приготовленъ къ слушанію университетскихъ лекцій; но, по правилу шестигодичнаго термина, ему оставалось пробыть въ школѣ еще года полтора, и отецъ медлилъ согласіемъ. Но тутъ произошло столкновеніе, въ сущности вздорное, однако же, помогшее Лессингу побѣдить нерѣшительность отца, хотя и вовсе непріятнымъ для родительскаго сердца образомъ.

Въ школъ, какъ мы уже знаемъ, было правиломъ, чтобы каждый изъ наставниковъ поочередно дежурилъ недълю въ комнатахъ воспитанниковъ, или, какъ тогда называли это, былъ hebdomadarius'омъ. По воскресеньямъ *) всъ наставники собирались для совъщанія объ училищныхъ дълахъ. Въ эту конференцію призывались лучшіе двънадцать учениковъ, надзиравшіе за товарищами, inspectores; они отдавали отчетъ за прошедшую недълю и выслушивали распоряженія на будущую недълю,—это называлось сепѕига. Въ числъ іпѕрестогез былъ и Лессингъ. Въ одну изъ такихъ ценсуръ, ректоръ спросилъ, почему ученики на прошедшей недълъ, когда hebdomadarius былъ конректоръ Гере, поздно приходили на молитву. Всъ іпѕрестогез молчали, а Лессингъ шепнулъ на ухо стоявшему подлъ него товарищу: «Я знаю, почему». Ректоръ разслы-

^{*)} Біографія, написанная братомъ Лессинга.

только не умничай, какъ братъ».

Послѣ неожиданной ссоры съ начальникомъ, Лессингъ сталъ еще настоятельнѣе просить отца о томъ, чтобы перейти изъ школы въ университетъ. Отецъ, вѣроятно, видѣлъ, что сыну, въ самомъ дѣлѣ, тяжело оставаться въ Мейссенѣ; какъ бы то ни было, ноъ вскорѣ, 8 іюня 1746 года Лессингу было, по просъбѣ отца, разрѣшено высшимъ училищнымъ начальствомъ курфиршества выйти цзъ школы слишкомъ годомъ ранѣе обыкновеннаго срока, но съ аттестатомъ объ окончаніи курса.

Какъ любопытный примъръ того, до какой нельпой крайности доходилъ тогда въ Германіи бюрократическій порядокъ, по которому всь дъла, даже самыя пустьйшія и ничтожньйшія, производились не иначе, какъ съ разрышенія и усмотрынія высшей власти, замытимъ, что дыло объ увольненіи гимназиста изъ гимназіи требовало курфишескаго рескрипта.

«Мы, Фридрихъ Августъ, курфирстъ и проч.

«Разсмотръвъ просьбу Pastoris primarii въ Каменцъ, Іог.-Готтфр. Лессинга (и т. д.), повелъваемъ (и. т. д.), почему и выдать ему (и т. д.)...

«Быть по сему.

«Дано въ Дрезденъ, 8 іюня 1746 года».

Наивный Гёре быль недоволень пренебреженіемь Лессинга къ латинскому языку; а, между тыть, Лессингь, который впослыдствій, конечно, вовсе не занимался упражненіями въ латинскомъ слогь, всегда писаль по латыни съ чрезвычайною легкостью и изяществомъ, рыдкимъ даже въ ты времена великихъ мужей латинской схоластики. Не говоримъ уже о томъ, что темныя мыста латинскихъ классиковъ, до него необъясненныя еще никымъ, разъясняль онъ съ проницательностью знатока, котораго мнвнія были авторитетомъ для самого Гейне, величайшаго изъ латинистовъ XVIII ввама. Но въ последнее время своей мейссенской жизни Лессингъ, какъ мы говорили, занимался не столько латинскимъ языкомъ, сколько другими предметами, и, какъ по всему заметно, уже въ то время пріобрелъ страшную начитанность. О времени, проведенномъ въ школе, онъ вспоминалъ всегда съ удовольствіемъ, какъ о счастливейшемъ времени своей жизни. Въ самомъ деле, съ выходомъ изъ школы начались уже для него суровыя испытанія нужды и непріятностей всякаго рода, —испытанія, не покидавшія его до самой смерти.

Но онъ вспоминаль съ удовольствиемъ объ этомъ времени только потому, что оно прошло тихо и беззаботно, а не потому, чтобы, въ самомъ деле, обязанъ былъ какою нибудь пользою собственно школьному преподаванію. Онъ чувствоваль, какъ почти всё слишкомъ даровитые люди, что въ школф учили его пустякамъ и понапрасну губили его время; какъ у многихъ проницательныхъ людей, у него даже осталось навсегда недоверіе къ темъ людямъ, успъхами и прилежаніемъ которыхъ гордятся учители: ему казалось, что эти юноши обыкновенно идуть по прямому пути къ тому, чтобы сделаться тупыми педантами или надутыми верхоглядами. И когда, черезъ нъсколько лътъ, отецъ съ восторгомъ писаль ему о томъ, какъ хорошо отзывается начальство Мейссенской школы объ успѣхахъ его младшаго брата, Теофила (того самого, которому Гёре давалъ наставленіе не умничать, какъ умничаль старшій братъ), Лессингъ почувствовалъ опасеніе за дёльность головы превозносимаго ученика-предчувствіе, которое оправдалось впоследствіи: прославляемый ученикъ на всю жизнь остался способенъ только перелагать клопштокову «Мессіаду» въ латинскіе гекзаметры.

«Мит очень пріятно, что вы такъ довольны усптавами Теофила (отвічаль Лессингь отцу на радостное извіщеніе). Если бы у меня была такая натура, какъ у него, вы были бы довольны и мною. Онъ учится прилежно, говорите вы: интересно было бы знать, чему и какъ онъ учится. Я, когда еще быль въ этой школі, уже полагаль, что тамъ учать многому такому, что ровно никуда не годится, а теперь вижу это еще ясніе прежняго».

Два или три раза возвращается онъ къ этому предмету, намекая отцу, чтобы онъ совътовалъ Теофилу не такъ неразборчиво увлекаться всымь, что выдается за глубокую мудрость педантами Мейссенской школы.

Самостоятельность сужденій очень быстро развилась въ Лессингъ, какъ видно по единственному сочиненію, которое сохранилось изъ его школьныхъ упражненій. Это «Річь», посланная имъ «на новый 1743 годъ» въ поздравление отпу. Она замъчательна, какъ раннее свидътельство силы ума и стремленія говорить именно о тъхъ вопросахъ, которыми живо заинтересованы люди, для которыхъ онъ пишеть. Отецъ съ матерью безпрестанно толковали, что нын'в худыя времена, что чёмъ дальше, тёмъ хуже становится жить на свътъ, -- мысли, очень натуральныя у пожилыхъ людей, находящихся въ стесненныхъ обстоятельствахъ. Несправедливы эти мысли, говорить Лессингь въ своей різчи: на світі не становится хуже, чъмъ было прежде, и доказываеть эту мысль учеными и житейскими соображеніями. Видно, что целью автора было разсёять предразсудокъ, наводившій уныніе на его родныхъ. Такимъ образомъ. четырнадцатильтній мальчикь уже обнаруживаеть въ себв направленіе, которое дало потомъ такую великую цвну его двятельности: его мысль имъетъ самую близкую связь съ интересами людей, для которыхъ онъ пишетъ. Онъ хочетъ благотворно действовать на ихъ жизнь; онъ возмущается предразсудками, которые мъщаютъ ихъ счастію. Логика и сила выраженія въ его ученическомъ сочиніи уже такова, что и изъ зрізлыхъ людей многіе могли бы поза. видовать ей, а сжатость слога уже предсказываеть въ мальчикъ будущаго мастера *).

По окончаніи курса, Лессингь возвратился місяца на два въ

^{*)} Воть, для примъра, начало этой ръчи: «Почти всё древніе поэты и философы, высокопочитаемый багюшка, думали, что міръ съ году на годъ становится хуже и ниспадаеть въ состояніе, все болье и болье далекое отъ совершенства. Вспомнимъ только, какъ Гевіодъ, Платонъ, Вергилій, Овидій, Сенека, Сальюстій и Страбонъ писали о четырехъ въкахъ вселенной, какъ они самыми живыми красками изображали золотое время Сатурна, серебряное время Юпитера, мъдный въкъ полубоговъ и жельзный въкъ нынъшняго человъческаго покольнія. Трудно указать настоящій источникъ этого поэтическаго вымысла; но върно то, что весь этотъ разсказъ, при всей своей благовидности, неоснователенъ, почти нельпъ,—мало сказать: совершенно неправдоподобенъ», и т. д. Лессингъ отвергаетъ его доводами, заимствованными изъ богословія, философіи, естественныхъ наукъ и т. д., и очень остроумно доказываетъ противную мысль столь же учеными соображеніями.

отцовскій домъ. Теперь надобно было рішить, къ какому званію долженъ предназначить себя молодой человікь, какой факультеть ему выбрать, сообразно этому, и въ какой университеть іхать.

Отепъ, а особенно мать желали сначала, чтобы сынъ шелъ по богословскому факультету и готовился быть пасторомъ. Но онъ самъ никакъ не соглашался на то и говорилъ, что у него и голосъ вовсе не такой, какой нуженъ пастору, да и мысли совсёмъ не расположены въ этому званію. Отець утішился, разсчитывая, что сынъ можеть занять м'ясто получше пасторскаго, если будеть въ Лейпцигь: именю отецъ надъялся, что ему удастся быть профессоромъ въ Гёттингенскомъ Университетв, который только что устроивался и, по предположенію старика, могь и черезъ нёсколько лътъ еще нуждаться въ профессорахъ. Сыну этотъ планъ, повидимому, нравился. Изъ двухъ саксонскихъ университетовъ, Виттенбергскаго и Лейпцигскаго, последній представляль ту выгоду, что имълъ много стипендій для студентовъ, съ успъхомъ кончившихъ курсъ въ княжескихъ школахъ. Решено было, что Лессингь поъдетъ въ Лейпцигъ и будетъ слушать тамъ лекціи по богословскому факультету. 20 сентября 1746 года Лессингъ вступилъ въ число студентовъ Лейпцигскаго Университета и получилъ стипендію; но твиъ и кончились, по мнвнію родныхъ Лессинга, успвхи его въ университетв. Скоро начали доходить до нихъ недобрыя извъстія о сынв. Родительское сердце встревожилось, и втеченіе несколькихъ лътъ всъ письма Лессинга къ роднымъ состоятъ единственно въ томъ, что онъ оправдывается, старается доказать, что опасенія родителей неосновательны, что онъ еще не погибшій человікь, что ему не въ чемъ раскаяваться, -- словомъ, что родители его должны успокоиться за его нравственность и судьбу и не должны осыпать его несправедливыми укоризнами. А, между темъ, надобно по правдъ сказать, слухи, доходившіе до родителей, были такого рода, что могли внушать имъ серьезныя опасенія: сынъ ихъ вовсе не хотыль быть тёмъ, что называется «хорошій студенть». Лейпцигскій Университеть считался въ то время однимъ изълучшихъ въ Германіи; онъ имълъ множество знаменитыхъ профессоровъ: напримъръ, филосовскій факультеть блисталь именами Готтшеда, Криста, Иохера, Винклера, Эрнести. Не менве блистательны были; по тогдашнимъ понятіямъ, и другіе факультеты. Но Лессингь быль не такой человъкъ, чтобы ему могъ понравиться какой нибудь нъмецкій университеть того времени. Взглянемъ поближе на состояніе Лейпцигскаго Университета, и мы оправдаемъ Лессинга за то, что онъ не быль прилежнымъ студентомъ.

Университеть быль устроень наподобіе какого нибудь ремесленнаго цеха *). Все въ немъ дѣлалось по заказу, по разсчету, не по призванію. Довольно указать на одинъ обычай. Каседры каждаго факультета распредвлялись по известному порядку почетности. Профессоръ такого-то предмета считался старшимъ, другаго-вторымъ, третьяго — третьимъ по достоинству мъста, и т. д.; когда почетнъйшая канедра становилась вакантною, профессоры факультета переменяли каседры, подымаясь ступенью выше по јерархическому порядку, нужды нёть, хотя бы черезь это попадали на каеедру предмета, совершенно чуждаго имъ. Можно вообразить, какой ералашъ происходиль оттого въ ихъ занятіяхъ и каково были многіе знакомы съ тіми науками, лекціи о которыхъ читали. Впрочемъ, потеря для достоинства лекцій была оттого незначительна: почти всв профессоры читали по учебникамъ, только кемногіе составляли сами записки, которыхъ буквально держались. Въ духв преподаванія господствовали вообще непроходимый педантизмъ, формализмъ и страшная сухость. Словомъ, направление преподаванія было вовсе непривлекательно для юноши съ светлою головою, студенты выносили изъ аудиторій понятія, которыя могли быть хороши развѣ для XVI вѣка.

Неудивительно, что лекціи очень скоро наскучили такому даровитому юношів, какъ Лессингь, — юношів съ пылкимъ характеромъ, съ нетерийливымъ желаніемъ углубляться въ основные вопросы каждой науки, а не жить чужою головою, какъ то было принято въ тогдашнихъ німецкихъ университетахъ. Отецъ, ожидавшій, что онъ будетъ прилежнымъ слушателемъ теологическихъ курсовъ, скоро узналъ, что сынъ вовсе не сообразуется съ его желаніемъ. Съ перваго же разу Лессингъ оставилъ богословскій факультетъ и объявиль, что хочетъ посіщать курсы медицинскихъ наукъ. Дійствительно, богословіе въ Лейпцигів преподавалось въ совершенно устарівшемъ духів Лютера и Меланхтона. Эта отсталая система рішительно отталкивала живаго юношу, который уже иміть на столько начитанности, чтобы чувствовать ея несостоятельность. Но и съ

^{*)} Данцель.

медицинскими занятіями діло пошло не лучше, нежели съ богословскими: по правді говоря, Лессингъ только для формы поступиль въ медицинскій факультеть—нужно же было хотя сколько нибудь успокоить отца относительно своей карьеры и насущнаго хліба въ будущемъ. На самомъ же ділів онъ занимался всімъ что только привлекало его вниманіе, между прочимъ, занимался и медициною, и богословіемъ, но самъ по себі, какъ ему хотілось, а не оффиціальнымъ порядкомъ, и медицинскихъ курсовъ не посіндаль точно такъ же, какъ и богословскихъ. Шутя, онъ говориль послів, что во всю свою жизнь быль только на одной медицинской лекціи, именно на лекціи акушерства, которое почель было интереснійшею отраслью медицинскихъ наукъ».

Очень мало посъщаль онъ и лекціи другихь факультетовь, хотя у очень многихъ профессоровь побываль на лекціяхъ, для пробы, по два, по три раза. Почти ни одинь изъ профессоровь не удовлетворяль его. Чаще другихъ посъщаль онъ въ одно полугодіе знаменитаго филолога Эрнести, но и у того не выслушаль полугодичнаго курса.

Что жь онъ думаетъ дёлать съ собою, до такой степени неглижируя университетскими занятіями? Было надъ чёмъ призадуматься отцу, погоревать матери. Правда, не посёщая лекцій, сынъ ихъ самостоятельными занятіями пріобрёль во сто разъ больше знаній, нежели имёли ихъ аккуратнёйшіе студенты и, быть можетъ, знаменитёйшіе лейпцигскіе ученые; но кто же повёриль бы, что молодой человёкъ, не посёщая лекцій, не теряетъ, а выигрываетъ время для пріобрётенія глубокихъ и обширныхъ знаній? Отецъ и мать не могли быть увёрены въ его домашнихъ занятіяхъ; они знали навёрное только то, что онъ не посёщаеть лекцій.

Мало того, что сынъ не посёщаеть лекцій: до родителей доходили слухи, еще более огорчительные: съ какими людьми онъ знается!—не съ профессорами, не съ прилежными и добропорядочными юношами, а съ бездомными гуляками; задушевнейшій пріятель и руководитель его — неумытый, небритый Миліусь, который ходить въ сапогахъ безъ подошвъ, въ дырявомъ платье съ голыми локтями—тотъ самый Миліусь, котораго прозвали «вольнодумцемъ», о которомъ съ негодованіемъ говорить весь Каменецъ, осменный имъ въ наглой сатире, который лично оскорбиль въ этой сатире двумя едкими стихами самого первенствующаго настора! — и съ этимъ побродягою-пасквилянтомъ сдружился теперь погибающій юноша, слушается его во всемъ, въроятно, уже выучился у него и смъяться надъ лютеромъ — это ужасно!

Миліусъ, вся жизнь котораго прошла въ борьбѣ съ нищетою и въ увлеченіи излишествами, и который умеръ слишкомъ рано для того, чтобы упрочить себѣ въ наукѣ славу, на которую имѣлъ право по своимъ дарованіямъ и учености,—этотъ Миліусъ былъ, дѣйствительно, ближайшимъ изъ друзей Лессинга въ первой порѣ его дѣятельности и, какъ человѣкъ, нѣкоторое время имѣвшій на него вліяніе, заслуживаетъ того, чтобы сказать о немъ нѣсколько словъ.

Сынъ бъднаго пастора изъ деревни, сосъдней съ Каменцомъ, въ малолетстве оставшійся сиротой, Миліусь быль дальній родственникъ семейству Лессинговъ. Въроятно, знакомство его съ Эфраимомъ началось еще съ дътства: братъ Миліуса былъ нъсколько времени учителемъ Лессинга до поступленія его въ Мейссенскую школу. Будучи несколькими годами старше Лессинга, Миліусь увхаль въ университеть около того времени, какъ Лессингь отданъ быль въ Мейссенъ. Въ университеть они скоро сошлись. Миліусъ въ то время уже выдержаль экзамены и жиль въ страшной нуждь, занимаясь естественными науками и астрономіею и добывая скудный кусокъ хлеба переводами, рецензіями, театральными пьесами, всякаго рода литературными работами, какія заказывали ему Готтшедъ или актеры, игравшіе въ Лейццигь, или какой нибудь книгопродавецъ. Да и тв небольшія деньги, какія попадались ему въ руки, не держались у него: Миліусь любиль кутнуть, чтобы забыться отъ своихъ бъдъ. Въ Лейпцигъ, чинномъ и чопорномъ, ходила про него очень невыгодная слава. Онъ быль, въ самомъ деле, циникъ и неряха; говорятъ также, что онъ не отличался и деликатностію относительно людей, ділавшихъ ему услуги: если кто изъ студентовъ, видя его нужду, предлагалъ ему поселитьси на время въ своей комнать, Миліусь начиналь распоряжаться въ ней какъ полный хозяинъ и настоящаго хозяина третировалъ совершенно безперемонно. Неостороженъ быль онъ и на языкъ, нимало не соблюдая умфренности въ своихъ жолчныхъ выходкахъ противъ людей, ему не нравившихся. Въ Лейпцигъ почтенные люди страшились его, какъ «вольнодумца» (Freigeist), за то, что онъ издаваль журналь подъ этимъ заглавіемъ, и это прозвище, по тогдашнимъ понятіямъ позорное и страшное, преслѣдовало Миліуса во всю жизнь, хотя во всемъ его «Вольнодумцѣ» при самомъ внимательномъ разборѣ нельзя отъискать ни одной вольнодумной строки, а напротивъ о христіанствѣ говорится вездѣ съ уваженіемъ и есть даже нѣсколько назидательныхъ статей. Очевидно, заглавіе было дано журналу въ шутку, по капризу; но эта шутка болѣе повредила Миліусу, нежели повредили бы дѣйствительныя преступленія. Такова была его слава въ Лейпцигѣ, а въ Каменцѣ была еще хужетамъ уже прежде онъ былъ присужденъ къ наказанію оффиціальнымъ порядкомъ за свою сатиру. Случай этотъ, характеризующій обычаи того вѣка, стоитъ разсказать подробно.

Въ 1743 году, ректоръ городской каменецкой школы, Гейницъ, человъкъ, достойный уваженія за свой просвыщенный умъ и педагогическія дарованія, должень быль оставить свое місто и перейти ректоромъ школы въ другой городокъ, Лебау, по разнымъ непріятностямъ съ каменецкими городскими властями. Кажется, почтенные граждане были недовольны темъ, что воспитатель ихъ детей не педанть и не схоластикъ. Миліусъ, бывшій тогда студентомъ въ Лейпцигъ, напечаталъ по этому случаю стихотвореніе, въ которомъ говорилъ Гейницу: «Нечего и жальть тебя, что ты разстаешься съ городомъ, котораго жители невежды и не взлюбили тебя за твое просвъщение. Кромъ упрека вообще горожанамъ Каменца. ва ихъ невъжество, въ стихотворени были очерчены два лица, въ которыхъ узнали себя бургомистръ и первенствующій пасторъ. Къ отцу Лессинга относились стихи, смыслъ которыхъ таковъ: «Въ. собраніи, гдв на лицв каждаго написано фарисейство, стоить на возвышенномъ мъсть человъкъ и громко, съ напряжениемъ кричить: «гръховно сердце нашей молодежи! не внимаеть она слову Божію! «Да и можно ли ожидать чего инаго, когда тотъ, кто долженъ быль бы научать ее, подаеть ей дурной примъръ»! Никтоне быль названь по имени въ этой сатиръ, не упоминалось дажеимя города, разсказу была придана форма сновидения. Но всё тотчасъ догадались, что дело идеть о Гейнице и его каменецкихъ недоброжелателяхъ; лица, на которыя намекала сатира, были узнаны. и весь уёздный муравейникъ взволновался. Миліусъ быль арестованъ, подвергнутъ суду и приговоренъ публично просить извиненія у оскорбленныхъ имъ людей, уплатить судебныя издержки и кромъ того, просидьть недылю въ тюрьме или заплатить двадцать талеровъ штрафа. Тупоумное жеманство дикихъ невеждъ выказалось въ этомъ деле; но съ темъ вместе выказалась и черта добродушія, свойственнаго немецкому характеру, въ благородномъ поступке бургомистра, который принялъ на себя уплату штрафа, хотя самъ былъ однимъ изъ двухъ лицъ, наиболее оскорбленныхъ сатирою.

Но этотъ нищій циникъ, Миліусъ, быль назначенъ природою сдвлаться замвчательнымь естествоиспытателемь: еще ребенкомь онъ находиль свое удовольствіе въ томъ, чтобы наблюдать звёзды. и однажды целый годъ вель метеорологическія наблюденія, записывая состояніе термометра черезъ каждые три часа. Въ Лейпцигъ, при всей своей нишеть, онъ составиль себь минералогическій, ботаническій и воологическій кабинеты; статьи по естественнымь наукамъ пріобрели уже ему некоторую известность; его сочиненіе на тему, предложенную Берлинской Академіей, «объяснить, какова была бы система вётровъ, если бы вся поверхность земли была покрыта глубокимъ моремъ», удостоилось чести быть напечатано рядомъ съ сочиненіями Даламбера и Барнульи на туже тему. Послв того Миліуса начали уважать некоторые люди, пользовавшіеся почетнымъ положеніемъ въ нізмецкомъ обществів, и натуралисты обратили на него вниманіе. Наконецъ, Галлеръ и Зульцеръ, составивъ проэктъ ученой экспедиціи въ Америку, выбрали Миліуса для этого путешествія. Деньги, нужныя для снаряженія экспедиціи, собирались общественною подпискою. Капиталъ составился довольно значительный, и Миліусь отправился въ путь; но въ Англіи онъ занемогъ и умеръ. Умершій въ очень молодыхъ летахъ, Миліусъ не успъль почти ничего сдълать для своей спеціальной науки, будучи принужденъ тратить свое время на стихи и беллетристику для куска хавба; но можно ли обвинять его за эту прискорбную растрату силь, въ которой виновата была его несчастная судьба? «Не надобно дивиться тому, что въ Германіи очень многіе геніальные люди умирають преждевременно», говорить Лессингь въ письмахъ, служащихъ предисловіемъ къ собранію сочиненій Миліуса, изданному имъ послъ смерти автора: «легко найти причину этому; она такъ ясна, что развъ не желающій видьть не видить ся. Предположите, милостивый государь, что геніальный человікь родится въ сословіи, если не самомъ нищемъ, то слишкомъ скудномъ житейскими средствами: вы знаете, что природа находить, кажется, какое-то удовольствіе выводить геніевь изь этого сословія чаще. нежели изъ какого нибудь другаго. Подумайте же, какія препятствія должень поб'єдить этоть геній въ страні, подобной Германіи, гдв почти неизвестно, что такое называется ободреніемъ таланту. Онъ то задерживается недостаткомъ необходимъйшихъ средствъ и пособій, то преследуется завистью, которая хочеть въ самой колыбели подавить дарованіе, то утрачиваеть силы въ тяжелыхъ и недостойныхъ его занятіяхъ. Удивительно ли, что онъ, истощивъ запасъ молодато здоровья, сокрушается порывомъ бури? Удивительно ли, что бъдность, непріятности, оскорбленія, презръніе наконець побъждають его тело, и безь того уже не слишкомъ крепкое, потому что ведь не такіе же у него нервы, какъ у дровосека. Повърьте же, милостивый государь, такова была судьба нашего Миліуса. Онъ родился въ деревнъ, гдъ скоро захотълъ учиться тому, чему не могли тамъ научить его. Онъ родился въ семействъ, состояніе котораго не позволяло допускать его учиться съ какою нибудь другою цёлью, кром'в той, чтобъ онъ, наскоро познакомясь съ какою нибудь кормовою наукою (такъ мы решаемся перевесть извъстное итмецкое выражение Brodwissenschaft), могъ добывать себъ хатот, по примъру своихъ отцовъ. А потомъ онъ долженъ быль безь отдыху писать для куска хлеба. Такова, милостивый государь, была его жизнь, и, повърьте, при такой жизни, смерть не есть особенное бъдствіе».

Мы привели это описаніе потому, что оно хорошо обрисовываеть положеніе всей молодежи, занимавшейся тогда въ Германіи литературою, и очень близко подходить къ судьбъ самого Лессинга.

Нельзя осуждать Миліуса за то, что онъ не успѣль ничего сдѣлать для науки, какъ нельзя строго винить его и за то, что многими поступками и всѣмъ образомъ своей жизни подавалъ поводъ къ упрекамъ, со стороны такъ называемыхъ добропорядочныхъ людей: въ томъ и другомъ одинаково были виноваты обстоятельства; и изъ упрековъ, которымъ подвергался онъ, нельзя еще заключать, что онъ былъ дурной человѣкъ—тотъ случай, который особенно чернилъ его въ глазахъ каменецкихъ горожанъ, даже свидѣтельствуетъ въ его пользу: своею сатирою онъ мстилъ узкимъ предразсудкамъ за непріятности, которыя терпѣлъ отъ нихъ человѣкъ просвѣщенный и достойный уваженія.

По всей въроятности, Миліусъ нравился Лессингу, какъ человъкъ обширнаго и оригинальнаго ума. Скоро этотъ чудакъ сталъ оказывать своему молодому пріятелю услуги по сближеню съ книгопродавцами и доставляль стипендіату литературную работу. Такимъ образомъ, и удовольствіе, приносимое его живымъ разговоромъ, и денежныя дѣла тѣсно связывали съ нимъ Лессинга, который иногда выбивался изъ затруднительныхъ обстоятельствъ только при помощи переводовъ и т. п., случай къ которымъ доставлялъ Миліусъ. Но родные Лессинга, рѣшительно не понимая этого, смотрѣли на ихъ знакомство чрезвычайно подозрительно и опасались отъ него совершенной погибели сына и въ нравственномъ и въ матеріальномъ отношеніяхъ.

Доходили до нихъ слухи еще о другомъ вредномъ и отвратительномъ знакомствъ сына-о дружбъ его съ актерами. Въ самомъ дълъ, юноща вскоръ по прівздв въ Лейпцигъ пристрастился къ театру. Въ Лейпцигв играла тогда труппа г-жи Нейбергъ, геніальной актрисы, какой долго после того не бывало на немецкой сценъ, женщины замъчательнаго ума и тонкаго вкуса. Кромъ самой директрисы, въ труппъ было много прекрасныхъ актеровъ. Лессингъ скоро познакомился съ артистами: веселое общество ихъ понравилось пылкому юношь, онъ получиль доступь за кулисы, подружился съ самою г-жею Нейбергъ. Носились слухи, что онъ даже влюбленъ въ нее, и любовь его не остается безъ отвъта. Братъ считаеть нужнымъ защитить перваго изъ нъмецкихъ драматурговъ отъ этого подозрвнія темъ, что Лессингъ съ одинаковою приветливостью быль встречаемь въ домахъ всехъ актрисъ, которымъ. думаеть онь, не было бы удовольствія видеть у себя человека. влюбленнаго въ другую женщину. Не совсемъ убеждаемся мы этимъ доводомъ; но какъ бы то ни было, хотя бы Лессингъ ухаживалъ не за одною г-жею Нейбергъ, а равно за всеми хорошенькими актрисами, что и действительно вероятнее, въ томъ и другомъ случав мало было утвшенія его роднымъ. Потомъ дошли до родныхъ извёстія, что Лессингь самъ принялся писать пьесы для театра. что онъ даже хочеть сделаться актеромъ. Последняго намеренія онъ, въроятно, не имълъ: но всъ другія огорчительныя извъстія не были выдумкою.

Можно вообразить себѣ огорченіе почтеннаго первенствующаго пастора и набожной пасторши отъ такихъ вѣстей! Какъ, ихъ сынъ,

котораго надвались они видвть благочестивымъ пасторомъ или ученымъ профессоромъ, не занимается своимъ двломъ, кутитъ съ тавими людьми, какъ Миліусъ, дружится съ актрисами, пишетъ для театра! Упреки градомъ сыпались на заблудшаго сына отъ отца, матъ плакала о немъ. Сыну казалось все это совершенно неумъстнымъ и напраснымъ. Онъ въ отвътахъ своихъ жаловался на несправедливость обвиненій, доказывалъ неосновательность опасеній, защищая свое поведеніе. Письма его изъ Лейпцига къ роднымъ не сохранились; но по всему разсказу брата его видно, что они были таковы же, какія потомъ писались имъ изъ Берлина: упреки и оправданія оставались тѣ же, да и относились на половину къ его прежней, лейпцигской жизни. Говоря о берлинской жизни Лессинга, намъ прійдется разсказывать многое другое, потому приведемъ отрывки изъ этихъ писемъ здѣсь.

«Я не сталь бы такъ долго медлить письмомъ къ вамъпишеть Лессингь матери, вскорт по перетадт въ Берлинъеслибь имълъ сообщить что нибудь пріятное. А читать просъбы и жалобы, вёроятно, и вамъ такъ же наскучило, какъ меё писать въ этомъ духв. Но въ этихъ строкахъ не найдете вы ничего подобнаго (т. е. ни жалобъ на недостатокъ денегъ, ни просьбъ о присылкъ ихъ). Я страшусь только того, чтобы вы не заподозрили меня въ недостаткъ любви и уважении къ вамъ; я страшусь только того, чтобы вы не подумали, будто я веду свой нынъшній образъ жизни по непослушанію и испорченности сердца. Это опасеніе безпоконть меня. Если оно не напрасно, то я чувствую огорченіе тімъ живье, чімъ менье вины знаю за собою. Позвольте же мив поэтому, въ немногихъ чертахъ, описать вамъ всю мою университетскую жизнь, и я увъренъ, что вы снисходительнъе будете судить обо мев. Я пріважаю въ университеть мальчикомъ съ школьной скамым, твердо увёренный въ томъ, что все счастіе въ книгахъ. Я пріважаю въ Лейппигъ, въ такой городъ, въ которомъ совивщается въ миньятюръ цълый міръ. Первые мъсяцы я прожиль такъ уединенно, какъ не жиль и въ Мейссенъ. Въчно за книгами, я ръдко даже и думаль о людяхъ. Но это продолжалось немного времени: скоро открылись мои глаза — надобно ли сказать, «въ счастію» или «въ несчастію»?--это рішить будущность. Я поняль, что книги сделають меня ученымь, но никакь не сделають меня человъсомъ. И я ръшился выйти изъ комнаты, показаться въ

общество подобныхъ мив. Но-Боже мой!--ни малвишаго подобія не было во мив съ другими людьми. Мужицкая заствичивость, неряшество и неуклюжесть, совершенное невежество въ томъ, какъ держать себя между людьми, нелёпыя замашки и взгляды, которыми оскорблялся всякій, какъ выражающими презрівне къ нему-таковы-то были достоинства, замеченныя мною въ себе. Следствіемъ этого была твердая ръшимость, во что бы то ни стало, исправиться отъ своихъ недостатковъ. Вы знаете, какъ я принялся за это дъло. Я сталь учиться танцамь, фектованію, верховой вздв. Я отпро венно сознаю въ этомъ письме свои ошибки, стало быть могу говорить и о томъ, что хорошо во мив. Танцовать, фехтовать, вздить верхомъ я выучился такъ, что даже люди, напередъ решавшіе, что я неспособень ни къчему такому, можно сказать, удивлялись мив. Успъхъ этотъ сильно ободрилъ меня. Я сталъ развязенъ, ловокъ и вошель въ общество, чтобы научиться жизни. Навремя отложиль я въ сторону серьезныя книги, чтобы познакомиться съ другими книгами, болъе заманчивыми, но не менъе полезными. Прежде всего попались мит подъ руку комедіи. Пусть не втрить, кто не хочеть, но мив оказали онв очень важныя услуги. Я поняль изъ нихъ разницу между пріятностью и принужденностью манеръ, между грубостью и естественностью. Онъ показали мнъ, что такое лживая и что такое истинная добродетель, научили меня избегать порока столько же потому, что онъ смешонъ, сколько и потому, что онъ гнусовъ. Но я чуть не забыль главивищей пользы, какую принесли мнъ комедіи. Онъ научили меня знать самого себя, и съ той поры, върно, ни надъ къмъ не смъялся и не издъвался я столько, какъ надъ самимъ собою. Вдругъ, какой-то пустой случай навелъ меня на мысль самому приняться за сочинение комедій. Я попытался, и когда мои комедіи были даны на сцень, меня стали увърять, что комедін эти недурны. Надобно только похвалить меня въ чемъ нибудь, и ужь я такъ созданъ, что пріймусь за дело еще горяче. И вотъ я сталъ день и ночь думать, какъ бы выказать свой таланть въ деле, въ которомъ ни одинъ немецъ не могъ похвалиться особеннымъ успъхомъ. Вслъдствіе бользии и другихъ обстоятельствъ, о которыхъ пока умолчу, я задолжалъ болье, нежели на три мъсяца моихъ стипендій, —и я долженъ быль перевхать въ Берлинъ. гдъ и живу теперь, —въ какомъ положении, знаете вы сами. Я давно сталь бы на ноги если бы могь имъть приличное платье (эти слова

подчервнуты Лессингомъ); оно необходимо въ городъ, гдъ о людяхъ больше всего судять по наружности. Вы были такъ добры, что еще въ прошломъ году объщали сдълать мив новую пару платья. Изъ этого вы можете заключить, безразсудна им была моя просьба въ предъидущемъ письмъ (видно также, прибавимъ мы, что и годъ тому назадъ платье было уже порядкомъ поношено; видно также, что въ прошломъ письмъ Лессингь просилъ выслать ему денегь на платье). Вы отказываете мев, между прочимь, подъ твмъ предлогомъ, что не знаете, ради кого или чего живу я въ Бердинъ. (Видно, что мать намекала на Миліуса). Я угадываю, что ваше предубъждение противъ человъка, который оказываетъ мив услуги теперь, когда я чрезвычайно нуждаюсь въ нихь, -- угадываю, что это предубъждение-главная причина вашего несогласія съ моими поступками. Кажется, вы считаете его (т. е. Миліуса) извергомъ рода человъческаго. Не слишкомъ ли увлекаетесь вы враждою? Я утьшаюсь тымь, что вижу въ Берлины очень многихъ прекрасныхъ и знатныхъ людей («знатные» очевидно явились туть затымъ, чтобы произвести эффектъ на провинціялку), которые уважають его столько же, сколько и я».

Вотъ другое письмо, посланное Лессингомъ мѣсяца черезъ три, къ отцу:

«Вы требуете, чтобы я возвратился домой. Вы опасаетесь, что я уёду въ Вёну, чтобы тамъ сдёлаться писателемъ комедій. Вы увърены, что здъсь я работаю, какъ негръ, для г. Рюдигера (берлинскаго книгопродавца) и терплю голодъ и непріятности (видно. что отецъ писалъ ему: ты пошелъ по дорогъ, которая приведеть къ голодной смерти). Вы прямо говорите мев, что все написанное мною вамъ о видахъ моихъ на улучшение моихъ обстоятельствъ чистая ложь. (Видно, что онъ успокоиваль отца разными надеждами на то, что скоро будеть пріобрітать литературою больнія деньги). Умодяю васъ: поставьте себя на мое мъсто и подумайте, какъ огорчительны должны быть такія несправедливыя укоризны, неосновательность которыхъ очевидна для васъ, если вы хотя сколько-нибудь знаете меня. Но удивительне всего для меня то, что вы возобновляете прежнія укоризны по поводу комедій. Переписка моя съ комедіянтами вовсе не такова, какъ вы думаете. Въ Въну писалъ я къ барону Зейлеру, директору всъхъ австрійскихъ театровъ, человъку, знакомство котораго никакъ не можетъ мет

быть стыдомъ, а, напротивъ, можетъ принести большую пользу. Съ подобными людьми велась у меня переписка и въ Данцигъ и въ Ганноверъ; и не можетъ мит быть упрекомъ то, что меня знаютъ не въ одномъ Каменцъ... Подождите и въсколько мъсяцевъ, и вы убъдитесь, что я въ Берлинъ живу не безъ дъла и работаю не для другихъ. Я знаю, отъ кого доходятъ до васъ обо мит такіе слухи. Я знаю, кому и сколько разъ вы писали обо мит въ Берлинъ. Эти распросы, конечно, подали дурное понятіе обо мит людямъ, къ которымъ вы обращались съ ними. Но я върю, что вы хотъли мит пользы, а не вреда и непріятностей, которые были для меня слъдствіемъ этихъ развъдываній... Позвольте мит напомнить вамъ стихи Плавта:

Qui nihil aliud, nisi quod sibi soli placet Consulit adversum filium, nugas agit

(неблагоразумно поступаетъ отецъ, который хочетъ распоряжаться всёми поступками сына). — Эта мысль такъ разсудительна, что, вёроятно, вы съ нею согласны. Къ чему матушкё такъ горевать обо мнё? Не все ли равно для нея, такъ или иначе составлю я себе счастіе, лишь бы составиль, въ чемъ я увёренъ. И какъ могли вы вообразить, что если бы я даже поёхалъ въ Вёну, то принялъ бы тамъ католичество? Изъ этого я вижу, какъ она предубъждена противъ меня».

Черезъ мъсяцъ Лессингъ, получивъ отъ отца книги, которыя оставлены были имъ дома, благодаритъ за присылку ихъ и продолжаетъ:

«Я написаль бы вамь о своей благодарности еще больше, если бы не видъль, къ сожальнію, изъ всьхъ вашихъ писемь очень ясно, что васъ давно склоняють и вы давно склонились подозрывать во мнь самыя низкія, самыя постыдныя черты. Влагодарность человька, о которомъ вы имьете такое выгодное мньніе, конечно, должна показаться вамь неискреннею. Но что же мнь дълать? Время будеть моимь защитникомъ. Оно покажеть, дъйствительно ли я непочтительный сынь и безнравственный человькъ.

«Когда вы перестанете упрекать меня за Миліуса? Sed facile ex Tuis querelis querelas matris agnosco (слѣдуеть довольно длинная латинская тирада, которую мы отмѣчаемъ курсивомъ). Но я очень хорошо вижу, что эти упреки внушены вамъ матушкою: она

добра и прямодушна, но въ этомъ случать слишкомъ увлекается враждою. Наша дружба съ Миліусомъ никогда не была и не будеть ничьмъ инымъ, какъ сотрудничествомъ въ занятіяхъ—можно ли винить за то? Я съ нимъ очень ръдко, или, лучше сказать, вовсе никогда не говорю ни о родныхъ и моихъ обязанностяхъ къ роднымъ, ни о моемъ образъ жизни, такъ что вы никакъ не можете считать его моимъ соблазнителемъ и совптникомъ на дурное. Не увлекайтесь, батюшка, женскими наговорами. Простите, что я написалъ это по латыни, чтобы не оскорбить матушку, глубоко мною любимую».

Этихъ отрывковъ будетъ достаточно, чтобы видеть, каковы были предположенія родныхъ о сынь, когда онъ жиль въ Лейпцигъ и потомъ въ Берлинъ. Они считали сына идущимъ къ временной и въчной погибели. Письма ихъ въ нему за это время не сохранились; но легко угадать изъ отвътовъ Лессинга, какими горькими опасеніями, какими оскорбительными подозрѣніями были наполнены эти письма. Такъ прошло полтора года университетской жизни; наконецъ, однажды, получилъ лейпцигскій студентъ отъ отца письмо, въ которомъ всв упреки и подоврвнія особенно относительно актеровъ и театра выражены были совершенно прямо и ръзко. Молодой человъкъ вспыхнулъ и потерялъ терпъніе. Раздосадованный, побъжаль онь къ одному изъ своихъ пріятелей и товарищей по занятіямъ литературою, Вейссе, и, съ сердцемъ бросая письмо на столъ, сказалъ: «Вотъ, прочитайте-ка, какое письмецо получиль я оть батюшки! > Въ пылу досады онь хотель отвечать на упреки, разославъ всъмъ почетнымъ людямъ каменецкаго общества по экземпляру афиши, которая объявляла о первомъ представленіи его комедіи «Молодой Ученый», приписавъ подъ заглавіемъ этой пьесы, дававшейся безъ означенія имени автора: «сочиненіе Готтгольда-Эфраима Лессинга». Вейссе удалось удержать своего друга отъ этой выходки, и чрезвычайный успёхъ пьесы на сценъ заставиль бы молодаго драматурга забыть о семейной непріятности, навлеченной на него расположеніемъ къ театру, если бы за первою бедою не последовала вторая.

Въ Саксоніи быль (а можеть быть, и донынѣ сохранился) обычай, что мать на Рождество печеть для каждаго изъ своихъ дѣтей сдобный сладкій пирогь. Надобно было случиться, что въ этомъ (1747) году на самое Рождество одинъ изъ знакомыхъ семейства Лессинговъ отправился изъ Каменца въ Лейпцигъ. Мать Готтгольда-Эфраима просила этого знакомца отвезти отъ нея сыну патріархальный пирогъ и при этой оказіи, конечно, просила его также посмотрёть и передать ей, какъ живеть этотъ сынъ, возбуждающій въ родителяхъ столько безпокойства неосновательностью своего поведенія. Знакомецъ возвратился въ Каменецъ съ ужаснымъ извѣстіемъ, что сладкій пирогъ матери скушанъ сыномъ въ обществѣ комедіянтовъ (и—чего добраго!—даже комедіянтокъ, быть можетъ) и запитъ доброю бутылкою вина.

Бѣдные родители не могли теперь сомивваться въ глубокомъ нравственномъ паденіи блуднаго сына. Мать горько плакала; отецъ увидѣлъ необходимость прибѣгнуть къ рашительному средству для исхищенія сына изъ бездны адской: надобно было возвратить его для душевнаго исцѣленія подъ родительскій кровъ. Но послушается ли родительскаго приказанія непокорный юноша? Нѣтъ, нужно придумать другія средства, подняться на хитрости,—и лейпцигскій студентъ получилъ письмо, увѣдомлявшее его, что мать лежитъ при смерти, и что онъ долженъ спѣшить въ Каменецъ, не теряя ни минуты, если хочетъ проститься съ нею.

Между темъ, наступили сильные холода. Мать стала уже раскаяваться въ своей хитрости: какъ поёдеть бёдный мальчикъ (не забудемъ, что Лессингу было только восемнадцать лётъ) въ такую погоду? Въдь у него вътъ теплаго дорожнаго платья, а въ дорогъ надобно пробыть несколько сутокъ. Нетъ, лучше ужь кутилъ бы онъ съ ненавистнымъ Миліусомъ и актрисами, чёмъ замерзнуть на дорогв. Напрасно его вызывали! Или, быть можеть, онъ дога-. дается, что извъстіе о ея бользни-выдумка, и не поъдеть? Да, лучше онъ сдълаетъ, если не повдетъ. Въ такихъ мысляхъ сидъла семья, какъ отворилась дверь, и вошелъ въ комнату, дрожа отъ холола, подузамерзшій сынь. — «Какъ, ты побхаль въ такой холодъ?» спрашиваетъ мать. -- «Я зналъ, что вы здоровы, весело отвъчаетъ студенть; но вамъ было угодно, чтобъ я прівхаль, —и я прівхаль. — Словомъ сказать, вмёсто строгаго выговора, который готовился для него, его встретили съ радостью, что онъ, послушный сынъ, до-

Отецъ сталъ испытывать его знанія разговорами: оказалось, что сынъ сталъ человѣкомъ ученымъ, несмотря на Миліуса и актеровъ; оказалось, что и по латыни знаетъ онъ очень хорошо, не смотря на то, что занимался, по доходившимъ слухамъ, вовсе не латынью. Мало того: въ удовольствіе первенствующему пастору, сынъ сочиниль проповёдь—и проповёдь оказалась хороша. Гнёвъ отца утишился. Онъ оставилъ студента пожить дома, чтобы своими глазами убёдиться, дёйствительно ли онъ не такой дурной человёкъ, не такой пьяница и буянъ, какъ шла молва о немъ. Сынъ держалъ себя, въ самомъ дёлё, какъ порядочный юноша—не пьянствовалъ и не буйствовалъ.

Три мѣсяца продолжалось это испытаніе. Наконецъ родные убѣдились, что можно согласиться на его просьбу и снова отпустить его въ Лейпцигъ, съ наставленіями держать себя хорошо.

Но лишь только воротился онъ въ Лейпцигъ, какъ пошли о немъ прежніе слухи. По прежнему онъ не ходилъ на лекціи, водиль компанію съ Миліусомъ и актерами, писалъ комедіи;—и черезъ нісколько времени сділалъ рішительный шагъ, который боліе всего прежняго огорчиль заботливыхъ родныхъ.

Около этого времени разстроилась труппа г-жи Нейберъ, и многіе актеры убхали изъ Лейпцига, иные не расплатясь съ долгами. Лессингъ быль поручителемъ въ нъсколькихъ изъ этихъ векселей; кредиторы не давами ему покоя. Средства его для уплаты долговъ были ничтожны въ Лейпцигв. Онъ решился искать этихъ средствъ въ Берлинъ, при помощи Миліуса, который уже поселился тамъ, имвль уже некоторыя связи и черезь два-три месяпа сделался сотрудникомъ одной изъ берлинскихъ газетъ, издававшейся книгопродавцемъ Рюдигеромъ, и вскоръ перешедшей къ зятю Рюдигера, Фоссу, съ фамиліею котораго она существовала до последняго времени (Vossische Zeitung). Мысль эта была исполнена Лессингомъ съ независимостью, свойственною его характеру: ни съ къмъ онъ не совътовался, никому не говорилъ о своемъ намъреніи переселиться въ Берлинъ. Одинъ изъ ближайшихъ его друзей, Вейссе, зашедшій черезъ нісколько дней къ своему пріятелю по его отъйзді, услышаль только, что онь убхаль изъ Лейпцига на недблю. Но это не было бъгство отъ кредиторовъ: они были предувъдомлены и успокоены Лессингомъ, потому что не тревожили ни университеть, ни каменецкаго пастора своими опасеніями. И, дъйствительно, Лессингъ скоро расплатился съ ними.

На дорогѣ, въ Виттенбергѣ, онъ тяжело занемогъ—одинъ, безъ денегъ, безъ знакомыхъ. Положение было отчаянное, и Лессингъ не могъ потомъ вспоминать о немъ безъ ужаса. Но молодая натура скоро побъдила бользнь. Между тъмъ, Миліусъ ужалъ изъ Берлина. Лессингъ ръшился было остаться на зиму въ Виттенбергъ слушать лекціи и написалъ о томъ роднымъ. Но Миліусъ опять явился въ Берлинъ, получилъ постоянную работу при рюдигеровой газетъ, и Лессингъ около Рождества могъ переселиться въ Берлинъ съ увъренностью, что найдетъ тамъ средства для жизни.

Говорять, впрочемь, будто изъ Виттенберга увхаль онъ не съ целью попасть въ Берлинъ,—напротивъ, если верить слухамъ, онъ прежде всего поскакаль въ Вену, увлеченный страстью къ хорошенькой актрисв Лоренцъ, и уже изъ Вены, по невозможности найти тамъ средства для жизни или разочаровавшись въ своей возлюбленной, перебхалъ въ Берлинъ. Этотъ эпизодъ очень правдоподобенъ; но не осталось доказательствъ, которыми можно было бы подтвердить его.

Во всякомъ случав, два ли только, или три раза юноша втеченіи полугода такъ независимо оть родныхъ изміняль наміренія относительно своей будущности, --- ограничились ли его странствованія только переселеніемъ изъ Лейпцига въ Виттенбергь и изъ Виттенберга въ Берлинъ, или надобно прибавить сюда еще повздку изъ Виттенберга въ Въну, -- во всякомъ случав, Лессингъ, въ это полугодіе, надвлаль довольно, чтобы снова погубить въ родныхъ всикое довъріе къ себъ, чтобы явиться въ ихъ глазахъ человъкомъ. болъе близкимъ къ погибели, нежели когда нибудь. «Онъ замотался, онъ потерялъ голову, сталъ игрушкою негоднаго Миліуса, сталъ авантюристомъ, которому предстоитъ сидеть въ тюрьме за долги, быть стыдомъ своему семейству, влачить презрыную жизнь развратнаго и оборваннаго пьяницы, быть убитымъ въ пьяной дракъ, замерзнуть на улицё или умереть голодною смертью въ подвалё». Такъ должны были думать родные, и переписка ихъ съ сыномъ продолжалась въ прежнемъ тонъ: горькіе упреки съ одной стороны, гордыя оправданія съ другой.

И дъйствительно, довольно долго прошло, пока устроилось сколько нибудь порядочнымъ образомъ денежное положение сына, пока его извъстность, потомъ слава заставили родныхъ его покинуть свои оскорбительныя подозрънія.

Если и въ наше время семнадцати-девятнадцатилетній юноша поступаеть подобно Лессингу: вмёсто того, чтобы посёщать лекціи,

сводить дружбу съ людьми, извъстными неумъренностью своего образа жизни; бросая такъ навываемое порядочное общество, водить компанію съ весельчаками, проводить вечера за кулисами, а ночи въ шумныхъ пирушкахъ съ актрисами, --если и въ наше время молодой человыкъ становится на эту дорогу, его родные имъють очень основательную боязнь за будущность сына. Сто лёть тому назадъ, въ Германіи, подобный образъ жизни казался еще ужаснье для патріархальныхъ провинціаловь и, въ самомъ дёлё, отнималь почти всякую надежду на юношу, увлекающагося въ такія излишества. Лессингь пренебрегаль единственнымъ путемъ къ обезпеченію своей будущности, пренебрегая университетомъ: нынъ понятно, что можно жить на свете не занимая места на службе; тогда, если человъкъ не былъ ремесленникомъ, куппомъ или помъщикомъ, онъ могь жить только жалованьемь и доходами отъ общественной должности. Литература не доставляла никакого обезпеченія. Всв литераторы были или богатые диллеттанты, или профессоры, учители и пасторы: безъ этихъ источниковъ дохода они ходили бы съ голыми локтями подобно Миліусу. Лессингъ, пренебрегая дипломомъ, который доставиль бы ему місто пастора, медика или профессора, обрекаль себя на въчную нищету. — Нынъ актеры не считаются людьми отверженными; тогда на нихъ смотрёли, какъ на цыганъ. Нынъ понимаютъ, что юноша долженъ быть юношею; тогда съ двінадцати літь мальчикь должень быль ділаться педантомь: иначе, онъ ужь не имълъ никакихъ шансовъ проложить себъ дорогу въ свъть.

Чтобы однимъ примъромъ указать всю разницу между нынышнимъ и тогдашнимъ взглядомъ на человъка, поступающаго подобно Лессингу, скажемъ, что студенты, его товарищи, считали его человъкомъ идущимъ къ собственной погибели. Нынъ, конечно, молодежь не осудитъ сверстника за любовь къ театру, особенно, когда видитъ, что дома, самостоятельными занятіями, онъ съ избыткомъ вознаграждаетъ неаккуратностъ въ посъщеніи лекцій, когда видитъ, что любитель театра съ тъмъ вмъстъ превосходитъ обширностью знаній товарищей студентовъ,—нынъ любовь къ литературъ и театру не помъщала бы глубоко уважать такого товарища; тогда,—что думали тогда студенты о своемъ геніальномъ товарищь, мы узнаемъ изъ любопытнаго анекдота, сохранившагося въ запискахъ извъстнаго литератора и музыканта Рохлица. Въ Лейпцигъ Лессингъ жилъ

нъсколько времени въ одной комнать съ другимъ студентомъ, Іоганномъ-Фридрихомъ Фишеромъ. Много лътъ спустя, когда Лессингъ быль уже авторомь «Эмиллін Галотти» и «Гамбургской Драматургіи», Фишеръ занималь должность ректора въ одной изъ школь, соотвътствующихъ нашимъ гимназіямъ. Рохлицъ учился въ этой школь. Ректоръ заметилъ въ ученикъ литературныя наклонности, иризвалъ его къ себъ и преподалъ слъдующее назидание изъ собственныхъ воспоминаній: «Говориль ужь я тебь, чтобы бросиль свои немецкія книги; не спрашиваю, исполниль ли ты мой советь, а только скажу тебь: исполни его, брось нъмецкія книги, не вводи себя въ погибель, потому что къ погибели онъ ведуть. Тъмъ больше огорчаешь ты меня, что этими вредными наклонностями припоминается мив такой примвръ, — примвръ изъ молодости, — отъ котораго и теперь болить мое сердце. Разскажу тебъ, какъ это было. Прівхавъ изъ Кобурга въ здвшній университеть, поселился я вмёств съ однимъ товарищемъ, который уже годъ числился студентомъ. Онъ былъ сынъ хорошихъ людей: отецъ его былъ пасторомъ въ Лаузиць. Жили мы съ нимъ на Верхней улиць, у Старыхъ Бань. Какія способности даль Богь этому человіку! Какь онь зналь по гречески и по латыни! Мы съ нимъ слушали Эрнести, знаменитаго тогдашняго филолога, -- то есть, нечего намъ было и слушать у него! Читать Өукидида было для насъ просто развлечениемъ. Ахъ, какой человъкъ могъ бы изъ него выйти! Но пошель онъ по такой дорогв! Ужь прежде онъ много читаль по нъмецки, - ну, сталь и писать самъ по нъмецки, сочинять нъмецкие стихи. И пошель, и пошель, и никакь нельзя было его остановить. Онь быль мой лучшій другь, мой единственный другь въ целомъ университеть; но я отсторонился отъ него-не могъ выносить этого. Началъ онъ даже писать комедіи. Ну, воть... воть... дальше да дальше и сделался онъ... нътъ, и сказать грустно, что изъ него вышло. Ну, да самъ спроси у людей, скажуть тебъ: этого человъка звали Лессингь».

Этоть урокъ молодому человѣку, это предостереженіе: «смотри если станешь продолжать, какъ началь; то будешь ты ничѣмъ инымъ, какъ развѣ Лессингомъ»,—эта искренняя, глубокая грусть добродушнаго друга о томъ, что Лессингъ погубилъ свои прекрасныя дарованія и самого себя, вся эта рѣчь почтеннаго ректора представляется намъ теперь чѣмъ то нелѣпо наивнымъ до забавной оригинальности. Это нѣчто нелѣпѣйшее, нежели ученыя разсужде-

нія Фамусова и Скалозуба, что-то напоминающее сужденія обитателей Брынскихъ скитовъ, понятія какого-то дикаго Никиты Пустосвята. Если студенть, горячо любившій Лессинга, очень близко знавшій его-вёдь они жили въ одной комнате-такъ огорчался уже одною любовью его къ немецкой литературе, этою, повидимому, самою невинною чертою изъ всёхъ противоречій его жизни общепринятому порядку, то можно вообразить, каковы были у людей пожилыхъ, наклонныхъ къ строгости въ нравственныхъ понятіяхъ и въ требованіяхъ отъ молодаго человъка соблюденія приличій, -- каковы были понятія всіхъ добропорядочныхъ людей о будущности, которую готовить себъ Лессингь, когда они соображали всв ужасныя черты его образа жизни-не только сочинительство его на нъмецкомъ языкъ, но, что гораздо ужаснъе, его дружбу съ Миліусомъ и ночныя пирушки въ обществъ этого оборваннаго кощуна, его панибратство съ актерами и актрисами, обществомъ которыхъ гнушался даже Вейссе, студенть, сочинявшій для нихъ комедіи.

Дикимъ кажется намъ теперь все это. Но если присмотрѣться къ дѣлу ближе, съ житейской точки зрѣнія, то, право, подумаешь: не разсчетливѣе ли, не лучше ли для отдѣльнаго человѣка устроивать свою жизнь сообразно съ понятіями большинства? не былъ ли, въ самомъ дѣлѣ, правъ добрый ректоръ Іоганнъ Фишеръ, съ грустью вспоминая о томъ, какъ Лессингъ губилъ себя? да, если онъ думалъ о житейскомъ благоденствіи своего друга, то, безъ сомиѣнія, былъ правъ.

А надобно сознаться, что изъ сотни людей, одержимыхъ въ молодости различными возвышенными стремленіями, развѣ одинъ не
станетъ впослѣдствіи раскаяваться, если эти порывы стоили ему
какихъ нибудь пожертвованій житейскимъ благосостояніемъ; и надобно еще то сказать, что, въ самомъ дѣлѣ, у очень многихъ людей всѣ эти порывы имѣютъ слѣдствіемъ единственно только порожденіе чепухи, различнаго рода, смотря по характеру порывовъ.
Друзья и родные должны были, въ самомъ дѣлѣ, опасаться за Лессинга, потому что только при концѣ молодаго разгула обнаруживается, имѣлъ ли человѣкъ силу безвредно пройти его, только послѣдующая энергическая дѣятельность доказываетъ, что человѣкъ
не напрасно пренебрегалъ торною дорогою, стремясь къ славѣ.

Но теперь, когда славная д'ятельность Лессинга показала намъ

его натуру, мы можемъ видъть, что и въ увлеченіяхъ молодости онъ не измънилъ ни своему призванію, ни своему характеру. Мы не будемъ здесь распространяться объ этомъ характере, - пусть онъ самъ собою раскрывается передъ читателями впродолжение біографіи, — но скажемъ только, что основною чертою его натуры были ръдкая полнота и всесторонность. У него были сильныя страсти, и онъ повременамъ беззавътно отдавался той или другой изъ нихъ; но никогда ни одна изъ нихъ не могла поработить его себъ, именно потому, что натура его была слишкомъ чужда всякой односторонности. На пирушкахъ съ Миліусомъ онъ, быть можетъ, пилъ больше самого Миліуса; у него было много интригь, и, конечно, онъ любилъ страстно; но никогда не было минуты, въ которую не могла его натура свергнуть съ себя эти страсти. Онъ былъ подобенъ древнему бойцу, который съ увлечениемъ шелъ на битву, но и въ самомъ разгаръ битвы не терялъ ни разумнаго самообладанія, ни свътлаго взгляда, ни спокойствія на ясномъ чель. Онъ, среди другихъ людей, быль не по одному уму, но и по характеру, по всей своей натуръ Милонъ Кротонскій, который могь идти съ ними, когда хотель, могь принимать участіе въ ихъ трудахъ, если то ему казалось нужно, но котораго ничья сила не могла поколебать, если онъ хотвлъ остановиться, который, какъ безсильныхъ дётей, схватывалъ и увлекалъ за собою или легкимъ движеніемъ руки отстраняль техъ, кто хотель удержать его или увлечь са собою. Въжизни онъбылъ нъчто подобное тому, что Шекспиръ въ своей поэзіи: на всё чувства привётно откликается поэзія Шекспира, но не подчиняется она ни одному изъ нихъ-она страстиве, нежели анакреонтическія песни юга, она грустиве, нежели самыя грустныя легенды сввера, она веселве, нежели веселыя пъсни Франціи; но ни грусть, ни веселье, ни страсть не сдълаютъ ее своею рабою, съ величественнымъ гомерическимъ самообладаніемъ владычествуетъ она равно надъ своимъ восторгомъ и надъ своимъ страданіемъ.

Быть можеть, мы слишкомъ рано указали эту основную черту характера Лессинга въ такомъ величественномъ свътъ: въдь мы говоримъ еще только о двадпатилътнемъ юношъ; быть можетъ, умъстнъе было бы это сравненіе съ героями древности тогда, когда онъ явился бы намъ авторомъ «Натана Мудраго» и противникомъ Геце. Но и въ юношъ эта основная черта уже обнаруживается поразительнымъ образомъ.

Уже въ техъ отношенияхъ къ роднымъ, о которыхъ мы говорили выше, въ тъхъ письмахъ къ отцу и матери, отрывки изъ которыхъ мы привели, ярко видна она. Его осыпають оскорбительнъйшими укоризнами и обвиненіями; но онъ чувствуеть, что онъ совершенно правъ. Иной, на его мъсть, гитвно прекратиль бы всякія сношенія съ родными, сказавъ, что не хочеть оправдываться передъ людьми, слишкомъ мало понимающими его; другой, сознавая, что вся вившность обвиняеть его, что его образъ жизни, положеніе, усвоиваемое имъ себ'я въ обществ'я, свид'ятельствують противъ него, сталъ бы просить извиненія своимъ проступкамъ, сталъ бы говорить скромно и покорно. Лессингъ дълаетъ не такъ. Онъ говорить отпу спокойнымь, самоувъреннымь и вмёстё почтительнымъ тономъ. Онъ объясняетъ роднымъ, какъ надобно смотръть на. людей, на обстоятельства; онъ ни въ чемъ не дёлаеть уступки ихъ мивніямъ, выставляеть себя совершенно правымъ и, однако же, не говорить имъ ни одного слова, которое неумъстно было бы въ устахъ сына; онъ какъ будто читаетъ имъ проповеди, облеченный тономъ сыновняго уваженія. И не только письма, но и действительныя отношенія его къ роднымъ имфють совершенно особенный характеръ, какого не могъ бы выдержать въ подобныхъ обстоятельствахъ никто другой. Ни въ чемъ онъ не подчиняется роднымъ-и, однако же, не перестаеть быть почтительнымъ сыномъ; родные негодують на него, скорбять о немь-его чувства къ нимъостаются рышительно неизмыны, какь бы никакихь непріятностей не бывало между ними, и, до конца жизни, онъ остается върнымъ, любящимъ членомъ семейнаго кружка, совершенно отстраняя еговліяніе отъ своей жизни, но постоянно делая для родныхъ все, что только возможно.

Точно съ такимъ же спокойнымъ чувствомъ своей совершенной справедливости выслушивалъ онъ тогда и впоследствіи всевозможныя обвиненія своихъ враговъ, всевозможныя замечанія друзей. Онъ делалъ то, что находилъ нужнымъ, и никакія ободренія или просьбы не могли заставить его сказать больше, никакія осужденія не могли заставить его сказать меньше. Нельзя не вспомнить здёсь и страннаго отношенія къ нему его біографовъ и историковънёмецкой литературы. Только немногіе изъ этихъ людей могутъвозвыситься до того, чтобы въ самомъ дёлё раздёлять образъ мыслей Лессинга. Когда вы присмотритесь къ ихъ собственнымъ мнё-

ніямъ, вы ожидаете, что они должны осуждать Лессинга, какъ. человъка слишковъ ръзкаго, слишкомъ безцеремоннаго въ выраженін своихъ мыслей, слишкомъ далеко двинувшагося впередъ въ образъ своихъ понятій; а, между тъмъ, ни одинъ изъ нихъ даже не воображаеть, что о Лессингв можно говорить такъ, какъ говорится о Гете или Шиллерь, можно хвалить въ немъ одно, осуждать другое: нътъ! передъ всеми его приговорами все они совершенно смеряются, будто все еще ждуть, что онъ можеть встать изъ гроба и поразить людей, отважившихся сдълать ему самое легкое замъчаніе, какъ поразиль Клоца. Мы опять должны прибъгнуть къ сравненію, употребленному выше: мивнія Лессинга внушають всвиъ какое-то благоговеніе, какъ повзія Шекспира: «Это такъ: это иначе невозможно; онъ правъ», говоритъ каждый о «Гамбургской Драматургія» или «Лаокоонъ», какъ говорить о «Гамлетв» или «Отелло». Въ области мысли до сихъ поръ Лессингъ представляется для нъмецкихъ историковъ литературы такимъ же непогръщительнымъ авторитетомъ, какъ Шекспиръ въ области поэзіи. Можно продолжить эту аналогію и въ отрицательномъ сиыслё: почти никто изъ поэтовъ не следуетъ урокамъ, какіе даетъ повзія Шекспира, почти никто изъ критиковъ и философовъ не исполняеть принциповъ Лессинга; но не подчиняться вліянію того и другаго возможно только забывая о нихъ, а какъ скоро являмотся они передъ нашимъ воспоминаніемъ, никто не чувствуеть въ себь рышимости противорычить имъ. Превосходство ихъ слишкомъ велико; поэзія одного, мысль другаго по своей натур'в таковы, что не оставляють мъста никакому разноръчію въ сужденіяхъ. Да, сильная это была натура, и очень щедро одаренная природою. Мы довели свой разсказъ до начала литературной деятельности Лессинга, — началась она поэтическими произведеніями, и туть можно уже видыть, на сколько быль онь выше обыкновенной мёрки.

Лессингъ самъ о себъ сказалъ, что не имъетъ врожденнаго поэтическаго таланта, что его произведенія не созданія независимаго отъ мысли творчества, а только осуществленія сознательной мысли. «Я не поэтъ—говорить онъ въ послёднемъ нумеръ своей «Драматургіи». Мнъ часто оказывали честь, признавая меня поэтомъ; но это значило не знать меня, не признавать особенностей моей натуры. Не надобно было выводить такого высокаго заключенія изъ нъсколькихъ драматическихъ опытовъ, на которые я отваживался.

Не всякаго, кто береть въ руки кисть и нестрить полотно красками, можно назвать живописцемъ. Первые изъ этихъ опытовъ написаны мною еще въ такихъ летахъ; когда охоту и способность легко писать принимають за геній. А относительно всего, что только есть сноснаго въ монхъ последующихъ драмахъ, я очень твердо знаю, что всёмь этимь я обявань исключительно собственному критическому размышленію. Я не чувствую въ себѣ живаго источника, который быеть черезъ край собственной силой, собственною силою рвется на светь богатыми, свежими, чистыми струями. Я долженъ все выжимать, вытягивать изъ себя усиліемъ. Я быль бы совершенно бъденъ, холоденъ, если бы не научился, такъ сказать, пользоваться чужими сокровищами, согръваться у чужаго огня и изощрять мое врвніе очками критики. Потому-то я всегда стыдился или досадовалъ, когда читалъ или слышалъ что нибудь въ осужденіе критики, когда слышаль, что она убиваеть геній, -- въдь я, напротивъ, льстилъ себя мыслью, что она даеть мив ивчто очень близкое къ генію. Я хромой, которому нельзя угодить пасквидемъ на клюку. Но хотя и правда, что клюка помогаеть хромому ходить, скороходомъ она никогда не сдёлаеть его. Такъ и критика. Если я при помощи ся произвожу нѣчто лучшес, нежели произвель бы человёкь съ моими талантами безь критики, то, надобно прибавить, это стоить мит труда, я должень быть совершенно свободенъ отъ другихъ дълъ, не долженъ разсъяваться непроизвольными развлеченіями, должень на каждомь шагу соображать всё свои наблюденія надъ характерами и страстями».

Мы впоследствіи увидимъ, что эти слова, сказанныя съ целью объяснить, почему онъ не писалъ каждый годъ по нескольку драмъ, какъ было ему хотелось при основаніи «Драматургіи», —увидимъ, что эти слова имёють вовсе не такой смысль, чтобы отнимать у Лессинга поэтическій талантъ: поэтическаго таланта, безъ сомненія, быль у него не меньше, нежели у кого нибудь изъ немецкихъ поэтовъ, кроме Гёте и Шиллера, далеко превосходившихъ его въ этомъ отношеніи, — онъ только хотель сказать, что натура его вовсе не такова, какъ натура людей, созданныхъ исключительно быть поэтами, подобно Шекспиру или Байрону; что у него творчество слишкомъ слабо въ сравненіи съ силою вкуса и мысли и действуетъ не самопроизвольно, какъ у Шекспира или въ народной поэзіи, а только по внушенію и подъвліяніемъ обсуждающаго ума. Но то остается

безспорно, что поэтическій таланть не быль у Лессинга преобладающимь даромь натуры и вообще самь по себ'в не могь бы поставить его на ряду съ истинно великими поэтами. Словомъ, поэзія не была сильнійшимь изъ его талантовъ.

А, между темъ, и эта способность, имения только второстепенное значеніе въ его натурів, была достаточно велика, чтобы самыя первыя, можно сказать, ребяческія произведенія Лессинга тотчасъ же были замъчены всвми и пріобръли ему одно изъ первыхъ мъстъ въ тогдашней нъмецкой литературъ, въ противность обыкновенному порядку, по которому почетное имя и уважение критики пріобреталось только многолетнимъ трудомъ, вместе съ сединами и важными мъстами въ гражданскомъ обществъ. То была пора, отчасти подобная нравамъ русскаго литературнаго міра до Пушкина. Молодой человекъ старался попасть подъ покровительство заслуженнаго литератора, -- тоть вводиль его въ общество писателей, уже двадцать-тридцать леть пользовавшахся славою немецкихъ Гомеровъ. Корнелей и Анакреоновъ. Эти съ важнымъ видомъ слушали произведенія новичка, поправляли ихъ, одобряли ихъ, такъ продолжалось десять, пятнадцать лёть, и только состарившись, въ свою очередь, бывшій новичокъ ділался знаменитымъ писателемъ.

Лессингъ, двадцатильтній юноша, не примыкавшій ни къ какому литературному обществу, не считавшій нужнымъ познакомиться ни съ однимъ изъ знаменитыхъ тогдашнихъ поэтовъ или критиковъ, съ перваго же раза пріобрьть громкую извъстность своими анакреонтическими одами и комедіями. Пъсни его печатались въ журналахъ, издававшихся Миліусомъ: «Развлеченіе» (Ermunterungen) и «Натуралистъ» (Naturforscher); пьесы были написаны для труппы г-жи Нейберъ, потомъ перещли и на другія нъмецкія сцены. Мы не будемъ перечислять ни этихъ пъсенъ, ни даже этихъ комедій: онъ теперь, по всей справедливости, не читаются почти никъмъ, кромъ людей, занимающихся исторією литературы, хотя въ свое время надълали шуму и были единогласно превозносимы всъми критиками, какъ лучшія въ своемъ родъ ироизведенія нъмецкой литературы.

Такъ, напримъръ, знаменитый профессоръ Михаэлисъ, тогда писавшій въ «Гёттингенскихъ Ученыхъ Извъстіяхъ», одномъ изъ самыхъ уважаемыхъ критическихъ журналовъ, говорилъ объ анакреонтическихъ пъсняхъ Лессинга: «Если чьи нибудь лирическія пьесы были читаны нами съ восхищеніемъ, то, конечно, лессинговы. Рецензентъ не бываеть наклоненъ къ увлеченію, но онё заставили насъ забыть обо всемъ, бросить всякую другую работу»... и т. д. «Іенскія Ученыя Извёстія» объявляли, что эти пёсни должны быть поставлены на ряду съ первоклассными созданіями всёхъ литературъ. То же самое говорили и объ его пьесахъ. Даже за границу проникла его слава: итальянскіе и французскіе журналы, когда случалось имъ перечислять лучшихъ нёмецкихъ писателей, непремённо упоминали и о Лессингъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Столиновеніе съ Вольтеромъ.—Діло съ Ланге.—Діло съ Іохеромъ.—Vademecum для г. Ланге.—Лессингъ становится выше всякихъ подозрвній.—Онъ становится страшенъ, какъ критикъ.—Николан.—Мендельсонъ.—Отношенія Лессинга, какъ саксонца, къ пруссакамъ во время Семилітней войны.—Возвращеніе въ Берлинъ.

Житейское положение Лессинга въ Берлинъ сначала было очень незавидно,---мы видёли, какъ онъ жалуется на недостатокъ порядочнаго платья; въ другомъ письмѣ, онъ говорить, что имѣетъ объдъ въ полтора гроша (6 коп. сер.)-при всей возможной дешевизнъ тогдашняго Берлина, объдъ не могь быть роскошенъ. Предложеніе заняться исправленіемъ латинскаго перевода огромной д'Эрблотовой «Восточной Библіотеки» за 200 талеровъ въ вознагражденіе этой работы, требовавшей годичнаго труда, онъ выставляеть въ письмахъ къ отцу предложениемъ выгоднымъ для себя; оно и дъйствительно было выгодно по его тогдашнимъ обстоятельствамъ: въ другихъ случаяхъ, какъ видно изъ писемъ, дело шло о талерахъ и десяткахъ талеровъ, никакъ не более. Темъ не мене, берлинская жизнь была пріятна ему, при всехъ недостаткахъ. Онъ пріобрёль довольно много знакомствъ, сблизился съ людьми, которые могли быть полезны ему въ будущемъ, надвялся на литературные успахи, ожидаль, что дала его скоро поправятся. Но отець и мать настаивали, чтобъ онъ продолжаль ученую каррьеру: ученому пастору было обидно за сына, который все еще имветь званіе только кандидата медицины, было грустно думать о томъ, что у него неть никакихъ верныхъ средствъ къ обезпеченію своего существованія, -- литературу старикъ справедливо считаль очень небогатымъ и вовсе недостаточнымъ источникомъ доходовъ. Не знаемъ, послушался ли бъ Лессингъ убъжденій отца держать экзаменъ на

высшія ученыя степени, съ цѣлью получить университетскую каседру,—но встрѣтилось обстоятельство, которое неожиданнымъ и нимало не пріятнымъ образомъ помогло исполненію отцовскаго желанія.

Однимъ изъ первыхъ знакомыхъ Лессинга въ Берлинѣ былъ французъ Ришье де-Лувенъ, человѣкъ съ добрымъ сердцемъ, если не съ геніальнымъ умомъ *). Положеніе обоихъ было почти одинаково, по лѣтамъ они были сверстники, и скоро стали близкими друзьями. Правда, часто сердился Ришье на Лессинга, когда тотъ не курилъ еиміама французской литературѣ, не хотѣлъ называть Лафонтена величайшимъ баснописцемъ, а Корнеля и Расина величайшими трагиками въ мірѣ; но все-таки оставались они добрыми пріятелями, и изъ дружескихъ разговоровъ Ришье на столько познакомился съ нѣмецкою литературою, что въ обществѣ могъ являться защитникомъ нѣмецкой литературы,—что всего забавнѣе, противъ нѣмцевъ.

Въ 1750 году, Ришье, прежде жившій уроками французскаго языка, сделался секретаремь у Вольтера, и черезъ три-четыре недъли имълъ случай рекомендовать своего пріятеля знаменитому писателю. Случай этотъ быль такого рода: Вольтеръ искаль человъка, который бы могъ переводить на нёмецкій языкъ меморіалы, которые писаль Вольтерь противь еврея Гирша, по поводу своего изв'єстнаго процесса съ этимъ жидомъ изъ-за квитанцій саксонскихъ налоговъ, которыми торговали тогда, какъ нынв акціями торговыхъ компаній. Кто быль правь, кто виновать въ этомь дёлё, разбирать мы не будемъ, довольно сказать, что процессъ надълалъ въ то время много шуму, раздражительный Вольтерь вель его съ ожесточеніемъ, и чрезвычайно хлопоталь объ успаха. Какъ писатель, Лессингь, конечно, быль ему вовсе неизвъстень, -- но какъ переводчикъ его меморіаловъ противъ Гирша, онъ сталъ для него человъкомъ очень интереснымъ, и Вольтеръ пригласилъ молодаго человъка объдать у него каждый день; они говорили о литературъ и наукахъ, но Вольтеръ сохраняль при этомъ всегда такой сдержанный и серьезный тонъ, что собесъдникамъ было мало возможности обнаруживать свой умъ: только при знатныхъ Вольтеръ давалъ просторъ своему острому языку, какъ тв музыканты, которые дають концерты при

^{*)} Разсказъ Карла Лессинга.

дворахъ и въ аристократическихъ залахъ, и не находятъ нужды играть передъ своими собратами. Такъ продолжалось несколько недъль. Въ февралъ 1751 года, процессъ кончился и Вольтеръ увхалъ въ Потсдамъ, гдъ и кончилъ «Siecle de Louis XIV». Когда въ декабръ возвратился онъ въ Берлинъ, Лессингъ снова посътилъ своего друга Ришье, и засталь его въ хлопотахъ, съ этимъ толькочто отпечатаннымъ сочинениемъ. Вольтеръ хотиль поднесть королевской фамиліи двадцать-четыре экземпляра своей книги, прежде, нежели поступить она въ продажу. Конечно, для подарка нужно было отобрать лучшіе экземпляры, и услышавъ, что это дёло не терпить задержки, Лессингъ сталъ помогать своему пріятелю въ подборъ лучшихъ оттисковъ. Ришье, въ благодарность за услугу, объщался дать ему на нъсколько дней для прочтенія первую часть сочиненія, если онъ успаеть собрать ее изъ дефектныхъ листовъ. Составивъ нужные для Вольтера экземпляры, успёли друзья собрать изъ дефектныхъ листовъ для Лессинга всю первую часть, за исключеніемъ одного листа, который Лессингь прочиталь туть же по другому экземпляру, а найденные листы взяль съ собою, давъ слово, что не покажетъ ихъ никому и возвратить черезъ три дня. На другой день, когда вся первая часть была уже прочитана Лессингомъ, навъстилъ его нъкто Дрексель, молодой человъкъ, родомъ также изъ Саксоніи, служившій гувернеромъ у Шуленбурга, и выпросиль книгу на несколько часовъ себе. На беду, въ это самое время прівхала съ визитомъ къ г-жв Шуленбургъ графиня Бентинкъ, пользовавшаяся особенною дружбою Вольтера. Хотвлъ ли Дрексель щегольнуть передъ дамами литературною новостью, или дамы сами, зашедши въ его комнату, увидели книгу, какъ бы то ни было, онъ увидъли книгу. А графиня Бентинкъ уже просила у Вольтера экземпляръ его новаго сочиненія, но Вольтеръ отказалъ ей, говоря, что прежде долженъ поднести его королевской фамиліи. Тотчасъ же побхада она къ Вольтеру, и разсказада ему, что книга уже есть у Дрекселя, который получиль ее отъ Лессинга. Вольтеръ вышель изъ себя отъ гивва, позваль своего секретаря, началь бранить его, и тотчасъ же отправиль его въ Лессингу взять назадъ книгу, - книга была уже возвращена Дрекселемъ Лессингу, но, къ несчастью, Лессинга не было дома, когда прівхаль къ нему Ришье. Бъдный секретарь воротился въ уныніи, извиняясь этимъ непредвиденнымъ обстоятельствомъ. Вольтеръ не хотель ничего слушать,

бъсился и бранился, крича на Ришье, что онъ и Лессингъ украли у него полный экземпляръ (хотя по счету видно было, что Ришье отдаль только дефектные листы одной первой части), что они хотять сделать перепечатку его сочиненія, или издать его немецкій переводъ, право на который было уже продано книгопродавцу Геннингу. Жестоко браня своего секретаря, онъ заставиль его подъ свою диктовку написать къ Лессингу письмо, наполненное грубыми или ядовитыми выходками и несправедливыми подозреніями, какъ видно, по ответу Лессинга,---это письмо затеряно, но ответь Лессинга, написанный по-французски, сохранился. Лессингь поняль, что письмо Ришье продиктовано раздраженнымъ Вольтеромъ, и потому, возвращая книгу, безъ всякихъ колкостей въ ответь на грубости письма, доказывалъ только, что никогда не имълъ намеренія употребить во зло дов'врчивости своего друга, котораго оправдывалъ совершенно, принимая всю неловкость поступка исключительно на себя: онъ вналъ, что это письмо будетъ прочтено Вольтеромъ, и хотель помочь своему пріятелю, котораго своею неосторожностью поставиль въ невыгодное положение. Но уже поздно было помогать влополучному секретарю знаменитаго автора: Вольтеръ тотчасъ же, какъ Ришье написаль письмо, прогналь его отъ себя, и въ нетерпъніи написаль самъ Лессингу другое письмо, въ которомъ, льстя Лессингу различными объщаніями, лишь бы только выманить изъ его рукъ драгоценную книгу, называль своего секретаря плутомъ, воромъ и т. п., негоднемъ, который обманулъ Лессинга, выставивъ ему позволительнымъ деломъ переводъ или перепечатку, выгодами которой, конечно, хотель воспользоваться самъ, употребляя Лессинга только орудіемъ своей продёлки. Книга, съ прежнимъ отвътомъ на имя Ришье, была уже отправлена Лессингомъ въ домъ Вольтера, когда получено имъ было это второе письмо. Теперь, видя, что дело Ришье уже потеряно, Лессингъ не имълъ надобности щадить Вольтера, и написалъ прямо на его имя другой отвъть, на латинскомъ языкъ, которымъ выражался онъ свободне, нежели французскимъ, - ответь быль такого рода, что, по выраженію самого Лессинга, Вольтеръ не сталь бы «выставлять его у окна на показъ», -- къ сожаленію, ответь этотъ не сохранился, и неизвъстно даже, дошель ли онъ до Вольтера, который сберегъ только первый, французскій отвіть, а о второмъ не упоминаетъ.

Ришье мало проиграль, потерявь мёсто у Вольтера: онъ нашель себё другую, более выгодную должность,—изъ этого надобно заключить, что его репутація не пострадала отъ нелёпаго подозрёнія Вольтера: въ самомъ дёль, даже тё люди, которые считали предположеніе Вольтера о переводё или перепечаткё его книги справедливымъ, могли приписывать такое намёреніе только Лессингу, а никакъ не Ришье. И, дёйствительно, многіе обвиняли Лессинга. Вольтеръ поднялъ страшный шумъ,—Вольтеръ пользовавшійся милостью Фридриха II, глава французской литературы, обожаемый тогда всёми свётскими людьми въ Германіи, конечно, скорёе заслуживалъ довёрія, нежели нищій кандидатъ медицины. Въ Берлинё распространились толки, нимало не выгодные для Лессинга,—и, подъ вліяніемъ этой непріятности, онъ рёшился послушаться отцовскаго желанія,—уёхать въ Виттенбергъ, чтобы держать тамъ экзаменъ на магистра *).

«Amalie, ou le Duc de Fois, tragedie de m-r de Voltaire etc. Хвалить Вольтера такъ же излишне, какъ бранить Ганке (а). Генію дана власть, все что пишеть онъ, писать превосходно:

Was ihn bewegt, bewegt, was ihm gefällt, gefällt. Sein glücklicher Geschmack ist der Geschmack der Welt.

(Что трогаеть его, трогаеть всёхъ; что нравится ему, нравится всёмъ. Его счастливый вкусь—вкусъ всей публики). О, какой это поэть! И въ старости сохраниль онъ весь жаръ юности, какъ въ юности онъ, кажется, впередъ пріобрёль себё всю мудрость старости.

«Сюжеть пьесы взять изъ исторіи среднихь вѣковъ,—не будемъ пересказывать его, потому что не хотимь отнимать у читателей наслажденія, которое доставляется въ чтеніи неизвѣстностью развязки, и замѣтимъ только, что «Амалія»—драма безъ кровопролитія; она можеть служить поучительнымъ примѣромъ того, что трагическое состоить не въ одной только рѣзнѣ. Какія си-

^{*)} Представимъ здёсь примёръ того, какъ велико было безпристрастіе Лессинга въ его критической дёлтельности. Оскорбленіе, нанесенное Лессингу подозрёніемъ Вольтера, было очень велико: Вольтеръ на нёкоторое время запятналь его честность во мнёніи многихъ,—заставиль его,—что всего мучительнёе для благороднаго человёка,—считать себя причиною непріятности, отъ которой пострадаль его другь. Удаленіе изъ Берлина, конечно, разстроило многіе планы и надежды Лессинга. Черезъ годъ, вскорё по возвращеніи Лессинга въ Берлинь изъ Виттенберга, гдё онъ, по милости Вольтера, териёль страшную нужду, пришлось Лессингу писать рецензію о драмё Вольтера, — и воть какова эта рецензія:

⁽а) Плохой поэтъ Готтшедовой школы.

Тамъ ожидали его новыя непріятности. Къ бедности онъ уже привыкъ; но все-таки въ Виттенбергъ было ему очень тяжело: въ Берлинъ онъ успълъ уже нъсколько опредълить свое положение и составить некоторыя, хотя еще незначительныя связи съ книгопродавцами, отъ которыхъ тогда совершенно зависела судьба немецкихъ писателей, -- тамъ онъ если и нуждался, порою очень нуждался, то, по крайней мёрё, имёль каждый день обёдь, —правда, и то, что объдъ былъ не роскошенъ. Но въ Виттенбергъ часто и того не бывало, — иной день обходился, судя по словамъ брата, и безъ всякаго объда, роскошнаго или нероскошнаго. А между твиъ, Лессингъ работалъ страшно много,---не для приготовленія къ магистерскому экзамену, что, конечно, не требовало со стороны его особеннаго труда, а для того, чтобъ имъть насущный кусокъ ильба: онъ по прежнему переводиль, писаль статьи во всевозможныхъ родахъ, издавалъ (т. е. продавалъ книгопродавцамъ за нъсколько талеровъ) различные сборники своихъ статей и т. д. Той цели, о которой наимене заботился. Лессингъ достигь безъ затрудненій, — онъ сделался магистромъ, и темъ отчасти утешиль отца, -- но другую задачу, самую настоятельную, -- задачу объ объдъ, онъ никакъ не могь решить въ Виттенберге удовлетворительнымъ образомъ, --- хотя бы не для вкуса, по крайней мѣрѣ, для желудка, - потому, пробывъ около года въ Виттенбергв, онъ возвратился (въ концъ 1752 года) въ Берлинъ, гдъ сталъ снова писать рецензін для Фоссовой газеты, - дівло, которымь онъ обезпечиваль свой скудный столь и до отъёзда въ Виттенбергъ. Съ темъ вместе, принялся онъ и за изданіе собранія своихъ сочиненій, которыхъ въ теченіе двухъ следующихъ годовъ (1753 и 1754) вышли четыре части. Изданіе это было принято, какъ мы видёли, независимыми отъ Готтшеда журналами съ большимъ одобреніемъ, публикою съ живымъ сочувствіемъ, -- лирическія стихотворенія и драматическія

туаціи, какой драматизмъ въ чувствахъ! Скажемъ смёло, въ этой трагедін авторъ превзошелъ самого себя».

Такъ говорилъ Лессингъ о произведеніи писателя, который, какъ человікъ, грубо и пошло оскорбиль его, какъ человіка. Тутъ ніть никакого сліда личной непріятности, которою быль оскорблень авторомь критикъ. Одного этого приміра было бы достаточно, чтобы судить о томъ, какая безконечная разница была между критикою Лессинга и рецензіями, пасквилями и панегириками готтшедіанцевъ и бодмеріанцевъ, гді сущность діла исключительно состояла въ томъ, чтобы тішить собственное самолюбіе.

пьесы Лессинга были немедленно причислены къ «лучшимъ украшеніямъ германскаго Парнасса», и авторъ ихъ признанъ «однимъ изъ писателей, приносящихъ славу своему отечеству». Для другаго, это значило бы очень много: мы уже говорили, какою необыкновенною честью должно считаться, что публика и журнальные аристархи, привывшіе преклоняться, только передъ литературною престарвлостью, съ перваго раза почувствовали необходимость сравнять юношу (Лессингу было тогда 24 года) съ ветеранами литературной славы. Но для Лессинга этотъ успъхъ быль бы очень ничтоженъ,да и для немецкой литературы было бы немного сделано Лессингомъ, если бы онъ сталъ пользоваться только честью «быть однимъ изъ лучшихъ писателей своего времени» — мы видёли во второй статьв, каковы были эти тогдашніе «лучшіе писатели». Но въ то же время, какъ они признавали Лессинга равнымъ себъ, думая тъмъ оказывать ему необыкновенную честь, онъ дёлаль для немецкой литературы нъчто болъе важное, нежели его пъсни и первыя пьесы, и пріобр'яталь изв'ястность бол'я громкую, нежели т'я писатели, имена которыхъ были наиболее славны: онъ далъ новую жизнь немецкой критикь, и, обнаруживь недостаточность того, чымь довольствовались публика и литераторы до него, возбуждаль въ публикъ потребность лучшей литературы, указываль литераторамь необходимость быть иными людьми, нежели каковы были они до сихъ поръ, писать не то, и не такъ, что и какъ писали они до сихъ поръ.

Съ самаго начала, сужденія Лессинга были независимы отъ духа партій, которыя безплодно ссорились изъ-за удовлетворенія личнымъ тщеславіямъ. Бодмеръ и Готтшедъ были равны въ его глазахъ, и если онъ возставалъ противъ Готтшеда чаще, нежели противъ Бодмера, причиною тому было не предпочтеніе швейцарцевъ саксонцамъ, а то обстоятельство, что Готтшедъ, по своему личному карактеру, болѣе заслуживалъ негодованія, безстыднѣе интриговалъ въ литературѣ, нежели Бодмеръ, и пошлымъ образомъ возставалъ противъ всего даровитаго въ литературѣ, особенно противъ Клопштока, котораго достоинства признавались швейцарцами. Но и швейцарцы не были нимало щадимы Лессингомъ. Скоро поднялись противъ новаго критика вопли отъ всѣхъ тщеславныхъ писателей, пустоту славы которыхъ онъ разоблачалъ. Но вся полемика, ими поднятая противъ Лессинга, послужила только къ уве-

личенію его изв'єстности. Мы разскажемъ изъ этихъ случаевъ толькодва, надёлавшіе особеннаго шума.

Въ Галле находился кружовъ литераторовъ, состоявшихъ въ союзъ съ Бодмеромъ противъ Готтшеда; главою этого кружка,такъ называемой галлесской школы, быль Ланге, пользовавшійся громкою славою за свои «Гораціанскія Оды»—анакреонтическія стихотворенія, написанныя въ подражаніе Горацію. За исключеніемъ готтшедіанцевь, находившихся во враждів съ этою литературною партією, всё чтили Ланге, какъ одно изъ самыхъ яркихъ свётилъ на горизонтв нвиецкой поэзіи. На самомъ же двив, онъ, подобнодругимъ тогдашнимъ светиламъ, былъ человекъ съ довольно-ограниченнымъ умомъ, посредственнымъ талантомъ, безмърнымъ самопоклоненіемъ, и въ добавокъ, точно также, какъ остальные члены его школы-Мейеръ, Глеймъ, Вазеръ, Зульцеръ, Гирцель и его другь Пира, развиль въ себъ сладостивищую приторность въ дружбь, то есть, въ делахъ взаимнаго восхваленія. Всь они плакали отъ дружескаго восторга при свиданьяхъ, цаловались лично и письменно безчисленное множество разъ, и вообще имъли чувства, совершенно маниловскія. Стихотворенія Пиры и Ланге были дажесоединены Бодмеромъ (безъ въдома авторовъ-сладкій дружескій сюрпризъ) въ одну книжку (символъ единства ихъ сердецъ), подътрогательнымъ заглавіемъ «Дружественныя пісни Тирсиса и Дамона» *). Эти песни также пользовались большою славою. Пираставиль своего друга на ряду съ Мильтономъ. По смерти Пиры, онъ, ставъ единственнымъ корифеемъ школы, сделался предметомъеще безпредъльнъйшаго восхваленія. Жена его, которой дали въпоэтическомъ кругу имя Дорины, прославилась уже темъ, что писала подражанія стихотвореніямъ мужа. Превознесенный за подражанія Горацію, Ланге вздумаль наконець перевесть его оды; объявленія о томъ, что великій поэть предприняль этоть прекрасный

^{*)} Мы не прикрашиваемъ заглавія: Thirsis und Damons freundschaftliche-Lieder (1745)—это воскительно, но мы можемъ противоставить иноземному прекрасному свое, не менѣе предестное: «Печальные, веселые и унылые тоны моего-сердца», Рындовскаго (1809); «Вздехи сердца» (1728), къ сожалѣнію, безъимени автора, «Цвѣты Грацій» князя Шаликова—(1802) и извѣстные «Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона» и «Бытіе моего сердца».—«Предести дѣтства и удовольствія матернія любви» Андрея Стахієва, къ несчастію, не могуть бытьпредметомъ нашей гордости, потому что переведены съ французскаго.

трудъ, были сдёланы заранъе, а въ 1752 году напечатанъ былъ и переводъ. Тутъ постигла его неожиданная бъда.

Во второй части своихъ сочиненій Лессингъ напечаталь рядь писемъ, содержаніемъ которыхъ были изслідованія о старинной литературів, разборы нівкоторыхъ новыхъ книгъ и т. д. Въ двадцать четвертомъ письмів дівло шло о переводів горацієвыхъ одъ Ланге, и сужденіе критика было очень неблагопріятно для знаменитаго автора:

«Вы, безъ сомнѣнія, помните,—говорилъ Лессингъ въ своемъ письмѣ какому-то г-ну Ф., на имя котораго было оно адресовано,—какъ высоко уважалъ я всегда «Гораціанскія оды» и ихъ автора, г. Ланге. Я всегда считалъ его однимъ изъ главнѣйшихъ нашихъ поэтовъ, и съ нетерпѣніемъ ожидалъ обѣщаннаго имъ перевода Горація. Наконецъ, переводъ явился, и я, можно сказать, не прочиталъ, а проглотилъ его. До сихъ поръ не могу еще оправиться отъ изумленія, въ которое онъ меня привелъ. Но—увы! изумленіе мое было вовсе не такого рода, какъ я надѣялся,—не изумленіе отъ чрезвычайныхъ ошибокъ. Первый же взглядъ, упавшій на четырнадцатую оду пятой книги,—на этомъ мѣстѣ раскрылся переводъ,—привелъ меня въ ужасъ».

Дѣло въ томъ, что Ланге часто не понималъ подлинника, и, напримѣръ, въ этой одѣ pocula somnum ducentia—«чаши, наводящія сонъ»—переводитъ «двѣсти чашъ сна»—воображая, что ducentia (наводящія) все равно, что ducenta (двѣсти).

Въ самомъ дѣлѣ, ошибка эта чрезвычайно груба. «Просмотрѣвъ книгу, продолжаетъ Лессингъ, я на каждой страницѣ замѣтилъ подобные промахи, и результатъ этихъ замѣтокъ былъ таковъ: г. Ланге, утверждающій, что девять лѣтъ занимался этимъ трудомъ, потерялъ девять лѣтъ; и совершенно непостижимо, какимъ образомъ могъ онъ счастливо подражать Горацію, не понимая его. «Въ подтвержденіе такого сужденія, критикъ приводитъ десятка полтора другихъ грубыхъ промаховъ переводчика, и оканчиваетъ: «Благодарите меня, что я не наскучаю вамъ гораздо большимъ числомъ такихъ вещицъ. Но и этихъ довольно, чтобы покачать головою надъ словами человѣка, хвалящагося въ предисловіи тѣмъ, что хотѣлъ дать буквальный и вѣрный переводъ. Силенъ ли, поэтиченъ ли, гладокъ ли, обладаетъ ли какимъ нибудь другимъ достоинствомъ

этотъ переводъ, пусть рѣшають другіе, а я не знаю, какъ искать въ немъ какого нибудь достоинства».

Можно вообразить себѣ гнѣвъ знаменитаго поэта!—онъ отвѣчалъ критику,—но, къ своему величайшему несчастію, хотѣлъ изъ оборонительнаго положенія перейти въ наступательное, и, не ограничиваясь опроверженіемъ замѣчаній Лессинга, набросить тѣнь на его характеръ, выставивъ, что строгость Лессинга—слѣдствіе неудачи его своекорыстныхъ ожиданій. Письмо Лессинга было перепечатано въ «Гамбургскомъ Корреспондентѣ», и Ланге напечаталъ «Письмо къ автору статьи о переводѣ Горація, помѣщенной въ Гамбургскомъ Корреспондентѣ». Тутъ говорилось, что черезъ одного общаго знакомаго, Лессингъ предлагалъ Ланге не печатать замѣчаній, если Ланге дастъ ему за то извѣстную сумму, но что Ланге не согласился платить дань журнальному крикуну, и за то Лессингъ озлобился противъ него.

На самомъ дёлё, случай, который Ланге выставляль въ такомъ дурномъ видъ, произошелъ слъдующимъ образомъ. Въ мартъ 1752 года, когда жилъ въ Виттенбергв, Лессингъ познакомился съ галлескимъ профессоромъ Николаи *), который провадомъ посвтилъ Виттенбергъ. По возвращении Николаи въ Галле, они стали переписываться между собою. Въ первомъ же письмъ, Лессингъ говориль, между прочимь, что прочель переводь Горація, сділанный Ланге, нашелъ въ немъ большія ошибки, и хочеть указать ихъ въ какой нибудь газеть. Николаи, бывшій близкимъ другомъ Ланге, заботясь о литературной славь своего друга, отвычаль Лессингу: «Я не советоваль бы никому, намеревающемуся жить въ прусскихъ владеніяхь, нападать на г. Ланге, потому что онъ пользуется силою при дворъ. Но я знаю его за человъка, который слушается добрыхъ совътовъ, когда ему хорошенько объяснять дъло. Потому надобно бы объяснить ему эти ошибки. Я думаю, не предложить ли ему самому быть издателемъ написанныхъ вами противъ него замёчаній, съ тёмъ, чтобы онъ могъ воспользоваться вашими поправками при новомъ изданіи своей книги, или отдёльно напечатать ихъ. Конечно, онъ долженъ при этомъ заплатить автору ихъ гонорарій, какъ вообще издатель платить автору за рукопись». Въ сво-

^{*)} Этого галлесскаго Николаи не должно смёшивать съ извёстнымъ берлинскимъ писателемъ—книгопродавцемъ Николаи, съ которымъ Лессингъ познакомился черезъ два года.

емъ отвъть, Лессингъ деликатнымъ образомъ отклонялъ предложение Николаи быть посредникомъ между нимъ и Ланге; ему непріятно было, что Николаи считаетъ его такимъ корыстолюбивымъ человъкомъ, который за деньги откажется отъ намъренія печатать статью—онъ хотълъ, чтобы Николаи не навязывался болье съ своимъ посредничествомъ, котораго Лессингъ вовсе не желалъ, и, дъйствительно, онъ не послалъ своихъ замъчаній въ рукописи, ни къ Ланге, ни къ Николаи—ясное доказательство того, что онъ вовсе не намъренъ былъ имъть сношеній съ Ланге и не хотълъ пользоваться предложеніемъ Николаи. Но Николаи сообщилъ Ланге о томъ, что писалъ ему Лессингъ и о своемъ предложеніи Лессингу, замъчая впрочемъ, что ни въ какомъ случать Лессингъ не откажется напечатать своихъ замъчаній.

Этимъ случаемъ воспользовался Ланге, чтобы, отвъчая на замъчанія Лессинга, прибавить, что онъ продажный Зоилъ, заставляющій авторовъ откупаться деньгами отъ его нападеній.

Лессингъ вознегодовалъ, прочитавъ гнусное обвинение возведенное на него Ланге, и ръшился отвъчать ему такъ, чтобы надолго остался памятенъ въ литературѣ этотъ отвътъ; - ръшение это не было только следствіемъ оскорбленнаго чувства, поздне, во время полемики съ Клоцемъ, Лессингъ говорилъ о своихъ страшныхъ возраженіяхъ: «много горячихъ словъ я употребилъ, но ни одного изъ нихъ не сказалъ только по увлеченію — нътъ, именно каждое изъ нихъ надобно было сказать, и каждое оставлено на своемъ мъсть по холодному, безпристрастному убъжденію, что польза литературы и справедливость того требують». Такъ было и теперь. Лессингу необходимо было безпощаднымъ образомъ доказать совершенную основательность своего прежняго приговора о переводъ Ланге, чтобы не оставалось ни въ комъ ни малейшаго сомнения. что онъ не увлекался какими нибудь личными отношеніями, объявляя этоть переводь плохимъ; онъ долженъ быль неумолимо наказать человъка, взводившаго подозрвнія на чистоту его характера, чтобъ отнять у другихъ охоту следовать примеру Ланге, — это было темъ необходимее, что ужь не въ первый разълитературныя замъчанія его подавали поводъ къ подобной клеветь, совершенно такой же случай быль съ нимъ по поводу замечаній на словарь Йохера.

«Словарь Ученыхъ» (Gelehrtenlexicon) Йохера—произведеніе громадной учености и ужасающаго трудолюбія, — работа, по до-

стоинству и громадности подобная греческому словарю Генриха Стефана, словарямъ средневъковаго латинскаго и средневъковаго греческаго языка Дюканжа, латинской и греческой библіотекамъ Фабриція, библіографическимъ словарямъ Эберта и Керара. Странно и подумать о томъ, сколько жизни и знанія, сколько терпенія и труда нужно было употреблять каждому изъ этихъ знаменитыхъ ученыхъ, чтобы дать наконецъ наукъ «сокровище», какъ и назвалъ свой словарь Генрихъ Стефанъ. За то действительно можно назвать подобныя работы «сокровищами науки» --- онъ навъки остают-ся необходимыми справочными книгами для всёхъ позднёйшихъ изследователей. И когда, съ теченіемъ времени, съ накопленіемъ новыхъ фактовъ, необходимы бываютъ новыя дополненныя изданія подобныхъ трудовъ, целыя общества ученыхъ соединяются для совершенія столь исполинскаго діла, такъ недавно ділалось сотрудничествомъ почти всехъ филологовъ западной Европы новое изданіе греческаго словаря Генриха Стефана.

Странно, неправдоподобно дело, предпринятое Лессингомъ, когда явился «Словаръ Ученыхъ» Йохера. Разсматривая его, онъвздумаль издать пополненія и поправки къ этому гигантскому труду, - работа, требующая столько же учености и труда, какъ и самое составление «Словаря». Лессингь быль въ то время двадцатитрехълвтнимъ юношею; последние четыре или пять леть, юношапровель въ томъ, что писалъ комедіи, стихотворенія, журнальныя статьи для своего пропитанія, — онъ быль литературнымъ поденщикомъ, - не для науки, а для куска хлібба онъ работаль, - не орасширеній знаній, а о томъ, какъ бы заработать себ'в полтора. гроша на объдъ, надобно было ему думать, -- ему ли быть приготовленнымъ къ совершенію труда, за который онъ брался? Когда. онъ успълъ пріобръсти громадныя знанія, нужныя для того? Когда. ему, нищему и полуголодному газетному чернорабочему, пишущему на срокъ статьи, переводящему французскія, испанскія, англійскія книги для того, чтобы получить отъ книгопродавца по двадцата. или тридцати талеровъ за переводъ тома, - когда ему писать этидополненія и поправки, въ которыхъ каждая строка — результатъ разъисканій, въ которыхъ для одной цифры, для одного слова нужночасто перерыть цёлую библіотеку?

Когда и какъ онъ успёль это сделать, когда успёль пріобрестьгромадную ученость, когда находиль время для справокъ и изследованій, — это было ужь его діло; но какъ бы то ни было, двадцати-трехлітній юноша объявиль о своемъ намівреніи издать поправки и дополненія къ «Словарю Ученыхъ» Йохера и при объявленіи, какъ образецъ своего труда, напечаталь первые три листа его, обнимавшіе имена отъ Abaris до Acciajoli.

Йохеръ, прочитавъ эти поправки и дополненія, увидѣлъ, что въ своемъ молодомъ критикѣ имѣетъ достойнаго продолжателя, получилъ высокое уваженіе къ его учености и дружески просилъ Лессинга, вмѣсто того, чтобы печатать этотъ трудъ отдѣльно, сообщить свои матеріалы ему, Йохеру, который воспользуется ими при новомъ изданіи «Словаря Ученыхъ», объяснивъ въ предисловіи участіе Лессинга въ улучшеніи этого труда. Лессингъ согласился на это предложеніе, передалъ Йохеру собранные имъ матеріалы, и получилъ за нихъ отъ книгопродавца, издававшаго «Словарь», вознагражденіе, на которое имѣлъ право, какъ сотрудникъ Йохера въ приготовленіи новаго изданія *).

Отношенія Йохера въ Лессингу были дружелюбны и почетны для Лессинга. Своими замічаніями, онъ пріобріль глубокое уваженіе ученаго автора, трудъ котораго исправляль. Но въ кругу виттенбергскихъ недоброжелателей Лессинга (сношенія съ Йохеромъ о матеріалахъ для исправленія его «Словаря» происходили въ то время, какъ Лессингъ жилъ въ Виттенбергів) распространилась неліпая молва, что Лессингъ хотіль запугать Йохера своею критикою, чтобы взять съ него деньги. Надобно припомнить еще исторію съ Вольтеромъ, принявшую также очень двусмысленный колорить по раздражительному крику знаменитаго философа, и мы поймемъ, какъ необходимо было Лессингу положить конецъ подобнымъ толкамъ, касавшимся его чести, когда Ланге вздумалъ кричать о низкомъ его своекорыстіи.

Въ дълъ съ Вольтеромъ, Лессингъ не платилъ оскорбителю печатными возраженіями, чувствуя, что своею неосторожностью, дъйствительно, подалъ ему поводъ къ подозръніямъ,—онъ, какъ бы въ наказаніе себъ за эту неосторожность, ръшился молчать,—его строгость къ самому себъ вполнъ проявилась этимъ молчаніемъ. Въ дълъ Йохера, клевета ограничивалась изустными толками, не выражаясь печатно, и Лессингу не было еще возможности печатно опровергать ее. Но Ланге обвинялъ его печатно, относительно Лан-

^{*)} По смерти Йохера, эти матеріалы погибли.

ге онъ не могъ винить себя ровно ни въ чемъ, ни даже въ какомъ нибудь мелочномъ формальномъ проступкъ, и онъ отвъчалъ Ланге. Отвътъ былъ страшенъ, онъ сдълалъ дерзкаго клеветника посмъшищемъ въ нъмецкой литературъ, и до сихъ поръ считается образцомъ ъдкой полемики.

Рецензіи «Фоссовой газеты» не подписывались именами авторовъ; но когда былъ напечатанъ пасквиль Ланге, Лессингь, увёдомляя о появленіи этой клеветы, подписалъ свое изв'ященіе о брошюр'я полнымъ своимъ именемъ:

«Сейчасъ получилъ я (сказано было въ «Фоссовой газеть» 27 декабря 1753 г.) брошюру въ два печатныхъ листа, въ 8 д., подъ заглавіемъ: «Письмо Самуэля Готтгольда Ланге къ редактору ученаго отдпла Гамбургскаго Корреспондента, по поводу рецензіи перевода Горація, напечатанной въ №№ 178 и 179 этой газеты». Туть г. Ланге делаеть мив честь, отвечая на мою критику, а себе безчестье, отвъчая на нее невообразимо пошлымъ образомъ. Желая оправдать свои прежнія ошибки, онъ, что ни слово дёлаеть новыя. Онъ, кажется, состязаются о томъ, которая изъ нихъ сдълаеть его более смешнымъ, и достигаютъ своей цели такъ удачно, что нужно мит подумать итсколько дней, чтобъ решить, которой отдать пальму первенства. Но относительно одного пункта я поспешаю отвечать ему: чего я никогда не ожидаль услышать отъ разумнаго человъка, слышу отъ него, уже не въ первый разъ превосходящаго мои ожиданія своими подвигами. Онъ касается моего нравственнаго характера, до котораго, кажется, не нужно бы касаться въ дёле о грамматическихъ ошибкахъ. На 25-й страницъ, онъ выставляетъ меня въ отвратительномъ свътъ, выставляетъ меня критическимъ бандитомъ, который вынуждаетъ писателей откупаться отъ его ударовъ. Я могу отвечать на это только темъ, что объявляю г. Ланге злостнымъ клеветникомъ, если онъ не представить доказательствъ обвиненію, взведенному на меня этою страницею. Пусть онъ докажетъ истину своихъ словъ-впрочемъ, я требую отъ него невозможнаго. а мив слишкомъ не трудно доказать его аживость, и именно письмомъ того самаго «посредника», на котораго онъ ссылается. Въ своемъ соотвътъ, я представлю это письмо публикъ, и тогда увидятъ, что предполагаемая г-мъ Ланге низость никогда не приходила мнъ въ голову. А до того времени, остаюсь его покорнъйшимъ слугою. «Готтгольдъ Эфраимъ Лессингъ».

Черезъ три недъли, появилось знаменитое «Vademecum для г. Ланге», имъющее форму письма къ Ланге. «Милостивый государь (такъ начинаетъ Лессингъ), незнаю, нужно ли мнъ извиняться, что я безъ всякихъ околичностей обращаюсь съ своимъ отвътомъ прямо къ Вамъ. Но ужь у меня такая привычка. Когда я долженъ сказать что нибудь человъку, то прямо и говорю это ему самому, хотя бы онъ и сердился за то. Эта привычка, какъ меня увъряли, не дурна. Потому я и держусь ея.

«Отъ глубины сердца я стыжусь, что встретилъ себе въ васъ жалкаго противника. Что Вы действительно жалкій противникъ, докажу я Вамъ въ первой части моего письма. А вторая часть докажетъ Вамъ, что, кроме незнанія обнаружили Вы своей антрикритикою очень пошлыя правила, ясне сказать, что Вы клеветникъ. Первая часть будетъ иметь два подразделенія. Сначала я докажу, что защищаемыхъ Вами отъ моего осужденія месть Вашего перевода Вы не успели защитить, да и нельзя ихъ защитить. А потомъ я буду иметь удовольствіе услужить Вамъ указаніемъ некотораго количества новыхъ ошибокъ въ вашемъ переводе.

«Чтобы нѣсколько успокоить волненіе кипящей крови, милостивый государь, очень полезно Вамъ будеть выпить стаканъ свѣжей ключевой воды, прежде нежели мы займемся дѣломъ. Такъ. Выпейте еще стаканъ. Теперь, начнемъ».

Каламбуры, остроты всякаго рода сыплются на бѣднаго Ланге при разборѣ тѣхъ мѣстъ перевода, которыя онъ захотѣлъ защитить отъ упрека въ невѣрности. Ѣдкость насмѣшки постоянно соединена съ самою искреннею веселостью,—видно, что въ самомъ дѣлѣ борьба съ Ланге слишкомъ легка, не болѣе какъ забавна для его критика. О рѣзкости тона можно судить по началу. Но уже и тутъ замѣтна манера, которой впослѣдствіи постоянно слѣдовалъ Лессингь: онъ умѣетъ, начиная съ какого нибудь неважнаго спора о значеніи латинскаго слова, придавать этому спору важность для науки, переходя эпизодически къ объясненію того или другаго серьезнаго вопроса науки, и его споръ съ Ланге усѣянъ замѣчаніями, которыя важны для классической филологіи, для латинскихъ и греческихъ древностей, для исторіи или философіи *).

^{*)} Укажемъ хотя одинъ примъръ: «Priscus Cato» (кн. 3, ода 21) Ланге переводитъ «Прискъ Катонъ», принимая прилагательное priscus—старинный— за собственное имя:

Уничтоживъ всё возраженія Ланге, доказавъ, что ошибки, указанныя имъ въ прежней рецензіи, действительно грубыя ошибки, Лессингъ переходитъ къ второму подраздёленію первой части своего ответа — подбору новыхъ, еще грубейшихъ ошибокъ, такимъ образомъ:

«Довольно, слишкомъ довольно,—а впрочемъ, для такого человъка, какъ Вы, милостивый государь, все еще будетъ мало, потому что труднъе всего на свътъ учить стараго высокомърнаго игноранта. Впрочемъ, я самъ до нъкоторой степени виноватъ, что надълалъ себъ скуки — зачъмъ я не приводилъ въ рецензіи все только такихъ примъровъ, какъ ducentia? *).

«Но, чего я не сдёлаль тогда, сдёлаю теперь, — пора заняться подборомъ новыхъ ошибокъ въ Вашемъ переводё, при чемъ я прошу вашего позволенія пересмотрёть съ Вами одну первую книгу одъ-Нарочно говорю: одну первую, потому что мнё некогда перєсматривать остальныхъ, — у меня есть дёла болёе важныя, нежели исправленіе Вашихъ упражненій въ латинскомъ языкі. И впередъ обіщаю Вамъ въ каждой оді этой книги показать по крайней мірь одну непростительную ошибку. Я тороплюсь, и всёхъ, —даже

(Недаромъ говорять, что и Катонъ старинный Нерёдко доблести подогрёваль виномъ.

Переводъ г. Фета).

Это ошибка самая грубая, очевидная для всякаго, совершенно безспорная въ родв того, какъ у насъ французское заглавіе книги Гельвеція:

De l'Esprit, par Helvetius, fermier-général

(О духъ, соч. генеральнаго откупщика Гельвеція),

было, говорять, когда-то переведено: «Сочиненіе швейцарскаго генерала Ферміера». Лессингь не ограничивается насмъшками надъ грубостью ошибки—нѣть, пользуясь случаемъ, онъ вставляеть генеалогическое изслѣдованіе о родѣ Катоновъ и объясняеть мѣсто въ плутарховомъ жизнеописаніи старшаго Катона, остававшееся до того времени темнымъ. Вълитературномъ отношеніи, ученыя сочиненія Лессинга пріобрѣтають, отъ этой почти фельетонной манеры эпизодичности, чрезвычайную живость и разнообразіе, такъ, что напримѣръ, его «Письма антикварскаго содержанія», главный предметь которыхъ—изслѣдованіе о камеяхъ и рѣзныхъ драгоцѣныхъ каменьяхъ у древнихъ, читаются очень легко.

^{*)} См. выше, — «двёсти чашъ сна» вмёсто «снотворныя чаши» — этой ошибки Ланге не защищаль.

первостепенныхъ, — конечно не успъю подмътить, — потому, мое молчание о многихъ опшбкахъ, да не будетъ почтено предосудительнымъ для нихъ: онъ таки пусть останутся опшбками полнаго достоинства, все равно какъ бы и упомянуты были мною. Но примемся за дъло».

И дъйствительно, проходя по порядку изъ 38 одъ первой книги всъ 37 одъ, кромъ послъдней, въ каждой изъ нихъ Лессингъ указываетъ грубую ошибку,—и наконецъ, для разнообразія, о послъдней одъ говоритъ: «въ ней нътъ грубихъ ошибокъ — за то она и состоитъ всего изъ восьми стиховъ — нужды нътъ, она искупаетъ собою всъ прежнія: Ende gut, Alles gut,—«конецъ дъло краситъ».

«Воть мы кончили. Я Вамъ отвъчаль, и больше отвъчать не стану, хотя бы десять разъ принимались Вы за оправданія, — я стану только ждать что будетъ говорить публика. Она ужь начинаетъ принимать мою сторону, и я еще надъюсь дожить до того времени, когда едва будутъ вспоминать, что нъмецкій поэтъ Ланге перевелъ Горація. И мою критику тогда забудутъ,—чего я и желаю, потому что гордиться ею мнъ нельзя. Вы не такой противникъ, въ борьот съ которымъ была бы возможность обнаружить силу. Мнъ бы съ самаго начала слъдовало пренебречь Вами,—и я, навърное, пренебрегъ бы, если бы не вынуждала у меня истины Ваша гордость и предубъжденіе публики, что Вы замъчательный поэтъ. Я показалъ Вамъ, что Вы не знаете ни языка, ни филологической критики, ни древностей, ни исторіи, не знаете ровно ничего,—чего жь еще требовать отъ меня?

«Все это, милостивый государь, было бы еще не большимъ позоромъ для Васъ, если бы я не долженъ былъ вмъстъ съ тъмъ обнаружить передъ публикою, что Ваши правила очень низки, и что, просто говоря, Вы клеветникъ. Въ этомъ должна состоять вторая часть моего письма, которая будетъ гораздо короче, зато и гораздо сильнъе первой.

«Споръ между нами, милостивый государь, шелъ о грамматическихъ дёлахъ, то есть о мелочахъ, мелочнёе которыхъ не можетъ быть ничего на свёть. Никогда бы я не вообразилъ себъ, что разумный человёкъ можетъ принять оскорбленіемъ себъ упрекъ въ этомъ незнаніи,—принять оскорбленіемъ, за которое надобно мстить не одною грамматической, но и злостной ложью. Я упрекалъ Васъ въ ученическихъ промахахъ — Вы старались обратить эти упреки

на меня, — и, тѣмъ, кажется, могли бы удовольствоваться. Нѣтъ, Вамъ было мало ограничиться возраженіями,—Вы захотѣли сдѣлать меня человѣкомъ отвратительнымъ, гнуснымъ въ глазахъ чествыхъ людей. Каковы правила! Но каково и ослѣпленіе—взводить на меня обвиненіе, котораго во вѣки вѣковъ не только не можете Вы доказать,—не можете даже сдѣлать правдоподобнымъ!

«Вы говорите, будто бы я Вамъ предлагалъ деньгами откупаться отъ моей критики. Я? вамъ? откупаться деньгами? Несчастье было бы для меня, еслибъ я могъ возразить Вамъ только требованіемъ доказать справедливость этого обвиненія, — требованіемъ, невозможность исполнить которое обличила бы Васъ, — нътъ, къ счастію, я имъю въ рукахъ средства положительнымъ образомъ обличить Васъ.

«Тотъ посредникъ, черезъ котораго, какъ Вы говорите, я дѣлалъ Вамъ низкое предложеніе, долженъ быть не кто иной, какъ г. Н., о которомъ вы упоминаете на 21 страницѣ, потому что онъ единственный человѣкъ, лично знакомый и съ Вами и вмѣстѣ со мною, и единственный человѣкъ, которому я говорилъ о моемъ разборѣ Вашего «Горація», прежде, нежели этотъ разборъ былъ напечатанъ. Слушайте же.

«Въ мартв 1752 года, этотъ г. Н. провзжалъ черезъ Виттенбергъ, когда я жилъ тамъ, и почтилъ меня тамъ своимъ посъщеніемъ. Я его до того времени никогда не видывалъ и зналъ только по его сочиненіямъ. Съ Вами же онъ связанъ былъ многолётней, тёсной дружбой. По возвращеніи его въ Галле, мы стали перепискою продолжать начавшіяся между нами дружественныя отношенія».

Слѣдуетъ разсказъ, приведенный нами выше. Представивъ читателямъ подлинное письмо Николаи, заключающее предложение сдѣлки съ Ланге и сообщенное нами выше, Лессингъ продолжаетъ:

«Повторяю, это писаль человыкь, съ которымь я въ цылую свою жизнь видылся только однажды, а Вы были давно друзьями. У меня ныть желанія уподобляться Вамь, взводя на людей низкія обвиненія,—иначе, мны легко было бы обратить Ваше обвиненіе противъ Вась и придать правдоподобность мысли, что Вы сами руководили предложеніями Вашего друга. Но, какъ это ни правдоподобно, я не вырю тому, зная добродушный характерь этого посредника, безъ сомнынія, дыйствовавшаго по собственной мысли. Я

радъ, если онъ сохранилъ мои отвъты ему, и хотя не припомню въ точности, какъ именно отвъчалъ я на его предложеніе, но достовърно знаю, что я ни слова не говорилъ ни о деньгахъ, ни о вознагражденіи. Признаюсь, мнѣ было нѣсколько досадно, что г. Н. считалъ меня такимъ жаднымъ на деньги человѣкомъ Согласившись даже, что по моей житейской обстановкѣ онъ заключилъ, что денегъ у меня не слишкомъ много, я не могу понять, какимъ образомъ онъ могъ предположить, что для меня равны всякія средства къ ихъ пріобрѣтенію. Во всякомъ случаѣ, уже то самое обстоятельство, что я не послалъ ему рукопись своей рецензіи, онъ долженъ былъ бы считать молчаливымъ неодобреніемъ своего предложенія, хотя бы я могъ принять это предложеніе безъ нарушенія моихъ правилъ, потому чго оно дѣлалось безъ малѣйшаго содѣйствія съ моей стороны.

«Что Вы теперь будете отвъчать? — Въроятно, Вы постыдитесь за себя. Но вътъ, клеветники выше чувства стыда.

«Впрочемъ, на свое несчастіе Вы были злостны: увѣряю Васъ, что безъ той лжи, о которой я говорю, Вашъ отвѣтъ не заставилъ бы меня взяться за перо. Я легко перенесъ бы, что Вы, senex ABC darius (старый школьникъ), называете меня молодымъ, наглымъ критикомъ и т. п., что Вы говорите, будто бы вся моя ученость взята изъ Бэля, и т. д.,—легко перенесъ бы я подобные пустяки, на которые и не отвѣчаю. Объ учености или неучености моей повволительно каждому судить, какъ угодно. Но чернить мою честность я никому не позволю безнаказанно, и буду всегда называть вашу фамилію, когда случится мнѣ надобность указывать примѣръ мстительнаго лжеца.

«Этимъ увъреніемъ заключаю мое письмо. Имъю честь быть вашимъ... Нътъ, этого не нужно. Я вижу, что мое письмо обратилось въ цълую статью. Зачеркните же слова «милостивый государь» въ его началъ. Остается мнъ теперь только напечатать его въ 12 долю листа, чтобы оно соотвътствовало вашему замъчанію по поводу формата моихъ сочиненій *), чтобы оно было для васъ дъйствительно «Vademecum», который совътую вамъ чаще пе-

^{*)} Лессингъ любилъ маленькій формать, въ 12 долю, и его сочиненія были напечатаны въ этомъ формать, тогда еще мало употребительномъ въ Германіи. Ланге придумалъ грязную шутку объ этомъ формать сочиненій своего критика.

речитывать, для улучшенія вашего ума и характера; я переплету эту брошюру въ обертку, какая употребляется для азбукъ, и съ приличнымъ посвященіемъ пришлю вамъ. Желаю, чтобы подарокъ принесъ вамъ пользу»,

Ланге пытался возражать, но его уже никто не слушаль; нѣкоторые изъ литературныхъ враговъ Лессинга или кліэнтовъ Ланге, — впрочемъ, немногіе, — хотѣли было защищать Ланге, — напрасно, всѣ смѣялись надъ ихъ слабыми усиліями. Поэтическая слава несчастнаго Ланге была совершенно уничтожена: публика и всѣ независимые писатели приняли сторону Лессинга, имя его получило чрезвычайно громкую извѣстность.

Нѣтъ надобности говорить, что главная цѣль, которую имѣлъ онъ въ виду—очищеніе своей литературной репутаціи отъ всякихъ нареканій, была совершенно достигнута. Съ этого времени, что бы ни говорили его литературные враги, онъ былъ уже безопасенъ въ своей чести. Публика съ негодованість отвергала, какъ низкую ложь, всякое нападеніе на чистоту его образа мыслей и намѣреній, непоколебимо вѣря, что каждый его поступокъ внушенъ благороднѣйшими цѣлями.

Исторія Ланге можеть служить однимь изъ доказательствъ польвы, какую полная гласность приносить безупречности добраго имени тъхъ людей, которые могутъ назваться благородными; можетъ служить доказательствомъ того, что честному человеку нёть нужды бояться кривыхъ толковъ, какъ только достигаютъ они гласности. Страшна клевета только тогда, когда она укрывается во мракф. Не вздумай Ланге печатно называть Лессинга продажнымъ человъкомъ, быть можеть, или, лучше сказать, безъ всякаго сомивнія, на добромъ имени Лессинга до сихъ поръ лежало бы пятно: втихомолку, отъ одного изъ знакомыхъ Ланге въ другому, отъ другаго въ третьему, распространялся бы слухъ о томъ, какъ Лессингъ хотель взять съ Ланге деньги и ожесточился противъ него только за то, что не успълъ взять денегъ. Эта молва достигла бы до следующаго поколенія, которое ужь не имело бъ средствъ проверить фактовъ и должно было бы върить разсказу въ томъ видь, какой дала ему раздражительная подозрительность Ланге.

Въ самомъ дѣлѣ, разсказъ этотъ долженъ былъ бы показаться правдоподобнымъ. Лессингъ страшно нуждался въ деньгахъ, когда писалъ и потомъ печаталъ разборъ Ланге; Николаи писалъ Ланге,

что Лессингъ согласенъ продать ему рукопись своей рецензіи, очень ёдко написанной. Чего же больше? Дёло ясное, Лессингъ хотёлъ, чтобы Ланге откупился отъ его нападеній.

Эти факты придавали правдоподобность обвиненію; было и другое обстоятельство, еще болве затруднявшее защиту: Лессингь, не сохранивь у себя копій съ писемъ своихъ по этому дёлу, не помниль въ точности, какъ именно отвічаль онъ на предложеніе Нилаи; письма были въ рукахъ противной партіи,—при малійшей и самой ничтожной неточности въ изложеніи діла, Ланге могь обвинить Лессинга въ искаженіи фактовъ, въ лжи и тімъ придать новую правдоподобность прежнему обвиненію.

Лессингъ не считалъ нужнымъ прикрывать эти затрудненія: онъ прямо говориль: «я нуждался въ деньгахъ; предложеніе было выгодно; я не помню въ точности, какъ именно я отвѣчалъ на него»— онъ, какъ видимъ, совершенно пренебрегалъ всякими уловками,— и рѣшительно выигралъ дѣло во мнѣніи всѣхъ; прямота замѣнила для него всѣ другія средства увѣренія. Сознаніе нравственнаго и умственнаго превосходства надъ всѣми противниками, никогда не измѣнявшее Лессингу, и здѣсь выразилось съ такою силою, что не осталось возможности сомнѣваться въ справедливости его словъ.

Вообще, съ самаго начала критической двятельности, Лессингъ постоянно чувствовалъ себя сильнвйшимъ; вступая въ полемику, онъ всегда былъ уввренъ, что противникъ покажется публикв слабъ, тупъ и вялъ въ сравненіи съ нимъ; всегда былъ впередъ уввренъ, что споръ не можетъ кончиться иначе, какъ совершеннымъ пораженіемъ его противника. Онъ былъ чуждъ сомнвнія въ своемъ торжествв, чуждъ всякихъ опасеній за себя. Потому, его полемика, чрезвычайно энергическая, въ то же время отличается рёдкимъ самообладаніемъ, ясность его взгляда, веселость его шутки, если онъ хочетъ шутитъ, не возмущается ничвмъ, и укоризны его противнику никогда не переходятъ границъ самой строгой справедливости, — онъ выражается рвзко, но мысль, выраженная безпощадно, всегда выдерживаетъ провврку самаго строгаго безпристрастія.

До какой степени онъ сохраняль чувство превосходства надъсвоими противниками, можно видъть изъ слъдующаго случая. Готтшедіанцы, надъ которыми онъ жестоко смъядся, вздумали отвъчать ему особеннымъ памфлетомъ, который назвали «Possen»—«Шутки въ карманномъ форматъ — послъднія слова заключали намекъ на маленькій форматъ, въ которомъ печатались сочиненія Лессинга. Съ тъмъ вмъстъ, готтшедіанцы прислали въ редакцію Фоссовой газеты (въ которой писалъ Лессингъ) рецензію этою брошюры. Что жь сдълалъ Лессингъ? — Вотъ его статья:

«На дняхъ явилась брошюра изъ двухъ печатныхъ листовъ, въ 12-ю долю листа, подъ заглавіемъ: «Шутки, въ карманномъ форматв». Авторъ, или одинъ изъ пріятелей автора, имѣлъ предусмотрительность прислать въ редакцію нашей газеты слѣдующую рецензію (слѣдуетъ присланная рецензія, написанная въ похвалу брошюры). Понимаемъ, г. панегиристъ. И чтобы поняли вы всѣ, скажемъ прямо, что эти шутки, которыя

ipse

Non sani esse hominis, non sanus juret Orestes

(самъ безумный Оресть назоветь написанными безумцемъ),—что эти «Шутки», по всему въроятію, должны быть насмъшкою надъформатомъ и внѣшнею формою сочиненій Лессинга. Онѣ стоятъ три гроша. Но и трехъ грошей никто не дастъ ради шутки. Какимъ же образомъ помочь брошюрѣ распространиться въ публикѣ? Наша газета рѣшилась сдѣлать все возможное для достиженія этой цѣли. Именно, мы перепечатали эту брошюру и назначили ей для продажи цѣну, какой она стоитъ, т. е. нуль. Кто хочетъ имѣть ее даромъ, можетъ получить въ книжномъ магазинѣ Фосса».

Само собою разумѣется, какое впечатлѣніе должна была производить подобная увѣренность и на публику и на самыхъ противниковъ—съ насмѣшливою улыбкою заботиться самому о распространеніи въ публикѣ брошюры, которая выдавала себя за злую сатиру лессинговыхъ сочиненій, — это могъ сдѣлать только Лессингъ. Конечно, читая объявленіе, что брошюра, написанная противъ Лессинга, перепечатана самимъ Лессингомъ и даромъ у его книгопродавца раздается всѣмъ, желающимъ имѣть ее, каждый думалъ: вѣроятно, сатира очень пуста и неудачна, вѣроятно, онъ гораздо выше своихъ противниковъ, если такъ играетъ ихъ нападеніями.

Въ самомъ дѣлѣ, очень скоро Лессингъ пріобрѣлъ въ нѣмецкой критикѣ рѣшительный голосъ; готтшедіанцы, бодмеріанцы и другія старыя партіи были совершенно уничтожены имъ во мнѣніи

публики, лишились всякаго вліянія на литературу, сділались предметомъ общихъ насмішекъ. Критическія статьи въ первыхъ четырехъ частяхъ его «Сочиненій», и рецензіи, которыя онъ поміщаль въ «Фоссовой газеті», положили начало преобразованію литературныхъ понятій; «Литературных письма» довершили это діло. Съ «Литературныхъ писемъ» (1759—1760), которыя началь онъ издавать при содійствіи Николаи и Мендельсона, начинается для нівмецкой литературы новая эпоха.

Мендельсонъ и Николаи, съ которыми Лессингъ сошелся вскорѣ послѣ своего вторичнаго возвращенія въ Берлинъ, въ 1754 году, остались навсегда ближайшими его друзьями въ жизни и долго были истолкователями его мыслей въ литературѣ. То и другое обстоятельство заставляють насъ ближе познакомиться съ этими обоими литераторами.

Николаи пережилъ Лессинга тридцатью годами, и въ последнее время своей литературной діятельности, находился, какъ человісь старыхъ понятій, въ жестокой враждё съ представителями новой эпохи, — Кантъ и Фихте, Гете и Шиллеръ съ одинаковою суровостью были осуждаемы имъ, и, въ свою очередь, отвъчали устарелому критику не мене жестокимъ образомъ. Въ этой неравной борьбъ, сильно пострадала литературная слава Николаи. Особенно жестокій ударъ нанесли ему во мивніи публики и большинства писателей знаменитыя «Ксеніи» Гёте и Шиллера—эти безпощадныя эпиграммы, которыми геніальные друзья на смерть поразили своихъ литературныхъ противниковъ и въ которыхъ главнымъ предметомъ насмъшки быль поставленъ Николаи. Долго послъ того, забывая прежнія его услуги литератур'в и просв'ященію, смотр'яли на Николаи, какъ на поверхностнаго и злобнаго Зоила, который хотыть задержать развитие немецкой литературы, чтобы сохранить свою власть въ критикъ, и нелъпымъ образомъ ратоваль противъ всего истинно-глубокаго и прекраснаго, что было выше его узкихъ, одностороннихъ и поверхностныхъ понятій. Теперь, когда увлеченіе прошло, историки литературы признали, что и въ последнюю эпоху своей двятельности, Николаи оставался человъкомъ честнымъ и добросовъстнымъ, писателемъ умнымъ и здравомыслящимъ; признали, что, ратуя противъ новыхъ стремленій, онъ часто бываль правъ, --если не въ нападеніяхъ на такихъ людей, какъ Шиллеръ, Канть, Фихте и Гете, которые действительно понимали истину

глубже и шире, нежели онъ, то въ спорахъ съ Лафатеромъ, Юнгомъ, — Штиллингомъ, Якоби, романтиками и т. д., — такъ что даже и въ эти годы, когда онъ навлекалъ на себя вражду лучшихъ людей нёмецкой литературы, онъ былъ не безполезенъ въ въ борьбе съ обскурантами и мистиками. Еще гораздо больше пользы принесъ онъ литературе въ прежнее время, когда действовалъ по внушенію и подъ руководствомъ Лессинга, моложе котораго былъ онъ четырымя годами (род. 1733).

Сынъ берлинскаго книгопродавца, Николаи былъ почти совершенно самоучка, потому что посъщаль только гимназическіе классы, и мальчикомъ еще отданъ быль отцомъ въ книжную лавку одного изъ отцовскихъ товарищей по ремеслу, во Франкфуртв-на-Одеръ. Тутъ онъ много имълъ свободнаго времени и съ жадностью читалъ всв книги, какія только попадались ему въ руки. Въ 1752 году, когда отецъ взялъ его въ свою лавку, въ Берлинъ, Николам быль уже образованнымь человъкомь, завель знакомство съ лучшими берлинскими литераторами, - Клейстомъ, Зульцеромъ, Рамлеромъ, и въ следующемъ году издалъ брошюру, направленную противъ Готтшеда и надълавшую довольно радости бодмеристамъ. довольно огорченія готтшедіанцамъ. Но радость швейцарцевъ была непродолжительна: въ следующемъ году Николаи напечаталъ «Письма о нынешнемъ состояни изящной литературы въ Германи», въ которыхъ нападаль на объ партіи съ равною эдкостью. Это сочиненіе внушено было молодому книгопродавцу изученіемъ лессинговыхъ статей, и написано совершенно въ духв Лессинга, только съ темъ различіемъ, что Николаи не чувствуеть въ себъ смълости судить о стародавнихъ знаменитостяхъ, напримеръ, Бодмерв, такъ резко, какъ Лессингъ, и осуждая последователей, щадитъ учителей. «Изъ двухъ партій, разділяющихъ господство надълитературою, иміветъ ли та или другая право ожидать, чтобы къ ней присталь человъкъ, одаренный вкусомъ? говоритъ Николаи:-- нетъ, недостатки той и другой слишкомъ очевидны. Намъ необходима строжайшая критика, если мы хотимъ имъть произведенія, которыя дошли бы до потомства; твиъ необходимве она, если справедливо то, что мы еще не умемь отличать мишурных прикрась от истинной красоты, если справедливо, что наши таланты считають излишнимъ деломъ серьезность и обдуманность, а трудолюбивымъ нашимъ писателямъ недостаеть таланта».

«Письма» эти доставили Николаи случай лично познакомиться съ Лессингомъ, которому попался въ руки одинъ изъ оттисковъ первыхъ листовъ книги, разосланныхъ по книжнымъ лавкамъ вмѣсто объявленій. Онъ увидѣлъ въ Николаи даровитаго послѣдователя своихъ мнѣній, и сдѣлался его руководителемъ, такъ что въ концѣ книги замѣтны уже слѣды личныхъ разговоровъ Николаи съ Лессингомъ.

Николаи быль человъкъ съ практическимъ направленіемъ, человъть съ сильнымъ здравымъ смысломъ, съ дъятельнымъ, твердымъ характеромъ, обладавшій знаніемъ людей, уміньемъ обращаться съ ними и искусствомъ разсчетливо вести свои денежныя дела. Онъ быль рождень для того, чтобы сделаться журналистомъ, и, действительно, несколько десятковь леть сохраняль онь первенствующее положение въ немецкой журналистике. Его «Библютека изящныхъ искусствъ», начатая подъ вліяніемъ Лессинга и предшествовавшая «Литератунымъ письмамъ», была, въ свое время, очень полезнымъ критическимъ журналомъ. «Всеобщая нъмецкая Библіотека», основанная послів «Литературных в писемь» и продолжавшаяся более сорока леть, была самымь важнымь изъ нъмецкихъ журналовъ по своему огромному вліянію на публику, въ которой »Всеобщая немецкая библіотека» распространила массу новыхъ свётлыхъ понятій. То, что составляло достоинство этого журнала, было, можно сказать, только повтореніемъ и развитіемъ идей, которыми одушевиль Лессингь первые томы «Литературных» писемъ», навсегда оставшіеся образцомъ нізмецкихъ критическихъ журналовъ.

Лучшими своими качествами, журналы, которые издаваль Николаи, были обязаны Лессингу; образъ мыслей самого Николаи развился совершенно подъ его вліяніемъ. Еще пряміве было участіе Лессинга въ развитіи Мендельсона,—человіка, игравшаго также важную и чрезвычайно благородную роль, какъ въ развитіи німецкой литературы, такъ и въ развитіи того племени, къ которому онъ принадлежаль *).

^{*)} Изъ сочиненій Мендельсона, въ старину у насъ были переведены два, принадлежащія къ числу важнівйшихъ: «Разсужденіе о духовномъ свойстві души человіческой», перев. Я. Толмачева, М. 1806 и «Федонъ или о безсмертіи души». М. 1808 г. «Федонъ» недавно вышель вторымъ изданіемъ, въ другомъ новомъ переводі.

Сынъ бъднаго еврея, учителя въ сельской еврейской школъ, Мозесъ Мендельсонъ быль воспитанъ отцомъ на Талмудъ, хитрыя и суевърныя ученія котораго надобно считать одною изъ главныхъ причинъ недостатковъ, которыми страждетъ характеръ евреевъ во многихъ странахъ. Во времена Мендельсона, нъмецкіе евреи находились въ такомъ же положеніи, какъ нынѣ польскіе и русскіе. Они были слепыми поклонниками талмудическихъ бредней, занимались почти исключительно не совсемъ чистыми промыслами, были въ общемъ презрѣніи не только у простолюдиновъ, но и у людей образованныхъ, которые считали это племя безвозвратно испорченнымъ въ нравственномъ отношеніи. Мендельсону, больше, нежели кому нибудь другому, его соплеменники обязаны тъмъ, что и сами во многомъ избавились отъ своихъ прежнихъ недостатковъ, и тъмъ, что предубъждение, отдалявшее отъ нихъ людей другихъ исповъданій, ослаб'яло. Любознательность рано пробудилась въ Мендельсон'я, который на семнадцатомъ году прівхаль въ Берлинъ, чтобъ искать тамъ средствъ для жизни, и долгое время терпълъ страшную нужду, не мъшавшую ему, однако же, сильно заниматься древними языками и философіею. Черезъ нъсколько времени, юноша нашелъ себъ покровителя въ своемъ соплеменникъ, докторъ Гумперцъ, потомъ поступилъ учителемъ дътей къ другому еврею, богатому фабриканту Бернгарду, у котораго быль потомъ бухгалтеромъ, и который передаль ему, наконець, свою фирму. Благородный, кроткій характерь и возвышенный образь мыслей пріобрітали Мендельсону уважение всъхъ, съ къмъ онъ сближался. Лессингу онъ былъ рекомендованъ Гумперцемъ, какъ хорошій шахматный игрокъ, и они сблизились за шахматною доскою, около того самаго времени, какъ сблизился съ Лессингомъ Николаи. Лессингъ давно отбросилъ всякое предубъждение противъ характера евреевъ. Уже льтъ пять тому назадъ написаль онъ пьесу «Евреи», съ целью выставить благородный типъ въ этомъ презираемомъ племени. Въ художественномъ отношеніи, пьеса слаба, и потому ничего не скажемъ о ней; но статейки, написанныя по ея поводу, хорошо показывають положение вопроса о евреяхъ въ Германии сто леть тому назадъ, и мы въ выноскъ, представимъ извлечения изъ нихъ *).

^{*) «}Геттингенскія Ученыя Відомости», съ большою похвалою отзывансь о четвертой части сочиненій Лессинга, въ которой поміщена комедія «Евреи», сділали, по поводу этой пьесы, слідующее замічаніе:

Замѣчанія Михаэлиса, приводимый нами въ выноскѣ, показывають, съ какимъ пренебреженіемъ смотрѣли на евреевъ самые просвѣщенные и гуманные люди въ Германіи сто лѣтъ тому назадъ. Въ самомъ дѣлѣ, евреи оставались совершенно чужды умственной жизни того племени, по землямъ котораго были разсѣяны. Погруженные въ талмудическія дикія суевѣрія, безусловно руководимые въ своихъ понятіяхъ дикими фанатиками раввинами, подавляемые общимъ презрѣніемъ, отвращеніемъ и преслѣдованіями, они сами презирали себя. Мендельсонъ былъ первымъ и могущественнѣйшимъ изъ людей, которые своимъ примѣромъ и совѣтами указывали имъ иной путь жизни. Оставаясь евреемъ, онъ пріобрѣлъ уваженіе знаменитѣйшихъ ученыхъ и важнѣйшихъ вельможъ Германіи,—онъ сталъ на ряду съ классическими писателями нѣмецкаго народа, христіане превозносили его и изъ-за него стали

«Цаль пьесы-серьёзный правственный урокъ, именно, обнаружение неосновательности того презрвнія и отвращенія, съ которыми обыкновенно мы смотримъ на евреевъ. Но. при чтеніи, наслажденію нашему мѣшаетъ какое-то недовольство, которое мы укажемъ для разрёшенія сомевній или для того, чтобы впоследствии подобныя произведения избегали этого недостатка. Путешественникъ еврей слишкомъ добръ и благороденъ, слишкомъ заботится, чтобы не нанести вреда ближнему или не оскорбить его несправедливымъ полозръніемъ, - однимъ словомъ, если не совершенно невозможно, то, по крайней мърь, слишкомъ неправдоподобно, чтобы такой благородный характерь, какъ бы наперекоръ всему, могъ развиться при тахъ правилахъ, образъ жизни и воспитаніи, какія мы видимъ у еврейскаго племени, и при дурномъ обращеніи съ ними. Это неправдоподобіе тъмъ больше мъщаеть нашему удовольствію при чтеніи пьесы, чёмъ пріятнее было бы намъ найти истину и натуру въ прекрасномъ и благородномъ образъ. Даже посредственная доброта и честность очень редко встречаются между евреями, такъ, что немногіе примеры не могутъ въ значительной степени смягчать ненависти въ этому народу. При тъхъ моральныхъ правилахъ, которыхъ держится, если не каждый еврей, то огромное большинство евреевъ, невозможна честность между ими, особенно, когла мы вспомнимъ, что весь этотъ народъ живетъ торговлею, промысломъ, который больше всякаго другаго промысла представляеть случаевь и покущеній къ обману».

Это писаль въ 1754 году знаменитый Михаэлись, который въ Англіи научился смотріть на все лучше, світліве и гуманніве, нежели смотріли остальные его соотечественники. И, однако же, этоть человікть, съ котораго начинается новая эпоха въ разработкі еврейскихъ древностей, хваля Лессинга за все остальное, что заключалось въ собраніи его сочиненій, осуждаль его за снисходительное понятіе, что и между евреями могуть быть очень хорошіе люди. съ большимъ уважениемъ смотреть и на его племя. Евреи поднялись въ собственныхъ глазахъ: у нихъ теперь былъ свой идеалъ, быль примірь подражанія, быль живой свидітель, что еврею возможно занять почетное мъсто между образованными христіанами, возможно даже достигнуть славы. Съ темъ вместе, соразмерно уменьшенію предуб'яжденія христіанъ противъ евреевъ, уменьши, лось и предубъждение евреевъ противъ христіанъ: единовърцы Мендельсона убъдились его примъромъ, что христіане не отказываютъ ни въ уважения, ни въ пріязни темъ изъ нихъ, которые пріобретуть на то права. Достигнувъ обезпеченнаго состоянія, Мендельсонъ, своимъ покровительствомъ и щедрыми пособіями, помогалъ молодымъ евреямъ приготовляться къ ученому, литературному или художественному поприщу. Часть свой литературной діятельности онъ также посвятиль исключительно дёлу просвёщенія своихъ единовърцевъ, и заслуги его въ этомъ отношении также огромны. Нъмецкіе евреи говорили безобразнымъ діалектомъ, составленнымъ изъ смъщенія еврейскаго съ нъмецкимъ, - не понимая чистаго еврейскаго языка, они не могли также ни писать по немецки, ни слу-

Лессингъ не имътъ привычки вступаться за литературныя достоинства своихъ сочиненій; онъ всего въ своей жизни не болье четырехъ разъ отвъ чалъ на вамъчанія своихъ критиковъ,—но на это сужденіе о «Евреяхъ» ему необходимо показалось отвъчать. Три остальные спора—съ Ланге, Клоцомъ и Гёце—были ведены безпощадно, потому что противники заслуживали негодованія и литературной казни. Михаэлису, который высказываль свои замъчанія въ благородномъ тонъ, Лессингъ отвъчаль также мягко, и съ деликатнымъписьмомъ послаль ему ту часть «Театральной Библіотеки», въ которой быль помъщенъ отвътъ.

Замечанія «Геттингенских» Вёдомостей» касаются двухь пунктовь, говорить Лессингь въ своемъ ответе: «Во первыхь, критикъ утверждаеть, что честный и благородный еврей самъ по себе нечто неправдоподобное; во вторыхъ, что въ моей пьесе онъ выставленъ неправдоподобнымъ образомъ. Собственно меня касается только второе замечаніе, и только на него я долженьбыль бы отвечать, если бы гуманность не была для меня выше литературвой моей славы, и еслибъ миё потому уступить въ последнемъ случае не было легче, нежели во второмъ. Однако же, надобно миё начать со втораго замечанія». Объяснивъ, что при той обстановке, въ которой является у него еврей, честность его очень натуральна и правдоподобна съ художественной точки зрёнія, Лессингъ продолжаеть: «Надобно отвечать теперь на первое замечаніе: не говоря о художественныхъ требованіяхъ, правдоподобно ли, чтобъ еврей могъ быть честенъ? Встречаются ли въ жизни евреи честнаго характера? Но пусть за меня говорить другой, которому это было ближе къ сердцу, потому

шать лекцій. Мендельсонъ положиль начало распространенію чистаго німецкаго языка между ними, напечатавь для нихъ переводь Моисеевыхъ книгъ на прекрасномъ німецкомъ языкі; — съ того времени, этоть переводъ сділался книгою, по которой учатся читать діти германскихъ евреевъ, и чрезъ то съ дітства становятся равными німецамъ по своему языку. Кроміт того, онъ издаль переводъ на німецкій языкъ «Псалмовъ» и «Пісни пісней» для своихъ единовірцевъ и написалъ для нихъ нісколько религіозныхъ книгъ, строго держась догматовъ чистаго ветхозавітнаго іздейства, но удаливъ всі талмудическія бредни. Книги эти проникнуты чистою нравственностью, благородною терпимостью, чувствомъ любви къ другимъ племенамъ и имітьи огромное вліяніе на развитіе германскихъ евреевъ. Мендельсонъ былъ просвітителемъ своихъ единовітрпевъ.

Благородная натура Мендельсона развилась болье всего подъ вліяніемъ Лессинга, съ которымъ они были сверстники по годамъ (Мендельсонъ родился, какъ и Лессингъ, въ 1729 г.), но который быль уже великимъ ученымъ, человъкомъ съ установившимся образомъ мыслей, однимъ изъ знаменитыхъ писателей, въ то время, какъ самоучка еврей, съ неимовърными трудами, только еще начиналъ побъждать ужасныя затрудненія, какія противопоставлялись его развитію и національностью и бъдностью. Когда Мендельсонъ познакомился съ Лессингомъ, онъ только еще привыкалъ владъть правильнымъ нъмецкимъ языкомъ и не могъ писать безъ ошибокъ на этомъ языкъ, литературу котораго впослъдствіи обогатилъ произведеніями, классическими по изяществу и благородству выраженія. Но Лессингъ постигъ, какія ръдкія качества ума скрываются въ этомъ человъкъ, рыцарски безпорочный, женственно кроткій харак-

что самъ онъ еврей. Я знаю его такъ хорошо, что могу рѣшительно сказать: онъ человѣкъ столь же умный и ученый, какъ и честный. Письмо, которое я привожу далѣе, онъ написалъ къ одному изъ своихъ соплеменниковъ, прочитавъ замѣчаніе «Гёттингенскихъ Вѣдомостей». Знаю впередъ, что письмо это готовы будутъ считать выдумкою, скажутъ, что я самъ написалъ его, —но тѣмъ, кому будетъ интересно удостовѣриться въ его подлинности, я могу представить неопровержимыя доказательства, что оно дѣйствительно написано евреемъ».

За тѣмъ слѣдуетъ письмо, написанное Мендельсономъ, по поводу замѣчаній, сдѣланныхъ «Гёттингенскими Вѣдомостями» о характерѣ евреевъ. Мендельсонъ горячо и умно защищаетъ своихъ единоплеменниковъ.

теръ Мендельсона обворожиль его, и скоро Мендельсонъ сдѣлася ближайшимъ, лучшимъ другомъ его на всю жизнь. Онъ помогалъ, развитію талантливаго еврея своими бесѣдами и совѣтами, указывая ему, чѣмъ и какъ долженъ онъ заниматься; по внушенію и указанію Лессинга, отчасти даже при непосредственномъ сотрудничествѣ Лессинга, написаны были первые труды Мендельсона *). Что всего важнѣе, твердый, безбоязненный, рѣзкій Лессингъ мужественностью своего направленія ободрялъ и поддерживалъ Мендельсона, дивная кротость котораго въ жизни была бы, безъ вліянія со стороны Лессинга, излишнею мягкостью, безхарактерностью, слабостью въ литературѣ. Мендельсонъ, всею силою своей любящей натуры, привязался къ другу, благодѣтельному вліянію котораго обязанъ былъ такъ многимъ, передъ геніальнымъ превосходствомъ котораго благоговѣлъ.

Это быль одинь изъ лучшихъ и замъчательнъйшихъ примъровъ безграничной дружбы; самая кончина Мендельсона была последнее и величайшее свидетельство его чувствъ къ Лессингу. Когда, после смерти Лессинга, Якоби вздумаль, въ одномъ изъ своихъ философскихъ сочиненій, приписывать Лессингу метафизическія возарвнія, отъ которыхъ самъ Лессингъ, вероятно, не отказался бы, но которыя Мендельсонъ, уже лишенный опоры, какую прежде доставляла ему непоколебимая решительность друга, считаль слишкомъ резкими, благодушный авторъ «Федона» возмутился мыслыю, что Якоби возбуждаеть гоненіе противъ памяти Лессинга: онъ быль въ это время слабъ здоровьемъ, но, не обращая вниманія на свою болівнь, съ чрезвычайнымъ жаромъ сталь тотчась же писать возраженіе Якоби; — онъ успъль кончить это защищеніе памяти своего друга,-но работа такъ истощила его силы, огорчение такъ изнурительно волновало его, что онъ чрезъ насколько дней умеръ жертвою своей любви къ покойному другу.

Таковы-то были люди, съ которыми сблизился Лессингъ въ 1754 году и которые должны быть названы его непосредственными уче-

^{*)} По совъту Лессинга, Мендельсонъ перевель одно изъ разсужденій Руссо—этотъ переводъ быль для него упражненіемъ въ нъмецкомъ слогь. Вмъсть съ Лессингомъ, они написали знаменитый отвътъ на тему Берлинской Академіи «О философіи Попе»: духъ отвъта очень устроумно выраженъ восклицательнымъ знакомъ, поставленнымъ въ заглавіи: «Попе — метафизикъ!»

никами. Характеры ихъ были различны, различенъ и тонъ ихъ сочиненій. Практическій, довольно сухой, проницательный и отчасти насмѣшливый, Николаи дѣйствоваль насмѣшкою, преслѣдоваль все, что ему казалось вреднымъ въ жизни, затемняющимъ понятія, замедляющимъ дѣятельность, отвлекающимъ человѣка отъ заботы объ улучшеніи своего положенія. Мендельсонъ, который больше, нежели кто нибудь изъ новыхъ философовъ, напоминаетъ Платона, если не геніальностью, то чистымъ стремленіемъ къ идеалу,—излагаль въ философской формѣ тѣ возвышенныя понятія и чувства, которымъ впослѣдствіи даваль поэтическую одежду Шиллеръ. Но оба, Николаи и Мендельсонъ, сходились въ томъ, что съ благоговѣніемъ внимали Лессингу, и, въ сущности, все, что было прочнаго и истинно плодотворнаго въ ихъ дѣятельности, развилось подъ вліяніемъ Лессинга.

Мы назвали ихъ его учениками. Это слово, въ настоящемъ случав, не можеть, однако, иметь того смысла, въ какомъ обыкновенно употребляють его, понимая, что ученикь только повторяеть, такъ или иначе, мысли учителя, и, въ сравненіи съ нимъ, является человъкомъ не самостоятельнымъ. Въ такомъ смыслъ, у Лессинга не было и не могло быть учениковъ. Натура этого человъка образовалась такъ, что и положительныя и отрицательныя его качества были именно таковы, какія требовались для возможно благотворнъйшаго вліянія на нъмецкую литературу. Бывають времена, когда необходимъйшее условіе успъшнаго развитія есть научная дисциплина; въ ту пору, у немецкой литературы была другая, противоположная потребность. Въ націи и въ литературъ, въ людяхъ и писателяхъ германскихъ господствовала педантическая привычка подчиненія авторитетамъ, --- литературные тузы повторяли слова иноземныхъ авторитетовъ: Готтшедъ повторялъ Буало, Рамлеръ-Баттё, Геллертъ-Лафонтена, Бодмеръ-Аддисона, Клопштокъ-Оссіана и Мильтона, Берлинская Академія—временемъ Вольтера, временемъ Попе, -- мелкіе писатели повторяли слова доморощенныхъ литературныхъ магнатовъ. Не было иниціативы въ литераторахъ, не было самобытности мышленія, смёлой привычки думать своей годовой. Лессингъ и въ этомъ отношении, какъ во всёхъ другихъ, былъ именно такой человъкъ, въ какомъ нуждалась эпоха.

Геніальный челов'єкъ, развивая нашу мысль, въ то же время обыкновенно порабощаеть ее себ'ь,—все равно, начитались ли вы

Байрона или Платона, Гете или Руссо, Жоржа Санда или Аристотеля-вы становитесь въ какое-то зависимое положение отъ вашего путеводнаго генія. — вы на все смотрите его глазами, чувствуете, что вамъ нельзя иначе думать-не потому только, что истина его мыслей для васъ очевидна, - нътъ, и потому также, что онъ положиль границы вашему воззрвнію, какь бы независимо оть вашей воли, оть вашего самостоятельнаго разсудка, подчиниль себъ, - словомъ, вы дъластесь то, что называется ученивъ, послъдователь, отчасти рабъ этого человъка. Потому-то обыкновенно самые благотворные авторитеты имфють и свою вредную сторону -развивая мысль, они въ то же время отчасти сковывають ее. Когда въ націи пробужденъ духъ самостоятельной пытливости, эта вредная сторона не имъетъ важныхъ слъдствій, — вы подчинились одному авторитету, другой-другому, сотни другихъ не хотятъ признавать ни чьей безусловной власти надъ своей мыслыю, - такъ, напримъръ, въ Германіи, въ одно время, въ одной философской области теперь существуеть безчисленное множество различныхъ самостоятельныхъ мивній, всв допытываются истины, никто не успокоивается готовыми результатами, всв самодвятельно стремятся впередъ и впередъ, и Канть, Фихте, Шеллингъ, Гегель, несмотря на всю обаятельную силу своихъ системъ, не могли ни на одну минуту задержать дальнейшаго развитія мысли, —каждый изъ нихъ повелъ ее шагомъ дальше, и каждый разъ, сдёлавъ этотъ шагъ, она устремлялась впередъ, покидая прежняго учителя, даже низвергая его, если онъ хотелъ остановить ее.

Такъ и должно быть. Не добытый результать важенъ: всё добытые человёчествомъ результаты, во всёхъ областяхъ жизни и мысли, какъ бы ни казались они блестящи по сравненію съ прошедшимъ, все еще ничтожны сравнительно съ тёмъ, что должно быть пріобрётено мыслью и трудомъ, для обезпеченія матеріальной жизни, для проясненія знаній и понятій. Важнѣе всёхъ добытыхъ результатовъ—стремленіе къ пріобрѣтенію новыхъ, лучшихъ; важнѣе всего пытливость мысли, дѣятельность силъ. Немногіе изъ геніальныхъ людей такъ полно воплощали въ себѣ эту пытливость, не успокоивающуюся ни на чемъ, эту дѣятельность, вѣчно стремящуюся къ достиженію новыхъ результатовъ, полнѣйшихъ всего прежняго, — немногіе изъ геніальныхъ людей, говоримъ мы, были такъ проникнуты не какимъ нибудь опредѣленнымъ, и потому огра-

ниченнымъ стремленіемъ къ какому нибудь опредвленному, ограниченному результату, а жаждою итти все дальше и дальше, впередъ и впередъ, - чтобы добытые ими результаты каждому уму служили только опорою, только возбужденіемъ къ дальнівйшему самостоятельному изследованію. Въ области поэзіи, нечто подобное представляеть Шекспиръ. Мы опять обращаемся къ этому примъру, чтобы прояснить наше понятіе. Кто пойметь Шекспира, передъ твиъ изчезають всякіе другіе авторитеты въ поэзіи-онъ выше вськъ, - а, между тъмъ, преклонение передъ Шекспиромъ становить ли поэта въ такое зависимое отъ него положение, какъ поклоненіе Байрону или Мильтону? — неть, кто поклоняется этимъ поэтамъ, чувствуетъ непреоборимую наклонность подражать имъ, и истинно талантливые люди делались мильтонистами или байронистами,-но, понимать Шекспира-значить чувствовать въ себъ непреодолимый позывъ къ самостоятельному творчеству, - быть чуждымъ всякой мысли о подражаніи кому бы то ни было, хотя бы и самому Шекспиру *). Изъ области поэзіи переходя въ область мысли, можно указать несколько людей, оказывающихъ подобное же вліяніе, — таковъ напримъръ Монтань, таковы многіе скептики, но всь они занимають въ исторіи развитія мысли только второстепенное мъсто, и никто изъ нихъ не имълъ преобладающаго вліянія на развитіе цілой эпохи. Лессингь не иміль ничего общаго съ Монтанемъ или другими скептиками, -- напротивъ, его убъжденія очень опредблительны и тверды, онъ, можно сказать, ни въ чемъ не сомеввается, — ни въ человеке, ни въ законахъ вселенной, онъ положительно говоритъ: «это мы знаемъ; въ этомъ нечего сомиваться» — но — какое бы убъждение ни высказываль, какь бы твердо ни высказываль его, какими бы неопровержимыми доказательствами ни подтверждаль его, --- все-таки онъ въ концъ ставитъ новый вопросъ, все таки заключаеть темь, что говорить: «то, что

^{*)} Въ гораздо меньшихъ размърахъ можно почти то же сказать о Гоголъ, если приводить примъры изъ нашей литературы. Пушкину подражали талантливые люди, но подражаніе Гоголю замътно только у писателей мало талантливыхъ. Нынышніе даровитые писатели произошли отъ Гоголя, —а, между тъмъ, ни въ чемъ не подражають ему, — не напоминають его ни чъмъ, кромъ какъ только тъмъ, что, благодаря ему, стали самостоятельны, изучая его, пріучились понимать жизнь и поэзію, думать своею, а не чужою головою, писать своямъ, а не чужимъ перомъ.

мы теперь знаемъ, только начало знанія; нужно заняться теперь дальнъйшими изслъдованіями, при которыхъ и прежняя истина. явится, быть можеть, въ новомъ видъ»; каждое его изследованіе представляется какъ будто только одною частью, отрывкомъ, который должень читатель дополнить уже самь. Въ главнейшихъ его ученыхъ сочиненіяхъ — «Лаокоонв» и «Драматургіи», эта необходимость дальнейшаго самостоятельного изследования выражается даже внешнимъ образомъ: заключая «Лаокоона», онъ объщаетъ современемъ прибавить вторую часть къ этому изследованію, которое положительно называеть только первою частью; въ «Драматургін» также нъсколько разъ говорится, что вся она только первый отдълъ труда, который долженъ имъть продолжение; «Листки противъ Гёце» прекращены, можно сказать, въ самомъ началъ. Въ каждой частности слышится тотъ же вызовъ читателю на дальнейшее обсуждение дъла. Можно сказать, что и общее направление дъятельности Лессинга не имъетъ такой общей темы, которую не смънила бы другая тема, если то потребуется развитиемъ мысли,--онъ началь, какъ литературный критикъ, а кончиль теологическими изследованіями, которыя, наверное, оставиль бы для другихъ изъисканій, если бы прожиль долве.

Но мы слишкомъ давно забыли о біографической нити разсказа. Возвратимся же къ отношеніямъ Лессинга съ Мендельсономъ и Николаи, на которыхъ остановились. Весь характеръ двятельности Лессинга быль таковь, что вліяніе его рождало не учениковь, а самостоятельныхъ д'ятелей. Позднее, это обнаружилось всемъ ходомъ нізмецкой литературы и науки, которыя, въ эпоху, порожденную Лессингомъ, отличаются чрезвычайно энергическимъ стремленіемъ къ самостоятельности. Но, прежде всего, это обнаружилось на ближайшихъ друзьяхъ и непосредственныхъ воспитанникахъ Лессинга, — на Мендельсонъ и Николаи. Они хотъли быть его учениками, хотели составить школу, главою которой быль бы Лессингъ. — Онъ не захотвлъ того, и когда увидвлъ ихъ имъющими уже довольно силь, тотчась же предоставиль имъ действовать какъ они хотять. Вившнимъ образомъ это выразилось въ томъ, что онъ не хотель быть постояннымъ сотрудникомъ журналовъ, ими издаваемыхъ; --- существеннымъ следствіемъ заботы Лессинга не о пріобрѣтеніи себѣ учениковъ, а, напротивъ, о пробужденіи самостоятельности въ каждомъ, было то, что Николаи и Мендельсонъ сохранили, какъ мыслители, полную оригинальность своихъ различныхъ натуръ, и напоминаютъ Лессинга не содержаніемъ своихъ ученій, а только тѣмъ, что въ немъ имѣли нравственную поддержку, и безъ этой поддержки дѣйствовали бы не такъ смѣло и самостоятельно.

Въ самомъ деле, Лессингъ такъ мало хогелъ сделаться главою партіи, что вскор'в посл'в того, какъ сошелся съ Николаи и Мендельсономъ, убхалъ изъ Берлина, съ намфреніемъ несколько летъ ничего не печатать. Уже семь лётъ онъ жилъ литературною работою, — успълъ, наконецъ, составить себъ очень громкое имя, --не голько какъ критикъ, но и какъ поэтъ сталъ выше всёхъ своихъ современниковъ во мненіи дучшей части публики: за первыми одами и комедіями его, которыя заслужили ему имя одного изъ знаменитыйшихъ поэтовъ въ тогдашней литературы, послыдовала трагедія «Миссъ Сара Сампсонъ», которая съ перваго же раза была признана явленіемъ, какихъ еще не бывало въ нъмецкой литературь, и поставила Лессинга, какъ драматурга, выше всъхъ соперниковъ *). Но трудъ упорный и счастливый въ литературномъ отношеніи, едва доставляль Лессингу средства для жизни, -- въ его перепискъ ръчь идетъ всегда о талерахъ, много о десяткахъ талеровъ. Безконечная работа, соединенная съ матеріальными лишеніями, утомила Лессинга. Онъ сталъ искать себъ какого нибудь занятія, легче, нежели литература, обезпечивающаго жизнь. Судьба едва не увлекла его на нашу родину, которой столько пользы принесли его соотечественники своими занятіями. Вотъ что писалъ онъ къ отцу весною 1755 года, въ ответъ на настойчивыя просьбы старика, чтобъ сынъ позаботился определиться на службу.

«О моемъ опредвленіи на службу, мои знакомые хлопочуть больше меня, а я мало думаю объ этомъ. Въ последнее время сильно уговаривали меня ехать въ Москву, где, какъ вы знаете, конечно, по газетамъ, основывается уриверситетъ. Изъ всехъ подобныхъ предположеній, это скоре всего можетъ осуществиться».

^{*)} Замѣчательнѣйшія произведенія Лессинга—именно драматическія пьесы «Миссъ Сара Сампсонъ», «Минна фонъ Барнгельмъ», «Эмилія Галотти» и «Натанъ Мудрый»; также «Литературныя письма» въ связи съ другими критическими статьями, «Лаокоонъ» и «Гамбургская Драматургія» и, отчасти, полемическія статьи противъ Гёце будутъ нами разсмотрѣны послѣ, чтобы не прерывать біографію слишкомъ длинными эпизодами и анализами.

Но предположение не исполнилось: вмёсто Лессинга, поёхаль въ Москву готтшедіанець Рейхель *).

Когда разстроился планъ получить место въ Москве, Лессингъ, не сказавшись, по своему обыкновенію, никому изъ своихъ пріятедей, исчезъ изъ Берлина и очутился въ Лейппигв. Какъ и зачвиъ онъ перебхаль изъ Берлина въ Лейпцигъ-совершенно неизвъстно; надобно полагать только, что онъ имель въ виду какъ нибудь избавиться отъ необходимости заработывать себъ хльбъ литературнымъ трудомъ, утомительнымъ и неблагодарнымъ, надвясь найти себъ какія нибудь иныя средства для жизни. Дъйствительно, скоро сошелся онъ въ Лейппигъ съ молодымъ богатымъ купцомъ Винклеромъ, который хотвль несколько леть употребить на путешествіе по различнымъ европейскимъ странамъ, для довершенія своего образованія, и предложиль Лессингу быть ему спутникомъ, въ качествъ, отчасти, товарища, отчасти наставника, съ жалованьемъ по 300 талеровъ (около 275 р. сер.) въ годъ. Путешествіе должно было продолжаться года три. Триста талеровъ въ годъ, на всемъ готовомъ содержаніи, и, притомъ, съ возможностью объткать всю Европу!--это было великимъ счастіемъ для Лессинга. Въ письмі къ Мендельсону (декабрь 1755), разсказавъ, какія сочиненія и изданія онъ готовить къ Пасхальному сроку следующаго года **), Лессингъ прододжаетъ:

^{*)} Кстати, говоря о Россіи, скажемъ, что въ Императорской Публичной Библіотекѣ должно быть довольно много книгъ, принадлежавшихъ Лессингу. Когда, при переселеніи изъ Берлина въ Гамбургъ, Лессингъ распродаль свою общирную библіотеку, собранную имъ въ Бреславлѣ, много книгъ было куплено для Варшавской библіотеки графа Залускаго, которая потомъ, какъ извѣстно, перевезена была въ Петербургъ и послужила основаніемъ нынѣшней Публичной Вибліотеки. Изъ книгъ, которыя находились въ библіотекѣ Лессинга и были проданы съ аукціона, находились «Journal des Savants», полный экземпяръ до 1764 года, составляющій 254 тома; «Аста Eruditorum»; «Аппе́ев littéraires» Фрерона;—кромѣ того говорится вообще, что у него было много первоначальныхъ изданій (editio princeps) греческихъ и латинскихъ классиковъ. По этимъ указаніямъ, быть можетъ, не напрасно было бы сдѣлать повски въ Публичной Библіотекѣ. См. Давцель и Гурауэръ, первая половина 2-го тома, стр. 136.

^{**)} Извъстно, что и до сихъ поръ въ Германіи книжная торговля имъетъ два важньйшіе полугодичные термина, къ которымъ все готовится, отъ которыхъ зависитъ весь ходъ литературныхъ занятій, продажъ, заказовъ и т. л.—

«Ну, что вы скажете? Не слишкомъ ли много? Если публика осудитъ меня за излишнее усердіе въ угощеніи ея моими произведеніями, то въ извиненіе себъ скажу одно: съ слъдующей Пасхи, цълые три года не услышить она обо мнъ. Caestus artemque repono. Даю покой рукамъ и ремеслу.

«Какимъ это образомъ? навърное спросите вы. Слушайте же важивищую изъ всехъ новостей, какія только могу сообщить о себе. Не въ дурной часъ вывхалъ я изъ Берлина. Нашлось мив очень выгодное дёло»...

И онъ съ восторгомъ разсказываетъ о предложени Винклера. Заключенъ былъ формальный контрактъ на три года. Срокомъ отъвзда назначена весна 1756 года, около Пасхи. Въ маѣ, путешественники дъйствительно пустились въ свое странствованіе, и, черезъ
Магдебургъ, Брауншвейгъ, Гамбургъ, Гренингенъ, къ началу августа пріъхали въ Амстердамъ. Осмотрѣвъ замѣчательные города Голландіи, хотѣли они въ октябрѣ отправиться въ Англію,—но страшная новость принудила Винклера скорѣе возвратиться домой.

Въ августв 1756 года, внезапнымъ нападеніемъ на Саксонію, Фридрихъ II началь войну, которая теперь извъстна подъ именемъ Семильтней. Лейпцигь быль занять пруссаками. Смятеніе въ городь, ужасъ жителей были безмърны: нъкоторые умирали отъ страха, наводимаго ожиданіемъ наступающихъ бъдствій. Винклеру надобно было возвратиться, чтобы спасать свое имущество: въ Лейпцигъ быль у него домъ. Такимъ образомъ, начатое путешествіе пришлось отложить,—но только отложить: обезопасивъ свой домъ отъ контрибуцій и конфискацій, Винклеръ хотълъ, черезъ нъсколько мъсяцевъ, снова пуститься въ странствованія, и потому Лессингъ, по контракту, оставался жить у него. Но скоро они поссорились, и Лессингъ опять увидъль себя въ томъ самомъ положеніи, отъ котораго хотълъ избавиться, уъзжая изъ Берлина.

Причина ссоры очень характеристична для личности Лессинга, Онъ былъ родомъ изъ Саксоніи. Саксонцы теперь проклинали пруссаковъ, угнетавшихъ несчастную Саксонію поборами и наборами, контрибуціями и реквизиціями. Но,—справедливо или несправедливо,—остальныя германскія племена смотрёли на Фридриха П,

это двъ Лейпцигскія внижныя ярмарки — Михайловская и Пасхальная. Сто жътъ тому назадъ, значеніе этихъ сроковъ было еще важиве.

какъ на героя-защитника лѣмецкой національности противъ вліянія иноземцевъ. Справедливо или нѣтъ, но образованные люди во всей Германіи считали его защитникомъ просвѣщенія и поборникомъ благотворныхъ реформъ.

Есть въ раздробленной Германіи чувство, которое, къ счастію, неизвъстно у народовъ, успъвшихъ соединиться въ одно государство, — это партикуляризмъ, предпочтеніе мъстнаго патріотизма— гессенскаго, баденскаго, виртембергскаго, саксонскаго, прусскаго общему нъмецкому патріотизму. Влагодаря вліянію литературы, начавшемуся съ Лессинга, это мелочное чувство ослабъло, теперь оно не имъетъ и десятой части того могущества, которымъ обладало за сто лътъ. Но и до сихъ поръ оно еще сильно, доказательствомъ тому служатъ событія послъднихъ годовъ.

Какъ ни силенъ теперь въ Германіи партикуляризмъ, все-таки теперь это чувство, отжившее свой вѣкъ, остатокъ старины, небольше какъ рутина, привычка. Сто лѣтъ тому назадъ было не такъ. Саксонецъ считалъ себя только саксонцемъ, пруссакъ только пруссакомъ, а не нѣмцемъ; вся его національная гордость, всѣ его патріотическія чувства были прикованы исключительно къ провинціальному племени, въ которомъ онъ родился,—для чувствъ тогдашняго нѣмца существовала только Саксонія, Пруссія, Баварія, но не Германія: Германія исчезала, какъ скоро являлся поводъ къ пробужденію партикуляризма.

Лессингъ и въ этомъ, какъ въ остальномъ, былъ выше своего въка, —употребляемъ выраженіе, которое ръдко можетъ примъняться къ дълу, почти всегда будучи пустою фразою, но совершенно примъняется къ Лессингу, —потому что, если кто нибудь бывалъ на столътіе впереди своего въка, то именно онъ.

Какъ стоялъ онъ выше литературныхъ партій, такъ точно стоялъ онъ и выше провинціальныхъ, племенныхъ подраздѣленій. Онъ думалъ только о Германіи,—Саксонія, Пруссія, Австрія были для него ничто предъ Германіею. Подданные и солдаты Фридриха ІІ были нѣмцы, — арміи, съ которыми онъ сражался, состояли изъ венгровъ, кроатовъ, французовъ, русскихъ. Фридрихъ былъ хорошимъ администраторомъ, а въ Саксоніи самовластвовалъ Брюль,—выборъ былъ ясенъ для Лессинга, и онъ принялъ сторону Фридриха II.

Вмѣсть съ Винклеромъ, онъ объдалъ за table d'hote, гдъ всегда

было большое общество, преимущественно состоявшее изъ купцовъ. Всъ проклинали пруссаковъ и Фридриха, Лессингъ защищалъ ихъ.

Изъ прусскихъ офицеровъ, стоявшихъ гарнизономъ въ Лейпцигъ, со многими Лессингъ подружился, особенно съ поэтомъ Клейстомъ, майоромъ прусской службы, черезъ нъсколько времени раненымъ на смерть при Кунерсдорфъ. Талантъ Клейста не былъ великъ; но его прекрасный характеръ, соединявшій въ себъ задумчивость съ воинственною энергією, и его преданность Лессингу привязали къ нему Лессинга. Онъ приводилъ Клейста и другихъ пруссаковъ за table d'hote, гдъ самъ объдалъ, и такимъ образомъ, явилась тамъ, кромъ саксонской партіи, прусская.

Саксонцы негодовали на непрошенных собестдниковъ, и мнотіе изъ прежнихъ постоянныхъ постителей перестали объдать въ этомъ ресторанъ. Хозяйка ресторана, оставшаяся въ убыткъ, стала говорить Винклеру, что проситъ его и Лессинга, съ его пріятелями, не бывать въ ея ресторанъ, потому что прусскіе мундиры лишаютъ ее другихъ, болье многочисленныхъ гостей. Винклеръ, уже прежде нъсколько разъ имъвшій мелочные ссоры съ Лессингомъ, — въроятно, также главнымъ образомъ по поводу его любви къ пруссакамъ, написалъ ему теперь невъжливую записку, и Лессингъ долженъ былъ прекратить съ нимъ всякія сношенія.

Такимъ образомъ, остался онъ въ Лейпцигв опять безъ всякихъ средствъ къ жизни, кромв литературной работы; а доставать деньги литературной работою, все-таки было для него удобнве въ Верлинв, нежели глв-нибудь, и въ 1759 году возвратился онъ въ Берлинъ. Тамъ съ нетерпвніемъ ждалъ его Николаи.

Вскоръ послъ того, какъ сблизился съ Лессингомъ, и потомъ, черезъ Лессинга, съ Мендельсономъ, Николаи сталъ думать о томъ, какъ бы основать критическій журналъ. Когла Лессингъ возвратился въ Лейпцигъ изъ поъздки съ Винклеромъ, Николаи просилъ его принять на себя хлопоты найти въ Лейпцигъ книгопродавца, который бы согласился издавать этотъ предполагаемый журналъ, которому Николаи хотълъ дать названіе «Библіотека изящныхъ искусствъ и словесности». Издатель, послъ многихъ напрасныхъ поисковъ, былъ наконецъ найденъ Лессингомъ; статьи, присылаемыя изъ Берлина Николаи, Мендельсономъ и ихъ друзьями, передавались въ типографію черезъ Лессинга, который иногда, въ случав какихъ-нибудь непредвидънныхъ обстоятельствъ, дълалъ необ-

ходимыя измѣненія по редакціонной части, но, вообще, не желалъ имѣть вліянія на духъ и направленіе журнала, редакторомъ котораго быль Николаи, при содѣйствіи Мендельсона *).

Когда Лессингъ возвратился въ Берлинъ, коммерческое положеніе Николаи изивнилось. До сихъ поръ, книжный магазинъ принадлежаль его отцу, потомъ, по смерти отца. брату, — писатель Николаи, младшій братъ, былъ просто прикащикомъ въ магазинъ и получаль отъ брата небольшую часть годичной прибыли. Теперь, по смерти брата, онъ самъ сдвлался хозяиномъ книжнаго магазина; продолжать писать для журнала, издаваемаго другимъ книгопродавцемъ, ему было уже не выгодно. Онъ передалъ «Библіотеку изящныхъ искусствъ» другой редакціи, и основалъ новый журналъ «Литературныя письма». Душою этого журнала былъ Лессингъ, изъ статей котораго почти исключительно составлены были первыя книжки «Литературныхъ писемъ».

^{*)} Николаи сообщаеть любопытный факть о томъ, какъ вознаграждался тогда литературный трудъ книгопродавцами-издателями. Николаи и его сотрудняки получали отъ своего книгопродавца по двадцати-пяти талеровъ за пѣлый нумеръ «Библіотеки», состоявшій изъ пятнадцати печатныхъ листовъ, то есть по 1 руб. 50 коп. сер. за печатный листъ, — почти то, что надобно заплатить писцу за переписку статьи. Положимъ, что формать листа былъ невеликъ положимъ, что плата, по замѣчанію Николаи, была и для того времени очень умѣренною, и въ другихъ случаяхъ писатели получали нѣсколько болѣе, но все-таки—эта цифра одна уже поясняеть намъ, каково было тогда въ Германіи матеріальное положеніе писателя, который жилъ литературной работой, не имѣя другихъ источниковъ дохода.—Впрочемъ, какъ мы говорили, такихъ писателей было очень мало. — Напримъръ, изъ тѣхъ, которыхъ мы назвали въ этой статьѣ,—Ланге и Глеймъ были пасторы, Клейстъ—офицеръ, Зульцеръ — профессоръ, Николаи—книгопродавецъ, Мендельсонъ — бухгалтеръ въ торговомъ домѣ,—одинъ Лессингъ былъ писатель и больше нечего.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

«Литературныя письма».—Основаніе ихъ сильнаго дійствія на німецкую литературу.—Черты, ими внесенныя въ характеръ німецкой мысли.—Лессингъ принимаетъ місто секретаря при Тауэнцинів. — Жизнь его въ Бреславлів. — Возвращеніе кълитературному міру.—«Миссъ Сара Сампсонъ».—«Минна фонъ-Барнгельмъ». — «Лаокоонъ».

(1759 - 1767).

«Библіотека изящныхъ искусствъ», которую издавалъ Николаи при содъйствіи Мендельсона, была лучшимъ критическимъ журналомъ своего времени. Она стояла выше мелочныхъ интригъ, самолюбивою суетою замедлявшихъ успъхи нъмецкой мысли; основанія критики ея надобно назвать справедливыми, ея сужденія—вообще здравыми и благородными, умными и безпристрастными. И однако же, при всъхъ своихъ достоинствахъ, «Библіотека изящныхъ искусствъ» осталась безъ замътнаго вліянія на литературу; она приносить большую честь дарованіямъ и добросовъстности своихъ соучастниковъ, но мало принесла пользы нъмецкой публикъ.

«Литературныя письма», по многимъ существеннымъ чертамъ характера, быйи сходны съ «Библіотекою изящныхъ искусствъ». Ужь однѣ внѣшнія примѣты достаточно показывають степень близости этихъ двухъ журналовъ. Николаи, редакторъ «Библіотеки», былъ редакторомъ и издателемъ «Литературныхъ писемъ»; Мендельсонъ, главный его сотрудникъ въ «Библіотекѣ», принималъ не менѣе дѣятельное участіе и въ «Литературныхъ письмахъ». Столъ же рѣшительны и факты внутренняго родства обоихъ журналовъ. Николаи и Мендельсонъ развились, какъ мы видѣли, подъ вліяніемъ Лессинга; «Библіотека» была по преимуществу выраженіемъ мыслей, въ первый разъ высказанныхъ имъ; Николаи и Мендельсонъ съ восторгомъ приняли его сотрудничество при изданіи «Ли-

тературныхъ писемъ» главнымъ образомъ потому, что видъли въ немъ человъка, думающаго одинаково съ ними о всъхъ существенно важныхъ вопросахъ, и не обманулись, ожидая совершенной гармоніи между его и своими статьями: впоследствіи, Лессингь ушель далеко впередъ отъ своихъ друзей, и они уже не могли понимать его, но до конца изданія «Литературных» нисемъ» не замічалось разницы между его и ихъ возэрвніями, — не замвчалось до такой степени, что и публика и писатели, не только противныхъ партій, но даже изъ друзей Лессинга, всъ, непосвященные въ тайны редавціи, не умівли отличить, кому изъ трехъ главныхъ лицъ такъ называвшейся тогда Берлинской или Николаитской школы принадлежить та или другая статья. Лессингу приписывались многія рецензіи въ «Библіотекь», въ которой онъ не участвоваль; и, на оборотъ, многія статьи въ «Литературных» письмахъ», принадлежавшія Лессингу, приписывались Мендельсону или Николаи. Иныя рецензіи были написаны Лессингомъ вместе съ Мендельсономъ, какъ прежде, разсуждение о метафизикъ Попа; другия служатъ развитіемъ статей «Библіотеки»—словомъ, сходство этихъ двухъ журналовъ такъ очевидно, что многими «Литературныя письма» считались за продолжение «Библютеки». И однако же, при всей видимой одинаковости направленія «Литературныя письма» произвели совершенный перевороть въ немецкой литературе, между темъ, какъ «Библіотека» не имъла особенной важности въ исторіи нъмецкаго развитія.

Эту разницу въ значени двухъ журналовъ, бывшихъ выраженіемъ одной мысли, надобно, конечно, приписывать исключительно участію Лессинга въ «Литературныхъ письмахъ». Въ самомъ дѣлѣ, громадное дѣйствіе производилось именно его статьями; когда онъ оставилъ «Литературныя письма», нумера этого журнала утратили большую часть той электрической силы, которая приводила въ движеніе умы читателей и волновала литературный міръ, и если онъ продолжалъ еще пользоваться значительнымъ вліяніемъ, то почти исключительно благодаря репутаціи, пріобрѣтенной первыми, лессинговскими нумерами. Тайну этого превосходства нельзя вполнѣ объяснить ни славою Лессинга, ни даже огромнымъ перевѣсомъ его таланта надъ силами другихъ его сподвижниковъ.

Что касается таланта, Николаи и Мендельсонъ, какъ ни далеко уступали Лессингу, все же были писатели великихъ дарованій, ста-

до быть и они могли бы имъть сильное вліяніе, еслибъ для того нужно было только хорошо изложить справедливыя мысли. Притомъ же, мы видели, что публика и литература не умели отличать въ журналь статей Лессинга отъ статей, написанныхъ другими, стало быть, мало еще были способны оценить превосходство его мастерскаго изложенія. Что же касается славы, Лессингь, конечно, уже пользовался громкою, даже очень громкою извъстностью въ публикъ, но все-таки далеко еще не достигь той общепризнанной репутаціи великаго, геніальнаго писателя, которая увлекаеть толпу однимъ авторитетомъ имени. Такое положение дается только временемъ, привычкою; авторитетъ пріобретается не такъ быстро, какъ слава, а Лессингъ еще и славою не равнялся съ Клопштокомъ. Галлеромъ и нъкоторыми другими тогдашними знаменитостями. Люди, особенно проницательные, конечно, уже видеди въ немъ перваго нъмецкаго писателя, — но число такихъ людей было очень невелико; у каждой литтратурной партіи были еще свои авторитеты, внушавшіе болье уваженія, нежели чуждый всьмъ котеріямъ Лессингъ; а публика еще не успъла отвыкнуть отъ поклоненія старымъ светиламъ. Лессингъ не только не имелъ первенствующаго положенія во всей німецкой литературі, — онъ не считался даже главою и той школы, къ которой его причисляли. Николаи былъ редакторомъ журналовъ этой школы, онъ считался и ея главою; всв говорили о Николантахъ, никому и въ голову не приходило называть ихъ Лессингіанпами.

Правда, въ одномъ отношеніи никто уже не находиль соперниковъ Лессингу — именно, въ жестокости нападеній. Со времени своей полемики съ Ланге, онъ считался самымъ злымъ спорщикомъ, человѣкомъ безпокойнѣйшаго литературнаго характера, писателемъ; находящимъ лучшее свое удовольствіе въ безпощадномъ терзаніи всѣхъ и каждаго, кто только подвернется ему подъ руку. «Лессингъ душитъ всѣхъ, чтобы самому было просторнѣе жить», писалъ въ 17-59 году близкій пріятель Лессинга, Рамлеръ, другому близкому его и своему пріятелю, Глейму: «Отъ этого ужь нельзя его исправить: такова его натура». Если такъ говорили между собою о Лессингѣ его друзья, то можно вообразить, каково было мнѣніе о его критической свирѣпости у всѣхъ другихъ писателей и читателей. Онъ представлялся литераторамъ и публикѣ какимъ-то людоѣдомъ. Онъ самъ зналъ, что самая яркая черта его репутаціи — его без-

пощадная строгость въ критикъ, его страшная ръзкость въ полемикъ, и онъ указываетъ на это общее мнъніе о себъ шуткою, отвъчая на вопросъ Николаи о томъ, какой девизъ написатъ подъего портретомъ (Николаи, когда былъ редакторомъ «Библіотеки изящныхъ искусствъ», вздумалъ приложить къ своему журналу портреты нъкоторыхъ писателей, въ томъ числъ и Лессинга). «Чтобы не думатъ долго—говоритъ Лессингъ—выставьте «подъ моимъ портретомъ:

«Hic niger est, hunc tu, Romane, caveto». *)

«Или, пожалуй:

«Quid itmerentes hospites vexas, canis»? **)

Кажется, трудно было прославиться безпощадностью полемики въ тотъ въкъ ожесточеннъйшей, нескончаемой, не знавшей никакихъ границъ, забывавшей всв законы приличій полемики, -- когда литературныя партіи преследовали одна другую самою плоскою и циническою бранью, съ безконечными антикритиками, рекритиками, отвътами на рекритики и отвътами на отвъты на рекритики. Но Лессингу эта непривлекательная слава считаться жесточайшимъ изъ всъхъ жестокихъ зоиловъ досталась очень легко. Въ самомъ двав, его притики должны были раздражать самолюбіе тогдашнихъ писателей сильнее, нежели чьи бы то ни было. Если Бодмеръ браимъ Готтшеда, -- Готтшеду казалось это очень натурально, -- въдь онъ самъ бранилъ Бодмера, — для того и другаго одинаково ясно было, что противникъ бранитъ его только изъ-за оскорбленнаго самолюбія, — они оба уже были приготовлены въ тому, чтобы не ждать другь отъ друга ничего, кром'в груб'вйшей брани. Каждая изъ враждующихъ партій считала всёхъ людей противнаго лагеря глупцами и негодяями-утъщениемъ каждому служило то, что его бранять глупцы и невѣжды, — которыхь онь и его друзья много разъ выводили на свъжую воду, уничтожали и бранили. Но, кромъ этихъ заклятыхъ враговъ всего талантливаго и умнаго (то есть, принадлежащаго къ его партіи), отъ всёхъ другихъ критиковъ каждый писатель слышаль только похвалы и комплименты, а всё люди

^{*) «}Это злой человикь, берегись его».—Изъ извистнаго прориданія о рики Нигери, Лессингь дилаеть туть каламбурь, ставя вмисто Niger (имя рики) niger (черный, злобный).

^{**) «}Что ты, собака, кидаешься на людей, которые тебя не трогають»?

съ умомъ и вкусомъ (то есть люди его собственной партіи) превозносили его до небесъ. Брань отъ записныхъ противниковъ, если и бываетъ груба, все таки въ сущности довольно легко переносится самолюбіемъ. И вдругь-явился человікъ, который осуждаль, напримерь, Готтшеда не потому, что быль поклонникомъ Водмера,напротивъ, онъ не менъе строго осуждалъ и Бодмера, -- это было уже нарушеніемъ обычая, -- это было уже непонятнымъ, непредвидъннымъ нападеніемъ. «За что жь онъ осуждаеть меня, -- думалъ Готтшедъ: - если онъ не хочетъ мстить мив за Бодмера? По какому праву? На какомъ основания? Дело другое, еслибъ онъ хвалилъ Бодмера, -- тогда это было бы натурально. А теперь видно, что онъ человъкъ безъ всякихъ правиль, злобный человъкъ, который бранится не потому, что мы съ нимъ принадлежимъ къ враждующимъ лагерямъ, а просто потому, что онъ любитъ мучить людей. Это не авинянинъ, поражающій спартанца потому, что Авины и Спарта ведуть войну, а просто душегубець, которому одинаково пріятно ръзать и анинянъ и спартанцевъ, это не воинъ, а разбойникъ».

Мы видьли, что подъ вліяніемъ Лессинга образовались въ нъмецкой литератур'в писатели, подобно ему, не сочувствовавшіе ни одной изъ враждовавшихъ партій, —критики, которые, подобно ему, должны были возбуждать къ себъ одинаковую нелюбовь во всъхъ партіяхъ. Ихъ органомъ была «Библіотека изящныхъ искусствъ». Но мивнія этихъ людей были заимствованныя, наввянныя, не превратившіяся еще въ ихъ собственную плоть и кровь, --потому довольно блёдныя, довольно снисходительныя. Эти ученики еще не такъ сильно прониклись новыми понятіями, чтобы совершенно оторваться отъ прежнихъ,--не на столько были сильны, чтобы логически провести свой новый принципъ по всей системъ своихъ убъжденій, -- это были люди того характера уб'яжденій, который нын'я принято въ критикъ называть «умъреннымъ образомъ мыслей». Они могуть быть очень благородны, очень благоразумны, -- но не имъ увлекать всявдъ за собою большинство; они могутъ быть очень почтенны, но они вовсе не эффектны, если можно такъ выразиться.

Ихъ учитель быль не таковъ. Онъ говориль то, что глубоко обдумаль и сильно прочувствоваль, —его убъжденія имъли уже логическую стройность и полноту, —онъ уже не могь дълать уступокъ явленіямъ, которыя не оправдывались его принципомъ, —онъ обсудиль и безвозвратно осудиль всё устарёлыя понятія, —словомъ ска-

вать, онъ былъ то, что теперь называется человъкъ неумолимой логики, человъкъ убъжденій.

Бывають эпохи въ литературѣ, когда нужны обществу люди умѣренныхъ мнѣній, люди примиренія; люди уступокъ,—они бывають очень полезны въ концѣ борьбы, когда нужно дать пощаду признавшимся въ своемъ безсиліи побѣжденнымъ. Но —начало борьбы, какова была во время Лессинга, имѣетъ другія условія,—тутъ нужна была энергія. Когда вводился въ жизнь новый принципъ, правъ котораго еще не хотѣли признавать, онъ долженъ быть со всею силою предъявлять всѣ свои права, долженъ быль не колеблясь обнаруживать всѣ слабыя стороны явленій, неудовлетворительность которыхъ дѣлала появленіе этого новаго принципа историческою необходимостью.

Мы не будемъ здѣсь излагать содержанія лессингова журнала, — это мы сдѣлаемъ въ особенной главѣ, а теперь скажемъ только нѣсколько словъ объ его общемъ дѣйствіи, о тѣхъ чертахъ, которыми, со времени «Литературныхъ писемъ», рѣзко запечатлѣлась вся жизнь нѣмецкой націи.

Мы видели, какую репутацію имель Лессингь и за что онъ имъль ее. Человъкъ энергического ума и смълого характера, онъ ненавидълъ то, что называется «половинчатостью» (Halbheit); чего онъ хотвлъ, того хотвлъ не шутя, что говорилъ, то говорилъ вполнъ, до конца, --если онъ не видълъ возможности или не находиль надобности выражать свою мысль во всей ея силь, онъ лучше вовсе не выражаль ее. Поэтому, первое впечатлъніе, произведенное «Литературными письмами», было впечатленіе страшной рёзкости сужденій. Видя необходимость для нёмецкой литературы въ совершенномъ разрывъ съ прежними вздорными формалистическими стремленьицами, онъ безъ всякихъ церемоній и безъ мальйшихъ уступокъ доказывалъ, что всв произведенія, нравившіяся до той поры публикв и превозносимыя рецензентами, никуда не годятся, а самыя великія литературныя знаменитости-или люди безталанные, или погубившіе свой таланть (последнее говориль онъ о Клопштокъ, первое - о всъхъ остальныхъ знаменитостяхъ), что всв прежнія литературныя понятія — чистый вэдоръ. Никакихъ уступокъ не дълалъ онъ заблужденію, и безусловно отрицаль всякое достоинство въ явленіяхъ, важнаго значенія которыхъ не смѣли отвергать даже люди, принадлежавшие къ его школъ. Въ этомъ состоить очевиднъйшее отличіе «Литературных» писем» отъ «Библіотеки изящных» искусствъ». Примъромъ его пусть служить знаменитая фраза о Готтшедъ, какъ драматургъ: «Никто не будетъ отрицать,—говорила «Библіотека,—что нъмецкій театръ въ значительной степени обязанъ своимъ первымъ усовершенствованіемъ г. профессору Готтшеду».—«Я этотъ никто,—говорилъ Лессингъ, цитуя слова эти въ XVII-мъ письмъ—я совершенно отрицаю это».

Рѣзкость сужденій была первымъ условіемъ сильнаго вліянія «Литературныхъ писемъ» на публику и писателей. Нѣмецкая мысль была тогда одержима такою вялою дремотою, что только самые сильные толчки могли пробудить ее. Въ этомъ отношеніи, какъ и во всѣхъ другихъ, Лессингъ былъ именно человѣкъ, въ какомъ нуждалось то время. Только безпощадная діалектика, не оставлявшая ни одного уступчиваго слова для успокоенія, могла заставить публику и писателей признаться въ томъ, что литературныя дѣла ихъ дѣйствительно въ плохомъ состояніи и пробудить въ нихъ потребность исправленія безжалостно раскрытыхъ недостатковъ.

Теперь, мысли, возбуждавшія изумленіе, когда явились въ «Литературныхъ письмахъ», стали общими местами, сужденія о писателяхъ и ихъ произведеніяхъ, возбуждавшія негодованіе, смешанное съ удивленіемъ, когда являлись въ «Литературныхъ письмахъ», повторяются въ каждомъ учебникъ, -- стало быть, энергія выводовъ и выраженія не заводила Лессинга въ несправедливую односторонность; но не въ томъ только дело, что онъ былъ правъ, осуждая Клопштока и Крамера, Готтшеда и Бодмера: не много бы выиграли нъмцы, если бы научились изъ «Литературных» писемъ» только върному взгляду на факты, обсуждавшіеся въ этомъ журнальфакты были вообще не слишкомъ важны, и, по правде сказать, не стоило бы труда вовсе и говорить о нихъ, еслибъ нёмцы были приготовлены къ тому, чтобъ слушать и понимать сужденія о чемъ нибудь важивищемъ, нежели произведенія Готтшеда съ его союзниками и противниками. Важно было не столько пріобретеніе немецкимъ обществомъ сужденій о литературныхъ явленіяхъ, сколько то, что вмъстъ съ содержаніемъ сужденій перешель въ немецкую мысль ихъ духъ, — духъ строгой, неостанавливающейся ни передъ какими выводами логики, не признающей за заблужденіемъ права на уступки, ищущей только чистой истины, какова бы ни была отъ того судьба нашихъ личныхъ предубъжденій и поползновеній.

Нелепо было бы намъ, людямъ постороннимъ, быть безусловными поклонниками нёмцевъ и ставить ихъ поэтовъ и мыслителей идеалами, передъ которыми ничтожны, напримъръ, поэты и мыслители англійскіе и французскіе, — сами німцы не впадають въ такую ошибку, тъмъ нелъпъе была бы она у насъ. Но безпристрастные люди всехъ націй согласны въ томъ, что если, вообще говоря, французскіе или англійскіе писатели им'єють во многихъ отношеніяхъ превосходство надъ немцами *), то, по смелости взгляда и логичности выводовъ, немцы стоятъ далеко выше ихъ. Французы съ парадоксальнымъ экстазомъ провозглашаютъ, сами изумляясь своей смелости, такія мысли, наивность которых важется пресною для нъмца; англичане пресерьезно доказывають справедливость понятій, нелічность которыхь очевидна для німца съ перваго взгляда,кромъ того, они слишкомъ плохіе діалектики сравнительно съ нъмцами. Широта и безпристрастіе взгляда чаще встрівчаются у нівмца, нежели у кого нибудь. Несправедливо было бы считать это достоинство особеннымъ качествомъ немецкой національности — логическая сила есть общее достояніе человіческаго ума; но то несомнанно, что всладствие привычки къ глубокому и безпристрастному мышленію, это драгоцівнюе качество сильніве развито въ настоящее время въ немецкой, нежели въ какой бы то ни было другой націи. Нельзя приписывать, конечно, развитіе этой привычки исключительно или преимущественно вліянію одного какого нибудь человъка, - оно было слъдствіемъ общаго состоянія Германіи въ половинъ прошлаго въка и свойства тъхъ вопросовъ, на которыя первоначально устремились умственныя силы немецкаго народа. Съ одной стороны, факты его жизни были такъ незавидны, что не могли порождать особеннаго пристрастія къ себі: у німцевъ не было ни блестящей національной исторіи, ни блестящихъ періодовъ литературы, какъ у французовъ и англичанъ, ни причинъ гордиться устройствомъ своего внутренняго быта, какъ у англичанъ, или умственнымъ владычествомъ надъ Европою, какъ у французовъ. Они не имъли поводовъ быть пристрастными — не къ чему было пристраститься; не имъли поводовъ быть робкими въ выводахъ

^{*)} Мы, кон ечно, говоримъ вообще о характерѣ литературъ, а не о немногихъ писателяхъ, составляющихъ рѣдкія исключенія, Гизо, напримѣръ, въ своей «Исторіи цивилизаціи» французъ только по изложенію, а по духу—нѣмецъ; Гейне—чистый французъ; Мальтусъ—нѣмецъ по неуклонной логичности выводовъ.

изъ опасенія коснуться отрицаніемъ чего нибудь драгоцівнаго, -имъ было нечего беречь и щадить. Съ другой стороны, первоначальною школою, въ которой воспитывалась ихъ мысль, было обсужденіе вопросовъ, болье или менье отвлеченныхъ,-литературы, науки, -- въ этихъ сферахъ, привыкнуть къ смелости и безпристрастію выводовь легче нежели въ сферѣ бытовыхъ и общественныхъ вопросовъ, гдъ отъ положительнаго или отрицательнаго ръшенія непосредственно зависить все матеріальное и общественное положеніе человіка. И самая натура вопросовь, къ которымъ первоначально обратилась пробуждавшаяся нёмецкая мысль, и обстоятельства, въ которыхъ пробудилась она, развивали въ ней наклонность и потомъ привычку къ логичности выводовъ и широтъ взгляда. Но того нельзя отрицать, что на сколько отдельный факть можеть иметь вліяніе на развитіе въ обществе известныхъ стремленій, на столько «Литературныя письма» содійствовали образованію въ немецкой мысли того драгоценнаго качества, о которомъ говорили мы. Эти письма были первымъ и чрезвычайно блестящимъ указаніемъ пути, по которому пошла нізмецкая мысль. Дізйствіе, произведенное ими было очень сильно: всф могли учиться изъ этого примъра, всв почувствовали желаніе идти по дорогв, въ первый разъ продоженной Лессингомъ.

По своей натурь, чрезвычайно живой и пылкой, Лессингъ вообще быль расположень работать именно только надъ твиъ, что не могло быть совершено другими; въ немъ жило инстинктивное влечение гениальныхъ людей устремлять свое силы только на существенный тую часть дыла, предоставляя другимы второстепеннымы людямъ то, что уже по силамъ для нихъ-именно, разработку поставленной руководителемъ задачи и пользованіе доставленными имъ къ тому средствами; кромф того, онъ, какъ мы видели, имфлъ ту особенность, что не любилъ держать въ зависимости отъ себя волю и умъ другихъ, -- ему было противно завидное для столь многихъ положение главы школы, окруженнаго послъдователями, главною его задачею было возбуждение самостоятельной дъятельности въ другихъ, какъ скоро истинный путь былъ указанъ, деятельность возбуждена, онъ чувствоваль свое дело совершеннымъ, ему скучно и противно было участвовать въ немъ долее, стесняя свотимъ превосходствомъ развитіе другихъ, — онъ чувствовалъ уже влеченіе обратиться къ ріменію других задачь, еще не тронутыхъ. Именно такой характеръ и быль тогда нуженъ для возрожденія нѣмецкой мысли въ мыслитель, который быль бы предводителемъ новаго движенія. Характеръ Лессинга, какъ человька, соотвътствоваль потребности Германіи въ такомъ писатель, который возбуждаль бы къ дѣятельности, не отнимая работы у пробужденныхъ умовъ своимъ неотступнымъ участіемъ, который научаль бы, не подчиняя. Ему скучно было долго оставаться на одномъ мѣсть или въ одинаковыхъ отношеніяхъ, — ему нужна была перемъна обстановки, разнообразіе занятій.

Участіе его въ «Литературных» письмахъ» было очень непродолжительно, -- оно длилось не болве того, сколько нужно было чтобы возбудить напряженное внимание общества къ новому критическому направленію и образовать его діятелей, поставить, такъ сказать, на ноги людей, которые могли бы итти по указанному направленію. «Литературныя письма» начались съ началомъ 1759 года, они выходили маленькими еженедъльными тетрадками, -- первыя восемь тетрадокъ были написаны почти исключительно Лессингомъ (изъ девятнадцати «Писемъ», которыя составляютъ ихъ, только одно шестое написано не Лессингомъ, — всв остальныя восемнадцать и общее введение принадлежать ему), -- потомъ онъ писалъ много, — около третьей доли всёхъ статей, — до конца октября 1759 года, — потомъ его статьи стали являться уже очень редко, почти случайно,-потомъ и вовсе прекратилось его участіе, и онъ только пишетъ наконецъ заключительное. (332-е) письмо, которымъ въ 1764 году оканчивается изданіе журнала, для котораго онъ въ первые два мѣсяца работалъ одинъ, потомъ нѣсколько болѣе полугода быль однимь изъ самыхъ деятельныхъ участниковъ, но после, втеченіе четырехъ съ половиною літь, уже не считаль нужнымъ принимать участіе, когда новое, начатое имъ направленіе, получило уже возможность продолжаться безъ его помощи.

Внѣшнею причиною прекращенія постоянной работы Лессинга для «Литературных» писемъ» было то, что онъ, проживъ около двухъ лѣтъ въ Берлинѣ, уѣхалъ изъ этого города. — отчасти соскучившись жить въ немъ, отчасти наскучивъ добывать себѣ пропитаніе литературною работою и подумавъ о томъ, чтобы обезпечить нѣсколько свое существованіе, отчасти наконецъ и то, что ему стало скучно общество берлинскихъ друзей.

Вообще, Лессингъ не встрвчалъ въ жизни такихъ людей, дружба

которыхъ долго сохраняла бы силу надъ его душевными стремленіями. Онъ быль слишкомъ многимъ выше самыхъ лучшихъ изъ тъхъ, съ которыми сводило его взаимное расположение и уважение. Слишкомъ короткія сношенія съ къмъ бы то ни было скоро становились для него отчасти скучными, отчасти стеснительными, и онъ чувствоваль потребность измінить свою обстановку, чтобы дружескія отношенія не разорвались его утомленіемъ. Эту черту мы замъчаемъ во многихъ геніальныхъ людяхъ, - можно сказать, во всъхъ тъхъ изъ числа ихъ, которые не были подвержены пороку мелкой суетности, находящей удовольствіе въ порабощеніи себ'в кружка поклонниковъ, который воскуряль бы имъ оиміамъ. Это надобно отличить отъ холодности или эгоизма. Почти каждый испытываль нвчто подобное, когда случалось ему жить въ постоянномъ общеніи съ людьми, стоявшими по уму и развитію ниже его, -- какъ бы сильно ни любиль онъ этихъ людей, общество ихъ мало по малу становилось для него скучно, и онъ, сохраняя готовность дёлать для нихъ все возможное, начиналъ думать, что свиданія съ ними были бы пріятиве, если бы сдвлались рвже. Чувство, испытываемое случайно, временно многими изъ насъ, почти постоянно испытывается геніальными людьми. Надолго могуть быть пріятны постоянныя, ежедневныя бесёды только между людьми равными, между собою. А такихъ людей почти не приходится встръчать человъку, который самъ составляеть ръдкое исключение. Отсюда наклонность къ уединенію, овладъвающая тыми изъ людей геніальныхъ, которые могутъ довольствоваться уединеніемъ.

Лессингъ былъ не таковъ. Онъ не могъ жить безъ людей, однако же, всякій кружокъ скоро утомляль его, — отсюда у него происходило стремленіе къ перемънъ кружковъ, — и самымъ легкимъ средствомъ къ достиженію этого были перетады съ одного мъста на другое. Ни къ одному изъ своихъ друзей не охладъваль онъ, но нигдъ не могъ ужиться долго, и тъмъ задушевнъе были возвращенія его на нъкоторое время въ тотъ или другой кружокъ, послъ двухъ-трехъ лътъ отсутствія, въ продолженіе котораго также поддерживались самыя дружескія отношенія перепискою. Одинъ только другь не наскучилъ ему во всю жизнь, — правда и то, что этотъ единственный незамънимый другь была женщина, мадамъ Кёнигъ, сдълавшаяся его женою, когда, послъ пяти-лътнихъ мучительныхъ хлопотъ объ обезпеченіи своего положенія для семейной жизни,

онъ увидълъ наконецъ возможность ввести въ свой домъ ту, которая уже пять леть была его невестою. Тогда Лессингь поселился въ Вольфенбюттель, -- а теперь, ему не для кого еще было слишкомъ долго оставаться въ Берлинв. Твиъ съ большею радостью покинуль онь Берлинь, что жиль тамъ единственно литературною работою, а этоть способь добывать каколь казался Лессинту; да и действительно быль тогда самымъ скуднымъ обезпеченіемъ. Случайно представилась ему возможность занять место секретаря при генераль Тауэнцинь, бреславскомъ губернаторь, съ тымъ вивств завъдывавшемъ чеканкою монеты. Генералъ былъ любимецъ Фридриха, преданный всею душею своему государю и полководцу. Лессингъ давно уже хлопоталъ, чтобы найти себъ какое нибудь мъсто. Онъ хотълъ принять даже должность квартирмейстера при одномъ изъ прежнихъ полковъ, -- мало того, носились слухи, что онъ готовъ даже поступить офицеромъ въ одинъ изъ милиціонныхъ батальоновъ. Темъ съ большею радостью принялъ онъ место секретаря при Тауэнцинъ, -- мъсто съ хорошимъ жалованьемъ, простиравшимся чуть ли не до тысячи талеровъ, -- мъсто объщавшее самую разнообразную и живую обстановку, потому что Бреславль быль однимь изъ главныхъ центровъ военнаго управленія и въ то время, - время Семильтней войны, - кипыль жизнью; - быть можеть, Лессингъ разсчитывалъ и на лагерную жизнь, которую действительно пришлось ему испытать черезъ нёсколько времени, когда Тауэнцинъ велъ осаду кръпости Швейдница.

По обыкновенію, Лессингъ ни съ къмъ не совъто вался въ этомъ случать; по обыкновенію, даже не предупредилъ друзей о своемъ отътвадь, и внезапно исчезъ изъ Берлина, какъ прежде исчезалъ изъ Лейпцига, изъ Виттенберга и т. д.,—Николаи съ Мендельсономъ только могли покачать головою при этомъ сюрпризт, какъ прежде качалъ головою Вейссе, неожиданно нашедши опусттвией квартиру своего друга.

Ускакавъ изъ Берлина въ концѣ 1760 года, Лессингъ былъ сначала въ восторгѣ отъ перемѣны своего положенія. Но скоро восторгъ прошелъ. Сухія должностныя обязанности отнимали слишкомъ много времени у новаго секретаря,—онъ думалъ, что эта механическая работа будетъ служить ему отдыхомъ отъ его ученыхъ и поэтическихъ трудовъ,—но онъ тосковалъ о томъ времени, когда могъ располагать всѣми часами дня по своему произволу. Служеб-

ныя свои обязанности онъ исполняль, какъ надобно думать, очень внимательно, потому что оставался на этомъ мъстъ болъе четырехъ лътъ, и Тауэнцинъ просилъ его остаться, когда онъ ръшился возвратиться въ Берлинъ, -- но онв были скучны для него. Въ матеріальномъ отношеній, служба при Тауэнцині была самымъ лучшимъ періодомъ въ жизни Лессинга. Получая значительное (сравнительно съ своими привычками) жалованье, онъ былъ далекъ отъ нужды, напротивъ, имелъ даже избытокъ, который употребилъ на составление прекрасной библиотеки. Не менве приятны были и его отношенія къ бреславскому обществу. Не стесненный денежными недостатками, онъ могь иметь все развлечения, и, какъ следовало ожидать отъ его характера, пользовался ими вполнв. Почти каждый вечерь, окруженный толпою пріятелей, онъ бываль въ театръ,-потомъ вечеръ заканчивался дружескими ужинами у самого Лессинга или у кого нибудь изъ его пріятелей. Но интересиве ужина и даже веселыхъ или ученыхъ бесъдъ, было для Лессинга другое препровождение времени, къ которому онъ пристрастился въ Бреславле, -- это карты. Лессингъ велъ большую игру, -- въ ревультать, онъ не проигрался и не разбогатьль, но выигрыши и проигрыши его часто бывали очень значительны. Любовь къ картамъ онъ сохранилъ до конца жизни, хотя впоследствии игралъ уже не такъ часто, и будучи менве обезпеченъ, долженъ быль вести игру осторожиће и умфрениће. Въ Бреславлѣ же, онъ скоро прослыль однимь изъ самыхъ отважныхъ и страстныхъ игроковъ. Старые берлинскіе друзья, да и изъ бреславскихъ тв, которые были близки къ нему, сильно упрекали его за эту страсть, - но Лессингъ шутливо отвъчалъ имъ цълыми длинными ръчами, въ которыхъ доказывалъ тысячами самыхъ основательныхъ доводовъ, что азартная игра-занятіе не только привлекательное, но истинно полезное для души и тела. Для примера, воть одно изъ этихъ докавательствъ. По словамъ Лессинга карты-превосходное гигіеническое средство. Этимъ онъ опровергалъ извъстное замъчаніе, что неговоря о раззорительности для кармана, надобно удерживаться отъ. большой игры уже и потому, что ея волненія разрушительны для организма. «Напротивъ, говорилъ онъ:--я играю именно для здоровья. Волненіе оживляеть мой организмъ; оно возвышаеть энергіювсвхъ физіологическихъ отправленій, разгоняеть всв накопляющіеся дурные соки, и т. д. Вы говорите съ ужасомъ о потв, который выступаетъ у меня на лбу при большихъ ставкахъ—именно этотъ потъ и есть прекрасное лекарство. Вспотввъ хорошенько, человъкъ исцъляется отъ всякихъ бользней». На подобныя выдумки въ защиту своего любимаго развлеченія онъ былъ неистощимъ.

Не однимъ твиъ, что онъ пристрастился къ игръ, были недовольны его старые друзья—опи упрекали его въ томъ, что онъ для каргъ и должностныхъ бумагъ бросилъ литературу. Въ самомъ дълъ, во весь періодъ своей бреславской жизни, Лессингъ ничего не напечаталъ; цълыя пять лътъ нъмецкая публика не читала ни одной новой строки, имъ написанной. Это въ самомъ дълъ казалось непростительнымъ погребеніемъ таланта въ землю. Словеснымъ и письменнымъ укоризнамъ не было конца. Выведенный изъ терпънія, Мендельсонъ (съ которымъ онъ былъ ближе, нежели съ къмъ нибудь) не удовольствовался даже и этими способами обличенія. Издавна въ 1763 году собраніе своихъ «Философскихъ сочиненій», онъ при нъсколькихъ экземплярахъ этой книги, — изъ которыхъ одинъ былъ посланъ къ Лессингу, а другіе розданы общимъ ихъ друзьямъ,—припечаталъ слъдующее полушутливое, полусерьезное

посвящение странному человъку.

«Писатели, поклоняющіеся публикі, жалуются на глухоту этой богини: она требуеть, чтобы ее чтили и умоляли, говорять они, оть утра до полудня они взывають къ ней—и ніть ни гласа ни отвіта на всі мольбы. Я приношу мою книгу къ стопамъ идола, имінощаго упрямство быть столь же глухимъ къ мольбі. Я взываль къ нему, и онъ не отвітаеть. Теперь обвиняю его передъ глухимъ судьею, публикою,—судьею, очень часто изрекающимъ справедливые приговоры, ничего не слыша.

«Насмышники говорять: Взывай громогласно! онъ пишеть драмы, онъ занять дылами, онъ убхаль въ путь или быть можеть онъ спить, да пробудится онъ!—О, нёть! писать драмы онъ можеть, но—увы! не хочеть; пуститься въ путешествіе онъ захотыль бы, но не можеть; спать?—для этого слишкомъ бодръ его духъ; заниматься дёломъ?—для этого онъ слишкомъ лёнивъ. Нёкогда серьезная рёчь его была оракуломъ для мудрецовъ, насмышка его—бичомъ для глупцовъ; но теперь замолкъ оракулъ и безнаказанно буйствуютъ глупцы. Онъ передалъ свой бичъ другимъ, но они бьютъ слишкомъ слабо, потому что боятся видёть кровь;—а онъ—

если онъ не слышитъ и не говоритъ, не чувствуетъ и не видитъ чтожь онъ дълаетъ?—играетъ!

> "Wenn er nicht hört, noch spricht, nicht fühlt, Noch sieht, was thut er denn?—Er spielt."

Но не трогался Лессингъ никакими упреками, -- онъ действительно быль глухъ и немъ, --- ничего не печаталъ и играль въ карты. Сколько ужь лать, работая какъ почтовая лошадь, онъ мечталь о такомъ положени, въ которомъ не былъ бы принужденъ писать и писать, чтобы не умереть съ голоду! Принужденная литературная работа тяжелье и прискорбные всякой другой принужденной работы, — отдыхъ после нея кажется отрадне всякаго другаго. Лессингъ наслаждался имъ. Но не пропали для него, какъ писателя, эти годы, въ которые, какъ казалось постороннему зрителю, онъ покидаль свой секретарскій столь только для того, чтобы перейти къ карточному столу, изъ-за оффиціальнаго об'вда у своего начальника вставаль только за темъ, чтобы ехать въ театръ или на вечеръ (кстати, надобно замътить, что Лессингъ былъ отличный танцоръ) и потомъ състь за шумный ужинъ, - не безполезно прошли эти годы. Онъ находиль время для ученыхъзанятій, очень разнообразныхъ и серьезныхъ, -- въ этомъ отношеніи онъ сдѣлалъ для себя теперь больше, нежели когда нибудь. Онъ читалъ, по обыкновенію, страшно много, и постоянно переходиль оть одной отрасли науки къ другой, отъ одного ученаго изысканія къ другому. Богословіе, философія, эстетика, исторія, законов'ядініе, естественныя науки по очередно были изучаемы имъ вновь. Не пропали и часы, проведенные въ обществъ-напротивъ, они были для него какъ литератора, полезнъе, нежели вся его прежняя жизнь. Обыкновенно, литературная или ученая карьера какъ то мало-по-малу отдаляеть человъка отъ непосредственной жизни въ такъ называемыхъ прозаическихъ, общественныхъ отношеніяхъ, а между тімъ эти отношенія составляють основной элементь жизни, ту почву, на которой развивается вся умственная, правственная, эстетическая и т. п. и т. п. жизнь, — почву, безъ непосредственнаго изученія которой всв такъ называемыя высшія направленія и стремленія будуть представляться въ фальшивомъ свътъ. Писатель или ученый, если онъ принадлежитъ только цеху своего спеціальнаго занятія, малопо-малу пріучается смотр'єть на жизнь съ своей цеховой точки зрвнія; а смотрыть на міръ съ цеховой точки вредно для мысли, какому бы цеху ни принадлежала эта точка, —высокому или нив-кому, пошлому или идеальному. Поэтъ, разсматривающій людей въартистическомъ отношеніи, не менте одностороненъ, и, по правдтоворя, нементе пошль, нежели сапожникъ, разсматривающій ихъвъ отношеніи къ сапожному производству. Потому великое счастіе для литератора, если онъ испыталь жизнь не только какъ литераторъ, а также какъ человъкъ многоразличныхъ положеній, въ которыя ставитъ человъка прозаическая карьера, — тогда легче ему оторваться отъ односторонности, понять жизнь во всей ея правдть. На последующихъ драмахъ Лессинга отразилось то, что онъ долго имъль сношенія съ людьми не какъ литераторъ, а какъ секретарь, черезъ руки котораго проходили и военныя, и гражданскія, и финансовыя дъла.

Всёми критиками это замёчено на драмё, докончивъ которую, онъ оставилъ мёсто при Тауэнцинё, — знаменитой «Миннё фонъ-Барнгельмъ».

Изъ того, что Лессингь ничего не печаталь, пока жиль въ Бреславль, напрасно заключали его недовърчивые друзья, что онъ бросиль литературный трудь. Напротивъ, лишь только отдохнуль онъ отъ истощающей нравственныя и физическія силы срочной работы, какъ съ новымъ жаромъ и гораздо большею сосредоточенностью, нежели когда нибудь, принялся за литературу. Отдыхъ отъ срочной и мелкой работы послужилъ ему для созданія капитальныхъ произведеній, изъ которыхъ однимъ положилъ онъ начало истинно національной поэтической литературъ въ Германіи, другимъ основалъновую теорію искусства, принципы которой остались навсегда непреложными. Въ Бреславлъ написалъ онъ драму «Минна фонъ-Барнгельмъ» и изслъдованіе о характеристическихъ отличіяхъ поэзіи отъ другихъ искусствъ, «Лаокоонъ».

Въ пять лѣтъ ему страшно наскучили оффиціальныя обязанности, тоска по литературной жизни развивалась все сильнѣе и сильнѣе. Онъ долго оставался на мѣстѣ, которымъ скучалъ, — это потому, что ему хотѣлось возстановить отдыхомъ свое здоровье и сбереженіями изъ жалованья нѣсколько обезпечить себѣ на первое время средства къ жизни. Наконецъ, эти цѣли были достигнуты, — здоровье поправилось; денегъ онъ сберегъ, правда, немного, —всего нѣсколько сотъ талеровъ, — но онъ видѣлъ, что при своей безза-

ботности о деньгахъ, больше онъ не соберетъ. Оставаться долье въ Бреславлѣ было не зачѣмъ, и онъ рѣшился покинуть мѣсто секретаря. Въ матеріальномъ отношеніи, промінь службы на литературу быль не выгодень, -- это зналь онь самь, это говорили ему и родные, уже надъявшіеся было, что онъ навсегда останется на служебной дорогь, объщавшей много выгодъ, и сожальные теперь, что онъ разрушаль ихъ мечты о его будущемъ высокомъ рангѣ, богатствъ и т. д.,-но ему стало несносно долъе тратить часть времени на сухія оффиціальныя обязанности, ему до крайности опротивъло быть въ оффиціальной зависимости. «Большую половину своей жизни я прожиль, --писаль онь отцу, какъ бы предчувствуя, что не ложиветь до старости (тогда ему было 34 года)-и не знаю. зачемь было бы мне отравлять зависимостью меньшую остающуюся мев половину ея. Пишу (и долженъ писать) вамъ это, батюшка, чтобы вамъ не показалось странно, когда я вдругъ (и это будетъ скоро) откажусь отъ всякихъ надеждъ и притязаній на такъ называемое прочное счастье. Теперь я тверже, чтмъ когда нибудь, ртвшился не принимать никакого должностнаго мъста, если оно не будетъ совершенно по моему вкусу». Въ самомъ дълъ, видно, что очень надовли ему оффиціальныя обязанности: ему предлагали каөедру словесности въ Кёнигсбергскомъ университетъ, но онъ отказался и явился въ Берлинъ (въ май 1765) снова литературнымъ бобылемъ.

Именно, бобылемъ, потому что, когда онъ обзавелся хозяйствомъ, онъ увидълъ, что изъ небольшой суммы, сбереженной въ Бреславлъ, не остается у него ровно ничего. Частъ денегъ, — болъе, нежели могъ, — онъ, по обыкновенію, отдалъ роднымъ, которыхъ постоянно поддерживалъ, не смотря на собственную нужду, — обзаведеніе хозяйствомъ обошлось дороже, нежели онъ разсчитывалъ, — провозъ библіотеки стоилъ дорого, — помогъ истощенію его кошелька и непредвидънный случай: слуга, съ которымъ обращался онъ чрезвычайно ласково и гуманно, «скоръе, какъ съ братомъ, нежели какъ съ слугою», — и котораго онъ отправилъ раньше себя въ Берлинъ съ платьемъ и вещами, по пріъздъ въ Берлинъ вздумалъ дъйствительно разъигратъ роль безцеремоннаго брата: одълся въ платье Лессинга, нанялъ квартиру «для себя и своего брата», въ качествъ брата воспользовался кредитомъ, который имътъ Лессингъ, набралъ себъ денегъ на его имя, потомъ удалился изъ Берлина съ платьемъ,

вещами и деньгами. Такимъ образомъ, пришлось Лессингу не только дѣлать себѣ платье (въ чемъ онъ думалъ долго не имѣть нужды) но и платить долги. Огорчился и разсердился онъ, нашедши въ Берлинѣ такой сюрпризъ, — особенно потому, что теперь долженъ былъ пріостановиться на нѣкоторое время исполненіемъ разныхъ обѣщаній сестрѣ, которой хотѣлъ послать подарки, и брату, которому хотѣлъ дать денегъ—но лишь только прошла первая вспышка досады, врожденное добродушіе взяло верхъ и онъ не хотѣлъ даже подать жалобы на вора. И когда ему сказали, что бреславльскій его слуга купилъ въ какомъ-то городкѣ домикъ и открылъ кофейную, онъ замѣтилъ только: «А, ну такъ значитъ, мои деньги пошли ему въ прокъ».

Много было ему хлопоть и нужды,—пришлось отказаться и отъ обольстительнаго проэкта постить Италію, и особенно Грецію, чего ему очень хотвлось, — пришлось отказаться и отъ мечты не торопиться срочною литературною работою для денегъ, а работать только надъ капитальными произведеніями.

Онъ хотъль было ограничиться одною, двумя любимыми отрасдями знанія (говорить его брать, котораго онь взяль къ себъ, перевхавъ въ Берлинъ). Этого неудалось, тяжело ему было безвыходно сидъть за письменнымъ столомъ въ душномъ кабинетномъ воздухв,--что ему представлялось такою пріятною перспективою въ Бреславлъ. Тяжело было и работать, не такъ какъ хотълось, а по требованію оригинала въ типографію. Вотъ онъ погрузился въ работу-кругь его мысли расширяется, надобно сдёлать новыя изслёдованія, внести въ сочиненіе новые взгляды-какое открытіе! какъ проясняется предметь! Вопрось представляется въ новомъ свътъ!--Но стучится въ дверь разсыльный изъ типографіи, и требуетъ продолженія рукописи, которая печатается. — Листы для отсылки въ типографію были готовы, надобно было только просмотреть ихъ,по этому онъ всталъ рано, и сълъ просматривать поскоръе, -- но ему пришли новыя мысли, — онъ сталъ писать, рукопись осталась не просмотрвна, — «зайди черезъ два, три часа, будетъ готово» — «ахъ, какъ развлеклись мысли, трудно съ вниманіемъ просматривать прежнюю рукопись», --- но онъ не встанеть съ мъста, пока не приготовить для типографіи, приходить разсыльный въ назначенное время, -- та же исторія, тоже мученье.

«Онъ ходиль по комнать, садился за столь, вставаль, бросался

на кровать, — опять садился. — «Нётъ лучше все, что угодно, чёмъ прочитывать къ типографскому сроку свою работу! Брать! — говориль онъ: — быть писателемъ отвратительнёйшее, пошлёйшее дёло! Мой примёръ тебё урокъ»!

Но такъ или иначе, печатать было нужно, чтобы не быть безъ гроша денегь,—и эта необходимость заставила его неутомимъе трудиться надъ окончательною обработкою «Минны фонъ-Барнгельмъ» и «Лаокоона».

Имя Лессинга, какъ драматурга, было уже прославлено драмою «Миосъ Сара Сампсонъ», которая явилась въ 1755. Мы не будемъ разсказывать здѣсь содержаніе пьесы,—это мы сдѣлаемъ послѣ; теперь довольно сказать нѣсколько словъ о ея значеніи въ искусствѣ. Извѣстенъ переворотъ, произведенный во французской драмѣ теоріею Дидро о томъ, что драмѣ пора начать, вмѣсто героевъ и полководцевъ, изображать человѣка такого, какъ мы всѣ, въ такой обстановкѣ и такихъ коллизіяхъ, которыя знакомы всѣмъ намъ изъ собственнаго опыта, по собственной радости и скорби, а не изъ Тита-Ливія и Плутарха; извѣстно громадное дѣйствіе драмъ, на писанныхъ Дидро по этому принципу. Дидро опирался въ этомъ на англійскихъ драматурговъ,—Лессингъ, изучившій Дидро (котораго онъ переводилъ) и англійскую драму, проникся тою же теоріею и «Миссъ Сара Сампсонъ» была слѣдствіемъ этого настроенія.

Въ теоріи, первенство остается безспорно за Дидро. Лессингъ самъ говоритъ, что учился у него; но оправдать на дёлё теорію,значить, вполнъ прояснить ее для себя, Лессингь успъль раньше, нежели самъ изобрътатель теоріи. Первая драма Дидро изъ быта среднихъ классовъ (tragédie bourgeoise, drame bourgeoise) явилась двумя годами послъ «Сары Самисонъ». Дидро написалъ разборъ ея въ «Journal étranger», и, конечно, восхищается блистательнымъ приложениемъ своей теоріи къ ділу. Въ общей исторіи литературы, Дидро, предупредившій Лессинга въ одномъ отношеніи, быль предупрежденъ имъ въ другомъ. Въ исторіи німецкой литературы, «Сара Сампсонъ» занимаетъ такое же мъсто и произвела такое же дъйствіе, какъ драмы Дидро во французской. Туть въ первый разъ холодный блескъ и пустозвонное величіе внішности уступило мізсто истинному патетизму, театральный герой съ картоннымъ мечомъ — дъйствительному человъку. Дидро справедливо заключаетъ свою рецензію драмы Лессинга словами:

«Быть можеть, искусству нужно еще усовершенствоваться въ Германіи; но германскій геній уже обратился къ природі,—это истинный путь, да идеть онь по этому пути».

Искусству дъйствительно оставалось еще сдълать въ Германіи нъсколько шаговъ, чтобы создавать истинно великое, — чрезъ всъ эти ступени провелъ его Лессингъ послъдующими своими драмами. Первое требованіе, которому надобно было удовлетворить послъ того, какъ «Сарою Сампсонъ» введена была въ искусство натура, введенъ былъ человъкъ и истинный паеосъ, — первое требованіе далъе было введеніе въ искусство національнаго и современнаго содержанія. Это было исполнено Лессингомъ въ драмъ «Минна фонъ-Барнгельмъ».

Мы уже говорили, что Лессингъ былъ первымъ сильнымъ представителемъ въ немецкой литературе того плодотворнаго вліянія иноземной высшей цивилизаціи, когда народъ отъ слешаго подражанія витиней формт переходить къ пониманію и воспріятію духа цивилизаціи. «Миссъ Сара Сампсонъ» была произведеніемъ этого періода. Теорія Лидро и практическій примірь, указанный англійскими драматургами, произвели эту пьесу. Мы видели уже, что Дидро узналъ въ ней плодъ своей мысли; еще боле очевидно въ ней вліяніе англійскихъ образцовъ, которое отразилось на самомъ сюжеть, выбранномъ для пьесы. Дъйствующія лица въ ней-англичане; вся обстановка действія—англійская. Немецъ видель въ ней человъка, но еще не видълъ въ ней себя. У насъ нътъ оригинальнаго произведенія, съ которымъ можно было бы сравнить «Сару Самисонъ» по отношеніямъ ея къ прежней подражательной формалистической и последующей самобытной литературе съ національнымъ содержаніемъ, -- наши русскія оригинальныя произведенія соотвътствующей степени историческаго развитія слишкомъ ничтожны.-Но, хотя посредствомъ другаго способа, въ другой отрасли поэзін, въ гораздо теснейшей односторонности содержанія, сделаль для русской литературы ивчто подобное Жуковскій своими переводами и подражаніями. Онъ познакомиль нась въ поэзіи съ человіческими (вообще человвческими, не нашими, именно) чувствами, черезъ него мы узнали, что истинная поэзія не въ пышныхъ сюжетахъ и нустозвонной реторик водъ, не въ изображени героевъ, которые

Ступять на горы—горы трещать, Лягуть на бездны—воды кипять:

которые беруть приступомъ города и, не удовлетворяясь этимъ, Вашни за облакъ рукою видають,—

а въ доступныхъ каждому изъ насъ, болье или менье знакомыхъ каждому изъ насъ чувствахъ дъвушки, у которой убить милый («Ленора»), юноши, бросающагося на неизбъжную почти смерть, чтобы получить руку любимой и любящей дъвушки («Кубокъ»), въ ревности мужа, тоскливыхъ страданіяхъ жены, полюбившей другаго («Замокъ Смальгольмъ») — это еще не мы, какъ русскіе, но мы, какъ люди.

Внъшность явленій, нами сближаемыхъ, совершенно различна: у Лессинга — драма, у Жуковскаго — лирическія стихотворенія; у Лессинга-оригинальное созданіе, у Жуковскаго переводы; у Жуконскаго во всемъ примъсь бользиеннаго романтизма, у Лессингаздравое пониманіе свіжей жизни, — сами по себі, сближенныя нами явленія не имівють ни малівищаго сходства; нелівно было бы находить и какое нибудь подобіе между ними по внутреннему достоинству. Но въ цепи развитія литературной мысли, но по действію на публику, д'ятельность Жуковскаго соотв'ятствуеть до н'якоторой степени тому, что сделаль для немецкой литературы Лессингъ своею «Сарою Сампсонъ». Это соотвётствіе состоитъ въ томъ, что въ поэзію введень быль человекъ, истинно человеческій паеосъ, вивсто подражательной формалистики и холоднаго блеска обстановки, - но еще не введено было національное содержаніе. Введеніе его должно было составить новый фазись литературнаго развитія.

Это сдёлано для нёмецкой литературы Лессингомъ въ слёдующей драмё, «Минна фонъ-Барнгельмъ». Тутъ въ первый разъ увидали нёмцы себя и свою жизнь предметомъ художественнаго воспроизведенія.

По принятому плану, мы разскажемъ содержаніе «Минны фонъ-Барнгельмъ» въ отдівльномъ эскизів, а здівсь довольно будеть замівтить, что сюжеть пьесы таковъ: майоръ фонъ-Тельгеймъ, храбрый прусскій офицеръ, при уменьшеніи состава арміи послів Семилівтней войны, уволенъ въ отставку. У него была невівста, дівушка изъ богатой саксонской фамиліи (Минна фонъ-Барнгельмъ). Они любятъ другъ друга. Но оставшись безъ куска хліба и безъ значенія въ обществів, Телльгеймъ думаетъ, что безчестно было бы ему теперь не освободить отъ всякихъ обстоятельствъ относительно его девушку, которая дала ему слово при другихъ обязательствахъ. Между твиъ невеста съ дядею своимъ прівзжаеть въ городъ, гдв живеть онъ, — такъ было условлено прежде. Но женихъ решился скрыться отъ невъсты, - случайно встръчаетъ она его въ гостинницъ, въ которой остановилась, — онъ говорить: «я теперь долженъ отказаться отъ васъ, я вамъ не партія»; дело кончается, конечно, свадьбою, вследствіе различныхъ коллизій, которыхъ не нужно здёсь разсказывать въ подробности, - читатели уже видять, что содержаніе пьесы взято цівликомъ изъ нівмецкой жизни и должно касаться живых в тогда современных вопросовъ, дъйствительно, оно касается ихъ до такой степени, что въ Берлинв сначала запретили было представленіе пьесы, но тотчась одумались. Судьба многихъ храбрыхъ офицеровъ, оставшихся по окончаніи войны безъ куска хавба, подобно Телльгейму, возбуждала въ Пруссіи живое участіе (это было вскор'в по заключении мира). Сюжеть пьесы заимствованъ, по признанію самого Лессинга, изъ действительнаго случая, бывшаго въ Бреславлъ. Лица и нравы въ пьесъ-чисто нъмецкіе. Наконецъ, читатели замътятъ истинно національную тенденцію цьесы, -- любовь саксонки Барнгельмъ и пруссака Телльгейма служитъ какъ бы символомъ примиренія разорванныхъ нёмецкихъ племенъ. соединенія ихъ въ одномъ національномъ чувств'в, и вся пьеса явдяется протестомъ противъ племенной вражды, воззваніемъ къ примиренію, забвенію прошлыхъ обидъ, --- воззваніемъ къ національному единству.

Въ первый разъ являлось все это въ нѣмецкой поэзіи,—эта народность лицъ и сюжета, идеи и обстановки. Чтобы живѣе понять
значеніе «Минны фонъ-Барнгельмъ» въ развитіи нѣмецкой мысли,
мы можемъ припомнить значеніе «Евгенія Онѣгина» въ нашей литературѣ. Сравненіе этихъ произведеній въ художественномъ отношеніи или даже по направленію ихъ было бы нелѣпо. Но они сходны въ томъ, что составляетъ ихъ главное значеніе: оба они были,
каждое въ своей литературѣ, первыми произведеніями съ содержаніемъ, взятымъ изъ національной жизни, и какъ «Онѣгинымъ» въ
русской, такъ «Минною фонъ-Барнгельмъ» въ нѣмецкой литературѣ
вводится новый элементъ, начинается новый фазисъ развитія.

Вспомнивъ громадный успъхъ «Онъгина», мы легко можемъ вообразить себъ, каково было впечатлъніе, произведенное «Минною фонъ-Баригельмъ». Оно было огромно. По нѣскольку мѣсяцевъ каждый день давалась эта пьеса на театрахъ, —впродолженіе десятковъ слѣдующихъ лѣтъ число ея представленій на каждомъ изъ нѣмецкихъ театровъ надобно считать едва ли не тысячами. Вся литература быстро измѣнила характеръ, —количество пьесъ, написанныхъ подъ вліяніемъ «Минны фонъ-Барнгельмъ», было неимовърно. Эти подражанія и передѣлки, по общей судьбѣ подражаній, мало обогатили нѣмецкую литературу; но открылся литературу новый міръ, —міръ родной жизни, —быстро развилась въ ней самобытность, окрылились этимъ направленіемъ самобытные геніи, и черезъ шесть-семь лѣтъ послѣ «Минны фонъ-Барнгельмъ» является уже «Гецъ фонъ-Берлихингенъ» и «Вертеръ».

Послѣ краткихъ указаній на содержаніе «Минны фонъ-Барнгельмъ», нѣтъ надобности говорить, даромъ ли прошли для Лессинга, какъ поэта, годы, которые прожилъ онъ секретаремъ у Тауэнцина,—вся пьеса возникла изъ той жизни, свидѣтелемъ и участникомъ которой Лессингъ былъ въ Бреславлѣ. Черезъ восемь лѣтъ послѣ «Миссъ Сары Сампсонъ»—«Минна фонъ-Барнгельмъ» *),—какой огромный шагъ впередъ! Эти пьесы раздѣлены одна отъ другой тою бездною, какая раздѣлетъ, напримѣръ, «Свѣтлану» или «Людмилу» отъ пьесы Пушкина «Женихъ»,—беремъ для сравненія мелкіе примѣры, за отсутствіемъ болѣе значительныхъ, но вообще, отношеніе Лессинга, какъ автора «Сары», къ Лессингу, какъ автору «Минны», таково же, какъ отношеніе Жуковскаго къ Пушкину **):

До того періода, который начался появленіемъ «Минны фонъ-Барнгельмъ», нёмецкая поэзія страдала безжизненностью. Этотъ недостатокъ былъ общимъ характеромъ и всёхъ тёхъ періодовъ различныхъ литературъ, которыя въ первой половинё XVIII вёка считались періодами высочайшаго развитія поэзіи,—безжизненностью страдала поэзія римлянъ и особенно Виргилія, который былъ идеаломъ для итальянскихъ поэтовъ XVI вёка и французскихъ поэтовъ

^{*)} Эта драма напечатана въ 1767 году, но написана въ 1763.

^{**)} Конечно, мы сравниваемъ не таланты поэтовъ, а мъста, занимаемыя ими въ развитіи той и другой литературы; не достоинство произведеній, а элементы жизни, ими обнимаемые. Само собою разумъется, что и въ послъднемъ смыслъ, полобіе не есть равенство. Преемственность фазисовъ развитія одинакова; но по степени силы и полноты, съ которыми охватывается данный элементь содержанія, между параллельными фазисами различныхъ литературъ можетъ существовать безконечное различіе.

ХУП въка; безжизненностью страдали и эти поэты, въ свою очередь; холодная формалистика, изъ Италіи покорившая Францію, въ концѣ XVII и началѣ XVIII вѣка изъ Франціи распространилась не только на едва возникавшую литературу Германіи, но овладёла даже и модною англійскою литературою, подавила преданія, зав'ящанныя Шекспиромъ и Мильтономъ. При такомъ всеобщемъ владычествъ, недостатокъ быль возведенъ въ теорію, безжизненность, губившая искусство, была поставлена верховнымъ закономъ его. Неподвижность, отсутствіе действія въ поэзім проповедывались теоріею, лозунгомъ которой были знаменитыя слова Горація: «Ut pictura poësis»—слова, понимавшіяся въ самомъ утрированномъ смыслъ: «пусть поэзія превратится въ живопись, пусть она подражаетъ живописи». Всвиъ поэтамъ было заповедано стараться превзойти другь друга длиннотою и мелочностью всякихъ описаній, разсматривающихъ предметь какъ неподвижный, бездійственный. Описательная поэзія была повсюду любимымъ родомъ; во всёхъ другихъ родахъ поэзіи рисовались безчисленные длиннёйшіе ландшафты, портреты красавиць и героевь съ описаніемь каждаго волоска; изъ-за ландшафтовъ поэть забываль о действующихъ лицахъ, изъ-за портретовъ дъйствующихь лицъ забываль о ихъ жизни.

Все это дѣлалось по теоріи. Теорія имѣеть очень сильное вліяніе на практику. Недовольно было для оживленія нѣмецкой поэзіи практически ввести въ поэзію жизнь: чтобы поданный примѣръ оказаль полное вліяніе на дѣятелей литературы, надобно было также теоретически разрушить теоретическіе предразсудки, сбивавшіе съ толку поэтовъ. Не довольно было проложить прямой путь, —надобно было также объяснить, что этоть путь единственный прямой путь, что кривые пути, казавшіеся прямыми сбившимся съ толку людямъ, дѣйствительно кривы. Нужно было создать новую теорію поэзіи, разрушивъ ошибочныя теоріи, на которыя опиралась формалистика и безжизненность.

Это сдълать Лессингь своимъ «Лаокоономъ». Мы не будемъ излагать здъсь содержание этого изслъдования о верховномъ принципь поэзіи, отлагая подробный обзоръ его до другаго мъста, — теперь, надобно только сказать о томъ общемъ принципь, который оставилъ Лессингъ въ «Лаокоонъ» существеннымъ характеромъ поэзіи, въ отличіе отъ другихъ искусствъ, особенно отъ живописи, которой прежняя безжизненная теорія подчиняла и тъмъ обезсили-

вала поэзію, требуя отъ нея того, чего не можеть она дать, и заставляя ее забывать о томъ, чёмъ она сильна. Предметъ поэзіидъйствіе, сказаль Лессингь. Не тьло, не природу должна она описывать, -- въ этомъ она безсильна, это область живописи, недоступная для поэзіи, — она можеть давать намъ понятіе только о дійствін. Живопись изображаеть самые предметы, повзія изображаеть дъйствіе предметовъ на человъка, --ей никогда не удастся изобразить пейзажь такь отчетливо, какь то делаеть живопись, -- но действіе этого пейзажа на душу человѣку изобразить она со всею точностью и живостью, -- дёло, невозможное для живописи, -- а зная дъйствіе предмета, мы узнаемъ и самый предметь. Передайте мнъ впечатавніе, производимое пейзажемь, и пейзажь живь и отчетливь возсоздается моимъ воображеніемъ, хоть онъ и не описанъ у васъ. Не описывайте мив въ стихахъ красоту, -- описание будетъ бледно и смутно,--но покажите дъйствіе красоты, на людей, и она живое живве, быть можеть, чемь на картине, обрисуется моимь воображеніемъ. И такъ, действіе, действіе — воть что составляеть силу поэзіи, составляеть ея спеціальный предметь.

Такимъ образомъ, человъческая жизнь поставлялась единственнымъ кореннымъ предметомъ, единственнымъ существеннымъ содержаніемъ поэзіи, драматическій элементъ признавался основною силою ея. Ничего неподвижнаго, ничего мертваго и отвлеченнаго не должно быть въ поэзіи. Она разсказываетъ только, какимъ образомъ дъйствуетъ обстановка на человъка, и человъкъ дъйствуетъ на окружающій его міръ. Поэзія есть драма жизни *).

Со временъ Аристотеля, никто не понималъ сущность поэзіи такъ в'врно и глубоко, какъ Лессингъ. Его «Лаокоономъ», въ первый разъ втеченіе двухъ тысячъ л'втъ, были объяснены и оправданы намеки Аристотеля, остававшіеся непонятными до той поры.

Дъйствіе, произведенное «Лаокоономъ» на развитіе нъмецкой литературы, было также огромно, какъ дъйствіе «Литературныхъ писемъ» и «Минны фонъ-Барнгельмъ». Гёте и потомъ Шиллеръ

^{*)} Драматическій элементь, конечно, не должно сміншвать съ драматическою формою. По теоріи Лессинга, форма разсказа, воспроизводящая всв элементы дійствія поличе и свободине, нежели односторонняя діалогическая форма драматическихъ сочиненій, есть самая совершенная изъ поэтическихъ формъ. Въ ней болье истиннаго драматизма, нежели въ узкой діалогической формь.

воспитались этою теоріею. Самъ Гёте, который не любить Лессинга, говорить въ своей автобіографіи: «Надобно быть юношею, чтобы вообразить себъ, какое дъйствіе оказаль на насъ лессинговъ Лаокоонъ (Гёте было тогда лёть восемнадцать), — онъ подняль насъ изъ бъдной сферы внъшнихъ очертаній въ свободную область мысли. Разомъ было низвергнуто искаженное понятіе о томъ, что позія должна подражать живописи. Мы были озарены, какъ молнією, отбросили всъ прежнія понятія, какъ ветхую рухлядь, намъ казалось, что мы спасены теперь отъ всякаго зла».

«Вліяніе «Лаокоона» на главныхъ поэтическихъ діятелей слівдующаго періода немецкой литературы было такъ решительно, что даже второстепенныя, мелочныя замічанія Лессинга были строго соблюдаемы ими. Укажемъ два примъра. Лессингъ, разбирая мъста, которыя считались прим'врами поэтической живописи у Гомера (онъ первый сказаль, что если есть руководители въ искусствъ, то этими руководителями должны считаться Гомеръ и Шекспиръ, и въ написанной части «Лаокоона» всё свои выводы основываеть преимущественно на анализъ Гомера), объясняетъ, что это не описанія предметовъ, а разсказы о происхожденіи и судьбъ этихъ предметовъ, -- Гомеръ не описываетъ корабля, а разсказываетъ, какимъ образомъ былъ построенъ корабль. Этимъ примъромъ подтверждаетъ онъ свою мысль, что если поэту нужно обрисовать части и принадлежности предмета, приличные всего ему не прямо изображать ихъ въ неподвижномъ ихъ состояніи, готовыми, какъ то делаетъ живописець, а все-таки разсказывать для этой цели о движеніи, перемвнахъ дъйствіи. У Гете постоянно соблюдается этотъ пріемъ. Далье, Лессингъ замъчаетъ, что у Гомера нътъ портретовъ дъйствующихъ лицъ-онъ не говорить намъ даже, какого роста и какого характера, красоты была Елена — а между темъ все черты лица Елены очень ясны и живы для его читателя, - это потому, что онъ разсказываетъ о впечатавніяхъ, которыя производило это лицо на видъвшихъ его, —и это опять соблюдается у Гёте: у него нътъ портретовъ, есть только разсказы о впечатленияхъ, производимыхъ лицами. После такихъ примеровъ ясно, до какой степени «Лаокоонъ» воспиталь поэзію Гёте: Гёте, конечно, никто не станеть воображать человекомъ, который могь останавливаться на внёшней зависимости отъ мелочныхъ правиль, — если эти детали лессинговой системы отразились на немъ, то, конечно, только потому, что онъ слишкомъ глубоко проникся духомъ, изъ котораго возникала необходимость такихъ деталей.

Послѣ «Литературныхъ писемъ», Лессингъ началъ считаться первымъ критикомъ Германіи; послѣ «Лаокоона» утвердилась его репутація, какъ великаго мыслителя и великаго ученаго; послѣ «Минны фонъ-Барнгельмъ» онъ былъ признанъ знаменитѣйшимъ изъ поэтовъ. Теперь, всѣ видѣли, что онъ стоитъ во главѣ нѣмецкой литературы.

Онъ быль оракуломъ молодаго поколенія. Гёте, Гердеръ, Меркъ, изучая его, готовились выступать на дорогу, имъ открытую. Какое живительное вліяніе производило прикосновеніе его мысли и на людей, которые были старше его летами и ученою славою, но не отжили еще свой въкъ въ умственномъ отношении, показываетъ случайно сохранившійся анекдоть о свиданіи его съ Михавлисомъ. Около того времени, о которомъ мы говорили въ концъ статьи, Лессингъ вздилъ изъ Берлина въ Пирмонтъ, отчасти для развлеченія, отчасти для поправленія здоровья. На возвратномъ пути, онъ завхаль въ Геттингенъ, гдв жилъ Михаэлисъ, основатель новой экзегетики. Михаэлись быль, какь мы упоминали, знаменитый человъкъ еще въ то время, когда Лессингъ только еще начиналъ писать, и своею похвалою ободряль юношу. Лессингь чувствоваль къ нему признательность и навъстилъ его. Разговоръ склонился на теологическія науки, въ которыхъ Михаэлисъ по справедливости считался тогда первымъ спеціалистомъ. Лессингъ зам'етилъ вообще, что наука въ Германіи остается до сихъ поръ доступна только записнымъ ученымъ, которые не заботятся о томъ, чтобы распространять въ массв читателей ея результаты. Напримеръ, говориль онъ, переводъ Библіи Лютера конечно уже могъ бы быть замічень лучшимъ и точнъйшимъ-этого никто не сдълалъ, а надобно было бы сдалать это, и издать новый переводъ съ пояснительными историческими и археологическими примъчаніями, которыя, имъя ученое достоинство, были бы написаны не для однихъ спеціалистовъ, а для всей массы читателей. Михаэлись до того времени и не думалъ объ этомъ — теперь, мысль заронилась въ его умъ, —и следствіемъ визита, сделаннаго ему Лессингомъ, было появленіе знаменитаго Михаэлисова нъмецкаго перевода Библіи, по плану, изложенному Лессингомъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Жизнь Лессинга въ Берлинт по возвращени изъ Бреславля.—Гамбургскій національный театръ. — "Гамбургская Драматургія".—Типографія.—Клоцъ. — "Антикварскія письма".—Жизнь Лессинга въ Гамбургъ.—Переселеніе въ Вольфенбюттель.—Лессингъ, какъ библіотекарь. — "Эмилія Галотти". — Поэты новаго покольнія. —Отношенія Гёте къ Лессингу. — Лессингъ покидаетъ беллетристическую діятельность.

(1767-1774).

Оставивъ мъсто секретаря при Тауенцинъ, около двухъ лътъ прожиль Лессингь въ Берлинь, постоянно чувствуя необходимость измѣнить свое тяжелое положеніе, но не имѣя въ виду ничего дучшаго. Никакая нужда не могла заставить его заняться темъ, что называется «пріискивать себ'в м'всто»: ни разу въ жизни не поклонился онъ никому, не сдёлаль ни одного шагу къ сближенію съ такъ называемыми «нужными и полезными людьми». — «Кто думаеть, что я могъ быть полезенъ на какомъ нибудь містів, пусть самъ придеть ко мив и предложить его --- отъ этого правила не отступалъ онъ никогда. Конечно, ему долго приходилось ждать такихъ предложеній. Когда, наконецъ, приходили и предлагали ему мъсто, опять-таки трудно было угодить ему. Не то, чтобъ онъ хотель непременно важнаго места или места съ большимъ жалованьемъ,напротивъ, онъ съ радостью готовъ быль принять самую скромную должность, но только тогда, если она удовлетворяла двумъ условіямъ: не вовлекать его ни въ какія партіи, ни въ какія интриги и не возлагать на него обязанностей, несообразныхъ съ его убъжденіями. Эти два требованія не позволяли ему принимать именно тъхъ должностей, которыя чаще всего предлагались ему,-именно, профессорскихъ мъстъ. Тогдашніе нъмецкіе университеты казались

Лессингу ремесленными заведеніями, въ которыхъ господствуетъ педантство, въ которыхъ все дёлается по интригамъ мелкихъ партій и могутъ имѣть вѣсъ только льстецы и шарлатаны или обскуранты. Сдѣлавшись профессоромъ, онъ долженъ былъ бы принимать участіе въ интригахъ, долженъ былъ бы отказаться отъ независимости мнѣній, потому онъ всегда на-отрѣзъ отказывался отъ предложеній занять каеедру въ томъ или другомъ университетъ. Скорѣе онъ готовъ былъ опять взять должность по гражданской службѣ, но такихъ случаевъ ему не представлялось. Такъ прошло два года. Наконецъ дождался Лессингъ предложенія, которое могъ принять: его пригласили быть «драматургомъ» при театрѣ, который устроивался въ Гамбургѣ подъ громкимъ именемъ «національнаго» и во многихъ пробуждалъ великолѣпнѣйшія надежды.

Образованные любители театра не могли не видъть, что сценическое искусство въ Германіи находится въ жалкомъ положеніи сравнительно съ темъ, что представляли парижские и лондонские театры. Германія имёла несколько превосходныхъ артистовъ и артистокъ, — напримъръ, въ это время (1765-1770) Экгофа, г-жу Экгофъ, Шульцъ-мать, Бека, г-жу Гензель, г-жу Мекуръ; но ни одинъ городъ не имелъ постояннаго театра, обстановка пьесъ была плоха. Главною причиною этого недостатка считалось то, что всв труппы содержимы были частными антрепренерами, не имъвшими большихъ средствъ, заботивнимися исключительно о своихъ выгодахъ, и потому переважавшими изъодного города въ другой, смотря по тому, гдв надвялись получить больше прибыли. Мысль о необходимости основать въ большихъ городахъ постоянные театры, содержимые на общественный счеть, естественно представлялась каждому, кто думалъ объ этомъ положеніи дель. Около 1765 года нельзя еще было надіяться, чтобы какое нибудь изъ германскихъ правительствъ приняло на себя эту заботу. Дворы хотели иметь только французскій театръ или итальянскую оперу, о нізмецкомъ театръ и не думали вельможи, всъ мысли которыхъ были заняты версальскими модами.

Изъ городовъ, богатъйшимъ, — можно сказать единственнымъ, дъйствительно оченъ богатымъ, былъ тогда Гамбургъ. На немъ прежде всъхъ другихъ лежала обязанность помочь усовершенствованію нъмецкаго театра, отъ котораго отказывались Дворы. Нъкто Левенъ, жена котораго, урожденная Шенеманъ, была прекрасною

актрисою, и который самъ, занимая довольно хорошее положеніе въ обществъ, очень любилъ писать для театра, вачалъ около 1766 года сильно хлопотать о томъ, чтобы составить изъ гамбургскаго купечества общество меценатовъ, которое основало бы въ Гамбургъ постоянный театръ, съ богатыми средствами. Случайныя обстоятельства помогли его хлопотамъ; составилось общество, душою котораго быль Лёвень, и которое располагало значительнымъ капиталомъ. Общество это взяло у прежняго содержателя гамбургской труппы на аренду зданіе театра, и пригласило, къ бывшей уже трупив, многихъ хорошихъ актеровъ изъ другихъ труппъ. Лёвенъ быль назначень директоромь театра. По его мысли, дирекция должна была всёми силами заботиться о развитіи вкуса и образованности въ актерахъ. Самъ Левенъ хотълъ читать имъ лекціи о сценическомъ искусствъ. Кромъ того, при театръ долженъ былъ находиться «драматургъ». По мевнію Лёвена, Лессингъ быль первымъ драматическимъ писателемъ Германіи, потому Лессингу и было предложено мъсто «драматурга». Жалованья ему назначалось 800 талеровъ.

Лессингъ принялъ это приглашение. «Когда, съ годъ тому назадъ (говоритъ онъ въ концѣ своей «Драматургіи»), нѣкоторымъ почтеннымъ людямъ вздумалось попробовать, нельзя ли поднять нъмецкій театръ, взявъ его изъ власти антрепренеровъ, - не знаю, какимъ образомъ вздумалось этимъ добрымъ людямъ вспомнить и обо мић и вообразить, что я могу быть полезенъ этому дѣлу. А я въ то время стояль на рынкъ безъ работы; никто не хотъль меня нанять, безъ сомнина потому, что я никому ни на что не годился, только эти друзья предложили мнв работу. Всякое занятіе было для меня равно въ жизни. Никогда я не напрашивался ни на что, но никогда и не отказывался отъ самаго ничтожнаго дела, если только мев казалось, что его мев предлагають потому, что считаютъ меня годнымъ къ этому дълу. Потому нечего было мнъ и задумываться надъ вопросомъ: принять ли мнъ участіе въ этомъ двлв? Надобно было подумать только о томъ, могу ли, и чемъ именно могу я быть полезенъ для основывавшагося въ Гамбургъ театра?» Послѣ этихъ словъ, Лессингъ говоритъ, что сочиненіемъ драматическихъ пьесъ онъ не могъ оказать новому театру большой пользы, потому что неспособенъ писать по тринадцати драмъ или комедій въ годъ, какъ Гольдони; «я долго обдумываю пьесу, и если написаль что нибудь порядочное, то единственно потому, что самъ

очень подробно и внимательно критиковаль свой планъ и всё его подробности, говорить онь: только посредствомъ критики производиль я поэтическія созданія, оттого и не могу писать ихъ скоро, какъ дёлають другіе».—«Наконецъ придумали, что именно то самое качество, которое дёлаеть меня такимъ медленнымъ, или, по миёнію моихъ друзей, одаренныхъ болёе живымъ талантомъ, такимъ лёнивымъ работникомъ, — что это самое качество, критику, можно обратить въ пользу для театра. Такимъ то образомъ явилась мысль объ этихъ листкахъ» («Гамбургской Драматургіи»). —«Чёмъ должны были быть эти листки, я говорилъ въ объявленіи о нихъ (продолжаетъ Лессингъ): они должны были слёдить за каждымъ шагомъ искусства на здёшнемъ театрѣ, какъ относительно достоинства самыхъ пьесъ, такъ и игры актеровъ».

Зачемъ приглашаемъ былъ Лессингъ въ Гамбургъ, этого, кажется, не понималъ хорошенько самъ Левенъ, пригласившій его; ему казалось вообще полезнымъ, чтобы при театрѣ, отъ котораго ожидали такихъ великихъ послѣдствій, находился и первый драматическій писатель Германіи; — онъ думалъ, что Лессингъ будетъ писать пьесы для театра; думалъ и то, что онъ будетъ давать совѣты относительно выбора пьесъ; думалъ, вѣроятно, и то, что онъ будетъ участвовать въ ихъ постановкѣ; наконецъ, быть можетъ, думалъ и то, что Лессингъ будетъ театральнымъ критикомъ.

Лессингь, прівхавь въ Гамбургь, тотчась же решиль, что будеть издавать театральный листокь, въ которомь станеть съ равнымъ вниманіемъ разбирать и пьесы, игранныя на театре, и игру актеровъ. Въ этомъ деле онъ могъ быть совершенно независимъ, между темъ, какъ въ выборе пьесъ, кажется, онъ вовсе не участвовалъ, — такое решеніе было сообразно съ его характеромъ: онъ не принимался за дело, котораго не могъ вести, какъ ему казалось нужнымъ. Отъ сочиненія пьесъ для театра онъ вовсе отказался. Такимъ образомъ онъ, подъ именемъ «драматурга», принялъ на себя обязанность театральнаго критика.

Скоро однако, онъ увидълъ, что и этого дѣла нельзя исполнять такъ, какъ ему сначала хотѣлось: актеры и особенно актрисы обижались его замѣчаніями объ ихъ игрѣ; одна изъ первыхъ актрисъ, г-жа Мекуръ, съ самаго начала требовала, чтобъ о ея игрѣ въ лессинговыхъ листкахъ не говорилось совершенно ничего. Эти стѣсне-

нія и претензіи тотчась же надовли Лессингу, и онъ бросиль разборь игры актеровь, ограничившись разборомь самыхь ньесь.

«Разбирать игру актеровъ скоро мив наскучило (продолжаетъ Лессингъ въ последнемъ нумерв «Драматургіи», после выписаннаго у насъ отрывка). Актеры обидчивы. Сколько не хвали ихъ, имъ все кажется мало; каждое замечание кажется имъ уже чрезмерною строгостью».

По своему характеру, Лессингъ не любилъ ничего дёлать на половину: онъ бросилъ, какъ мы сказали, заботу объ актерахъ и занялся исключительно пьесами.

Сначала, нумера «Драматургіи» выходили дъйствительно отдъльными листками, по два раза въ недълю. Но черезъ нъсколько времени, Лессингъ узналъ, что они перепечатываются какимъ-то недобросовъстнымъ книгопродавнемъ, и, чтобы прекратить эту кражу, онъ издалъ продолженіе своей «Драматургіи» ужь цълою книгою, сохранивъ въ ней только счетъ нумеровъ и обозначеніе числа и мъсяца, когда долженъ былъ выйти каждый нумеръ. По этому счету (104 нумера, отъ 22 апръля 1767 до 19 апръля 1768 г.) изданіе журнала продолжалось ровно годъ.

Не многимъ дольше продолжалось и существованіе «національнаго театра». Актеры и потомъ основатели театра начали ссориться между собою; публика плохо поддерживала великолепное предпріятіе, расходы котораго были такъ велики, что не могли покрываться обывновенными сборами. Театръ быль открыть въ концв апрыля 1767 года; въ декабръ дирекція увидъла уже необходимость на зиму перевести труппу въ Ганноверъ, съ твиъ, чтобы весною снова начать представленія въ Гамбургв, то есть сдвлать то же самое, что ділали антрепренеры, переносившіе свои представленія изъ города въ городъ, потому что одинъ городъ не могъ долго давать полныхъ сборовъ. Весною, труппа дъйствительно возобновила свои представленія въ Гамбургъ, но денежныя дыла дирекціи запутывались все больше и больше, и въ ноябръ громадный замыселъ кончился банкротствомъ. Акерманъ, который прежде содержалъ въ Гам-. бургъ театръ и изъ труппы котораго были лучшіе актеры въ труппъ «національнаго театра», снова сділался антрепренеромъ, и гамбургцы были очень рады, что театръ ихъ возвратился къ тому самому положенію, въ какомъ быль за два года.

Единственнымъ результатомъ пышной, но преждевременной и

дурно обдуманной въ своихъ подробностяхъ и средствахъ попытки Левена остался театральный журналъ Лессинга, знаменитая «Гамбургская Драматургія». Въ томъ, что Лессингу, вмёсто безплодныхъ и мелочныхъ заботъ режиссера, вздумалось принять на себя обязанность театральнаго критика, Левенъ былъ вовсе не виноватъ,— онъ и не думалъ объ этомъ, какъ по всему видно. Мыслъ издавать театральный журналъ принадлежала одному Лессингу; ни во что другое Лессингъ не вмёшивался, — и единственное дёло, возникшее въ этомъ предпріятіи по его мысли и исполненное имъ, осталось единственною важною стороною предпріятія. Правда и то, что это дёло своею важностію далеко превысило всё надежды, какія возлягались на «гамбургскій національный театръ».

«Литературными письмами» Лессингь доказаль ничтожность прежней нёмецкой литературы и очистиль мёсто для новаго зданія, сломавъ хилыя и гнилыя лачуги, отбросивъ далеко всю гниль, которою покрывали онё землю. «Лаокоономъ» онъ указаль вообще, въ чемъ долженъ состоять духъ истинной повзіи. «Гамбургская Драматургія» объяснила, въ чемъ должны состоять существенныя качества того рода повзіи, который долженъ былъ господствовать въ начинающемся съ Лессинга періодё нёмецкой литературы,—даль теорію драмы.

Въ наше время, когда господствующій родъ поэзіи есть разсказъ, повъсть, романъ, трудно понять, почему когда нибудь драматическая форма могла быть важнъйшею формою поэзіи *).

^{*)} Само собою разумѣется, что мы здѣсь говоримъ съ читателемъ, который судить о вещахъ такъ, какъ понимаеть вхъ самъ, а не съ устарѣными теоріями, предпочитающими драматическую форму формѣ разсказа. Конечно, сценическое представленіе есть нѣчто болѣе живое и сильнѣе дѣйствуеть на человѣка, нежели чтеніе книги. Но не должно забывать, что театръ существуеть для немногихъ городовъ, и въ этихъ городахъ для немногихъ опредѣленныхъ часовъ.—Книга—проникаетъ повсюду, готова для каждаго вездѣ и во всякій часъ. Театръ—рѣдкій праздникъ для горожанъ; книга—постоянное достояніе всего народа. Сценическое представленіе, конечно, есть нѣчто высшее, нежели читаемая поэзія; но оно не принадлежить исключительно поэзіи, какъ отдѣльному искусству, а само лолжно считаться особенною формою искусства, соединяющею въ себѣ силы, которыми каждою въ отдѣльности владѣють другія искусства,—скульптура (и даже архитектура, въ декораціяхъ), живопись, музыка, поэзія—все соединяется въ сценической формѣ искусства. Печатный текстъ трагедіи или комедіи въ драматическомъ спектаклѣ играетъ роль не-

Признаемся, что мы не умѣемъ сказать, почему въ цвѣтущій періодъ німецкой порзім драма могла иміть живое и законное право на господство въ поэзіи, почему Шиллеръ и прежде его Гёте были драматургами, а не романистами, если не объяснять этого пристрастія къ драматической форм'в просто тімь, что повзія новой исторіи еще не усивла въ то время выработать себв соответствующей формы, какую выработала теперь въ повёсти и романъ, еше не успъла понять, что придворная (какъ у Шекспира, Корнеля и Расина) или праздничная (какъ у греческихъ драматурговъ) одежда сценического искусства недостаточна для нея, будничной подруги каждаго изъ насъ. Господство драматической формы въ пвртлини періодъ нрменкой поэзім кажется намъ просто деломъ преданія, отпечаткомъ исторической связи новой поэзіи съ старинною. Но это наше личное инвніе, котораго мы не хотимъ навязывать читателямъ. А другія объясненія этого факта — превосходствомъ драматической формы надъ эпическою или необычайно важнымъ значеніемъ театра для німецкой жизни въ послідней половинъ прошлаго въка - ръшительно не выдерживаютъ критики. Книга тогда для нъмцевъ быда на столько же важнъе сцены, на сколько важиве она теперь для ивицевъ, французовъ, англичанъ, русскихъ. А въ превосходствъ драматической формъ надъ разсказомъ не увъришь читателя нашего времени. Не желая навязывать читателю

многимъ важнѣе той, какъ либретто въ оперѣ,—онъ только одинъ изъ элементовъ цѣлаго. А если мы возьмемъ этотъ элементъ (печатную драматическую пьесу) какъ нѣчто предназначенное для чтенія, и сравнимъ съ произведеніемъ поэзіи, имѣющимъ форму разсказа (повѣсть, романъ), то будемъ поражены оборванностью, угловатостью, блѣдностью, натянутостью этой несчастной печатной драмы. Сценическое искусство, принимая въ себя словесный текстъ, страшно обрѣзываетъ и уродуетъ его, чтобы втиснуть въ рамку діалога всѣ моменты жизни. Театръ безжалостенъ къ поэту.

При настоящемъ состояніи общества, когда нація не есть одинъ городъ, какъ было въ Аеннскомъ государствъ: когда поззія нужна намъ не два раза въ годъ, какъ аеннянамъ, слишкомъ занятымъ другими дѣлами, а каждый день,—когда для націи книга въ тысячу разъ нужнѣе и важнѣе театральнаго спектакля,—истинный поэтъ не долженъ бы писать для театра: пусть люди второстепенные, пусть таланты, которые способны только къ арранжировкъ, передѣлываютъ его разсказы для сценическихъ представленій. Изъ «Ламмермурской Невѣсты» трагедію сдѣлать также легко, какъ и либретто. Превращеніе романовъ въ драматическія пьесы могло бы быть предоставлено тѣмъ же людямъ, которые превращають романы въ либретто.

своего объясненія, быть можеть ошибочнаго, не желая обманывать его и себя другими объясненіями, безъ всякаго сомивнія ошибочными, мы лучше хотимъ просто указать голый факть: въ цвітущій періодъ німецкой поэзіи, драмі суждено было господствовать надъ поэзією,

Въ произведеніяхъ Лессинга, какъ поэта, кромѣ лирическихъ стихотвореній, мы находимъ только драмы; всѣ поэты слѣдующаго періода «бурныхъ стремленій» (Sturm-und Drang-Periode) также, кромѣ лирическихъ стихотвореній, писали почти только драмы; Гёте написаль только одинъ удачный романъ («Вертеръ») — всѣ остальныя его произведенія въ эпической формѣ неудачны; у Шиллера нѣтъ ни одного такого произведенія; слава обоихъ поэтовъ основана (кромѣ лирическихъ стихотвореній) на драмахъ.

Оть чего бы это ни происходило, но во всякомъ случав, вопросъ о драмъ былъ самымъ важнымъ для немецкой поэзіи въ ея цвѣтущій періодъ, Съ Лессинга начинается господство драматической формы, которое продолжалось до самого упадка немецкой поэзін, и которое отчасти должно быть приписано, кром'в вліянія Шекспира, примъру, поданному Лессингомъ, но основание которому лежало конечно въ духъ времени. Надобно было дать и образцы и теорію этой формы искусства, — то и другое сдёлаль Лессингь. «Минна фонъ Барнгельмъ» уже была написана, и производила огромное дъйствіе; вскоръ за нею должна была последовать «Эмилія Галотти», вліяніе которой было не менте сильно. Теперь, по новоду гамбургскаго театра, Лессингь даль теорію драмы въ своей «Драматургіи». Ніть надобности повторять то, что мы уже сказади по случаю «Лаокоона» о важности теоріи для практики; нѣтъ надобности говорить въ частности о томъ, какое великое значеніе имъла для послъдующаго развитія нъмецкой поэзіи «Драматургія». объяснившая теорію важивишей формы этой поэзіи. «Гамбургская Драматургія» была кодексомъ, на основаніи котораго возникли «Гёцъ фонъ Берлихингенъ» и «Фаустъ», «Разбойники» и «Вильгельмъ Телль». «Лаокоономъ» былъ воспитанъ общій духъ поэзіи Гете и Шиллера; «Гамбургскою Драматургіею» даны законы ихъ трагедіямъ.

Есть въ «Драматургіи» другая сторона, имъвшая не менъе значенія для нъмецкой поэзіи, но съ тъмъ вмъстъ простершая свое вліяніе далеко за предълы искусства, на всю умственную жизнь

германскаго народа. Чтобы очистить мёсто для истинной теоріи драмы, Лесингь должень быль разрушить прежнюю ложную теорію, показать, что и правила псевдо-классической теоріи, и произведенія, написанныя по этимъ правиламъ, не выдерживають критики. Такимъ образомъ, пришлось ему имъть непосредственное дъло съ французскими драматургами, которые считались величайшими геніями по своей части, -съ Корнелемъ, Расиномъ и Вольтеромъ. Нечего и говорить о томъ, съ какою безпощадною резкостью разбиралъ онъ ихъ произведенія, — они были истерзаны и одерганы до того, что человъкъ, прочитавшій «Гамбургскую Драматургію», не могь безъ изкотораго презрвнія подумать о писателяхъ, нельпость произведеній которыхь доказана такъ ясно и язвительно. Эта безжалостность была необходима для разрушенія закоснілаго предубъжденія, чрезвычайно упорнаго и наглаго. Она достигла своей цёли, — не только нёмцы, но всё люди другихъ націй, знакомые съ германскою литературою, до последняго времени не могли вспоминать о классической французской драмв безъ презрительной усмёшки. Напрасно Шиллерь и Гёте, лёть черезъ тридцать после «Драматургіи», по общему уговору, переводили французскія драмы, думая, что уже настала пора отдать справедливость тому, что было въ нихъ хорошаго. Лессингова насмешка отзывалась въ памяти всехъ и великіе поэты только подвергались осужденію за то, что занялись произведеніями, недостойными ихъ таланта. «Гамбургская Драматургія» разомъ похоронила псевдоклассицизмъ.

Эта полемическая сторона не составляеть главнаго въ ней, — Лессингъ занимается отверженіемъ псевдоклассической драмы только для того, чтобы очистить місто для новыхъ идей, изложеніе которыхъ и было его существенною цілью. Но владычество псевдоклассической драмы было такъ сильно, что борьба съ нею всего сильніе заинтересовала на первый разъ умы читателей. Они немогли сомніваться въ томъ, что Корнель и Вольтеръ (какъ драматургъ) совершенно уничтожены Лессингомъ. Какъ, німецъ поразиль на смерть величайшіе французскіе авторитеты, передъ которыми преклонилась вся Европа! Эта побіда чрезвычайно ободрительно подійствовала на німецкій умъ. Это не то, что пустая похвала своей національности, — ніть это положительное доказательство того, что німщы могуть выйти изъ подъ умственной зависи-

мости отъ иновенцевъ-мало того, что нъмцы могуть теперь въ свой чередъ имать рашительный голось въ умственной жизни Европы, что Германія должна стать центромъ умственнаго движенія новой эпохи. Дійствительно, съ той поры совершенно измізняется характеръ понятія, какое нёмцы имеють о значеніи своемъ между другими народами. «Намъ нечего ждать чужихъ решеній, у насъ есть головы, какихъ нёть нигдё; ужь если прислушиваться къ чьему нибудь мненію, то прислушаемся къ тому, что говорять въ Гамбургв, въ Вольфенбюттелв, въ Кенигсбергв, въ Берлинв, въ Веймаръ, въ Іенъ», — за Лессингомъ выступаютъ Кантъ, Гёте, Шиллеръ, Фихте, — у всёхъ этихъ людей одно общее чувство: сознаніе великаго своего превосходства надъ иноземцами, действующими на одномъ съ ними поприщъ; одинъ общій тонъ въ голось: тонъ человека, сознающаго, что онъ идеть во главе умственнаго движенія своего времени, что онъ трудится не для одного своего народа, а для всего цивилизованнаго света, потому что народъ, которому онъ говорить, долженъ вести за собою всв народы. Это сознаніе проникаеть всю націю. И скоро всё остальныя націи действительно начинають говорить: «намъ нужно учиться у нѣмцевъ: кто не хочеть быть отсталымь человекомь, должень пройти школу нъмецкихъ поэтовъ и мыслителей».

У насъ, которые этому сознанію превосходства нёменкихъ поэтовъ и мыслителей не могли противопоставить воспоминаній о какомъ нибудь прежнемъ умственномъ владычествъ нашемъ надъ Европою, нъмецкое вліяніе утвердилось очень быстро. У англичанъ и французовъ, которые имъють въ этомъ случав очень блистательныя воспоминанія, борьба узкаго національнаго пристрастія съ требованіями справедливости должна была быть гораздо упорнве. Она ведется до сихъ поръ, и съ каждымъ годомъ усиливается въ Англіи и Франціи вліяніе мыслей, выработанных в на немецкой почве. Между темъ какъ сами немцы, уже достигнувъ результатовъ, которыхъ искали въ области эстетическихъ чувствъ и философскихъ понятій, уже охладъвають въ своимъ прежнимъ поэтамъ и философамъ, и переносять свои стремленія къ другимъ сферамъ жизни, въ которыхъ чувствуютъ себя отсталыми, -- въ это время французы и англичане все болье и болье проникаются сознаніемъ необходимости усвоить себъ то, что уже пріобрътено нъмцами, и замънить своего Декарта или Локка Кантомъ и Гегелемъ.

Странно подумать о томъ, къ какимъ сферамъ часто принадлежатъ факты, оказывающіе рішительное вліяніе на развитіе народнаго сознанія, и на какія дороги часто становятся историческими отношеніями люди, діятельностью которыхъ изміняется понятіе цілаго народа о самомъ себів. Вопросъ о теоріи драмы быль важнійшимъ случаемъ, изъ котораго німцы получили гордое сознаніе своихъ силъ, — а между тімъ, казалось бы здравому смыслу, что можетъ быть для исторической жизни народа маловажніте такого спора? Но, когда внимательно посмотришь на ходъ историческаго развитія, почти всегда видишь, что оно шло по какимъ то узкимъ и извилистымъ путямъ, тамъ, гді прямая и естественная дорога была загромождена непреоборимыми препятствіями.

Надобно замѣтить одну черту Лессинга, о которой умѣстиѣе всего сказать по случаю «Гамбургской драматургіи», произведенія, начинающаго собою эпоху справедливаго уваженія нѣмецкаго народа къ самому себѣ. Писатель, дѣятельность котораго пробудила въ Германіи патріотическую гордость и самое чувство національности, былъ рѣшительный космополить и стоялъ въ отрицательномъ отношеніи къ понятію національности.

После того, какъ разрушилось предпріятіе, подавшее поводъ къ изданію «Гамбургской Драматургіи», Лессингь вновь увидёль себя въ очень затруднительных обстоятельствахъ. Когда онъ перевзжаль въ Гамбургъ, онъ имель въ виду, кроме места при «національномъ театръ», еще другое занятіе, которымъ надъялся обезпечить свою будущность. Нъкто Боде, довольно извъстный писатель того времени, вздумаль основать въ Гамбургв типографію, и предложиль Лессингу, съ которымь быль хорошь, сдёлаться его компаньономъ. Лессингь собраль наскольно сотъ талеровъ, продавъ съ аукціона въ Берлинъ свою общирную библіотеку, которую составиль, когда служиль въ Бреславле, и принялся вместе съ Боде за типографское дело, — но дело пошло неудачно, главнымъ образомъ потому, что у основателей типографіи было гораздо меньше денегь, нежели было нужно. Отчасти повредило предпріятію и то, что Боде и особенно Лессингъ жертвовали коммерческимъ разсчетомъ желанію ввести въ типографское дело разныя усовершенствованія, которыя были не подъ силу имъ и отвергались книгопродавцами. Типографія принесла только убытокъ и Лессингу и его товарищу.

Давно уже Лессингъ не принималъ участія въ нёмецкой журналистикъ: духъ партій и котерій быль невыносимъ для него; считаться главою какой нибудь школы казалось ему несообразнымъ съ духомъ той независимости, которой требовалъ онъ для себя и которую всегда хотель онъ внушить другимъ. Съ первыхъ томовъ «Литературных» писемъ» пересталь онъ писать рецензіи, какъ только показалось ему, что онъ уже достаточно указаль дорогу для новаго критическаго направленія. Когда, послів «Литературныхъ писемъ», Николаи основалъ (1765) «Всеобщую нёмецкую библіотеку» (Allgemeine Deutsche Bibliothek), Лессингь не приняль никакого участія въ новомъ журналь, какъ давно уже пересталь участвовать и въ «Литературных» письмах». Журналы эти, благодаря тому, что первый изъ нихъ получилъ направление отъ Лессинга, сохраняли господство въ литературъ, тъмъ болье, что масса публики все еще предполагала его участие не только въ «Литературныхъ письмахъ» до конца ихъ изданія, но и во «Всеобщей библіотекв». Однако же, не напрасно жаловался Мендельсонъ *), что «безнаказанно стали снова буйствовать глупцы», съ техъ поръ, какъ Лессингь покинуль «Литературныя письма». Въ самомъ дёлё, противники, смирившіеся передъ Лессингомъ, почувствовали, что «другіе, которымъ онъ передаль свой бичъ», «быють слишкомъ слабо» и ободрившись, снова попробовали поднять голову. Тё люди, которые подверглись ударамъ Лессинга, уже не могли возстановить своего авторитета, но явились новые люди, вздумавшіе д'яйствовать . въ духъ прежнихъ партій. Самымъ сильнымъ изъ этихъ людей быль Клоць, въ короткое время достигшій значительности теми же самыми средствами, какія нікогда доставили литературное могущество Готтшеду. Клопъ былъ безспорно человъкъ очень даровитый, но недобросовъстный. Ученая и литературная дъятельность была для него только средствомъ возвысить свое положение въ обществъ. Льстивый и наглый, онъ, сдёлавшись профессоромъ въ Галле, скоро, посредствомъ интригъ и шардатанства, получилъ значеніе не только въ своемъ университетъ, но и во многихъ другихъ. Людей, которые покровительствовали или служили ему, онъ превозносиль безъ всякой совъсти и умъль оказывать имъ услуги. Стоило

^{*)} Въ посвящения своихъ сочинений, которое приведи мы въ предъидущей главъ.

только молодому человъку примкнуть къ нему, и Клопъ навърное доставляль ему каеедру въ томъ или другомъ университетъ. Онъ основаль два критическіе журнала, — единъ на латинскомъ языкъ, чтобы задавать тонъ педантамъ, другой на нъмецкомъ, чтобы распространять вліяніе издателя на массу. Кумовство и личныя отношенія были единственными правилами критики Клоца и его клевретовъ. Писателей, искавшихъ его покровительства, Клоцъ хвалиль безъ всякой мъры; писателей, заслужившихъ его немилость, онъ не только браниль безстыдно, но и черниль передъ публикою, выставляя ихъ частную жизнь въ грязномъ видъ. Никто не былъ безопасенъ отъ его вражды. Особенно преслъдовалъ онъ «Всеобщую нъмецкую библіотеку» Николаи, изъ корыстнаго соперничества.

Клоцъ былъ человъкъ очень даровитый; онъ писалъ прекрасно, умъль выказать себя великимъ ученымъ, быль въ самомъ дълъ богатъ знаніями, и еще богаче быль шарлатанскими уловками, владель сарказмомъ съ большою ловкостью, въ борьбе за своихъ вліентовъ или противъ своихъ враговъ не пренебрегаль никакими средствами, имъя очень сильныя связи въ литературъ и въ обществъ, - зато, онъ былъ оракуломъ всъхъ простаковъ, покровителемъ всёхъ самолюбивыхъ людей, которые превозносили его отъ души, получая отъ него плату тою же монетою, и внушалъ страхъ всвиъ безъ исключенія. Самые учентищіе люди писали панегирики его учености, самые знаменитые поэты возвышали до небесь его критическій таланть. Такого блестящаго положенія онъ успыль достичь очень быстро, -- ему было всего еще только двадцать девять лізть. Наглецовъ и шарлатановъ много, но редко кто изъ нихъ такъ рано достигаеть своей цели. Клоць быль человекь, далеко возвышавшійся своими способностями надъ обыкновеннымъ уровнемъ.

Клоца боялись всё; самъ онъ достигь уже такого положенія, что смотрёль на всёхъ свысока, и чувствоваль инстинктивный страхъ только къ одному Лессингу. Когда явился «Лаокоонъ», галлесскій диктаторь написаль къ Лессингу льстивое письмо, въ которомъ, осыпая его похвалами, просиль позволенія разобрать эту книгу въ своемъ журналѣ. Лессингъ отвѣчалъ ему очень учтиво, но подъ деликатными фразами проницательный Клоцъ замѣтилъ что-то похожее на презрѣніе, и былъ жестоко оскорбленъ. Всякому другому онъ далъ бы почувствовать свой гнѣвъ безцеремонною печатною бранью, но съ Лессингомъ онъ не хотѣлъ ссориться, и

скрыль свое чувство, — почель даже нужнымь вновь заискивать его расположение новымъ, чрезвычайнымъ доказательствомъ своего уваженія. Клоцу вздумалось сділать извлеченіе изъ огромной «Всеобщей исторіи», составленной обществомъ англійскихъ ученыхъ. Одинъ изъ друзей советоваль ему не браться за это дело. Клоцъ поручилъ этому пріятелю, отправлявшемуся въ Верлинъ (тогда Лессингъ жилъ еще въ Берлинв), спросить, что думаеть Лессингь. Лессингь сказаль, что не советуеть Клоцу браться за дъло, которое ему не по силамъ, -- и Клоцъ послушался. Написавъ разборъ «Лаокоона», Клоцъ послаль эту статью Лессингу при льстивомъ письмѣ. Рецензія проникнута чувствомъ восторга: въ нѣкоторыхъ вопросахъ рецензентъ высказываетъ мевніе, несогласное съ мивніемъ автора, но эти вопросы неважны, замічанія изложены самымъ почтительнымъ образомъ, и въ первомъ своемъ письмъ Клопъ уже просилъ позволенія сдёлать ихъ; они служать только къ тому, чтобы еще болве возвысить книгу и автора, которому Клоцъ решительно отдаетъ первое место между всеми знаменитостями Германіи—cui dudum principem inter Germaniae ornamenta locum Musae tribuerunt, говорить онъ о Лессингв (рецензія помівщена была въ латинскомъ журналѣ Клоца)--- сего давно уже музы сдълали первымъ изъ людей, которыми гордится Германія». -- Бъдный Клоцы! всегда онъ дъйствоваль по разсчету, хвалиль не по убъжденію, а изъ выгоды, туть только въ самомъ дъль говориль отъ чистой души, - въ письмъ къ одному изъ пріятелей, гдъ не было ему нужды притворяться, онъ также говориль, что Лессингь, какъ знатокъ древностей, выше самого Винкельмана по учености, и обладаеть божественнымъ геніемъ, — быть можеть, въ первый разъ онъ отдавалъ добросовъстно, по искреннему убъждению справедливость чужимъ заслугамъ,--и могъ ли онъ ожидать въ награду за то безжалостивищаго преследованія отъ единственнаго человека, котораго искренно уважалъ! Глеймъ, пріятель Лессинга и вмёстё пріятель Клоца, пришель въ восторгь отъ рецензів, и воображаль, что она восхитить Лессинга. А еслибь онъ прочель письмо, при которомъ она была послана къ Лессиигу, онъ восхитился бы еще вдвое больше.

Лессингъ не отвъчалъ ни слова на его письмо.

Теперь очевидно стало для Клоца, что никакими заискиваніями не войдеть онъ въ милость къ Лессингу, что Лессингъ не хочеть

ниеть съ нимъ сношеній, презираеть его. Это было въ 1766 году Лессингъ еще не презиралъ Клоца, потому что не зналъ литературныхъ продёлокъ галлескаго оракула, который велъ свои интриги очень хитро, — ему просто не нравился льстивый тонъ его писемъ. Но въ 1768 году Клоцъ основалъ свой немецкій критическій журналь, и развернулся въ немъ совершенно безцеремонно,-Лессингь убъдился изъ многихъ рецензій, что знаменитый ученый и критикъ — человъкъ недобросовъстный; весною этого года, Лессингу случилась надобность быть на лейпцигской пасхальной ярмаркъ, куда собирались не одни книгопродавцы, но и литераторы; туть онь узналь вполнъ всв безсовъстныя продълки Клоца, и воротился въ Гамбургъ съ рёшительнымъ намёреніемъ сбить спёсь съ этого наглеца. «Наслушался я объ этомъ человъкъ, — пишетъ Лессингъ къ Николан, возвратившись въ Гамбургъ:--онъ слишкомъ подымаеть нось. Загляните же въ следующіе листки здешней «Новой Газеты». Но это еще пустяки. Я ему готовию салють гораздо погромче»... Въ «Новой Гамбургской Газетв» начали печататься «Письма антикварского содержанія».

Влижайшимъ поводомъ къ изданію этихъ писемъ было то, что въ одномъ изъ своихъ новыхъ сочиненій, книгѣ «О рѣзныхъ камняхъ у древнихъ», Клоцъ сдѣлалъ три замѣчанія на «Лаокоона», въ которомъ большую часть примѣровъ и доказательствъ беретъ Лессингъ изъ исторіи древняго искусства. Замѣчанія эти выражены въ формѣ деликатной, такъ что сами по себѣ никакъ не могли бы разсердить Лессинга, который вообще не охотникъ былъ ни оскорбляться критическими замѣчаніями, ни возражать на нихъ. Но Лессингъ только искалъ случая, чтобы уничтожить Клоца, и громъ разразился надъ несчастнымъ интригантомъ, который при всей ненависти, какую питалъ къ Лессингу за предугадываемое его презрѣніе къ себѣ, все-таки, въ противность своей привычкѣ, не смѣлъ говорить о немъ непочтительно.

Лессингъ какъ будто находилъ удовольствие въ томъ, чтобы терзать Клоца,—на три-четыре въжливыя строки, онъ отвъчалъ тремя книгами,—правда, небольшими, но все-таки тремя книгами *). Ръзкость тона въ этихъ книгахъ чрезвычайна. Клоцъ, и прежде бояв-

^{*)} Двумя частями «Антикварских» писемъ» и изслѣдованіемъ «О томъ, какъ древніе изображали смерть».

шійся Лессинга, теперь совершенно уб'єдился, что ему не подъсилу бороться съ такимъ противникомъ, и, какъ человікъ благоразумный разсчиталъ, что ему следуетъ отмолчаться, — о первой части «Антикварскихъ писемъ» онъ написалъ въ своемъ журналю очень смиренную рецензію, говоря, что рёшительно не понимаетъ, чёмъ могъ огорчить Лессинга. Но Лессингъ не укротился этимъ смиреніемъ, и продолжалъ писать «Антикварскія письма»; Лессингъ разбиралъ въ нихъ его антикварскія сочиненія, доказывая, что онъ поверхностно знаетъ древности, — Клоцъ говорилъ друзьямъ, что перестанетъ писать о древностяхъ и займется другими предметами, — и это не должно было спасти его: «Пусть онъ берется за что угодно, говорилъ Лессингъ своимъ пріятелямъ; — разъ принявшись за него, не покину я его: хотя бы онъ ушелъ въ римское право, я и туда пойду за нимъ».

Независимые ученые и литераторы, боявшіеся, но неуважавшіе Клода, сначала радовались тому, что Дессингь началь школить этого наглеца, но черезъ нъсколько времени имъ стало уже казаться, что Лессингъ довольно терзалъ его, что пора прекратить это истязаніе, имъ стало жаль бъднаго Клоца, они стали прямо говорить Лессингу, что презмврная ожесточенность и продолжительность полемики вредить его собственной репутаціи, заставляя считать его челов'ькомъ злобнаго характера. Мендельсонъ и Николаи, которые особенно страдали прежде отъ нападеній Клоца, особенно радовались первымъ «Антикварскимъ письмамъ», --- но потомъ не только Мендельсонъ, человъкъ мягкаго характера, но и Николаи, суровый и мстительный, жалели Клоца, осуждали Лессинга и советовали ему прекратить эту полемику. Публика, принявшая первую часть «Антикварскихъ писемъ > съ интересомъ, мало покупала вторую часть *),ей ужь наскучило это дело. Ничто не останавливало Лессинга, и онъ съ какимъ-то страннымъ пристрастіемъ работаль надъ продолженіемъ «Антикварскихъ писемъ», оставивъ для этого другія занятія, которыя должны были бы казаться ему гораздо важиве и привлекательнье. Третья часть «Антикварских» писемъ» приготовлялась къ изданію, когда внезапно умеръ Клоцъ-только этимъ могло прекратиться ожесточенное преследование со стороны Лес-

^{*)} Только первыя письма были помѣщены Лессингомъ въ «Новой Гамбургской Газеть», продолжение ихъ сталъ издавать Лессингь отдёльными книгами.

синга. «Умиве онъ поступиль, нежели я ожидаль отъ него,—онъ умеръ», написаль Лессингь, получивь неожиданное извёстіе:—«незабавно ли? Нётъ, впрочемъ, вовсе не забавно, не могу теперь смѣяться».

Это неумолимое престрдованіе, которое было прекращено только смертью Клоца, которое казалось слишкомъ продолжительно и жестоко даже друзьямъ Лессинга и врагамъ Клоца, которое наконецъ ваставило почти всёхъ осуждать непримиримую сварливость Лессинга,—было ведено Лессингомъ не въ увлеченіи досадою, не въ горячемъ расположеніи духа, которое, казалось, одно только могло бы служить извиненіемъ ожесточенію,—нѣтъ, совершенно обдуманно, по хладнокровному соображенію.

«Г. Клоцъ предполагаетъ (въ рецензіи о первой части «Антикварскихъ писемъ»), что я вооруженъ противъ него»,—говоритъ
Лессингъ въ концѣ второй части этихъ «Писемъ»:—«вооруженъ ли
я противъ него, могу ли казаться вооруженьнить, этого я не знаю.
Знаю только, что подъ вліяніемъ какихъ бы побужденій я ни писалъ, пишу очень хладнокровно. Не горячность, не увлеченіе заставило меня принять тонъ, которымъ я говорю съ г. Клоцомъ.
Каждое слово противъ него пишу я съ самою спокойною преднамѣренностью, съ самою внимательною обдуманностью. Встрѣчая у
меня какое нибудь насмѣшливое, горькое, жосткое слово, пусть не
думаютъ, что оно только сорвалось у меня съ языка. Я по всевозможномъ обсужденіи рѣшилъ, что съ г. Клоцемъ нужна насмѣшливая, горькая, жосткая рѣчь, что ни отъ одного такого слова изъ
написанныхъ мною я не могу пощадить его, не становясь предателемъ дѣлу, которое защищаю противъ него».

«Чёмъ былъ г. Клоцъ? Чёмъ захотёлъ онъ стать? Чёмъ онъ сталъ?»

Отвъчая на этотъ тройной вопросъ, знаменитый въ исторіи нъмецкой полемики, Лессингъ чрезвычайно язвительно доказываетъ фактами, что Клоцъ былъ льстецомъ, интригантомъ и пасквилянтомъ; что онъ хотълъ быть верховнымъ судьею въ литературъ, не имъя на то права; что онъ сдълался страшилищемъ всъхъ честныхъ и независимыхъ людей, сталъ предводителемъ шайки безсовъстныхъ литературныхъ бандитовъ. «Какъ же нужно поступать съ такимъ человъкомъ? — спрашиваетъ онъ дальше. —Такъ, какъ поступаютъ съ нимъ «Антикварскія письма». Последствія действительно оправдали способь действія и тонь, избранный Лессингомъ. Надобно было разъ навсегда положить конець вліянію интригантовь и наглецовь на литературу, надобно было вырвать съ корнемъ всякую возможность возрожденія того порядка дёль, какой существоваль во времена Готтшеда и Бодмера. «Антикварскія письма» сдёлали это. Уничтожая Клоца, они уничтожили и ту систему, тоть духъ, въ которомъ действоваль этоть последній и самый блестящій представитель гнилаго и безстыднаго тщеславія, которое прежде управляло нёмецкою литературою.

Новые люди, проникнутые инымъ направленіемъ, были навсегда освобождены «Антикварскими письмами» отъ опеки людей, подобныхъ прежнимъ авторитетамъ. Гердеръ, Меркъ, и Гёте (какъ рецензенть) почувствовали себя самостоятельными, и непосредственно послё «Антикварских» писемъ» получили рещительный голось въ критикъ. Старая привычка поддаваться авторитету интригантовъ и наглецовъ была очень сильна. Не говоря уже о писателяхъ прежняго покольнія, бывшихъ по времени своего литературнаго воспитанія сверстниками Лессинга, - напримітрь о Гагедорні, Глеймі, даже писатели новаго поколенія, воспитанные уже «Литературными письмами» Лессинга, все еще не освободились отъ вліянія старой привычки, поддерживаемой всёми прежними поэтами и учеными. До «Антикварских» писемъ», самъ Гердеръ, первый изъ людей поколенія, следовавшаго за Лессингомъ, восхищался знаменитымъ Клоцемъ, —а потомъ, тотъ же Гердеръ жалвлъ, что Лессингъ тратиль время на борьбу противъ «такого ничтожнаго человека», какъ Клоцъ, и на занятіе «такими незначительными предметами», какъ изследование о резныхъ камняхъ у древнихъ. Онъ забылъ, что самъ отбросилъ вредное чувство уваженія къ такимъ «ничтожнымъ» (armselig) людямъ только благодаря лессинговой полемикъ противъ Клопа.

Не только противникъ, но и предметь спора казался черезъ нъсколько лътъ Гердеру недостойнымъ Лессинга. Въ самомъ дълъ, главное содержаніе «Антикварскихъ писемъ»—изъисканія о ръзныхъ камняхъ у древнихъ, предметь незначительный, способный скоръе занимать сухаго спеціалиста, нежели великаго двигателя національной исторіи. Но, чтожь дълать? Только дилеттанты занимаются тъмъ, что кажется важно именно для нихъ самихъ; предметы занятій историческаго человъка опредъляются духомъ времени

и потребностими окружающей его среды. Мы видели, что уничтожить Клоца было дёломъ нужнымъ. Не любя ничего дёлать на подовину, Лессингъ взялся за свою задачу оригинальнымъ, но совершенно върнымъ образомъ. Слава Клоца основывалась на его учености; ученость Клода состояла главивищимъ образомъ въ знаніи антиковъ. «Клоцъ и Винкельманъ» — было въ то время обыкновенною фразою. Взявшись за уничтожение авторитета Клода, Лессингъ видель, что не довольно оборвать ветви, - надобно вырубить самый корень этого вреднаго дерева; не довольно было доказать, что Клоцъ плохой критикъ; силлогизмъ, на которомъ основывалась его репутація, быль таковь: «онь великій знатокь древностей, —онь великій ученый; а великаго ученаго надобно слушать съ почтеніемъ», - надобно было доказать, что онъ плохой знатокъ древности, и, съ уничтоженіемъ этого корня, падали невозвратно всё вётви его славы. Репутацію, укоренившуюся прочно, нельзя убить во мивніи большинства нъсколькими замъчаніями, какъ бы мътки и ръшительны ни были они; указать шесть-семь промаховъ Клоца, какъ бы грубы они ни были, было недостаточно: масса литераторовъ и публики, разъ проникнувшаяся верою въ его ученость, все-таки продолжала бы говорить: «ну, да; въ нъкоторыхъ случаяхъ онъ ошибался; но все-таки онъ великій ученый; и на солнцв есть пятна»... Надобно было просмотрѣть весь дискъ этого мнимаго солнца, и доказать, что нътъ на немъ ни одного мъста, которое не было бы пятномъ. Такъ и сделалъ Лессингъ: взялъ книгу Клоца, просмотрелъ ее съ начала до конца, показалъ, что вся она-непрерывный рядъ шардатанскихъ заимствованій и промаховъ. Уничтоживъ основаніе славы Клоца, Лессингъ не имълъ уже нужды подробно доказывать ничтожество другихъ его притязаній, - «если онъ, какъ это теперь уже доказано, плохо знаеть даже то, въ чемъ вы предполагали его особенно сильнымъ, то легко вы поймете, какъ слабъ онъ во всемъ остальномъ --- нужно было доказать тезисъ, а выводъ следствій быль уже несомнителенъ для каждаго.

Впрочемъ, разъ мы уже замѣтили, по поводу «Вадемекума для г. Ланге», привычку Лессинга постоянно вплетать въ основной ходъ изслѣдованія эпизодическія изъисканія, предметъ которыхъ часто бываетъ важнѣе общей тэмы сочиненія,—та же метода соблюдена и здѣсь. Многія изъ «Антикварскихъ писемъ» имѣютъ до сихъ поръ живой интересъ, а изслѣдованіе «о томъ, какъ изображалась

у древнихъ смерть», возникшее также изъ «Антикварскихъ писемъ», есть одинъ изъ техъ трактатовъ, которые всего более способствовали утвержденію истиннаго взгляда на систему греческихъ вёрованій.

«Лаокоонъ» и «Миниа фонъ-Баригельмъ» поставили Лессинга выше всёхъ знаменитостей Германіи; «Гамбургская драматургія» еще болъе упрочила его славу. Но по прежнему, слава не давала ему хотя бы скромныхъ средствъ къ жизни. Съ техъ поръ, какъ упаль «національный театрь», постоянною мечтою Лессинга снова сделалось путешествіе въ Италію, о которомъ думаль онъ еще въ Бреславлѣ; раза три-четыре въ годъ назначалъ онъ сроки, когда сядеть на корабль, или въ почтовую карету, чтобы скакать или плыть къ желанному югу,---но каждый срокъ проходиль, и мечта все еще оказывалась неисполнимою. Напрасно продаваль онъ книги, которыя удержаль было какъ необходимъйшія для себя, когда разставался съ своею библіотекою, -- денегъ все-таки у него недоставало не только для путешествія, но и для жизни въ Гамбургв». «Положеніе мое таково, что я долженъ продать всё книги и вещи, которыя еще остаются у меня», -писаль онь, въ іюль 1769 года, въ брату, жившему въ Берлинв. «Сердце у меня обливается кровью, когда я подумаю о томъ, что не могу теперь послать денегь роднымъ въ Каменецъ: но въ настоящую минуту я бъднъе всъхъ своихъ родныхъ; они по крайней мъръ не обременены долгами, а я, при частыхъ недостаткахъ въ необходимъйшемъ, по уши въ долгу. Какъ и помочь этому, не знаю». Долги, изъ которыхъ онъ не надвется выпутаться, состоями всего въ несколькихъ стахъ талерахъ, --- но для Лессинга и эта сумма была огромна.

Но отъ своего правила: не искать мѣстъ, и не принимать предлагаемыхъ мѣстъ, если они ему не по сердцу, Лессингъ не отступался. Весною 1769 года ему предлагали мѣсто драматурга при вѣнскомъ театрѣ съ 3,000 гульденовъ (около 2,000 руб. сер.) жалованья, — но Лессингъ отказался, потому что присмотрѣвшись въ Гамбургѣ къ театральнымъ интригамъ, не хотѣлъ уже имѣть никакого дѣла съ театрами. Когда же ему черезъ нѣсколько мѣсяцевъ было предложено мѣсто библіотекаря при знаменитой библіотекѣ въ Вольфенбюттелѣ, съ 600 талеровъ (550 руб. сер.) жалованья, онъ съ восторгомъ принялъ это приглашеніе, которое дѣйствительно спасало его отъ самыхъ стѣснительныхъ обстоятельствъ.

Мъсто это было предложено ему отъ имени наслъднаго принца Фердинанда Брауншвейгскаго, который ждалъ его прівзда съ нетерпъніемъ. Но болье четырехъ мъсяцевъ прошло прежде, нежели Лессингъ выъхалъ изъ Гамбурга. Профессоръ Эбертъ, черезъ котораго наслъдный принцъ сдълалъ приглашеніе, ръшительно недоумъвалъ, какія остановки могли такъ долго задержать его; Лессингъ извинялъ свое промедленіе то бользнью, то неудобствомъ погоды, то различными другими предлогами; но истинная причина была совершенно другая—Лессингъ продавалъ свои остальныя вещи, чтобы собрать небольшую сумму денегъ, какая нужна для переъзда изъ Гамбурга въ Брауншвейгъ. Наконецъ, кое какъ дъла были устроены, и въ апрълъ 1770 года Лессингъ прівхалъ въ Брауншвейнгъ, былъ представленъ ко Двору, и въ мав отправился къ своему библіотекарскому мъсту въ Вольфенбюттель.

Первое время новой жизни прошло для Лессинга очень пріятно: библіотека очаровала его своимъ богатствомъ, сотнями тысячъ внигъ и огромною коллекціею рукописей, въ числѣ которыхъ многія были очень важны для науки и совершенно еще неизвѣстны. Лессингъ вступилъ въ должность съ твердымъ намѣреніемъ сдѣлать все возможное для открытія и обнародованія скрывавшихся въ ней сокровищъ, и поиски его были очень счастливы. Въ первые же дни по пріѣздѣ, онъ нашелъ очень важное для церковной исторіи XI вѣка сочиненіе извѣстнаго богослова Беренгарія Турскаго, до той поры считавшееся утраченнымъ, и немедленно издаль обширное историко-теологическое изслѣдованіе о немъ съ обзоромъ его содержанія. За тѣмъ быстро слѣдовани другія важныя открытія и изслѣдованія. Къ каждому издаваемому отрывку или сочиненію, Лессингъ писалъ предисловіе, которое бывало обыкновенно еще важнѣе самого сочиненія, объясненіемъ которому служило.

Но Лессингь быль не такой человекь, котораго могли бы надолго удовлетворить старыя книги и рукописи. Не прекращая занятій ими, онъ скоро принялся за обработку давно задуманной трагедіи, которая изображала бы среди новаго міра коллизію, подобную той, которая изв'єстна вс'ємь изъ римской легенды о судьб'є Виргиніи. Въ 1772 году явилась «Эмилія Галотти». Мы не будемъ говорить объ усп'єх'є, который им'єла эта пьеса,—зам'єтимъ только, что въ даровитой молодежи произвела она фуроръ. Черезъ н'єсколько десятковъ л'єть, вспоминая о д'єйствіи «Эмиліи Галотти» на тогдашнюю литературу, Гёте сравниваеть намецкую поэзію съ Латоною, которая, гонимая гивномъ Геры, долго и напрасно искала себъ пріюта, и говорить: «наконець посль долгой, многольтней «борьбы, возникла эта пьеса, какъ островъ Делосъ, изъ пучины «готтшедо-геллерто-вейссевскаго наводненія, чтобы пріютно успо-«коить странствующую богиню. «Эмилія Галотти» ободрила нась, «молодыхъ людей; мы были очень много обязаны Лессингу». Сравненіе немецкой музы съ Латоною, а «Эмиліи Галотти» съ островомъ Делосомъ, слишкомъ кудревато, но оно довольно ясно показываеть, что Гёте (которому было тогда 23 года, и который въ следующемъ году издалъ своего «Геца») и его литературнымъ друзьямъ «Эмилія Галотти» представилась, какъ явленіе, до той поры небывалое, безпримърное въ нъмецкой поэзіи, какъ достиженіе цівли, къ которой стремилось все многолітнее развитіе нівмецкой поэзіи, что на поэтовъ молодаго покольнія (и въ томъ числь Гёте) эта трагедія иміла сильнійшее вліяніе. Замітимь здісь кстати слова: «она ободрила насъ молодыхъ людей»--они напомнять читателю то, что мы говорили о существенномъ характа вліянія Лессинга: оно развязывало руки талантливымъ людямъ, оно вызывало на самостоятельную дъятельность, - ръдкое, какъ мы уже говорили, исключение изъ обыкновеннаго порядка делъ, по которому геній, возвышая васъ до себя, съ тімь вмість порабощаеть васъ себъ. У Лессинга была не такая натура: независимость была его задушевнымъ желаніемъ для себя и для другихъ; подчинять себъ другихъ было ему также противно, какъ и подчиняться другимъ. Черта, отличавшая характеръ человека, отразилась на духъ и дъйствии его произведений.

Гете и его друзья 1770-тыхъ годовъ не ошибались, видя въ «Эмиліи Галотти» явленіе небывалое до той поры. Этою трагедією начинается новый періодъ нѣмецкой поэзіи. Мы видѣли, что уже черезъ два фазиса развитія провелъ нѣмецкую поэзію Лессингъ своими двумя прежними драмами: «Сара Сапмсонъ» ввела въ поэзію патетизмъ и человѣка, вмѣсто прежней пустозвонной шумихи и деревянныхъ героевъ; «Минна фонъ-Барнгельмъ» ввела въ нѣмецкую поэзію національный элементъ. Оставалось поэзіи совершить еще одинъ шагъ, чтобы занять положеніе, приличное ей въ національной жизни,—оставалось ей принять въ себя такое содержаніе, которое ставило ея произведенія въ гармонію съ великими истори-

ческими интересами національнаго развитія. Прим'връ тому, «ободрившій насъ, молодыхъ людей», какъ признается за себя и своихъ друзей Гете, былъ показанъ «Эмиліею Галотти».

Мы не будемъ пересказывать здёсь сюжеть «Эмиліи Галлотти», отлагая это до другаго мёста. Довольно замётить, что эта трагедія—исторія Виргиніи, совершающаяся при итальянскомъ Дворё въ XVI, или, пожалуй, XVII, или, еще вёрнёе, въ XVIII вёкё. Просимъ читателей вспомнить, что мы говорили о Германіи XVIII вёка въ нашей первой главё, и для нихъ будетъ ясно, какое отношеніе имёлъ такой сюжеть къ фактамъ, совершавшимся въ глазахъ тогдашней нёмецкой публики. «Гецъ фонъ-Берлихингенъ», «Эгмонтъ», «Разбойники», «Донъ Карлосъ», «Коварство и Любовь», «Вильгельмъ Телль» — все это драмы того разряда, который начинается «Эмиліей Галотти» *).

«Эмилія Галотти» въ поэзіи стоитъ на границѣ между эпохами дѣятельности двухъ различныхъ поколѣній; точно также стоитъ на границѣ между эпохами дѣятельности двухъ различныхъ поколѣній «Гамбургская Драматургія» въ литературной критикѣ. До сихъ поръ, всѣ ряды, всѣ партіи литературы состояли изъ людей, бывшихъ сверстниками Лессинга или старше его. Онъ, человѣкъ далеко опередившій свое поколѣніе, былъ нравственно одинокъ между ними. Правда, многіе изъ нихъ были воспитаны имъ; почти всѣ остальные сильно были передѣланы его вліяніемъ. Но истинно въ плоть и кровь обращаются идеи воспитателя только у того, кто воспитанъ имъ съ самаго дѣтства. Изъ всѣхъ друзей Лессинга, ближайшимъ былъ Мендельсонъ; его развитіе подвергалось постоянному дѣйствію Лессинга съ болѣе ранней поры, нежели развитіе

^{*)} Мы проводили параллель между фазисами нъмецкой литературы, ознаменованными появленіемъ «Сары Сампсонъ» и «Минны фонъ-Варнгельмь» и соотвътствующими фазисами русской литературы. Появленіемъ «Эмиліи Галотти» прекращается возможность такого сравненія, потому что въ русской литературь подобнаго періода мы не находимъ. Намъ могуть указать на Гоголя и его продолжателей. Не уступая никому въ уваженіи къ этимъ писателямъ, мы должны, однако же, признаться, что, по широть изображаемыхъ сюжетовъ, сравнивать ихъ произведенія съ произведеніями, названными нами въ тексть, невозможно. Когда смотришь на поэзію съ исторической точки зрынія, то нельзя не замътить, что обстановка, среди которой совершается въ поэтическомъ произведеніи дъйствіе, есть элементь чрезвычайно важный для значенія произведенія.

кого нибудь другаго; до появленія на сцену новыхъ людей, Лессингъ называль его «лучшею головою», какую только знаеть; по своему исключительному положенію въ обществі, Мендельсонь быль скоріве всякаго готовіь къ принятію новыхъ идей. И, однако же, Мендельсонь, втеченіе многихъ літь ежедневно бесідуя съ нимъ, не поняль Лессинга такъ хорошо, какъ человікъ новаго поколінія, Якоби, который провель съ Лессингомъ всего только ніссколько вечеровь. А между тімъ, Якоби, по своей натурів, быль гораздо ниже Мендельсона и, между людьми новаго поколінія быль однимъ наименіе способнымъ понимать Лессинга. Между свочими сверстниками, Лессингъ быль совершенно одинокъ.

Но вотъ, воспиталось новое поколѣніе, — въ критикѣ, появляются Гердеръ, Меркъ, Лихтенбергъ, Гёте; въ поэзіи—Гёте, Ленцъ, Клингеръ, Лейзевицъ, и, въ одно время съ ними, около начала 1770-тыхъ годовъ, всѣ безчисленные критики и поэты періода «бурныхъ стремленій». Всѣ они воспитаны преимущественно Лессингомъ, многіе—исключительно Лессингомъ. Каково-то будетъ отношеніе учителя къ нимъ, каково-то будетъ отношеніе ихъ къ учителю?

Именно туть и обнаружилась самымъ яркимъ и рѣдкимъ образомъ его натура, удивительная по своей необыкновенности, совершенно нормальная по своей разумности. Когда они выступили на сцену, онъ совершенно сошелъ съ этой сцены, вполнѣ уступая имъ мѣсто. Онъ пересталъ работать для поэзіи, для литературной критики. «Теперь и безъ меня довольно исправныхъ работниковъ на этихъ поляхъ,—мое дѣло кончено, я сталъ бы только мѣшать имъ; они и безъ меня сдѣлаютъ все, что нужно,—они умѣютъ и хотятъ работать, пусть же трудятся, какъ умѣютъ и какъ хотятъ». Роль воспитателя должна кончаться, когда воспитанники совершенно приготовлены.

Значило ли это, что онъ вполнѣ ими былъ доволенъ? Значило ли это, что онъ увидѣлъ себя безсильнымъ побороть ихъ, если не былъ доволенъ ими? Или это значило, что онъ усталъ работать и радъ былъ случаю бросить работу? Въ извѣстныхъ отношеніяхъ, на всѣ эти вопросы надобно отвѣчать: «да», въ другихъ отношеніяхъ—«нѣтъ».

Новые дъятели поэзіи и критики сильно возбуждали мысль своего народа, всъ были проникнуты любовію къ добру и истинъ,

многіе изъ нихъ были чрезвычайно даровиты, некоторые-геніальны: во всёхъ этихъ отношеніяхъ Лессингъ могъ быть совершенно доволенъ ими. Еще важнее было то, что они были люди независимыхъ мивній и самостоятельныхъ стремленій; ихъ нельзя было ни запугать, ни ослёпить авторитетомъ, они провёряли самымъстрогимъ образомъ каждый авторитетъ, и скорве расположены были, лишь бы только допустила истина, воспротивиться, чемъ последовать ему - въ такомъ настроеніи умственной жизни была существеннъйшая историческая потребность, оно требовалось и натуроюсамого Лессинга, -- въ этомъ отношени, онъ могъ гордиться своими наследниками. Каждый изъ нихъ шелъ по тому пути, какой самъ считаль лучшимь, -- но по какому бы пути ни шель кто изъ нихъ, Лессингъ могъ видеть, что этотъ путь, въ числе многихъ другихъ путей, указанъ и проложенъ имъ, Лессингомъ. Каждый изъ нихъ разработываль общее поле по своему, но поле это было то самое, которое указаль Лессингь, и цель у всехь была общая, та самая, для которой трудился и онъ-пробуждение сознания въ нёмецкомънародъ, пробуждение энергии и прямоты въ умственной жизни народа.

Люди новаго покольнія были воспитанники Лессинга и работали, вообще говоря, сообразно примъру, поданному общимъ учителемъ. Конечно, мы не можемъ здѣсь перечислять всѣ признаки, которыми отразилось изученіе его произведеній на каждомъ изъвтихъ новыхъ дѣятелей,—но пусть представителями родовой связи будуть два значительнѣйшіе изъ нихъ, Гердеръ и Гете, которые, оставаясь каждый очень многостороннимъ, все-таки какъ бы раздѣлили между собою дѣятельность, обнимавшую у Лессинга равно всѣстороны литературы, и сдѣлались знамениты, одинъ—по преимуществу теоретическими трудами, другой—осуществленіемъ теоріи въ художественныхъ произведеніяхъ.

Гердеръ до такой степени былъ пропитанъ сочиненіями Лессинга, что изъ теоретическихъ произведеній учителя не осталось почти ни одного, которое не подало бы ученику случая къ сочиненію въ томъ же родѣ, на ту же тему. Лессингъ писалъ «Защищенія» (Rettungen—изъисканія съ цѣлью возстановить добрую славу о характерѣ и нравственныхъ правилахъ того или другаго знаменитаго стараго писателя, по неосновательнымъ обвиненіямъ прослывшаго дурнымъ человѣкомъ), между прочимъ «Защищеніе Горація»— и Гердеръ написалъ «Защищеніе Горація»; Лессингъ напи-

салъ изследование объ эпиграмме-и Гердеръ написалъ изследованіе объ эпиграмм'є; Лессингъ написаль изслідованіе о баснів—и Гердеръ написалъ изследование о басне; различныя разсуждения или отдъльныя мысли Лессинга породили изследованія Гердера «О знаніи и незнаніи», «Взгляды на будущность челов'вчества», «Палингенезія» и т. д. «Литературными письмами» Лессинга были порождены «Отрывки для немецкой литературы» Гердера; «Лаокоономъ» и «Антикварскими письмами» Лессинга—«Критическія леса» Гердера и т. д. *). Не даромъ говорилъ Гердеръ, что «какъ онъ ни быется, а все таки единственный человыкь, интересующій его-Лессингъ». Мы по необходимости указываемъ только некоторые изъ тъхъ случаевъ, когда цълое сочинение Гердера все цъликомъ возникло изъ сочиненія, написаннаго Лессингомъ; разсматривать связь идей Гердера съ идеями Лессинга было бы слишкомъ долго и неумъстно здъсь, -- но легко угадать, до какой степени воззрънія Гердера обусловливались мыслями, указанными ему Лессингомъ, если большая часть его сочиненій прямо написаны на темы, данныя ему Лессингомъ. И не надобно воображать, чтобы такое отношеніе существовало только въ первый періодъ діятельности Гердера, -- нѣтъ, оно не измѣнялось до конца его жизни.

Случайно, мы уже приводили несколько сужденій Гете о действіи некоторых сочиненій Лессинга на развитіе самого Гете, — мы уже видёли, какъ онъ самъ признавался, что «Лаокоонъ» «озариль его какъ молнія», и овладёль его мыслью на многіе годы, что «Эмилія Галотти» «ободрила» его, —прибавимъ къ этому слова Гете о «Минне фонъ-Барнгельмъ». — «Очень сильно подействовала на насъ эта пьеса. Действительно, она была блестящимъ метеоромъ въ тё темныя времена. Она дала намъ понять, что существуеть нечто высшее всего того, о чемъ знала тогдашняя эпоха». Мы видели также, какой сильный отпечатокъ на манеру Гете положили даже второстепенныя замёчанія Лессинга, напримёръ хотя бы о томъ, что описаніе предмета должно въ поэвіи замёняться разсказомъ его происхожденія и судьбы. Число этихъ примёровъ легко было бы умножить **). Но мы лучше хотимъ замёнить ихъ нёсколь-

^{*)} Гервинусъ

^{**)} Напримъръ: Гёте, когда былъ въ Италіи, почелъ необходимостью написать изслъдованіе о статув Лаокоона; перевелъ сочиненія Дидро, на которыя указалъ Лессингъ, и проч.

кими чертами сходства между Лессингомъ и не однимъ Гёте, а всёми поэтами той эпохи, которой по духу и манере принадлежатъ «Вертеръ» и «Гецъ фонъ-Берлихингенъ».

Лессингъ осмъялъ знаменитое правило о соблюдени въ драмъ трехъ единствъ, указалъ на Шекспира, какъ поэта, произведенія котораго должны въчно быть въ памяти каждаго драматурга,— тотчасъ послѣ этого является поклоненіе Шекспиру, подражаніе Шекспиру, забота о томъ, чтобы не показаться соблюдающимъ какое нибудь изъ трехъ единствъ; преимущественно вліянію Лессинга надобно приписать и преобладаніе драмы въ тотъ періодъ нѣмецкой литературы: Лессингъ писалъ исключительно драмы, и всѣ начали писать драмы и драмы.

Тоже самое было и съ литераторами, которые действовали на ученомъ поприще: Лессингъ былъ полигисторъ, и все захотели быть полигисторами, трудиться не для одной какой нибудь науки, а для всёхъ гуманическихъ наукъ за разъ, отъ эстетики и философіи до древностей и теологіи. Лессингъ писалъ все только отрывки, никогда не доканчивая всего сочиненія, какъ сначала хотълъ написать его, -- и всв начали писать отрывки, и явилось въ нъмецкой литературъ цълое племя «фрагментаристовъ»; Лессингъ возставаль противь цеховой учености и педантства, —и всё начали возставать противъ цеховой учености и педантства. Наконецъобщая черта, въ которой соединялись и поэты и мыслители періода, следовавшаго за «Гамбургскою Драматургіею» и «Эмиліею Галотти»: Лессингъ говорилъ о самостоятельности, о строжайшемъ переизследовании всего, что внушается авторитетами, завещано преданіемъ, о повъркъ собственнымъ анализомъ всёхъ правилъ, всего, что принято нами съ дътства, какъ аксіома, -- независимость мньній стояла для него выше всёхъ: — и самымъ горячимъ стремленіемъ періода, начавшагося съ 1770 годами, было стремленіе къ проверке, къ переизследованію всехъ правиль, всехъ авторитетовь, неприниманіе ничего на-слово, общимь дозунгомъ всехъ была самостоятельность и оригинальность.

Сильно было его вліяніе на эту эпоху и всёхъ лучшихъ ея дёятелей: если им'єть въ виду только общія черты этихъ людей, то они всё сходятся въ томъ, что вышли изъ Лессинга. Но ихъ крикъ о самобытности не былъ пустою претензіею: дёйствительно, развившись благодаря Лессингу, ни одинъ изъ нихъ не утратилъ

черезъ это воспитание ни одной черты, принадлежавшей его личности. Укажемъ опять на одного изъ двухъ главныхъ представителей того времени, на Гердера. О Гете нечего и говорить: каждому изъ читателей, конечно, очевидно, что онъ нимало не напоминаеть собою Лессинга; о подчиненности его, какъ поэта, Лессингу не можеть быть и рѣчи: онъ несравненно выше своего воспитателя по поэтическому таланту. Но Гердеръ, всёмъ обязанный Лессингу, напоминаетъ собою, однако же, вовсе не Лессинга, а другаго своего учителя, извъстнаго полигистора Гаманна, который не долюбливалъ Лессинга и составлялъ решительную противоположность съ нимъ: тотъ же фосфорическій блескъ отдёльныхъ мыслей, но и тоть же восточный тонъ восторженной рычи, та же безпорядица въ воззрвніяхъ, тоже фантазерство, таже раздражительность ипохондрического самолюбія, тотъ же оттынокъ чего-то въ родъ юнгъ-штиллингизма или лафатерщины, - вообще, въ манеръ и въ воззрвніяхъ что-то похожее на Шатобріана. Отчасти превосходствомъ натуры, отчасти вліяніемъ Лессинга значительно сгладились въ Гердеръ эти недостатки и угловатости, но все-таки они остались еще очень резки. Вотъ одинъ изъ примеровъ, по которымъ можно судить о томъ, до какой степени отличались следствія лессингова вліянія отъ обыкновенныхъ следствій, какими отпечатывается на человъкъ подчинение чьему нибудь вліянію: Гаманнъ, гораздо менве Лессинга содвиствовавшій развитію Гердера, отразился въ немъ со всёми своими недостатками; Лессингъ, давшій ему все, не навязаль ему ничего чуждаго его натурь. Не говоримь уже о томъ, что Гаманну Гердеръ до конца только поддакивалъ, какъ авторитету, а съ Лессингомъ съ самого начала спорилъ, какъ съ простымъ человъкомъ, нимало не стъсняясь, --- а пробуждение такой независимости и было существенной потребностью исторіи, главною задачею Лессинга.

Итакъ—возвращаемся къ нашимъ вопросамъ—Лессингъ могъ быть вполив доволенъ людьми, которымъ совершенно уступалъ критическое и поэтическое поприще? Быть можетъ, именно потому онъ и сошелъ съ этого поприща, что иного и лучшаго, нежели дълали они, и не могъ желать сдълать?—Не совсъмъ.

Всѣ вмѣстѣ, какъ одно цѣлое, люди молодого поколѣнія были вѣрны Лессингу. Но въ частности, каждый изъ нихъ по кругу сво-

ихъ воззрвній и сочувствій быль гораздо одностороннюе его *). Таковъ естественный ходъ историческаго развитія во всёхъ сферахъ, что первоначальное равновює различныхъ элементовъ, обнимаемыхъ вновь возникшимъ стремленіемъ, разрушается при дальнюйшемъ движеніи этого стремленія, такъ что одна сторона его беретъ перевюсь надъ другими, и основное единство распадается на множество направленій, изъ которыхъ одно, наиболює благопріятствуемое историческими обстоятельствами, становится господствущимъ, оттюсняя всё другія на задній планъ.

Было бы слишкомъ долго и неумъстно говорить здъсь, почему сильнъйшіе люди новаго покольнія, Гердерь и Гёте, склонились на ту, а не на другую сторону. Довольно сказать, что сторона, къ которой склонялись они, была антипатична Лессингу. У Гердера слабою стороною было излишнее преобладание воображения надъ разсудкомъ, у Гете (въ ту эпоху, эпоху «Вертера» и увлеченія поддъльными оссіановскими пізснями) сантиментальность. Отсюда происходило пристрастіе Гердера къ Гаманну, пристрастіе Гёте къ людямъ, подобнымъ Лафатеру, уживчивость его съ людьми, подобными Юнгу-Штиллингу. Такія предпочтенія казались Лессингу неразумными и вредными, и произведенія, написанныя въ этомъ направленіи, фальшивыми. Чтобы не растягивать нашего разсказа, приведемъ только одинъ примъръ-суждение Лессинга о «Вертеръ». Читатели знають, что сюжеть этого романа данъ Гёте действительнымъ событіемъ-судьбою Іерузалема (сына извъстнаго теолога), который лишиль себя жизни. Воть знаменитое письмо Лессинга къ Эшенбургу объ этомъ романъ:

«Чрезвычайно благодаренъ вамъ любезный Эшенбургъ, за удовольствіе, которое доставили вы мнѣ, одолживъ романъ Гёте. Возвращаю вамъ его днемъ раньше условленнаго срока, чтобы другіе поскорѣе могли насладиться этимъ удовольствіемъ.

^{*)} Мы говоримъ о духѣ, проникавшемъ систему воззрѣній того или другаго изъ новыхъ дѣятелей, а не о широтѣ круга ихъ занятій,—занятія могли бы быть раздѣлены между различными людьми безъ вреда для всесторонности духа, ихъ оживлявшаго,—но эта всесторонность и была утрачена; а кругъ занятій у многихъ изъ людей новаго поколѣнія былъ чрезвычайно многостороненъ. Гёте былъ въ этомъ отношеніи даже универсальнѣе Лессинга, обнимая, кромѣ тѣхъ отраслей знанія или мысли, для которыхъ трудился Лессингъ, и естественныя науки, которыя лежали внѣ круга дѣятельности Лессинга, хотя и бывшаго подобно Шиллеру, въ молодости медикомъ.

«Но какъ вамъ кажется: чтобы не надълать больше вреда, нежели пользы, не должно бы это столь теплое произведение имъть коротенькій холодный эпилогь? Нужно бы нёсколько словь о томъ. какъ развился въ Вертеръ такой странный характеръ; какъ другой юноша съ подобными наклонностями можетъ уберечь себя отъ этого. Въдь онъ, пожалуй, можеть принять поэтическую красоту за нравственную и вообразить, что если этоть человекъ столь сильно возбуждаеть наше участіе, то значить, что онь быль хорошь. А онь вовсе не быль хорошъ. И если бы нашъ Іерузалемъ *) быль совершенно въ такомъ душевномъ состоянів, то я... почти что, презираль бы его. Скажите, греческій или римскій юноша лишиль ли бы себя жизни такъ и изъ-за такой причины? Навърное, нътъ. О, они умъли не поддаваться фантазерству въ любви, и во времена Conpama, такую ex erôtos katochê (коллизію отъ любви), доводящую до ti tolmain para physin (до лишенія себя жизни) простили бы развъ какой нибудь дъвченкъ. Производить такихъ мелко-великихъ, преврвино-милыхъ оригиналовъ было предоставлено только нашему ново-европейскому воспитанію, которое такъ отлично ум'веть превращать физическую потребность въ душевное совершенство. И такъ, любезный Гёте, прибавьте въ концъ еще маленькую главу, и чёмъ циничнёе, тёмъ лучше».

Лессингъ хотълъ очистить память своего молодаго друга отъ «презрънной слабости», которую взводилъ на него романъ, — для этого, онъ издалъ сочиненія Іерузалема сына, съ предисловіемъ, въ которомъ изображалъ покойнаго, какъ человъка съ мужественнымъ характеромъ и свътлой головой. Лессингъ такъ сильно возмущался «Вертеромъ» Гете, что у него однажды мелькнула даже мысль развить эту тему съ здоровой мужественной точки зрънія: сохранился листокъ, на которомъ онъ набросалъ въ нъсколькихъ строкахъ планъ первой сцены для драмы «Werther, der bessere»—«Вертеръ, болъе достойный уваженія».

Нътъ надобности доказывать, что Лессингъ былъ правъ въ своемъ недовольствъ тенденціею, отразившеюся на «Вертеръ»; онъ върно предугадалъ, что романъ этотъ будетъ имътъ вредное вліяніе на молодежь, выставляя въ идеальномъ свътъ бользненное малодушіе своего героя.

^{*)} Лессингъ любилъ этого несчастнаго юношу.

Не быль доволень Лессингь и темь направлениемь, какое получила драма въ періодъ «бурныхъ стремленій». Онъ внушаль-уваженіе къ Шекспиру, -- но молодежь, съ обыкновенною своею наклонностью доводить всякое чувство до крайностей, дошла въ энтузіазмъ къ Шекспиру до нелъпостей, и старалась какъ можно ближе подражать даже тому, что вовсе не важно въ Шекспирѣ и, скорѣе, составляеть его недостатокъ, нежели достоинство: эксцентричность выраженій и другія особенности, объясняемыя только вкусомъ въка, въ которомъ жилъ Шекспиръ, казались этимъ драматургамъ столько же драгопенными и необходимыми принадлежностями «геніальности», какъ дъйствительныя достоинства шекспировыхъ драмъ. Тогда-то возникло понятіе о качествахъ поэта и его произведеній, изв'ястное намъ по преданіямъ романтизма: только тоть истинный поэть, кто растрепанъ, кто съ пренебрежениемъ смотритъ на людей, ведущихъ себя благоприлично, кто старается каждою строкою своихъ произведеній шокировать разсудительных людей. Это все называлось «геніальностью». Такія эксцентричныя замашки сильно не нравились Лессингу, который смотрель на искусство, какъ древній грекъ.

Молодежь инстинктивно предчувствовала, что Лессингъ не можетъ сочувствовать ея одностороннимъ излишествамъ, и если многіе изъ новыхъ дѣятелей литературы,—напримѣръ, Гердеръ и Лейзевицъ,—лично были въ дружескихъ отношеніяхъ съ Лессингомъ, то иные какъ-то чуждались его. Любопытное свидѣтельство послѣдняго оставилъ Гёте о себѣ и своихъ лейпцигскихъ друзьяхъ въ своей автобіографіи. Весною 1768 года Лессингъ пріѣзжалъ въ Лейпцигъ, — Гёте былъ тогда студентомъ Лейпцигскаго Университета (ему было 19 лѣтъ): «Богъ знаетъ, что такое было у насъ тогда въ головѣ, разсказываетъ онъ:—намъ вздумалось не только не искать случая видѣть Лессинга, напротивъ, избѣгать тѣхъ мѣстъ, гдѣ могли бы мы встрѣтить его. Это временное дурачество, которое нерѣдко находитъ на самолюбивыхъ и капризныхъ юношей, было впослѣдствіи наказано тѣмъ, что я уже никогда не имѣлъ случая узнать въ лицо этого великаго и чрезвычайно уважаемаго мною человѣка».

Радуясь вообще пробужденію свіжихъ и могучихъ силъ, стремившихся вообще къ цілямъ, которые были также и его цілями, Лессингъ замічаль въ діятельности главныхъ людей молодаго поколівнія и важныя ошибки, отъ которыхъ предвиділь дурныя слідствія,—какъ то и исполнилось на ділі возникновеніемъ романти-

ческой школы: Шлегели, Тикъ и проч. произошли изъ односторонностей, которымъ поддались Гёте, Гердеръ и ихъ друзья. Почему же онъ не боролся противъ этихъ уклоненій?

Борьба человъка стараго покольнія противъ молодаго покольнія всегда бываеть безуспьшна, хотя бы этоть человъкъ и говорилъ правду. Историческія увлеченія не могуть быть побъждаемы въ самомъ началь своемъ отвлеченными разсужденіями,—только тогда они отвергаются обществомъ, когда они принесуть плоды, по которымъ испытаеть общество ихъ ошибочность и вредность. Съ успъхомъ начать борьбу противъ увлеченій сантиментализма и фантазерства можно было только тогда, когда романтизмъ уже выказалъ, каковы послъдствія этихъ наклонностей, являвшихся въ началь идеально-прекрасными, возвышенными и очаровательными, — уже только въ наши времена, а не въ 1770-тыхъ годахъ.

Чего невозможно сдълать, за то и не принимался Лессингъ. Духъ въка, всъ живыя симпатіи націи, всъ даровитые люди молодаго покольнія были бы противъ него, еслибъ онъ началь борьбу противъ направленія, которое наложило свою печать на «Вертера» и «Гёца фонъ Берлихингена», Напрасны были бы его усилія—а натура его была такова, что онъ не дёлаль ничего напраснаго. Не въ его характеръ было бороться противъ новаго, онъ по природъ своей быль расположенъ только приготовлять его. А когда оно было приготовлено его трудомъ, когда онъ виделъ своихъ воспитанниковъ, которые были уже въ силахъ осуществить его мысль, -- онъ уже терялъ охоту наблюдать за темъ, чтобы эта мысль была во всехъ подробностяхъ исполнена именно такъ, какъ ему казалось лучше-довольно того, что она исполняется — надобно же дать волю людямъ; нравственная опека, предохраняя отъ ошибокъ, убиваетъ и энергію и разумъ, если будетъ простираться далве, нежели надлежить ей по закону природы. Въ историческомъ развитіи неизбіжны увлеченія и ошибки-кто хотъль бы непремънно воспрещать ихъ, воспрещаль бы вместе съ ними всякое развитие, хотелъ бы убивать жизнь.

Натура Лессинга была такова, что работа становилась для него утомительна, какъ скоро онъ видёлъ, что она можетъ быть удовлетворительно исполнена другими, какъ скоро онъ чувствовалъ, что поставилъ вопросъ въ надлежащемъ свётё и вызвалъ людей для его разрёшенія. Ему скучно стало писать для «Литературныхъ писемъ», когда его трудами были уже достаточно приготовлены люди, мог-

шіе продолжать это діло; и теперь, когда были приготовлены люди, могшіе продолжать діло, начатое его драмами, «Лаокоономъ» и «Гамбургскою драматургіею», ему скучно стало писать драмы и заниматься литературною критикою. Эти занятія утомили его, опротивіли ему — много разъ онъ отказывался отъ всякихъ предложеній вновь заняться при томъ или другомъ театріз діломъ, которое столь блистательно исполнилъ при гамбургскомъ національномъ театріз; посліз изданія «Эмиліи Галотти», онъ во всіхъ письмахъ говоритъ, что потерялъ всякое расположеніе и всякую способность писать драмы, и никогда уже ничего не думаетъ писать въ этомъ родіз. Правда, черезъ нісколько літъ написаль еще драму, которая стоитъ выше всіхъ прежнихъ, которую німцы ставять выше всіхъ произведеній самого Гете, кроміз «Фауста»,—но она была внушена ему мыслями, уже совершенно чуждыми любви къ театру или желанію трудиться для искусства. У ней была другая ціль.

Лессингъ усталъ работать - но только для техъ целей, достижение которыхъ было теперь обезпечено. Не работать онъ не могъ. Мы знаемъ, что такое называется въ Съверо-американскихъ Штатахъ колонистомъ «Дальняго Запада»—это человекъ, которому скучно жить и работать на техъ заселенныхъ поляхъ, обработка которыхъ стала уже доступна силамъ каждаго; онъ уходитъ далеко за границы поселеній, въ невёдомыя пустыни, прокладываеть дорогу среди болоть и лъсовъ, поселяется одинокъ среди дикихъ звърей и враждебныхъ дикарей, прогоняетъ ихъ, очищаетъ землю отъ нихъ и открываетъ для цивилизаціи обширныя, обильныя области. Сколько битвъ выдержалъ онъ, сколько лишеній перенесъ онъ, сколько опасностей и затрудненій преодольль онъ!--Но вотъ, безопасенъ сталъ занятый имъ округъ, даетъ уже богатую жатвутогда, привлеченные молвою, приходять по проложенной имъ дорогъ толпы людей, селятся вокругь него, привольно работають, безъ всякихъ лишеній, въ безопасности начинають веселую и сладкую жизнь. И онъ могь бы наслаждаться всёмъ, чёмъ наслаждаются они, шиенно ему больше всехъ и должно было бы наслаждаться, потому что все окружающее его благоденствіе возникло благодаря его предпріимчивости, мужеству и силв. Но неть, ему уже скучно и противно жить на этомъ привольномъ, безопасномъ, роскошномъ мъсть, -- натура влечеть туда, куда еще нъть путей, гдъ каждый шагъ соединенъ съ лишеніями, опасностями и борьбою, - и онъ,

покидая спокойное село, опять идеть въ пустыню, дальше и дальше, прокладывая путь цивилизации....

Таковъ быль Лессингъ. Его трудами была открыта и очищена почва, на которой могла возникнуть богатая литература. Его дёло было совершено въ этой области. Онъ устремился къ завоеванію новыхъ областей для народной жизни.

Одинъ періодъ въ исторіи нѣмецкаго развитія былъ подготовленъ и вызванъ къ жизни его трудами. Онъ началъ работать для подготовленія слѣдующаго періода.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Жизнь Лессинга въ Вольфенбюттель.—Г-жа Кёнигь.—Препятствія къ браку.—
Отношенія Лессинга къ Брауншвейгскому Двору.—Повздка въ Вѣну и путешествіе по Италіи.—Отношенія Лессинга къ тогдашнимъ нѣмецкимъ нравамъ.—
Бракь.—Кончина супруги.—Лессингъ изнемогаетъ.—Новый періодъ его литературной дѣятельности. — «Отрывки изъ Вольфенбюттельскаго Анонима».—
Борьба противъ обѣихъ враждующихъ между собою и съ католиками протестанскихъ партій. — Отрывки изъ полемическихъ статей. — Слѣдствія этой
борьбы.—Отношенія Лессинга къ послѣдующей нѣмецкой философіи.— Отношенія къ нравственно-политическимъ наукамъ.—«Разговоры между Эрнстомъ
и Фалькомъ». — Общій характеръ дѣятельности Лессинга. — Его личный
карактеръ.

(1771—1781).

Новому періоду къ литературной діятельности Лессинга соотвътствовало измънение характера и частной его жизни. До сихъ поръ, онъ былъ скитальцемъ, и едва основавшисъ въ одномъ городь, уже переважаль въ другой, чтобы также скоро покинуть его. Изъ Лейпцига переселялся онъ въ Берлинъ, изъ Берлина въ Виттенбергъ, изъ Виттенберга снова въ Берлинъ, изъ Берлина въ Бреславль, потомъ опять въ Берлинъ, потомъ въ Гамбургъ. Но, переселившись изъ Гамбурга въ Вольфенбюттель, онъ становится осъдлымъ человъкомъ и живетъ въ этомъ городкъ около одиннадцати лътъ, до самой своей смерти. Осъдлость не была у него слъдствіемъ довольства Вольфенбюттелемъ: напротивъ, онъ постоянно, и, какъ увидимъ, справедливо жаловался на положение своихъ дълъ и отношеній къ людямъ въ этомъ мість. Не была она и следствіемъ неподвижности, которая обыкновенно овладеваеть человекомь, достигшимъ зрелыхъ летъ: несмотря на то, что, поселяясь въ Вольфенбюттель, Лессингь быль уже не молодь (въ 1770 году ему исполнилось сорокъ-одинъ годъ), онъ сохраняль всю прежнюю пылкость характера и постоянно порывался переселиться изъ Вольфенбюттеля, то въ Вѣну, то въ Маннгеймъ. Но теперь онъ ужь не могъ такъ беззаботно, какъ прежде, мѣнять немногое вѣрное, что имѣлъ, на совершенно невѣрное, чтобы совершенно съизнова, «съ-ничего», начинать жизнь въ новыхъ отношеніяхъ. Прежде, не будучи связанъ ничѣмъ, онъ могъ поступать подобно своему дервишу Аль-Хафи (въ «Натанѣ Мудромъ»), который безъ котомки за плечами, только съ посохомъ въ рукѣ, идетъ съ Іордана на Гангесъ. Теперь, онъ долженъ былъ дѣйствовать осторожнѣе.

Въ Гамбургъ, изъ числа его знакомыхъ, самымъ близкимъ былъ негодіанть Кенигь, въ дом'я котораго собирались зам'ячательн'я въшіе литераторы и ученые Гамбурга. Увзжая по торговымъ двламъ въ Австрію и Италію, Кенигъ поручилъ свое семейство заботливости Лессинга. Лессингъ свято исполнялъ поручение друга. Черезъ нъсколько времени, получено было извъстіе, что въ Венеціи Кенигъ внезапно умеръ. Коммерческія діла его фирмы были, какъ обыкновенно, разстроены этимъ несчастіемъ. Теперь настало время доказать вполнъ искренность своей дружбы осиротъвшему семейству,-Лессингь, разумъется, быль не такой человькь, чтобы измънить этой обязанности. Такимъ образомъ, онъ все болъе и болъе сближался съ г-жею Кенигъ, одною изъ образованивищихъ и лучшихъ женщинъ своего времени. Она чувствовала признательность къ нему особенно за его нъжную заботливость о ея дътяхъ. Дружба эта продолжалась болве года. Переселившись въ Вольфенбюттель, Лессингъ почувствоваль, что дороже всего въ Гамбургв была для него г-жа Кенигъ. Осенью 1771 года, онъ повхалъ въ Гамбургъ, чтобы сказать ей о своихъ чувствахъ, и узналъ, что она также сильно расположена къ нему. Они дали слово другъ другу,но каждый изъ нихъ съ своей стороны прибавлялъ, что настоящее затруднительное положение его дъль не позволяеть ему вовлекать любимаго человъка въ свои непріятности, и что имъя теперь согласіе на бракъ, онъ потребуетъ исполненія этого слова только тогда, когда устроить свои дела. Каждый изъ нихъ говорилъ, что затрудненія, которыми останавливается другой, вовсе не кажутся тяжелыми для него. Г-жа Кенигъ увъряла, что бъдность, которую она должна была бы теперь раздёлять съ Лессингомъ, готова она переносить съ радостью, но не хочеть обременять его своими детьми, состояніе которыхъ теперь еще невърно. Лессингъ говориль, что всякія заботы и жертвы для ея дѣтей будуть ему не обремененіемъ, а радостью, но что онъ не хочеть заставлять терпѣть нужду любимую женщину. Оба они говорили правду, и доказали это впослѣдствін,—она дѣйствительно была совершенно довольна его скудными средствами къ жизни, онъ—заботился о ея дѣтяхъ съ такою же любовью, какъ мать. И тогда, они были увѣрены въ искренности другь друга. Но, будучи равно готовы на пожертвованія другъ для друга, равно не могли преодолѣть въ себѣ благородной деликатности, запрещавшей пользоваться этою готовностью, и рѣшились ждать того времени, когда препятствія, полагаемыя взаимною деликатностью, будутъ устранены ихъ энергическими усиліями для устройства своихъ дѣлъ. Оба они думали, что каждый изъ нихъ скоро управится съ своими дѣлами,—но мѣсяцъ проходиль за мѣсяцемъ, и въ мучительныхъ хлопотахъ прошло около шести лѣтъ.

Это одно изъ тъхъ положеній, которыя въ вымышленномъ разсказъ казались бы натянутыми и неправдоподобными, какъ слишкомъ высокая идеализація чувствь, но которыя нерадко встрачаются въ действительной жизни, и въ хорошемъ, какъ въ дурномъ, далеко превосходящей границы поэтического правдоподобія, какъ то испыталь на себъ почти каждый. Лессингь и г-жа Кенигь, хорошо понимая другь друга, знали одинъ въ другомъ невозможность поступить иначе, какъ упорно отказываться отъ предлагаемыхъ пожертвованій, хотя бы то стоило отсрочки самаго драгоцівнаго желанія. Ихъ привязанность другь къ другу была чрезвычайно сильна, хоти, разумъется, вовсе не имъла сантиментальнаго оттънка, который не только не быль бы сообразень съ ихъ летами, но и въ молодости быль чуждь ихъ характеру. Переписка ихъ сохранилась (они, послъ отъъзда Лессинга въ Вольфенбюттель, до самой свадьбы виделись всего три-четыре раза, -- дёла удерживали ихъ вдали другь отъ друга); въ ней нетъ ни малейшаго следа какого нибудь нажничанья, -- они даже не говорять другь другу «ты», но зато господствуеть полное уважение и довърие другь къ другу. Содержаніе и тонъ писемъ вообще таковы, какъ между старинными друзьями, которымъ нётъ ни нужды, ни охоты увёрять другъ друга. въ своихъ чувствахъ. Речь идетъ о делахъ, предположенияхъ, важныхъ и мелочныхъ событіяхъ жизни, но въ каждомъ словѣ видна самая нъжная взаимная заботливость.

Со стороны Лессинга сила привязанности доказывается уже твиъ, что свои поступки онъ обыкновенно сообразуетъ съ мижніемъ г-жи Кенигъ. До сихъ поръ, никто никогда не имълъ вдіянія на его образъ дъйствій. Не только не слушаль, но и не спрашиваль онъ ни у кого совъта, какъ поступить ему въ томъ или другомъ случав. Мы видели, что важнейшие шаги въ своей жизни онъ дедалъ, не считая нужнымъ заранве говорить о своихъ намвреніяхъ даже самымъ близкимъ друзьямъ. Вейссе узналъ о его отъезде изъ Лейпцига въ Берлинъ, -- иначе сказать, о решимости бросить ученую карьеру для литературной, -- потомъ Мендельсонъ узналь о его отъвадъ изъ Берлина въ Бреславль, —иначе сказать, о его ръшимости испытать, не лучше ли добывать себъ средства къ жизни служебными, а не литературными занятіями, -- только тогда, когда опустела квартира уехавшаго друга. Отношенія Лессинга къ г-же Кенигь были не таковы: онъ слушаль ея совёты, какъ ему поступить въ томъ или другомъ деле, потому что она совершенно понимала его характеръ, и одна изъ всёхъ его друзей смотрёла на вещи теми же самыми глазами, какъ онъ, но обладала большимъ житейскимъ благоразуміемъ, нежели онъ. Онъ слушался ея, потому что она не советовала ему ничего, несогласного съ его правилами, какъ то делали другіе, не имевшіе чрезвычайно щекотливаго чувства благородной гордости, какимъ отличался онъ. Подчиняясь вліянію г-жи Кенигь, Лессингь со времени своего переселенія въ Вольфенбюттель поступаль въ своихъ отношеніяхъ съ людьми благоразумнъе прежняго, и главнымъ образомъ ея совъты удерживали его въ Вольфенбюттель. Она доказывала ему, что трудно гдв нибудь въ другомъ месте найти человека, который такъ искренно расположенъ быль бы къ нему, какъ наследный принцъ Фердинандъ Брауншвейгскій, пригласившій его въ Вольфенбюттель и сохранившій съ нимъ постоянныя сношенія; что если вто нибудь. то скорбе всехъ принцъ Фердинандъ можетъ дать ему положение, которымъ устранялось бы важнъйшее препятствіе ихъ браку-недостаточность средствъ Лессинга для семейной жизни.

Дъйствительно, принцъ Фердинандъ былъ расположенъ къ Лессингу, и Лессингъ дълалъ все, что позволялъ его характеръ, для того, чтобы упрочить и улучшить свое положение въ Вольфенбюттелъ. Г-жа Кенигъ также неутомимо хлопотала о приведении своихъ дълъ въ порядокъ. И, однако же, около шести лътъ прошло

прежде, нежели препятствія были устранены. Такая медленность въ достижении цели, о которой заботилась г-жа Кенигъ, не иметъ ничего удивительнаго: привести въ порядокъ запутанныя и разстроенныя коммерческія діла — задача, требующая очень много времени. Но страннымъ должно казаться, что Лессингь, при благосклонности принца Фердинанда, такъ долго не могь выйти изъ затрудненій, въ сущности ничтожныхъ: все дело состояло въ несколькихъ лишнихъ сотняхъ талеровъ жалованія, -- этому желанію принцъ Фердинандъ, повидимому, могъ бы удовлетворить безъ всякихъ затрудненій, потому что жалованье, получаемое Лессингомъ по должности библіотекаря, действительно было скудно, и очевидно нуждалось въ увеличеніи; особенно странно покажется неисполненіе такого справедливаго желанія, когда мы скажемъ, что при Брауншвейгскомъ Дворъ часто открывались должности, которыя желаль получить Лессингь и изъ которыхъ иныя даже безъ всякой просьбы Лессинга предназначалось поручить ему. Но загадка эта очень легко объясняется темъ, что мы уже знаемъ о Лессинге: у него былъ характеръ, съ которымъ никогда нельзя было возвыситься при тогдашнемъ нёмецкомъ порядка дёль, когда все зависёло отъ умёнья пользоваться людьми. Гордому бъдняку не поможеть никакое благоразуміе, не поможеть даже никакое благорасположеніе сильныхъ людей. Все, на что Лессингъ имълъ полное право, проходило мимо него, обиднымъ и тяжелымъ для него, незамѣтнымъ для принца Фердинанда образомъ, и годъ за годомъ шелъ, ни мало не улучшая его положенія. Утомительно было бы пересказывать всв эти мелкія неудачи и разочарованія. Скажемъ только о двухъ-трехъ случаяхъ соединенныхъ съ единственнымъ біографическимъ фактомъ, о которомъ надобно упомянуть, говоря объ этомъ времени, - именно, съ повздкою Лессинга въ Италію.

Положеніе Лессинга въ Вольфенбюттель было тяжело. Въ маленькомъ городкъ скучно было бы ему, еслибъ даже не стъснялся онъ недостаточностью своего жалованья. Онъ привыкъ жить въ Берлинъ и Гамбургъ, самыхъ большихъ и оживленныхъ городахъ тогдашней Германіи, центрахъ умственной дъятельности всей страны; привыкъ проводить вечера въ большомъ и разнообразномъ обществъ. Кромъ того, и жалованье, получаемое Лессингомъ по должности библіотекаря, всего 600 талеровъ, было незначительно. Поэтому, большою радостью для Лессинга было извъстіе, что Іосифъ II,

думая учредить въ Вънъ Академію Наукъ, желаеть знать, приметь ли онъ мъсто академика въ Вънъ. Особенно пріятно это предложеніе было для Лессинга потому, что г-жа Кенигь, по своимь дівламъ, тогда жила также въ Вънъ. Но скоро обнаружилось, что намъреніе Іосифа не одобряется Маріею Терезіею, которая не соглашалась теривть въ Ввив протестантскихъ ученыхъ, опасаясь за католическую религію, которой она была чрезвычайно предана. Однако же, Лессингъ бросилъ бы Вольфенбюттель, еслибъ не удержали его совъты г-жи Кенигъ, предвидъвшей, что въ Вънъ Лессингъ не получитъ ничего. Дъйствительно переговоры объ Академін тянулись безъ всякаго результата, и наконецъ Іосифъ долженъ быль отказаться отъ своего намеренія. Въто время, когда была еще нъкоторая надежда, что проектъ основать Академію въ Вънъ исполнится, Лессингъ былъ вызванъ изъ Вольфенбюттеля въ Браунщвейгъ принцемъ Фердинандомъ. Открылась вакансія брауншвейгскаго исторіографа и наслідный принцъ, управлявшій государственными дізлами по дряхлости царствующаго герцога, предложилъ Лессингу занять эту должность, съ сохраненіемъ должности библіотекаря въ Вольфенбюттель. «Такимъ образомъ, ваше положение при нашемъ Дворъ упрочится, прибавляль принцъ:--и притомъ, отъ васъ самихъ будеть зависъть, удовольствуетесь ли вы вашею ученою карьерою или изберете себь другую». -- Этими словами принцъ очевидно выражаль, что готовь открыть Лессингу дорогу къ высокимъ государственнымъ почестямъ, какъ черезъ нъсколько времени была она открыта для Гете герцогомъ Веймарскимъ. Не видно, чтобы Лессингъ желалъ или надъялся быть министромъ; но по крайней мъръ, несомивнио было, что онъ получаетъ место исторіографа, которое давало бы ему возможность начать семейную жизнь, о чемъ онъ такъ долго мечталъ. Но черезъ нъсколько дней принцъ Фердинандъ убхалъ въ Потсдамъ, для свиданія съ Фридрихомъ II, въ службъ котораго находился. Недъли черезъ двъ онъ хотълъ возвратиться, -- но прожиль въ Потсдамъ около двухъ мъсяцевъ. Дъло Лессинга не двигалось впередъ. Принцъ возвратился-оно не двигалось впередъ; и наконецъ Лессингъ увиделъ, что не получитъ мъста, которое безъ всякой просъбы съ его стороны вздумаль было такъ положительно объщать ему принцъ. Его неудовольствіе было очень сильно. Онъ хотълъ убхать изъ Вольфенбюттеля и только совъты г-жи Кенигъ удержали его. - «Я взовшенъ, писалъ онъ

ей. — Везъ всякаго моего искательства призывають меня, дають мив нежнейшія обещанія, — и потомъ — поступають такъ, какъ будто ни о чемъ не было и помину. Два раза вздилъ я въ Брауншвейтъ; меня видъли во дворцъ, я спрашивалъ, въ какомъ положении мое дъло. Ответа неть, или такой ответь, изъ котораго ничего не поймешь. Я воротился въ Вольфенбюттель и поклялся, что нога моя не будеть въ Брауншвейгь, пока сами они не порышать этого дыла. Лишь только я кончу свои начатыя работы, которыхъ не могу кончить безъ Вольфенбюттельской библіотеки, ни что въ мірів не удержить меня здёсь. Я думаю, что вездё могу найти то, что брошу вдесь, -- а если бы не нашель, то лучше буду просить мидостыню подъ окнами, чемъ позволю поступать съ собою такимъ образомъ!»-Три мъсяца Лессингъ не выходилъ изъ своей комнаты никуда, кромъ библіотеки, такъ велико было его негодованіе и его желаніе скоръе кончить начатыя работы, чтобы убхать изъ Вольфенбюттеля. Но г-жа Кенигъ доказала ему, что все-таки благоразуміе требуеть остаться въ Вольфенбюттель, пока ньтъ въ виду ничего лучшаго, чемъ надежды на принца Фердинанда. «Со мною поступають нестерпимо, отвечаль Лессингь г-же Кенигъ:-и только ваше положительное запрещение могло удержать меня отъ необдуманнаго шага, решиться на который я однако же каждую минуту чувствую искушеніе. И не долженъ ли я буду наконецъ сдёдать его? Потому что влянусь Богомъ, я не могу дольше выносить этого».—Черезъ полгода онъ пишеть ей: «Четыре мъсяца я, можносказать, безвыходно сидёль въ своемъ проклятомъ замкв. Только два раза ёздиль въ Брауншвейгъ, и то на нёсколько часовъ, потому что даль себъ зарокъ не ночевать въ Брауншвейгъ *), гдъ поступають со мною (вы знаете, о комъ я говорю) невыносимо для меня; да и не сталь бы я въ другое время, въ другихъ обстоятельствахъ, ни за что въ мірѣ выносить этого. Потому я и не хочу подвергаться опасности встретить его **) Въ январе будеть годъ, какъ онъ самъ сделалъ мне это предложение, -- до той поры я подожду, и потомъ напишу ему свое мивніе такъ горько, какъ навірное никто еще не писаль ни одному изъ его собратій. Мив ничего не

^{*)} Конечно для того, чтобы не быть обязаннымъ являться на придворные вечера.

^{**)} Т. е. Фердинанда, потому что не удержался бы отъ упрековъ при встрвчв съ нимъ.

остается, какъ только похорониться подъ своими книгами, чтобы, сколько можно, забыть всв мысли о будущемъ. Давно ужь не писалъ я ни къ кому въ мірь, кромь васъ, мой другь, - не отвъчалъ ни братьямъ, ни матери, никому. Лучше всего было бы мив разослать ко всемъ знакомымъ циркуляръ, чтобъ они считали меня умершимъ, потому что, мой другъ, я совершенно не въ силахъ писать». Потомъ четыре мъсяца не писаль онъ и къ г-жъ Кенигъ. Она успъла однако же убъдить его не ссориться съ Фердинандомъ. и не отказываться отъ Вольфенбюттельской должности, не имъя въ виду ничего другаго. Такъ прошелъ еще годъ. Наконецъ, Лессингь чувствоваль, что должень хотя на время убхать изъ Вольфенбюттеля, чтобы сколько нибудь развлечься. Онъ взяль отпускъ, и черезъ Берлинъ и Дрезденъ провхалъ въ Вену, где жила г-жа Кенигъ, -- овъ хотвлъ дождаться совершеннаго окончанія ея двлъ, которыя были уже приведены въ порядокъ; потомъ они вступили бы въ бракъ и вивств отправились бы въ Вольфенбюттель. Но едва прожиль Лессингь несколько дней въ Вене, какъ туда пріъхалъ принцъ Брауншвейгскій Леопольдъ, думавшій сдълать путешествіе въ Италію, и сталъ просить Лессинга быть его спутникомъ. Отказаться отъ такого приглашенія значило бы разорвать всё связи съ Брауншвейгомъ, и Лессингъ долженъ былъ такъ, — такъ, противъ его воли, исполнилась давняя мечта его посётить Италію. Путешествіе длилось болье полугода, и въ началь 1776 года Лессингъ возвратился въ Въну, посътивъ виъстъ съ принцемъ Леопольдомъ Венецію, Римъ и Неаполь, Между темъ г-жа Кенигъ должна была, по своимъ деламъ, переехать изъ Вены въ Гамбургъ, и Лессингъ черезъ Дрезденъ и Каменецъ, гдв провелъ несколько дней съ матерыю (отепъ его умеръ въ 1770 году), возвратился въ Вольфенбюттель. Дёла, которыя г-жа Кенигь хотёла привести въ порядокъ прежде, нежели вступить во второй бракъ, приближались къ концу, и Лессингъ торопился устроить свое положение въ Вольфенбюттель такъ, что бы не замедлять свадьбы. Посль долгихъ переговоровъ, принцъ Фердинандъ прибавилъ ему 200 талеровъ жалованья, выдаль 300 талеровь, которые следовало Лессингу получить въ счетъ жалованья еще за прежніе годы, даль впередъ въ счеть жалованья еще отъ 800 до 1,000 талеровъ и назначилъ болье просторную квартиру-изъ за этихъ жалкихъ вознагражденій тянулось діло около полугода. Наконець, Лессингь иміль въ

рукахъ нѣсколько сотъ талеровъ, чтобы обзавестись домашнимъ козяйствомъ на семейную ногу, назначена была ему и квартира, въ которой могъ онъ помѣститься съ женою и ея дѣтьми отъ перваго брака, все было готово къ свадьбѣ; и 6-го октября 1776 года, Лессингъ пріѣхалъ въ Гамбургъ, гдѣ жила г-жа Кенигъ, а черезъ два дня совершенъ былъ обрядъ бракосочетанія, безъ всякой церемоніальности: Лессингъ не сдѣлалъ себѣ къ свадьбѣ даже новаго платья. Черезъ нѣсколько дней, также тихо, онъ ввелъ жену въ свой Вольфенбюттельскій домъ.

Эти немногіе прим'тры довольно показывають, каково было положеніе Лессинга въ Вольфенбюттель; а между тымь брауншвейтскій Дворъ очень хорошо понималь, какую честь приносить маленькой брауншвейсской землё то, что въ ней поселился писатель, которому удивляется вся Германія. Принцъ Фердинандъ, всегда имъвшій большое вліяніе на дъла, а въ последнее время управвлявшій государствомъ лично быль расположень къ Лессингу: принцъ самъ пригласилъ его въ Вольфенбюттель, самъ потомъ предлагалъ открыть ему дорогу къ государственнымъ почестямъ; часто беседоваль съ нимъ дружески, бралъ у него читать различныя рукописи, защищаль его, когда впоследствій изданіе одной изъ этихъ рукописей навлекло непріятности на Лессинга. Желаніе Фердинанда сдёлать что нибудь полезное для Лессинга, доводило иногда до странныхъ споровъ, изъ которыхъ особенно любопытенъ одинъ: когда передъ свадьбою Лессингъ требовалъ прибавки жалованыя, брачншвейгское правительство непременно хотвло, сверхъ денежныхъ наградъ, наградить его чиномъ гофърата; Лессингъ, вообще не желая носить никакихъ титуловъ, не хотъль принимать эттго ранга, почетнаго въ намецкомъ чиноначаліи, и возникли жаркія пренія; наконецъ, доброжелательное правительство восторжествовало, и Лессингъ противъ воли принужденъ быль сдёлаться важнымъ чиновникомъ. После всёхъ этихъ знаковъ благорасположенія, странно могло казаться, что нѣсколькихъ сотъ талеровъ, которые нужны были Лессингу, онъ долженъ былъ дожидаться несколько леть, и до конца жизни оставался, съ житейской точки зрвнія, въ незавидномъ положеніи. Но по отрывкамъ изъ писемъ, которые приведены выше, читатель видитъ уже, что это и не могло быть иначе. У принца Фердинанда было конечно много другихъ дёлъ, кроме заботъ о Лессингъ.

Принцъ предложилъ ему мъсто, потомъ, развлеченный болье важными делами, вероятно, и забыль о своемь объщании. Лессингь, какъ видимъ, не сказалъ самъ, или хотя бы черезъ кого нибудь другого, ни одного слова, чтобы напомнить Фердинанду о его объщаніи. Мало того: очень можеть быть, что вто нибудь другой сказалъ Фердинанду что нибудь, помѣшавшее исполненію обѣщанія, или похлопоталь за какого нибудь другаго кандидата на мъсто исторіографа, или намекнуль принцу, что Лессингь не доволень этимъ предложениемъ; последнее было темъ легче, что Лессингъ, конечно. приняль предложение Фердинанда, не разсыпаясь въ выраженияхъ своей радости и благодарности, - таково уже было его правило. Кром'в того, вообще надобно сказать, что правила и образъ д'вйствій Лессинга совершенно не подходили къ тогдашнему порядку нъмецкой жизни, темъ менее годились для жизни въ придворномъ или аристократическомъ кругу. Уже одно дело о титуле гофъ-рата можеть быть доказательствомь тому, а такихъ анекдотовъ сохранилось довольно много, несмотря на скудость біографическихъ извівстій о Лессингь. Все, что мы знаемъ о немъ, заставляеть полагать, что подобные случаи, при тогдашнихъ нёмецкихъ нравахъ, представлялись ему ежедневно. Положительно намъ говорять его современники, что онъ чувствоваль себя хорошо только въ кругу равныхъ ему людей, --- сюда принадлежали также всв низшіе, потому что онъ обращался съ ними, какъ съ равными, и, дъйствительно, не считалъ ихъ низшими себя. Мы уже упоминали, что съ своимъ слугою онъ обходится «какъ съ братомъ», по выраженію его біографа. Ему пріятно было держать себя съ людьми низшаго званія такъ, чтобы они забывали разницу его и ихъ состоянія. Это относится не только къ общественному положению, къ которому еще могуть быть равнодушны люди, чувствующіе, что главное право ихъ на общее уваженіе-умъ, таланть или званіе (хотя и они редко возвышаются до такого чувства), но и къ умственному превосходству, отказызываться отъ котораго гораздо трудиве: Лессингу несносно было зативнать своего собеседника, тажело было даже, когда начинался ученый или литературный споръ, одерживать верхъ надъ своимъ собеседникомъ. Онъ старался, противъ обыкновеннаго правила всёхъ споровъ, не доказывать, что его противникъ ошибается, а напротивъ, придавать его словамъ самый разумный смысль, объяснять ихъ такъ, чтобы они какъ можно ближе подошли къ истинъ; собесъдникъ его, мало-по-малу принуждаемый исправлять свое ошибочное метніе, самъ не замѣчалъ того, что исправляетъ свои прежнія слова, при помощи Лессинга: ему казалось, напротивъ, что Лессингъ во всемъ или почти во всемъ долженъ былъ соглашаться съ нимъ. Это не было только следствіемъ редкой мягкости обращенія, которою отличался Лессингъ, по словамъ всёхъ знавшихъ его: тутъ было и нёчто другое, именно, желаніе не унизить, а возвысить своего собесёдника въ глазахъ присутствующихъ, потребность явиться не высшимъ, а только равнымъ ему. Такой характеръ никогда не поведеть къ особенно выгодной житейской обстановкъ, но по крайней мъръ, онъ не будетъ неумъстнымъ, напримъръ, въ нынъшней Франціи или въ Съверо-американскихъ Штатахъ; а въ Германіи XVIII въка, онъ совершенно противоръчилъ всему заведенному порядку общежитія. Въ Лессингъ жилъ иной духъ, ни мало не подходившій подъ норму нёмецкихъ отношеній того времени, и это чувствовалось всеми, съ кемъ онъ имель дело. Не то, чтобъ онъ нарушалъ какія нибудь формы общежитія, — напротивъ, онъ соблюдаль ихъ, какъ только можетъ соблюдать человекъ мягкаго, непритязательнаго характера, желающій въ частной жизни одного только — добрыхъ отношеній со всёми окружающими. Не то, чтобы онъ высказываль какія нибудь мивнія, несогласныя съ тогдашнимъ порядкомъ гражданскаго устройства въ Германіи: напротивъ, въ его письмахъ къ друзьямъ, нътъ ничего относящагося къ современнымъ государственнымъ событіямъ или въ кабимъ бы то ни было политическимъ теоріямъ; сколько можно судить по дошедшимъ до насъ извістіямъ, и разговоры его не касались этихъ предметовъ.

Да еслибъ и не дошло до насъ извъстій о томъ, какіе вопросы были любимыми предметами разговоровъ Лессинга, всякій, знакомый съ его сочиненіями и перепискою, могъ бы быть увъренъ, что гражданскія отношенія и государственное устройство не были въчисль этихъ предметовъ: къ какимъ бы отраслямъ умственной дъятельности ни влекли его собственныя наклонности, но говорилъ и писалъ онъ только о томъ, къ чему была устремлена или готова была устремиться умственная жизнь его народа. Все что не могло имъть современнаго значенія для націи, какъ бы ни было интересно для него самого, не было предметомъ ни сочиненій, ни разговоровъ его. Приведемъ одинъ примъръ. Безъ всякаго сомнънія, если былъ въ Германіи до Канта человъкъ, не менъе одаренный

природою для философіи, то это быль Лессинть. Самъ Лейбниць, всей своей геніальности, при всей своей привычків къ математическому методу, далеко не имъль той необычайно строгой діалектики, той способности опредълительно созерцать понятія и точно отличать ихъ другь отъ друга, какою постоянно удивляетъ своего читателя Лессингъ. Не даромъ Лессингъ особенно любилъ Аристотеля, — онъ былъ родствененъ стагириту по названнымъ нами качествамъ. Прибавимъ, что и та особенность въ ходе мысли, которая у немногихъ мыслителей была такъ сильна, какъ у Лессинга,--эта неудержимая наклонность оть частнаго вопроса переходить въ область общихъ соображеній, каждый факть возводить къ основнымъ принципамъ науки, въ паденіи яблока видеть законъ тяготвнія, постоянно съ необычайною силою влекла Лессинга отъ спеціальныхъ вопросовъ частныхъ наукъ въ сферу философскаго созерцанія. Если быль когда нибудь человікь, по устройству головы предназначенный для философіи, то это быль Лессингь. А между тъмъ, онъ почти ни одного слова не написалъ собственно о философіи, ни одной страницы не посвятиль ей въ своихъ сочиненіяхъ, и въ письмахъ своихъ говорить о ней почти только съ Мендельсономъ, да и то только въ ответъ на вопросы, затрогиваемые Мендельсономъ, ограничиваясь тъмъ, что нужно было для Мендельсона. Неужели, въ самомъ дълъ, лично онъ самъ, на перекоръ своей натуръ, такъ мало интересовался философіею? Напротивъ: онъ выдаль намь, чёмь была занята лично его мысль, когда чертиль на дачв Глейма классическое «hen kai pan» (единое и все)-а между тъмъ, онъ толковалъ съ Глеймомъ о его «пъсняхъ Гренадера», и его поэм'в «Халладатъ». Д'вло въ томъ, что не время еще было чистой философіи стать живымъ средоточіемъ німецкой умственной жизни, — и Лессингъ молчалъ о философін; умы современниковъ были готовы оживиться поэзіею, а не были еще готовы къ философіи,и Лессингъ писалъ драмы и толковалъ о поэзіи. Не тяжелое ли самоотречение было это съ его стороны? Съ перваго взгляда, можеть показаться такъ. Тому, въ комъ есть философскій духъ и кто разъ увлекся въ область философіи, трудно оторваться отъ ея великихъ вопросовъ для мелочныхъ, сравнительно съ ними, вопросовъ частныхъ наукъ, и если эти науки имъютъ для него какую нибудь занимательность, то обыкновенно только ради отношеній своихъ къ задачамъ философіи. Но для натуръ, подобныхъ Лессингу, существуетъ служеніе, болѣе милое, нежели служеніе любимой наукѣ, это служеніе развитію своего народа. И если какой нибудь «Лаокоонъ» или какая нибудь «Гамбургская Драматургія» приходится болѣе на пользу націи, нежели система метъфизики или онтологическая теорія, такой человѣкъ молчитъ о метафизикѣ, съ любовьюразбирая литературные вопросы, котя съ абсолютной научной точки зрѣнія Виргиліева «Энеида» и Вольтерова «Семирамида»—предметы мелкіе и почти пустые для ума, способнаго созерцать основные законы человѣческой жизни.

Какъ молчалъ Лессингь о философіи, точно также молчаль онъ и о вопросахъ государственной жизни, - потому что умы его современниковъ были еще слишкомъ слабы для того, чтобы возбуждаться къ жизни философіею или государственными науками. Живымъ вопросомъ эпохи до сихъ поръ была для Германіи литература. Лессингъ служилъ ей, и молчалъ о томъ, что не нужно еще было той эпохъ. Не дълая ничего на половину, онъ, если молчалъ, то уже молчаль. Безъ случайнаго разговора съ Якоби, случайно вызваннаго самимъ Якоби, который и не предчувствоваль, что съ Лессингомъ можно говорить объ этомъ, и который также случайно вздумаль сдёлать этоть разговорь эпизодомь одного изъ своихъ сочиненій, мы только по догадкамъ могли бы судить о томъ, каковъ быль хотя главный принципь философской системы, таившейся въ мысли Лессинга-ни въ сочиненіяхъ, ни въ перепискъ самого Лессинга мы не имъли бы ясныхъ указаній даже на этотъ принципъ (не говоримъ уже о подробностяхъ системы, до нынъ остающихся мало извъстными), -- и никто изъ знакомыхъ Лессинга не могъ припомнить, чтобы имъль съ нимъ разговоръ, подобный записанному у Якоби.

Точно также, Лессингъ почти ничего не писалъ и почти никогда не говорилъ о гражданскихъ отношеніяхъ, —почти все, что мы знаемъ положительнаго относительно его понятій объ этихъ предметахъ, основывается на нѣкоторыхъ страницахъ его «Разговоровъ между Эрнстомъ и Фалькомъ», изданныхъ уже подъ конецъ его жизни, на двухъ-трехъ фразахъ, случайно попавшихся ему подъ перо въ перепискъ съ друзьями, на нѣсколькихъ мелочныхъ замѣчаніяхъ, сдѣланныхъ двумя или тремя изъ друзей, писавшихъ о немъ. Только въ послѣдніе годы своей жизни онъ увидѣлъ, что нѣмцы могутъ интересоваться наукою государственнаго устройства; до того вре-

мени, говорить объ этихъ вопросахъ ему казалось преждевременно, нъмецкая нація казалась ему еще недостаточно приготовленной, чтобы живо заниматься теоріями гражданского общества, и онъ молчалъ. Но когда убъжденія человька составляють его натуру, а не бывають мивніями, принадлежащими только головів и не совпадающими съ его характеромъ, вся личность такого человъка, какъ бы, повидимому, ни сообразовался онъ съ обычаями, внушаетъ людямъ, имъющимъ съ нимъ сношенія, тоже самое чувство, какое внушали бы его мысли, которыхъ они не знаютъ и быть можеть не предугадывають. Въ Брауншвейгь, никто не предполагаль, чтобы Лессингь думаль что нибудь особенное о порядка даль, существовавшемь въ Германіи его времени. Но всв инстинктивно чувствовали, что Лессингъ, какъ человекъ, не приходится къ этому порядку, противъ котораго онъ, повидимому, ничего не имбетъ даже въ мысли, не только не возстаеть на дълъ. Никто не могь указать, по чему бы онъ не годился для придворной жизни въ Брауншвейгъ или какомъ бы то ни было другомъ нѣмецкомъ владѣніи: онъ соблюдалъ обычный этикетъ, онъ соблюдалъ обычаи обращенія, какія господствовали относительно каждаго ранга; онъ одобрялъ, повидимому, все, что могъ одобрять каждый благоразумный человъкъ, онъ меньше, нежели кто-нибудь, говориль о злоупотребленіяхь и недостаткахь,и однако же, всв чувствовали, что онъ вообще не подходить къ той сферв, въ которой живеть такъ мирно, которою, повидимому, доволенъ точно также, какъ и всв. Потому-то, при всемъ своемъ расположеніи къ Лессингу, принцъ Фердинандъ и не могъ ничего сдълать для Лессинга.

Вступивъ въ бракъ съ г-жею Кенигъ, Лессингъ и не желаль никакого измѣненія къ лучшему въ своихъ обстоятельствахъ. Глубокая симпатія, существовавщая между мужемъ и женою, дѣлала ихъ счастливыми. Люди, посѣщавшіе Лессинга въ это время, не могли говорить безъ восторга о характерѣ и качествахъ г-жи Лессингъ, и о тихой жизни въ ихъ домѣ. Осталось любопытное письмо Шпиттлера, впослѣдствіи сдѣлавшагося знаменитымъ историкомъ. Онъ въ 1777 году, готовясь начать свою ученую каррьеру, прожилъ нѣсколько времени въ Вольфенбюттелѣ, занимаясь въ тамошней библіотекѣ, и каждый день бывалъ у Лессинга. «Я пробылъ въ Вольфенбюттелѣ около трехъ недѣль, писалъ Шпиттлеръ Мейзелю, который не принадлежалъ къ числу друзей Лессинга:—«это

были три счастливъйшія и поучительнъйшія недъли въ моей жизни. Не знаю, знакомы ли вы лично съ Лессингомъ. Увъряю васъ, это величайшій другъ человъчества, снисходительнъйшій ободритель всякаго знанія. Незамътно, съ нимъ сближаешься до того, что неизбъжно забываешь, съ какимъ великимъ человъкомъ говоришь. И если бы возможно было найти въ комъ нибудь болье любви къ людямъ, болье искренней готовности сдълать добро каждому, то развъ въ его супругъ. Я не надъюсь никогда въ жизни встрътить другую такую женщину. Безъискусственная доброта ея сердца, въчно полнаго кроткимъ спокойствіемъ, сообщается очаровательнъйшею симпатіею всьмъ, кто имъетъ счастіе находиться въ ея обществъ. Знакомство съ этою женщиною высокаго благородства *) безконечно возвысило мои понятія о женщинахъ».

Но кратокъ былъ счастливый періодъ въ жизни Лессинга: черезъ годъ, жена его умерла отъ родовъ, послё тяжелыхъ страданій. Вотъ отрывки писемъ, сохранившихся отъ времени страшнаго удара, которымъ приблизилась могила и для самого Лессинга,—писемъ изъ этого времени, исполненнаго переходовъ отъ радости къ отчаянію, отъ отчаянія къ надеждѣ, отъ надежды къ нравственному оцѣпенѣню при роковомъ ударѣ.

(Къ Эшенбургу, 3 января 1778 г.). «Ловлю минуту, когда жена моя лежить совершенно безъ памяти, чтобы благодарить Васъ за Ваше доброе участіе. Моя радость была коротка. Грустно мит было терять сына—но онъ быль слишкомъ уменъ,—онъ не хоттлъ рождаться на свътъ,—желтвими щипцами заставили его явиться въ жизнь; онъ чувствовалъ, какъ гнусна жизнь, и разстался съ нею... Но онъ увлечетъ за собою и мать свою. Мало мит надежды сохранить ее. Вздумалъ я: дай же, я буду имт радость въ жизни какъ другіе люди. Но дурно пришлось мит счастіе. Ісh wollte es auch einmal so gut haben, wie andere Menschen. Aber es ist mir schlecht bekommen.

(5 января, къ брату). «Четырнадцать печальнъйшихъ дней въ моей жизни прожилъ я. Была мнъ опасность потерять жену, потеря которой горько отравила бы весь остатокъ моей жизни. Она родила мнъ хорошенькаго мальчика, здороваго и бодраго. Но онъ

^{*)} Шпиттлеръ выражается еще сильнье: dieser grossen Frau,— «этою великою женщиною».

прожиль только двадцать часовъ, — онъ не перенесь жестокой операціи, — или онъ мало радости ожидаль отъ пиршества жизни, къ которому насильно пригласили его?... Мать лежала безъ памяти цѣлыхъ девять или десять дней, и каждый день, каждую ночь нѣсколько разъ прогоняли меня отъ ея постели, говоря, что мой видъ только дѣлаетъ тяжелѣе послѣднюю минуту ея. Потому что она и въ безпамятствѣ узнавала меня. Наконецъ, миновался кризисъ ея болѣзни, и съ третьяго дня я вѣрно надѣюсь, что сохраню ту, жизнь которой съ каждымъ часомъ становится необходимѣе мнѣ.

(7 января, къ Эшенбургу). «Должно быть, трагическое письмо написалъ я вамъ, не помню, что я писалъ. Стыжусь, если въ немъ было отчаяніе... Надежда на выздоровленіе моей жены опять ослабъваетъ; я теперь надъюсь только того, что скоро опять можно будетъ надъяться.

(Эшенбургу, 10 января). «Жена моя умерла. И этотъ опытъ не миновалъ меня. Радуюсь я, что ужь не остается мив такихъ опытовъ, и мив легко....

(Брату, 12 января). Моя жена умерла. Еслибъ ты ее зналъ!... Не буду ничего говорить о ней. Но, еслибъ ты ее зналъ»!...

Слишкомъ черезъ полгода, въ сентябрв 1778, онъ пишетъ Элизъ Реймарусъ, подругъ своей покойной жены: «О, какъ часто готовъ я бываю проклинать то, что хотълъ быть счастливъ, какъ другіе люди! Но я слишкомъ гордъ, чтобы считать себя несчастнымъ; я скрежещу зубами и оставляю мой челнокъ плыть, какъ хотятъ вътеръ и погода. Довольно того, что я самъ не хочу опрокинуть его»....

Смерть жены нанесла рёшительный ударь самому Лессингу. Онъ подряхлёль, казался утомленнымь, сдёлался задумчивь до разсёянности. Часто въ обществе, когда кругомъ шель живой разговорь, въ которомъ прежде онъ быль бы самымъ живымъ участникомъ, онъ сидёль до того задумавшись, что казался дремлющимъ, и вдругь, какъ бы очнувшись, спрашивалъ: «ну, что же такое»? Здоровье его быстро разрушалось. Лётомъ 1779 года онъ часто быль боленъ такъ, что лежалъ въ постели. 'На следующую зиму (1779—1780) здоровье его было еще хуже. «Эта зима очень печальна для меня, писалъ онъ въ конце ек:—изъ одной болезни я впадаю въ другую; ни одна изъ нихъ не смертельна, но каждая

мѣшаетъ мнѣ владѣть моими душевными силами». Лѣто не поправило его здоровья.

Но именю къ этимъ последнимъ тремъ годамъ жизни Лессинга, когда онъ, сокрушенный потерею жены, изнемогалъ теломъ, и жаловался, что отъ болезней изнемогаютъ и духовныя силы его, относится самая сильная и блистательная деятельность его, какъ писателя. Все прежнія победы его, какъ мыслителя, затмеваются его последнимъ торжествомъ, все прежнія его поэтическія произведенія далеко уступаютъ въ художественномъ достоинстве и историческомъ значеніи его последней драме.

Начался уже блистательный періодъ нёмецкой литературы, подготовленный его трудами. Воспитавъ поэтовъ и критиковъ для своего народа, увидевъ людей, способныхъ продолжать его литературное діло, онъ уступиль имъ дальній шую разработку очищенной и вспаханной имъ почвы, и пошелъ далее съ своимъ плугомъ, принялся очищать и вспахивать новую местность, на которую должна была перенестись после литературной области жизнь немецкаго народа. За Гердеромъ и Гёте должны были явиться руководителями нъмецкаго народа въ историческомъ движении Кантъ и Фихте, за поэзіею философія. И туть, первымь человѣкомь быль Лессингь. Приготовивъ періодъ поэзіи, онъ занялся трудами, которые приготовили періодъ философіи. За сознаніемъ единства по племени должно было следовать въ немецкомъ народе водворение единства въ общихъ убъжденіяхъ, — положивъ основаніе первому, Лессингъ теперь полагалъ основание второму. И на сколько второй періодъ быль выше перваго по историческому содержанію, на столько же трудиве и блистательные было его приготовленіе, совершаемое теперь Лессингомъ.

Такъ оканчивали мы предъидущую главу. Въ началѣ этой мы упомянули о фактѣ, который повидимому находится въ странномъ противорѣчіи съ мыслью о приготовленіи Лессингомъ философскаго періода въ умственной жизни Германіи: Лессингъ почти ничего не писалъ по собственно такъ называемой философіи, и метафизическая система его (да и то только въ общемъ очеркѣ) положительно сдѣлалась извѣстна уже нѣсколько лѣтъ спустя послѣ его смерти, изъ случайно напечатаннаго другимъ ученымъ воспоминанія о случайномъ разговорѣ съ нимъ. И однакожь, дѣйствительно это было такъ: человѣкъ, не писавшій чисто философскихъ сочиненій, дѣй-

ствительно положиль своими сочиненіями основаніе всей новой нівмецкой философіи.

Начиная эту біографію, мы сказали, что хотимъ представить эпизодъ изъ исторіи нѣмецкой литературы, а не изъ исторіи нѣмецкой философіи или теологіи, что безмѣрно расширило бы объемъ нашего очерка, и безъ того уже слишкомъ длиннаго. И здѣсь, мы коснемся философско-теологической дѣятельности Лессинга только вскользь, на сколько это нужно, чтобы дополнить изображеніе личности Лессинга. О самомъ предметѣ его теологической полемики мы не будемъ говорить ничего, и разскажемъ только чисто біографическіе факты, и то какъ можно короче.

Издавая различныя рукописи, найденныя имъ въ Вольфенбюттельской библіотекъ, Лессингъ, между прочимъ, началъ печатать отрывки изъ сочиненія, авторъ котораго быль въ то время неизвъстенъ и которое имъло предметомъ своимъ евангельскую и отчасти Ветхозавътную исторію. Сочиненіе это, принадлежавшее, какъ впоследствии открылось, известному натуралисту и врачу Реймарусу, жившему въ Гамбургв и умершему около того времени, когда Лессингъ поселился въ Гамбургъ, было написано въ духъ англійскихъ деистовъ XVII въка, враждебномъ христіанству. Написано оно было съ такою ученостью, что далеко превосходило въ научномъ отношении не только поверхностныя теологическия сочинения Вольтера, но и англійскихъ деистовъ, изъ которыхъ заимствовалъ свою ученость Вольтерь. Въ рукописи, оно извъстно было нъсколькимъ лицамъ и распространялось все болве и болве. Англійскій деизмъ, проникавшій въ Германію черезъ протестантскихъ богослововь, и французскій вольтеріанизмь, находившій себ'в послівдователей и въ Германіи, какъ повсюду, между людьми свётскаго образованія, приготовляли читавшихъ эту рукопись къ тому, чтобы безусловно соглашаться съ мненіями автора. Протестантскіе и католическіе богословы, остававшіеся верными символамъ своихъ исповеданій, писали множество возраженій противъ Вольтера и англійскихъ деистовъ, но рукописи Реймаруса они не касались и потому человъкъ, знавшій ее, естественно приходиль къ мысли, что мевнія, изложенныя Реймарусомъ съ большею ученою силою и полнотою, нежели какимъ нибудь другимъ противникомъ христіанства, остаются неопровержимы: «Вы опровергаете Вольтера и Толанда, думаль онь:--что жь изъ этого? есть другое сочинение, гораздо болве ученое, нежели Вольтеръ и Толандъ, и, ввроятно оно неопровержимо, если вы молчите о немъ».

Лессингъ думалъ вовсе не такъ. Онъ вовсе не считалъ мивнія Реймаруса справедливыми, -- издавая отрывки изъ его рукописи, онъ снабжаль каждый отрывовь предисловіемь, въ которомь подробнообъяснять въ чемъ и какъ ошибался Реймарусъ, и доказывалъ, что на предметь разъисканій Реймаруса надобно смотрёть совершенно съ иной точки эрвнія, нежели какъ смотрвли деисты. Зачвиъ же онъ издаваль рукопись, выводы которой самъ признаваль ошибочными?-у него были на то свои причины. Умственная жизнь его націи готовилась отъ литературных вопросовъ перейти къ ученымъ, и изъ нихъ прежде всего и больше всего заняться теологическими (дъйствительно, во всей послъдующей нъмецкой философіи важнейшая сторона-та, которая имееть отношение къ теологи). Натура Лессинта требовала, чтобы онъ приготовилъ націю къ этому новому періоду, подаль бы свой решительный голось, который бы и очистиль поприще для следующихъ трудовъ, и даль бы имъ точное направленіе. Въ протестантской Германіи приготовлялось развитіе философіи; эта философія должна была им'єть главнымъ предметомъ своимъ теологические вопросы, --и Лессингъ началъ говорить о протестантской теологіи, въ которой были тогда дві враждебныя школы: старо-лютеранская и раціоналистская.

Какъ ученый, Лессингъ не былъ доволенъ мивніями лютеранскихъ богослововъ, слепо повторявшихъ каждое слово Лютера и не обращавшихъ вниманія на успёхи наукъ и цивилизаціи; ему казалось, что они своею закоснелостью въ понятіяхъ, которыхъ не сталь бы защищать самь Лютерь, если бы жиль во второй половинъ XVIII въка, вредятъ и дълу протестанства и успъхамъ нъмецкаго развитія. Еще менте быль онь доволень Вольтеромь, его учителями, англійскими деистами и последователями Вольтера и англійскихъ деистовъ въ Германіи. Ему казалось, что мивнія этихъ нововводителей не последовательны, и не могуть выдержать строгой научной критики. Какъ человъкъ жизни, онъ, кромъ ученыхъ побужденій не соглашаться ни съ протестантскими богословами, повторявшими Лютера, ни съ нововводителями, имълъ и другія, более живыя причины желать, чтобы оба эти враждующія направленія уступили м'єсто другому, бол'є основательному взгляду, который господствоваль въ первобытной христіанской церкви.

Реформа Лютера, принесшая много пользы и католической и протестантской Европъ, имъла также и свои вредныя слъдствія для историческаго развитія, которыя особенно тяжело легли на Германію, и въ XVII и XVIII въкахъ оказывались уже чрезвычайно пагубными для благосостоянія нізмецкаго народа. Реформа Лютера разделила Германію на две половины, католическую и протестантскую; этимъ враждебнымъ разделеніемъ отнималась всякая возможность національнаго единодушія; оно было сильнейшимъ препятствіемъ къ національному единству. Съ этой точки зрвнія, об'в партін протестантской теологін, о которыхъ мы говорили, равно были виноваты: объ онъ одинаково были враждебны католичеству, объ одинаково отталкивали пристрастными насмёшками надъ католичествомъ почти половину нъмецкаго народа отъ сочувствія образованнымъ стремленіямъ другой половины, потому что при всякомъ случав кололи католикамъ глаза такъ называвшимся на ихъ языкв «католическимъ суевъріемъ». Цивилизація и національное единство представлялись немецкимъ католикамъ чемъ-то враждебнымъ, потому что представлялись чёмъ-то неразрывно связаннымъ съ лютеранскими предубъжденіями противъ нихъ самихъ.

Лессингъ решился провозгласить и доказать, что долженъ быть другой взглядъ, при которомъ исчезла бы вражда между католиками и протестантами. Такъ какъ непосредственно онъ имелъ дело съ протестантскою половиною Германіи, то онъ занялся преимущественно протестантскими предубежденіями, и предпринялъ дело, которое смутило своимъ величіемъ обе протестантскія партіи и послужило залогомъ примиренію католиковъ съ протестантами, и основаніемъ новой науки.

Темъ протестантскимъ теологамъ, которые закоснели во мивніяхъ Лютера, онъ началъ говорить: «Оружіемъ Лютера вы можете бороться только съ католиками; но есть у васъ другіе, гораздо болев сильные противники, отъ которыхъ не защитить васъ Лютеръ; эти противники—деисты. Вы думаете, что успешно опровергаете ихъ нападенія доказательствами, которыя были удовлетворительны для борьбы съ католиками. Вы ошибаетесь;—напротивъ, вы отдаетесь имъ въ руки беззащитными: не послужатъ вамъ въ пользу аргументы, годные противъ католиковъ—напротивъ, всё эти аргументы обращаются противъ васъ деистами. Вы уже безсильны противъ Толанда и Вольтера, противъ Михаэлиса и Землера, и эта битва, ко-

торой вы теперь уже не можете выдерживать, еще ничтожна въ сравненіи съ тіми, которыя вскорів должны начаться противъ вась: теперь вы имъете дело еще только съ одними застрельщиками, съ одною легкою конницею-за нею двинутся на васъ плотныя колонны строевой пехоты съ тяжелою артиллеріею-безсильные при всемъ напряженіи вашихъ силь въ авангардномъ ділів, какъ устоите вы въ генеральной битвъ? Вы воображаете, что всъ силы противниковъ выставлены противъ васъ Вольтеромъ, Толандомъ и Михаелисомъ: нъть, деизмъ выведеть противъ вась людей, гераздо болъе сильныхъ и искусныхъ. Вы думаете, что мои предсказанія — робость или обманъ?-вотъ вамъ доказательство, что это будетъ такъ: я издаю отрывки изъ рукописи, которая ходить по рукамъ въ протестанской Германіи, -- рукописи, о которой до сихъ поръ вы не хотвли подумать: сравните эти отрывки съ темъ, что казалось вамъ до сихъ поръ замъчательнъйшимъ между сочиненіями деистовъ, --- вы увидите, что передъ этимъ неизвестнымъ авторомъ ея Вольтеръ не более, какъ шаловливый школьникъ, Михаэлисъ-не более, какъ трусливый заика. Лисица и волкъ были сильнёе васъ-трудно ли будетъ растерзать васъ льву? Но и онъ-не последнее слово, не сильнейшій ратникъ деизма. Вы дождетесь того, что новыя покольнія воспитають еще сильнъйшихъ. Одна возможность вамъ побъдить этихъ новыхъ противниковъ лютеранства: мнвній Лютера не защитить вамъ противъ деистовъ; попробуйте защищать ученіе Христа, проповъданное рыбакамъ и младенцамъ, и это ученіе защитить васъ. Оно недоступно никакимъ насмъшкамъ остроумія, никакимъ возраженіямъ учености. Оружіе враговъ опустится передъ ученіемъ Христа, и они назовуть васъ братьями своими, и благословять васъ. Но помните, что «тою мітрою, которою мітрите вы, будеть возмітьрено вамъ», по ученію Христа: то, что деисты возстають противъ васъ, есть только следствіе того, что вы сами возстаете противъ всъхъ христіанъ, не признающихъ, подобно вамъ, каждое слово Лютера за непогрешительное, -- напримерь, противь католиковь. Вы ругаетесь надъ ними-и деисты поругались и поругаются надъ вами; вы устремляете всв силы ваши на то, чтобъ уничтожить ихъ-и деисты уничтожають вась. Вы поднимаете ножь противь собратій вашихъ-помните же, что Христосъ сказалъ: «всякій, поднимающій ножъ, ножомъ погибнетъ». Если вы хотите, чтобы проклятія противъ васъ обратились въ благословленія, сами «благословляйте, а не кляните» — благословлять, а не клясть училъ Христосъ.

«Оставленія вражды противъ католиковъ требуеть отъ васъ блаторазуміе, говорилъ Лессингъ протестанскимъ богословамъ оставшимся върными ученію Лютера, — требуеть ученіе Христа; когда вы
проникнетесь духомъ этого ученія, вы увидите, что того же требуютъ
истина и справедливость; вы все толкуете о томъ, что католики
върять папъ, а вы не върите папъ, вы върите Лютеру, а они не
върять Лютеру, и забываете, что вы одинаково съ ними върите
Христу. До сихъ поръ, вы обращали свое вниманіе на черты различія между исповъданіями, оставляя въ тъни черты единства, — а
послъднія гораздо многочисленнъе и драгоцъннъе первыхъ и для
васъ и для нихъ. Христосъ не спрашивалъ пришедшаго къ нему
воношу, саддукейскую или фарисейскую секту считаеть онъ справедливою, — онъ требовалъ отъ него любви къ Богу и ближнему, —
а въ признаніи этихъ заповъдей вы совершенно сойдетесь съ католиками».

Такъ говорилъ онъ одной партіи протестантскихъ богослововъ, вакоснъвшей во мивніяхъ Лютера. Противной партіи, партіи депстовъ и раціоналистовъ, онъ говориль: «Вы торжествуете побъду надъ вашими старо-лютеранскими и језунтскими противниками,-но победа эта достается вамъ легко, слишкомъ легко для того, чтобы можно было вамъ торжествовать ее, чтобы можно было положиться на действительность ея. Вы видите, что укрепленія, воздвигнутыя противъ васъ, разрушаются отъ мелкой дроби, пускаемой въ нихъ вашимъ Вольтеромъ, отъ камней, бросаемыхъ изъ-за угла вашимъ Михаэлисомъ; но въдь эти старо-лютеранскіе и ісзунтскіе форты воздвигнуты недавно, людьми, плохо знающими свое дёло, отсталыми по наукъ, узкими фанатиками по сердцу; а за ними скрывается древній вамокъ, котораго строители не были похожи на вашихъ жалкихъ противниковъ, -- этотъ замокъ до сихъ поръ оставался вив вашихъ выстреловъ; его мирные жители-все те милліоны христіанъ, которые не знають ни по еврейски, ни даже по латыни, эти младенцы душою, которыхъ признаваль Христосъ истинными детьми сво--ими, --они и не слышали грома вашихъ битвъ, они не только непобъждены вами, они даже не знають вась-рано же вамъ торжествовать победу. Нападая на отсталыя мненія нескольких старолютеранскихъ пасторовъ или іезунтовъ, вы имфете дело только съ

ними, а не съ религіею Христа-эту религію, живущую не въ лютеровомъ катехизисъ и не въ буллахъ папы, а въ сердцахъ мильоновъ людей, не такъ легко поколебать, какъ вы воображаете: она глубже и тверже вашихъ теорій. Но вы не вірите тому, что она ближе къ человъческому сердцу и прочиве вашихъ теорій, какъ не върять и старо-лютеранскіе пасторы, что ихъ мивнія могуть подвергнуться въ близкомъ будушемъ нападеніямъ людей, болье сильныхъ, нежели вы? – Я вамъ докажу, что ваши теоріи и аргументы безсильны противъ религіознаго чувства, и докажу на томъ же самомъ сочинении, которое выставляю для усмирения гордости вашихъпротивниковъ. Никогда еще ваша партія не производила ничего столь глубокомысленнаго и ученаго, какъ это сочинение, -- и никто изъ насъ не въ состояни изложить въ такой строгой формъ такихъ сильныхъ доказательствъ въ пользу вашей теоріи. При той методъ обороны, которой держатся донынъ ваши противники, они сокрушаются подъ бременемъ неотразимыхъ ударовъ, -- я покажу вамъ, что эти удары не только не опасны для религіи Христа, что они даже не касаются ея. Вы увърены, что на вашей сторонъ наука и логика, -я докажу, что логики нёть въ вашей теоріи, что наука, на которую вы, по вашимъ словамъ, опираетесь, свидетельствуетъ противъ васъ, что вы или не умвете или боитесь узнать истину. Я беру сочиненіе, которое далеко оставляеть за собою всв другія ваши сочиненія силою мысли и знанія, —и я докажу, что ни одинъ выводъ этого сочиненія не выдерживаетъ строгой научной критики, что основной взглядь его противоречить требованіямь человъческаго разума, а толкованія фактовь, на которыя опирается этоть взглядь, противорёчать историческимь аксіомамь.

«На этомъ рѣшительномъ испытаніи вы увидите, что если вы легко можете уничтожать нѣсколькихъ отсталыхъ отъ науки педантовъ изъ старо-лютеранскихъ пасторовъ или изъ ісзуитскихъ хитрецовъ, то противъ религіознаго чувства мильоновъ вы безсильны и даже неправы, какъ неправы передъ логикою и наукою, что система вашей борьбы не ведетъ васъ къ торжеству. Вы увидите, что благоразуміе требуетъ, чтобы вы оставили эту систему. Но сътёмъ вмѣстѣ вы увидите, что того же требуетъ отъ васъ и справедливость. Вы теперь, по чувствамъ своимъ относительно религіи, раздѣляетесь на два разряда: одни изъ васъ, какъ Землеръ, хотятъ передѣлать протестантство сообразно съ своими

теоріями, другіе, какъ англійскіе деисты, враждують къ религіи. Первые убъдятся, что на сколько ихъ поправки ученъе отсталыхъ отъ науки мивній, старопротестантскихъ пасторовъ и іезуитовъ, на столько же ученіе религіи, испов'йдуемой христіанами, возвышеннье и почтенные этихъ нелогическихъ поправокъ, и они потеряють всякую охоту передълывать его. Вторые убъдятся, что враждебныя чувства, возбуждаемыя въ нихъ узкими или фанатическими мивніями старо-лютеранскихъ пасторовъ и іезуитовъ, нимало не возбуждаются тою религіею мильоновъ христіанъ, невредимость которой отъ всёхъ деистическихъ и раціоналистскихъ нападеній докажу я, а что, напротивъ, эта религія въ каждомъ безпристрастномъ и любящемъ людей человъкъ необходимо возбуждаетъ уваженіе и любовь къ себъ, какъ скоро онъ пойметь духъ ея; и они потеряють всякую охоту враждовать противь нея, - напротивь, будуть чувствовать влечение къ ней, и въ исповедующихъ ее увидятъ братьевъ своихъ».

Чтобы дать читателямъ хотя небольше примъры знаменитыхъ статей Лессинга объ этомъ предметъ, — статей, съ которыми по силъ мысли и изложенія могутъ быть сравнены развъ «Провинціальныя письма» Паскаля, мы приведемъ по отрывку изъ двухъ его листковъ. Одинъ, называющійся «Завъщаніе Іоанна», написанъ въ отвътъ на замъчанія Шуманна и направленъ противъ старолютеранскихъ теологовъ, забывавшихъ о христіанской любви въ своей ревности сохранить неприкосновеннымъ каждое слово Лютера. Отрывокъ, приводимый нами изъ другаго листка, озаглавленнаго «Парабола, съ маленькою просьбою и, на случай надобности, прощальнымъ письмомъ къ г. пастору Геце»— направленъ главнымъ образомъ противъ раціоналистовъ, желавшихъ передълывать ученіе церкви сообразно своимъ личнымъ теоріямъ.

ЗАВЪЩАНІЕ ІОАННА.

—qui in pectus Domini recubuit et de purissimo fonte hausit rivilum doctrinarum,

(—который на персяхъ Господа возлежалъ и изъ чистейшаго источника почерпнулъ потокъ ученій.

Влаж. 1 вронимъ.

Равговоръ.

R H d'HO

О н ъ. Очень вы затруднялись этимъ листомъ *), но это и видно по самому листу.

Я. Неужели?

Онъ. Прежде вы писали яснве.

Я. Въ наивеличайшей ясности была для меня всегда величайшая красота.

Онъ. Нѣтъ, я вижу, что вы начинаете склоняться на нашу сторону ¹), только вы хотите отдѣлаться намеками на вещи, которыя извѣстны развѣ одному изъ сотни читателей, да и вамъ стали извѣстны, быть можетъ, только за день или за два ²).

^{*)} Предъидущею полемическою брошюрою по этому же спору; она называется «О доказательства духа и силы. Онь, т. е. Шуманнъ, воображаетъ, что поставилъ Лессинга въ затрудительное положеніе, и что Лессингу было тяжело разрушить его возраженія.

в. 4) Статья Шуманна противъ Лессинга была написана умъреннымъ тономъ; потому и первый отвътъ Лессинга былъ очень деликатенъ; нъкоторые вообразили, что эта мягкость тона — слъдствіе слабости, и въ похвалахъ, дълаемыхъ Лессингомъ умъренности своего противника, увидъли уступки его мявніямъ.

²⁾ Омъ намекаетъ на то, что Лессингъ щегодяетъ ученостью, которую собираетъ наскоро изъ словарей и т. п. справочныхъ книгъ. Со временъ Ланге, противники Лессинга любили твердить, что ученость Лессинга заимствована вся изъ «Словара» Бэля и т. д. Въ самомъ дѣлѣ, тогдашнимъ спеціалистамъ, не занимавшимся ни чѣмъ, кромѣ своей спеціальной науки, очень трудно было понять, какимъ образомъ человѣкъ, писавшій о двадцати предметахъ, въ каждомъ предметъ обладаетъ знаніями, чрезвычайно рѣдкими и въ спеціалистѣ, который всю жизнь трудился надъ однимъ предметомъ. Въ наше время, когда педантство ослабѣло, это понимается легче, и никто не скажетъ о Гумбольдтѣ или лордѣ Брумѣ, что «они наскоро набираются своей мнимой ученоств».

- Я. Напримвръ?
- Онъ. Не касаюсь вашей учености.
- Я. Напримфръ?
- Онъ. Та загадка, которою оканчивается вашъ листокъ ваше «Завъщаніе Іоанна» ³) я напрасно искалъ его у себя въ Грабіусъ и Фабриціусъ ⁴).
 - Я. Да разв'в кром'в книгъ н'втъ ничего на св'вт'в? 5).
 - Онъ. Такъ не книга это завъщание Іоанна? Что жь это такое?
- Я. Послѣдняя воля Іоанна; послѣднія замѣчательныя, много разъ повторенныя слова умирающаго Іоанна, —вѣдь это тоже можеть называться завѣщаніемъ? Можеть?

Онъ. Конечно, можетъ.—Но теперь ужь мив не такъ это любопытно.—А, впрочемъ, что жь это за слова? Я мало знакомъ съ Абдією ⁶), и тому подобными сочиненіями, откуда они, конечно, взяты.

Я. Нётъ, они взяты у писателя, менёе подозрительнаго. Іеронимъ сохранилъ ихъ намъ въ своемъ толкованіи на посланіе Апо-

в) Предшествовавшая брошюра Лессинга, о которой ведется рёчь, закиючается словами: «Оканчиваю, желая: да соединить Завёщаніе Іоанна всёхъ разділенныхъ!»

⁴⁾ Грабіусъ и Фабриціусъ—авторы библіографических сочиненій. Фабриціусовы «Bibliotheca Græca» и «Bibliotheca latina» служать до сихъ поръсправочными книгами, содержа поливищіе перечни греческих и латинских авторовь и сочиненій.

⁵⁾ Чтобы понять вронію этого оборота, надобно вспомнить, что, по ученію строгихъ мютеранъ, церковное преданіе и ученіе церкви не имветь никакой важности. Они не хотять знать ничего, кромі Библіи. Католическая церковь, вірная въ этомъ случай ученію первобытной церкви (сохранившемуся въ Православной церкви), признавая всю важность Библіи, съ тімъ вмісті говорить, что христіанская религія основывается не на одной только Вибліи, а «какъ на Библіи, такъ и на ученіи церкви и преданіи церковномъ». Лессингъ говориль, что въ этомъ случай ученіе Католической (и Греческой) церкви вірніе исторической истинь и полиже односторонняго протестантскаго ученія.

⁶⁾ Одна изъ апокрифическихъ книгъ Новаго Завѣта, которая разсказываетъ апостольскую исторію и приписывается Абдій или Авдію, первому епископу вавилонскому. Извѣстно, что и Греческая, и Католическая, и Протестантская перкви признають подобныя книги не заслуживающими вѣры, какъ подложныя и еретическія. Она намекаетъ, что Лессингъ любитъ еретиковъ и самъ еретикъ.

стола Павла къ Галатамъ. Поищите ихъ тамъ. Я не полагаю, чтобъ они вамъ понравились *).

Онъ. Почему знать?-Скажите же, что это за слова.

Я. На память? Съ обстоятельствами, которыя мив теперь памятны или важутся памятными?

Онъ. Разумъется.

Я. Іоаннъ, тотъ благой Іоаннъ, который ни хотвлъ никогда разлучаться съ паствой, собранной имъ въ Эфесь, которому эта паства казалась достаточно великимъ поприщемъ его поучительныхъ чудесъ и его чудотворнаго ученія,—этотъ Іоаннъ сталъ старъ, такъ старъ...

Онъ. Что благочестивое простодущіе думало, что онъ не ум-

Я. Хотя каждый съ каждымъ днемъ видёлъ, что онъ все более приближается къ смерти.

Онъ. Суевъріе иногда слишкомъ много, иногда слишкомъ мало въритъ чувствамъ. Ужь и тогда, когда Іоаннъ умеръ, суевъріе все полагало, что онъ не можетъ умереть, что онъ спитъ, а не умеръ.

Я. Какъ близко иногда подходить суевъріе къ истинъ!

Онъ. Продолжайте разсказъ. Мив тажело слышать, что вы заступаетесь за суеввріе **).

Я. Неохотно и съ радостью, какъ другь покидаеть объятія друга, чтобы поспешить въ объятія своей подруги, постепенно, но быстро, видимо разлучалась чистая душа Іоанна отъ столь же чи-

^{*)} Намекъ, который объяснится, 'когда будуть сказаны эти слова Іоанна Богослова. Читатель вспомнять, что, забывая для догматики о христіанской любви, лютеранскіе богословы должны были чрезвычайно разгивваться (и двйствительно чрезвычайно разгиввались), когда Лессингъ сталь напоминать имъ, какое важное мъсто въ религіи Христа должна занимать христіанская любовь — за это особенно и стали осыпать его проклятіями объ протестантскія партіи.

^{**)} Старо-лютеранскіе богословы, а тімъ боліве раціоналисты, находили, что Лессингь отдаеть суевірію предпочтеніе передъ просвіщеніемъ, доказывая, что нівкоторые католическіе догматы, отвергнутые протестантствомъ, принадлежали первобытной перкви (они сохранились въ Греческой церкви) и содержать въ себі истины, боліе глубокія, нежели какія содержатся въ догматахъ, которыми замінило протестантство. Наприміръ, Лессингь говориль это о томъ догматі первобытной церкви, что христіанская религія основана не на одной только Библіи, но съ тімъ вмісті и на преданіи церковномъ.

стаго, но изнемогавшаго тъла. Скоро его ученики едва могли но-

И, однако же, Іоанну не хотелось пропустить ни одного собранія, и не пропускаль онь ни одного собранія паствы, не сказавъ назиданія пастве, которой легче было бы лишиться насущнаго хлеба, нежели этого назиданія.

Онъ. Въ которомъ, вероятно, часто недоставало искусственной обработки.

- Я. А вы любите искусственную обработку *).
- Онъ. Смотря по тому, какова она.
- Я. Навѣрное, назиданіе Іоанна никогда не имѣло искусственной обработки, потому, что оно все шло отъ сердца; потому, что оно всегда было просто и кратко **), и съ каждымъ днемъ становилось проще и короче, до того, что наконецъ сократилось въ нѣсколько словъ.

Онъ. Какихъ же.

- Я. «Милыя діти мои, любите другь друга!»
- Онъ. Немного словъ, но хорошія слова.
- Я. Дъйствительно, хорошія, по вашему митнію?—Но и хорошее, и наилучшее скоро утомляеть, когда становится ежедневнымъ. Въ первомъ собраніи паствы, когда Іоаннъ не мого сказать ничего больше, какъ: «милыя дъти мои, любите другъ друга!»—слова эти чрезвычайно понравились паствъ. Они еще понравились и во второмъ, и въ третьемъ, и въ четвертомъ собраніи, потому что паства говорила: слабый старецъ не можето сказать ничего больше этихъ словъ. Но и когда старецъ отъ времени до времени чувствовалъ себя довольно бодрымъ, и, однакожь, не говорилъ ничего больше этихъ словъ и все отпускалъ свою паству только съ назиданіемъ: «милыя дъти мои, любите другъ друга!»—когда увидъли, что старецъ не то, чтобы только не могъ сказать ничего больше, что онъ преднамъренно и не хочетъ сказать ничего больше этихъ словъ,—

^{*)} Ироническій намекъ на то, что протестантскіе богословы обработывали догматику по систем'в очень искусственной, и ставя въ томъ ведичайшую заслугу, забывали оживить свои системы духомъ христіанской любви.

^{**)} Опять намекь на то, что не слишкомъ върны духу первобытной церкви протестантскіе богословы, излагающіе систему въры въ громадныхъ фоліантахъ, наполненныхъ страшною ученостью, такъ дёлаютъ въроученіе доступнымъ только для спеціальныхъ ученыхъ.

то эти слова: «милыя дёти мои, любите другъ друга!» показались слабыми, малозначительными. Братія и ученики стали скучать и наконецъ осм'ялились спросить благаго старца: «Но, учитель, почему же ты вёчно повторяешь одно и тоже?

Онъ. Ну, чтожь Іоаннъ?

Я. Іоаннъ отвъчалъ: «Потому, что это повелълъ Господь; потому, что этого одного, если оно исполняется, довольно,—и достаточно».

Онъ. Такъ воть что! Такъ воть въ чемъ ваше Завѣщаніе Іоанна?

Я. Да.

Онъ. Гм! гм!

Я. «Милыя дети мои, любите другь друга!»

Онъ. Да, да!

Я. Это «Завъщание Іоанна» поставиль нъкогда символомъ своего учения Нъкто, Который быль соль земли.

Онъ. Такъ всегда отговариваются отъ бёды нёкоторые господа!...

Hieronymus in Epist. ad Galatas, cap. 6.

Beatus Ioannes Evangelista, cum Ephesi moraretur usque ad ultimam senectutem, et vix inter discipulorum manus ad Ecclesiam deferretur, nec posset in plura vocem verba contexere, nihil aliud per singulas solebat proferre collectas, nisi hoc: Filioli diligite alterutrum. Tandem discipuli et fratres, taedio affecti, qu od eadem semper audirent, dixerunt: magister, quare semper hoc loqueris? Qui respondit dignam Ioanne sententiam: Quia praeceptum Domini est, et si solum fiat, sufficit *).

^{*)} Влаженный Іоаннъ евангелистъ дожилъ въ Эфесѣ до глубочайшей старости, такъ что ученики едва могли на рукахъ приносить его въ церковь, и, не имъя силы сказать болъе долгой ръчи, онъ въ собраніи паствы каждый разъ ничего не говорилъ, кромъ слъдующихъ словъ: «милыя дъти мои, любите другъ друга!» Наконецъ, ученики и братія, наскучивъ тъмъ, что въчно слышалй одно и тоже, сказали: «Учитель, почему каждый разъ говоришь ты одно и тоже?»—На то онъ далъ имъ отвътъ, достойный Іоанна: «Потому, что это заповъдь Господа, и если ее одну исполнять, то и довольно».

ПАРАБОЛА.

«Мудрый и дѣятельный царь большаго, большаго государства имѣлъ въ своей столицѣ дворецъ неизмѣримаго объема, совершенно особенной архитектуры.

«Неизмѣримъ былъ объемъ, потому что царь собралъ во дворцѣ вокругъ себя всѣхъ, которые были помощниками или орудіями его правленія.

«Странна была архитектура, потому что противоръчила, можно сказать, всъмъ принятымъ правиламъ; но она нравилась и соотвътствовала цъли.

«Она нравилась,—преимущественно твмъ, что возбуждала удивленіе, которое внушають простота и величіе, когда кажутся скорве презрваними богатство и украшенія, нежели не имвющими ихъ.

«Она соотвітствовала ціли, —прочностью и удобствомъ. Прошло много літь, а весь дворець стояль все въ той же чистотів и цілости, въ какой довершень быль строителемъ, снаружи немного непонятный, но внутри повсюду світлый и связный.

«Всякій, кто воображаль себя знатокомь въ архитектурѣ, особенно недоволенъ быль наружными стѣнами дворца, которыя имѣли мало оконъ, разбросанныхъ здѣсь и тамъ, большихъ и маленькихъ, круглыхъ и четырехъ-угольныхъ, но тѣмъ больше за то имѣли дверей и воротъ различной формы и величины.

«Непонятно этимъ людямъ было, какъ черезъ столь малочисленныя окна въ столь многочисленные покои можетъ проходить достаточно свъта. Что главнъйшіе изъ этихъ покоевъ получали свой свъть сверху, не приходило почти никому въ голову.

«Они не понимали, зачёмъ нужно столько и столь разнородныхъ входовъ, когда гораздо красиве было бы сделать большой одинъ порталь съ каждой стороны,—онъ, казалось имъ, удовлетворилъ бы потребности. Потому что почти никому не приходило въ голову, что черезъ многочисленные маленькие входы самымъ короткимъ и безошибочнымъ путемъ каждый, призываемый во дворецъ, можетъ приходить туда, где онъ надобенъ.

«И, такимъ образомъ, возникли между мнимыми знатоками многочисленные споры, — споры эти обыкновенно велись жарче всего тёми, которые всего менёе имёли случая ознакомиться съ внутренностью дворца. «И было одно обстоятельство, о которомъ на первый взглядъ можно было подумать, что оно необходимо очень облегчить и сократить споры, но которое именно и запутывало ихъ больше всего, которое именно давало имъ богатъйшую пищу для упорнъйшаго продолженія. Именно, полагали, что есть различные древніе планы, которые приписывались первымъ строителямъ дворца; но эти планы оказались покрыты словами и знаками, языкъ и значеніе которыхъ было почти совершенно потеряно.

«Потому каждый объясняль эти слова и знаки по собственному желанію. Потому каждый, изъ этихъ древнихъ плановъ, составляль новый, какой ему хотълось, и неръдко тотъ или другой составитель такъ увлекался своимъ новымъ планомъ, что не только самъ считаль его непреложнымъ, но то уговаривалъ, то принуждалъ и другихъ считать его непреложнымъ.

«Только немногіе говорили: «какое намъ дѣло до вашихъ плановъ?—они всѣ для насъ равны. Довольно того, что мы каждую минуту убѣждаемся опытомъ, что преблагою мудростью исполненъ весь дворецъ, и что изъ него разливается по всей странѣ красота, порядокъ и благоденствіе.

«Часто плохо приходилось этимъ немногимъ! Потому что когда, улыбаясь, они начинали нъсколько ближе изследовать тотъ или другой изъ отдельныхъ плановъ, то люди, считавшіе этотъ планъ непреложнымъ, съ воплемъ объявляли ихъ поджигателями и разворителями дворца.

«Но они не останавливались этими криками, именно черезъ то становились достойны причисленія къ людямъ, трудившимся внутри дворца, и не имѣвшимъ ни времени, ни охоты вмѣшиваться въ распри, которыя и не касались ихъ.

«Однажды, когда споръ о планахъ не столько былъ примиренъ, сколько ослабленъ утомленіемъ,—однажды около полуночи, раздался внезапно голосъ сторожей: пожаръ! пожаръ во дворцв!

«Что же тогда произошло? Каждый вскочиль тогда съ постели, и какъ будто пожаръ не во дворцв, а въ собственномъ его домв, схватиль то, что казалось ему драгоцвинвишимъ изъ своего достоянія, — свой планъ. «Надобно только спасти планъ! — думалъ онъ: — если дворецъ и сгоритъ, то онъ тутъ, какъ есть, сохранится на бумагъ!»

«И каждый выбъжаль съ своимъ планомъ на улицу, и тамъ,

прежде того, нежели оказывать помощь дворцу, одинъ сталь покавывать другому на своемъ планѣ, въ какомъ мѣстѣ, по его соображенію, горитъ дворецъ. «Посмотри, сосѣдъ, —вотъ гдѣ горитъ онъ! Отсюда —вотъ лучше всего гасить огонь?»—«Нѣтъ, сосѣдъ, вѣрнѣе сказать, что вотъ—здѣсь горитъ онъ!»

Таковъ былъ духъ и характеръ борьбы, начатой Лессингомъ въ одно и то же время противъ закоснёлыхъ старо-лютеранскихъ пасторовъ, считавшихъ въчною истиною каждое слово Лютера, и противъ нелогическихъ нововводителей, вздумавшихъ перетолковывать догматы и факты религіи по своему личному соображенію. Теперь надобно сказать хотя два-три слова о томъ, какъ началась и развилась эта борьба, и къ какимъ результатамъ привела она нъмецкую напію.

По привычкъ своей, всегда начинать съ какого нибудь частнаго случая, съ какого нибудь даннаго факта развитіе общихъ мыслей, Лессингъ воспользовался сочинениемъ Реймаруса, какъ поводомъ для изложенія своихъ мыслей о двухъ боровшихся въ лютеранствъ партіяхъ. Въ своихъ «Матеріалахъ для исторіи и литературы изъ сокровищъ Вольфенбюттельской библіотеки» (Beiträge zur Geschichte und Literatur), онъ, въ числе многихъ другихъ найденныхъ имъ въ этой библіотек в сочиненій, сталь печатать и отрывки изъ рукописи Реймаруса, къ каждому отрывку прибавляя свое предисловіе, какъ то делаль при каждомъ сочиненіи, печатаемомъ въ этихъ «Матеріалахъ». Имени автора рукописи онъ не сообщилъ, не имъя на то разрешенія отъ детей, потому и самое сочиненіе Реймаруса осталось извёстно подъ именемъ «Вольфенбюттельской рукописи» или «Рукописи Вольфенбюттельскаго неизвестнаго». Первый отрывокъ быль напечатанъ въ третьемъ томв «Матеріаловъ», въ 1774 году. Онъ не возбудилъ никакихъ воплей противъ Лессинга, потому что никто еще не поняль цёли, которую имёль въ виду Лессингъ. Изданіе отрывка изъ сочиненія, написаннаго въ духів, враждебномъ христіанству, не могло никого удивить въ Германіи, давно уже познакомившейся съ сочиненіями Бэля, Вольтера, энциклопедистовъ, и ихъ немецкихъ последователей. Притомъ, даже те изъ лютеранскихъ теологовъ, которые были закоснелыми фанатиками лютеранства, были уже на столько благоразумны, что понимали,

что сочиненія, подобныя Реймарусу, теряють часть своей опасности для ихъ ученія, когда издаются публично, вмівсто того, чтобы распространяться въ рукописяхъ: тогда они становятся доступны опроверженіямъ, которымъ недоступны, пока таятся подъ секретомъ. Они помнили примъръ Іеронима, на котораго впослъдствіи сосладся Лессингъ, и который даже перевелъ самъ на латинскій языкъ сочиненіе Оригена «Peri archon», и доказаль, что это дело полезно лня истинной религіи. «Когда Іеронимъ перевель съ греческаго чрезвычайно вредное, по его собственному мивнію, истинной христіанской религіи сочиненіе Оригена Peri archon, — зам'ятьте, перевель! -а перевесть начто болье, нежели просто издать (говориль Лессингъ, защищаясь противъ Геце), -- когда онъ перевелъ это опасное сочинение съ тою целью, чтобы охранить его отъ переправокъ и искаженій другаго переводчика, Руфина, то есть, чтобы сообщить это сочинение латинскому міру именно во всей его силь и во всей его искусительности, -- и когда ему за то нъкоторые люди стали дълать упреки, будто бы онъ взяль преступный соблазнь на свою душу-каковъ быль тогда отвётъ Ieponuma?-O impudentiam singularem! Accusant medicum, quod venena prodiderit. — «О, удивительное безстыдство! они упрекають врача за то, что онъ обнаружиль тайный ядь!»—Зная этоть примърь, многіе изъ ревностивйшихъ защитниковъ стараго лютеранства, которому была особенна враждебна «Вольфенбюттельская рукопись», даже выражали свою признательность Лессингу за то, что онъ началь знакомить ихъ съ этимъ сочиненіемъ.

Но чувства эти совершенно измѣнились, когда (1777) въ 4-мъ томъ «Матеріаловъ» Лессингъ издалъ еще пять отрывковъ изъ рукописи Реймаруса, съ общирнымъ предисловіемъ, въ которомъ болье обнаружились мнѣнія Лессинга. Объ протестантскія партіи враждовавшія между собою, поднялись противъ него.

Прежде всего и съ особенною жестокостью возстали старо-лютеранскіе ревнители, и во главѣ ихъ Гёце, имя котораго пріобрѣло несчастное безсмертіе, благодаря его излишней охотѣ вступать въ неровную борьбу. Главнымъ содержаніемъ предисловій Лессинга къ издаваемымъ отрывкамъ было строгое разсмотрѣніе нападеній Реймаруса на христіанство, съ цѣлью доказать, что всѣ эти возраженія не могутъ поколебать той вѣры, которая живетъ въ сердцахъ народовъ,—и, однако же, лютеранскіе ревнители возмутились не жестокими нападеніями Реймаруса на христіанство, а тіми опроверженіями, которыя противопоставляеть ему Лессингь, доказывая непоколебимость религіи съ той точки зрівнія, которую указали мы выше. Нападать на защитника жесточе, нежели на врага—это казалось безпристрастнымь людямь такъ неестественно, что они предполагали безумными или недобросов'єстными этихъ фанатиковъ лютеранства. Однако же, на самомъ ділів, эти фанатики дійствовали очень логично: рукопись нападала на христіанство, — это не касалось ихъ ближайшимъ образомъ; но предисловіе къ рукописи, защищая религію Христа, положительно признавало, что не хочетъ и не можетъ защищать лютеранства,—это уже прямымъ образомъ было нестерпимою опасностью для лютеранъ.

Послѣ закоснѣлыхъ лютеранъ, возстали противъ Лессинга и нововводители—это было совершенно понятно, потому что онъ положительнымъ образомъ доказывалъ несостоятельность ихъ ученыхъ истолкованій.

Горячая полемика закипъла въ Германіи. Шумъ поднялся страшный, и опять, какъ въ деле Клоца, все сверстники Лессинга осуждали Лессинга, - одни за то, что онъ не признаетъ учение Христа тождественнымъ съ ученіемъ Лютера, другіе за то, что онъ признаеть несправедливой вражду противъ христіанства, какою проникнуты издаваемые имъ отрывки - и снова Лессингъ, не слушая никакихъ предостереженій и совътовъ, неуклонно шелъ къ предположенной цели. Первыя нападенія на него за его предисловія къ отрывкамъ издаваемой имъ рукописи появились около времени смерти его жены, -- и, жестоко пораженный своею утратою, онъ, быстрыми шагами приближаясь къ могиль, выказаль въ этой борьбъ, что если слабъло его тъло, то умъ его сохранилъ всю свъжесть молодости,-и не только всю свежесть,-неть, и всю юношескую силу идти впередъ и впередъ. Онъ издавалъ одинъ листокъ за другимъ противъ безчисленныхъ статей, брошюръ и книгъ, нападавшихъ на него, -- и каждый изъ этихъ листковъ волновалъ умы Германіи, какъ никогда, ничто еще не волновало ихъ, и каждый листокъ быль блистательнымъ торжествомъ его генія.

Среди этой борьбы, онъ вспомниль о планъ драмы, нъкогда задуманной имъ,—и ръшился написать эту драму, служащую поэтическимъ воплощениемъ мысли, которую защищаль онъ противъ закоснълыхъ лютеранъ. Эта драма—«Натанъ Мудрый», выше котораго въ нѣмецкой литературѣ по колоссальному значенію стоитътолько «Фаустъ» Гёте, явилась въ 1779 году, за полтора года докончины Лессинга, и написана имъ среди страданій всякаго рода.

Результаты борьбы, веденной Лессингомъ въ послѣдніе три года его живни, были громадны. Она приготовила направленіе послѣдующей нѣмецкой философіи, которая только въ послѣднемъ періодѣ своего развитія стала на ту высоту мысли, которая была указана ей Лессингомъ, но съ самаго начала была вѣрна духу, проникавшему его сочиненія, написанныя по поводу «Вольфенбюттельской рукописи» и споровъ, ею возбужденныхъ. По плану нашего очерка, имѣющаго главнымъ предметомъ одну литературную сторону дѣятельности Лессинга, мы только въ двухъ-трехъ словахъ коснемся отношенія между Лессингомъ и послѣдующими нѣмецкими философами.

Прямымъ ученикомъ его не былъ ни одинъ изъ знаменитыхъ философовъ, -- всё они считаютъ своимъ родоначальникомъ Канта; Фихте говорить, что его система-довершение системы Канта, Шеллингъ былъ продолжателемъ Фихте, Гегель продолжателемъ Шеллинга, новая философія произошла изъ системы Гегеля. Но если мы сравнимъ всѣ эти системы между собою, то увидимъ, что духъ ихъ совершенно различенъ,--это потому, что у Фихте, Шеллинга. и Гегеля были другіе учители, кром'в Канта. Они сами признаются, что очень многимъ обязаны Гердеру и Гёте, подъ вліяніемъ которыхъ воспиталось ихъ воззрвніе на міръ,-черезъ Гердера и Гёте имъль на нихъ вліяніе и Лессингь, который такъ могущественно господствоваль надъ развитіемъ Гердера и Гёте. Ужь эта одна сторона его действія на нихъ иметь чрезвычайную важность. Но еще гораздо сильнъе было то вліяніе, которое имъль онъ на развитіе німецкой философіи не посредствомъ того или другаго изъ воспитанныхъ имъ знаменитыхъ писателей, а силою направленія, развитаго имъ въ умственной жизни всего народа, среди котораго возникли эти философы. Часто, когда говорять объ исторіи философіи, имѣютъ въ виду только связь философскихъ системъ между собою, забывая о связи ихъ съ духомъ времени и общества, въ которомъ онъ развились, - а между тъмъ, это забываемое отношеніе обнаруживало всегда самое рішительное вліяніе на ихъ характерь. О философіи, въ которой общія стремленія человічества находять самое прямое выраженіе, надобно сказать скорве, нежели

о какой нибудь частной наукт, что она всегда бываетъ дочерью эпохи и націи, среди которой возникаетъ.

Изъ многихъ сторонъ родства всёхъ философскихъ системъ, возникшихъ послё Канта въ Германіи, съ духомъ, проникавшимъ сочиненія Лессинга, мы заметимъ только две, связь которыхъ съ характеромъ мненій Лессинга особенно ясна будетъ после того, что имели мы случай сказать выше о его стремленіяхъ.

До Лессинга, ивмецкая философія вообще имвла протестантскій характеръ даже въ случаяхъ, когда являлась враждебною христіанству. Послв Лессинга, хотя по прежнему всв главные двятели ея принадлежали протестантской половинв Германіи, она становится въ другое положеніе. Философское міросозерцаніе становится столь же независимо отъ односторонняго протестантскаго оттвика, какъ прежде было независимо отъ католическаго. Изъ достоянія протестантской половины Германіи, философія становится двломъ общенаціональнымъ.

При всемъ различіи въ своихъ принципахъ и выводахъ, всѣ нѣмецкія философскія системы сходятся въ томъ, что ни одна изъ нихъ не имѣетъ враждебности противъ христіанства, какою отличались системы нѣкоторыхъ англійскихъ и французскихъ философовъ. Каковы бы ни были понятія того или другаго нѣмецкаго философа объ общей системѣ міра, но каждый изъ нихъ на религію смотритъ съ уваженіемъ, высоко цѣня важность ея. Всѣ они чужды того суроваго ожесточенія противъ религіи, которое замѣтно, напримѣръ, у Гоббеса, или той насмѣшки, которая видна у Вольтера. Всѣ они смотрятъ на религію съ серьёзностью, полною уваженія.

Эти двѣ черты сходства уже достаточио показывають тѣсное родство послѣдующей нѣмецкой философіи съ тѣми стремленіями, которыми одушевлень быль Лессингь въ своей послѣдней борьбѣ. Но вполнѣ оцѣнить геніальность его взгляда и силу его вліянія можеть только тоть, кто знакомъ съ новѣйшими нѣмецкими философскими системами, смѣнившими систему Гегеля: онѣ чрезвычайно близки къ тѣмъ понятіямъ, какія были выражены Лессингомъ. Мы ограничиваемся этими немногими словами, потому что разсмотрѣніе развитія философіи въ Германіи не составляеть прямаго предмета этой біографіи; но тоть, кто захотѣлъ бы заняться отношеніями

Лессинга къ последующимъ немецкимъ философамъ, нашелъ бы гораздо более признаковъ его сильнаго вліянія на ихъ системы.

Впрочемъ, все это не составляетъ еще главнаго значенія діятельности Лессинга въ последние годы его жизни. Еще важнее, нежели вліяніе его на характеръ посл'ядующихъ философскихъ системъ, было то, что онъ приготовилъ умъ своего народа для принятія философской мысли. До того времени, философія была діломъ школы, котораго чуждалось и пугалось общество, какъ чегото не только таинственнаго, но и ужаснаго, --философскія мысли, какъ скоро изъ теснаго кружка записныхъ ученыхъ проникали до свъдънія людей, не имъвшихъ науки своею профессіею, были отвергаемы ими, какъ что-то прогивное всемъ убежденіямъ ихъ и всемъ условіямъ жизни. Черезъ двадцать летъ не такъ была принята обществомъ философія Фихте и потомъ Шеллинга, — напротивъ, общество встрвчало философскія ученія съ живымъ сочувствіемъ, они быстро распространялись въ публикъ и переходили въ ся убъжденія. Эту переміну надобно отнести всего болье къ дъйствію статей, написанных Лессингомь въ последніе годы его жизни: онъ пріучили нъмецкую публику къ духу философскаго изследованія.

Отъ замъчаній о развитіи умственной жизни въ Германіи обращаясь въ прямому вліянію последняго періода деятельности Лессинга на общественную жизнь, надобно сказать, что оно было также решительно: съ той поры начинается заметное и постоянное ослабление непріязни, существовавшей между католиками и протестантами. Главною причиною, поддерживавшею эту непріязнь, надобно считать презрѣніе протестантовъ къ католикамъ, какъ людямъ, зараженнымъ грубъйшими суевъріями. До Лессинга, едва ли кто изъ протестантовъ смотрелъ на особенности, которыми отличалось католичество отъ протестантства, иначе, какъ на невъжественные предразсудки, унизительные для ума человъческаго. Нововводители, последователи французских энциклопедистовъ и англійскихъ деистовъ, были въ этомъ отношении не лучше, а можетъ быть даже хуже другихъ протестантовъ. Лессингъ сталъ говорить о католичествъ безпристрастно, всегда съ уважениемъ, иногда съ сочувствіемъ. Это простиралось до того, что многіе изъ его противниковъ обвиняли его въ измѣнѣ лютеранству для католичества, а самъ онъ, когда протестантскіе богословы ему грозили запрещеніемъ писать и юридическимъ осужденіемъ его сочиненій, быль увъренъ, что если бы дъло дошло до такой крайности, то онъ нашель бы защиту отъ католиковъ, перенеся дело на решение Имперскаго совъта, въ которомъ католические члены станутъ на его сторонъ, когда онъ имъ объяснитъ, что осуждагь его, значило бы осуждать всехъ католиковъ. Примеръ, авторитеть и доказательства Лессинга открыли глаза большинству образованныхъ протестантовъ, и съ того времени насмѣшки надъ католиками ослабьвають, ослабъваеть и возбуждаемое ими нерасположение католиковъ къ протестантамъ, и мъсто непріязни занимаетъ терпимость и взаимное уважение. Мало того: Лессингъ развивалъ передъ нъмцами возэрвніе, въ которомъ должны сойтись, какъ братья, и католики и протестанты, и доказываль, что это воззрвніе, будучи одно достойно человъка по своему благородству, въ то же время одно только и должно считаться справедливымъ, потому что оно одно логично, оно одно внушается потребностями человъческой природы и одно можеть выдержать строгую научную критику. Эта сторона вліянія конечно казалась самою важною и для Лессинга. Именно, желаніе дать примирительное направленіе народной жизни и руководило Лессингомъ въ выборв теологическихъ вопросовъ предметомъ своей дъятельности.

Но, будучи по преимуществу человъкомъ жизни, почему не предпочелъ онъ вопросовъ болъе близкихъ къ жизни—почему не писалъ юридическихъ и политическихъ сочиненій? По той же самой причинъ, по которой не писалъ и чисто философскихъ сочиненій,—потому, что умственная жизнь его націи не достигла еще въ его время той зръдости, чтобы живо интересоваться этими вопросами. Лътъ двадцать прошло послъ его смерти до той поры, когда насталъ для Германіи періодъ философскихъ интересовъ; еще позднъе началась для нея пора юридическихъ и гражданскихъ стремленій.

Только въ одномъ мѣстѣ одного изъ своихъ сочиненій и писемъ Лессингъ нѣсколько касается понятій объ общественныхъ отношеніяхъ, —именно во второмъ изъ своихъ «разговоровъ между Эрнстомъ и Фалькомъ», которые издалъ только за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти. Предметъ этихъ разговоровъ — масонство. Эрнстъ, услышавъ, что его пріятель Фалькъ вступилъ въ число масоновъ, начинаетъ разспрашивать его о томъ, что такое масонство, о кото-

ромъ всё говорять, и о которомъ ни отъ кого нельзя добиться правды. Фалькъ, связанный обещаниемъ не открывать тайнъ масонства, отвёчаетъ ему на этотъ вопросъ косвеннымъ образомъ, развитиемъ понятий Эриста объ общественномъ быте, доводя его до заключения, что собственно цёлью масонства могло бы быть облегчение неудобствъ жизни, но что эта цёль или не понимается масонами, или понимается ребяческимъ образомъ.

«Во всв времена, всв благородные и гуманные люди», заключаеть Фалькъ, «заботились объ устраненіи и смягченіи неудобствъ, порождаемыхъ устройствомъ всёхъ гражданскихъ обществъ». — Эристъ, подъ вліяніемъ своей мысли о масонахъ, воображаетъ, что Фалькъ этими словами указываеть ему главное стремление масоновъ. Обольщенный такимъ высокимъ понятіемъ о нихъ, онъ вступаетъ въ орденъ масоновъ - и, совершенно разочаровавшись въ своихъ ожиданіяхъ, возвращается съ упреками къ Фальку. «Я думаль найти въ масонскихъ ложахъ заботу о благъ человъчества, а нашелъ только одну праздную игру въ таинственныя фразы и церемоніи, подъ которыми н'тъ ровно ничего серьезнаго и полезнаго», говорить онъ своему другу. - «Но въдь я намекаль тебъ объ этомъ, сколько могь, не нарушая положительнымъ образомъ объщанія хранить тайну ордена», отвёчаеть Фалькъ:--- «вольно же тебё было не замвчать моихъ намековъ, довольно ясныхъ. Но теперь ты человъкъ, посвященный въ тайны, я могу говорить съ тобою прямо». Фалькъ начинаетъ разсказывать исторію Масонскаго ордена,--на томъ и останавливается пятый разговоръ. Далве, какъ мы говорили, следовало бы, конечно, описаніе тогдашняго состоянія масонскихъ дожъ въ Германіи, -- и изъ того вознивали бы или размышленія оцеременахъ, какія должны быть произведены въ организацін и стремленіяхъ ордена для того, чтобы онъ дійствительно приносиль пользу обществу, или, что въроятите, Фалькъ доказаль бы, что никакія переміны и улучшенія не поведуть ни къ чему дільному, потому что истинно великія и полезныя цёли всегда достигаются только прямымъ и открытымъ образомъ действій, а це косвенными путями таинственныхъ обществъ, всегда оказывавшихся и долженствующихъ оказываться безсильными, и разговоры кончались бы провозглашеніемъ, что нъмцы должны, покинувъ пустую игру въ масоны, подумать о пріобретеніи гражданских добродетелей и действительномъ улучшения своего національнаго быта. Такъ надобно

полагать, судя по ходу первыхъ няти разговоровъ и действительному образу мыслей Лессинга о масонахъ, сохраненному нъсколькими анекдотами. Въ Гамбургъ, онъ вздумалъ поступить въ масонскій орденъ, чтобы удостов'єриться, действительно ли справедливы его предположенія о пустот' масонства, и скоро вышель изъ ордена, совершенно убъдившись въ томъ. Когда одинъ изъ магистровъ масонской гамбургской ложи, по принятіи Лессинга въ число ея членовъ, спросилъ его: «ну что, не правда ли, вы не нашли въ масонстве ничего противнаго государству и церкви?» — Лессингъ отвъчаль: «не только противнаго чему нибудь, но и ровно ничего не нашелъ». Черезъ нъсколько времени, Мендельсонъ разспрашивалъ его о масонствъ, и не слыша отъ своего друга ничего дъльнаго о цёляхъ ордена, сказалъ ему: «вы, вероятно, боитесь разглашать тайны масонства?»—Лессингь расхохотался и отвічаль: «О, перестаньте, Мендельсонъ!--въ этомъ отношения орденъ совершенно безопасенъ».

Предметь, подавшій Лессингу предлогь къ разговорамь Эриста и Фалька, самъ по себъ былъ незначителенъ въ глазахъ Лессинга, очевидно хотвышаго воспользоваться общимъ интересомъ, какой пробуждался въ Германіи толками о масонстві, единственно для того, чтобы, обнаруживъ пустоту этой забавы, обратить вниманіе, ею развлеченное, на предметы, болье достойные мысли гражданина. Эти разговоры имъють большую важность въ біографіи Лессинга, не по отношеніямъ къ масонству, которое служило ему только предлогомъ и казалось ему, совершенно справедливо, предметомъ незначительнымъ, но какъ сочинение, которымъ обнаруживается намъреніе Лессинга сделать еще новый шагь въ приготовленіи развитія нъмецкой жизни, какъ выражение намърения перейти отъ философско-теологическихъ вопросовъ къ вопросамъ общественнымъ. Только передъ самою кончиною своею Лессингъ увидёлъ возможность обратить къ этимъ вопросамъ внимание немецкой публики,--два последніе разговора Эрнста и Фалька были напечатаны имъ за несколько месяцевъ до кончины; кончина застигла его раньше, нежели успаль онъ написать объяснительныя и дополнительныя примъчанія къ пятому разговору, которыми занимался въ послъднее время жизни, и напечатанные имъ разговоры остались только свидътельствомъ того, что въ послъдніе мъсяцы жизни, среди физическихъ страданій и борьбы съ Геце, онъ задумаль новое діло, столь

же важное, какъ два прежнія, имъ совершенныя: руководитель нѣмецкой націи сначала въ литературной, потомъ въ научной жизни,
онъ передъ кончиною становился уже руководителемъ своей націи
въ общественной жизни. Неудержимо стремилась впередъ могущественная мысль этого человѣка.

Границы действію этой мысли полагались не степенью силы ея, а степенью готовности немецкаго общества живо принимать те или другія впечатлівнія, интересоваться тіми или другими вопросами. Другіе писатели говорили о такихъ предметахъ, которыми сами они особенно интересовались или въ которыхъ были особенно сильны. Лессингъ говорилъ о томъ, что было наиболее доступно разуменію и интересамъ его публики въ данную эпоху. Умственная жизнь его публики была очень тесна и слаба. Онъ употребляль все силы свои на то, чтобы постепенно расширять кругь этой жизни, усиливать ея дёятельность, возводить ее отъ однихъ интересовъ къ другимъ, болве живымъ и важнымъ. Смерть застала его при самомъ началъ одного изъ такихъ фазисовъ и мы видимъ, что при каждомъ новомъ фазисъ, онъ становился сильнъе, обнаруживалъ все более геніальности, что могущество его мысли все только яснее . и полиже охватывало предметь, по мере того какъ предметы его деятельности становились выше и значительнее. На чемъ остановился бы этоть процессъ, нельзя знать. Мы видимъ смерть его среди возростанія могущества его мысли, но не видимъ признаковъ того, чтобы какая нибудь изъ разръшенныхъ имъ досель задачъ поглотила всв его силы или удовлетворила его. Мы видимъ, что, по мъръ возвышенія важности вопросовъ, за которые онъ брался, ближе къ его сердцу становились эти вопросы, -- но не видимъ еще. изъ всвхъ представлявшихся ему, ни одного вопроса, который бы являлся личнымъ вадушевнымъ его вопросомъ, разрешениемъ котораго удовлетворялась бы потребность его личной натуры. Мы знаемъ только, чемъ до сихъ поръ позволяла являться Лессингу степень развитія его публики, -- поэтомъ, критикомъ, ученымъ, теологомъ, -но не знаемъ, до какой степени исчерпывалась этими проявленіями его натура.

Половины того не сказалъ Лессингъ, что могъ сказать, что сказалъ бы, если бы прожилъ десятью-пятнадцатью годами долье. Приближались историческія событія, которыя должны были сильно содыйствовать пробужденію нымецкаго племени. Государственные перевороты во Франціи, потомъ войны германскихъ державъ съ Францією и владычество Наполеона въ Германіи, - все это сдёлало нъмпевъ воспріничивыми къ многимъ понятіямъ, которыми до тъхъ поръ не интересовались они. Положение Германии было очень затруднительно; боле, нежели когда нибудь, нуждалась она тогда въ руководитель. Почти всь извъстные сверстники Лессинга дожили до этого времени: Рамлеръ до 1798 года, Вейсе до 1804 года, Николан до 1811 года, Виландъ до 1813; дожили до этихъ событій и люди, бывшіе старше Лессинга: Клопштокъ, родившійся пятью, и Глеймъ, родившійся десятью годами ранве Лессинга, дожили до 1803 года. Лессингъ былъ одаренъ отъ природы телосложениемъ более кръпкимъ, нежели всъ эти люди. Но слишкомъ тяжела была его жизнь, и онъ одинъ, въ которомъ боле всехъ нуждалась Германія, не дожиль до той поры, когда его ясный умъ и могущественное слово наиболте нужны были для его народа. Всего только пятьдесять лёть было ему, но его крёпкій организмь уже изнемогаль подъ бременемъ зла, не подозрвваемаго въ немъ медиками, потому что оно не свойственно было его годамъ, и принадлежитъ только періоду глубокой старости, -- источникомъ его бользни было отвердьніе хрящей, какъ узнали врачи после его смерти, -- то самое отверденіе, которое бываеть причиною смерти столетних стариковь, когда организмъ совершенно ветшаетъ отъ продолжительной жизни. Онъ въ свои немногіе годы пережиль и перенесъ слишкомъ много: нравственная сторона его существа выдержала все, оставалась бодра и свъжа до последней минуты; но физическій организмъ сокрушился.

Со времени кончины своей супруги, Лессингъ изнемогалъ; съ каждымъ годомъ онъ становился хилъе и хилъе; симптомы одной болъзни смънялись симптомами другой, все усиливаясь; но оставалась при всъхъ другихъ болъзняхъ одна, служившая основаніемъ для всъхъ другихъ, — тяжелое удушье, становившееся все сильнъе и сильнъе. Друзья и доктора его опасались паралича. Онъ чувствовалъ тяжесть во всемъ организмъ, утомленіе, доводившее его до летаргической дремоты. Въ концъ 1780 и началъ 1781 годовъ, это отяжелъніе организма усилилось до такой степени, что съ открытыми глазами, онъ иногда терялъ сознаніе, не находилъ или забывалъ слово для окончанія фразы въ разговоръ, не былъ иногда въ состояніи правильно написать двухъ строкъ; зръніе его затмъвалось порою, такъ что онъ не могъ читать, вмъсто одной буквы пи-

саль другую. Полагая, что скука одинокой вольфенбюттельской жизни губить его, онъ, въ началъ февраля 1781 года, повхаль въ Брауншвейгь, чтобы насколько развлечь себя обществомъ. Но въ Брауншвейге болезнь усилилась такъ, что друзья увидели ея смертельность. До сихъ поръ, припадки удушья и летаргіи миновались въ нъсколько минутъ; но 13-го февраля, рано вечеромъ возвратившись изъ дружеской бесёды, онъ почувствоваль чрезвычайно тяжелый и продолжительный припадокъ удушья, такъ что долго не могь сказать ни слова. Однакоже, онъ не хотель послать за докторомъ, и вельлъ прислугъ оставить его одного въ комнатъ, которую приказалъ запереть. Ночь провель онъ очень дурно; однакоже, на другой день по утру, сталь одеваться, чтобы вхать домой, въ Вольфенбюттель. Друзьямъ стоило большаго труда убъдить его, что повздка эта была бы выше его силь въ настоящее время, и уговорить его послать за лейбъ-медикомъ Брикманомъ, его пріятелемъ-Брикманъ тотчасъ же пустилъ ему кровь, и страданія больнаго облегчились. Друзья послали въ Вольфенбюттель за падчерицею Лессинга, Амалією Кёнигь. Она поспішила прівхать. Припадки удушья часто возобновлялись, то сильнее, то слабе. Иногда казалось, что смерть очень близка, иногда надежда оживлялась въ друзьяхъ. Брикманъ и Зоммеръ, другой докторъ, надвялись, что побъдять бользнь. Но самъ онъ зналъ, что приближается минута смерти. Ночь съ 14-го на 15-ое была опять очень тяжела, но поутру Лессингъ сталъ чувствовать себя хорощо. Онъ могъ поддерживать разговоръ съ друзьями, иногда даже начиналъ шутить съ Брикманомъ и другими, даже вставалъ съ постели. Вечеромъ Амалія сидъла въ залъ, передъ комнатою больнаго, и плакала, --ее просили уходить изъ его комнаты, когда она не могла удерживаться отъ слезъ. Въ залъ вошли несколько знакомыхъ, чтобы узнать о здоровь В Лессинга; ему сказали это. Онъ всталь, — отворилась дверь его комнаты, онъ вошель въ заль, страшно блёдный, поклонился, встръчая гостей, --- модча пожалъ руку дочери, съ выражениемъ нъжной любви во взглядь,-и упаль. Его поддержали, отнесли на кровать. Тихо, спокойно закрыль онъ глаза, -- онъ уже скончался; выраженіе любви и спокойной радости еще сохранялось на лиць его.

Это было 15-го февраля 1781 года, въ 9 часовъ вечера. Лессингъ скончался на 52 году жизни.

Не пышно было погребеніе, совершенное 20-го февраля, —да и

хорошо, что не пышно было оно, потому что издержки, сдёланныя на этоть предметь брауншвейгскимъ придворнымъ вёдомствомъ,—154 таллера съ нёсколькими грошами, были потомъ, какъ слёдуеть, вычтены изъ суммы, слёдовавшей въ выдачу отъ казны наслёдникамъ Лессинга.

На берлинскомъ театръ 24 февраля, на гамбургскомъ театръ 9 марта, потомъ на другихъ нъмецкихъ театрахъ даны были траурные спектакли по случаю смерти перваго драматурга Германіи. Послъ траурныхъ прологовъ, играли «Эмилію Галотти» на сценъ, обитой чернымъ сукномъ. Актеры выходили на сцену въ траурномъ платъъ.

Были вырѣзаны двѣ медали въ цамять покойнаго; одна, въ Брауншвейгѣ, Круллемъ, другая, въ Берлинѣ, Абрамсономъ.

Лицевая сторона объихъ медалей одинакова: бюстъ Лессинга; кругомъ бюста «Gotthold Ephraim Lessing», внизу: «Natus MDCCXXIX». На оборотъ брауншвейтской медали: «Poëta Philosophus, Philologus, Criticus, Cermaniae Decus, Musarum et Amicorum dum vivebat amor, nunc desiderium sempiternum». На оборотъ берлинской медали—погребальная урна; надъ урною склоняются Истина, съ опрокинутымъ факеломъ въ рукъ, и Природа, съ лицомъ, закрытымъ траурною вуалью; кругомъ идетъ надпись: «Veritas Amicum luget, Aemulum Natura»; на пьедесталъ урны: «Nathan der Weise»; внизу: «Denatus MDCCLXXXI *).

Въ 1853 г. воздвигнутъ, по національной подпискѣ, памятникъ . Лессингу въ Брауншвейгѣ.

Пессингъ былъ человъкъ высокаго роста, кръпкаго сложенія, широкой кости, такъ что казался плотнымъ, хотя никогда не имълъ полноты. Ласковое выраженіе проницательныхъ темноголубыхъ глазъ придавало его правильному лицу особенную прелесть. Взглядъ его, обыкновенно кроткій и чрезвычайно спокойный, былъ въ тоже время такъ выразителенъ, что говорять, будто не только вблизи, но еще на очень дальнемъ разстояніи собесъдники чувствовали его силу. Подъ конецъ его жизни распространилась мода носить парики, но

^{*)} Надписи: на брауншвейгской медали: «Поэтъ, Философъ, Филокогъ Критикъ, честъ Германіи, при жизни любовь, нына вачноскорбная утрата музъ и друзей».—На берлинской: «Истина оплакиваетъ въ немъ друга, природа—соперника.—Натанъ Мудрый.—Скончался 1781».

онъ никогда не следоваль ей, жалея своихъ густыхъ, прекрасныхъ темнорусыхъ волосъ, въ которыхъ рано начала показываться сёдина. Походка и манеры его были непринуждены; едва ли не первый изъ нъмецкихъ ученыхъ и поэтовъ онъ умълъ держать себя, какъ свътскій человікь. Одівался онь изящно, хотя всегда очень скромно. Одною изъ особенныхъ привычекъ его было то, что зимою никогда не носиль онь плаща, и круглый годь ходиль въ летнемъ платье,привычка, свидътельствующая о чрезвычайной крыпости здоровья. Ни въ наружности, ни въ манерахъ Лессинга не было ничего такого, что называется поразительнымъ или особенно замъчательнымъ. Но каждый, встречаясь съ нимъ, хотя бы не зналъ его имени, чувствоваль, что видить передъ собою человека необывновеннаго. Въ запискахъ Тьебо, француза, долго жившаго въ Берлинъ и оставившаго намъ очень любопытныя наблюденія о тогдашней жизни въ столиць Пруссіи, сохранился анекдоть, довольно любопытный. «Однажды, говорить Тьебо, я пошель къ Зульцеру и засталь его съ другимъ знакомымъ, Бегленомъ, передъ большою, только что конченою картиною. Картина эта произведа на меня замъчательное впечатавніе. Мы сидели и говорили, но мои глаза невольно все обращались на картину. На ней была изображена фигура мужчины. «Кажется, эта картина очень занимаеть вась? сказаль Бегленъ.—Что вы скажете о ней?» — «Быюсь объ закладъ, сказалъ я, что это чей нибудь портретъ, и портретъ должно быть очень похожій».--«Почему же вы такъ думаете?» — «Потому что въ лицъ очень много натуры». — «Въ такомъ случав скажите, какое понятіе составляете вы по этому портрету о человъкъ, котораго онъ изображаеть?>---«Этотъ мужчина долженъ быть человекъ большаго ума, деятельнаго, очень живаго и пылкаго ума. Тъже качества должны отражаться и на его характерв. Кромв того, въ характерв у него должна быть замвчательная твердость и большая природная веселость. Онъ добродушенъ, любить удовольствія и честень, но опасно затрогивать его уб'яжденія или предубъжденія».--«Значить, вы знакомы съ этимъ человъкомъ?>---«Нътъ, я никогда не видалъ человъка, изображеннаго на этомъ портретѣ».--«А воть вы разсказали о его качествахъ такъ вёрно, какъ будто прожили съ нимъ цёлую жизнь. Это портретъ г. Лессинга, писанный г. Граффомъ». — «Это большая честь г. Граффу, потому что я никогда не видываль г. Лессинга».

Домашній образъ жизни Лессинга быль простъ, любовь въ по-

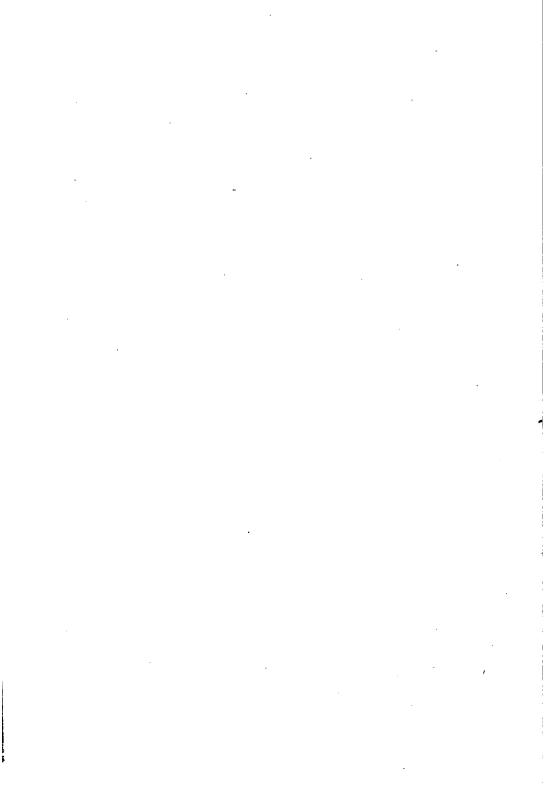
рядку доходила въ немъ до страсти. Въ кабинетъ его господствовала чрезвычайная чистота. Въ Вольфенбюттелъ, когда онъ писалъ, на рабочемъ столъ обыкновенно сидъла его любимая кошка и, если случалось ей разорвать или привести въ безпорядокъ бумаги, онъ не сердился, а начиналъ ухаживать за нею, зная, что эти безпорядки она дълаетъ только тогда, когда нездорова.

Въ Вольфенбюттелъ Лессингъ вставалъ въ шесть часовъ. Черезъ два или три часа пилъ въ кабинетъ кофе и продолжалъ работать до двенадцати часовь, не выходя изъ кабинета, кроме техъ дней, когда ему нужно было заняться въ Библіотекв. Въ первомъ часу онъ объдаль (въ Германіи тогда вообще объдали очень рано). Часто изъ Библіотеки приводиль онъ къ объду гостей и потомъ очень наивно извинялся въ своемъ хлебосольстве передъ женою и дочерью, которая занималась хозяйствомъ по смерти жены. «Мнъ не ловко было не пригласить ихъ, говорилъ онъ. Но если къ объду приготовлено мало, такъ я буду всть только закуску». Обедь быль очень незатвиливъ. Никогда не двлалъ Лессингъ замвчанія, если какое нибудь кушанье приготовлено неудачно. Какіе бы гости ни были за объдомъ, но разговоръ всегда шелъ за столомъ только о такихъ предметахъ, чтобы въ немъ могло участвовать все семейство: ученые вопросы и споры отлагались до другаго времени дня. Лессингъ говорилъ очень быстро и живо; но никогда не овладъвалъ разговоромъ одинъ, всегда стараясь, чтобы онъ былъ общимъ. Послѣ обѣда Лессингъ никогда не спалъ; онъ отправлялся съ семействомъ прогуливаться пъшкомъ или игралъ съ дътьми. Участвовать въ играхъ детей было всегда его любимымъ удовольствиемъ. Вечеръ обыкновенно посвящаль онъ обществу. До женитьбы онъ почти каждый день посещаль театрь или знакомыхъ. После женитьбы знакомые обыкновенно собирались въ его домъ. Въ Бреславл'в Лессингъ пристрастился къ картамъ. Впоследствіи, постоянно нуждаясь въ деньгахъ, не могь вести большой игры и долженъ быль бросить это развлеченіе; тогда наклонность къ азартной игрѣ обратилась у него на лоттерею. Изъ Франціи, гдв государственныя лоттереи были однимъ изъ главныхъ источниковъ государственнаго дохода, эта финансовая спекуляція перешла и къ нёмецкимъ правительствамъ. Лоттереи разъигрывались безпрерывно, съ огромными выигрышами, на очень немногіе изъ безчисленныхъ билетовъ, продававшихся по очень дешевой цене. Лессингъ постоянно бралъ лоттерейные билеты, и чрезвычайно занимали его разсчеты вёроятностей выигрыша на тотъ или другой нумеръ. За нёсколько часовъ до смерти, онъ просиль одного изъ друзей взять для него три билета, изъ которыхъ особенно разсчитывалъ онъ на одинъ № 52 и доказывалъ, что этотъ нумеръ, по всей вёроятности, долженъ выпрать. Любовь къ азартнымъ играмъ была у него не слёдствіемъ жадности къ деньгамъ, которыми онъ очень мало дорожилъ, но слёдствіемъ страсти его рисковать. Кромѣ картъ и лоттереи, онъ очень любилъ шахматную игру. Шахматы были началомъ сближенія его съ Мендельсономъ. Въ Гамбургѣ онъ особенно любилъ играть въ шахматы съ Клопштокомъ, потому что Клопштокъ очень забавно сердился, когда проигрывалъ.

По своей разговорчивости и блестящему остроумію, Лессингь быль очень занимательнымь собесёдникомь. Посреди самаго живаго разговора онъ часто вдругъ останавливался и молчалъ нъсколько минутъ, увлекшись мыслью куда нибудь далеко отъ предмета беседы. Въ обществе онъ не давалъ воли своей наклонности къ горькому юмору, и шутки его были очень мягки и веселы. Но въ кругу семейства и близкихъ друзей его знали, какъ человъка, который, при всей врожденной веселости характера, смотрить на человъческую жизнь чрезвычайно печально. При разсказъ о какомъ нибудь бедствіи или пошлости, онъ улыбался такъ горько, что люди, видъвшіе его въ такія минуты, увъряють насъ, что никогда не видвли человъка столь печальнаго. При живости характера, онъ не могъ иногда удерживаться отъ гивва, и первый взрывъ негодованія быль страшень холодностью и равнодушіемь, съ какимь произносилъ два-три-убійственно-саркастическія слова. Но порывъ гивва проходилъ быстро и Лессингъ черезъ минуту становился снова добродушныйшимы изы людей, осуждая себя за то, что такы серьезно разсердился на человъческія глупости, заслуживающія только состраданія. Шутливость была неизмінною чертою всіхи его разговоровъ. У него, какъ и у всёхъ добродушныхъ мизантроповъ, она постоянно прикрывала глубокое состраданіе къ бъдствіямъ человъческой жизни и глубокую скорбь сердца.

При чрезвычайной мягкости и снисходительности обращенія, домашніе необыкновенно любили его. Черезъ нісколько літь послів смерти Лессинга, Кампе, продіжая черезъ Брауншвейгь и остановившись въ гостинниці, спросиль у кельнера, зналь ли онъ

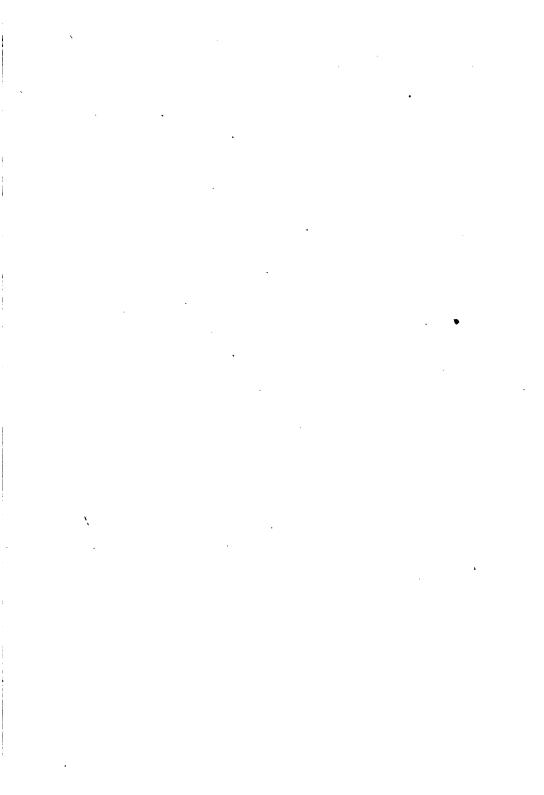
покойнаго Лессинга? Кельнерь этоть нёкогда служиль Лессингу. При одномъ имени покойнаго, онъ заплакаль и долго разсказываль Кампе о томъ, какъ добръ былъ Лессингь, какъ безъ всякой разсчетливости помогаль каждому нуждающемуся. «Часто выговариваль я ему зато, прибавляль слуга, но безъ всякой пользы». Для родныхъ и друзей Лессингъ постоянно жертвоваль собою. Но самою отличительною чертою его характера было великодущіе. Друзьямъ служила источникомъ неистощимыхъ шутокъ его наклонность во что бы то ни стало защищать оскорбляемыхъ или несчастныхъ, какъ бы ни были эти люди виноваты въ своихъ бъдахъ. Жесточайшему врагу своему онъ прощалъ все, какъ скоро узнаваль о какой нибудь непріятности, поразившей этого человъка: тогда всъ прежнія причины осуждать его или досадовать на него забывались Лессингомъ для желанія, чёмъ возможно облегчить его судьбу и утёшить его.



оглавленіе.

	_																	CTPAH.
_	9ctothuockia	I 0	rho:	ЩӨ	HÌ	Ħ	HC	ĸJ	CC	TB	8	KT	, 1	B	tc:	rb)	H-	
	Тельности.	•										•	•		•		•	1-108
	О поэзін. Со	ч. 🔏	Lpuc	m	m	e s	7, I	ер	ево	дъ	Б	. ($\mathcal{D}p$	ોધા	HCI	cai	0.	
	(Отеч. Записки	188	54, 3	€	9)		•		•			•	•	•			•	109—141
	Цвени разн	ыxı	ь <u>в</u>	rap	ОД	0B	ъ,	В	ъ	пеј	ев	одТ	1	7 .	Б	epi	a.	
	(Современникт	185	54,]	€_	11)		•	•		•	•	•				•	•	142—176
	Стихотворенія	H.	0ra	pe:	Ba.	((Юв	pe.	Mei	ни	къ	18	356	, A	6 6)).	•	177—185
	Стихотворенія 1																	
	Стихотворенія																	
	Стихотворенія																	
	Лессингъ, ег																	
	менникъ 1856,	_													, .	·		
	Преди				-								•		_	_		239—246
	Глава															٠	٠	247—290
) Labo												•	•	•	•	•	291-324
	•	II									٠	-	•	•	•	٠	•	
	>	III		•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	325—360
	>	Į٧		•	•	•		•			•	•		•				361-400
•	>	γ.			•										•			401-427
	>	γI																428-461
	>	γII																462-509

•



HOME USE CIRCULATION DEPARTMENT MAIN LIBRARY

This book is due on the last date stamped below. 1-month loans may be renewed by calling 642-3405, 6-month loans may be recharged by bringing books te Circulation Desk.

Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date.

ALL BOOKS ARE SUBJECT TO RECALL 7 DAYS AFTER DATE CHECKED OUT.

OCT 21 1974 1 S							
REC'D CIRC DEPT APR 28'7416							
JUL 151994 **							
. REC.CIRC. JUN 0 8 1994							

LD21-A30m-7,'78 (R2275810)476—A-32 General Library University of California Berkeley



U. C. BERKELEY LIBRARIES







